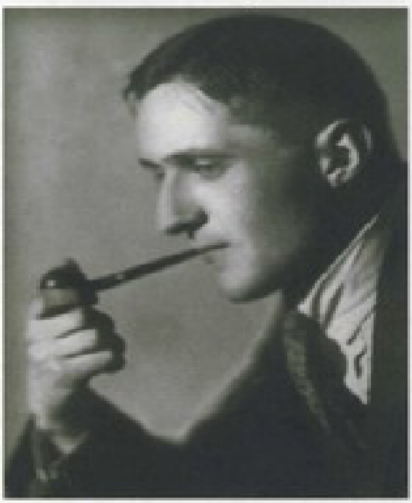
БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ

Николай Чуковский



О том, что видел

Библиотека мемуаров

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965) известен прежде всего как автор остросюжетных повестей об отважных мореплавателях, составивших книгу «Водители фрегатов», и романа о блокадном Ленинграде — «Балтийское небо». Но не менее интересны его воспоминания, вошедшие в данную книгу. Судьба свела писателя с такими выдающимися представителями отечественной культуры, как А. Блок, Н. Гумилев, Н. Заболоцкий, О. Мандельштам, Ю. Тынянов, Е. Шварц. Будучи еще очень юным, почти мальчиком, он носил любовные записки от В. Ходасевича к Н. Берберовой. Обо всем увиденном с удивительным мастерством и чрезвычайной доброжелательностью Чуковский написал в своих мемуарах. Немало страниц «младший брат» посвятил своим старшим друзьям — «Серапионовым братьям» — И. Груздеву, М. Зощенко, В. Иванову, В. Каверину, Л. Лунцу, Н. Никитину, В. Познеру, Е. Полонской, М. Слонимскому, Н. Тихонову, К. Федину. Особая новелла — о литературном салоне Наппельбаумов. Квартиру известного фотографа, где хозяйничали сестры Ида и Фредерика, посещали Г. Адамович, М. Кузмин, И. Одоевцева и многие другие. Вторую часть книги составляет переписка с отцом, знаменитым Корнеем Чуковским. Письма, известные до сих пор лишь в меньшей своей части, впервые публикуются полностью. Они охватывают временной промежуток в четыре с лишним десятилетия — с 1921 по 1965 год.

- Николай Корнеевич Чуковский
  - Добрая память Николая Чуковского
  - Воспоминания
    - Я видел Блока
    - Встречи с Маяковским
    - Николай Гумилев
    - Дом искусств, клуб Дома искусств, литературная студия Дома искусств
    - Холомки
    - Салон Наппельбаумов
    - Отрицатель
    - Коктебель
    - О Мандельштаме
    - Богоборец
    - Константин Вагинов
    - Поэт с острова Ямайка
    - Милый демон моей юности

        - Евгений Шварц
        - Николай Заболоцкий
        - Ю. Н. Тынянов
    - Переписка Корнея и Николая Чуковских
    - Иллюстрации
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33
    - 34
    - 35
    - 36
    - 37
    - 38

- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82

- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126

- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170

- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214

- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258

- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302

- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346

- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390

- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434

- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478

- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522

- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566

- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577
- ○ 578
- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585
- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588
- ○ 589
- ○ 590
- ○ 591
- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600
- ○ 601
- ○ 602
- ○ 603
- ○ 604
- ○ 605
- ○ 606
- ○ 607
- ○ 608
- ○ 609
- ○ 610

- ○ 611
- ○ 612
- ○ 613
- ○ 614
- ○ 615
- ○ 616
- ○ 617
- ○ 618
- ○ 619
- ○ 620
- ○ 621
- ○ 622
- ○ 623
- ○ 624
- ○ 625
- ○ 626
- ○ 627
- ○ 628
- ○ 629
- ○ 630
- ○ 631
- ○ 632
- ○ 633
- ○ 634
- ○ 635
- ○ 636
- ○ 637
- ○ 638
- ○ 639
- ○ 640
- ○ 641
- ○ 642
- ○ 643
- ○ 644
- ○ 645
- ○ 646
- ○ 647
- ○ 648
- ○ 649
- ○ 650
- ○ 651
- ○ 652
- ○ 653
- ○ 654

- ○ 655
- ○ 656
- ○ 657
- ○ 658
- ○ 659
- ○ 660
- ○ 661
- ○ 662
- ○ 663
- ○ 664
- ○ 665
- ○ 666
- ○ 667
- ○ 668
- ○ 669
- ○ 670
- ○ 671
- ○ 672
- ○ 673
- ○ 674
- ○ 675
- ○ 676
- ○ 677
- ○ 678
- ○ 679
- ○ 680
- ○ 681
- ○ 682
- ○ 683
- ○ 684
- ○ 685
- ○ 686
- ○ 687
- ○ 688
- ○ 689
- ○ 690
- ○ 691
- ○ 692
- ○ 693
- ○ 694
- ○ 695
- ○ 696
- ○ 697
- ○ 698

- ○ 699
- ○ 700
- ○ 701
- ○ 702
- ○ 703
- ○ 704
- ○ 705
- ○ 706
- ○ 707
- ○ 708
- ○ 709
- ○ 710
- ○ 711
- ○ 712
- ○ 713
- ○ 714
- ○ 715
- ○ 716
- ○ 717
- ○ 718
- ○ 719
- ○ 720
- ○ 721
- ○ 722
- ○ 723
- ○ 724
- ○ 725
- ○ 726
- ○ 727
- ○ 728
- ○ 729
- ○ 730
- ○ 731
- ○ 732
- ○ 733
- ○ 734
- ○ 735
- ○ 736
- ○ 737
- ○ 738
- ○ 739
- ○ 740
- ○ 741
- ○ 742

- ○ 743
- ○ 744
- ○ 745
- ○ 746
- ○ 747
- ○ 748
- ○ 749
- ○ 750
- ○ 751
- ○ 752
- ○ 753
- ○ 754
- ○ 755
- ○ 756
- ○ 757
- ○ 758
- ○ 759
- ○ 760
- ○ 761
- ○ 762
- ○ 763
- ○ 764
- ○ 765
- ○ 766
- ○ 767
- ○ 768
- ○ 769
- ○ 770
- ○ 771
- ○ 772
- ○ 773
- ○ 774
- ○ 775
- ○ 776
- ○ 777
- ○ 778
- ○ 779
- ○ 780
- ○ 781
- ○ 782
- ○ 783
- ○ 784
- ○ 785
- ○ 786

- ○ 787
- ○ 788
- ○ 789
- ○ 790
- ○ 791
- ○ 792
- ○ 793
- ○ 794
- ○ 795
- ○ 796
- ○ 797
- ○ 798
- ○ 799
- ○ 800
- ○ 801
- ○ 802
- ○ 803
- ○ 804
- ○ 805
- ○ 806
- ○ 807
- ○ 808
- ○ 809
- ○ 810
- ○ 811
- ○ 812
- ○ 813
- ○ 814
- ○ 815
- ○ 816
- ○ 817
- ○ 818
- ○ 819
- ○ 820
- ○ 821
- ○ 822
- ○ 823
- ○ 824
- ○ 825
- ○ 826
- ○ 827
- ○ 828
- ○ 829
- ○ 830

- ○ 831
- ○ 832
- ○ 833
- ○ 834
- ○ 835
- ○ 836
- ○ 837
- ○ 838
- ○ 839
- ○ 840
- ○ 841
- ○ 842
- ○ 843
- ○ 844
- ○ 845
- ○ 846
- ○ 847
- ○ 848
- ○ 849
- ○ 850
- ○ 851
- ○ 852
- ○ 853
- ○ 854
- ○ 855
- ○ 856
- ○ 857
- ○ 858
- ○ 859
- ○ 860
- ○ 861
- ○ 862
- ○ 863
- ○ 864
- ○ 865
- ○ 866
- ○ 867
- ○ 868
- ○ 869
- ○ 870
- ○ 871
- ○ 872
- ○ 873
- ○ 874

- ○ 875
- ○ 876
- ○ 877
- ○ 878
- ○ 879
- ○ 880
- ○ 881
- ○ 882
- ○ 883
- ○ 884
- ○ 885
- ○ 886
- ○ 887
- ○ 888
- ○ 889
- ○ 890
- ○ 891
- ○ 892
- ○ 893
- ○ 894
- ○ 895
- ○ 896
- ○ 897
- ○ 898
- ○ 899
- ○ 900
- ○ 901
- ○ 902
- ○ 903
- ○ 904
- ○ 905
- ○ 906
- ○ 907
- ○ 908
- ○ 909
- ○ 910
- ○ 911
- ○ 912
- ○ 913
- ○ 914
- ○ 915
- ○ 916
- ○ 917
- ○ 918

- ○ 919
- ○ 920
- ○ 921

Николай Корнеевич Чуковский

Добрая память Николая Чуковского Вступительная статья

Сегодня, когда взгляд на советскую литературу во многом изменился, книги Николая Корнеевича Чуковского (1904–1965) по-прежнему продолжают переиздаваться, прежде всего «Водители фрегатов» — собрание увлекательных повестей об отважных мореплавателях и «Балтийское небо» — роман о суровых днях блокады Ленинграда.

Николай Корнеевич свой путь в литературе начал как поэт, поэт незаурядный. Литературный критик и поэтесса Татьяна Бек пишет: «Он отдал себя этой стихии с ранних лет <…> в начале 20-х был душой Третьего Цеха поэтов и студии „Звучащая раковина“, его ценил Гумилев, его дебют приветствовал сам строжайший Ходасевич!» (Новый мир. 2003. № 7. С. 102). Горький в берлинской «Беседе» напечатал его поэму «Козленок» (1923. № 1). Редакторы журнала хотели продолжить сотрудничество с молодым автором. В марте 1924 года Ходасевич писал Чуковскому-старшему: «Пожалуйста, спросите Колю, нет ли у него хороших стихов для „Беседы“, я его люблю по-прежнему» (*Ходасевич В. Ф.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 664). С Владиславом Фелициановичем сложились теплые отношения. Они были настолько доверительными, что именно Чуковскому Ходасевич поручил исполнять роль почтальона, когда не на шутку увлекся юной Ниной Берберовой. В те далекие годы Чуковский подружился с К. Вагиновым, Л. Добычиным, Н. Заболоцким, В. Кавериным, М. Слонимским — писателями, без которых трудно представить отечественную литературу XX века. Слонимский позднее вспоминал: «Не могу определить, с какого года я знал Николая Корнеевича или, попросту говоря, Колю Чуковского. Мне всегда казалось, что с самого рождения <…> И когда мы, тогдашние молодые, образовали кружок „Серапионовы братья“, то Колю и некоторых его товарищей по Тенишевскому училищу и по студии мы называли „младшими братьями“ <…> В Доме искусств, в годы двадцатый и двадцать первый, он и Познер, каждый в отдельности, а иногда и вместе, сочиняли остроумные стихи и пародии, язвили литературный быт и нравы, не щадя ни старых, ни молодых, ни самих себя. Эта язвительность ума, сатирический дар сближали Колю с Зощенко и Шварцем, в которых Коля сразу же после первого знакомства влюбился. И они оба тоже любили и ценили его» *(Слонимский М. Л.* Завтра: Проза. Воспоминания. Л., 1987. С. 524, 526). Первая и единственная

поэтическая книга Чуковского — «Сквозь дикий рай» — вышла в 1928 году. Мастерски выполненные переводы из Эдгара По, Фридриха Шиллера, Шандора Петефи, Михаила Эминеску, Аветика Исаакяна, Юлиана Тувима, Галактиона Табидзе (список можно продолжить) печатались в течение всей жизни. Они были собраны Чуковским в книгу, которая вышла уже после его смерти — «Время на крыльях летит…» (М., 1967). В предисловии к ней известный переводчик Вильгельм Левик говорит о своем старшем товарище по перу: «В первой же беседе он поразил меня своим исключительным знанием поэзии <…> Он никогда не занимался формалистическими исканиями, не был в переводе педантом и не жертвовал ради буквальной точности самым ценным, что есть в поэзии, — свободой ее дыхания». Но главным все-таки оказалась проза. Ей Николай Корнеевич отдал большую часть своего незаурядного таланта. Первые повести для детей и подростков — «Танталэна» (1925), «Приключения профессора Зворыки» (1926), «Русская Америка» (1928) — пользовались у ребят не меньшим успехом, чем стихи отца. Написанные позднее романы о Гражданской войне — «Слава» (1935), «Княжий угол» (1937), «Ярославль» (1938) — вызвали множество откликов в печати.

Шли 30-е годы. Приходила известность. Пришло мастерство. Но по воспитанию, по мировоззрению Чуковский оставался человеком 20-х годов. На эту его отличительную черту обратил внимание Вениамин Каверин. В годовщину кончины «младшего брата» один из старших «Серапионов», выступая в Центральном доме литераторов, сказал: «Он был писателем 30-х, 40-х и 50-х годов, но человек он был 20-х годов. Что было характерно для литературы тех лет? Об этом можно было бы говорить много, но мне кажется, три черты особенно отчетливо заметны и должны быть оценены сейчас с новых позиций. Это ответственность сознания принадлежности великой литературе, во-вторых, мера вкуса и, в-третьих, образность» (цит. по стенограмме, хранящейся в личном архиве Д. Н. Чуковского).

20-е годы еще были полны романтики. Для Николая Чуковского они начались пребыванием в Холомках. Какие удивительные люди окружали там молодого человека! Художник Владимир Милашевский вспоминал: «Именье „Холомки“ — нестарая дворянская усадьба. Она построена была скорее как некое палаццо для отдыха, а совсем не для извлечения дохода <…> Сколько „великих“ оказалось связанными и с этим летом 1921 года, и с этим пятачком русской земли. В лето, когда мы купались в Шелони, умер Александр Блок. А люди, которые прогуливались там вдоль вырубленного сосняка, были

замечательными, или прославленными (Корней Чуковский, Добужинский, Евг. Замятин), или оказались потом „великими“. А я никак этого не подозревал! Чем был для меня Владислав Ходасевич? Московский интеллигент эпохи „Весов“, пописывающий стишонки <…>А Осип Мандельштам? Эта комическая фигура на фоне потомков воинов Александра Невского! <…> А младшее поколение, для нас еще „мальчики“. Коля Чуковский, оглушающий леса и долы стихами Блока, Маяковского, Ахматовой, Гумилева, — он стал знаменитым писателем-прозаиком со стихами, запрятанными в письменный стол. Стива Добужинский (Ростислав), который не проявлял в то лето никакой тяги к рисованию, стал прославленным художником Франции» *(Милашевский В. А.* Воспоминания художника. 2-е изд., испр. и доп. М., 1989. С. 227, 228). Так начались для Николая Корнеевича 20-е годы. Они прошли, очень быстро прошли, но навсегда запечатлелись в памяти.

В конце 30-х Чуковского призывают в армию. Он участвует в Финской кампании. В марте 1940 года демобилизовали, но в июне следующего года пришла новая повестка. С самого начала Великой Отечественной Чуковский на фронте. Писатель вспоминал о тех днях: «В июле 1941 года я пришел в Таллин пешком из Палдиски вместе с группой уцелевших политработников 10-й бомбардировочной авиабригады КБФ, полностью разгромленной и уничтоженной за первую неделю войны. В несколько дней бригада потеряла все свои бомбардировщики и всех своих летчиков. Мы, уцелевшие наземные работники бригады, прибрели в Таллин пестрой кучкой, зная, что немцы идут за нами по пятам» (Писатели Балтики рассказывают… М., 1981. С. 74). Лев Успенский, также служивший на Ленинградском фронте, вспоминал: «Осенью 1942 года я работал на Лебяжьем пятачке при политотделе Ура — укрепленного района. Я целыми днями писал. Но хотелось время от времени поговорить, и поговорить не с человеком вообще, а со „своим“ человеком <…> И вот тут так и случилось: вошел! Это был Николай Корнеевич Чуковский <…> С самых первых дней он как бы поделил мысленно нашу комнату по диагонали на две части. Никакой черты мы по нашему паркету не проводили, но с этого момента стали вести себя так, точно она была <…> Николаю Корнеевичу никакого большого стола не требовалось для того, чтобы писать. Его вполне устраивал крошечный, освобожденный от случайных предметов уголок пространства на его пубалтовском, отнюдь не крупноформатном столике. Вероятно, он удовлетворился бы даже кусочком подоконника, лишь бы можно было положить небольшой клочок все равно

какой, линованной или даже разграфленной, как ведомость, случайной бумаги <…> Он писал карандашом, но сказать так — тоже значит допустить неточность. Как бывают „окурки“ папирос, так существуют и „описки“ карандашей — их коротышки-кусочки не длиннее спички. Вот такими „описками“ и работал Николай Корнеевич. Где-то у себя в кармане, в ящиках стола, в вещмешках он хранил целые коллекции таких огрызков. Случалось, он добывал их из хранилищ, насыпал горкой на столе, сортировал, внимательно осматривал критическим оком, выделял лучшие. Работая, он весь замыкался в себе. Он не садился. Я сказал не совсем точно, что с него было достаточно угла стола — ему была нужна вся комната, вся его половина нашей комнаты по крайней мере. С отсутствующим, углубленным в себя лицом, в синем флотском кителе и черных — тоже флотского покроя — брюках он ходил туда и сюда по этому, ограниченному мысленной чертой, треугольнику, и выражение его лица, а также самый ритм движения непрерывно менялись» (Вопросы литературы. 1988. № 5. С. 155, 156, 158, 159). На войне Николай Чуковский часто встречался с критиком Анатолием Тарасенковым, собравшим уникальную библиотеку книг русских поэтов первой половины XX века. Его жена Мария Белкина, как и Чуковские — Корней Иванович, Мария Борисовна и Лидия Корнеевна, находилась в эвакуации в Ташкенте. Зная об этом, в своих письмах, направляемых в столицу Узбекистана, Анатолий Кузьмич сообщал известные ему подробности о жизни фронтового друга. 25 августа 1942 года он писал: «О Чуковском. Все, что просят родные, завтра же ему передам. Мы очень сдружились за последние две-три недели и буквально не можем существовать друг без друга. То я еду к нему на аэродром и ночую у него, то он приезжает ко мне…

Чуковский очень славный, по-настоящему тонкий культурный человек, бесконечно любящий и понимающий поэзию. Бесконечны наши с ним литературные разговоры, задушевная лирика о семье, которой мы делимся друг с другом… Он спокойный, храбрый и умный человек. Работает он сосредоточенно, написал большую книгу о летчиках» (цит. по: *Громова Н.* Все в чужое глядят окно. М.,2002. С. 157).

Война принесла горе практически в каждую советскую семью. Не обошла она стороной и Чуковских. Где-то между Смоленском и Москвою в 1941 году погиб ополченец — Борис Корнеевич Чуковский (Боба, как его звали в семье). Когда стало понятно, что младшего брата нет в живых, у Николая в одном из писем к жене вырвалось: «Он [отец] один из самых любимых мною людей на свете, но ведь в Бобиной судьбе он не безвинен» (личный архив

Д. Н. Чуковского). Но что мог сделать Корней Иванович? Из пекла, в которое попал Борис, живым не вышел почти никто. Вызволить его оттуда Корней Иванович, при всем желании, не мог.

Демобилизовался Николай Чуковский лишь в 1946 году. Одним из лучших произведений о войне заслуженно признан его роман «Балтийское небо», рассказывающий о мужестве жителей осажденного Ленинграда, о героизме летчиков Балтфлота, защищавших город (впервые напечатан в 1955 году, затем неоднократно переиздавался, экранизирован режиссером В. Венгеровым в 1961 году). Писатель Николай Жданов, сам фронтовик, в предисловии к «Избранному» (М., 1963) Николая Чуковского отмечал: «Среди многочисленных произведений разного жанра, связанных с темой ленинградской обороны, роман Чуковского выделяется своей аналитической глубиной, обстоятельностью, высокой достоверностью изложения, ясным и сильным чувством времени. Это — сама история, отраженная современником» (С. 4).

Для последних произведений писателя — «Неравный брак» (1963), «Ранним утром» (1964), «Девочка Жизнь» (1965), «Цвела земляника» (1965) — характерны психологическая правда и лиризм. Критик Галина Трефилова писала о рассказах Николая Чуковского: «Всегда и везде — точное соблюдение колорита места и времени, погружение в будничную повседневность, плотная среда житейского быта, в которой вырастают, формируются и раскрываются простые, понятные, основательные характеры современников автора» (Новый мир. 1963. № 12. С. 241).

Николай Чуковский — человек своего времени. Как многие сверстники, будучи на фронте, он мог погибнуть в любую минуту. Однажды чудом остался жив. Спасла случайность. В блокадном Ленинграде зашел в гости к другу — писателю Леониду Рахманову, засиделись, увлеченно беседуя, мосты развели, пришлось остаться ночевать. Утром, подходя к своему дому для того, чтобы забрать кое-какие вещи, Николай Корнеевич увидел дымящиеся развалины. Он мог погибнуть еще раньше, разделив участь своих товарищей — Б. Лившица, Н. Олейникова, В. Стенича. В 1937–1938 годах Николай Чуковский, говоря языком следователей, «устанавливался» (см.: *Шнейдерман Э.* Бенедикт Лившиц: арест, следствие, расстрел // Звезда. 1996. № 1. С. 115). Его имя неоднократно упоминается в следственных делах. Например, на допросе 25 ноября 1937 года Стенич заявил: «Я говорю о той антисоветской группе, которая сложилась среди московских и ленинградских писателей в период 1933–35 г. вокруг меня и ОЛЕШИ. Эта группа объединяла наиболее

реакционную часть литературных работников, враждебно настроенных к советской власти. В нее входили: ОЛЕША, НИКУЛИН, ДИКИЙ, Бенедикт ЛИВШИЦ, Николай ЧУКОВСКИЙ и я» (цит. по копии следственного дела № 37 246, хранящейся в личном архиве Д. Н. Чуковского). Еще более опасные для писателя показания следствию удалось получить от Лившица 11 января 1938 года: «КИБАЛЬЧИЧ [Виктор Львович (1889–1947), более известный под псевдонимом Серж, был арестован как троцкист в 1928 году, под давлением мировой общественности и благодаря хлопотам Горького в апреле 1936 года выпущен за границу. — *Е. Н.*] дал мне задание вести контрреволюционную агитацию среди писательской массы, группируя вокруг себя ее реакционную часть. Так в одной из бесед со мной о ленинградской группе „ПЕРЕВАЛ“, в которую входили писатели: ТАГЕР, Николай ЧУКОВСКИЙ, КУКЛИН и СПАССКИЙ, КИБАЛЬЧИЧ предложил мне установить с ним связь, с целью использования этой группы в борьбе с ВКП(б) и советской властью. С Ник. ЧУКОВСКИМ я был знаком с 1922 г., с ТАГЕР познакомился вскоре после ее возвращения из ссылки в Ленинград, со СПАССКИМ сошелся в 1926 г. Таким образом задание КИБАЛЬЧИЧА мне было нетрудно выполнить <…> Квартиры ТАГЕР и Н. ЧУКОВСКОГО стали местом нелегальных сборищ <…> Наша контрреволюционная организация вела также специальную работу по подготовке новых контрреволюционных кадров <…> В лекциях участники организации БЕРЗИН и Николай ЧУКОВСКИЙ из современной литературы выхолащивали ее социалистическую целенаправленность <…> Культ ГУМИЛЕВА, МАНДЕЛЬШТАМА, АХМАТОВОЙ, ПАСТЕРНАКА, прочно держащийся в ленинградской поэтической среде, немало способствовал обработке молодого поколения в контрреволюционном духе» (цит. по копии следственного дела № 35 610, хранящейся в личном архиве Д. Н. Чуковского).

Николая Корнеевича могли арестовать и в 1937-м, и в 1938-м. Однако Бог спас. Судьба подарила ему еще почти тридцать лет творчества. Благодаря этому мы имеем возможность читать его замечательные мемуары, над которыми писатель начал работать в конце 1950-х годов. Обладая внимательным и доброжелательным взглядом, он нарисовал яркие, запоминающиеся портреты своих современников. Лев Успенский отмечал особенность воспоминаний Николая Чуковского (особенность, встречающуюся крайне редко): «… Там почти нет его самого, он рисует только других и, пожалуй, с чрезвычайной благожелательностью» (цит. по стенограмме выступления, сделанного в Центральном доме

литераторов осенью 1966 года, хранящейся в личном архиве Д. Н. Чуковского). Немногочисленными были встречи с Блоком. Но добрая и острая память Чуковского запечатлела такие черты поэта, которые ускользнули от внимания других мемуаристов. Живыми людьми, со всеми их достоинствами и недостатками (о них всегда говорится мягко, без желчи и сарказма), предстают перед нами Маяковский, Гумилев, Ходасевич, Волошин, Мандельштам, Шварц, Заболоцкий, Тынянов. Знакомимся мы и с менее известными литераторами: Константином Вагиновым — автором интересных стихотворений, а также своеобразно написанных романов «Козлиная песнь», «Труды и дни Свистонова», «Бамбочада», Валентином Стеничем — переводчиком произведений Дос Пассоса, Клодом Мак-Кеем — негритянским поэтом, приехавшим в Москву из Америки на IV конгресс Коминтерна. С любовью Чуковский рассказывает о своих друзьях — «Серапионовых братьях» — Илье Груздеве, Михаиле Зощенко, Всеволоде Иванове, Вениамине Каверине, Льве Лунце, Николае Никитине, Владимире Познере, Елизавете Полонской, Михаиле Слонимском, Николае Тихонове, Константине Федине, Викторе Шкловском.

Публикуемая впервые полностью переписка Николая Чуковского с отцом является логическим продолжением мемуаров. В ней мы видим те же лица, находим дополнительные черточки к их портретам, а также встречаем новых знакомых, о которых писатель не успел рассказать в своих воспоминаниях.

Примечательно, что отдаваемая на суд читателей книга выходит в юбилейный год, в год столетия со дня рождения замечательного русского писателя Николая Корнеевича Чуковского.

Евгений Никитин

Воспоминания

Я видел Блока

Александра Блока я увидел впервые осенью 1911 года. В 1911–1912 гг. мы жили в Петербурге, на Суворовском проспекте. Мне было тогда 7 лет. Я помню вечер, дождь, мы выходим с папой из «Пассажа» на Невский. У выхода папа купил журнальчик «Обозрение театров», памятный для меня тем, что в каждом его номере печаталось чрезвычайно мне нравившееся объявление, на котором был изображен маленький человечек с огромной головой; он прижимал палец ко лбу, и вокруг его просторной лысины были напечатаны слова — «Я знаю все!».

Блока мы встретили сразу же, чуть сошли на тротуар. Остановись под фонарем, он минут пять разговаривал с папой. Из их разговора я не помню ни слова. Но лицо его я запомнил прекрасно — оно было совсем такое, как на известном сомовском портрете. Он был высок и очень прямо держался, в шляпе, в мокром от дождя макинтоше, блестевшем при ярком свете электрических фонарей Невского.

Он пошел направо, в сторону Адмиралтейства, а мы с папой налево. Когда мы остались одни, папа сказал мне:

— Это поэт Блок. Он совершенно пьян.

Вероятно, я и запомнил его только оттого, что папа назвал его пьяным. В нашей непьющей семье мне никогда не приходилось встречаться с пьяными, и пьяные очень волновали мое воображение.

В следующий раз я его увидел году в восемнадцатом и потом неоднократно видел вплоть до двадцать первого года. Это был совершенно новый Блок. Мне казалось, что от того Блока, которого я видел в 1911 году, не осталось ни одной черты — до того он изменился. Он больше нисколько не был похож на сомовский портрет. Он весь обрюзг, лицо его стало желтым, широким, неподвижным. Держался он по-прежнему прямо, но располневшее его тело с трудом умещалось во френче, который он носил в те годы. Впрочем, я видел его и в пиджаке. Теперь он казался мне высоким, только когда сидел; когда он вставал, он оказывался человеком чуть выше среднего роста, — у него было длинное туловище и короткие ноги.

Помню, как он читал «Соловьиный сад» в Доме поэтов — учреждении, существовавшем в Петрограде летом и осенью 1919 года. Этот Дом поэтов помещался на Литейном, в том здании, которое известно старым ленинградцам под названием Дома Мурузи. Дом Мурузи должен был быть хорошо знаком Блоку потому, что в нем продолжительное время жили Мережковский и

Гиппиус. Впрочем, в годы революции их там уже не было — они переехали на Сергиевскую, к Таврическому саду. Дом поэтов занимал в Доме Мурузи небольшой зал, отделанный в купеческо-мавританском стиле, и еще две-три комнаты, служившие фойе. Бывал я там мало и припоминаю только о том, что именно там, на каком-то вечере, Виктор Шкловский в ответ на поклон поэта Кельсона повернулся к нему спиной и низко поклонился.

Чтение «Соловьиного сада» происходило почему-то днем, — я хорошо помню, что свет падал на окна, и за окном было солнце. Мне было пятнадцать лет, я знал большинство стихотворений Блока наизусть и боготворил его. Ни одно явление искусства никогда не производило на меня такого впечатления, как в те времена стихи Блока; я все человечество делил на два разряда — на людей, знающих и любящих Блока, и на всех остальных. Эти остальные казались мне низшим разрядом.

Я уселся в первом ряду; никакой эстрады не было. Блок сидел прямо передо мной за маленьким столиком. Читал он негромко, хрипловатым голосом, без очень распространенного тогда завывания, с простыми и трогательными интонациями.

> Как под утренним сумраком чарым
> Лик прозрачный от страсти красив…[1]

Чтение длилось недолго. Когда он кончил, я, потрясенный, первым выскочил в фойе. Вслед за мной потянулись и остальные слушатели. Вышел в фойе и Блок.

Я стоял в углу и благоговейно смотрел на него. Он медленно оглядел всех в фойе своими выцветшими голубыми глазами, словно кого-то ища. Заметив меня в моем углу, он остановил взор на мне и пошел прямо на меня сквозь толпу. Я затрепетал. Он подошел ко мне близко, даже ближе, чем обычно подходят к тому, с кем собираются заговорить. Наклонясь ко мне, он шепотом спросил:

— Где здесь уборная?

Вряд ли он знал, кто я такой. Просто он считал, что с таким вопросом удобнее обратиться к мальчику, чем к взрослому.

Чтение Блока слышал я не раз, и всегда оно потрясало меня. Помню, как он читал «Что же ты потупилась в смущеньи» в так называемом Доме искусств (Мойка, 59). Было это несколько позже — в двадцатом году или в самом начале двадцать первого. Он стоял на невысокой эстраде, где не было ни стола, ни кафедры, весь открытый публике и, кажется, смущенный этим. Зал был купеческий, пышный, с лепниной на белых стенах, с канделябрами в два человеческих роста, с голыми амурами на

плафоне. Блок читал хрипловато, глухим голосом, медленно и затрудненно, переступая с ноги на ногу. Он как будто с трудом находил слова и перебирал ногами, когда нужное слово не попадалось. От этого получалось впечатление, что мучительные эти стихи создавались вот здесь, при всех, на эстраде.

Помню в этом же зале и чтение блоковских «Двенадцати» — тоже году в двадцатом. Читал не Блок, а его жена Любовь Дмитриевна, Блок же только присутствовал на эстраде. На этот раз там стоял столик, ничем не покрытый, Любовь Дмитриевна находилась позади столика, а Блок сидел сбоку на стуле, печально опустив голову и обратив к публике свой профиль. Любовь Дмитриевна читала шумно, театрально, с завыванием, то садилась, то вскакивала. На эстраде она казалась громоздкой и даже неуклюжей. Ее обнаженные до плеч полные желтоватые руки метались из стороны в сторону. Блок молчал. Мне тогда казалось, что слушать ее ему было неприятно и стыдно.

В те времена Горький был председателем правления Дома искусств, а членами правления были и Блок, и мой отец. Отец мой был, по-видимому, очень деятельным членом правления и потому имел позади библиотеки комнатку для занятий — нечто вроде служебного кабинета. В январе 1921 года мой брат и моя сестра заболели скарлатиной, и меня, чтобы уберечь от заразы, родители переселили в Дом искусств, в этот «папин кабинет». Но уже через несколько дней заболел и я. Не знаю, была ли это скарлатина, но проболел я довольно долго и, главное, долго провалялся, потому что и тогда, когда мне было лучше, меня никуда не пускали, чтобы я не разносил заразы. В то время затевался журнал «Дом искусств», редакция которого состояла из Горького, Блока и моего отца. Им удалось выпустить всего два номера журнала, но собирались они часто и трудов положили много.

Одно заседание редакции состоялось как раз в той комнате за библиотекой Дома искусств, где я, выздоравливая, лежал в кровати. Блок пришел первым и, кажется, удивился, увидев меня. Спросил, будет ли здесь Корней Иванович. Негромкий, словно затрудненный голос его звучал глухо. Я, заранее предупрежденный, сказал ему, что отец просит подождать. Блок сел на кровать у моих ног, опустил голову и не сказал больше ни слова. Так прошло, по крайней мере, минут сорок. Темнело. Я смотрел на него сбоку. От благоговения и робости я не осмеливался заговорить, не осмеливался двинуться. Сгорбленный, с неподвижным большим лицом, печально опущенным, он был похож на огромную птицу. Не знаю, думал ли он или дремал. Отец и Горький очень запоздали, но наконец

пришли оба. Отец включил свет, громко заговорил. Блок поднялся и пересел к столу.

Примерно к этому же времени относится посещение Блоком студии Дома искусств и руководимого Н. С. Гумилевым семинара поэзии, в котором я тогда занимался в качестве студиста. Статья Блока «Без божества, без вдохновенья», в которой он выступил против Гумилева, против акмеистов и всей их эстетско-формалистской проповеди, не была еще известна. Но мы, студисты, знали, что отношения между Блоком и Гумилевым неважные. Гумилев на занятиях иногда разговаривал с нами о стихах Блока, и в словах его, сдержанных, сквозила враждебность. В глазах молодежи, вертевшейся вокруг Дома искусств, Блок и Гумилев были соперники, борющиеся за первое место в русской поэзии. Любители поэзии делились на сторонников Блока и на сторонников Гумилева. Конечно, сторонников Блока в широких кругах молодежи было больше, чем сторонников Гумилева. Но в кругах, тяготевших к Дому искусств, преобладали сторонники Гумилева. А уж в семинаре, руководимом Гумилевым, все были его сторонники — кроме меня. Для меня Блок был выше всего на свете.

Блок явился к нам на семинар в сопровождении двух женщин. Помню, одна из них была его тетка Бекетова. Кто была вторая, я забыл; может быть, и не знал. Мы, студисты, человек двенадцать-пятнадцать, сидели вокруг стола, и перед нами лежали расчерченные таблицы, которыми, согласно учению Гумилева, следовало руководствоваться при писании стихов. Стол, стоявший посреди комнаты, был узкий и длинный, и возле узкого его края спиной к двери сидел Гумилев. Когда вошел Блок со своими спутницами, он повернулся и встал. Блок и его дамы уселись не за стол, а на стульях, стоявших у стены. Гумилев опять занял свое председательское место. Решено было, что студисты прочтут свои стихи.

Читали обе сестры Наппельбаум, Константин Вагинов, Даниил Горфинкель и, вероятно, еще кто-то. Я, к счастью, не читал.

Блок слушал хмуро, с брезгливым вниманием. Он не сделал ни одного замечания, ничего не похвалил. Только время от времени просил:

— Еще.

Ему читали еще, а он слушал все так же хмуро.

Кое-кому из читавших задавал он вопросы, но вопросы эти к стихам непосредственного отношения не имели. Фредерику Наппельбаум, например, он спросил:

— Что вы больше всего любите?

И она ответила:

— Ветер.

Пробыв у нас около часа, он ушел с обеими дамами. Так как всем было ясно, что стихи ему не понравились, а между тем все ему прочитанное на семинаре признавалось самым лучшим, то, естественно, участники семинара пришли в недоумение. Глаза Николая Степановича, обычно торжественные, поблескивали насмешливо, и было решено, что Блок либо не понимает в стихах, либо просто относится к студистам недоброжелательно.

Потом я видел его только однажды — на посвященном ему вечере в Большом драматическом театре на Фонтанке. Этот театр, основанный и руководимый Блоком, был впоследствии почему-то назван театром им. Горького. Стояла мокрая, грязная весна. Театр был полон взволнованной толпой. Отец мой прочитал свою статью о Блоке. Потом читал Блок. Я сидел в далекой ложе, и слабый голос его едва до меня доносился через огромный театральный зал. Блок показался мне на этот раз похудевшим и как бы уменьшившимся.

О смерти его я услышал в Псковской губернии, в бывшем гагаринском имении Холомки. Я плакал весь день. Мой приятель и однолеток князь Петя Гагарин, никогда до тех пор не слыхавший о Блоке, спросил меня:

— А что, Блок твой родственник?

Помню, как я в тот день говорил с детской опрометчивостью, что лучше бы уж умер Гумилев, чем Блок.

Встречи с Маяковским

В годы Первой мировой войны я видел Маяковского так часто, что память моя не в состоянии отделить одно его посещение от другого. Он постоянно торчал у нас в нашем куоккальском доме. Лето пятнадцатого года он прожил у нас, но и тогда, когда он жил в Куоккале и других дачах, он почти ежедневно обедал у нас, а когда жил в Петербурге, приезжал к нам по воскресеньям со своими приятелями — Василием Каменским, Бенедиктом Лившицем, Хлебниковым и Кульбиным.

Припоминая разговоры тех времен, я понимаю, что его тогдашнее тяготение к жизни в Куоккале было каким-то образом связано с уклонением от воинской повинности. Я уже тогда знал, что уклоняется он от солдатчины не из трусости, а оттого, что ненавидит войну. Маяковский был первый человек, не зараженный воинственным шовинизмом, которого я увидел.

Если не ошибаюсь, впервые они приехали к нам из города втроем — Маяковский, Каменский и Лившиц. Мне тогда было лет одиннадцать. Они потрясли мое воображение и восхитили меня — три красавца, высокие, молодые, громкоголосые, веселые. Больше всех в тот приезд мне понравился Василий Каменский. Он был самый шумный из всех, и, кроме того, он был летчик или, как тогда говорили, авиатор. За ужином он рассказывал что-то удивительное о полетах, а потом громовым голосом читал своего «Стеньку Разина»:

Сарынь на кичку, ядреный лапоть!

И одет он был не обычно, а в какую-то особую куртку из светло-коричневой кожи, придававшую ему особенно мужественный вид. И русые кудри его вились, и белые зубы блистали. Восхищался им не один я — Илья Ефимыч Репин, тоже сидевший за столом, смотрел на Каменского с умиленным восторгом, а когда тот кончил читать, расхвалил его безудержно, с множеством восклицаний. Репин вообще любил хвалить и восхищаться, и его похвалы, насколько я помню, были всегда так же гиперболичны, как и его порицания.

Но затмить Маяковского Каменскому удалось только в один этот приезд. Потом Маяковский воцарился у нас за столом и, в сущности, в течение двух лет царил за ним безраздельно.

«Облако в штанах» он писал, живя у нас. То есть не писал, а сочинял, шагая. Я видел это много раз. Записывал же значительно

позже.

Наш участок граничил с морским пляжем. Если выйти из нашей калитки на пляж и пойти по берегу моря направо, то окажешься возле довольно крутого откоса, сложенного из крупных, грубо отесанных серых камней, скрепленных железными брусьями. Это массивное сооружение носило в то время название «Бартнеровской стены», потому что принадлежало домовладельцу Бартнеру, не желавшему, чтобы море во время осенних бурь размыло его землю. Бартнеровская стена стоит до сих пор, хотя название ее давно забыто и никому уже не ведомо, что ее построил Бартнер…

Вот там, на Бартнеровской стене, и была создана поэма «Облако в штанах». Маяковский уходил на Бартнеровскую стену каждое утро после завтрака. Там было пусто. Мы с моей сестрой Лидой, бегая на пляж и обратно, много раз видели, как он, длинноногий, шагал взад и вперед по наклонным, скользким, мокрым от брызг камням над волнами, размахивая руками и крича. Кричать он там мог во весь голос, потому что ветер и волны все заглушали.

Он приходил к обеду и за обедом всякий раз читал новый, только что созданный кусок поэмы. Читал он стоя. Отец мой шумно выражал свое восхищение и заставлял его читать снова и снова. Многие куски «Облака в штанах» я помню наизусть с тех пор.

За обеденным столом кроме отца, матери и нас, детей, у Маяковского была еще одна слушательница — жившая у нас в доме моя учительница Евгения Брониславовна. Это была полька из Вильны, совсем молоденькая девушка маленького роста, востроносенькая, с тоненьким, бойким голоском. На Маяковского она смотрела во все глаза, ошеломленно, раскрыв ротик. Когда он появлялся, она сразу замолкала и не могла скрыть волнения, во всяком случае, от меня, знавшего ее лучше, чем другие. Он не обращал на нее никакого внимания, никогда даже не смотрел в ее сторону. За столом в его присутствии она молчала, как немая.

Однако однажды она все-таки заговорила с ним. Конечно, не за столом, не в присутствии моих родителей, а в саду, недалеко от той калитки, которая вела на пляж. Возможно, она нарочно подстерегала его там, зная, что он придет к обеду с моря через эту калитку. Вертелся там и я.

День был мокрый, туманный, тяжелые капли падали с сосен. Маяковский отворил калитку, вошел в сад и крупно зашагал по тропинке, опустив голову и даже не взглянув на Евгению Брониславовну. Но она как-то бочком подкатилась к нему прямо под ноги и вдруг спросила:

— Владимир Владимирович, а что вы хотели сказать, когда написали вот то-то?

Я забыл, какое именно место «Облака в штанах» просила она его разъяснить.

Он посмотрел с высоты своего роста на ее приземистую фигурку, на задранный вверх носик.

— Эх вы, шпулька! — сказал он.

И пошел своей дорогой.

Впоследствии я много раз слышал, будто бы Маяковский был человек грубый. Это глубочайшее заблуждение. В молодости он был человек в высшей степени застенчивый, постоянно преодолевавший свою внутреннюю робость. Я, сам мучительно страдавший от застенчивости, уже и тогда видел это с совершенной ясностью и ни на мгновенье в этом не сомневался. Часто резкость того, что он говорил, зависела именно от этой насильственно преодоленной робости. К тому же от природы был он наделен прелестнейшим даром насмешливости и безошибочным чутьем на всякую пошлость.

Никогда не бывал он резок с теми, кто был слабее его. С детьми он всегда был нежен и деликатен, — я дальше расскажу о его отношении ко мне и к моей сестре. Много раз приходилось мне видеть его с Ильей Ефимовичем Репиным — и у нас в доме, и у Репиных. Их — футуриста и передвижника — в то время многие считали антагонистами, а между тем между ними были самые лучшие отношения — доверчиво-почтительные со стороны Маяковского и ласково-внимательные со стороны Репина. Репин, ненавидевший «Мир искусства» и красневший от гнева при имени Бенуа, которого называл не иначе как Бенуашкой, к Маяковскому относился уважительно и благожелательно. Сидя у отца моего в кабинете, в большом обществе, и кого-нибудь слушая, они обычно что-нибудь рисовали — один в одном углу, другой в другом.

Впоследствии мне не раз приходилось слышать легенду, будто женщины редко влюблялись в Маяковского. Полагаю, что это совершенно неверно. Помню, в те годы в Маяковского пылко была влюблена одна куоккальская дачевладелица, некая г-жа Блинова, и об этой любви ее я слышал от взрослых немало толков.

(Дача Блиновой находилась на Прямой дороге, рядом с дачей родителей художника Юрия Анненкова. У нее были два сына, Зёзя и Кука, один чуть постарше меня, другой моих лет. И Блинову, и ее мальчиков я хорошо знал в течение всей моей куоккальской жизни, но был ли у нее муж, не помню. Это была красивая женщина лет тридцати восьми. Ни к искусству, ни к литературе она не имела никакого отношения, но, как все

куоккальские интеллигенты, бывала и у Репина, и у нас, и у Анненковых, и у Евреинова. Над ее безнадежной любовью к Маяковскому потешался весь куоккальский кружок. Она ловила его на всех углах, делала отчаянные попытки затащить его к себе на дачу, но он бывал у нее редко и неохотно. Родителей моих особенно смешило то, что она, до тех пор сторонница самых мещанских взглядов на искусство, внезапно стала пламенной проповедницей футуризма.)

В те предреволюционные годы в Куоккале среди зимогоров был и Лазарь Кармен, литератор, родом одессит, скромный и красивый человек, бедняк, отличный лыжник, — отец впоследствии весьма известного советского кинооператора Романа Кармена. Этот Лазарь Кармен постоянно бывал и у нас, и у Репиных. Он был музыкален, остроумен и любил исполнять сочиненную им длинную песню на мотив «Барыни», в которой высмеивал все куоккальские сенсации. Песня эта была импровизацией, и текст ее каждый раз менялся, дополнялся. Некоторые из входивших в нее куплетов записаны у отца в «Чукоккале». Я хорошо помню, как голубоглазый кудрявый Кармен, сидя на нашем диване, пел свою «Барыню» в присутствии Маяковского и Репина. Было там и несколько строк, посвященных Блиновой:

С футуристами спозналась,
В футуристки записалась,
Барыня, барыня…

По нашим семейным преданиям, тщательно скрываемым, Маяковский в те годы был влюблен в мою мать. Об этом я слышал и от отца, и от матери. Отец вспоминал об этом редко и неохотно, мать же многозначительно и с гордостью. Она говорила мне, что однажды отец выставил Маяковского из нашей дачи через окно. Если такой эпизод и был, он, кажется, не повлиял на отличные отношения моего отца с Маяковским.

Дальнейшие мои встречи с Маяковским относились уже к первым годам революции. Они спутались у меня в памяти, и я не в силах определить, что было раньше, что позже. Я, например, отлично помню, как мы с отцом вошли в просторную городскую квартиру, почти без мебели, и увидели разложенные на всех полах во всех комнатах большие листы бумаги и Маяковского, который писал на них плакаты. Одни были уже закончены, другие только начаты, и Маяковский показывал их нам, шагая через листы длинными ногами. Там был и еще один художник, такой

же долговязый, как Маяковский, — кажется, Козлинский. Но было ли это в Петрограде в 1918 году или в Москве в 1923–1924 годах, я припомнить сейчас не могу.

В годы Гражданской войны Маяковский часто заезжал в Питер, но на нашу квартиру не заходил никогда. Что было тому причиной — не знаю. Мы с сестрой моей Лидой ходили на все его публичные выступления, и я несколько раз слышал, как он читал «Мистерию-буфф», «150 000 000.», «В сто сорок солнц закат пылал». Мы слушали, потрясенные. Кстати, нигде я не встречал до сих пор упоминания о том, что Маяковский, читая стихи, некоторые места пел. В «Мистерии-буфф» он четыре строчки:

Хоть не чернее снегу-с
Но, тем не менее,
Я абиссинский негус.
Мое почтенье,—

неизменно пел на мотив матчиша.

К нашему с Лидой конфузу, он всегда узнавал нас и после чтения подходил к нам и заговаривал. Говорил он о самых обыденных вещах, спрашивал о здоровье наших родителей, просил передать им привет, при этом ласково трогал нас, окруженных толпою, за плечи, и я от застенчивости впадал в состояние столбняка.

Я был мучительно застенчив в те годы, но однажды, в присутствии Маяковского, проявил неожиданную бойкость и отвагу. Случилось это зимой 1920–21 года, в Доме искусств на Мойке, 59. В один из вечеров там состоялась встреча Маяковского с кучкой петроградских поэтов. Произошла она не в зале, а в сравнительно небольшой комнате. Было всего человек двадцать, и сидели все вокруг длинного стола на тяжелых дубовых стульях с высокими резными спинками. Не было там ни Гумилева, ни, разумеется, Блока. Кто же там был? Я припоминаю с трудом и могу ошибиться, но, вероятно, там были два Жоржика — Иванов и Адамович, — да Оцуп, да Вова Познер, Нельдихен, Лева Лунц, Миша Слонимский, Оленька Зив, Муся Алонкина, Елизавета Полонская, Даниил Горфинкель. Маяковский читал «150 000 000». Мне кажется, что поэма эта была и мне и всем присутствовавшим уже известна. Читал он потрясающе. Но большинство находившихся в комнате относились к нему и к его стихам враждебно. Нравилась поэма только мне, Вове Познеру, Леве Лунцу, но мы были самые младшие, непочтенные и робкие среди присутствующих. Маяковский кончил в полном молчании. Помню, как он, сев за стол (читал он стоя), безуспешно пытался

заставить слушателей заговорить. Никто не сказал ни слова. Тогда он предложил, чтобы и другие читали стихи. Никто не вызвался. Он ждал, переводя взгляд с одного на другого. И вдруг, неожиданно для себя самого, я решился.

Ранней осенью двадцатого года я написал поэму «Новый Евгений Онегин» — о шестнадцатилетнем школьнике и комсомольце. Она была написана онегинской строфой, и это казалось мне чудом поэтической техники. В Студии Дома искусств я читал ее многократно, всем и каждому, — с неизменным неуспехом. У меня хватило наивности прочитать ее в присутствии Маяковского.

Я читал минут двадцать, и в течение всех этих двадцати минут он внимательно слушал, серьезно глядя мне в лицо. Он ни разу не улыбнулся, и это, вероятно, стоило ему больших усилий. Когда я кончил, он спросил, не хочет ли еще кто-нибудь почитать. Желающих не нашлось, и он больше не настаивал. Он, казалось, потерял всякий интерес к этим людям. Устало он поднялся и подошел ко мне.

— Пойдемте, — сказал он. — Я хочу показать вас Лиле.

Оказалось, что он и Лиля Брик остановились тут же, в Доме искусств, в одной из комнат, годных для жилья. Он повел меня через весь дом по переходам и лестницам, держа руку у меня на плече. Так он ввел меня, открыв тяжелую дверь, в просторную комнату, где они жили.

В комнате было не убрано, накурено; вокруг стола, на одном конце которого громоздилась грязная посуда, сидело несколько мужчин и женщин. Они играли в «дурака». На диване спиной ко всем лежал мужчина во френче и в высоких сапогах. Когда мы вошли, небольшая полная женщина была занята тем, что, протянув руку через стол, била картами по носу оставшегося в дураках — по числу очков. Маяковский ждал, когда она кончит.

— Лиля, это Коля Чуковский, — сказал он.

Мужчина на диване повернул лицо и оказался Н. Н. Пуниным. Лиля подошла ко мне, улыбнулась, протянула руку.

— Он сейчас читал мне свою поэму, — продолжал Маяковский. — Она называется «Новый Евгений Онегин».

— И что же, лучше старого? — спросила Лиля.

Маяковский задумался.

— Нет, пожалуй, немного хуже, — сказал он, не улыбнувшись.

Я застеснялся и убежал.

В последний раз видел я Маяковского уже незадолго до его смерти, — на спектакле пьесы «Клоп» в Выборгском Доме

культуры, в Ленинграде. Пошел я туда с мамой, по ее просьбе. Никто нас туда не приглашал, — мама, видимо, просто купила билеты. Она надела черное шелковое платье и, кажется, волновалась. В антракте Маяковский медленно прошел к сцене через зал между стульями. Мы впервые видели его с бритой головой. Маму мою это поразило. Он вообще показался ей очень изменившимся. Она почему-то считала его несчастным.

О смерти его я слышал то же, что и другие, — слухи ходили самые разнообразные и противоречивые. Много лет спустя, в 1948 году, я проводил лето со своей семьей в деревне Вертушино, рядом с литфондовским санаторием имени Серафимовича, известным под названием Малеевки. В Малеевке в то лето отдыхала Ольга Владимировна Маяковская, которой я до той поры никогда не видел. Узнав, что я живу неподалеку, она пожелала со мной познакомиться и пришла к нам с визитом. Это была крупная женщина лет пятидесяти, очень похожая на брата не только лицом, но и манерой говорить. Уже тогда на ней заметны были следы тяжелого заболевания сердца, которое через несколько лет привело ее к смерти, — она страдала одышкой, на лице ее была отечность. И мне и жене она была очень мила, и после первого визита она, гуляя, стала заходить к нам каждый день.

И вдруг ее посещения прекратились.

Она не появлялась у нас больше недели. Мы с женой забеспокоились, полагая, что она заболела. Мы навели справки через знакомых отдыхающих и выяснили, что действительно она безвыходно сидит в своей комнате и не появляется даже в столовой.

Однако скоро мы узнали, что она здорова. Как передала она нам через общих знакомых, дело объяснялось тем, что в Малеевку приехал В. В. Ермилов. Не желая с ним встречаться, она десять дней не выходила из своей комнаты. Потом, не надеясь его переждать, уехала.

Она не скрывала, что считала В. В. Ермилова виновным в смерти своего брата.

Николай Гумилев

Я впервые увидел Николая Степановича Гумилева в Куоккале, у нас в саду, летом 1916 года, в одно из воскресений. Он тогда был мало знаком с моими родителями и приехал в черной визитке, в крахмальном воротнике, подпиравшем щеки. Стояла жара, гости пили чай в саду под елкой, и было жутко и жалко смотреть на тощего прямого человека в черном с задранной неповорачивающейся головой. Он был похож на того копченого сига, надетого на торчавшую изо рта палочку, которым моя мама неизменно угощала наших воскресных гостей.

Такой он был всегда — прямой, надменный, выспренный, с уродливым черепом, вытянутым вверх, как огурец, с самоуверенным скрипучим голосом и неуверенными, добрыми, слегка косыми глазами. Он вещал, а не говорил, и хотя имел склонность порою тяжеловесно и сложно пошутить, был полностью лишен юмора.

Следующий раз я увидел его через два года — в конце лета восемнадцатого. Папа, которого я во время его походов по городу сопровождал, как собачонка, забрел в редакцию журнала «Аполлон». Редакция этого изысканного художественного журнала помещалась в самой грязной булыжно-торговой части города — на углу Разъезжей и Николаевской. «Аполлон» в 1918 году уже не издавался, но помещение редакции еще имело прежний вид — гипсовая копия Аполлона Бельведерского в углу и длинный ряд канцелярских столов. В одной из задних комнат этой редакции жил Н. С. Гумилев.

Он был все такой же, события нисколько его не изменили. С тех пор я видел его часто. Вместе с моим отцом и Блоком он был приглашен Горьким к созданию издательства «Всемирная литература», и все они постоянно встречались. С осени 1918 года мы жили на Манежном переулке, а коллегия «Всемирной литературы» собиралась на Моховой, совсем близко от нас, и после заседаний отец нередко приводил с собой Николая Степановича. Помню, он однажды обедал у нас, раза два ужинал. За обедом у нас он познакомился с двумя прехорошенькими и очень светскими барышнями Терещенко. Это были дочери того богатейшего сахарозаводчика Терещенко, который при Керенском был министром финансов. Гумилев, видимо, несколько растерялся в их присутствии, потому что отец мой после обеда сказал мне:

— Никогда не думал, что Николай Степанович способен так робеть в женском обществе. Он вел себя, как гимназист.

Отец мой не любил его стихов и называл их «стекляшками».

В эпоху борьбы Гумилева с Блоком в 1920–1921 гг. я был ярый блокист, тоже охотно бранил его стихи. Но и в моей жизни был период, когда я увлекался Гумилевым — осень 1918 года. Мне попалась его книга «Романтические цветы», и я выучил ее всю наизусть, восхищаясь нарядностью стихов. Очевидно, я уже тогда читал ему свои младенческие вирши, потому что он подарил мне «Жемчуга» с такою ласково-насмешливою надписью:

«Коле Чуковскому, моему собрату по перу.
18 ноября 1918 года».

Впоследствии эту книжку у меня украли.

В период моего увлечения Гумилевым я как-то привел его к нам в Тенишевское училище. Было это не позже 1919 года. И учащиеся и учителя приняли его, как вельможу. Прием происходил в нашей просторной учительской, Николая Степановича посадили во главе длинного стола педагогического совета, под портретом Острогорского. Учителя были в полном составе, из учащихся старших классов присутствовали только те, которые особенно интересовались литературой. Тенишевские поэты читали свои стихи, а Николай Степанович слушал с торжественным неподвижным лицом и после каждого стихотворения делал краткие благосклонные замечания. Уходя, он предложил тенишевским поэтам запросто приходить к нему в гости.

Его приглашением воспользовались трое: я, Лена Гейкина и рыжий еврейский мальчик Яша Бронштейн. Дальнейшая судьба этого Яши Бронштейна была героична и трагична, — родители, сочувствовавшие кадетам, увезли его в Крым, к Врангелю, там он вступил в подпольную комсомольскую организацию и был повешен врангелевцами в Джанкое. Но случилось это позже, а в тот зимний день, когда мы втроем шагали по Николаевской к Гумилеву, Яша Бронштейн был еще пятнадцатилетним мальчуганом.

Так я во второй раз попал в бывшую редакцию «Аполлона». Никаких следов редакции уже не осталось, — это была теперь жилая квартира, холодная, запущенная, почти без мебели. Статуя Аполлона Бельведерского исчезла, но зато в просторной редакционной приемной на стене висел громадный, во весь рост, портрет Анны Ахматовой, не знаю, чьей работы, поразительно похожий. К тому времени Николай Степанович был уже с Ахматовой давно в разводе и в плохих отношениях, и потому увидеть портрет ее в этой комнате мы не ожидали.

Шумно пылал огонь в большом камине. Перед камином на

стопочке книг сидел Николай Степанович, поджав колени к подбородку. На нем была темная домашняя курточка, самая затрапезная, но и в ней он казался таким же торжественным и важным, как всегда. Нас, попритихших и испуганных, он принял серьезно, как равных. Он усадил нас перед камином на книги и объяснил, что все редакционные столы и стулья он уже сжег. И я с удивлением увидел, что в камине пылают не дрова, а книги, — большие толстые тома. Николай Степанович сообщил нам, что он топит камин роскошным тридцатитомным изданием сочинений Шиллера на немецком языке. Действительно, издание было роскошнейшее, — в тисненных золотом переплетах, с гравюрами на меди работы Каульбаха, проложенными папиросной бумагой. Брошенный в пламя том наливался огнем, как золотой влагой, а Николай Степанович постепенно перелистывал его с помощью кочерги, чтобы ни одна страница не осталась несгоревшей.

Мне стало жаль книг, и я имел неосторожность признаться в этом. Николай Степанович отнесся к моим словам с величайшим презрением. Он объяснил, что терпеть не может Шиллера и что люди, любящие Шиллера, ничего не понимают в стихах. Существуют, сказал он, две культуры, романская и германская. Германскую культуру он ненавидит и признает только романскую. Все, что в русской культуре идет от германской, отвратительно. Он счастлив, что может истребить хоть один экземпляр Шиллера.

Мы почтительно промолчали, хотя я от всей души любил Шиллера, известного мне, правда, только по переводам Жуковского. У Николая Степановича его германофобия была пережитком шовинистических настроений 1914 года. Но он вообще был галломан и ставил французскую поэзию несравненно выше русской. Кроме того, теория о двух культурах, романской и германской, помогала ему в борьбе с влиянием Блока, которого он объявлял проводником германской культуры.

Робко сидя на стопках книг, предназначенных для сожжения, мы стали читать свои жалкие детские стишки. Николай Степанович слушал нас, как всегда, торжественно и абсолютно серьезно. У него было удивительное качество, — он относился к детям так же, как к взрослым, нисколько их от взрослых не отличал. Помню, он утверждал, что совершеннолетие человека наступает в одиннадцать лет и что непонимание этого — одно из величайших заблуждений человечества. Он предъявил к нашим стихам точно такие же требования, какие предъявлял к стихам взрослых поэтов, и делал такие же замечания. Не помню, что сказал он о стихах моих и Гейкиной. В стихотворении Яши Бронштейна каждое четверостишие начиналось со слов: «Я иду…»

По этому поводу Николай Степанович объяснил нам, что всегда, когда поэту нечего сказать, он пишет: «Я иду…»

В последний раз в бывшей редакции «Аполлона» я побывал на Рождестве. Не могу сейчас сообразить, было ли это Рождество девятнадцатого или двадцатого года. Меня и сестру мою Лиду пригласили на елку к сыну Николая Степановича Леве. На этот раз в комнате было тепло, сверкала разукрашенная елка, в камине пылали настоящие дрова. Никого из гостей, бывших в этот вечер, я не запомнил. Вокруг елки бегал и прыгал семилетний Лева, сын Гумилева и Ахматовой, нисколько меня, пятнадцатилетнего балбеса, не интересовавший. Николай Степанович поглядывал на него с нежностью и торжественно сказал о нем:

— Это мой Гумильвенок!

У Николая Степановича была прекрасная черта, — он постоянно внушал всем окружающим, что поэзия — самое главное и самое почетное из всех человеческих дел, а звание поэта выше всех остальных человеческих званий. Слово «поэт» он произносил по-французски «poéte», а не «паэт», как произносили мы, обыкновенные русские люди. В этом отношении дальше его пошел один только Мандельштам, который произносил уже просто: пуэт. Неоднократно слышал я от Гумилева утверждение, что поэт выше всех остальных людей, а акмеист выше всех прочих поэтов. А так как окружающим его было ясно, что он лучший из акмеистов, то нетрудно понять, откуда проистекала у него уверенность в своем превосходстве над всеми.

Про Гумилева говорили, что он был хорошим товарищем, и, вероятно, это правда. Он был преданным другом и неутомимым покровителем своих довольно многочисленных друзей. Но точнее было бы сказать, что он был отличным организатором и превосходно умел использовать людей. За годы с 1918-го по 1921-й он проделал в Ленинграде колоссальную организационную работу. Он организовал несколько издательств — в невероятно трудных условиях разрухи — и издал и переиздал в этих издательствах ряд сборников стихов, своих и своих друзей. Он воссоздал «Цех поэтов» — так называемый «Новый цех», в отличие от старого «Цеха поэтов», существовавшего перед революцией. Он создал «Звучащую раковину» — нечто вроде дочернего предприятия при «Цехе поэтов». Он создал петроградское отделение «Союза поэтов» и стал его председателем, потеснив Блока. Он принимал самое деятельное участие в создании Дома поэтов на Литейном и Дома искусств на Мойке и играл важную роль в обоих этих учреждениях. Он организовал семинар по поэзии в Студии при Доме искусств и был бессменным его

руководителем. В созданном Горьким издательстве «Всемирная литература» он тоже был влиятельным человеком, руководя там всеми стихотворными переводами с западных языков. Таким образом, все многочисленные поэты Петрограда того времени, и молодые и старые, находились в полной от него зависимости. Без санкции Николая Степановича трудно было не только напечатать свои стихи, но даже просто выступить с чтением стихов на каком-нибудь литературном вечере. Одно только издательство «Алконост» осталось независимым от Николая Степановича. «Алконост» выпускал книги Блока.

Восстановленный «Цех поэтов» был как бы штабом Гумилева. В него входили только самые близкие, самые проверенные. «Цех» был восстановлен в восемнадцатом году и вначале — на самой узкой основе. Из дореволюционных акмеистов в него не входили ни Ахматова, ни Зенкевич, ни Городецкий, ни Мандельштам. (Из этих четверых одна только Ахматова в то время находилась в Петрограде.) Первоначально членами «Нового цеха» были только Гумилев, Георгий Иванов, Георгий Адамович, Николай Оцуп и Всеволод Рождественский. Потом была принята Ирина Одоевцева — взамен изгнанного Всеволода Рождественского. К началу 21-го года членами «Цеха» стали С. Нельдихен и Конст. Вагинов. Но настоящим штабом был не весь «Цех», а только четверо: Гумилев, Иванов, Адамович и Одоевцева. Только они были соединены настоящей дружбой. Остальные были не друзья, а «нужность».

И самой нужной из этих «нужностей» был Николай Авдеевич Оцуп. Если «Цех» был штабом Гумилева, то Оцуп играл роль административно-хозяйственного отдела штаба. На нем лежала вся практическая сторона издательских затей Николая Степановича. Это он неведомыми путями добывал бумагу для всех стихотворных сборников, это он устанавливал связи с руководителями национализированных типографий, обольщая и запугивая их славой Николая Степановича. Кроме того, он попросту снабжал Гумилева и своих товарищей по «Цеху» провизией, что было делом немаловажным в те скудные годы. Как простой мешочник, запасшись выхлопотанной в Петросовете по знакомству «провизионкой», разъезжал он по станциям Витебской железной дороги и привозил в Петроград муку, крупу, свинину, сахар. Николай Степанович расплачивался с ним, печатая его стихи, позволяя ему выступать рядом с собой на литературных вечерах, хваля его дарование. Впрочем, и в «Цехе», и вокруг «Цеха» знали ему настоящую цену и суть его отношений с Гумилевым. Помню, как Георгий Иванов в одном из закоулков Дома искусств читал под секретом свое стихотворение об Оцупе, в котором были такие строчки:

Съезжу в Витебск, в Могилев, —
Пусть похвалит Гумилев.

В одном из стихотворений Оцупа было неграмотное выражение «умеревший офицер», и Георгий Иванов очень потешался над ним, — конечно, за глаза.

Блок говорил, что Оцуп — это не человек, а учреждение, и расшифровывал его так: Общество Целесообразного Употребления Пищи. Как-то я сказал моему другу Вове Познеру, что на слово «Оцуп» нет рифмы. Но для Познера не существовало слов, которые невозможно зарифмовать. Подумав минуту, Познер сказал мне следующие две строчки:

Николай Авдеевич Оцуп —
Он сует прилежно в рот суп.

И действительно, Оцуп прилежнейше совал себе в рот суп, и не только суп. Никогда не забуду одной сцены, в которой он показал себя во всем своем блеске. Мы, студенты, стояли в очереди на кухне Дома искусств, у кухонного стола. Дело в том, что нам как учащимся дважды в неделю полагалось по дополнительной осьмушке фунта хлеба. По-нынешнему осьмушка — пятьдесят граммов, т. е. один ломтик. Наша уполномоченная, Марья Сергеевна Алонкина, уехала за хлебом, а мы стояли и ждали. Мы ждали уже больше часа, когда явился Оцуп, плотный, румяный, напудренный, с толстыми ляжками и икрами, в отличном пиджаке, в франтовских полуботинках с острыми носками, и, кивнув кое-кому из нас головой, постучал в дверь людской. В людской при кухне Дома искусств жила некая Марья Васильевна, доставшаяся нам от старого режима, — до революции она жила в этой же людской, так как служила кухаркой у купцов Елисеевых, которым принадлежал дом, ставший потом Домом искусств. Под мышкой Оцуп держал что-то, завернутое в газету. Когда Марья Васильевна вышла на стук, Оцуп развернул перед ней газету, в которой оказалась курица, зарезанная, но не ощипанная. Он попросил Марью Васильевну зажарить ему эту курицу.

— Я вернусь через полтора часа, — сказал он и ушел.

Мы продолжали стоять и ждать хлеба. Марья Васильевна растопила плиту, ощипала курицу, вычистила, опалила ее над огнем. Алонкина все не возвращалась с хлебом, и мы продолжали ждать. Курицу стали жарить, и нестерпимо упоительные запахи переполнили просторную кухню. Хлеба все не было.

Наконец вернулся и Оцуп. Он уселся за кухонный стол, перед которым мы стояли в хвосте. Марья Васильевна подала ему курицу на большой тарелке, ножик, вилку. Он вынул из кармана хлеб, завернутый в бумагу, пакетик соли и принялся за еду. У него были крепкие зубы, и куриные кости громко хрустели. Только один раз он оторвал глаза от курицы, посмотрел на нас и сказал:

— Я не могу позволить себе голодать.

Когда он поел и ушел, явилась наконец и наша Марья Сергеевна с хлебом. Она раскромсала пять фунтов хлеба на сорок частей, каждый из нас взял по ломтику и ушел.

Среди прочих «нужных людей» Николая Степановича помню я и некоего Верина. Это был тщедушный, жалкого вида человечек с мятой, неопределенного возраста физиономией. Появлялся он в визитке, в накрахмаленном белье, в лакированных полуботинках, и все это сидело хомутом на его убогом тельце, и пахло нафталином, и казалось странным в ту эпоху френчей, гимнастерок и толстовок. Когда он пронзительным высоким голосом читал свои стихи, на его кисленьком кривеньком личике появлялось выражение неистовства и восторга. Стихи были ужасные, никто не слушал их всерьез, все смеялись. Но у Верина был папа, которому до революции принадлежало громадное мукомольное предприятие — та колоссальная мельница возле Невской заставы, которая сейчас носит название «Мельница им. Ленина». Мельницу отобрали, но какие-то связи с мукомольной промышленностью у папы Верина еще сохранялись, и поэт Верин (несомненно, это был псевдоним) мог принести некоторую пользу людям, способствовавшим его славе.

Стихов Верина Николай Степанович не печатал никогда, но давал ему выступать на литературных вечерах, устраиваемых «Цехом». Один такой вечер «Цеха» с участием Верина я хорошо помню.

Помню вечер «Цеха поэтов» в одном из трех первых месяцев двадцать первого года, в Доме искусств, в том самом зале с расписным плафоном, в котором я слышал Блока. Участвовали все поэты «Цеха» и несколько молодых, которым они оказывали покровительство.

Зал был полон. Первым читал Гумилев. Я очень много раз слышал его чтение и в молодости умел похоже изображать его. Он читал с откровенным завыванием, как читали все акмеисты, подчеркивая голосом не смысловую, а ритмическую основу стиха, т. е. метр и синтаксис. В то время, к концу жизни, Гумилев находился в самом расцвете своего дарования. Он писал очень много, освобождаясь от многочисленных влияний, наложивших

печать на творчество его молодости, — главным образом, от влияния Валерия Брюсова, — и стихи его становились все серьезнее, своеобразнее и сложнее. Аудитория слушала его восторженно. Читал он недолго, чтобы поскорее уступить место своим друзьям.

Из всех выступавших в тот вечер один Гумилев произносил все согласные звуки русской речи. Остальные шепелявили, картавили и грассировали — каждый на свой манер. У каждого это был врожденный недостаток, но он превратился как бы в отличительный признак акмеистов второго поколения, и притом признак, подававшийся нам как особого рода шик. И у Рождественского, и у Ирины Одоевцевой была изысканнейшая каша во рту, но сильнее шепелявил Георгий Иванов. Он читал стихи примерно так:

Сооноватый ветей дысет,
Зееноватый сейп встает,
Настоозивсись, ухо сьисет
Согьясный хой земьи и вод.

В тот вечер Гумилев, окончив читать свои стихи, превратился в конферансье. Перед выступлением каждого он выходил на эстраду и представлял выступающего публике. Конечно, начал он с Георгия Иванова и Георгия Адамовича, о которых отзывался всегда как о крупнейших, замечательнейших поэтах. По его словам, они олицетворяли внутри «Цеха» как бы две разные стихии — Георгий Иванов стихию романтическую, Георгий Адамович — стихию классическую. В действительности же, как в этом легко убедиться, стихи обоих Жоржиков были настолько похожи, что кажется, будто их написало одно лицо. У них были одни и те же достоинства, одни и те же слабости. Достоинства их заключались в том, что они тонко и умело владели аппаратом русского стиха, созданным блистательным развитием русской поэзии в первые два десятилетия нашего века. Слабости же — в том, что им совершенно нечего было сказать людям. В сущности, их искусство больше всего напоминало искусство аптекарей: они снова и снова смешивали между собой влияния Брюсова, Сологуба, Бориса Садовского, Игоря Северянина, создавая новые дозировки, все новые комбинации тех же элементов.

Оцупа Николай Степанович представил аудитории почти так же пышно, как обоих Жоржиков. Органическое нахальство Оцупа, невольно прорывавшееся в его виршах, выдавалось за особую мужественность. Очень хорошо помню, что Гумилев назвал его в тот вечер новым Франсуа Вийоном.

Но с особой любовью Гумилев говорил об Ирине Одоевцевой. В двадцатом и двадцать первом году в кругу, примыкавшем к «Цеху поэтов», она стала общей любимицей. И были тому важные причины, на которых следует остановиться.

По-настоящему звали ее Рада Густавовна Гейнеке, она была барышня из петербургской немецкой чиновничьей среды. В литературной среде появилась она осенью 1919 года, поступив студенткой в только что основанную Горьким Студию. Вначале никто на нее особенного внимания не обратил, хотя она была женщина с примечательной внешностью: гибкая, тонкая, с узким лицом, с узкими длинными пальцами, с пышнейшей короной темно-рыжих волос цвета старой бронзы, с зеленовато-голубыми глазами, с очень тонкой кожей той особой белизны, которая бывает только у рыжих. В одной из своих ранних баллад она говорит о себе как о перевоплощении кошки. Гумилев в посвященном ей стихотворении «Лес» назвал ее «женщиной с кошачьей головой». Но, повторяю, вначале никто на нее не обращал внимания, несмотря на ее внешность и несмотря даже на то, что она в своей стремительной кокетливой речи не произносила по крайней мере половины букв русской азбуки, что, как я уже говорил, почиталось в том кругу признаком величайшей изысканности. Она была всего только студисткой, а важные члены «Цеха поэтов», настоящие, признанные поэты, нас, студистов, почти не замечали и держали себя с нами свысока. И вдруг все переменилось. Рада Гейнеке, сделавшись Ириной Одоевцевой, стала центром всего примыкавшего к «Цеху поэтов» круга, стала душой этого круга, предметом его восхищения и почитания. Все мы знали тогда посвященное ей стихотворение Гумилева «Лес», которое заканчивается так:

Я придумал это, глядя на твои
Косы-кольца огневеющей змеи,
На твои зеленоватые глаза.
Как персидская больная бирюза.
Может быть, тот лес — душа твоя,
Может быть, тот лес — любовь моя,
Или, может быть, когда умрем,
Мы в тот лес направимся вдвоем.

А Георгий Иванов влюбился в нее пламенно, бурно и так, что об этом сразу узнали все. Он бегал за ней и робел перед нею, и, помню, отец мой с удивлением говорил мне, что не ожидал, что он способен так по-мальчишески робко и простодушно влюбляться в женщину. Через несколько месяцев он женился на

ней.

Ирина Одоевцева пользовалась успехом не только как женщина, но и как поэт. Основная причина успеха ее стихов в кругу «Цеха поэтов» заключалась в том, что она первая как поэт нашла прием, с помощью которого они могли выразить свое отношение к революции.

Если вы просмотрите все многочисленные сборники стихов, выпущенные «Цехом поэтов» между 1918 и 1922 годами, вы обнаружите, что в них нет даже намеков на происходившие тогда столь грандиозные революционные события. Нынешний читатель, вероятно, объяснит себе этот удивительный факт тем, что члены «Цеха поэтов», относившиеся к революции отрицательно, лишены были возможности высказать свои взгляды в книжках, проходивших советскую цензуру. И ошибется. Военная цензура, единственная цензура, существовавшая в Советской России в годы Гражданской войны, была столь нестрогой, что для высказывания в стихах любых взглядов поэтам не нужно было бы прибегать даже к эзопову языку, а разве лишь самому прозрачному иносказанию. Нет, дело здесь не в цензуре. Поэты этого круга молчали о революции, потому что у них не было слов для выражения своего отношения к ней.

Революция ощущалась ими, эстетами, прежде всего как происшествие чрезвычайно дурного тона; настолько дурного тона, что о нем неприлично даже упоминать; и уж во всяком случае неприлично упоминать в такой изысканной сфере человеческой духовной жизни, как поэзия.

И сторонники революции, и ее враги говорили о ней публицистическим газетным языком. А язык этот в их представлении был верхом безвкусицы, и людей, пользовавшихся им, они не считали даже людьми. В слове их интересовал не смысл его, а его стилистическое звучание. Слова газетного языка им казались «мертвыми», а в программном стихотворении Гумилева «Слово» сказано:

> И как пчелы в улье опустелом
> Дурно пахнут мертвые слова.

«Живыми» словами они считали только слова, над которыми Брюсов, Иннокентий Анненский, Кузмин расставили стилистические значки, ведомые лишь небольшому кругу посвященных. Но никакие новые комбинации этих слов, созданных для изображения условного мира, не могли пригодиться для изображения мира действительного. Отвергнув «мертвые слова», деятели «Цеха поэтов» долго вынуждены были

молчать о грандиозных событиях революции, вызывавших у них страх и ненависть.

Ирина Одоевцева изобрела способ говорить «живыми словами» если не о революции, так хотя бы о некоторых чертах быта эпохи Гражданской войны. О самых низменных чертах быта, бросавшихся в глаза мещанину, — о мешочниках, спекулянтах, бандитах. В деланно-жеманных балладах условными «живыми словами» она изображала трудный быт революционных годов как нагромождение причудливых, бессмысленных и жестоких нелепостей. И этим сразу завоевала сердца всего «Цеха».

Но вернемся к вечеру, на котором Гумилев исполнял роль конферансье. После Ирины Одоевцевой он представил публике поэта Нельдихена. Сергей Евгеньевич Нельдихен-Ауслендер был высокий тощий детина с длинным гоголевским носом. Вообще в его лице было что-то гоголевское, и он старательно подчеркивал это сходство, нося гоголевскую прическу и особую бархатную пелерину, скроенную «по-гоголевски». Он пользовался твердой репутацией дурака, по-моему, им не заслуженной. Он был плут, фантазер и чудак, но Николай Степанович говорил о нем в тот вечер именно как о дураке.

Вот что приблизительно он сказал о Нельдихене:

— Все великие поэты мира, существовавшие до сих пор, были умнейшими людьми своего времени. И Гомер, и Вергилий, и Данте, и Ронсар, и Корнель, и Бодлер, и Рембо, и Державин, и Пушкин, и Тютчев заслуженно прославились не только своим мастерством, но и своим умом. Будучи умными людьми, они, естественно, в своем творчестве изобразили мир таким, каким его видят умные люди. Но ведь умные люди — это только меньшинство человечества, а большинство состоит из дураков. До сих пор дураки не имели своих поэтов, и никогда еще мир не был изображен в поэзии таким, каким он представляется дураку. Но вот свершилось чудо, — явился Нельдихен — поэт-дурак. И создал новую поэзию, до него неведомую — поэзию дураков.

Гумилев произнес это торжественно, как и все. Публика выслушала его растерянно, не зная, следует ли это принимать всерьез или как шутку. Разумеется, это была шутка, — подобно многим лишенным юмора людям, Николай Степанович имел пристрастие к несколько тяжеловесному остроумию. Нельдихен стоял рядом и невозмутимо слушал. Потом прочел отрывки из своей поэмы «Органное многоголосье»:

Женщины, двухсполовинойаршинные куклы,
Прекрасноглазые, бугристотелые,
Как мне нравятся такие женщины!

Успех был огромный. Сидевший рядом со мной мой приятель Вова Познер поднялся на эстраду и под радостные клики всего зала преподнес Нельдихену большую заранее заготовленную морковку. Нельдихен принял морковку с поклоном и сунул ее в жилетный карман, как цветок.

Пришел черед читать Верину. Гумилев ограничился тем, что назвал только его имя, притом с таким видом, что всем все стало ясно. Маленький, тщедушный человечек в лакированных полуботинках, с напудренным длинным лицом выскочил на эстраду и, размахивая руками, стал читать стихи таким отчаянным натужным голосом, словно хотел выскочить из самого себя. Помню, у нас было стихотворение, в котором «Трокадеро» рифмовалось с «Пьеро». В эстетских кругах писать о Пьеро было модно в 1912 году. В 1921 году это было уже безнадежно провинциально и безвкусно.

— Мерин! — кричали мы с Вовой Познером исступленно. — Браво, мерин! Бис, мерин! Мерин, мерин!..

В студии, которая вначале именовалась Студией издательства «Всемирная литература», а потом Студией Дома искусств, Гумилев две зимы вел семинар по поэзии — зиму 1919–20 и зиму 1920–21 годов. Я был усердным посетителем этого семинара в течение обеих зим. Впоследствии, спустя десятилетия, многие любопытствующие расспрашивали меня, что преподавал Гумилев на этом семинаре. О семинаре Гумилева в среде любителей поэзии сложилось немало легенд, и от меня хотели узнать, что в этих легендах правда, а что — вымысел. Особенно упорным является предположение, будто Гумилев заставлял своих учеников чертить таблицы и учил их писать стихи, бросая на эти таблицы шарик из хлебного мякиша. Так вот, что было и чего не было: таблицы были, шарика не было.

Гумилев представлял себе поэзию как сумму неких механических приемов, абстрактно заданных, годных для всех времен и для всех поэтов, не зависимых ни от судьбы того или иного творца, ни от каких-либо общественных процессов. В этом он перекликался с так называемыми «формалистами», группировавшимися вокруг общества «Опояз» (Виктор Шкловский, Роман Якобсон, Б. Эйхенбаум и др.). Но в отличие от теорий опоязовцев, опиравшихся на университетскую науку своего времени, теории Николая Степановича были вполне доморощенными. Для того чтобы показать уровень лингвистических познаний Гумилева, приведу только один пример: он утверждал на семинаре, что слово «семья» произошло

от слияния двух слов «семь я», и объяснял это тем, что нормальная семья состоит обычно из семи человек — отца, матери и пятерых детей. Все это мы, студенты, добросовестно записывали в свои тетради.

Стихи, по его мнению, мог писать каждый, для этого следовало только овладеть приемами. Кто хорошо овладеет всеми приемами, тот будет великолепным поэтом. Чтобы легче было овладевать приемами, он их систематизировал. Эта систематизация и была, по его мнению, теорией поэзии.

Теория поэзии, утверждал он, может быть разделена на четыре отдела: фонетику, стилистику, композицию и эйдологию. Фонетика исследует звуковую сторону стиха — ритмы, инструментовку, рифмы. Стилистика рассматривает впечатления, производимые словом, в зависимости от его происхождения. Все слова русской речи Николай Степанович по происхождению делил на четыре разряда: славянский, атлантический, византийский и монгольский. В славянский разряд входили все исконно русские слова, в атлантический — все слова, пришедшие к нам с запада, в византийский — греческие, в монгольский — слова, пришедшие с востока. Композиция тоже делилась на много разрядов, из которых главным было учение о строфике. Эйдологией он называл учение об образе (эйдол — идол — образ).

Так как каждый отдел и каждый раздел делились на ряд подотделов и подразделов, то всю теорию поэзии можно было вычертить на большом листе бумаги в виде наглядной таблицы, что мы, участники семинара, и обязаны были делать с помощью цветных карандашей. Подотделы и подразряды располагались на этой таблице таким образом, что составляли вертикальные и горизонтальные столбцы. Любое стихотворение любого поэта можно было вчертить в эту таблицу в виде ломаной линии, отдельные отрезки которой располагались то горизонтально, то вертикально, то по диагонали. Чем лучше стихотворение, тем больше различных элементов будет приведено в нем в столкновение и, следовательно, тем больше углов образует на таблице выражающая его линия. Линии плохих стихов пойдут напрямик — сверху вниз или справа налево. Таким образом, эта таблица, по мнению ее создателя, давала возможность не только безошибочно и объективно критиковать стихи, но и писать их, не рискуя написать плохо.

Мы, студисты, усердно сидели над своими таблицами и тем не менее писали на удивление скверные вирши. На семинарах мы читали их поочередно, по кругу, и Николай Степанович судил нас. Когда по кругу приходила его очередь, читал и он — новые

стихи, написанные в промежутке между двумя семинарами. Он много писал в те годы, то были годы расцвета его дарования, он писал все лучше. Не знаю, пользовался ли он сам своими таблицами. Одно для меня несомненно, — к таблицам он относился совершенно серьезно.

Вся эта наивная схоластика была от начала до конца полемична. Она была направлена, во-первых, против представления, что поэзия является выражением тайного тайных неповторимой человеческой личности, зеркалом подлинной отдельной человеческой души, и, во-вторых, против представления, что поэзия отражает общественные события и сама влияет на них. В те годы оба эти враждебные Гумилеву представления о поэзии с особой силой были выражены в творчестве Блока. Стихи Блока представляли собой лирический дневник, отражавший душевную жизнь одной отдельной человеческой личности, и в то же время именно Блок написал поэму «Двенадцать», изобразившую Октябрьскую революцию. И все эти таблицы с анжамбеманами, пиррихиями и эйдологиями были вызовом Блоку.

Блок, между прочим, отлично понимал, в кого метит Гумилев, не был к его проповеди равнодушен и ответил на нее блестящей статьей: «Без божества, без вдохновенья».

На семинарах Николая Степановича я хорошо изучил его вкусы и литературные мнения. Для них прежде всего была характерна галломания. На семинаре он постоянно твердил имена Ронсара, Франсуа Вийона, Расина, Андре Шенье, Теофиля Готье, Леконта де Лиля, Эредиа, Бодлера, Рембо, Маллармэ, Гийома Аполлинера. Казалось, самый звук этих имен доставлял ему наслаждение. Из русских классиков он признавал только Державина, Пушкина, Баратынского и Тютчева. Ко всем остальным относился презрительно, даже к Лермонтову. Жуковского, А. К. Толстого и Некрасова терпеть не мог. Фет и Полонский в его устах были пренебрежительные клички. Надсона он считал самым плохим поэтом в мире.

Из русских поэтов XX века он полностью принимал одного только Иннокентия Анненского и всегда ставил его на самое первое место. К Валерию Брюсову — несомненному своему учителю — он относился как к явлению почтенному, но смешноватому, устаревшему, вышедшему из моды. Ценил он отчасти и Сологуба, но обвинял его в неточном употреблении слов. Бунина он не признавал поэтом, Бальмонта и Северянина презирал. К Маяковскому относился, разумеется, совершенно враждебно, и из футуристов с некоторым уважением говорил только о Хлебникове.

Прозы он не любил никакой и всю ее считал как бы чем-то низшим в отношении поэзии, — так сказать, недоделанной поэзией. Русской же прозы он особенно терпеть не мог. Имен Льва Толстого и Чехова он не произносил никогда, о Тургеневе говорил с гадливостью, как о Надсоне. С некоторым уважением отзывался он только об «Огненном ангеле» Брюсова и повестях Сергея Ауслендера. Само собой разумеется, что всю прозу Горького он считал находящейся вне литературы. А стихи Горького очень его смешили. Помню, он не раз говорил нам на семинаре, что самая плохая строчка во всей мировой поэзии — строчка Горького из «Песни о соколе», состоящая только из односложных слов:

Уж влез и лег там.

Весной 1921 года студисты первого призыва должны были окончить Студию и расстаться с ней. Но как подлинный организатор Гумилев преобразовал свой семинар в общество молодых поэтов под названием «Звучащая раковина». При преобразовании этом я не присутствовал, — не помню, то ли оттого, что к этому времени наша семья уже уехала в Псковскую губернию, то ли оттого, что меня просто не пригласили на организационное собрание как недостойного. О «Звучащей раковине» я узнал, только вернувшись из Псковской губернии, в ноябре 1921 года, когда Николая Степановича уже не было в живых. «Звучащая раковина» представлялась Николаю Степановичу в виде молодежной организации при «Цехе поэтов». Организационное единство должно было выражаться в том, что он стал главой обеих организаций. Он был объявлен Синдиком «Звучащей раковины». Титул Синдика носили главы средневековых ремесленных цехов. Выбором такого титула Гумилев хотел подчеркнуть свое уважение к ремеслу. Он считал поэзию прежде всего ремеслом, в котором навыки мастерства должны были передаваться от поколения к поколению, как в средневековых цехах.

Я не встречался с Гумилевым в последние месяцы его жизни, так как большую часть 1921 года провел вне Петрограда, и знаю о дальнейшей его судьбе только по рассказам. В это время он совершил загадочное путешествие в Крым, только что освобожденный Красной Армией от Врангеля.

Уехал он в салон-вагоне, место в котором ему предоставил командующий Черноморским флотом адмирал Немитц. В вагоне их было только двое — Гумилев и Немитц. Два года спустя, в 1923 году, я в Москве встретил человека, который дважды

навестил Гумилева в этом вагоне, при обеих его поездках через Москву — с севера на юг и с юга на север. Человека этого поразила роскошь, которой окружен был Гумилев в вагоне; он рассказывал мне о какой-то необычайной посуде, о бесчисленных бутылках вина. В только что освобожденном Севастополе Гумилев был восторженно принят своими поклонниками, — по-видимому, в первую очередь командирами Красного флота из числа бывших морских офицеров. Ближе всего сошелся он там с Сергеем Колбасьевым, молоденьким моряком, бывшим мичманом, который в 1918 году участвовал в прославленном походе нескольких балтийских кораблей из Кронштадта в Каспийское море по Волге. С Каспийского моря Колбасьев попал в Азовскую Красную флотилию, принимал участие в освобождении Севастополя от врангелевцев. Само собой разумеется, что Колбасьев и сам писал стихи, и в стихах этих по мере сил подражал Гумилеву. Встретив Гумилева в Севастополе, Колбасьев, разумеется, мгновенно влюбился в него и сделался самым преданным его рабом. В предсмертном стихотворении Гумилева «Мои читатели» есть такое упоминание о Колбасьеве:

Лейтенант, водивший канонерки
Под огнем неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи.

Свидетельством замечательных организаторских дарований Гумилева является то, что он во время короткого пребывания в Севастополе успел издать там свою новую книгу стихов «Шатер» — одну из лучших своих книг. В издании помогал ему, конечно, Колбасьев. Теперь это севастопольское издание «Шатра» в синей обложке стало драгоценнейшей библиографической редкостью. Возвращаясь из Севастополя в Петроград, Гумилев посадил нового друга Колбасьева в салон-вагон Немитца и привез его с собой.

Арест и расстрел Гумилева потрясли знавших его людей. Гумилева все считали человеком, лояльно относившимся к Советской власти, несмотря на то что он никогда и нигде о своей лояльности не заявлял.

Чтобы разобраться в этом, нужно напомнить о том, что происходило тогда внутри петроградской интеллигенции.

В годы Гражданской войны вся интеллигенция Петрограда была резко расколота на два враждебных лагеря, — лагерь тех, кто ненавидел Советскую власть и считал всякое сотрудничество с ней невозможным, и лагерь тех, кто стоял за сотрудничество с

Советской властью, за помощь ей в ее культурных задачах. Оба лагеря были совершенно непримиримы и враждовали открыто, нисколько не скрывая своих мнений. В литературной среде во главе первого лагеря стояли Мережковский, Гиппиус, Ремизов, Амфитеатров, Куприн; во главе второго — прежде всего Горький, а с ним Блок, мой отец и др. Этот водораздел был тогда главным, основным, все остальные подразделения между группочками и лицами казались второстепенными. Принадлежность того или иного человека к тому или иному из этих двух политических лагерей определялась прежде всего его поведением — работает ли он в советских учреждениях и советской печати или не работает. Я помню, как критик Валериан Чудовский, бывший соратник Гумилева по редакции «Аполлона», расхаживал, держа правую свою руку на белой перевязи. И когда его спрашивали, не болит ли у него рука, он отвечал:

— Нет, я просто не хочу ее подавать подлецам, сотрудничающим с большевиками.

Не подавал он ее, разумеется, и Гумилеву — члену редакционной коллегии советского государственного издательства «Всемирная литература», члену правления советского учреждения Дом искусств, преподавателю Студии — советского учебного заведения.

Тот факт, что Гумилев резко отрицательно отзывался о творчестве как Горького, так и Блока, нисколько не противоречил сложившемуся в те годы мнению, что по вопросу о сотрудничестве с Советской властью они трое стоят на близких позициях. Ведь и Горький, и Блок до революции тоже принадлежали к совершенно разным литературным лагерям; да и после революции они лично были далеки и вовсе не восторженно относились к творчеству друг друга. Но в годы Гражданской войны они оба принимали участие во всех начинаниях Советской власти в области культуры и всюду самым деловым образом работали вместе. Все понимали, что в основе их совместной работы лежит близость их политических позиций; а так как Гумилев тоже охотно работал с ними, то предполагалось, что и его политические взгляды похожи.

Это предположение в глазах тогдашних людей подтверждалось еще и тем, что за годы Гражданской войны Гумилев не сделал ни малейшей попытки эмигрировать. Все руководители лагеря врагов сотрудничества интеллигенции с Советской властью — и Мережковский, и Гиппиус, и Амфитеатров, и Ремизов, и Куприн, и Валериан Чудовский, — все, одни немного раньше, другие немного позже, уехали из России. Это было, в сущности, осуществимо для каждого, кто этого хотел,

особенно для такого молодого, здорового и в высшей степени предприимчивого человека, каким был Гумилев. Следовательно, раз он остался, он, значит, считал нужным остаться. Так, видимо, понимали его политическую позицию и Горький, и Блок, и мой отец.

И к нему лично, и к нему как к литератору они трое относились без симпатий. Я уже упоминал, что отец мой никогда не любил его стихов. По рассказам отца я знаю, что на заседаниях редакционной коллегии «Всемирной литературы» над Гумилевым посмеивались. В одном стихотворении Гумилева есть строчки:

…у озера Чад
Изысканный бродит жираф.

Во «Всемирной литературе» ему придумали прозвище: «Изысканный жираф» — и за глаза иначе не называли. Потешались, помню, еще над одной строчкой, которая начиналась словами: «Жарят Пьера». И все-таки мы видим, как Горький в те годы охотно включал его во все предприятия, в которые входил сам. Он старался консолидировать все культурные силы, желающие сотрудничать с Советской властью, и, несомненно, к таким силам причислял и Гумилева.

Оставшись без Гумилева, члены «Цеха поэтов» в течение нескольких ближайших месяцев энергично продолжали начатую при нем деятельность. Они издали второй выпуск альманаха «Цех поэтов», включив в него в траурной рамке два предсмертных стихотворения Гумилева, выпустили посмертно стихи Гумилева отдельным сборником, выпустили сборник стихотворений Георгия Адамовича «Чистилище» с посвящением «Памяти Андре Шенье». Но потом они, вероятно, решили, что продолжение их деятельности небезопасно, и в первой половине 1922 года Георгий Иванов, Георгий Адамович, Ирина Одоевцева и Николай Оцуп уехали за границу.

Много лет спустя, в начале тридцатых годов, когда происходил массовый переход старой интеллигенции на позиции Коммунистической партии, называвшийся в то время «перестройкой», мой друг Валентин Стенич, говоря со мной о Гумилеве, как-то сказал:

— Если бы он теперь был жив, он перестроился бы одним из первых и сейчас был бы видным деятелем ЛОКАФа.

Трудно сказать, верно ли это суждение. Мне оно кажется верным. Разобраться тут мог бы только проницательный человек, который умел бы определить, где в образе Гумилева была правда и где маска или поза, а не мальчик, которому в 1921 году

исполнилось семнадцать лет. Безусловно, верно одно: расстреливать Гумилева — при всех обстоятельствах — не следовало, и, думая об этом, я вспоминаю, как все тот же Стенич однажды сказал:

— Когда государство сталкивается с поэтом, мне так жалко бедное государство. Ну что государство может сделать с поэтом? Самое большое? Убить! Но стихи убить нельзя, они бессмертны, и бедное государство всякий раз терпит поражение.

Дом искусств, клуб Дома искусств, литературная студия Дома искусств

Об этих учреждениях первых лет революции, основанных по инициативе Горького, я обязан рассказать, чтобы сделать понятным мой дальнейший рассказ. Вся жизнь художественной и литературной интеллигенции Петрограда в знаменательное четырехлетие с 1919 по 1923 год была связана с Домом искусств. В Доме искусств завершилось многое из того, что пышно цвело в русской культуре в предшествующую эпоху. Дом искусств был колыбелью для многого, чему предстояло возмужать и расцвести в последующие годы.

Как всему, что создавалось по замыслам Горького в первые годы революции, Дому искусств в идее была свойственна громадность и универсальность. По мысли своего основателя, он должен был объединить в своих просторных стенах литераторов, художников, музыкантов, актеров, стать центром всех искусств на долгие-долгие годы, где в постоянном общении с мастерами росла бы художественная молодежь. Жизнь, разумеется, внесла и в этот замысел свои поправки, и роль Дома искусств оказалась гораздо более узкой и кратковременной, чем предполагалось, и все-таки след большой первоначальной мысли лежал на всем, что в нем творилось.

Прежде всего огромно было самое здание. Мойка, 59. Дворец постройки XVIII века, занимающий целый квартал между Мойкой, Невским и Морской. Когда-то он принадлежал великим князьям, затем просто князьям и, наконец, купцам Елисеевым, владельцам двух знаменитых елисеевских магазинов — в Петербурге на Невском и в Москве на Тверской. Жилье самих Елисеевых занимало три этажа, выходивших окнами на Мойку. Все этажи, выходившие окнами на Невский и на Морскую, занимала контора какого-то банка. Дому искусств досталось все — и пышные палаты Елисеевых, и бесконечные переходы и закоулки банка.

Когда ранней осенью 1919 года я впервые вошел в этот дом, казалось, что Елисеевы выехали из него только что. Возможно, почти что так оно и было. Во всяком случае, после их отъезда дом их до нас никто не занимал. Громадные их апартаменты предстали перед нами во всей их изначальной безвкусице. И безвкусица, и пышность была та самая, что и в елисеевских магазинах. Колоссальные канделябры в виде изогнутых декадентских лилий, утыканные фарфоровыми электрическими свечами. Голубые потолки, расписанные розовыми ангелами.

Вообще цветочки и ангелочки повсюду — на стенах, на электрической арматуре, на картинах, на коврах, на резной мебели. Мебель, тяжеловесная, мрачная, дубовая, вся в вычурной резьбе. Очень много золота — золотые рамы картин и зеркал, золотые багеты, золотые медальоны на стенах. И нигде ни одной прямой линии, ни одной спокойной плоскости, — все в завитушках, в выкрутасах, и так шестьдесят три комнаты трех этажей.

Помню, как удивило меня, выросшего в мещанских квартирах, когда я узнал, что в этих шестидесяти трех комнатах жило всего трое — старик Елисеев, его жена и их единственный взрослый сын. Да и какие комнаты — некоторые из них можно было превратить в зрительные залы, вмещающие по несколько сот человек. Столовая, в которой можно было бы накормить целый батальон. Обширнейшая бильярдная. Библиотека, поразившая меня не только своей просторностью, но и тем, что в ней многие стеллажи и корешки книг были намалеваны масляной краской по стенам и по дверям, чтобы казалось, что книг больше, чем на самом деле. Трех человек, живших в шестидесяти трех комнатах, обслуживало более двадцати человек прислуги — лакеи, горничные, повара, кухарки, кучера, конюхи. С частью этой челяди я познакомился, — человек шесть из них продолжали жить в маленьких комнатенках вокруг кухни и были включены в штат Дома искусств.

От этих елисеевских слуг я, собственно, и узнал все, что рассказываю здесь про Елисеевых. Эти слуги, став служащими Дома искусств, с величайшим усердием убирали все шестьдесят три комнаты, натирали паркетные полы, надраивали металлические части, чистили пылесосами ковры и мягкую мебель. Усердие они проявляли вовсе не из желания угодить правлению Дома искусств. В ту грозную осень на Петроград наступали полки Юденича и уже стояли под городом, заняв Царское Село и Гатчину. Елисеевские челядинцы полагали, что хозяева их скоро вернутся, и рассчитывали получить награду за сбереженное добро, за верную службу.

В члены Дома искусств были зачислены известные литераторы, художники и музыканты. Но художники и особенно музыканты появлялись в нем редко. Из музыкантов бывал иногда один только Асафьев (Игорь Глебов). Помню, как-то раз видел я там Глазунова. Из художников бывали Добужинский и два брата Бенуа, Александр и Альберт, — особенно часто Альберт. Известные литераторы поначалу тоже приходили неохотно, — только в те дни, когда в Доме искусств что-нибудь выдавали или когда там совершалось что-нибудь особенно важное.

Первое важное событие, происшедшее в стенах Дома искусств, был прием, устроенный петроградскими литераторами во главе с Горьким в честь приехавшего в Советскую Россию Герберта Уэллса.

Уэллс приехал в Петроград вместе с сыном, молодым человеком девятнадцати лет. Они явились к Горькому. Горький попросил моего отца как человека, хорошо знающего английский язык, водить гостей по достопримечательностям.

Дело это было нелегкое, потому что оба гостя оказались на редкость неразговорчивыми и даже вопросов почти не задавали. Они как будто чего-то все время боялись, хотя чего именно, понять было невозможно. Суровый, голодный, оборванный, без света и тепла, без извозчиков и без автомобилей, полупустой город со стоящими трамваями, с траншеями и брустверами посреди улиц и площадей для отпора белогвардейским бандам Юденича наводил на них ужас одним своим видом.

Не зная, что им показывать, отец предложил им посетить школу. Они согласились. Естественно, что отцу проще всего было свести их к нам, в бывшее Тенишевское училище, где учились я и моя сестра. Так он и поступил.

Там я впервые увидел Уэллса.

Для нас, школьников, встреча с ним была большим событием. В те годы мальчики и девочки из интеллигентских семейств зачитывались Уэллсом, а в Тенишевском учились преимущественно дети интеллигенции. Радостной толпой встретили мы его в одном из наших длинных залов и жадно разглядывали. Это был полный коротенький господин со светлыми беспокойными глазами, с гладко зачесанными светлыми редкими волосами. Сын его был очень на него похож, только длиннее и тоньше. Оба они не снимали пальто, потому что школа в ту осень не отапливалась. Отец мой, говорливый и веселый, как всегда на людях, спрашивал то одного мальчика, то другого, какую книгу Уэллса он любит больше всего. Ответы так и сыпались:

— «Машину времени».

— «Борьбу миров».

— «Пищу богов».

— «Фантастические рассказы».

— «Когда спящий проснется».

— «Невидимку».

Все книги Уэллса были названы, даже такая не детская, как «Мистер Бритлин и война». Не было ни одного мальчика, который не мог бы назвать какой-нибудь книги Уэллса. Отец мой все это добросовестно и эффектно переводил на английский. Но Уэллс

слушал хмуро. Он ни разу нам не улыбнулся и не задал ни одного вопроса. Он не скрывал, что хочет поскорее уйти. Все пребывание его у нас в школе продолжалось не больше получаса.

Впоследствии он написал об этом своем посещении советской школы, что все это была инсценировка, устроенная Чуковским, что его встретили дети, которых накануне заставили вызубрить названия его книг. Он не поверил в нас, потому что слишком жалкими мы ему показались. И действительно, на человека, приехавшего из Лондона, мы, дети русского девятнадцатого года, должны были производить жуткое впечатление. С синими от голода прозрачными лицами, с распухшими от холода пальцами, закутанные в лохмотья, обутые в дырявые солдатские башмаки с веревками вместо шнурков, мы, выросшие в трагические годы, были гораздо начитаннее своих английских сверстников. Но оказалось, что чистенькое воображение не могло поверить в интеллектуальное преимущество столь убогих созданий.

Был я и на официальном приеме, устроенном Горьким Уэллсу в Доме искусств от имени художественной интеллигенции Петрограда. Разумеется, отец мой захватил меня туда с собой только для того, чтобы накормить. Заранее было известно, что Петросовет выделил для этого торжества редчайшие продукты, в том числе целый ящик шоколада. Я не видел шоколада уже больше трех лет, с весны шестнадцатого года, и мечтал о нем гораздо больше, чем о новом свидании с Уэллсом. И действительно, был шоколад, — город, начавший мировую революцию, с безграничной щедростью чествовал знаменитого английского мечтателя. Из нафталина были извлечены давным-давно не надеванные, старомодные фраки, визитки, пиджаки, пожелтевшие крахмальные манишки, стол был накрыт в большой елисеевской столовой со всей пышностью елисеевской обстановки. Паркет был натерт, было блаженно тепло, и только электричество горело несколько тускло. Присутствовало человек пятьдесят-шестьдесят, не больше. Лиц я не помню, — по-видимому, в основном те, кого я уже упоминал на этих страницах. Произносились какие-то речи, но я их забыл бесповоротно. Помню только, что среди говоривших был и правый эсер Питирим Сорокин. Не знаю, попал ли он туда по недосмотру или его нарочно пригласили, чтобы беспристрастно представить Уэллсу и иную точку зрения. Сорокин произнес длинную, полную намеков речь о том, как большевики притесняют великую русскую интеллигенцию. Уэллс выслушал перевод его речи так же, как слушал переводы всех остальных речей, — с растерянным, страдающим видом человека, который хочет поскорей уйти и не знает, как это сделать.

Через несколько месяцев отец показал мне книжонку Уэллса «Russia in the dark» — отчет о его поездке в Советскую Россию. Помню, отец был оскорблен этой книгой. Уэллс не поверил ему, не поверил ничему, что видел. (Всю жизнь человек писал о чудесах, но, единственный раз встретившись с настоящим чудом, не узнал его…)

Известные литераторы не слишком часто посещали Дом искусств. И он пустовал бы, если бы его не наполнила толпа молодежи из Студии.

Студия была месяца на два старше, чем Дом искусств. Она первоначально задумана была как Студия при издательстве «Всемирная литература». И открылась в конце лета 1919 года в Доме Мурузи на Литейном, в помещении Дома поэтов. Но тут Дом поэтов закрылся, а Дом искусств открылся, и она переехала в Дом искусств.

Прежде всего надо ответить на вопрос: зачем издательству «Всемирная литература» нужна была Студия?

Издательство «Всемирная литература» тоже было создание Горького, и притом самое любимое его создание тех лет. И, конечно, замысел, положенный в его основу, был громаден и универсален: дать рожденному революцией многомиллионному читателю все ценное, созданное человечеством в области литературы за всю историю его существования на всех языках. Свою деятельность редакционная коллегия «Всемирной литературы» начала с создания обширнейшего каталога своих будущих изданий. Каталог этот был издан и является замечательным документом по истории нашей советской культуры, отражающим литературные взгляды и вкусы Горького и близкого к нему круга в первые годы революции. «Всемирная литература» за шесть лет своей весьма энергичной деятельности (с 1918 по 1924 г.), конечно, не издала и пяти процентов намеченного, но грандиозная программа изданий, лежавшая в основе этого горьковского каталога, осуществлялась мало-помалу впоследствии целым рядом других советских издательств: Academia, ГИХЛ.

Для столь колоссальной программы нужны были обширные и высококвалифицированные кадры переводчиков. А их явно не хватало. Широкие круги буржуазной интеллигенции были враждебны советской власти, охвачены саботажем и отказывались работать в советском издательстве. А среди желавших работать мало было людей, знавших иностранные языки и достаточно хорошо владевших русским стихом или русской прозою. И по первоначальному замыслу Студия при «Всемирной литературе» должна была готовить переводчиков из литературно одаренной

молодежи.

Как получилось, что замысел этот был изменен, я не помню. Возможно, здесь сыграли решающую роль интересы самой молодежи, хлынувшей в Студию, — она жадно увлекалась русскими стихами и русской прозой, но совсем не мечтала о деятельности переводчиков. Во всяком случае, Студия с самого начала была организована как ряд «жанровых» семинаров под руководством известных литераторов.

О семинаре по поэзии, которым руководил Гумилев, я уже рассказывал. Перечислю тех из участников этого семинара, которые впоследствии хоть сколько-нибудь занимались литературной деятельностью. Вот они: Конст. Вагинов, Сергей Нельдихен, Влад. Познер, Рада Гейнеке, она же Ирина Одоевцева, Ольга Зив, Даниил Горфинкель, Елизавета Полонская, Петр Волков, Ан. Столяров, Ник. Дмитриев, две сестры Наппельбаум. Было еще человек восемь, мною позабытых.

Семинаром по критике руководил мой отец. Этот семинар просуществовал недолго — отец, пылко взявшись за дело, скоро охладел к нему. И студисты его, весьма многочисленные, разошлись по другим семинарам.

Однако десяток занятий отец все-таки провел. Начал он с того, что дал своим студистам задание: написать критическую статью о стихотворениях С. Надсона. Подобно большинству литераторов того времени, отец мой считал Надсона одним из самых плохих поэтов на свете, как бы учебно-показательным образцом плохого поэта. На следующем занятии отец уже разбирай принесенные статьи. Статьи были беспомощные, плохие, и отец эффектно и радостно высмеивал их недостатки. Особенно долго и беспощадно издевался он под общий хохот над одной статьей, автор которой, тоненький небольшой молодой человек с военной выправкой, с красивым лицом итальянского юноши, сидел на самом дальнем стуле в конце комнаты. Смуглые щеки его бледнели от смущения и обиды. Это был Михаил Зощенко, и статья о Надсоне была первым его литературным произведением. Разобидевшись на моего отца, он перешел в семинар прозы, которым руководил Евгений Иванович Замятин. И стал писать прозу.

Самыми способными людьми в семинаре моего отца, выделившимися с первых же занятий, оказались два студента Петроградского университета: Лев Лунц и Илья Груздев. На одном из занятий отцовского семинара Лунц прочитал реферат о прозе Андрея Белого. Когда семинар по критике прекратил существование, Лунц и Груздев тоже перешли в семинар Замятина.

В семинаре у моего отца начали свое студийское существование и две самые хорошенькие девушки Студии — Дуся Каплан и Муся Алонкина. Не помню, в какой семинар пошли они после прекращения семинара по критике, но Студии они не покинули и играли в ней все возрастающую роль.

На семинаре у Замятина я ни разу не был, — мне не приходило в голову, что я когда-нибудь буду писать прозу. Но видел Замятина часто. Это был тогда человек лет тридцати пяти, крепкого сложения, среднего роста, светлый шатен, аккуратно причесанный на пробор. Насмешливые глаза, длинный тонкий мундштук в насмешливых губах, клубы табачного дыма, разгоняемые рукой, до самых ногтей заросшей густыми рыжими волосами. По образованию он был инженер-кораблестроитель и перед революцией несколько лет провел в Англии, где наблюдал за постройкой ледоколов, заказанных русским правительством. Его книги — «Уездное», «На куличках» и «Островитяне» — были тогда весьма известны и не то чтобы нравились, но считались хорошо написанными, — их стилистическая замысловатость вызывала почтение в тогдашних литературных кругах.

Замятин тоже был участником всех горьковских мероприятий первых лет революции. К Горькому его привело враждебное отношение к саботажу. К белогвардействовавшим литераторам он относился презрительно и брезгливо. Но литературно между Замятиным и Горьким не было ничего общего. Замятин как писатель был ученик и последователь Алексея Ремизова (хотя, кажется, лично находился с ним в плохих отношениях). Подобно Ремизову, он был эстет, во фразе больше всего ценивший вычурность, а в сюжете — эксцентричность. Повторяю, я никогда не был у него на семинаре, но то, что я слышал от его учеников, убеждает меня, что преподавание его отличалось тем же доморощенным формализмом, что и преподавание Гумилева. Помню, мне рассказывали, что прежде всего он требовал от своих учеников полного отказа от общепринятых авторских ремарок к прямой речи героев, вроде: «сказал он», «подумала она», «возразила Марья Петровна». <…> Влияние Замятина, безусловно, сказалось на пышном развитии в двадцатых годах так называемой «орнаментальной» прозы, которая теперь, тридцать лет спустя, кажется совершенно неудобочитаемой. Посмотрите повесть «Рясная ягода» Николая Каткова, одного из самых усердных и правоверных участников замятинского семинара, вышедшую отдельной книжкой в 1924 году; в ней все так закручено и мудровато, что невозможно одолеть и двух страниц. Из учеников Замятина впоследствии лишь те остались в советской литературе, кому удалось преодолеть влияние своего

учителя. К счастью, это удалось довольно многим.

В семинаре Замятина кроме Зощенко, Каткова, Ильи Груздева, Льва Лунца занимался и Николай Никитин. Помню, о нем как о способном прозаике заговорили в Студии раньше, чем о других. Его первый рассказ «Кол», выслушанный и обсужденный на замятинском семинаре, долго считался выдающимся произведением.

Художественному переводу, и притом исключительно переводу стихов, был посвящен всего один семинар — М. Л. Лозинского. На занятиях этого семинара я тоже никогда не был. Особенность этого семинара заключалась в том, что состоял он исключительно из женщин, — ни одного мужчины, кроме самого Лозинского. Пятнадцать дам, изысканных, лепечущих по-французски, в возрасте от тридцати до сорока и, говорят, поголовно влюбленных в своего руководителя. А в него тогда мудрено было не влюбиться, — высокий, крепкий, обольстительно учтивый и пленительно образованный, Михаил Леонидович Лозинский привлекал сердца. На своем семинаре они — в Петрограде 1919 года — сообща переводили сонеты Эредиа. По многу дней сидели над каждой строчкой. И сколько было вариантов, восторгов, тончайших наблюдений, остроумных догадок, пылких восклицаний, охов, ахов, шелестов, хрустов и трепетов! Изысканные лозинистки держались несколько в стороне от остальных студистов, и потому из них запомнились мне только две: Оношкович-Яцына, впоследствии превосходно переводившая стихи Киплинга, и Памбэ (псевдоним Рыжкиной) — милейшая толстуха, писавшая очень смешные шуточные стихи.

Во время существования Студии делались попытки создать и еще семинары, кроме вышеперечисленных. Но все они после трех-четырех занятий распадались. Был, например, одно время семинар Виктора Шкловского. Мне удается сейчас припомнить только одно занятие этого семинара, — вероятно, на других занятиях я не присутствовал. На том занятии, которое я помню, и речи не было о литературе — Шкловский просто рассказывал о своих приключениях в Турции и в Персии в конце мировой войны. Рассказывал он несравненно лучше, чем писал. Слушали его жадно. События, свидетелем которых ему пришлось быть, он передавал как ряд эксцентрических нелепостей, чрезвычайно занимательных.

Некоторое время существовали еще семинары: Акима Волынского, Шилейки, — бывшего в то время мужем Ахматовой, Н. Н. Пунина, который стал мужем Ахматовой несколько лет спустя, Евреинова, Шульговского, но об этих семинарах я ничего сказать не могу, потому что их не посещал.

Две наши красавицы — Дуся Каплан и Муся Алонкина — не писали ни стихов, ни рассказов, ни критических статей и тем не менее играли в жизни Студии выдающуюся роль. В девятнадцатом году им было лет по семнадцати, по восемнадцати. Дуся Каплан кроме Студии училась одновременно и в Университете, на биологическом отделении, и там тоже блистала красотой. Муся Алонкина целиком посвятила себя Студии и скоро стала в ней самым первым лицом.

Мария Сергеевна Алонкина была дочерью машинистки, работавшей в издательстве «Всемирная литература». Помню ее, тоненькую, смеющуюся, белокожую, чернобровую, с вздернутым носиком, с черными усиками над верхней губкой. Вся Студия была с ней на «ты», и очень многие были в нее влюблены, — одни сильнее, другие слабее. Добрая, привязчивая и удивительно работящая, она, казалось, создана была, чтобы все делать за других, всем позволяла, как говорится, ездить на себе верхом, и, по правде сказать, вся Студия ехала на ней.

Она занимала единственную общественную должность в Студии — секретаря. Чего или кого она была секретарь, никто не знал — это не уточнялось. Никто ее не выбирал, — просто отец мой, еще в самом начале, сказал, что она будет секретарем, и никто не возражал. Должность ее не была сопряжена ни с какими доходами и преимуществами, а только с трудами. И она трудилась не покладая рук. Я уже упоминал, что два раза в неделю она доставала для студистов хлеб и распределяла его. Но это была только одна из бесчисленных ее обязанностей. Она писала все списки, вела все протоколы, составляла расписания занятий, приготовляла для занятий помещения, следила за посещаемостью, напоминала руководителям семинаров о необходимости являться, — словом, заменяла собой всю администрацию этого учебного заведения, не такого маленького.

Мало того, по доброте своей Мусенька Алонкина взвалила на себя множество обязанностей, не имевших никакого отношения ни к Студии, ни к ее должности секретаря. По поручению то Горького, то правления Дома искусств она оказывала помощь многим престарелым литераторам. Особенно усердно, помню, заботилась она об Анатолии Федоровиче Кони. Она доставала для него пайки, рукописи, калоши, помогала ему спуститься с лестницы и взойти на лестницу. Эти ее заботы о старцах Вова Познер, бард и летописец Студии, воспел в таких словах:

А ты вся в хлопотах, всегда за делом,
И, если посмотреть со стороны,
Ты кажешься, о Мусенька, Отделом

Охраны Памятников Старины.

Если где-нибудь в городе устраивался какой-нибудь литературный вечер, все организационные заботы неизменно падали на плечи Муси Алонкиной. Это как-то само собой разумелось, — без всякого указания она кротко, старательно и уж конечно совершенно бескорыстно принималась за работу. Особенно много труда требовало от нее печатание и расклеивание афиш. Она не только вела все переговоры с типографиями, в которых вечно не было ни бумаги, ни краски, но и сама, своими руками, расклеивала афиши по всему городу, потому что в Петрограде времен Гражданской войны не было организации, занимавшейся расклейкой афиш. Об этой ее деятельности тот же Вова Познер писал так:

Неколебима Алонкина,
Студии ограда.
В конце семестра в Студии тишь,
Но она
В море Петрограда
Забрасывает сеть афиш.

Особенно тяжело досталась ей, полуголодной и плохо одетой, организация знаменитого вечера А. А. Блока в помещении Большого драматического театра на Фонтанке мокрой ранней весной 1921 года. Расклеивая афиши, она промочила ноги и простудилась. Сначала воспаление легких, потом плеврит и, наконец, туберкулез. Года через полтора она уже не вставала с постели из-за туберкулеза позвоночника. Промаявшись лет пятнадцать, она скончалась в Москве вскоре после Первого съезда писателей.

Всего в Студии было 337 студистов, и я, конечно, не помню подавляющего большинства из них. Тем более что среди них были и такие люди, которые нисколько не интересовались литературой, а посещали Студию только для того, чтобы иметь возможность посидеть в тепле. В те зимы дров в городе почти не было, и квартиры вымерзали, а Дом искусств и отапливался, и освещался. Помню в числе студистов одного голодного оборванного старика по фамилии Залеман. Лысый, сгорбленный, трясущийся, заросший седою щетиной, он появлялся к началу занятий и уходил позже всех. Он посещал все семинары, — неизменно сидел где-нибудь в уголке на мягком кресле. Он ни с кем не знакомился, никогда ни с кем не заговаривал. Над ним

читали стихи, вокруг него рассуждали об эйдологии, о Леконте де Лиле, о цезурах и пиррихиях, но он ни в чем не принимал участия. Когда ему задавали вопросы, он не отзывался. Он спал.

Тепло и свет привлекали в Дом искусств и жильцов. Правление Дома разрешало желающим литераторам селиться в той части здания, которая прежде была занята банком. Селились там люди одинокие, — либо не имевшие семей, либо растерявшие семьи во время Гражданской войны. Это жилье вначале всем им казалось временным, — они раскладывали свои тюфяки на столах, доставшихся от банка, зябко жались к еле теплым радиаторам и в конце концов приживались.

Одним из первых поселился там Аким Львович Волынский. Он тоже был членом коллегии «Всемирной литературы» и участвовал во многих горьковских затеях. Помню, я с любопытством рассматривал этого маленького лысого человечка с длинным желтым лицом без улыбки. Он был мне интересен, потому что имя его, произносимое с ненавистью, я в детстве, в Куоккале, много раз слышал от Репина. Илья Ефимович часто поминал его, всегда раздраженный, даже топая ногами.

Когда Аким Львович поселился в Доме искусств, мне по каким-то обстоятельствам пришлось даже побывать у него в комнате. Посреди небольшой этой комнаты на отдельном столе лежала тяжелая мраморная доска метра полтора в длину, на которой крупными буквами было высечено по-латыни, что город Милан объявляет Акима Волынского своим почетным гражданином за его книгу о Леонардо да Винчи. По крайней своей молодости я, конечно, не мог общаться с таким пожилым человеком, как Волынский, но я постоянно слышал забавные рассказы о нем моего отца, который встречался с ним на разных заседаниях. Отца смешило красноречие Волынского, отличавшееся многословием и неслыханной выспренностью. Отец утверждал, что у Акима Львовича жестикуляция обычно находится в прямом противоречии со смыслом его слов, и, очень верно подражая его голосу, изображал его речи так:

— Нужно смотреть вверх (взмах руки вниз), а не вниз (взмах руки вверх), нужно идти вперед (взмах руки назад), а не назад (взмах руки вперед)!

Волынский прожил в Доме искусств до конца своих дней, — умер он во второй половине двадцатых годов. В последние годы своей жизни он занимался исключительно вопросами балета и примерно в году 1923-м основал балетную школу, которая помещалась все там же — в бывших банковских этажах Дома искусств, к тому времени тоже уже «бывшего».

Зиму с девятнадцатого на двадцатый год жил в Доме искусств

и Валериан Чудовский — высокий человек в бархатной куртке, с надменно закинутой лохматой головой. Это был самый злобный контрреволюционер, какого только можно себе представить, повсюду громогласно извергавший проклятия на всех, кто работает с большевиками и работает в советских учреждениях. Молодежь, посещавшая Дом искусств, возненавидела его, и дело доходило до того, что Лева Лунц натаскивал под дверь комнаты Чудовского нечистот, чтобы тот ступил и испачкался. В начале двадцатых годов Чудовский исчез, — сбежал, по-видимому, за границу.

Жил в Доме искусств и поэт Владимир Пяст. Этот человек, соединенный с Блоком многолетней дружбой, казался ненормальным. У него была привычка прижиматься спиной к стене, высоко закидывать голову и бить подошвой правой ноги в стену. Он часто усмехался — чему-то своему, для окружающих непонятному. Речь его была тороплива и невразумительна. Тем не менее и его одно время привлекали к чтению лекций студистам. Читал он теорию стихосложения, но студисты ничего не понимали из его лекций и называли их «стихопястикой». Лекции, разумеется, пришлось прекратить.

Где-то рядом с Пястом жил Александр Степанович Грин. Он был нелюдим, почти ни с кем не знакомился, но я часто встречал его в коридорах — высокого пожилого человека с изможденным угрюмым лицом, дурно и неопрятно одетого. Там, в Доме искусств, написал он свое лучшее произведение — замечательный рассказ «Крысолов», в котором изобразил свою тогдашнюю жизнь в пустом здании бывшего банка.

Волынский, Чудовский, Пяст и Грин не принимали участия в буйной жизни литературной молодежи, заполнившей Дом искусств. Но были и такие жильцы, которые очень скоро сдружились со студистами, коротко сошлись с ними, стали непременными участниками возникшего вокруг Студии Литературного клуба. Тут прежде всего следует назвать Виктора Борисовича Шкловского.

Виктор Борисович Шкловский был к тому времени уже мой старый знакомый, — он стал приезжать к нам в Куоккалу летом 1916 года. В 1916 году был он крепкий юноша со светлыми кудрявыми волосами. Приезжал он к нам не по железной дороге, как все, а на лодке по морю из Сестрорецка. Лодка эта была его собственная. Приезжая к нам, он оставлял лодку на берегу, и, пока он сидел у нас на даче, ее у него обычно крали. Воры всякий раз действовали одним и тем же методом — они отводили лодку на несколько сот метров в сторону, вытаскивали ее на песок и перекрашивали в другой цвет. Начинались увлекательные и

волнующие поиски лодки, в которых я неизменно принимал участие. Словно сквозь сон припоминаю я, как сидели мы с Виктором Борисовичем ночью на берегу в засаде и подстерегали воров. Тучи набегают на луну, босым ногам холодно в остывшем песке, от малейшего шелеста в ужасе сжимается сердце, и рядом Шкловский в студенческой тужурке — взрослый, могучий, бесстрашный, оказавший мне великую честь тем, что взял меня, двенадцатилетнего, себе в сотоварищи.

Между этой моей встречей со Шкловским и следующей в Доме искусств — всего три года. Но как за эти три года он изменился! К 1919 году Шкловский стал таким, каким его узнали последующие поколения, т. е. лысым. Мягкие светлые кудри его исчезли.

Он поселился в Доме искусств, хотя мог бы поселиться на квартире у своего отца. С отцом его я тоже был знаком, и притом совершенно независимо от моего знакомства с Виктором Борисовичем. Отец Виктора Борисовича был настоящей знаменитостью среди тогдашней петроградской молодежи.

На Надеждинской улице, наискосок от того дома, где с 1915-го по 1918 год жил Маяковский, висела вывеска: «Школа Б. Шкловского». Школа занимала маленькую квартирку в первом этаже, и единственным ее преподавателем был сам Б. Шкловский.

Это был маленького роста бритый старик с большой лысиной, окруженной лохматыми, не совсем еще седыми волосами. Вид у него был свирепейший. Во рту у него оставался один-единственный зуб, который, словно клык, торчал наружу. Когда он говорил, он плевался, и лицо его морщилось от брезгливости к собеседнику. Но человек он был необходимейший — любого тупицу он мог подготовить к вступительному экзамену в любое учебное заведение, и ученики его никогда не проваливались. В этом и заключалась его профессия — натаскивать тупиц. Натаскивал он и меня.

Зимой 1920–21 года мы ходили к нему вчетвером — я и три девочки из моего класса. Обращался он с нами крайне сурово и моих хорошеньких умненьких товарок именовал только «дурами» и «кретинками», а меня соответственно «дураком» и «кретином». Но тангенсы и котангенсы вбивал в голову крепко.

Виктор Борисович, повторяю, останавливался в те годы, приезжая в Петроград, не у отца, а в Доме искусств. Там знали его все и относились к нему не только с почтением, но и с некоторым страхом. У него была репутация отчаянной головы, смельчака и нахала, способного высмеять и унизить любого человека. Лекции на Студии читал он недолго, но влияние его на студистов было очень велико. Со студистами он общался постоянно и попросту —

как старший товарищ. Особенно близко сошелся он со студистами из семинара Замятина. Гумилевцев он не жаловал и вообще мало интересовался стихами, но замятинцы были от него без ума и чтили даже больше, чем самого Замятина. Лев Лунц и Илья Груздев ходили за ним, как два оруженосца.

Шкловский перетащил в просторные помещения Дома искусств заседания знаменитого Опояза (Общества изучения поэтического языка) — цитадели формализма в литературоведении. Многие любопытствовавшие студисты посещали эти заседания, был на некоторых и я. Кроме Шкловского помню я на них Эйхенбаума, Поливанова, Романа Якобсона, Винокура. Они противопоставляли себя всем на свете и во всей прежней науке чтили, кажется, одного только Потебню. Но зато друг о друге отзывались как о величайших светилах науки: «О, этот Эйхенбаум!», «О, этот Поливанов!», «О, этот Роман Якобсон!» Винокур к тому времени не успел еще, кажется, стать «О, этим Винокуром», но зато крайне ценился своими товарищами как милейший шутник. Он, например, перевел четверостишие о том, как попова дочка полюбила мельника, на сорок пять языков и на всех сорока пяти языках распевал его приятным тенорком.

Но, разумеется, светилом из светил во всем этом кружке был Виктор Борисович Шкловский. Он не знал ни одного языка, кроме русского, но зато был главный теоретик. А опоязовцы как раз в те годы с восторгом первооткрывателей создавали свою теорию художественной литературы.

Теория их, в сущности, не так уж отличалась от того, что преподавал Гумилев на своем семинаре. Они тогда тоже рассматривали литературу как сумму механических приемов, годных для всех времен и всех народов. Каждое произведение искусства представлялось им механизмом, и притом довольно несложным, вроде часов-ходиков. Они писали исследования: «Как сделана „Шинель“ Гоголя» или: «Как сделан „Дон Кихот“». При этом устройство «Дон Кихота» оказывалось таким элементарным, что его можно было изложить на одной странице. От учения Гумилева их учение отличалось только большей книжностью, университетскостью. То, что Гумилев называл неуклюжим самодельным словом «эйдология», они именовали вычитанным из книжек термином «семантика». Вообще терминология их была очень наукообразна, они часто употребляли слово «конвергенция», какого Гумилев никогда и не слыхивал. <…>

Рядом со Шкловским в небольшой комнатенке с мутным стеклом, выходившим во двор, жил Миша Слонимский. Этой комнатенки мне не забыть — столько я просидел в ней когда-то

часов. Именно в этой комнатенке устанавливались те связи и завязывались те узлы, которые в будущем оказались самыми прочными.

Из всех обитателей Дома искусств Михаил Леонидович Слонимский был к студистам самым близким по возрасту, — в двадцатом году ему исполнилось двадцать три года. С литературой он был связан прежде всего своим родством — он был сыном Людвига Слонимского, редактора «Вестника Европы», племянником знаменитого литературоведа Семена Венгерова и известной переводчицы Зинаиды Венгеровой, младшим братом известного историка литературы Александра Слонимского и двоюродным братом декадентской поэтессы Вилькиной. (Впоследствии литературное родство Михаила Леонидовича еще расширилось, так как Александр Слонимский женился на правнучке сестры Пушкина, Зинаида Венгерова в Лондоне вышла замуж за поэта Николая Минского, а двоюродный брат Антоний Слонимский, живший в Польше, оказался прославленным польским поэтом.) Помимо родства у Михаила Леонидовича к тому времени образовались свои собственные крепчайшие литературные связи — в течение нескольких месяцев он был нечто вроде секретаря у Горького, а потом года полтора работал секретарем у моего отца. И Горький, и мой отец очень его любили. Он уже и сам кое-что писал — пьесы, рассказы — и поэтому чрезвычайно скоро сошелся со студистами из семинара Замятина — с Зощенко, с Лунцем, с Груздевым, с Николаем Никитиным, с Катковым. А так как при этом еще и характер у него был самый добрый и самый покладистый, то у него постоянно торчали соседи — Пяст, Шкловский, Мандельштам и даже Грин. Захаживали к нему и некоторые из наших студистских поэтов — Познер, Полонская. К тому же всем было известно, что Миша Слонимский горячо влюблен в Мусеньку Алонкину, и Мусенька Алонкина тоже постоянно забегала в эту комнатенку, но не одна, а с подругами, и прежде всего, конечно, с Дусей Каплан. И в комнате Слонимского с утра до вечера были люди, шумели голоса.

По утрам посетителей бывало даже больше, чем по вечерам, потому что Миша Слонимский, просыпаясь часов в десять, имел обыкновение не покидать постели часов до трех дня. Тощий, длинный, с большими печально-мечтательными темными глазами, лежал он на спине, укрытый своей шинелью, привезенной с фронта, и курил.

Я познакомился с ним летом 1918 года на станции Ермоловской под Сестрорецком. Там, на Ермоловском проспекте, Литературный фонд владел дачей, которую на лето предоставлял

писателям. Так как из-за белогвардейского переворота в Финляндии мы лишены были возможности вернуться на свою дачу в Куоккалу, мои родители решили провести лето с детьми на этой даче Литературного фонда. Из Ермоловской за выгибом берега Финского залива в ясную погоду хорошо были видны знакомые места — колоколенка куоккальской русской церкви и белый сарай бартнеровской дачи. В то лето в Ермоловской в одном с нами доме обитало немало литераторов — Е. И. Замятин с женой Людмилой Николаевной, Ек. Павловна Леткова-Султанова с сыном Юрием, семья Кондурушкиных, семья Ганфмана, одного из редакторов кадетской газеты «Речь», Марья Валентиновна Ватсон, злобная безумная старуха, переводчица «Дон Кихота», про которую говорили, что на груди у нее умер поэт Надсон; она помешалась на ненависти к большевикам и постоянно рвала на себе седые волосы, изрыгая проклятия. Жил там в то лето и художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин с женой француженкой, — он женился в Париже на профессиональной натурщице. Жила там в то лето и Фаина Афанасьевна Слонимская, урожденная Венгерова, с двумя сыновьями — Кокой и Мишей.

И Слонимские, и Венгеровы были евреи-выкресты, причем Слонимские были католики, а Венгеровы — православные. Фаина Афанасьевна, как урожденная Венгерова, детей своих воспитывала в православии и скрывала еврейское происхождение семьи. Это была вздорная, шумная, чрезвычайно болтливая старуха, которую Миша Слонимский впоследствии очень точно и безжалостно изобразил в своем романе «Лавровы». О ней ходило много анекдотов, распространенных главным образом ее же сыновьями. Помню рассказ о том, как она у себя за столом в присутствии гостей принялась утверждать, будто Слонимские были когда-то князьями, крупными польскими магнатами, и будто город Слоним находился у них в феодальном владении.

— И наши вассалы часто восставали против нас, — сказала она, размечтавшись.

— Эти восстания назывались еврейскими погромами, — сказал Миша.

В 1918 году Коля Слонимский носил студенческую тужурку, а Миша — солдатскую шинель. Коля был старше меня лет на десять, занимался музыкой, и потому я нисколько им не интересовался. Но Миша произвел на меня большое впечатление. Я знал, что он, окончив гимназию, добровольцем ушел на фронт, что он был ранен и недавно выписался из госпиталя. И такой человек обращался со мной как с равным, хотя мне шел пятнадцатый год, а ему уже двадцать второй.

Однажды наши матери послали нас обоих в Сестрорецк, на какой-то огород, — купить моркови. Всю дорогу туда и назад мы разговаривали с ним о политике. Помню, его взгляды, очень похожие на взгляды многих окружавших меня тогда интеллигентов, разочаровали меня. Главной целью революции он считал создание Учредительного собрания, избранного всеобщим голосованием. А так как в то лето разогнанное Учредительное собрание самовольно собралось в Самаре, он смотрел на происходящие события чрезвычайно оптимистично. Учредительное собрание возьмет власть, и в России восторжествуют демократия и народоправство. Робея перед его авторитетом, я возражал ему, что захват власти Учредительным собранием непременно приведет к торжеству реакции, к уничтожению всех завоеваний революции и к гибели самого Учредительного собрания от рук реакционеров. Я запомнил этот спор, потому что часто вспоминал его несколько месяцев спустя, когда самарская Учредилка была расстреляна Колчаком, захватившим власть во всей восточной России. Но к тому времени и Миша Слонимский успел отказаться от своей веры в Учредительное собрание. Когда он жил в Доме искусств и, длинный, тощий, вялый, добрый, лежал у себя в комнате на кровати, с утра до ночи окруженный литературной молодежью, он был уже человеком советских взглядов, как — в большинстве — и та молодежь, которая окружала его.

Из молодежи, собиравшейся вокруг кровати Миши Слонимского, к началу 1921 года выкристаллизовался тот кружок, который получил название «Серапионовых братьев».

Но прежде чем говорить о «Серапионовых братьях», я должен рассказать о человеке, вокруг имени которого впоследствии создалось множество легенд, не имеющих ничего общего с правдой.

Я говорю о Льве Лунце.

Лев Натанович Лунц родился в 1902 году и был сыном провизора, владельца одной из лучших аптек города — у Пяти Углов, на Троицкой улице. Был у него старший брат Яша, огненно-рыжий малый, голова которого сверкала, как церковный купол, и сестренка Женя. По-видимому, с семьей Лунц я познакомился еще до Студии, и именно благодаря этой Жене, которая училась в Таганцевской гимназии, в одном классе с моей сестрой Лидой и очень дружила с ней. Родителей Лунца я не помню, хотя часто бывал у них в квартире на Троицкой. Лева постоянно цитировал изречения своей матери, и в Студии его даже дразнили этим. Изречения эти я позабыл, помню только одно:

— У всех дети как дети, а у нас — сумасшедший дом!

Лева Лунц был кудрявый шатен, среднего роста, со светло-серыми глазами. Он обладал замечательным характером — он был добр, скромен, жизнерадостен, трудолюбив, серьезен и весел. Я обожал его и постоянно им восхищался. Он был на два года старше меня, но дружил со мной совершенно на равных, никогда не оскорбляя моего самолюбия подростка, попавшего в компанию старших.

И меня, и всех окружающих особенно поражало в Леве Лунце одно его свойство — стремительность. Он был человек огромного темперамента и мгновенных реакций. Речь его текла стремительно, потому что стремительны были его мысли, и слушателю нелегко было за ним поспевать. Говоря, он постоянно бывал в движении, жестикулировал, перескакивал со стула на стул. Это был ум деятельный, не терпящий вялости и покоя. Любимая его игра, которую он ввел в Студии, едва там появился, заключалась в том, что играющие садились в кружок и с бешеной скоростью колотили себя обеими руками по коленям. Суть игры я забыл, заключалась она, кажется, в отгадывании слов, помню только бешеные движения рук и Левин голос, подгоняющий, доводящий всех до изнеможения:

— Скорей, скорей!

Он принес в Студию множество игр, самых детских, простодушно-веселых, и заставил в них играть всех. Я помню, с каким увлечением и пылом играл он в фанты, а между тем к тому времени он уже окончил Университет. В Университет он поступил чуть ли не пятнадцати лет и прошел его курс так же стремительно и блестяще, как делал все. Учился он на романо-германском отделении филологического факультета, изучил все романские языки, включая провансальский. Если не ошибаюсь, университет он окончил в 1920 году, так что первый год занятий в Студии совпал у него с последним университетским годом. Ему пришлось совмещать, но при его энергии и способностях подобное совмещение не стоило ему особого труда; казалось, он мог бы совмещать занятия и еще в двух-трех каких-нибудь учебных заведениях. В первые же месяцы своих занятий в Студии он прочел студистам два больших реферата: о прозе Андрея Белого и о прозе Алексея Ремизова. При этом он безусловно был самый веселый, общительный и ребячливый из всех студистов. Для игр и забавных затей времени у него оставалось сколько угодно.

Была одна игра, изобретенная Лунцем, в которую как начали играть в первые дни его поступления в Студию, так и играли вплоть до закрытия Дома искусств и до отъезда Лунца за границу,

то есть с 1919-го по 1923 год. Игра эта называлась «кинематограф». Для того чтобы объяснить, в чем заключалась эта игра, надо дать понять, каким представлялся нам тогда настоящий кинематограф.

Нам и в голову не приходило, что кино может стать таким же настоящим искусством, как живопись, музыка, литература, театр. Да оно в то время еще и не было искусством. Вероятно, где-нибудь уже существовали попытки превратить кино в настоящее искусство, но мы о таких попытках ничего не слышали. Советской кинематографии тогда еще не существовало, а те западные и дореволюционные русские картины, которые мы видели, поражали нас только быстротой развития действия и глупостью, доведенной до эксцентризма. Конечно, были простодушные и непросвещенные люди, которые всерьез рыдали, глядя на Веру Холодную, на Мозжухина и Лисенко, всерьез замирали от страха на ковбойских драмах и покатывались со смеху, наслаждаясь Максом Линдером. Но мы, интеллигентные мальчики и девочки, во всем этом видели только эксцентрическую чепуху, только поразительное нагромождение банальностей и идиотств, которые в своем неистовом полете создают самые нелепые и причудливые сочетания. И кинематографом мы стали называть всякое эксцентрическое нагромождение быстро сменяющихся нелепостей. Как пример употребления этого слова в подобном смысле я могу привести известную сказку моего отца «Бармалей», написанную несколько лет спустя. Она имеет подзаголовок «Кинематограф для детей». Прочтите сказку, и вы убедитесь, что слово «кинематограф» здесь является синонимом забавной чепухи.

«Кинематографы», которые устраивал Лунц в Студии, — это были импровизированные пародийные представления, в которых все присутствующие были одновременно и актерами, и зрителями. Драматургом и режиссером был Лунц. Он мгновенно изобретал очередную сцену, за руки стаскивал со стульев нужных для нее исполнителей, отводил их на несколько секунд в сторону, шепотом сообщал каждому, что он должен делать (слов действующим лицам не полагалось никаких, кинематограф был немой), и сцена исполнялась при всеобщем ликовании. Зрители от хохота падали на пол. И так чуть ли не каждый вечер в течение нескольких лет — ни разу не повторяясь. В «кинематографе» Лунца ничего нельзя было повторить, — он всегда творился заново. Студисты и преподаватели Студии, стараясь оттянуть возвращение в свои холодные темные квартиры, скоро привыкли проводить в Доме искусств все вечера. Эти вечерние сборища, где все встречались на равных правах, получили название «Клуба

Дома искусств». На этих клубных собраниях читали друг другу свои произведения, преимущественно стихи. Но главным их содержанием, главным их очарованием был Лунц и его кинематограф. Творческая энергия Лунца была неистощима.

Вообще, если вспомнить, что Лунц умер двадцати двух лет от роду, можно только изумляться тому, как много он успел сделать и написать. Его литературное наследие (нигде не собранное и большею частью не напечатанное) состоит из двух пятиактных романтических трагедий в стихах «Вне закона» и «Бертран де Борн», нескольких комедий, лучшая из которых «Обезьяна и дуб», нескольких рассказов и многих статей и рецензий. Драматургия его удивительно темпераментна, свежа и самостоятельна по стилю, полна мыслей, и то обстоятельство, что пьесы его никогда не ставились на сцене, можно объяснить только нашим невежеством и нашей любовью наводить тень на ясный день. <…>

Политические симпатии Лунца привели его прежде всего к жесточайшему семейному разладу. В 1920 году, восемнадцатилетним юношей, он расстался с родителями и переехал в Дом искусств. В те годы острейших политических страстей это было распространенное явление, — разногласия разрывали семейные узы. В начале 1921 года были установлены дипломатические отношения между Советской Россией и Прибалтийскими республиками. И было объявлено, что все уроженцы Литвы могут вернуться к месту своего рождения. Этой возможностью воспользовались многие, мечтавшие об эмиграции. В том числе и родители Лунца, разоренные революцией мещане. Они были уроженцами литовского города Шавли (Шяуляй) и в апреле 1921 года всей семьей двинулись за границу. Но Лева ехать с ними отказался. Он один из всей семьи остался в Петрограде.

Беда заключалась в том, что, оставшись один, он тяжело заболел. Не сразу, а примерно через год. Я хорошо помню, как в начале 1922 года он пошел призываться в Красную Армию. Вернувшись с призывного пункта, он нам рассказал, что врач, выслушав его, сразу признал его негодным. Помню, он был и обрадован этим, и удручен. Обрадован, потому что ему вовсе не хотелось служить красноармейцем, а удручен, потому что узнал, в каком плохом состоянии находится его сердце. Он утверждал, что до этого дня никогда не замечал своего сердца и не думал о нем. Однако очень скоро ему стало плохо. Зиму с 1922-го на 1923 год он безвыходно провалялся на кровати у себя в крохотной комнатке в Доме искусств. У его постели постоянно толпился народ, он по-прежнему острил, стремительно жестикулировал,

спорил, громко смеялся. Время от времени он еще выползал из своей конуры на общие сборища и устраивал свои ослепительные «кинематографы». Он много писал и принимал пылкое участие во всех делах «Серапионовых братьев». Но ему становилось все хуже и хуже. В ту зиму я с удивлением обнаружил, что Лева Лунц может быть и удрученным, и раздраженным. К весне ему стало так плохо, что родители мои, очень его любившие, взяли его к себе, и мы с ним начали жить в одной комнате. Он уже не вставал с постели.

Его отец и мать к этому времени переехали из Литвы в Германию, в Гамбург. Зная о болезни сына, они требовали, чтобы он приехал к ним. Они выхлопотали ему визу. И летом 1923 года тяжелобольной Лева Лунц уехал на пароходе в Гамбург.

Сам он верил, что отъезд этот временный, что он вот-вот поправится и вернется. Мы все стали получать от него множество писем из-за границы. Это были длинные и чрезвычайно веселые письма, и мы падали со смеху, когда их читали вслух на серапионовских собраниях. Посылал он нам и свои новые пьесы и статьи, и некоторые из них были тоже прочитаны нами вслух. За границей он продолжал жить жизнью нашего кружка, требовал от нас подробных сведений о каждом, интересовался каждой новой рукописью, каждой книгой, каждой шуткой. И все же из веселых его писем мы знали, что он лежит в больнице и что ему нисколько не лучше. Летом 1924 года до нас дошла весть, что Лева Лунц умер.

Когда-нибудь историки литературы взвесят и оценят и наследие Льва Лунца, и его роль. Я за это не берусь. Я только могу сказать, что Лева Лунц был одним из самых ярких и милых явлений моей юности. И когда я думаю о нем, я вспоминаю наши новогодние встречи, — как встречали мы 1920-й и 1921 год — без капли спиртного, но зато с Левой Лунцем и, следовательно, необычайно весело.

Новый, 1920 год мы встречали пшенной кашей. Крупу где-то достал мой папа, он же организовал встречу. Ничего, кроме пшенной каши, не было. Кашу сварила нам Марья Васильевна, служившая еще у Елисеевых, и пировали мы за дубовым столом в елисеевской столовой, сидя на высоких, дубовых, резных готических стульях. Студия тогда еще была молода, и мы не успели еще достаточно ни приглядеться друг к другу, ни сдружиться, ни размежеваться. Из «взрослых» присутствовали папа и Миша Слонимский. Вначале над созданием веселья трудился папа. Он вовлек всех в соревнование: кто лучше напишет сонет на заданные рифмы. Сонеты писались и читались с увлечением, подробно разбирались, как на семинаре. К досаде

поэтов, лучшим был признан сонет Миши Слонимского. Но сонетами занимались только пока не наелись каши. Горячая каша подействовала на голодные желудки возбуждающе. Лица раскраснелись, хохот стал громче, и разгорающимся весельем дирижировал уже не мой папа, а Лева Лунц. И началось нечто сверкающее, нечто слишком стремительное, чтобы можно было передать обыкновенными медленными словами…

Год спустя мы опять собрались в Доме искусств для встречи Нового года — 1921-го. За это время все успело сложиться и определиться, и Студия стала казаться учреждением, имеющим громадную историю. Завязалось множество любвей и романов, из которых немало уже успело трагически распасться. И, главное, произошло размежевание, молодежь разделилась на две группы. Сторонники «Цеха поэтов» отмежевались от тех, из числа которых месяц спустя организовались «Серапионовы братья». Размежевание это в то время только немногими осознавалось как политическое. Оно понималось скорее как эстетическое размежевание. С одной стороны были те, кто принимал гумилевские эстетические каноны, с другой стороны те, кто к этим канонам оставался равнодушен. С одной стороны были те, кто отвергал возможность писать о современности, с другой стороны — те, кто считал, что писать о современности необходимо. Образовались как бы две дружеские компании, жившие отдельной жизнью. И во встрече Нового, 1921 года принимала участие только одна из этих компаний — враждебная «Цеху поэтов».

На этой встрече не было ни Нельдихена, ни Ирины Одоевцевой, ни сестер Наппельбаум. Из слушателей семинара Гумилева присутствовало только двое — Вова Познер и я. Зато здесь были и первенствовали Лева Лунц, Миша Слонимский, Илья Груздев, Коля Никитин, Миша Зощенко. Девушек присутствовало много, и как раз те, которые вскоре получили почетные звания «серапионовских дам» — Дуся Каплан, Муся Алонкина, Зоя Гацкевич, Мила Сазонова, Лида Харитон. Спиртного, как и год назад, — ни капли. И все же ели уже не кашу, а мясные котлеты. Первый тост провозгласила Зоя Гацкевич, в будущем Никитина, затем Козакова. Каждый встал и поднял свою котлету на вилке. И начался пир. Когда котлеты были съедены, все пошли по дубовой лестнице наверх, в главный зал елисеевского дворца, и там, среди зеркал, позолот, торшеров и амуров с гирляндами, принялись играть в фанты. Потом Лунц устроил «кинематограф», и ночь прошла в бешеном веселье…

Прежде чем приступить к рассказу об основании «Серапионовых братьев», я должен рассказать о еще одном

причастном к этому кружку — о Вове Познере. Владимир Соломонович Познер родился в Париже в 1905 году. Он был сыном Соломона Владимировича Познера, который вынужден был эмигрировать за границу. Вова до пяти или шести лет жил в Париже, по-русски не говорил. Летом 1917 года, при Керенском, Соломон Познер с женой и двумя сыновьями вернулся из эмиграции в Петербург. Вова поступил в гимназию Шидловской, на Шпалерной. В одном с ним классе учился сын Керенского Олег, с которым он был дружен. В октябре Керенский бежал, но семья его еще долго продолжала жить в Петрограде, и Олег Керенский продолжал ходить в гимназию. 1918 год Вова провел в Москве, учился у Свентицкой. В 1919 году он вернулся в Петроград и поступил в Тенишевское училище. И я впервые увидел Вову Познера. Он оказался в одном со мной классе.

Это был круглолицый толстяк, черноглазый, с очень черными волосами. К этому времени от Парижа у него уже ничего не осталось, — в том возрасте год кажется громадным сроком, и Вова чувствовал себя в Петрограде так, как будто жил в нем с рождения. Меня сблизила с ним любовь к поэзии. Его стихи, чрезвычайно подражательные, поражали своим совершенством. В его даре было что-то хамелеоновское, — он мог быть кем угодно. Он писал стихи и под Брюсова, и под Маяковского. Мы с ним писали стихи верстами — иногда и совместно, — издавали школьные рукописные журналы, читали стихи на всех школьных собраниях. Когда осенью 1919 года организовалась Студия, я привел туда Вову и мы вместе поступили в семинар Гумилева.

В Студии он расцвел необычайно и сделался одним из главных действующих лиц. Его шуточные стихи, в которых он воспевал все события нашей студийной жизни, имели огромный успех и у студистов, и у преподавателей. Лева Лунц был нашим драматургом и режиссером, а Вова Познер — нашим признанным бардом. Учился он в семинаре у Николая Степановича, но как раз там на первых порах его стихи имели наименьший успех, потому что Николай Степанович был глух и равнодушен к юмору, а влияние Маяковского, которое все больше ощущалось в стихах Вовы Познера, только раздражало его. Зато приятели Лунца восхищались им. Дуся Каплан и Муся Алонкина были с ним на «ты» и в самой тесной дружбе.

Первое время он, видимо, разделял политические взгляды своей семьи. Об этом свидетельствует глупое четверостишие, записанное им в «Чукоккалу» моего отца в 1919 году. Однако, попав в кружок Лунца, он очень быстро усвоил господствовавшие там мнения и насмехался над белогвардействовавшими литераторами. Помню, что и у нас в Тенишевском, где мы оба

продолжали учиться, он в 1920 году примыкал скорее к тем юношам, которые склонялись к комсомолу, чем к их многочисленным недругам. Впрочем, при размежевании студистов он сохранял хорошие отношения и с «Цехом поэтов». «Цех поэтов» и Гумилев к концу 1920 года стали относиться к нему лучше, чем прежде, — благодаря тем балладам, которые он начал писать и которые имели равный успех у преподавателей обоих лагерей.

Баллады, которые Вова Познер писал зимой 1920–1921 года, были, несомненно, интереснейшим литературным явлением. Наиболее характерная из них «Баллада о дезертире» начиналась такими словами:

> Вчера война, и сегодня война, и завтра будет война,
> А дома дети, а дома отец, а дома мать и жена.

Для того чтобы представить, какое впечатление производили эти строки, нужно вспомнить, что тогда шел уже седьмой год войны. Дальше говорилось о том, как Солдат дезертирует, как его ловят и расстреливают. Кончалась баллада плачем по дезертиру:

> А дома дети, а дома отец, а дома мать и жена,
> Но вчера война, и сегодня война, и завтра будет война.
> Над его головой голодный волк подымает протяжный вой,
> Дезертир лежит у волчьих лап с проломленной головой.
> Над его головой раздувайся и вей,
> Погребальный саван сухих ветвей.
> Ветер, играй сухою листвой
> Над его разбитою головой.

Остальные баллады Познера были в том же роде. Характерно, что напечатаны они и во втором альманахе «Цеха поэтов», и в первом альманахе «Серапионовых братьев».

Баллады Познера оказали большое влияние на баллады Николая Тихонова, появившиеся в 1922 и 1923 годах. В то время это влияние было очевидно всем. Тихонов, кажется, никогда даже не встречался с Познером, но, несомненно, испытал сильное воздействие его стихов. Одна из первых баллад Тихонова так и называлась «Баллада о дезертире» и очень близка к познеровской и по тону, и по содержанию:

> У каждого семья и дом,

Становись под пулю, солдат,
А ветер зовет: уйдем,
А леса за рекой стоят.

И судьба дезертира кончалась так же:

Хлеб, два куска
Сахарного леденца,
А вечером, сверх пайка,
Шесть золотников свинца.

Вова Познер был одним из деятельных участников Серапионова братства. Но пробыл он в братстве всего два с половиной месяца. Серапионы организовались 1 февраля 1921 года, а в середине апреля 1921 года Вова Познер уехал за границу.

Родители Вовы Познера тоже оказались уроженцами Литвы и, подобно родителям Лунца, решили воспользоваться соглашением с Литвой, дававшим возможность всем литовским уроженцам вернуться к месту своего рождения. Поступить по примеру Левы Лунца и остаться Вова Познер не мог, — ему не было еще семнадцати лет, он был ребенок и еще не мыслил себе существования без родителей. Я пошел провожать его на Варшавский вокзал. Был мокрый солнечный апрельский день. На одном из дальних путей стоял громадный эшелон из теплушек. В каждом вагоне теснилось более десятка семейств. Плакали дети, громоздились горы утвари, каждый старался вывезти как можно больше имущества, многие везли даже мебель, даже рояли. Эшелон должен был отправиться утром, но отошел только вечером, — все не было паровоза. Весь день бродили мы с Вовой Познером в обнимку по перрону среди груд имущества, не вмешавшегося в вагоны. С нами был и Лева Лунц, провожавший родителей, сестру, брата. Среди этих беглецов, неожиданно для самих себя ставших литовцами, лишь бы покинуть страну Советов, было немало знакомых. С этим эшелоном уезжали, между прочим, и графы Рошефоры, два брата — Николай и Александр, мои главные недруги по Тенишевскому училищу. Уже стемнело, когда тронулся поезд. Мы с Левой Лунцем побрели домой.

Сначала Вовины письма приходили ко мне ежедневно. У него был особый, странный, очень выработанный почерк, резко отличавшийся от почерков всех других людей. Уехав, он сначала продолжал жить интересами Студии и «Серапионовых братьев».

Потом письма стали приходить реже. В Литве семья Познеров прожила всего несколько недель и вернулась в Париж. Примерно через год наша переписка с Вовой прервалась. Владимир Познер перестал писать по-русски и сделался французским писателем.

Впрочем, с воспоминаниями о своей петербургской юности он, видимо, расстался не скоро. Одной из первых его книг, написанных по-французски и вышедших в Париже, была книга о русской литературе. Эту книгу он прислал мне, и она красовалась у меня до тех пор, пока не погибла во время войны вместе со всей моей библиотекой.

Владимир Познер стал деятелем французской коммунистической партии, сотрудником «Humanité», французским литератором. Я снова увидел его только в 1934 году, на Первом съезде писателей в Москве, после тринадцати лет разлуки.

Он был членом французской писательской делегации, приехавшей приветствовать съезд. Мне сказали, что Вова Познер сидит в буфете Дома Союзов, и я со всех ног помчался в буфет. Он сидел за столиком, совершенно такой же, как прежде, только не в толстовке, а в пиджаке. К моему удивлению, он меня не узнал.

— Вова!

Он поднялся со стула и неуверенно протянул мне руку. Но через мгновение мы уже целовались. Помню, как шли мы с ним вдвоем по Тверской, узкой, горбатой и пустынной, и вдвоем вслух читали шуточные стихи, которые вместе сочиняли в Петрограде в годы Гражданской войны. В Москве мы с ним разыскали Мусеньку Алонкину и отправились к ней. Она была замужем за латышом-чекистом. Мужа ее мы не видели, а сама она лежала в постели, поблекшая, несчастная, тяжело больная. У нее много лет был туберкулез позвоночника. Она носила, не снимая, металлический корсет и почти уже не вставала с постели. Только улыбка у нее была прежняя — добрая и беспомощная. Обрадовалась она нам необычайно. Это было последнее мое с ней свидание.

В Москве повстречали мы с Вовой и другую нашу приятельницу времен Петроградского Дома искусств — Олю Зив. Мы вместе с нею две зимы проучились в семинаре Гумилева. На съезде она сама разыскала нас в Колонном зале. Она теперь была репортером газеты «Комсомольская правда» и до того огазетчилась и обкомсомолилась, что, слушая ее, трудно было себе представить, что когда-то она была девушкой при «Цехе поэтов», пишущей стихи под Гумилева. Впрочем, встречались мы с ней чрезвычайно сердечно. Она пригласила нас к себе, угостила ужином и познакомила с мужем, который оказался работником

«Комсомольской правды».

После съезда Познер заехал на несколько дней в Ленинград. Здесь он тоже почему-то был встречен женщинами более пылко, чем мужчинами. Остановился он у Слонимских, потому что Дуся Каплан стала уже к этому времени Дусей Слонимской. И каждый вечер проводил он у Козаковых, потому что Зоя Гацкевич к этому времени была уже замужем за Михаилом Эммануиловичем Козаковым.

Следующая моя встреча с Вовой Познером была заочная — во время осады Ленинграда, в сентябре 1943 года.

Военная авиационная газета, где я в то время работал, нуждалась в материале об американской авиации. И я отправился в Библиотеку иностранной литературы, чтобы посмотреть, нет ли там американских авиационных журналов. Эта библиотека была хорошо мне памятна, — основалась она в 1919 году как библиотека издательства «Всемирная литература». И помещалась она в том же месте, на Моховой, 36, как раз напротив Тенишевского училища. Во «Всемирной литературе» отец мой работал вместе с Горьким, и в годы Гражданской войны я чуть ли не каждый день после занятий в школе переходил Моховую и шел к отцу в издательство, приветствуемый издательским старичком швейцаром, который называл меня по имени-отчеству, чем весьма льстил моему самолюбию. И вот, спустя двадцать четыре года, я опять оказался в том же доме. Закутанная в тряпье маленькая библиотекарша, без возраста, с опухшим от голода лицом, провела меня через стылые пустынные залы со стеллажами книг и усадила за маленький столик возле окна. Через несколько минут она притащила мне два-три номера толстого американского журнала «Aviation» за 1942 год. Этот журнал состоял не столько из сведений об авиации, сколько из объявлений и разных сенсаций газетного толка. Я довольно невнимательно читал его и поглядывал в окно, где было сумрачно, холодно и мокро. Прямо за окном видел я каменную арку — вход во двор Тенишевского училища. Вид этой арки взволновал меня. В страшные и грустные месяцы осады меня особенно волновало все, связанное с моим детством и юностью. Сколько раз проходил я когда-то этой аркой! И конечно, вспомнился мне и Вова Познер, с которым в Тенишевском был я неразлучен.

И вдруг, к изумлению моему, я увидел, что Вова Познер глядит на меня со страницы журнала «Aviation». Почти неизменившийся, круглолицый, улыбающийся, в серой кепке. Я принялся читать и вот что обнаружил.

Это был разворот под шапкой: «Что думают французские писатели об Америке». Дальше пояснялось, что речь идет о

французских писателях-антифашистах, бежавших в Америку от гитлеровского нашествия. Левая половина разворота была посвящена Женевьеве Табуи (тоже с портретом), а правая — Владимиру Познеру, автору известного французского романа «На острие шпаги». Владимир Познер, находясь в Бостоне, ответил представителю журнала, что он любит Америку

во-первых, как француз,
во-вторых, как демократ,

в-третьих, четвертых и пятых я уже не помню…

Но я непозволительно забежал вперед…

В числе основателей «Серапионова братства» были два человека, никак не связанные ни с Домом искусств, ни с его Студией. Это Федин и Каверин. Оба они вошли в литературный круг благодаря конкурсу на рассказ, организованному Домом литераторов зимой 1920/21 года.

Дом литераторов существовал в Петрограде в те же годы, что и Дом искусств, и занимал особняк на Бассейной улице недалеко от угла Надеждинской. Состав его членов был в основном другой, чем состав членов Дома искусств. В Доме литераторов состояли преимущественно сотрудники дореволюционных газет: «Новое время», «Речь», «Русская воля», «Биржевые ведомости», «День». В годы революции это были ободранные, голодные, стремительно дряхлеющие и безмерно озлобленные люди. По грязноватым его залам бродили стаями полупомешанные старухи вроде Марии Валентиновны Ватсон и, завывая, проклинали большевиков. Проклинали и в прозе, и в стихах. Вспоминается мне какая-то тамошняя старуха, которая, взгромоздясь на эстраду и тряся седой головой, читала свое стихотворение прерывающимся голосом. Каждая строфа этого стихотворения кончалась строками:

Не бросайте якорей
В логовища злых зверей.

И все понимали, что это означает: «Не идите работать на Советскую власть».

Заправляли Домом литераторов два очень бойких человечка средних лет, два расторопных журналиста из «Биржевки» — Волковысский и Харитон. Они устраивали в Доме литераторов мероприятия за мероприятием. Они доставали для членов Дома литераторов кое-какие пайки, — правда, довольно жалкие. Они

умудрялись даже в течение двух с лишним лет издавать журнал «Вестник Дома литераторов» — орган контрреволюционной обывательщины. Когда к 1923 году их «Вестник» был закрыт, они оба ускакали в Ригу и основали там русскую белогвардейскую газету «Сегодня».

В Доме искусств презирали Дом литераторов. Презирали дружно, но по разным причинам. Сторонники Горького и Блока презирали их по мотивам политическим, как пособников саботажа и союзников эмигрантов. Сторонники «Цеха поэтов», бывшие сотрудники «Аполлона», презирали их, как всегда все эстеты презирают газетчиков. Студисты унаследовали это презрение от старших. Даже внешне Дом искусств был несравненно привлекательнее Дома литераторов, — в Доме искусств сохранились бывшие елисеевские слуги, которые, надеясь на возвращение прежних хозяев, заботились о чистоте и порядке, а Дом литераторов с каждым годом становился все грязнее и запущеннее.

Но, несмотря на презрение, это не были два совершенно разобщенных коллектива. Связь между ними постоянно поддерживалась. Многие мероприятия Дома литераторов посещались членами Дома искусств, и наоборот. Для члена Дома литераторов нелегко было стать членом Дома искусств. Но многие члены Дома искусств охотно становились членами Дома литераторов. Несомненно, известную роль играли в этом пайки, которые время от времени выдавали членам своего Дома Волковысский и Харитон.

Однажды, например, по городу разнесся слух, что членам Дома литераторов будут выдавать яйца, сбежались все, кто мог надеяться получить, и образовалась длиннейшая очередь. Пришел Волковысский и заявил, что каждому выдается только одно яйцо. Потом принесли яйца, собравшихся постигло новое разочарование: все яйца оказались тухлыми. В очереди стоял нищий старик — полковник царской армии Белавенец. Он считался литератором, потому что писал до революции книги по геральдике. Он объявил, что охотно будет есть тухлые яйца, стал выпрашивать их у всех получивших. По этому поводу Георгий Иванов, тоже стоявший в очереди, сочинил:

Полковнику Белавенцу
Каждый дал по яйцу.
Полковник Белавенец
Съел много яец.
Пожалейте Белавенца,
Умеревшего от яйца.

Стишок этот сохранился у папы в «Чукоккале».

В конце 1920 года у входа особняка на Бассейной появилось написанное от руки объявление, в котором было сказано, что Дом литераторов проводит конкурс на лучший рассказ. Членами жюри были объявлены Евгений Замятин, Аким Волынский, Борис Эйхенбаум, Николай Волковысский и еще кто-то. Я был на том многолюдном собрании в Доме литераторов, на котором Замятин мужественно провозглашал результаты конкурса. Первой премии был удостоен Константин Федин за рассказ «Сад». Одну из поощрительных премий получил Каверин.

Федин служил в то время на какой-то небольшой должности в издательстве «Парус». Это было частное издательство, находившееся на Невском неподалеку от Аничкова моста, принадлежавшее З. И. Гржебину и существовавшее благодаря покровительству Горького. С Домом литераторов Федин был, по-видимому, связан и до конкурса, благодаря своей дружбе с Лидией Борисовной Харитон, дочерью Харитона. Но с литературной молодежью Дома искусств свел его, конечно, Замятин — сразу после конкурса. Федину в ту пору было уже около тридцати лет, держался он солидно, не без важности, и, разумеется, такие зеленые юнцы, как Вовка Познер, Лева Лунц и я, не могли ему быть интересны. Но с Зощенко, Слонимским, Никитиным, Груздевым он сразу сошелся.

Вениамин Каверин (тогда еще просто Веня Зильбер) попал в круг будущих серапионов тоже, по-видимому, благодаря Замятину и Эйхенбауму. Впрочем, решающую роль здесь, конечно, сыграл Лева Лунц, хорошо знавший Веню Зильбера по университету. Каверин был ровесник Лунца и по возрасту подходил скорее к нам, младшим. Это был плотный черноволосый малый с выросшими из рукавов руками. Самолюбиво поглядывал он на всех большими глазами и держался не без заносчивости. Впрочем, я впервые увидел его на первом серапионовом собрании.

История «Серапионовых братьев» примечательна. Это, кажется, единственный в мировой истории литературный кружок, все члены которого, до одного, стали известными писателями. Но выяснилось это только впоследствии. При организации кружка даже сами участники не придавали этому событию слишком большого значения.

Первое организационное собрание «Серапионовых братьев» состоялось 1 февраля 1921 года в Доме искусств, в комнате Слонимского. Членами братства были признаны Илья Груздев,

Михаил Зощенко, Лев Лунц, Николай Никитин, Константин Федин, Вениамин Каверин, Михаил Слонимский, Елизавета Полонская, Виктор Шкловский и Владимир Познер. Название «Серапионовы братья» предложил Каверин. Он в то время был пламенным поклонником Гофмана. Его поддержали Лунц и Груздев. Остальные отнеслись к этому названию холодно. Многие, в том числе и я, даже не знали Гофмановой книги, носящей такое название. Но Лунц объяснил, что там речь идет о собрании монахов, где каждый по очереди рассказывал какую-нибудь занимательную историю. Так как члены кружка тоже собирались по очереди читать друг другу свои произведения, название показалось подходящим. Решили каждому брату дать прозвище и тут же их изобрели. Я их забыл, как забыли их все, потому что никогда впоследствии не употребляли. Помню только, что Груздев был брат-настоятель, а Лунц — брат-летописец. Предполагалось, что Груздев будет исполнять председательские обязанности, а Лунц — секретарские. Но и это не осуществилось. На серапионовых собраниях никто не председательствовал и не велось никакого протокола. Вообще там царило полное равенство, и все организационные мероприятия совершались сообща, скопом. Припоминаю, что Познеру дали прозвище Молодой брат — как самому младшему.

В серапионовском братстве были только братья, сестер не было. Даже Елизавета Полонская считалась братом, и приняли ее именно за мужественность ее стихов. Зощенко прозвал ее «Елисавет Воробей». Однако при серапионовом братстве был, так сказать, официально установлен особый институт — серапионовы дамы. Это были девушки, которые сами ничего не писали, но присутствовали на всех серапионовских собраниях. Вот их имена: Дуся Каплан, Муся Алонкина, Зоя Гацкевич, Людмила Сазонова и Лида Харитон.

На первом собрании было решено, что все присутствовавшие перейдут друг с другом на «ты». Именно с этого дня перешел я на «ты» с Зощенко, с Никитиным, с Груздевым, с Зоей Гацкевич-Никитиной-Козаковой. Но целый ряд «ты» все-таки не осуществился, несмотря на постановление, — между многими не было подлинной близости. В 1954 году Федин встретился с Познером в Варшаве на каком-то конгрессе в защиту мира. Познер прислал ему записку, где назвал его «Костей» и обращался к нему на «ты».

— А ведь мы никогда с ним на «ты» не были! — говорил мне Федин, рассказывая об этом, и был прав. Ни Познер, ни я никогда не были с Фединым на «ты» — слишком велика была между нами разница в возрасте; в 1921 году он относился к нам обоим как к

ребятам.

При основании «Серапионовых братьев» оказались, конечно, и обойденные, непринятые. Помню, как разобиделся Николай Катков, товарищ Лунца, Зощенко, Груздева и Никитина по семинару Замятина, тем, что его не приняли. Вообще проникнуть к серапионам было нелегко. Они сразу же составили замкнутый круг. После основания в братство были приняты только двое — Всеволод Иванов и Николай Тихонов. Об этом я расскажу ниже.

Серапионы встречались раз в неделю в комнате у Слонимского и читали друг другу свои произведения. Помню, как Зощенко с колоссальным успехом читал свои рассказы «Виктория Казимировна» и «Рыбья самка», как Слонимский читал рассказы, которые впоследствии вошли в его книгу «Шестой стрелковый», как Лунц с неистовой пылкостью читал свою трагедию «Вне закона», как Каверин читал свои фантастические рассказы про Шваммердама, а затем повесть «Большая игра», как Федин читал отрывки из «Городов и годов». Я не в состоянии восстановить в памяти порядок этих чтений, хотя помню каждое из них в отдельности. Произведения следовали одно за другим, создавая ощущение щедрости, изобилия, наполняя всех чтецов и слушателей гордой радостью. Вообще первый год существования «Серапионовых братьев» был для них годом удивительного подъема. На глазах у нас создавалась новая литература, способная изобразить новый мир, никогда никем еще не изображенный. Каждое чтение казалось открытием и волновало до боли, до счастья. <…>

На первых порах все были очень дружны или казались очень дружными. Еще неравномерное распределение успехов не породило зависти и неприязни. Кроме официальных еженедельных собраний было еще множество неофициальных — фактически все встречались почти каждый вечер. Комната Слонимского превратилась как бы в постоянный штаб братства. Несколько в стороне стоял один только Виктор Шкловский — все-таки он был литератор другого поколения, начавший значительно раньше и не сливавшийся с остальными серапионовцами полностью. Да и не особенно он был, по-видимому, интересен таким серапионам, как, скажем, Никитин или Зощенко, не отличавшимся особой склонностью к теоретическим умствованиям по поводу литературы.

Был у серапионов такой обычай. Если одному из них что-нибудь в разговоре казалось особенно любопытным, он кричал:

— Моя заявка!

Это означало, что любопытное событие или меткое слово, услышанное в разговоре, мог использовать в своей литературной

работе только тот, кто сделал на него заявку. В беспрерывной оживленной трескотне, не замолкавшей на первоначальных серапионовских встречах, возглас «Моя заявка!» раздавался поминутно. Иногда двое или трое одновременно выкрикивали «Моя заявка!», и возникал спор. Это не означало, что все эти заявки действительно использовались. Тут скорее было кокетничанье своей силой: все, мол, могу описать, что только захочу.

И действительно, ощущение своей силы у каждого в то время было огромное. Целина лежала перед ними: новый мир, который предстояло изобразить. Они не сомневались в том, что это им удастся, и чувствовали себя могучими, как титаны.

Я присутствовал при первом посещении серапионами Горького — при том посещении, которое описал Каверин в своей статье «Горький и молодые» (Знамя. 1954. № 11. С. 158–167).

Каверин хорошо запомнил это посещение, потому что оно было его первой встречей с Горьким. Для Федина и Слонимского встреча эта была далеко не первой. Я тоже и раньше бывал у Горького на Кронверкском. Однако это посещение ясно помню.

Каверин хорошо описал большую низкую тахту в кабинете у Горького. Тахта стояла как раз против письменного стола, и, когда Горький сидел за столом, лицо его было обращено к тахте. Мы расселись на тахте (те, кто поместились, я, например, не поместился и сел на стул справа от тахты, у окна), Горький сел за стол, и началась беседа, в которой говорил почти один только хозяин. Я не произнес, конечно, ни слова, Лунц, Федин, Груздев отваживались лишь на робкие реплики, раза два что-то промямлил Слонимский. Горький, отделенный от нас плоскостью своего большого стола, говорил долго, назидательно и однотонно.

Когда мы вошли, кроме Горького в кабинете находился еще один человек, большинству из нас, в том числе и мне, незнакомый. Он сидел на тахте — в солдатской шинели, в обмотках, в солдатских сапогах. Шапка-ушанка с белым мехом лежала у него на коленях. Лицо у него было очень широкое, круглое, с узкими глазками и носом картошкой, и я принял его сначала за монгола. Горький познакомил нас. Это был Всеволод Иванов, недавно приехавший из Сибири и привезший свою первую книжку под названием «Рогульки».

Беседа с того и началась, что Горький стал нам рассказывать про Всеволода Иванова. Биография Всеволода Иванова оказалась весьма причудливой — он успел побывать и циркачом, и наборщиком, и повоевать на многих фронтах. Все это нам очень понравилось, — в те времена была мода на пышные, пестрые,

мужественные биографии. Никитин и Слонимский, например, изо всех сил старались выдумать себе биографии попричудливей, но у них это плохо получалось. Из всех профессий Всеволоду Иванову больше всего пригодилась профессия наборщика, потому что свою первую книжку «Рогульки» он набрал сам.

Пока Горький говорил, мы маленькую книжечку эту почтительно передавали из рук в руки. В ней были совсем небольшие рассказики, написанные темно и витиевато. Горький попросил книжечку себе и, восторгаясь, прочел один из рассказиков вслух. Мы восхитились. Витиеватость в рассказике была именно та самая, какой требовал Замятин от своих студистов у себя на семинаре. Горький предложил нам подружиться со Всеволодом Ивановым. И Всеволод Иванов был мгновенно принят в серапионово братство.

Потом Горький перешел к разбору нашего творчества. Совсем не помню, каким образом Горький узнал о «Серапионовых братьях» и познакомился с тем, что они писали. Вероятно, связь первоначально установилась через Федина и Слонимского. Разбор творчества был краткий, но очень лестный для всех. Федина, Зощенко и Лунца Горький хвалил пространнее и горячее, чем остальных, но и остальные не были забыты; даже мои стихи удостоились совсем ими не заслуженного похвального отзыва. Затем Горький перешел к тому, что всех нас тогда интересовало больше всего, — к возможности печататься, к планам издания серапионовского сборника и книг отдельных серапионов. Помню, что при этом, наряду с Госиздатом, часто поминалось имя издателя Зиновия Исаевича Гржебина. Не раз было произнесено священное слово «гонорар», восхищавшее нас не столько тем, что сулило нам деньги, сколько тем, что приобщало нас к касте настоящих профессиональных литераторов.

Существует мнение, будто между Горьким и серапионами с самого начала установились отношения учителя и учеников. Мнение это не вполне справедливо. Такие отношения установились позже, постепенно, а вначале некоторые серапионы даже не понимали литературного значения Горького. Это был результат литературного воспитания. Ценили Горького за его политическую антиэмигрантскую позицию; дорожили им как добрым, могущественным человеком, способным оказать покровительство. Но как писателя знали его мало и понимали плохо. Я из всей его прозы знал тогда только «Детство» и «В людях» — и то не сам читал, а слышал отрывки, которые отец мой любил читать вслух за обедом. Некоторое впечатление на меня произвела лишь маленькая сценка, в которой изображался приказчик, съевший на пари десять фунтов ветчины, — и то

только оттого, что я, постоянно в те годы голодный, позавидовал этому приказчику. Стихи его я, как и все в Доме искусств, считал банальными и смешными. Кроме стихотворения «Васька Буслаев», которое очень любил.

Язвительное стихотворение это я тоже слышал в чтении моего отца и вместе с отцом восхищался им.

Землю разукрасил бы — как девушку,
Обнял бы ее — как невесту свою,
Поднял бы, понес ее ко господу:
Глянь-ко ты, господи, земля-то какова, —
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты вот ее камнем пустил в небеса,
Я ж ее сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко ты, господи, порадуйся.
Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я тебе ее в подарочек,
Да — накладно будет — самому дорога!

Убежден, что, скажем, Лунц и Каверин в 1921 году ценили и понимали Горького как писателя еще меньше, чем я. Лунц вообще не любил русскую прозу, он утверждал, что писать надо, как Конан Дойл, как Уэллс, как Киплинг, из русских прозаиков последних десятилетий более или менее признавал только Ремизова да Белого, и, конечно, Горький как писатель ничего не говорил его сердцу. Тогдашний Каверин, с его наивным шкловитянством, с сюжетным трюкачеством, с «остранением», с пристрастием к Гофману, еще меньше способен был понять Горького. Остальные тоже своими учителями считали Лескова, Ремизова, Белого, Бунина, Киплинга, Замятина, а никак не Горького. Учителем своим они признали Горького гораздо позже, а учились ли у него когда-нибудь действительно — не знаю.

С этого дня Всеволод Иванов стал настоящим серапионовым братом и посещал все серапионовские собрания. На ближайшем собрании в комнате Миши Слонимского он своим диковатым солдатским видом испугал серапионовых дам. Мила Сазонова, крупная, сильная, красивая девушка, шарахнулась в сторону, когда Иванов сел рядом с ней.

— Не бойтесь, я вас не потрогаю, — смущенно сказал Иванов.

Лунц, сидевший в кресле, захохотал, задрав ноги кверху, и долго еще повторял, вытирая слезы кулаками:

— Не бойтесь, я вас не потрогаю.

За Всеволодом Ивановым в серапионовской среде надолго установилась репутация неуклюжего увальня, деревенщины, по

правде сказать, совершенно им не заслуженная. Этот тонкий душевно человек был такой же интеллигент, как и они, и обладал всеми теми же интеллигентскими пристрастиями, предрассудками и достоинствами, что и они сами. Однако его долго выдавали за какого-то особенного «человека из народа» и сочиняли про него, любя, соответствующие анекдоты.

Вот один из них.

В 1922 году серапионы чествовали в Доме искусств Мартина Андерсена-Нексе, впервые приехавшего в Советскую Россию. Присутствовал и я. Было нечто вроде банкета — без крепких напитков, разумеется. Датского языка из нас не знал никто, и разговаривать с почтенным гостем можно было только по-немецки. Естественно, разговором завладел Федин, лучше всех знавший немецкий язык. Тягаться с ним мог только Лунц, тоже недурно говоривший по-немецки. Слонимский и Никитин, покраснев от натуги, также произнесли несколько немецких фраз. Остальные были обречены на молчание. Но Всеволод Иванов тоже хотел принять участие в беседе. И, пожимая руку гостю, произнес:

— Und!

Единственное немецкое слово, которое знал.

Я не уверен, правда ли это. Сам я этого своими ушами не слышал. Но Лунц клялся, что правда.

Последним в Серапионово братство был принят Николай Семенович Тихонов. Произошло это не раньше ноября 1921 года.

На нашем горизонте Тихонов появился впервые, по-видимому, в самом конце двадцатого года. «Открыл» его Всеволод Рождественский и, «открыв», стал водить в Дом искусств.

У Всеволода Рождественского в то время было несколько особое положение — акмеист по убранству стиха, всеми корнями связанный с «Цехом поэтов», он был изгнан из «Цеха» и находился в дурных отношениях с гумилевцами. Однако лагерь будущих серапионов был ему совершенно чужд, относился к нему презрительно, насмешливо, и он, естественно, не мог прильнуть к нему. Но, не примыкая ни к одному из лагерей, он пользовался большим успехом как поэт. У него была своя собственная свита, состоявшая преимущественно из разных дам и барышень. И впервые Тихонов предстал перед нами именно как человек из свиты Рождественского.

На стихах Тихонова той зимы можно заметить влияние поэтики Рождественского.

С конца апреля по середину октября 1921 года меня не было в Петрограде, я вместе с родителями жил в Псковской губернии. Вернувшись после полугодового отсутствия, я нашел родной и знакомый мне петербургский литературный мир значительно

изменившимся. За это время не стало и Блока, и Гумилева. Изменилось значение многих людей, появились новые люди.

Среди новых людей нужно назвать прежде всего Сергея Колбасьева — того морячка, которого Гумилев привез с собой из Севастополя. Я уже писал, что это был человек, издавший в Севастополе книгу стихов Гумилева «Шатер».

Теперь расскажу о нем немного больше. В течение всей Гражданской войны он сражался на стороне красных, хотя происхождения он был отнюдь не пролетарского. Отец его принадлежал к старой дворянской военной семье, и Сергей Колбасьев бережно хранил медаль, полученную его предком за участие в Отечественной войне 1812 года. Мать его, Эмилия Петровна, урожденная Каруана, была итальянка из купеческой семьи, занимавшаяся вывозом хлеба через Одессу и Николаев. Она давно овдовела и находилась не то в родстве, не то в свойстве с Рейснерами, и, таким образом, Колбасьев, через знаменитую красавицу тех лет Ларису Рейснер, приходившуюся ему чем-то вроде кузины, оказался в близких отношениях с высшим командованием Красного Флота.

Это был худощавый, довольно высокий молодой человек с черными итальянскими глазами, быстро и много говоривший. Он был прост, приветлив, одержим литературой и необычайно легко сходился с людьми. Я вернулся в Петроград в октябре 1921 года, увидел его впервые и уже через неделю был с ним в самых коротких дружеских отношениях. На нем лежала тогда еще некоторая тень таинственности, — его привез и привел в Дом искусств Гумилев перед самой своей гибелью. Колбасьев был переполнен рассказами, анекдотами, пословицами из морской жизни, и все это — то трагическое, то смешное, часто непристойное — он щедро обрушивал на восхищенных слушателей. Стихи он писал тоже только о море. Впрочем, стихи его у нас большого успеха не имели.

Его дружба с Гумилевым и сам гумилевский покрой его первых стихов открывал перед ним двери «Цеха поэтов». И действительно, Георгий Иванов, Адамович, Оцуп отнеслись к нему весьма благосклонно. Но в «Цех поэтов» Колбасьев не пошел. Осенью 1921 года он избрал себе нового бога вместо Гумилева и шел туда, куда вел его новый бог. Этот новый бог был Николай Тихонов.

За полгода, что меня не было в Петрограде, Тихонов стал богом не для одного только Колбасьева. Его первые баллады, вошедшие потом в его первую книгу «Орда», потрясли весь наш мирок. Между ним и Рождественским не было уже ничего общего, связь их порвалась бесповоротно.

Тихонов захватил в нашем кругу место Познера, уехавшего весной. Но баллады Тихонова с самого начала имели успех гораздо больший, чем баллады Познера. Их лохматой, неуклюжей мощью восхищались все. Георгий Иванов говорил про него сквозь зубы, что это «сильный, но необработанный талант». Но особенно восхищались им серапионы. К балладам Тихонова отнеслись они с шумным восторгом и без конца заставляли его читать их. И он читал и только басовато похохатывал, слушая их упоенные восклицания.

Колбасьев забыл Гумилева и всей душой предался Тихонову. Он повсюду ходил за ним, был с ним неразлучен и сам писал стихи теперь не как Гумилев, а как Тихонов, но только гораздо слабее. Он всей душой любил Тихонова, и Тихонов позволял ему себя любить, как полгода назад дозволял любить себя Рождественскому.

В ту осень серапионы были на взлете, Тихонова тянуло к серапионам. Тяготение это было естественно, потому тогдашнее творчество его было очень близко к тому, что делали серапионы. И в ноябре решался вопрос о приеме в братство двух новых членов — Тихонова и Колбасьева.

Происходило это почему-то не в комнатенке Миши Слонимского, а в одной из парадных комнат Дома искусств. Всех не членов братства попросили выйти. Мы вышли в соседнюю комнату: я, Тихонов и Колбасьев. Ждали минут двадцать. Несомненно, за дверью происходили споры, но я о них не знаю ничего.

Потом вышел Каверин и объявил, что Тихонов принят, а Колбасьев — нет.

С тех пор в Серапионово братство не был больше принят ни один человек. Организация эта сформировалась окончательно.

Может возникнуть вопрос — сколько времени существовало Серапионово братство? Ответить на него не легко. Сборник под названием «Серапионовы братья» вышел только дважды, один раз в Петрограде, другой раз в Берлине, в 1921 и 1922 гг. Регулярные собрания с чтением друг другу своих произведений продолжались не позже чем до 1923 года. Организационных собраний после того, на котором приняли Тихонова, больше, по-видимому, не было совсем. Оставались только серапионовские «годовщины», справлявшиеся ежегодно 10 февраля. На одной такой «годовщине» десятого февраля 1931 года был и я. Происходила она на квартире у Тихонова, Зверинская, 2, и состояла в дружеской попойке. Не сомневаюсь, что только в этом заключался и смысл всех остальных «годовщин».

Однако, несмотря на это отсутствие организационных форм,

«Серапионовы братья» продолжали существовать как единая, сплоченная, ни с кем не сливающаяся, деятельная организация по крайней мере до середины тридцатых годов.

Интерес их друг к другу как писателям слабел. Чем дольше шло время, тем больше они друг от друга литературно обособлялись. Но очень еще долго были они нужны друг другу для тех житейско-литературных битв, которые им приходилось вести.

Прежде всего это была энергичнейшая дружная борьба за возможность печататься, за овладение типографскими машинами. Все важнейшие издательские предприятия в Ленинграде двадцатых годов основывались при участии серапионов и в той или иной мере контролировались ими. Крупнейшими деятелями издательства «Прибой» были Миша Слонимский и Зоя Гацкевич — к этому времени уже Зоя Никитина, так как она вышла замуж за серапионова брата Николая Никитина. В Госиздате серапионы тоже играли немалую роль, и именно благодаря им были созданы и альманах «Ковш», и журнал «Звезда». Руководителями «Звезды» вплоть до 1941 года фактически были Слонимский и Тихонов. Но главной их цитаделью в течение долгого времени было Издательство писателей в Ленинграде. Возглавлял его Федин, наиболее влиятельными членами полновластного редакционного совета были Тихонов, Слонимский, Груздев, а бессменным секретарем — все та же Зоя Никитина.

Единство серапионов не раз помогало им в истории их отношений с другими группами литераторов. Прежде всего это сказалось внутри так называемого «старого» Союза писателей, возглавлявшегося Федором Сологубом. Они были приняты туда нехотя и сначала заняли самое скромное положение среди разных полупочтенных старцев, чрезвычайно себя уважавших. Но за какой-нибудь год они перевернули в Союзе все и, в сущности, стали его руководством.

«Старый» Союз писателей в Ленинграде был их главной цитаделью вплоть до создания «нового» Союза после ликвидации РАПП. Они установили дружественные и деловые связи с родственными им писателями в Москве, — сначала с Пильняком и Лидиным, потом с Леоновым и, наконец, с Павленко. Годы с двадцать седьмого по тридцать второй прошли для них в напряженной борьбе с РАПП, которую они вели умело, гибко и осторожно. Никогда не идя на рожон и используя борьбу рапповских главарей между собою, они ловко отводили от себя удары и, в то время когда кругом трещали кости, отделывались пустяками. В самый разгул авербаховщины они умудрились ходить в «левых попутчиках» и в «союзниках». РАПП требовал от

них «перестройки», и они охотно и изящно «перестраивались», хотя, по правде говоря, ни в какой «перестройке» не было надобности, потому что они с самого начала были прежде всего советскими писателями. И в борьбе с РАПП они оказались победителями и пережили его.

Распались «Серапионовы братья» не в один какой-нибудь день, а постепенно, по мере того как с возрастом слабели дружеские связи.

1921 год был переломным годом для нашего петроградского литературного круга. Во-первых, в этом году заметно изменился его состав. Умер Блок, погиб Гумилев. Георгий Иванов, Адамович, Оцуп, Одоевцева поняли, что оставаться им в Петрограде опасно, стали свертывать свою деятельность и готовиться к эмиграции. Уехал за границу Познер, появился Колбасьев. В этом году основались «Серапионовы братья», в Петроград приехал из Сибири Всеволод Иванов, прогремели первые баллады Николая Тихонова. Из Крыма возвратился в Петроград Мандельштам, из Москвы переехал в Петроград Ходасевич, и оба они сразу заняли заметные места в петроградской литературе.

Некоторые из антисоветски настроенных старых литераторов с возникновением нэпа возымели надежду, что им удастся воссоздать в Советской России антисоветскую печать. В журнальчике Волковысского и Харитона «Вестник Дома литераторов» была помещена любопытная заметка, подписанная Петром Губером, бывшим сотрудником «Речи». Чтобы привлечь внимание к этой заметке, ее оттиснули на полосе вверх ногами, перевернутой. Озаглавлена была эта заметка «нэп и неп». В заметке объяснялось, что нэп — это Новая Экономическая Политика, а неп — независимая печать, и высказывалось упование, что вместе с нэпом придет и неп. Как известно, этому упованию не суждено было сбыться. Напротив, антисоветски настроенные литераторы с 1921 года сильно поутихли, и зато заметную роль в литературной жизни Петрограда стали играть пролеткультовцы: Садофьев, Кириллов, Панфилов.

Трехлетие 1918–1920 и семилетие 1922–1928 — это две весьма разные эпохи в жизни страны и в жизни литературы. В 1921 году были перемешаны черты обеих эпох, и потому он особняком стоит в памяти. Все ощущали тогда, что происходит перемена, и потому это был год всеобщих опасений и надежд. И конечно, никто не мог тогда предвидеть, каким из этих опасений и надежд суждено сбыться, а какие останутся втуне.

Холомки

В 1921 году наша семья с мая по октябрь прожила в Холомках. Холомки — это было имение князей Гагариных в Псковской губернии, на берегу Шелони, в 25 верстах от уездного города Порхова. Пахотные земли Гагариных были поделены между крестьянами, а усадьба Холомков была объединена с соседней усадьбой имения Новосильцовых «Бельское Устье» и превращена в совхоз. Главной драгоценностью совхоза был новосильцовский яблоневый сад — семь десятин великолепнейших старых яблонь, все ранет и белый налив. Остальные хозяйственные статьи совхоза были ничтожны — кое-какие огородишки да четыре тощие запаршивевшие лошади и две коровы. Лошадей и коров пасла шепелявая дурочка-пастушка, безобразная, немолодая, одетая в мешковину и до того грязная и вонючая, что к ней страшно было подойти. У пастушки этой почему-то были золотые зубы. Почему — не помню, вероятно, она была из опустившихся «бывших» — бывшая кухарка, бывшая лавочница, а может быть, и чиновница. Во всем уезде ни у кого, кроме нее, не было золотых зубов, и крестьяне, встречаясь с ней, не отрываясь смотрели ей в рот, как на чудо. Она постоянно опасалась, что кто-нибудь выбьет ей зубы с целью грабежа, и часто говорила об этом.

Для моего отца поездка в Псковскую губернию летом 1921 года была выходом из чрезвычайно тяжелого материального положения. В 1920 году родилась моя сестра Мура — четвертый ребенок в семье, — и отцу, единственному нашему кормильцу, решительно нечем было кормить нас в голодном Петрограде. Оставался только один выход — уехать в деревню и жить там, меняя вещи на продукты.

Беда заключалась в том, что никаких вещей у нас не было. К двадцать первому году мы уже все обносились до предела. Но отец нашел выход — с запиской от знакомых работников Петросовета он обратился на один из петроградских металлургических заводов и получил там мешок гвоздей и четыре стальные косы. Мешок с гвоздями притащил домой на спине я, — никогда в жизни мне не приходилось тащить ничего более тяжелого. Это было богатство — деревня погибала без гвоздей и кос. В Холомках мешок гвоздей и четыре косы мы обменяли на четыре мешка ржи. И жили там, пока не съели эту рожь, — до середины октября.

Холомки были открытием художника Добужинского. Он был знаком с Гагариными еще до революции, списался с ними и

первым уехал к ним, увезя с собой всю семью. Гагарины продолжали жить в своем помещичьем доме благодаря неизреченной доброте А. В. Луначарского, который выдал им охранную грамоту. Семья Гагариных в это время состояла из трех человек — старой княгини, княжны Софьи Андреевны, женщины лет тридцати двух, и князя Петра Андреевича, семнадцатилетнего мальчика, моего ровесника. Старый князь уже умер, а старшие сыновья были в бегах за границей. Двухэтажный каменный дом их на берегу Шелони был построен перед самой войной и скорее напоминал виллу, чем помещичий дом. В доме сохранилась отличная библиотека Гагариных, и княжна Софья Андреевна, числясь библиотекаршей и получая зарплату из Порхова, выдавала книжки желающим.

Гагаринскую землю крестьяне запахали, но к ним самим относились добродушно и дружелюбно. Бывало, в какую избу ни зайдешь с Петей Гагариным — усаживают за стол, жарят глазунью с луком. Эти глазуньи, которых я так давно не пробовал, потрясали меня до глубины души. Петю крестьяне называли не иначе как «вашим сиятельством». Возможно, в благодушной этой почтительности был и расчет — ведь всего год назад в Порховском уезде владычествовали банды Булак-Балаховича и окончательной уверенности в прочности Советской власти у крестьян не было.

Когда мы приехали в Холомки, там уже жил Евгений Иванович Замятин, тоже вызванный туда Добужинским — подкормиться. У Евгения Ивановича была и особая причина приезда, — он был влюблен в Софью Андреевну Гагарину, и между ними тянулся долгий и, по-видимому, трудный для обоих роман.

Вслед за нами стали приезжать привлеченные пищей все новые художники и литераторы. Из художников я помню двоих — Николая Эрнестовича Радлова с женой Эльзой и дочкой Мапой и Владимира Алексеевича Милашевского. Милашевский был тогда еще совсем молодой человек с уже большой и сложной биографией, как у многих молодых людей того времени. Он был на редкость здоров и силен, хохотлив, шумен и подвижен. Всего за несколько месяцев перед тем он вернулся из Сибири, где провел несколько бурных лет, воюя попеременно на стороне белых и красных. Политикой он нисколько не интересовался и относился к тому, что происходило в России, с презрительным равнодушием ландскнехта. Его назначили комендантом яблоневого сада совхоза, и он выполнял свои обязанности с удивительной ретивостью. Когда яблони начали поспевать, он построил себе между яблонь шалаш и сидел там днем и ночью,

наблюдая за тем, чтобы деревенские мальчишки не крали яблок. Против мальчишек он вел правильную войну, устраивал ловушки, засады, с бешеным увлечением гонялся за ними, крича и перепрыгивая через заборы. Он утверждал, что крестьян надо сечь, и совершенно серьезно проповедовал восстановление телесных наказаний. Это не мешало ему установить самые дружеские отношения с местным населением, особенно с женской его половиной. Скоро он стал веселой грозой деревенских девок и баб. Впрочем, бесконечные его похождения не мешали ему всей душой отдаваться рисованию и живописи. Всюду таскал он с собой альбомчик и беспрестанно делал стремительные зарисовки. Как художник он был лаконичен и точен — особенно в портретах. Набросав портрет или пейзаж, он принимался громко восхищаться своей работой, так как обладал неистощимым самодовольством. Его наброски действительно были очень хороши, в них как живая отразилась деревня неповторимого двадцать первого года. Некоторые из них сохранились у меня до сих пор, — и это, может быть, лучшее и наиболее самобытное из всего, что он сделал за свою жизнь.

Литераторов понаехало в Холомки куда больше, чем художников. Появился Ходасевич с женой и пасынком, М. Л. Лозинский со своей лучшей ученицей Оношкович-Яцыной, Леткова-Султипова с сыном Юрием. Вслед за ними появилась и молодежь — Сергей Нельдихен, Миша Зощенко, Миша Слонимский, Лева Лунц и Муся Алонкина. Всех их вместить гагаринский дом не мог, и потому новоприбывших поселили в бывшем новосильцовском доме — Бельском Устье.

Новосильцовский дом стоял в двух верстах от Холомков — длинная деревянная двухэтажная постройка с просторными комнатами, паркетом и полным отсутствием мебели; мебель к этому времени уже успели развезти по своим избам окрестные крестьяне. От Холомков к Бельскому Устью вела длинная березовая аллея. Дом Новосильцовых одним фасадом был обращен в яблоневый сад, другим — к бесконечным полям, где блестели изгибы Шелони и чернели деревни. Между домом и рекой стояла церковь, построенная в XVIII веке. По ту сторону реки, за мостом, возле кладбища, стояли три домишка, в которых жили священник, дьякон и псаломщик. Новоприбывшие разместились в пустом доме кто как мог: на топчанах и просто на полу. Нельдихен устроился на террасе с перебитыми стеклами в длиннейшем ящике из-под яиц. Заглянул я как-то в этот ящик, смотрю, лежит он там на спине, на стружках, выставив вверх острые колени, в гоголевской крылатке, в галстуке бабочкой и ухмыляется своей обычной ухмылкой — дурацкой и плутоватой.

Н. Э. Радлов решил преобразить внутренность новосильцовского дома и принялся расписывать его голые стены огромными фресками. Мы с жадным вниманием следили за его работой, быстро продвигавшейся вперед — каждый день появлялась новая фреска. На этих уморительно смешных фресках изображены были мы сами — и Нельдихен в крылатке, и изысканный Лозинский, и Добужинский, и мой отец, и стремительный Лева Лунц, и Гагарины, и Замятин, и маленький Ходасевич с челкой на лбу, в пенсне, с брезгливой улыбкой на крохотном личике.

В сторожке рядом с домом жили Вихровы — семья бывшего кучера Новосильцовых. В семье были две дочери — Женя и Тоня. Женя, старшая, лет двадцати трех, высокая, с удивительной осанкой, была почти совсем глуха. Рассказывали, что оглохла она в результате нервного потрясения после неудачного замужества. Когда летом 1917 года генерал Корнилов сделал попытку подтянуть к Петрограду войска и раздавить революцию, одна из его дивизий, так называемая «дикая», простояла три дня в окрестностях Бельского Устья. За эти три дня один офицер дикой дивизии, по фамилии Лещинский, успел жениться на Жене Вихровой. Венчались рядом, в церкви, при огромном стечении народа, потом сыграли пышную свадьбу, на которой пировали бесчисленные родственники Вихровых из окрестных деревень. Наутро после брачной ночи дивизия ушла, а вместе с ней ушел и Лещинский. С тех пор Женя Вихрова ничего больше не слышала о своем муже, — он даже письма ей не прислал ни разу. И она оглохла.

Глухоту свою она тщательно скрывала, и с лица ее не сходило выражение величавого замкнутого достоинства. Она казалась загадочной. По вечерам в домике Вихровых собирались Радлов, Милашевский, Ходасевич и я и играли с обеими сестрами в «почту амура». Женя очень нравилась Ходасевичу, и он не отходил от нее. Он читал ей стихи и без конца ей рассказывал о своих ссорах с Брюсовым, с Андреем Белым, о своих отношениях с издательством «Гриф» и журналом «Весы». Она слушала его молча, с загадочной полуулыбкой на величавом лице. Это его поощряло, и он говорил, говорил, хилый, беспокойный, торопливый, пронзительно умный, едва доходивший ей до плеча. Она, конечно, ничего не слышала, а если бы и слышала, ничего не поняла бы. Мы с Тоней понимали друг друга гораздо лучше.

Жене Вихровой посвящено написанное в то лето стихотворение Ходасевича, которое называется: «К Лиде». Начинается оно так:

Высоких слов она не знает,

Но грудь бела и высока,
И сладострастно воздыхает
Из-под кисейного платка.

Сестер Вихровых имел он в виду, когда писал в конце одного из своих стихотворений:

И к девушкам, румяным розам,
Склонясь усталою главой,
Дышу на них туберкулезом,
И Петербургом, и Невой.
Как тот угрюмый неудачник
С печатью бога на челе,
Я тоже — только первый дачник
На расцветающей земле.

Эта «печать бога на челе» требует пояснений. У Ходасевича на лбу была неизлечимая экзема, которую он прикрывал челкой. Он считал ее той печатью, которой бог отметил Каина — угрюмого неудачника — в знак его отверженности. Впоследствии, уже за границей, в одном из своих стихотворений, вошедших в книгу «Европейская ночь», он написал о себе:

Неузнанный проходит Каин С экземою между бровей.

До Холомков, в Петрограде, я видел Ходасевича всего два-три раза. Мне очень нравились его стихи. Он только зимой 1920/21 года перебрался из Москвы в Петроград и не успел срастись с петроградским литературным кругом. Впрочем, он уже бывал и в Доме искусств, и у Горького. Здесь, в Холомках, он почувствовал во мне поклонника и отнесся ко мне очень благосклонно. У него был трудный литературный путь, и почитателями он не был избалован.

Как видно на примере с Вихровыми, между приехавшими из Петрограда и местными жителями установились самые тесные отношения. Нельдихен и Лунц подружились с дьяконом и его взрослой дочерью. Они каждое утро отправлялись в лес за грибами. Дьякон открыто ухаживал за Мусей Алонкиной и, встречаясь с ней, кокетливо бросал свой носовой платок в ее румяное личико с черными бровками. Миша Слонимский, давний Мусин поклонник, ревновал, но смирился и, вслед за Мусей, покорно ходил с дьяконом за грибами. По вечерам все собирались в новосильцовском доме. Открывались все двери, зажигались керосиновые лампы, местный агроном с лицом Козьмы Пруткова играл на гармони, и устраивалась грандиозная кадриль. В первой

паре шел Замятин с княжной Софьей Андреевной, за ними задравший рясу дьякон с Мусей Алонкиной, за ними князь Петя с поповной Лидой, дочерью священника отца Сергия, за ними Милашевский с Женей Вихровой, затем Нельдихен с дочкой дьякона, М. Л. Лозинский с Оношкович-Яцыной, Зощенко с учительницей из деревни Захонье. Всем распоряжался тонкий, стройный, изысканно-изящный Радлов, громко возглашавший:

— Шанже во дам! Гран ронд!

И пары двигались среди выбитых окон, мигающих огней, мелькающих теней, между чудовищными фресками, украшавшими стены.

Это было первое мирное лето после семи лет войны. Никто не знал, надолго ли эта передышка, не возобновится ли война вот-вот опять, и все же все чувствовали огромное облегчение, предавались мечтам и надеждам. Продразверстку заменили продналогом, демобилизованные красноармейцы возвращались в свои деревни, бывшие конники с увлечением рассказывали о прошлогоднем польском походе, крестьяне впервые с уверенностью пахали доставшиеся им от помещиков земли, по вечерам на берегах Шелони молодежь жгла костры и прыгала через них, готовясь к свадьбам, по нищим разоренным деревням победно гремели песни. Да и погода стояла на редкость солнечная, яркая, теплая. В Поволжье летом 1921 года солнце сожгло весь хлеб, вызвав чудовищный голод, но для вечно мокрой, дождливой, болотистой Псковской губернии затянувшаяся ясная и сухая погода была благодатью. Подымались хлеба, цвела картошка, и окрепшая Советская власть все увереннее распоряжалась на земле.

Правда, все лето не прекращались слухи о зеленых бандах, бродящих по лесам. Из обитателей Холомков слухи эти больше всего волновали Ходасевича и Милашевского. Ходасевич относился к этим слухам панически и не раз уверял, что зеленые нападут на нас и всех зарежут. Милашевский, напротив, был настроен воинственно и предлагал затребовать из Порхова оружие, чтобы в случае нападений мы могли дать бандитам достойный отпор. В эти минуты они оба были пламенными сторонниками Советской власти, которая только одна могла их защитить.

Салон Наппельбаумов

Мы уехали в Псковскую губернию весной 1921 года из Петрограда военного коммунизма, а осенью вернулись в Петроград нэповский.

За эти несколько месяцев жизнь в городе круто изменилась. На всех углах открылись частные лавчонки, закрытые с восемнадцатого года. Рынки и барахолки кишели толпой. Разного рода спекулянты и мешочники, еще недавно орудовавшие втайне, теперь действовали открыто, выставляя напоказ свои синие шевиотовые пиджаки, резко выделявшиеся среди миллионов толстовок и заношенных гимнастерок. Валютчики на Невском приставали к прохожим и предлагали доллары, марки, франки. Появились кафе, в которых — впервые за четыре года — продавались пирожные. Особенно много возникло комиссионных магазинов — по перепродаже мебели, фарфора, хрусталя, картин. Все это стоило копейки, но почти не раскупалось, потому что копеек ни у кого не было. Сейчас трудно себе даже представить, до чего убогой была нэповская роскошь. Человек, носивший пиджак и галстук, считался неслыханным франтом, изысканным денди. Человек, покупающий пирожное, считался кутилой, прожигателем жизни.

Однажды таким прожигателем жизни оказался и я. Была у меня приятельница, девочка лет семнадцати, которую звали Таня Ларина. В отличие от пушкинской Тани была она не Дмитриевна, а Константиновна. Я проводил с ней много времени. И, между прочим, свел как-то в Дом искусств. Она понравилась Мише Зощенко, он запомнил ее и потом, встречаясь со мной, всякий раз спрашивал меня о Тане Лариной.

Однажды, поздней осенью 1921 года, пошел я с Таней в театр, находившийся в Пассаже и называвшийся петроградцами по старой памяти театром Сабурова. В фойе театра — неслыханная новость! — был буфет. В антракте мы с Таней, как заколдованные, ходили мимо стойки, где стояла большая ваза с пирожными. Конечно, я понимал, что настоящий кавалер должен был бы угостить свою даму, но колебался. Тут же в фойе обнаружился поэт Николай Оцуп с женой Полиной, красивой женщиной, казавшейся нам очень шикарной, потому что она как-то по-особенному косила глаза. Оцуп небрежно мне кивнул, подвел жену к стойке, и они съели по пирожному. При виде жующего Оцупа мои колебания кончились. Когда Оцуп расплатился и отошел, я подвел к стойке Таню и предложил съесть по пирожному.

Таня взяла пирожное, взял и я. Таня съела пирожное с величайшим наслаждением. Облизала пальцы и сейчас же — цоп — взяла из вазы еще одно.

Я, конечно, не говорил ей: «Ложи взад». Но я пережил несколько страшных минут. Я не знал в точности, сколько у меня денег в кармане, но по предварительным моим расчетам выходило, что за два пирожных я заплатить могу, а за три — никак. Я ждал скандала, ждал, что меня выведут из театра. Все обошлось, потому что я отыскал где-то в заднем кармане полученную в трамвае сдачу, о которой я забыл. Но память об испуге, который я испытал в течение нескольких минут, пока Таня ела пирожное, осталась во мне надолго.

На следующий день был я в Доме искусств и зашел к Зощенко, который жил теперь рядом со Слонимским. Зощенко сразу же стал расспрашивать меня о Тане Лариной, и я рассказал ему о своем вчерашнем переживании в театре.

На ближайшем серапионовском сборище он прочитал свой новый рассказ — «Аристократка». Как всегда, читал он серьезно, с неподвижным лицом, но после каждой фразы слушатели хохотали так, что тряслись стены. Мы с Левой Лунцем плакали от смеха. Зощенко очень точно использовал мой рассказ, взял даже слово «цоп», а ведь я, рассказывая ему, не видел в этом неприятном происшествии с пирожным ничего смешного. От этого все, что он читал, казалось мне еще уморительнее. И, несмотря на то что он изобразил меня в виде какого-то малопривлекательного водопроводчика, я был рад, что хоть так попал в литературу.

В переломный двадцать первый год возник новый литературный центр — салон Наппельбаумов.

Моисей Соломонович Наппельбаум был по профессии фотограф-художник. Так он сам себя называл. Родился он в Минске и там начал заниматься фотографией. В поисках лучшей жизни он, оставив в Минске семью, уехал в Америку и прожил там несколько лет. Но Америка ему не понравилась, и перед самой войной он вернулся в Минск. Летом 1917 года, когда отменили черту оседлости, он с семьей перебрался в Петроград.

Это был крупный красивый мужчина с волнистыми кудрями и большой черной бородой. Всем своим обликом старался он показать, что он — художник. Он носил просторные бархатные куртки, какие-то пелерины, похожие на старинные плащи, галстуки, завязывавшиеся пышным бантом, береты. Свои фото он ретушировал так, что в них появлялось что-то рембрандтовское. Он действительно был замечательным мастером портрета. Его фотография Ленина, снятая в начале 1918 года, — одна из

лучших ленинских фотографий. Очень хороши сделанные им портреты Блока. Это был добрый благожелательный человек, очень трудолюбивый, любящий свое дело, свою семью, искусство и деятелей искусства.

Эта любовь к людям искусства и литературы была в нем удивительной чертой, потому что, в сущности, был он человек малообразованный, книг почти не читавший и не только ничего не понимавший в произведениях тех, кого так любил, но и не пытавшийся понять. Свое бескорыстное благоговение перед «художественным» он передал по наследству всем своим детям. Они не мыслили себе никакой другой карьеры, кроме карьеры поэта, писателя, художника.

Детей у него было пятеро — Ида, Фредерика, Лев, Ольга и Рахиль. Две старшие дочери, Ида и Фредерика, помогали отцу проявлять фотографии и, кроме того, писали стихи. С осени 1919 года они занимались в Литературной студии Дома искусств, в семинаре у Гумилева.

Я уже рассказывал, что весной 1921 года Гумилев, великий организатор, создал при «Цехе поэтов» нечто вроде молодежной организации — «Звучащую раковину», членами которой стали участники его семинара. После смерти Гумилева члены «Звучащей раковины» начали собираться на квартире у Наппельбаумов — каждый понедельник. На эти собрания неизменно приходили все члены «Цеха поэтов». А так как после смерти Гумилева обе эти организации перестали быть, в сущности, организациями, потеряли свои границы и очертания, то на понедельники к Наппельбаумам стали приходить и те литераторы, которые не имели никакого отношения ни к «Раковине», ни к «Цеху».

В первые годы нэпа, если отбросить спекулянтов и лавочников, стоявших как бы вне советского общества, самым зажиточным слоем городского населения России были ремесленники-кустари — портные, шапочники, сапожники, зубные техники, фотографы. Это длилось примерно до 1926 года, когда их начали по-настоящему прижимать фининспекторы. Тогда зажиточнее всех стали инженеры. А в первую половину двадцатых годов у нас в Петрограде главным покровителем живописцев был друг художника Исаака Бродского портной Иосиф Наумович Слонимский, занимавший на Сергиевской улице целый особняк, а главным покровителем поэтов — фотограф Моисей Соломонович Наппельбаум.

Наппельбаумы жили на Невском, недалеко от угла Литейного, в квартире на шестом этаже. Половину квартиры занимало огромное фотоателье со стеклянной крышей. Но

собрания происходили не здесь, а в большой комнате, выходившей окнами на Невский, — из ее окна видна была вся Троицкая улица из конца в конец. В комнате лежал ковер, стояли рояль и большой низкий диван. Еще один ковер, китайский, с изображением большого дракона, висел на стене. Этому ковру придавалось особое значение, так как дракон был символом «Цеха поэтов». Один из сборников, изданных в 1921 году «Цехом», так и назывался — «Дракон». Ни стола, ни стульев не было. На диване собравшиеся, разумеется, не помещались и рассаживались на многочисленных подушках вдоль стен или на полу, на ковре. Свои стихи каждый понедельник читали все присутствующие, — по кругу, начиная от двери. Этот обычай оставался неизменен в течение всего времени, пока существовал наппельбаумовский салон — с 1921 по 1925 год. Расцвет салона был в начале его существования — зимой 1921/22 года. Потом начался долгий, затянувшийся на три года упадок.

Серапионы-прозаики относились к наппельбаумовским сборищам презрительно и не посещали их. Но серапионы-поэты, Полонская и Тихонов, приходили каждый понедельник. Тихонов всегда приводил с собой Сергея Колбасьева, который после смерти Гумилева стал преданнейшим тихоновским оруженосцем. Приходил и Всеволод Рождественский, исключенный из «Цеха», но встречавшийся со своими прежними товарищами здесь, на нейтральной почве. Приходил Михаил Кузмин и приводил свою постоянную свиту — Анну Радлову, Юркуна, художницу Арбенину, пианиста Ореста Тизенгаузена. Приходил Ходасевич, презиравший, конечно, Наппельбаумов и их салон, но не больше, чем все остальное на свете.

Первое время дух Гумилева как бы витал над салоном, о нем поминали постоянно. Большим успехом пользовалось стихотворение Иды Наппельбаум, посвященное Гумилеву:

> Ты правил сурово, надменно и прямо,
> Твой вздох это буря, твой голос — гроза.
> Пусть запахом меда пропахнет та яма,
> В которой зарыты косые глаза.

Но, разумеется, столько молодых, деятельных, честолюбивых людей не могли долго жить оплакиванием. Вскоре, наравне с поклонением прежнему богу, началось поклонение и новым божкам.

Каждый понедельник у Наппельбаумов стихи читали человек тридцать. Но по-настоящему волновали слушателей только пятеро — Тихонов, Вагинов, Рождественский, Кузмин и

Ходасевич. А увлекали сердца только двое.

Константин Константинович Вагинов был, бесспорно, лучшим поэтом «Звучащей раковины», и это признавали все. Он был уже членом «Цеха» и печатался в цеховских сборниках. Слушали его внимательно и серьезно, многие стихи его знали наизусть. Он был своеобразен — быть может, своеобразнее всех прочих посетителей салона. Но именно это своеобразие и отгораживало его от остальных. Да и помимо этого он был слишком деликатным, скромным, мягким и застенчивым человеком для того, чтобы стать вождем. У Всеволода Рождественского были пламенные поклонницы, и вообще стихи его нравились дамам и девам, — впрочем, далеко не всем. Люди посерьезнее считали его творчество дешевкой. Никаким вождем он не мог стать уж хотя бы оттого, что рассорился с «Цехом»; с Тихоновым, после первоначальной пламенной дружбы, он тоже разошелся. К Кузмину относились с глубоким почтением, как к старому заслуженному мэтру, но по-настоящему его стихи волновали только его собственный крошечный кружок.

Подлинными властителями дум и сердец в этом ограниченном замкнутом слое интеллигенции стали Тихонов и Ходасевич. Они исключали друг друга — все, кто любил Тихонова, не признавали Ходасевича, и наоборот. За Тихоновым пошли все поклонники Гумилева, к Ходасевичу примкнули многие из любивших Блока. Так как в этом кругу поклонников Гумилева было несравненно больше, чем поклонников Блока, то и успех Тихонова был несравненно шумнее успеха Ходасевича.

Георгий Иванов, хотя и несколько сквозь зубы, во всеуслышание признал, что Тихонов «большой, но необработанный поэт». С ним сейчас же согласились Адамович, Одоевцева и Оцуп — они теперь во всем соглашались с Георгием Ивановым, потому что после смерти Гумилева он стал признанным идейным главой «Цеха». Сережа Колбасьев, имевший склонность к издательской деятельности, был первым издателем Тихонова и таким образом положил начало его широкой известности. Колбасьев организовал издательство под названием «Островитяне», которое просуществовало один год — 1922-й — и успело выпустить три книжки стихов: «Орду» Тихонова, «Открытое море» Колбасьева и сборник «Островитяне», в который вошли стихи Тихонова, Колбасьева и Вагинова. «Орда» сразу имела большой и довольно широкий успех.

Издать книжку тогда было несложно: Колбасьев шел в любую государственную типографию, сговаривался с рабочими, и они в кредит давали ему бумагу (ужасную), в кредит набирали и печатали. Потом Колбасьев распродавал тираж и расплачивался с

рабочими. В 1922 году я и сам таким способом издал две книжки: сборник стихов моих приятелей и приятельниц под названием «Ушкуйники» и старую статью моего отца «Оскар Уайльд».

Так же поступал в своей издательской деятельности и Моисей Соломонович Наппельбаум. За год-полтора выпустил он четыре книги: сборник стихов «Звучащая раковина», книжку стихов дочери Иды, книжку стихов дочери Фредерики и первый номер толстого журнала «Город». Сборник «Звучащая раковина» — толстый, большого формата, отпечатанный на отличной бумаге — был украшен пышной обложкой с безвкуснейшей виньеткой. Никакого успеха и значения он не имел. Когда сейчас просматриваешь его, он поражает своей бледностью, бесталанностью, убогой подражательностью, хотя все помещенные в нем стихи написаны в полном соответствии с гумилевскими таблицами. Исключение составляют только стихи Вагинова, сквозь смутную ткань которых проглядывает дарование и скрытая трагическая сила.

По идее, журнал «Город» должен был быть периодическим органом наппельбаумовского салона. Вышел только один номер — большой и толстый, вроде нынешнего журнала «Новый мир». Этот номер «Города» интереснее сборника «Звучащая раковина» — в нем напечатаны романтическая трагедия в стихах Льва Лунца — «Бертран де Борн», стихи Тихонова, Вагинова. Все эти произведения тех лет давным-давно стали библиографической редкостью и почти недоступны, а между тем они необходимы для изучения русского общества первых лет нашей революции.

Ко всем этим затеям Моисей Соломонович имел отношение только, так сказать, финансовое. Все составлялось и редактировалось его старшими дочерьми. Принимали гостей и руководили чтением стихов тоже только дочери. Моисей Соломонович даже и присутствовал при чтении далеко не всегда. Он только появлялся иногда в дверях — с роскошной бородой, в роскошной бархатной куртке, — стоял и слушал, пока читал какой-нибудь поэт постарше возрастом, например Кузмин или Ходасевич. Потом опять исчезал в глубине квартиры. Гостей угощала Фредерика. Тоненькая, стройная, с негромким мелодичным голосом, с прелестными руками и ногами, она появлялась в комнате, где происходило чтение, неся тарелку, в которой лежали бутерброды с прозрачными ломтиками сыра. Она подходила по кругу к каждому и предлагала взять бутерброд. В этом и состояло все угощение, которое Наппельбаумы предлагали большинству своих гостей. По тем временам это было немало, если принять во внимание, что гостей собиралось человек тридцать-сорок. Позже, после одиннадцати, наиболее почетные

или близкие к семье гости тихонько переходили в столовую и там, за общим семейным столом, пили чай. Только там, у себя в столовой, в узком кругу папа Наппельбаум иногда отваживался высказать и свое мнение о прочитанных стихах. Едва он открывал рот, как у дочерей его становились напряженные лица: они смертельно боялись, как бы он чего не сморозил и не осрамил их перед лицом знатоков. Обычно они перебивали его раньше, чем он успевал закончить первую фразу. И он, благоговевший перед своими дочками, послушно замолкал.

Салон Наппельбаумов начал вырождаться и хиреть уже со второго сезона. В течение 1922 года Георгий Иванов, Одоевцева, Адамович, Оцуп уехали за границу. Поздней осенью за ними последовал и Ходасевич, удиравший со своей новой женой от старой. Колбасьев нарисовал и всем показывал карикатуру, на которой «Звучащая раковина» была изображена в виде унитаза; это оскорбило хозяев, и они перестали принимать его. Тогда и Тихонов, друг Колбасьева, стал приходить далеко не каждый понедельник. Сборища все более принимали домашний обывательский характер, стали напоминать деревенские посиделки. Девицы и молодые люди были сплошь влюблены друг в друга, но все как-то невпопад: *а* любила *в, в* любил *с, с* любила *d, d* любил *а,* и взаимности не получалось. Все это со всеми оттенками и многозначительными намеками изливалось в стихах к ближайшему понедельнику, в понедельник читалось по кругу, и заинтересованные лица с пламенным интересом следили за дальнейшим развитием этих любовных несоответствий.

Мало-помалу в салоне стали появляться и новые люди. Стал приходить здоровенный детина, писавший стихи под псевдонимом Андрей Скорбный. Возникли два брата, два студента университета, Анатолий и Николай Брауны, Николай Браун читал свои стихи с шумным успехом. Частыми посетителями Наппельбаумов стали и поэты-пролеткультовцы — Илья Садофьев, Алексей Крайский, Евгений Панфилов. Принимали их так же приветливо и благодушно, как и всех прочих. Помню, Садофьева впервые привел к Наппельбаумам Кузмин, громко восхищавшийся его стихами. Садофьев читал стоя, а маленький Кузмин, с волосенками, расположившимися вокруг лысины, как лавровый венок, все хвалил и все просил: еще, еще. Раскачиваясь, делая по ковру то шаг вперед, то шаг назад, Садофьев медленно произносил:

Что такое стало с маткой?
Матку взяли мертвой хваткой…

На сборищах у Наппельбаумов бывали не только поэты, но иногда и музыканты. Приходил композитор Артур Лурье, пианист Александр Каменский — красивый, рослый малый в такой же бархатной куртке, как у хозяина дома. Садились за рояль, давали концерты. Порою за рояль садился поэт Михаил Кузмин и играл свои музыкальные сочинения, подпевая себе слабеньким голосочком:

Нам философии не надо
И глупых ссор,
Пусть будет жизнь — одна отрада
И милый вздор.

Георгий Иванов в своих воспоминаниях, которые он выпустил в 1929 году в Париже, цитирует эту песенку Кузмина, усматривая в ней какой-то протест против Советской власти. А между тем ровно никакого протеста в этой песенке не было.

Михаил Алексеевич Кузмин был самый чистопородный, без всяких примесей, эстет в русской литературе, небогатой чистыми эстетами. Решительно все явления бытия он рассматривал только с одной точки зрения: вкусно или безвкусно. Всякая государственность, безразлично какая, была для него только безвкусицей. Всякую философию, все то, что люди называют мировоззрением, он считал безвкусицей. Тот гумилевский формализм, который исповедовал Георгий Иванов, тоже, безусловно, казался Кузмину безвкусицей. При этом к безвкусице Кузмин вовсе не относился непримиримо. Как эстет изысканный, он от души радовался всякий раз, когда безвкусица принимала неожиданные, причудливые, нелепые формы. Помню, как он восхищался пошлейшими немецкими фильмами, — именно оттого, что они были так причудливо пошлы и нелепы. Он даже писал стихи на темы, взятые из этих фильмов. Стихи Ильи Ивановича Садофьева доставляли ему такое удовольствие, разумеется, только тем, что в них, помимо воли автора, на каждом шагу сталкивались, создавая удивительные комбинации, безвкусицы, принадлежавшие к самым различным родам.

Мне и моим приятелям Кузмин в те годы был глубоко чужд жеманством своих стихов. Впрочем, иногда, — когда вдруг переставал жеманничать, — он блистал стихами истинно прелестными. Вот, например, какое стихотворение прочел он однажды у Наппельбаумов:

По веселому морю летит пароход,
Облака расступились что мартовский лед

И зеленая влага поката.
Кирпичом поначищены ручки кают,
И матросы — все в белом — сидят и поют,
И будить мне не хочется брата.

Ничего не осталось от прожитых дней…
Вижу: к морю купаться ведут лошадей,
Но не знаю заливу названья.
У конюших бока золотые, как рай,
И, играя, кричат пароходу: «Прощай!»
Да и я не скажу «до свиданья».

Не у чайки ли спросишь: «Летишь ты зачем?»
Скоро люди двухлетками станут совсем,
Заводною заскачет лошадка.
Ветер, ветер, летящий, плавучий простор,
Раздувает у брата упрямый вихор, —
И в душе моей пусто и сладко.

С начала революции до 1922 года путешествие из Петрограда в Москву и обратно было делом трудным, требующим больших хлопот, как и всякое железнодорожное путешествие в то время. И литературная жизнь в обоих городах в течение пяти лет развивалась обособленно, почти не сообщаясь. Ходасевич, в 1920 году переехавший из Москвы в Петроград, был чуть ли не единственный литератор, совершивший в это время подобное переселение. Но с 1922 года все изменилось. Железная дорога наладилась, и Москва оказалась близко, рядом. До нас все громче доносился шум московской литературной жизни. «Голый год» Пильняка, стихи Есенина, Леф, имажинисты, «Стойло Пегаса», какие-то ничевоки, — все это налетело на нас вихрем брошюрок и стихов. Изредка москвичей стало заносить и к нам, в Петроград.

Помню, как у Наппельбаумов появилась целая толпа ничевоков. Мы робко на них взирали. Все они были молоды, странно разодеты, не обращали на хозяев никакого внимания, держали себя с наглостью и развязностью предельной и похожи были на пьяных солдат. Стихов их я не припоминаю, не уверен даже, читали ли они нам свои стихи. Предводительствовал ими некий Рюрик Рок — хорошенький нахальный мальчик с ямочками на щеках, в какой-то пестрой шапочке с кисточкой. В качестве оруженосца и телохранителя за ним всюду следовал черкес — с кинжалом, с газырями. Впрочем, по фамилии этот черкес был Рабинович.

В конце 1923 года у Наппельбаумов читал свои стихи Борис Пастернак. Я впервые видел и слышал Пастернака, стихов его я до тех пор совсем не знал. Он стоял рядом с роялем — в коричневой тройке, с коричневым галстуком, с очень белым воротничком, прекрасноглазый — и читал стремительно, увлеченно, много, — все то, что вошло в его книгу «Сестра моя жизнь». Он поразил и пленил меня — быстротой своих ритмов, яркой и легкой изобразительностью, новизной своего языка, полного таких неожиданных просторечий. Даже его манера читать была совсем новой для нас, петроградцев, привыкших к торжественному акмеистическому вытью. Конечно, все подлинное значение этого поэта я понял гораздо позже, но полюбил его уже с того вечера.

Надо сказать, что на общество, собравшееся у Наппельбаумов, Пастернак большого впечатления не произвел. Потряс он только меня да Тихонова, который на целое десятилетие заразился пастернаковскими ритмами.

С 1923 года наппельбаумовские сборища стали посещать два поэта, только что переехавшие в Петроград из Ташкента, — Павел Лукницкий и Михаил Фроман. Лукницкий сидел у Наппельбаумов на ковре, в халате и тюбетейке, скрестив перед собой ноги, и пел узбекские песни. Он даже выдавал себя за узбека, что ему совсем не удавалось, так как был он светлорус, голубоглаз и курнос. В квартиру Наппельбаумов привела его пламенная любовь к Гумилеву, которого он никогда не видел. А Фромана привела сюда не менее пламенная любовь к Ходасевичу. И оба они опоздали. Гумилева уже не было в живых, а Ходасевич находился в Германии.

Любовь Лукницкого к Гумилеву была деятельной любовью. Не застав Гумилева в живых, он стал расспрашивать о нем тех, кто встречался с ним, и заносил все, что они ему рассказывали, на карточки. Карточек набралось несколько тысяч. Эта драгоценная биобиблиографическая картотека хранится у Лукницкого до сих пор. Любовь Фромана к Ходасевичу была не столь энергична, но зато, попав в дом Наппельбаумов, он воспылал иною, более жаркой любовью и примерно через год женился на Иде Моисеевне Наппельбаум.

Своей женитьбой Михаил Александрович Фроман как бы разрубил всю цепь неудачных любвей, и все стало на место, — все перестали любить кого не нужно и полюбили кого нужно. Начались браки. Фредерика Моисеевна тоже вышла замуж. Вышла замуж и Ольга Моисеевна. Костя Вагинов женился на Але Федоровой — тоже участнице гумилевского семинара.

На этих браках, собственно, существование салона Наппельбаумов и прекратилось. Произошло это, конечно, не

сразу, не в один день.

Последнее собрание у Наппельбаумов, которое я запомнил, — юбилей Кузмина в 1925 году. Он праздновал двадцатилетие своей литературной деятельности. Под торжество Наппельбаумы предоставили всю свою квартиру. Пиршественные столы стояли в ателье. Приглашенных было человек шестьдесят, вина очень много. Но юбилея этого я почти не запомнил, потому что по молодости своей и неопытности сразу напился и очень захмелел. Потом мне рассказывали, что я колотил по клавишам наппельбаумовского рояля табуреткой и нанес ему серьезные повреждения. И Наппельбаумы мне это простили, еще раз доказав свое великодушие и свою удивительную доброту.

Отрицатель

С Владиславом Фелициановичем Ходасевичем я познакомился в 1920 году, вскоре после его приезда из Москвы в Петроград, в 1921 году прожил с ним бок о бок несколько месяцев в глуши Псковской губернии и постоянно встречался с ним в Петрограде вплоть до отъезда его за границу в конце 1922 года. Потом я некоторое время с ним переписывался.

Он был превосходный поэт одной темы — неприятия мира. Он не принимал не какие-нибудь отдельные стороны действительности, — скажем, мещанство, как многие, или капитализм, как Блок и Маяковский, или революцию, как поэты-эмигранты, — но любую действительность, какой бы она ни была. Он писал:

Счастлив, кто падает вниз головой,
Мир для него хоть на миг, а иной.

Он утверждал, что всякое, любое проявление действительности доставляет ему только боль:

Мне каждый звук терзает слух.
И каждый луч глазам несносен.

В 1920 году, переехав из Москвы, он читал прелестное свое стихотворение:

Смоленский рынок
Перехожу.
Полет снежинок
Слежу, слежу.
Полет снежинок,
Остановись!
Преобразись,
Смоленский рынок.

С тех пор прошло несколько десятилетий, и желание его исполнилось — Смоленский рынок действительно преобразился. В Смоленскую площадь. Там теперь и высотное здание, и гастроном, и станция метро, и асфальт, и широкие проезды. Но если бы Ходасевич был жив и увидел это преображение, он не

испытал бы ни малейшей радости. Торжество «малых правд», как он выражался, нисколько его не утешало. Любая форма бытия тяжела, безысходна. Впрочем, есть один выход — небытие, смерть. Или, на худой конец, подобие смерти — сон.

Есть у него стихотворение «В заседании». Там он писал:

Лучше спать, чем слушать речи
Злобной жизни человечьей,
Малых правд пустую прю.
Все я знаю, все я вижу,
Лучше сном к себе приближу
Невозможную зарю.

Даже искусство, лучшее из всего, созданного человечеством, не считал он достойным особого уважения. Вот как он описал свое посещение какого-то знаменитого музея, в котором собраны шедевры живописи:

Все рвется человечий гений —
То вверх, то вниз. И то сказать:
От восхождений и падений
Уж позволительно устать.

Невольно опускаю веки
Пред сонмом вакхов и мадонн,
И так отрадно, что в аптеке
Есть кисленький пирамидон.

Я никогда не разделял его взглядов и смотрел на мир совсем иначе. Но меня пленяло в нем поразительное чувство русского стиха — свойство крайне редкое и всегда обольщавшее меня в любом человеке.

Моя ранняя юность прошла в кругу тех петроградских литераторов, чьи поэтические вкусы были воспитаны «Цехом поэтов» и Гумилевым. Главной чертой этих вкусов было отрицание почти всей русской классической литературы и поклонение французам. Русская проза отрицалась целиком, — кроме прозы Пушкина да еще Достоевского, которого признавали великим, но не читали. Из русских поэтов XIX века считалось приличным чтить имена Батюшкова, Пушкина, Баратынского и Тютчева. О Некрасове говорили с ненавистью, о Лермонтове с презрением, обо всех остальных с гадливостью. Имена Фета, Полонского были просто ругательствами. Однажды в Доме

искусств Георгий Иванов сказал мне, что людей, читающих стихи А. К. Толстого, он не считает людьми. Да и Пушкина они чтили только номинально, а по существу знали его плохо и считали устарелым и смешноватым. Помню, как однажды на большом собрании в клубе Дома искусств поэтесса Елизавета Полонская, желая сказать про стихотворение одного молодого поэта, что оно глупо и наивно, сказала, что оно напомнило ей стихотворение Пушкина «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда…». Ненависть их к стихам Блока вызывалась, между прочим, и тем, что они чувствовали связь этих стихов с русской поэзией второй половины XIX века — с Некрасовым, Фетом, Яковом Полонским.

В этом кругу прилично было любить Теофиля Готье, Эредиа, Леконта де Лиля, Рэмбо, Аполлинера. А с каким поразительным прононсом выговаривались эти имена, — в прононсе-то и заключался главный шик. Конечно, по-настоящему знали этих поэтов только те, кто постарше, — Гумилев, Георгий Иванов, Адамович, Одоевцева, Оцуп, М. Л. Лозинский, Бенедикт Лившиц, вернувшийся в 1922 году в Петроград из Киева, отчасти Вагинов. Зеленая молодежь поколения «Звучащей раковины» знала французских поэтов только понаслышке и повторяла их имена из попугайства. На наиболее даровитых представителей этой молодежи могучее влияние оказал другой поэт, тоже не русский — Редьярд Киплинг. Влияние его роскошных колониалистских баллад с их мужественным тоном и антигуманизмом легко заметить в стихах начала двадцатых годов таких поэтов, как Владимир Познер, Тихонов, Колбасьев, Елизавета Полонская.

(Я неоднократно встречался с мнением, будто Киплинг оказал влияние и на Гумилева. Думаю, это не верно. Колониализм Гумилева — французского происхождения, его Африка — французская колониальная Африка. Озеро Чад с изысканным жирафом и Сенегамбия, где валы поют в дифирамбе, — тогдашние французские владения. Капитаны в розоватых брабантских манжетах — французы. Его абиссинцы имеют в виду французов, когда говорят:

Ой, френджи, как они ловки
На выдумки и пустяки.

И людоеды его жарят Пьера, а не Питера.)

Мне все эти шикарные Сенегамбии и жареные Пьеры были чужды, я испытывал к ним смутную вражду с самого начала своих занятий в семинаре у Гумилева. И Ходасевич, с которым я близко познакомился летом 1921 года, поразил меня тем, что он весь был полон традициями русского стиха с его необыкновенным

богатством скрытых ритмических ходов и способностью изображать внутреннюю жизнь человека. От него я узнал, что моя юношеская любовь, скажем, к Фету, не является позором, чем-то вроде дурной болезни, которую надо скрывать от окружающих.

Любопытно, что к русской прозе Ходасевич относился совершенно так же, как гумилевцы. Он говорил мне:

— Идет дождь, и едет поп на тележке. И дождь скучный-скучный, и тележка скучная-скучная, и поп скучный-скучный. Вот и вся русская проза.

Теперь подобные взгляды кажутся удивительными по своей слепоте, но в то время они были довольно широко распространены в среде художественной интеллигенции. Их, кроме сторонников «Цеха поэтов», так или иначе разделяли и Лунц, и Каверин, и Тихонов, и Колбасьев, — «цехисты» из вражды к горьковскому «Знанию», опиравшемуся на традиции русской классической прозы, а более молодые просто оттого, что были воспитаны на переводной прозе с механическим сюжетным построением, заполонившей русский книжный рынок перед Первой мировой войной. Для Ходасевича такая точка зрения была случайной и отражала только мнение среды, к которой он принадлежал, как и многие другие его высказывания. Прозой он не интересовался, он интересовался поэзией. А русскую поэзию он любил всей душой и знал удивительно.

Приехав в Петроград в разгар борьбы гумилевцев с Блоком, он сразу стал на сторону Блока. Перед Блоком он преклонялся, — и не перед Блоком «Стихов о прекрасной даме», а перед поздним, зрелым реалистическим Блоком, автором третьей книги стихов, «Возмездия», «Двенадцати». Помню, в 1922 году мы сидели с ним рядом у Наппельбаумов на диване и перелистывали только что вышедший сборник Блока «Седое утро». Ходасевич внезапно наткнулся на стихотворение:

> Угреет. С богом. По домам.
> Позвякивают колокольцы…

Этих стихов он до тех пор не знал. Он побледнел от волнения, читая.

— Как бы мне хотелось, чтобы я написал эти стихи! — воскликнул он. — Если бы я написал это стихотворение, я умер бы от счастья!

Он был маленький хилый человечек невзрачного вида. Я уже говорил, что на лбу у него была непроходящая экзема, которую он скрывал под челкой черных волос. Он был близорук и носил пенсне. Маленькое желтоватое личико его все время брезгливо

морщилось. Глядя на него, я всегда вспоминал фразу, которую сказал Бунин об одном из своих героев: «Он был самолюбив, как все люди маленького роста». Не знаю, все ли люди маленького роста самолюбивы, но Ходасевич был болезненно и раздражительно самолюбив.

Довольно долгий литературный путь его был труден и сложен, и во всех своих неудачах, действительных или вымышленных, он видел каверзы и козни недругов. А между тем причина его неудач заключалась прежде всего в нем самом. Сначала он очень долго не мог найти своего места в литературе. Потом, после революции, он не умел найти своего места в жизни и кончил тем, что безнадежно запутался. Печататься он начал чуть ли не с 1905 года и лет около десяти писал чистенькие подражательные стихи — под символистов. Таких эпигончиков Брюсова, Бальмонта, Белого из сыновей адвокатов в Москве было много, и, естественно, относились к ним без почтения и печатали неохотно. Первая книжка его стихов «Молодость», вышедшая, кажется, в 1912 году, поражает своей бледностью и несамостоятельностью. Судя по ней, он и надежд никаких не подавал. А между тем он был очень высокого о себе мнения и озлобился — на весь мир и прежде всего на московский литературный круг. Вторая его книжка «Счастливый домик» несколько лучше, но тоже весьма незначительна. Главная ее тема — воспевание эстетизированного обывательского уюта. Это было модно в последние годы перед Первой мировой войной — как реакция на расплывчатость и отвлеченность символистов. Но Ходасевич в «Счастливом домике» был далеко не первый, последовавший этой моде, — до него ей отдали дань и Борис Садовской, и Кузмин, и другие. Да и тема домашнего уюта была для него совсем не органична, — он был человек трагичный, безуютный, неприкаянный. В «Счастливом домике» для читателя, знающего более позднего Ходасевича, уже справившегося с литературной шелухой, так долго мешавшей ему выразить самого себя, угадывается трагизм, который он с такой силой выразил впоследствии. Например, в таком четверостишии:

Мы дышим легче и свободней
Не там, где есть сосновый лес,
Но древним мраком преисподней
Иль горним воздухом небес.

Но выражено это было еще слабо, робко, и «Счастливый домик» тоже не имел почти никакого успеха. Первой книгой, в которой голос его приобрел самобытность, была «Путем зерна».

В сущности, Ходасевич как поэт начался только с этой книги. Его голос становится все более трагическим, он писал все резче, отчаянней и своеобразней. Следующая его книга «Тяжелая лира», вышедшая уже в Петрограде в 1922 году, поразила Горького. Поразила она и еще некоторых, в том числе и меня.

Когда я с ним познакомился, он был женат на Анне Ивановне Чулковой, сестре поэта Георгия Чулкова. Жил с ними и ее сын от первого брака, Гарик Гренцион, мальчик, которому в 1921 году было лет тринадцать. Впоследствии он стал известным в Петрограде актером. Жили они все в том же Доме искусств на углу Невского и Мойки, в маленькой комнате, лишенной почти всякой мебели. С середины потолка свисал грязный шнур, на котором болталась загаженная мухами шестнадцатисвечовая угольная электрическая лампочка. Именно эту комнату изобразил он в стихотворении «Орфей», в котором были слова:

Гляну в штукатурное небо
На солнце и шестнадцать свечей.

Хотя я не раз бывал у Ходасевича, но на Анну Ивановну обращал крайне мало внимания и почти ее не запомнил. Кажется, была она маленькая и бойкая, лет около сорока, т. е. с моей тогдашней точки зрения глубокая старуха. Тогда я мало задумывался над семейной жизнью, но теперь мне ясно, что жизнь Анны Ивановны с Ходасевичем была не сладка, — этот неуютный, нищий, болезненный человек был капризным, эгоистичным и вечно недовольным мужем. И когда он бросил ее, она, может быть, вовсе не была так убита горем, как он предполагал.

По случайному стечению обстоятельств я оказался причастным к истории его новой любви и женитьбы.

В конце 1920 года у меня появилась приятельница, девочка моих лет, Нина Берберова. Она незадолго перед тем переехала с папой и мамой из Ростова в Петроград и, так как писала стихи, стала посещать семинар Гумилева. В семинаре она успеха не имела и являлась туда не слишком аккуратно, но зато была усерднейшей посетительницей клуба Дома искусств и потом салона Наппельбаумов. Держалась она несколько особняком и ни с кем не дружила, кроме меня.

Отец ее был ростовский армянин, а мать русская, и это смешение кровей дало прекрасные результаты. Нина была рослая, сильная, здоровая девушка с громким веселым голосом, с открытым лицом, с широко расставленными серыми глазами. По

самой середке ее верхних зубов была маленькая расщелинка, очень ее красившая. Она, подобно мне, писала множество стихов и знала наизусть всех любимых поэтов.

Особенно подружились мы с ней осенью 1921 года, когда я вернулся из Псковской губернии. Нас объединяло то, что она, так же как и я, воспитана была на Блоке, Фете и Некрасове, а не на Гумилеве и Брюсове. Так же как и я, к окружавшим нас гумилевцам она чувствовала глухую и невнятную неприязнь. Дружба наша заключалась почти исключительно в том, что мы долгими часами то днем, то ночью гуляли вдвоем по пустынному Петрограду и вслух читали друг другу стихи.

Ни малейшей романтической подкладки в наших отношениях не было. Я, в те годы весьма неравнодушный к женским чарам, чар Нины просто не замечал. Помню, как после прогулки она завела меня к себе на несколько минут — чтобы переодеться и идти со мной в Дом искусств. Переодевалась она в моем присутствии, и мы так заговорились, что оба не заметили в этом ничего странного. Вдруг в комнату вошла ее мать и, увидев Нину, стоявшую передо мной в одном белье, вскрикнула:

— Нина! При молодом человеке!

— Какой он молодой человек? — сказала Нина. — Он поэт.

Я был так далек от мысли, что между Ходасевичем и Ниной может быть роман, что заметил его, вероятно, до смешного поздно. Нину познакомил с Ходасевичем я, и ходила она к нему вместе со мной. Этот раздраженный, недоброжелательный ко всем и всему человек был ко мне удивительно добр, всерьез разбирал мои полудетские стихи и разговаривал со мной как с равным, хотя мне было всего восемнадцать лет. И мне не казалось странным, что он так же относился к Нине, которой тоже было восемнадцать и которая в вопросах поэзии была полной моей единомышленницей. И когда я кое о чем стал догадываться, я испытал неприятное чувство.

То, что Ходасевич влюбился в Нину, мне казалось еще более или менее естественным. Но как Нина могла влюбиться в Ходасевича, я понять не мог.

Так как мне ничего не надо было от Ходасевича, кроме стихов и разговоров о литературе, я относился к нему прекрасно. Кроме того, я уважал в нем умного человека. Он не только сам был очень умен, но и ценил в людях прежде всего ум и беспощадно презирал дураков. Помню, как однажды на собрании у Наппельбаумов он показал мне человека, который сидел задумавшись и не слыша того, что происходит вокруг.

— Смотрите, он задумался, — сказал мне Ходасевич. — Задумываться — это свойство, присущее очень редким людям.

Однако все мое уважение к его стихам и его уму не мешало мне видеть в нем много жалкого и даже смешного. И то, что Нина могла не видеть этого и полюбить его, меня, по моей жизненной неопытности, очень удивило.

Прежде всего она почти на целую голову была выше его ростом. И старше ее он был по крайней мере вдвое. Не к тем принадлежал он мужчинам, в которых влюбляются женщины. Характер у него был капризный, чванливый и вздорный. Кроме того, я хорошо знал, что он отчаянный трус. Когда мы вместе с ним жили в Псковской губернии, он даже на станцию ездить не решался, так как боялся, что его по дороге зарежут бандиты. Как-то раз в Петрограде мы шли с ним днем по Невскому, и вдруг у проезжающего мимо грузовика громко лопнула покрышка. Ходасевич мгновенно влетел в ближайшую парадную. Когда я, удивленный, зашел туда вслед за ним, он стоял, белый от страха, на пятой ступеньке и прошептал мне:

— Стреляют!

Когда он читал свои стихи и произносил последнюю строчку, обычно самую важную в стихотворении, он на несколько мгновений застывал с открытым ртом, чтобы подчеркнуть всю многозначительность концовки, и это казалось мне смешным. При всем своем уме он был на редкость недалек и зауряден в своих суждениях обо всем, что происходило в те годы вокруг, и с важным видом повторял самый затхлый обывательский вздор. Я иногда пытался обращать внимание Нины на эти его черты, но безуспешно. Ей он казался совершенством.

Тайный их роман, о котором вначале знал только я, развивался так пылко и бурно, что, разумеется, скоро о нем догадались многие. Нина вся как-то одурела от счастья, а Ходасевич посветлел, подобрел, и очки его поблескивали куда бойчей и веселей, чем раньше. Он на несколько месяцев спрятал свой трагизм и даже временно стал относиться к мирозданию значительно лучше.

Весной 1922 года написал он свое прекрасное стихотворение «Улика»:

Была туманной и безвестной,
Мерцала в лунной вышине,
Но воплощенной и телесной
Теперь являться стала мне.

И вот среди беседы чинной
Порой с растерянным лицом
Снимаю волос, тонкий, длинный,

Забытый на плече моем.

Тут гость из-за стакана чаю
Хитро косится на меня.
А я смотрю и понимаю,
Тихонько ложечкой звеня.

Блажен, кто завлечен мечтою
В безвыходный дремучий сон
И там внезапно, сам собою
В нездешнем счастье уличен.

Впрочем, счастье его было не безоблачным. Он самым жалким образом боялся своей Анны Ивановны. Она, как водится, долго ничего не подозревала, и он смертельно страшился, как бы она не догадалась. В начале лета 1922 года он вместе с ней и пасынком уехал куда-то на дачу, и тут ему и Нине понадобился я. Через меня шла вся их тайная переписка. Ходасевич надписывал конверт на мое имя, и я, получив письмо, нес его, не вскрывая, к Нине, на улицу Рылеева. Нинины ответы посылались в конвертах, надписанных моей рукой.

В середине лета Ходасевич сбежал с дачи, явился к Нине и увез ее в какую-то глухую деревню на берегу Ладожского озера. В страхе перед Анной Ивановной он обставил этот побег так, что, кроме меня, ни один человек на свете не знал, где он находится. В течение полутора месяцев я служил им единственной связью с внешним миром. Свои обязанности поверенного и друга я исполнял честно и с увлечением. Они оба платили мне пылкими выражениями дружбы и благодарности. Нина написала стихотворение, в котором было четверостишие:

Вот церковь — здесь с тобой встречались,
Вот друг — он нам помог не раз,
Мы в этом кресле целовались,
Ну что ж, и креслу — добрый час.

Друг — это я.

Страх Ходасевича перед Анной Ивановной все возрастал. Это был уже не страх, а ужас. Он подозревал ее в каких-то чудовищных кознях против себя и говорил об этом страстно, но настолько невнятно, что я не мог понять сути его опасений. Вернувшись в город, он немедленно связался с Горьким и, с помощью Горького, стал поспешно хлопотать об отъезде за

границу. В конце 1922 года он уехал в Берлин вместе с Ниной.

Он уехал за границу из страха перед женой, а не перед Советской властью. С Советской властью он за пять лет отлично сжился и об эмиграции никогда не помышлял.

Трудно писать о политических убеждениях человека, который постоянно утверждал, что у него нет никаких политических убеждений. Это утверждение было отчасти правдиво, — он вообще не имел никаких стойких убеждений и постоянен был только в любви к стихам и в своем презрительном скептицизме по отношению ко всему остальному. Но никаких причин враждовать с революцией и с Советской властью он не имел.

Он не был ни богат, ни знатен и ничего не потерял с крушением старого режима. К буржуазии, к мещанству он относился с отвращением и не видел в мещанских мечтах и идеалах ничего, кроме пошлости. Во время Первой мировой войны он не прельстился ни шовинизмом, ни немцеедством. Никакого участия в саботаже Советской власти, охватившем в первые месяцы после Октября широкие круги буржуазной интеллигенции, он не принимал; напротив, он охотно выполнял разные обязанности в разных культурно-просветительных советских учреждениях, так как нуждался в заработке. В годы Гражданской войны он любил холодный, голодный, пустынный Петроград именно за то, что в этом городе, освобожденном от торжества мещанских интересов, можно было жить свободной духовной жизнью.

Нэпа он, как очень многие, не понял. Он счел его уступкой буржуазии, мещанству, началом перерождения Советской власти и был этому предполагаемому перерождению резко враждебен. Он даже написал стихи как бы от имени такого мифического перерожденца:

> Прочь! Не мешай мне! Я торгую!
> Но не буржуй, но не кулак,
> Я прячу выручку дневную
> Свободы в огненный колпак.

При всей путаности своих воззрений он дорожил революцией как освобождением от мира наживы и торгашества. Круг тайно и явно белогвардействующих литераторов вроде Георгия Иванова, Адамовича, Оцупа, Даманской, Волковысского, Валериана Чудовского, Амфитеатрова был ему чужд и враждебен, хотя он сам толковал эту враждебность не как политическую, а как эстетическую. Он очень дорожил вниманием Горького и уехал за границу не как политический эмигрант, а как горьковский

сотрудник, как участник горьковских литературных замыслов.

В то время Горький затевал издание за границей советского литературного журнала «Беседа» и пригласил Ходасевича заведовать в этом новом журнале отделом поэзии. Ходасевич, по приезде в Берлин, рьяно приступил к исполнению своих обязанностей. Между прочим, в первом же номере «Беседы» он напечатал мою поэму «Козленок», вовсе не заслуживавшую этой чести, написанную мною летом 1921 года в гагаринских Холомках, когда мы жили там вместе с ним. За границей дружба Ходасевича с Горьким продолжалась года два. Отношения их, по-видимому, были очень тесными, если вспомнить, что Горький, переехав в Сорренто, захватил туда и Ходасевича с Ниной и поселил их рядом с собой. В этот период своей дружбы с Горьким Ходасевич написал самую замечательную из своих книг — «Европейскую ночь». Эта книжка, поразительная по простоте, изобразительности и силе стиха, содержит в себе самое жестокое, верное и непримиримое описание жизни европейского капиталистического города, какое я знаю. Именно в этой книге, где его старый ужас перед бытием слился с ужасом перед бессмыслицей и пошлостью капиталистического быта, стал он одним из крупнейших, совершеннейших и своеобразнейших русских поэтов первой половины нашего века.

Все эти стихи я узнавал сразу же после их написания, потому что он вкладывал их в свои письма ко мне. У меня накопилась большая кипа его писем, и я очень жалею, что впоследствии утратил их. Переписка наша продолжалась до тех пор, пока он не поссорился с Горьким. Поссорившись с Горьким, он перестал переписываться с людьми, жившими в Советском Союзе, в том числе со мной.

Я не знаю обстоятельств его ссоры с Горьким, но думаю, что она была неизбежна. Однако, если бы они не жили за границей так тесно, эта ссора разыгралась бы, вероятно, позднее. При длительном близком общении Ходасевич с его вздорным характером, с его самомнением, презрительностью, мнительностью, суетностью был невыносим. Поссорившись с Горьким, он сразу же скатился в болото белогвардейской эмигрантщины. Он стал сотрудничать в газете «Русь» и писать хвалебные рецензии о стишках каких-то великих княжон.

Умер он в конце тридцатых годов, перед Второй мировой войной. О заграничной жизни своей написал он в одном из своих поздних стихотворений, которому дал название «Зеркало».

Я… я… я… Что за странное слово?
Неужели вон тот — это я?

Разве мама любила такого
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине, летом,
Танцевавший на дачных балах,
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, ненависть, страх?

Так бывает всегда в середине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины к причине,
А глядишь — заблудился в пустыне
И своих же следов не найти.

Нет, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала,
И Вергилия нет за плечами,
Только есть одиночество в раме
Говорящего правду стекла.

Коктебель

С Максимилианом Александровичем Волошиным я познакомился весной 1922 года во время его первого после революции и Гражданской войны приезда в Петроград. Как поэта тогдашняя литературная молодежь знала его мало и мало им интересовалась, считая его одним из второстепенных подражателей Брюсова. С ним связывались представления скорее даже несколько комического, анекдотического свойства. Например, все знали, что Саша Черный в одном из своих предреволюционных стихотворений назвал его Вакс Калошин. Многим было известно, что прозвище это намекало на следующую историю.

Однажды, в годы перед Первой мировой войной, осматривая декорации Александра Бенуа за кулисами Мариинского театра, Гумилев и Волошин, оба сотрудники «Аполлона», поссорились и оскорбили друг друга. При оскорблении присутствовали посторонние, в том числе и Бенуа, и потому решено было драться на дуэли. Местом дуэли выбрана была, конечно, Черная речка, потому что там дрался Пушкин с Дантесом. Гумилев прибыл к Черной речке с секундантами и врачом в точно назначенное время, прямой и торжественный, как всегда. Но ждать ему пришлось долго. С Максом Волошиным случилась беда — оставив своего извозчика в Новой Деревне и пробираясь к Черной речке пешком, он потерял в глубоком снегу калошу. Без калоши он ни за что не соглашался двигаться дальше, и упорно, но безуспешно, искал ее вместе со своими секундантами. Гумилев, озябший, уставший ждать, пошел ему навстречу и тоже принял участие в поисках калоши. Калошу не нашли, но совместные поиски сделали дуэль психологически невозможной, и противники помирились.

Вот и все, что сохранилось у меня в памяти из этого рассказа, хотя я слышал его с множеством подробностей от обоих участников. Гумилев рассказывал о дуэли насмешливо, снисходительно, с сознанием своего превосходства. Макс — добродушнейше смеясь над собой.

Доброта, добродушие было самой заметной чертой этого коренастого толстяка, широколицего бородача с маленькими голубенькими крестьянскими глазками. Глядя на его потертый пиджачок, надетый поверх косоворотки, трудно было себе представить, что до Первой мировой войны он жил в Париже больше, чем в России, носил цилиндр, монокль. Борода у него тоже была мужицкая, рыжевато-каштановая, с проседью, и он

постоянно ухмылялся в нее большим добрым ртом. Годы Гражданской войны провел он безвыездно в Крыму, у себя в Коктебеле, жил и под белыми, и под красными (не одобрял ни тех, ни других, отлично ладил и с теми, и с другими). Он с гордостью рассказывал, как при белых он хлопотал за арестованных красных, а при красных — за арестованных белых. Возможно, было в этой «нейтральности» немножко и позы. Прислушиваясь к его рассказам, — а он был говорлив, — легко можно было заметить, что красные ему все-таки куда милее белых. Он с негодованием рассказывал о зверствах белогвардейского офицерства, об его тупости. Осенью двадцатого года, после Перекопа, он не убежал с белыми в Константинополь, хотя имел к тому полную возможность; белые пугали его, что красными он будет расстрелян, сами угрожали ему расстрелом, но он спрятался и остался. О писателях-эмигрантах говорил он с открытой враждебностью. Проездом в Петроград он остановился в Москве и не без гордости рассказывал, как хорошо был встречен Брюсовым, — который был в то время коммунистом и, в сущности, руководителем всей московской литературной жизни.

В двадцать четвертом году приехал он в Ленинград с женой, Марьей Степановной. Первая его жена была Сабашникова, судя по фотографии, красивая женщина — из известной семьи московских купцов и издателей. Марья Степановна была маленькая женщина, очень ему преданная и трогательно считавшая его великим поэтом и великим человеком. «Когда я была девушка, — рассказывала она, — все мои подруги мечтали выйти замуж за красавцев, или генералов, или богачей. А я говорила: не нужно мне ни красавца, ни генерала, ни богача, был бы мой милый умен. Так и получилось». Говорилось это с наивным простодушием, чуть-чуть наигранным. Марья Степановна была по образованию фельдшерица, и именно как фельдшерица попала в коктебельский дом Волошина, — ухаживала за матерью Макса во время ее предсмертной болезни и осталась в доме хозяйкой.

В тот их приезд в Ленинград я встретился с Волошиным дважды — у Марии Михайловны Шкапской и дома у моих родителей.

Мария Михайловна Шкапская была автором книжки стихов «Mater dolorosa», в которой описывались страдания женщины, сделавшей аборт и оплакивающей нерожденного ребенка:

Да, говорят, что это нужно было…
И был для хищных гарпий страшным корм,
И тело медленно теряло силы,

И укачал, смиряя, хлороформ.
И кровь моя текла, не усыхая —
Не радостно, не так, как в прошлый раз,
И после наш смущенный глаз
Не радовала колыбель пустая.

Это была очень милая женщина, средних лет, писавшая стихи, жена инженера, мать двух прелестных мальчиков. Жила она на Петроградской стороне, и у нее тоже был литературный салон вроде наппельбаумовского, но поменьше, и посещали ее преимущественно литераторы, обитавшие на Петроградской стороне. Среди частых ее посетителей были Н. С. Тихонов, живший на Зверинской, и Ю. Н. Тынянов, живший на углу Большого и Введенской. Бывал у нее и В. А. Каверин — живший там же. Я захаживал к ней редко, потому что жил от Петроградской стороны далеко. По-видимому, я в тот раз пошел к ней только для того, чтобы послушать Волошина.

Стихи Волошина произвели на меня большое впечатление. Это было совсем не то, что я ожидал. Ни брюсовщины, ни гумилевщины не оказалось в них ни капли — никакого «Аполлона». Это были серьезные живые раздумья о России, о революции, об истории, о только что утихнувшей Гражданской войне, выраженные в несколько тяжеловатых, длинноватых, но страстных и искренних стихах. Особенно запомнилось мне «Видение Иезекииля» — лучшее, по-моему, из всего, что написал Волошин. Много в его раздумьях было наивного: он представлял себе революцию стихийным бунтом, чем-то вроде пугачевщины, он писал об истории как о чем-то извечно повторяющемся и потому безысходном, он, подобно многим интеллигентам того времени, считал самого себя стоящим над схваткой, тогда как в действительности он стоял под схваткой — и при всем том стихи эти были значительны, необычны, полны любви к родной земле, к людям, пронизаны тревогой и добротой, озарены солнцем южной России и овеяны сухим ветром степей.

Читал он долго, а когда кончил, Марья Степановна стала петь. Песни у нее были самодельные — она брала стихотворения Сологуба или Блока, подбирала к ним мотив и пела тоненьким-тоненьким, слабеньким голоском. Особенно удавалась ей «Заря-заряница» Сологуба:

Заря-заряница,
Красная девица,
Мать Пресвятая Богородица.

По всей земле ходила,
Все страны посещала,
В одно село пришла,
Все рученьки оббила,
Стучать не достучала,
Приюта не нашла.

Заря-заряница,
Красная девица,
Мать Пресвятая Богородица.

Ее от окон гнали,
Толкали и корили,
Бранили и кляли,
И бабы ей кричали:
Когда б мы всех кормили,
То что б мы сберегли.

Пока она пела, Макс с любовью, с затаенным восхищением, с гордостью искоса поглядывал на нее маленькими, лукаво-добродушными глазками.

Через несколько дней Волошины обедали у нас на Кирочной. Отец мой встретил Макса приветливо, как старого знакомого. Макс вначале держался слегка застенчиво, — чувствовалось, что за несколько лет, проведенных вдали от больших городов, у него появилась робость провинциала. Но уже за супом он разговорился и не без удовольствия стал рассказывать, как уважительно приняли его в Москве.

Во все время этого рассказа Марья Степановна, заботясь о том, чтобы он не уронил своего достоинства, громким звонким голосом вставляла свои пояснения и дополнения, имевшие своей целью доказать, что любые почести, оказываемые Максимилиану Александровичу, не могут поколебать независимости его взглядов.

После обеда Макс читал свои стихи — те же самые, которые я слышал у Шкапской. Отец мой вежливо хвалил их, восхищался отдельными удачными выражениями, но по тону его я понял, что стихи понравились ему не очень и что он, как и раньше, считает Макса поэтом второстепенным. Показалось мне, что понял это и сам Макс. В его ответах на вопросы отца появился холодок.

Однако отношения скоро опять утеплились — после обеда все мы собрались в кабинете. Марья Степановна запела, и пение ее привело отца в восторг. Он растрогался, на глазах у него

заблестели слезы. «Зарю-заряницу» он издавна любил и все заставлял Марью Степановну петь снова и снова:

Огонь небесный ярок.
Высок, далек да зорок
Илья святой пророк.
Он встал, могуч и жарок,
И грозных молний сорок
Связал в один клубок.

Заря-заряница,
Красная девица,
Мать Пресвятая Богородица.

По облачной дороге
На огненной телеге
С зарницей на дуге
Помчался он в тревоге.
У коней в бурном беге
По грому на ноге.

Конечно, восхищение отца пением Марьи Степановны не могло возместить его холодности к стихам Макса. Макс принадлежал к числу тех литераторов, которые не сомневаются в величии всего, что они пишут, и позволяют слушателям только восхищаться. Марья Степановна постоянно говорила о нем в его присутствии как о гениальном человеке, и он выслушивал ее восхваления с довольной, ласковой и снисходительной улыбкой. И мой отец, несмотря на искреннюю свою симпатию к Максу, навсегда остался с Волошиным в далековатых и прохладных отношениях.

Однако он получил приглашение пожить у них на даче в Коктебеле на берегу моря и летом 1923 года воспользовался им. У Волошиных прожил он месяц и вернулся из Крыма довольный, помолодевший, с лукавыми глазами.

Весной 1924 года я женился. Нам с женой хотелось уехать куда-нибудь на юг, но денег у нас почти не было. И отец сказал мне:

— Давай я напишу Волошиным. Не сомневаюсь, они пригласят вас.

В ответ на папину открытку пришло любезное письмо, и в июне мы с женой поехали. В то время поезд из Ленинграда в Феодосию шел четверо суток. И я, и жена, мы до тех пор редко покидали родной город, и потому путешествие это запомнилось

мне на всю жизнь. Ехали мы в жестком бесплацкартном вагоне, и спал я на багажной полке. Погода стояла прекрасная, поезд шел на юг, в лето, подолгу стоял на маленьких станциях, я бегал за кипятком по прогретым доскам платформы, покупал яйца, калачи, пряники, жадно вдыхая запахи паровозной гари, земли, травы, листвы. Большинство наших спутников менялось чуть ли не на каждой станции. На Украине все разговоры полны были еще воспоминаниями о Гражданской войне. В вагон заходили бешеные деревенские коммунисты, едущие в город на съезд — в рубахах, в высоких сапогах, с папками в руках, — и вдруг узнавали какого-нибудь притихшего бородача, сидящего в проходе на туго набитом мешке:

— Мы тебя, куркуль, знаем, ты махновцев прятал!..

А за окном медленно темнело, пахло горячей степной сушью, птицы прыгали в пыльных посадках, и небо казалось все огромней.

В Феодосию поезд пришел во вторую половину дня, у вокзала мы наняли линейку, и тот путь до Коктебеля, который теперь на машине преодолеваешь за полчаса, занял у нас часа два с половиной. С удивлением глядел я на залитые вечерним солнцем бурые и рыжие феодосийские бугры. С одного из бугров уже в сумерках увидел я впервые очертания трех знаменитых коктебельских гор — Карадага, Святой и Суурюк-Айя, — очертания, которые впоследствии стали для меня такими родными и от которых всю жизнь у меня замирало сердце, сколько бы я раз на них ни глядел. К волошинскому дому мы подъехали уже в темноте. Смутные облики неведомых мне деревьев теснились вокруг. На перилах открытой террасы сидело семь женских фигур — все в белом. Когда мы с женой слезли с линейки, они воскликнули в один голос:

— И этот женатый!

Волошины приняли нас ласково, дали нам комнату. В этом вовсе не было проявления особого к нам внимания. В их странном доме всех принимали так, даже совсем незнакомых. Московский студент-первокурсник Кот Поливанов, пробираясь летней ночью 1924 года на Карадагскую зоологическую станцию, где он собирался поработать, заблудился, вышел к волошинскому дому и попросился переночевать; и не только застрял там на все лето, но потом в течение четырех десятилетий приезжал туда ежегодно проводить свой отпуск. Без всяких просьб и оснований во множестве жили у Волошиных самые разные литераторы, окололитературные люди и многочисленные дамы и девицы. Кормились все за свой счет и кто как умел. Мы с женой вступили в «коммуну», которую организовали человек пятнадцать,

кормившихся в складчину. Готовила нам специально приглашенная феодосийская дама Олимпиада Никитишна, которая потом много лет работала сестрой-хозяйкой в коктебельском Доме творчества Литфонда. Брала она гроши, но у Макса и Марьи Степановны не было и этих грошей, и они всегда охотно соглашались поесть нашего супа и нашей рыбы.

Жили Волошины крайне бедно, на наш нынешний взгляд даже нище. Макс не зарабатывал ничего, а Марья Степановна, лечившая как фельдшерица больных в деревне, получала за свои труды копейки. В их распоряжении было два больших дома — свой и стоящий позади «юнговский», принадлежавший детям известного окулиста и путешественника Юнга, который когда-то владел всей коктебельской долиной; эти Юнги жили в одной из комнат своего дома еще и при нас, но я их помню совсем смутно. Бедностью своей Макс не тяготился нисколько и, казалось, не замечал ее. От своих гостей он хотел лишь одного — чтобы они восхищались его стихами и мудростью.

И гости охотно и щедро платили ему восхищением. Одни потому, что это им ничего не стоило, другие — большинство — совершенно искренне.

Стихи читались по вечерам, каждый вечер, а в течение дня все были свободны. Свобода, постоянное чувство свободы — в этом была главная прелесть коктебельского житья. Прямо перед волошинским домом находились два пляжа, мужской и женский, ничем не огороженные и, в сущности, почти рядом. Женский пляж назывался «геникей», а мужской, соответственно, «мужикей». В то лето на мужском пляже царили Саша Габричевский и Антон Шварц. Оба они были рослые, красивые, тридцатилетние и казались мне тогда образцом зрелой мужественности. Александр Георгиевич Габричевский был знатоком Гёте, много говорил о немецкой литературе, презрительно отзывался о Шиллере. «Гёте это подлинный человек, т. е. в нем женское и мужское начало слиты воедино, — рассуждал он, — а Шиллер это мужчинка с жидкими ляжками». Был он поклонник Ницше, что уже тогда, в двадцатые годы, накладывало на него отпечаток милой старомодности. Он прелестно грассировал, был очень начитанный человек, глубоко порядочный и с неизменным чувством собственного достоинства, говорун, остряк, женолюб, умница, пьяница, не имевший ни малейшего пристрастия к труду и нисколько не сожалевший об этом. Наши жены оказались родственницами, и мы хорошо сошлись на всю жизнь. Габричевский был создан для Коктебеля, — солнце, море, горы, вино, стихи, дамы, разговоры, книги, — лучшего в жизни он не искал. И он застрял в Коктебеле

навсегда. Зимы проводил в Москве, а ранней весной отправлялся в Коктебель и оставался там до поздней осени. Там, в собственном уже домике, живет он и сейчас, в 1959 году, — крупный одноглазый старик, почти глухой, но с отличной осанкой, грассирующий, добрый и благородный, по-прежнему чтущий Ницше и прибавивший к своим прежним увлечениям увлечение Кафкой и абстракционистами.

Сидеть на пляже в трусах или в купальниках считалось в те времена в Коктебеле дурным мещанским тоном. Валялись на пляже и купались нагишом. В геникее было куда более людно, чем в мужикее, и женщины непрестанно перекликались с мужчинами. Каждый день с женского пляжа к мужскому приплывала Леля Кашина — красивейшая женщина того далекого коктебельского лета, двадцатишестилетнее белокурое чудо из прежде богатой купеческой семьи. Незадолго перед тем она вышла замуж за Николая Николаевича Евреинова, но мужа в Коктебель не привезла. Она подплывала к мужикею и, лежа на животе у берега в мелкой воде, затевала глубокомысленные разговоры с Антоном Шварцем, который очень ей нравился, а мы тем временем любовались ее крупным, розовым, молодо полнеющим телом. Леля Кашина была по взглядам фрейдистка и даже напечатала книжку, называвшуюся «Эротическое у Достоевского» или что-то вроде этого. Во время прогулок она в форме всех камней и скал видела эротические символы и важным наукообразным языком объясняла остальным свои открытия. Год спустя она уехала с Евреиновым в Америку. А еще через год я в одном американском журнале встретил ее фотографию с надписью «Helene Kashina, famous russian psychologist» («Елена Кашина, знаменитый русский психолог» — англ.).

На прогулки ходили сообща, — обычно под предводительством Макса. Несмотря на свою тучность, он ходил легко, быстро и неутомимо. В подпоясанной по животу рубахе, похожей на хитон, в штанах до колен, с толстыми голыми икрами коротких ног, бородатый, со шнурком в крупнокудрявых волосах, он был похож на Посейдона. Он любил Коктебель нежной любовью и старался заразить ею каждого. Каждому он хотел показать все. Мы изнемогали, поднимаясь вслед за ним на кручи, мы не осмеливались следовать за ним по каменным карнизам над бездной, где он шагал так же уверенно, как по ровному полю. Жар солнца не смущал его, — он всегда ходил с непокрытой головой. Природа Коктебеля поразительно разнообразна — за час ходьбы можно попасть и в степи, похожие на пустыни, и в скалистые горы, и в горные дубовые леса. И всюду — море. У Макса каждая отдельная местность вызывала особые ассоциации —

преимущественно историко-культурные. Он часто говорил, что Коктебель напоминает ему греческие острова в Эгейском море, где он бывал в молодости. В мастерской его — так он называл свой рабочий кабинет, ибо был не только поэт, но и художник, — хранился — и сейчас хранится — кусок днища деревянного корабля, настолько древнего, что доски его сбиты гвоздями, сделанными из бронзы, и Макс уверял, что это обломок того самого корабля, на котором аргонавт Ясон плыл за золотым руном. Он знал названия каждой горки и каждой долинки вокруг, а если не знал, то сам выдумывал. Например, существовала долина, которая называлась Ассирия, — он уверял, что в древней Ассирии были точь-в-точь такие пейзажи. Мыс, постоянно менявший цвет, когда над ним проходили облака, он назвал Хамелеоном, — название это сохранилось до сих пор.

Во время одной долгой прогулки по берегу мы дошли до того места, откуда был виден синеющий вдали мыс Меганом. Я сразу же вспомнил стихи Мандельштама:

Туда душа моя стремится,
За мыс печальный Меганон,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон.

Мандельштам плохо расслышал название мыса, и Меганом у него превратился в Меганон.

Вообще в Коктебеле мне постоянно припоминались стихи Мандельштама, привезенные им из Крыма в 1920 году. Мне казалось, что никогда еще в мировой поэзии природа Крыма не была изображена лучше и богаче, чем в мандельштамовском стихотворении:

Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
— Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем, — и через плечо поглядела.

Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа да собаки. Идешь, никого не заметишь.
Как тяжелые бочки спокойные катятся дни.
Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь.

После чая мы вышли в огромный коричневый сад,
Словно веки на окнах опущены черные шторы,
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,

Где прозрачным стеклом обливаются сонные горы.
Я сказал: «Виноград как старинная битва живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке».
В камедистой Тавриде наука Эллады, и вот
Золотых десятин благородные ржавые грядки…

Проходя километры по берегу у самого прибоя, я постоянно повторял про себя последнее четверостишие этого стихотворения:

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Целый день грохотали морские тяжелые волны
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

Так как Макс тоже постоянно сравнивал Крым с Элладой, я напомнил ему эти стихи. Но он отнесся к ним сдержанно. Он не очень любил стихи Мандельштама. Как о человеке он отзывался о нем с симпатией, но насмешливо. Он вообще не любил, когда слишком хвалили чьи бы то ни было стихи, кроме его собственных. И все же он ценил Мандельштама несравненно больше, чем Пастернака. О стихах Пастернака он говорил с откровенной враждебностью. Когда однажды на берегу я прочел ему отрывок из Пастернака, где морская пена сравнивается с пеной на пиве, он возмутился и сказал:

— Пиво можно сравнивать с морем, а не море с пивом!

Зато о Гумилеве он всегда говорил любовно. Гумилев, как и он сам, шедший от Брюсова, был ему ближе, роднее. Он с удовольствием вспоминал, как Гумилев гостил у него в Коктебеле, — кажется, летом 1916 года. Я помню его рассказ о том, как они с Гумилевым ловили скорпионов и заставляли их пожирать друг друга.

Скорпионы водились в той самой долине, которая называлась Ассирией. Макс и Гумилев охотились там за ними и приносили их в стеклянных банках на дачу. На даче они устраивали скорпионам гладиаторские состязания. Два скорпиона — один гумилевский, другой волошинский — сажались в стакан. В стакане они вступали в драку, и сильный пожирал слабого. Так отбирались самые сильные скорпионы; потом этих силачей стравливали друг с другом, пока не остались только сильнейшие. Победителем этого состязания оказался Гумилев — у него был скорпион, который мог пожрать любого другого скорпиона, сколько бы их ни подсаживали ему в стакан.

По временам в Коктебеле устраивались веселые пиры. Инициаторами всегда были гости Макса, сам Макс и Марья Степановна участвовали в них только как гости своих гостей. За вином шагали в деревню днем всей компанией, захватив с собой множество жестяных чайников. В те времена всякий человек, отправлявшийся в далекое железнодорожное путешествие, брал с собой большой чайник, чтобы наливать его кипятком на станциях, и, следовательно, чайников у гостей Макса было достаточно. Чайники надевали за ручки на два длинных шеста, двое мужчин брали каждый шест за концы и, сопровождаемые всеми, двигались в деревню. В деревне все чайники доверху наливались молодым белым вином. Летом 1924 года крестьяне-болгары, жившие в Коктебеле, брали за кружку вина, вмещавшую полбутылки, пятьдесят копеек. На обратном пути тащить чайники было тяжело, носители шестов часто сменялись. Устраивались привалы для отдыха, садились на горячие от солнца каменные ступеньки болгарских домиков. Терпения, разумеется, не хватало, и пить начинали на этих привалах — сосали вино из носиков чайников, и на волошинскую дачу приходили уже слегка навеселе. Приглашали Волошиных, и начинался пир. Макс и Марья Степановна, охмелев, были очень трогательны. Они садились рядком, обнимались и дружно пели:

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут налету…

На этих пирах все очень сдружались, переходили на «ты». Я сам был на «ты» с Максом, несмотря на почти тридцатилетнюю разницу в возрасте.

По вечерам после ужина все население обеих дач собиралось у Макса на «вышке». «Вышкой» называлась открытая площадка на крыше дачи, куда можно было подняться по деревянной лестнице. Днем оттуда был прелестный вид на Коктебельскую бухту, на Карадаг, на окрестные холмы. Глядя с «вышки» на Карадаг, можно было заметить, что карадагская скала, обращенная к морю, напоминает своими очертаниями исполинский профиль Макса. Сходство и впрямь было поразительное, — Максин лоб, Максины глазные впадины, Максин нос, Максина борода. Макс гордился этим сходством и даже воспел его в стихах:

И на скале, замкнувший зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.

Но по ночам с башни ничего не было видно, кроме неба и моря. В лунные ночи по морю бежала серебряная дорожка, в безлунные — пропадало и море, и «башня» казалась кораблем, плывущим среди созвездий. Несмолкаемый звон цикад доносился снизу. Мы все усаживались кругом на низеньких скамейках, устроенных вдоль перил «вышки». И начиналось чтение стихов.

Больше всего читал сам Макс. Слушать его полагалось с благоговением, и слушали с благоговением. В сущности, в этом благоговении состояла единственная плата, которую он принимал за свое гостеприимство. Если память мне не изменяет, в первое время после моего приезда на «вышке» читали свои стихи кроме Макса только двое — я и Евгений Ланн. Стихи у Евгения Ланна были беспомощные, малопонятные, но очень претенциозные, с каким-то харьковским шиком. Однако Макс охотно удостаивал их благосклонной похвалы — так же, как и мои. Мы в своем ничтожестве не были для него соперниками, и он был к нам куда щедрее, чем к Мандельштаму и Пастернаку.

Так в то лето шла коктебельская жизнь, пока не приехал туда, в гости к Максу, Андрей Белый. С приездом Андрея Белого многое изменилось.

Его ждали давно и с волнением. Гостей Макса волновала возможность близкого знакомства со знаменитым писателем. Макса волновала встреча со старым знакомым, которого он не видел уже восемь лет. Андрей Белый находился тогда на вершине своей славы. Он был близок тогдашней интеллигенции, потому что пережил — начиная с 1905 года — все те наиболее типичные колебания, которые пережила она сама. Как и Блок, начал он с соловьевства. После 1905 года он выпустил «Пепел» — самую лучшую и самую реалистическую из своих стихотворных книг, полную любви к революции и ненависти к старой России. На стороне революции стоял он и в «Петербурге» — талантливом романе о борьбе с самодержавием. Да и революцию изображал он в «Петербурге» как борьбу эсеровских заговорщиков с царскими администраторами. В годы реакции он поддавался всем реакционным влияниям — главным образом мистико-религиозным. В 1914 году он мечтал о «разгроме тевтонов», в 1916-м — о революции и о мире без аннексий и контрибуций. Февральскую революцию встретил восторженно. В 1917 году развивался все влево и влево и восторженно встретил Октябрь. В начале 1918 года, в одно время с блоковскими «Двенадцатью», он написал стихотворение, в котором воспел Октябрьскую революцию:

Рыдай, буревая стихия,

В столпах заревого огня!
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня.

Октябрьская революция представлялась ему тогда событием стихийным и анархическим, — и именно это ему в ней нравилось. В годы Гражданской войны, в годы голода и разрухи, когда в революции стали все отчетливее проявляться организационно-государственные формы, он стал охладевать к ней. Он написал поэму «Последнее свидание» — всю обращенную к прошлому, к далекой ранней юности — прелестную, полную милого юмора, в которой он изобразил свою юность куда ярче и отчетливее, чем в томах своих воспоминаний, написанных в последние годы жизни. После Гражданской войны он оставил Советскую Россию и уехал за границу. Эмигрантские круги приняли его поначалу восторженно, но очень скоро выяснилось, что они ошиблись. Белогвардейская эмиграция оказалась для Белого совершенно чуждой, и он занял по отношению к ней резко враждебную позицию. Уже через год явился он в советское полпредство в Берлине и попросился назад, в Москву. Его пустили. И через несколько месяцев после возвращения он приехал в Коктебель к Максу.

Он приехал в Коктебель не один, а с пятью дамами средних лет, пятью антропософками, пылкими его поклонницами. Имен и фамилий их я не помню, но — странное совпадение — по отчеству они все были Николаевны. Всех пятерых Николавен поселили в первом этаже дачи Юнгов, в одной комнате, самой задней — той, которая выходит окнами в противоположную от моря сторону. Белый же занял комнату в доме Макса, выходящую на ту деревянную терраску, которая еще и до сих пор называется «палубой». До приезда Белого в Коктебеле был один центр, вокруг которого вращалось все общество, — Макс. Теперь центров стало два. И новое солнце стало быстро затмевать прежнее.

Белый, несмотря на седину и лысину, был в то время еще сухощав и крепок. Лицом он казался значительно старше своих сорока четырех лет, но тело имел совсем юношеское, очень скоро покрывшееся коричневым загаром. Ходил он быстро, легко, был подвижен, деятелен и говорлив. Говорил торопливо, с присвистом, сильно жестикулируя, и маленькие голубенькие глазки его, как буравчики, вонзались в собеседника. Вставал он рано, шел на пляж, купался в стороне от всех, — потом много часов бродил по берегу, собирая камешки. Собирать камешки в Коктебеле — обычай, сохранившийся и по сей день. В те времена

— а вернее, и еще раньше — были придуманы для них названия, известные только коктебельцам и до сих пор употребляемые только там — «фернампикс», «полинезиец», «лягушка». У многих из гостей Макса были в то лето замечательные коллекции камешков, но Белый в несколько дней обогнал всех коллекционеров. Недели через две после приезда он устроил выставку своих камешков на деревянных перилах своей террасы, и, помню, коллекция эта поразила всех любителей красотой, подбором, количеством.

На мужской пляж он не ходил, и многое в тогдашних слишком свободных коктебельских нравах было ему, по-видимому, не по вкусу. Помню, каким раздраженным вернулся он однажды с берега моря и с каким возмущением рассказывал, как две незнакомые дамы подошли к тому месту, где он сидел, и стали раздеваться в нескольких шагах от него. Он долго не мог успокоиться, пришепетывал и присвистывал от негодования, а Макс, поклонник античности и свободы, глядел на него, добродушно и хитро улыбаясь в бороду.

С женщинами Белый был учтив до чопорности. Вскоре оказалось, что он отличный и страстный танцор. Из Берлина привез он новый танец — фокстрот, о котором мы до тех пор никогда и не слышали. Он решил обучить фокстроту нас всех и в одной из больших комнат юнговского дома устроил танцевальный вечер. Явился он в домино, надетом на голое тело, — точно таком, какое описано в его романе «Петербург». Танцевал он стремительно, пылко, самозабвенно и мою девятнадцатилетнюю жену явно предпочитал как партнершу всем своим пятерым антропософкам.

Антропософией он, по-видимому, увлечен был сильно. Вскоре после приезда он собрал нас и прочитал нам лекцию по антропософии. Говорил он быстро, со всеми внешними признаками вдохновения, присвистывал, ходил, жестикулировал, но из его лекции я не запомнил ни одного слова — настолько чуждо было мне все, что он говорил. В углу стояла черная школьная доска, и, в пояснение своих мыслей, он мелом начертил на ней круг, пронзенный стрелой. Круг должен был обозначать «бытие», а стрела — «сознание». Впрочем, не помню, может быть, и наоборот. Слушали его почтительно, но сдержанно, и лекция ни на кого, кроме Николавен, впечатления не произвела. А Макс, тот откровенно посмеивался. Уже тогда начал чувствоваться тот разлад между Белым и Максом, который постепенно разрастался.

На вечерних собраниях на «вышке» теперь царствовал не Макс, а Белый. И восхищались стихами не Макса, а Белого. Макс, конечно, еще раз прочел перед Белым все те свои стихи, которые

уже неоднократно читал перед нами. И Белый хвалил их учтивейше, но, видимо, не так, как хотелось бы Максу. Стихи же самого Белого принимались слушателями восторженно. И действительно, слушать его под коктебельскими звездами было большим наслаждением. Я всегда любил многие его стихи и всегда считал его поэзию выше его прозы, написанной излишне сложно, манерно, путано, претенциозно.

Читал он на «вышке» много, охотно. Сначала свои сравнительно недавние вещи — «Королевна и рыцари», «Первое свидание», потом стихи более старые, даже времен «Пепла». Помню, как поразило меня в его чтении стихотворение «Железная дорога», написанное им давным-давно, в те времена, когда он, после революции 1905 года, еще пытался опереться на некрасовские традиции:

Поезд плачется. В дали родные —
Телеграфная тянется сеть.
Пролетают — поля росяные,
Пролетаю — в поля: умереть.
Пролетаю — так пусто, так голо…
Пролетают — вот там и вон здесь —
Пролетают — за селами села,
Пролетает — за весями весь;
И кабак, и погост, и ребенок,
Засыпающий там у грудей,
Там — убогие стаи избенок,
Там — убогие стаи людей.
Мать Россия, тебе мои песни, —
О, немая, суровая мать, —
Здесь и глуше мне дай, и безвестней
Непутевую жизнь отрыдать.

Он царил на «вышке» не только стихами, но и рассказами. Говорил он не умолкая. Здесь и речи не было об антропософии, здесь он рассказывал что-нибудь забавное или страшное. Он знал множество страшных рассказов, передавал их мастерски, и на темной «вышке», освещенной лишь звездами, они звучали особенно жутко. Я все их забыл и помню только, как он свистящим шепотом повторял фразу:

— Горло перерезано, бритва на полу!

Это перерезанное горло окончательно отодвинуло Макса на задний план.

Охлаждение между Максом и Белым, исподволь нараставшее, прорвалось наконец наружу после того, как Белый прочел нам

инсценировку своего романа «Петербург». Слушать его собрались мы после обеда у Макса в мастерской. Белый читал стоя, расхаживал под бюстом египетской богини Таиах, то кричал, то шептал, размахивал руками, вкладывал в чтение весь свой темперамент. Слушатели расположились где попало — на ступеньках деревянной лестницы, на тахте, на ковре. Макс сидел у окна, спиной к морю, за маленьким столиком, раскрыв перед собой большой альбом, разложив акварельные краски и кисточки. Слушая, он писал свои пейзажи, прелестные и талантливые, хотя и дилетантские. Способ его работы был удивителен, — писал он их, не глядя на натуру, сидя спиной к окну. Писал две акварели, совершенно разные, одновременно. Он макал кисточку в коричневую краску и накладывал разом все коричневые пятна сначала на левый лист альбома, где создавалась одна акварель, потом на правый лист, где создавалась вторая. Затем брал другую кисточку, макал ее в синюю краску и на оба листа накладывал синие пятна. И на обоих листах мало-помалу возникали горы, море, степь, облака — все очень похожее на Коктебель и в то же время вовсе не изображающее какую-нибудь реальную существующую часть Коктебеля.

Он слушал Белого спокойно, настолько углубившись в свои акварели, что нельзя было даже сказать, слушает он или нет. Он ни разу не показал, что чтение ему нравится. Признаться, мы все были несколько разочарованы, хотя не осмеливались это показать. Инсценировки романов редко удаются, и у Белого его «Петербург», превращенный в драму, стал бледен и ходулен.

Буря разразилась после чтения — когда началось обсуждение. Впрочем, первые выступавшие говорили комплиментарно, хотя и очень общо, — пока не выступил Макс. В его выступлении, внешне вполне корректном и очень добродушном, было несколько насмешливых колкостей. Это вывело Белого из себя. Он даже растерялся от бешенства. Перебивая Макса, он возражал ему дрожащим от обиды фальцетом — и довольно невразумительно. В его выражениях были намеки на что-то давнее, нам, присутствовавшим, неизвестное и непонятное. Макс не потерял самообладания, но сильно покраснел. Леля Кашина стала разбирать прослушанную инсценировку с психоаналитических фрейдистских позиций, но это только еще сильнее обидело Белого, уже очень раздраженного. Антон Шварц стал возражать Леле Кашиной, объявив себя марксистом. Этим он обрушил на себя гнев и презрение Макса, который в то время, как и все ему близкие люди, считал марксизм явлением дурного тона, свидетельствовавшим об отсутствии вкуса. Белый немедленно взял марксизм под защиту, — в его уме каким-то таинственным

образом марксизм уживался с антропософией. Страсти накалились, началась общая сумятица, и кончилось это тем, что Белый решил немедленно уехать и пошел укладывать свой чемодан. Все пять Николавен вышли вместе с ним и тоже отправились укладывать чемоданы.

Ссору эту Максу удалось ликвидировать — он объяснился с Белым наедине, и Белый остался. Но прежние отношения уже не восстановились, — Белый никогда уже больше не приезжал в Коктебель.

Нам с женой пора было уезжать. Мы провели в Коктебеле более полутора месяцев. За несколько дней до нашего отъезда мне пришлось поговорить с Белым наедине.

Он подошел ко мне в сумерках, когда я лежал один на песке и смотрел, как зажигаются звезды. Он сел на песок рядом со мной. Для меня это было неожиданностью, — до тех пор он никогда со мной не разговаривал, между нами была слишком большая разница в возрасте. Сидя рядом со мной и глядя на звезды, он сказал:

— Сейчас установлено, что строение атома подобно строению солнечной системы. Таким образом, мы вправе предположить, что все видимые нами созвездия — только атомы, составляющие, скажем, пятку какого-нибудь исполинского Ивана Ивановича, который сидит на балконе и пьет чай. Вот и ищи после этого смысла вселенной…

Дней за десять до отъезда мы с женой заказали себе железнодорожные билеты в Ленинград и истратили на них все деньги, какие у нас были. На еду во время пути у нас не осталось ни копейки. Первый день путешествия в вагоне было очень жарко и есть не хотелось, но вечером жара спала, и голод стал мучить нас. В Коктебеле жена наварила абрикосового варенья — большую жестяную банку — и везла его с собой. За неимением ничего другого мы принялись есть это варенье.

Ели мы его и весь следующий день. Нет ничего отвратительнее, чем съесть натощак полтора-два кило приторного варенья без хлеба. Однако мы свершили этот подвиг, и, когда на третий день утром приехали в Москву, банка была пуста.

В Москве нам предстояло провести целый день, так как поезд на Ленинград отходил только вечером. Голод терзал нас, нужно было перевезти вещи с Курского вокзала на Ленинградский, а между тем у нас не было даже на трамвай. Я вспомнил, что у меня в Москве есть приятель, и решил зайти к нему, чтобы попросить у него кусок хлеба и рубль.

Оставив жену стеречь вещи на Курском вокзале, я пошел

искать приятеля, который жил за Девичьим полем. В Москве было жарко. Мне хотелось есть и пить. Когда я дошел до квартиры приятеля, оказалось, что он на даче. На квартире была только его тетка, которой я не знал и которая меня не знала. Она отнеслась ко мне крайне недоверчиво. Я тем не менее рассказал ей о нашем положении, и она, колеблясь, вынесла мне рубль. Я напился воды из водопровода и побрел пешком назад, на Курский вокзал.

Рубль ушел целиком на переезд с вещами с Курского вокзала на Ленинградский. Весь день мы ничего не ели. В ленинградском поезде на соседней лавке оказалась дама с большой корзиной. Она на минуту раскрыла корзину, чтобы лучше уложить вещи, и мы среди белья увидели французские булки с маслом, ветчиной и сыром. Я стал деятельно ухаживать за этой дамой. На станции Клин я побежал для нее за кипятком. Она опять раскрыла корзину и, заедая булкой, стала пить чай. Чтобы отблагодарить меня, она раскрыла большую коробку, полную маленьких конфеток. Мы с женой взяли по одной конфетке.

В конце двадцатых годов Макс и Марья Степановна опять приезжали в Ленинград, и я виделся с ними, но помню об этом свидании мало. У Макса поседела борода, и он еще потолстел. Стихов его на этот раз я не слышал.

Я снова приехал в Коктебель через восемь лет после первого моего посещения — в июле 1932 года. Ехал я на этот раз один, без жены, и не в гости к Максу, а по путевке в Дом отдыха Литфонда. К тому времени дом Макса был уже домом Литфонда, — за Волошиными оставался только второй этаж, где помещалась мастерская Макса. Все это произошло по воле самих Волошиных. Соседний дом — дача Юнга — тоже принадлежал теперь Литфонду. Обоими этими домами распоряжалось Московское отделение Литфонда. У Литфонда был еще и третий дом в Коктебеле — бывшая дача Манасеиной. Этой дачей распоряжалось Ленинградское отделение Литфонда, и я, как ленинградец, поселен был в ней.

Когда я проезжал через Москву, кто-то, — кажется, Иван Катаев — попросил меня передать Максу, что его стихи идут в одном из ближайших номеров «Нового мира». Таким образом, я вез в Коктебель радостную для Макса весть. За последние годы Макс писал мало, и речь шла о тех самых стихах, которые я слышал в начале двадцатых годов. Они все еще не были напечатаны. Постоянная жизнь в Коктебеле, вдали от литературных центров, мешала стареющему Максу завязать связи с крепнувшей молодой советской литературой. За восемь лет, с 1924 года по 1932-й, интеллигенция прошла огромный путь развития, а Макс, у которого, безусловно, были все данные, чтобы

принять в этом развитии участие, остался в стороне, отстал, законсервированный среди коктебельских гор и пляжей.

Приехав в Коктебель, я сразу узнал, что он тяжело болен. За несколько дней до моего приезда у него был удар. Я поспешил к нему.

Макс, необычайно толстый, расползшийся, сидел в соломенном кресле. Дышал он громко. Он заговорил со мной, но слов его я не понял, — после удара он стал говорить невнятно. Одна только Марья Степановна понимала его и в течение всей нашей беседы служила нам как бы переводчиком.

При всем том он был в полном сознании. Когда я сказал ему, что стихи его пойдут в «Новом мире», лицо его порозовело от радости. Снова и снова почти нечленораздельными звуками просил он меня повторять привезенную мною весть.

Через несколько дней у него был второй удар, и он умер.

Он лежал в саду перед своим домом в раскрытом гробу. Гроб казался почти квадратным — так широк и толст был Макс. Лицо у него было спокойное и доброе, — седая борода покрывала грудь. Мы узнали, что он завещал похоронить себя на высоком холме над морем, откуда открывался вид на всю коктебельскую долину. Гроб поставили на телегу, возница стегнул лошадь, и маленькая процессия потянулась через накаленную солнцем степь. До подножия холма было километра три, но мы сделали гораздо больший путь, так как обогнули холм кругом, — с той стороны подъем на холм был легче. И все же лошадь на холм подняться не могла, и метров двести вверх нам пришлось нести гроб на руках.

Это оказалось очень трудным делом. Макс в гробу был удивительно тяжел, а мужчин среди провожающих оказалось только пятеро — Габричевский, чтец Артоболевский, писатель Георгий Петрович Шторм и я. Кто был пятый — я забыл. Солнце жгло нестерпимо, и, добравшись до вершины, мы были еле живы от усталости.

Отсюда мы увидели голубовато-лиловые горы и мысы, окаймленные белой пеной прибоя, и всю просторную, налитую воздухом впадину коктебельской долины, и далекий дом Волошиных с деревянной башенкой, и даже дельфинов, движущихся цепочкой через бухту. Знойный воздух звенел от треска цикад в сухой траве. Могильщики уже вырыли яму, гроб закрыли крышкой и опустили в светло-рыжую сухую глину. Чтец Артоболевский, высокий, худой, в черном городском пиджачном костюме, прочел над могилой стихотворение Баратынского «На смерть Гёте»:

Предстала, и старец великий смежил

Орлиные очи в покое,
Почил безмятежно, зане совершил
В пределе земном все земное!
Над дивной могилой не плачь, не жалей,
Что гения череп — наследье червей.

И мы поплелись вниз с холма.

После смерти Макса я множество раз бывал в Коктебеле, живал там по полтора-два месяца. Могила Макса на вершине холма цела до сих пор. На ней нет ни креста, ни памятника — Макс был неверующий и считал, что памятники уродуют природу. Восхождение на могилу стало любимой прогулкой отдыхающих в Коктебеле. Они не очень ясно представляют себе, кто лежит в этой могиле, — стихи Макса известны немногим, мало кто даже слышал его имя. На посмертную славу ему незаслуженно не повезло, — даже весть, которую я привез ему перед его смертью, радостная весть, что стихи его будут напечатаны в «Новом мире», оказалась ложной: номер «Нового мира» вышел без его стихов. И все же могила Волошина стала местной достопримечательностью, пользующейся всеобщим уважением. Все приезжающие в Коктебель знают, что это могила поэта, и почтительно склоняются перед нею. Собиратели камешков на морском берегу несут к ней лучшие свои «фернампиксы» и трогательно украшают ими низенькую могильную насыпь. Я даже видел военную карту-двухкилометровку Восточного Крыма времен Второй мировой войны, на которой есть надпись: «Могила Волошина».

А Марья Степановна жива и сейчас, когда я пишу эти строки, в 1959 году. Живет она все там же, на втором этаже коктебельского волошинского дома, получая маленькую пенсию от Литфонда. Она еще крепка, деловита, разумна и держится с достоинством, подобающим вдове поэта. Она верна всем заветам Макса — в ее речах живут его словечки, его симпатии и антипатии. Она как святыню бережет его мастерскую, библиотеку, архив, она читает посетителям стихи Макса — с теми же интонациями, с какими читал их сам Макс. Верна она и его завету гостеприимства. Каждое лето приезжают к ней старушки, бывшие коктебелки, жившие еще у Макса, и живут у нее месяцами, платя ей только одним — усердным и набожным слушанием Максовых стихов.

Во время войны, в захваченном немцами Крыму, Марья Степановна вела себя превосходно. Дом ее служил явкой партизан, через нее поддерживалась связь между партизанами и подпольным крымским обкомом. Когда двадцать пять

черноморских моряков, высадив десант, захватили на сутки Коктебель, они — перед смертью — нашли приют у Марьи Степановны… Это тоже был завет Макса — верность России.

И плывет дом Макса через время, как кораблик, — с ветхой деревянной «вышкой», с ветшающими лестницами, балконами, перилами. Кругом кипит уже совсем другая жизнь — строятся новые дома, растут новые люди, открываются новые санатории и дома отдыха, бегут автомобили по новому шоссе, соединяющему Феодосию с Ялтой. И литература давно уже новая. И в нижнем этаже, принадлежащем Литфонду, сменяются все новые и новые жильцы. А мастерская Макса все такая же — блестят корешки книг, изданных в первое десятилетие нынешнего века, стоит гипсовая голова египетской богини Таиах, пахнет пылью, старым деревом, рассохшимся на солнце. А за окнами мастерской — то, что гораздо неизменнее, чем она сама: море.

Человеку непокорно
Море синее одно:
И свободно, и просторно,
И приветливо оно;
И лица не изменило
С дня, в который Аполлон
Поднял вечное светило
В первый раз на небосклон.

О Мандельштаме

Осипа Эмильевича Мандельштама я очень любил, всегда восхищался его стихами, считал его одним из замечательнейших русских поэтов своего времени, знаком был с ним в течение семнадцати лет, довольно часто встречал его, но никогда не был с ним близок, — отчасти из-за разницы в возрасте, отчасти оттого, что он, со свойственной ему откровенностью, никогда не скрывал от меня пренебрежительного отношения ко всему, что я писал. Ему чужды были не только мои робкие литературные попытки, но и весь строй моих литературных пристрастий, — к Блоку он относился довольно холодно, Некрасова не любил, у Фета ценил только некоторые строчки, терпеть не мог стихов Бунина и, подобно всем акмеистам, был внутренне враждебен русской реалистической прозе. Из русских поэтов больше всего любил Пушкина, Батюшкова и Баратынского.

Когда-то учился он, подобно мне, в Тенишевском училище, но окончил его лет на пятнадцать раньше меня. В 1918 году он уехал из Петрограда в Крым. Впоследствии он написал об этом так:

Чуя грядущие беды, бурь приближенье мятежных,
Я убежал к нереидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных
Сколько я принял смущенья, надсады и горя.

Впервые я увидел его в конце 1920 года, когда он вернулся в Петроград из Крыма, только что освобожденного от Врангеля. Он имел возможность сбежать с белыми в Турцию, но, подобно Волошину, предпочел остаться в Советской России. Перед приходом в Крым красных он жил в Феодосии и там написал:

Недалеко от Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

В Петрограде его поселили в Доме искусств, дали ему комнатенку возле комнаты Михаила Слонимского. Мандельштам был невысокий человек, сухощавый, хорошо сложенный, с тонким лицом и добрыми глазами. Он уже заметно лысел, и это его, видимо, беспокоило, потому что одно его стихотворение начиналось так:

Холодок щекочет темя,

И нельзя признаться вдруг, —
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук.

Обликом он в те годы был отдаленно похож на Пушкина — и знал это. Вскоре после его приезда в Доме искусств был маскарад, и он явился на него, загримированный Пушкиным — в сером цилиндре, с наклеенными бачками.

По просьбе моих товарищей тенишевцев, чтивших его, я как-то раз привел его в Тенишевское училище почитать стихи, — подобно тому, как приводил раньше Гумилева. Он пришел охотно, хотя, кажется, нисколько не был растроган посещением школы своего детства. Мы все в то время знали только одну его книгу стихов, «Камень», вышедшую перед Первой мировой войной. Особенной известностью пользовались те стихи из «Камня», в которых умно и красноречиво описывались знаменитые памятники архитектуры: «Айя-София», «Notre Dame», «Адмиралтейство». За эти изысканные и умные стихи, написанные очень торжественным тоном, насмешники прозвали Мандельштама «мраморной мухой». Меня же эти великолепные стихи, отчетливо отразившие все основные каноны акмеизма, оставляли равнодушным. В «Камне» меня волновало другое — то, что находилось как бы на периферии этой книги. Меня удивляло точностью, простотой, ритмом и умом стихотворение Мандельштама, написанное им еще в ранней юности, в 1909 году:

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло…

Некоторые стихотворения «Камня» поражали меня еще одной чертой — правдивостью изображения, реалистичностью. Русские поэты первой четверти двадцатого века почти никогда не ставили перед собой задач реалистического изображения мира. Блок был чуть ли не единственным исключением. И меня поражало

великолепное изображение оперного спектакля в восьмистишии из «Камня» Мандельштама:

Летают Валькирии, ноют смычки.
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.

Уж занавес наглухо упасть готов;
Еще рукоплещет в райке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров.
Карету такого-то! Разъезд. Конец.

Но больше всего во всем «Камне» нравилось мне стихотворение «Петербургские строфы» — о дореволюционном Петербурге. Я считал, что стихотворение это — лучшее изображение Петербурга и русской поэзии со времен «Медного всадника». Начиналось оно так:

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, — как броненосец в доке, —
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира.
Как власяница грубая, бедна…

Это поразительное по изобразительной точности и ритмике стихотворение особенно трогало меня своим концом, где внезапно появлялся Евгений из «Медного всадника» — нищий интеллигент-разночинец, противопоставленный императорскому Петербургу:

Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход —
Чудак Евгений — бедности стыдится,

Бензин вдыхает и судьбу клянет!

Этот образ нищего разночинца, столь чуждый снобам-акмеистам, появился в «Камне» только один раз, и еще трудно было предугадать, какое большое место суждено ему было занять в дальнейшем творчестве Мандельштама.

Из более поздних его стихотворений я в то время знал только одно — то, в котором он отрекается от «Камня»:

Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И ныне я не камень,
А дерево пою.

Оно легко и грубо,
Из одного куска
И сердцевина дуба,
И весла рыбака.

Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки.

Мы, тенишевцы, сидели на деревянных скамейках в зале, где на переменах играли в пятнашки, а он, стоя, читал перед нами — торжественно, нараспев, задирая маленькую голову, как молодой петушок. Он объяснил нам, что русская поэзия по духу — эллинистическая и что в возврате к эллинизму лежит единственный путь ее очищения. К этим взглядам пришел он под влиянием своих крымских впечатлений, потому что в Крыму ему все напоминало Элладу. Часа два читал он нам все новые и новые стихи, в которых поминались Персефона, Пиэрия, ахейские мужи, Троя, Елена. Смысл этих стихов дошел до меня гораздо позже, а тогда я был заворожен их звуком. Мандельштам читал, подчеркивая звуковую, а не смысловую сторону стиха, и я задыхался от наслаждения, слушая, что он делает из сочетаний звуков *д, р* и *е:*

Г*д*е милая Т*р*оя, г*д*е ца*р*ский, г*д*е *д*евичий *д*ом?
Он бу*д*ет *р*азру*ш*ен, высокий П*р*иамов скво*р*е*ш*ник,
И па*д*ают ст*р*елы сухим *дере*вянным *дожд*ем,
И ст*р*елы *др*угие *р*астут на земл*е*, как о*р*е*ш*ник.

Или какого изящного разнообразия русских *е* добивался он в двух строчках:

Гляди, навстр*е*чу, словно пух л*е*бяжий,
Уж*е* нагая Д*е*лия л*е*тит.

Помню, как поразили меня тогда два его новых стихотворения о Петербурге, написанных уже после революции. Первое из них написано было еще в 1918 году, перед отъездом в Крым, когда холодный, замерзающий Петроград перестал быть столицей и стремительно пустел. Оно начинается так:

На страшной высоте блуждающий огонь.
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
Твой брат, Петрополь, умирает.

На страшной высоте земные сны горят.
Зеленая звезда мерцает.
О если ты, звезда, воде и небу брат.
Твой брат, Петрополь, умирает…

Второе стихотворение о Петрограде он написал в Крыму, при Врангеле. Оно полно тоски по родному городу:

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем…

Там есть воспоминания о революционном Петрограде:

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.
……
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи.
В черном бархате всемирной пустоты

Все поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.

В Петрограде он прожил тогда до весны 1922 года, и я встречал его в Доме искусств и у Наппельбаумов. Из Дома искусств он переехал в Дом ученых, где Горький дал ему комнату, и я как-то зимой был там у него. Окно выходило на замерзшую Неву, мебель была роскошная, с позолотой, круглые зеркала в золоченых рамах, потолок был высочайший, со сгустившейся под ним полутьмой, в углу стояли старинные часы — величиной с шкаф, которые отмечали не только секунду, минуту и час, но и месяц, и число месяца. Мандельштам лежал на кровати, лицом к окну, к Неве, и курил, и в комнате не было ничего, принадлежащего ему, кроме папирос, — ни одной личной вещи. И тогда я понял самую разительную его черту — безбытность. Это был человек, не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада.

Я вспомнил эту комнату в Доме ученых, Неву за окном и часы, отмечающие месяцы, прочитав впоследствии его стихотворение «Соломинка», казавшееся многим непонятным:

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их — такая тишина, —
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не соломинка, Лигейя, умиранье —
Я научился вам, блаженные слова.

Всю силу его необыкновенной несопряженности ни с каким бытом я особенно ощутил летом 1922 года, когда побывал у него в Москве, на Тверском бульваре, в комнате, которую ему предоставил Дом Герцена. С этого времени начались мои более близкие с ним отношения, потому что в Москве он оказал мне большую услугу и выручил меня из беды.

Это была моя первая поездка в Москву и вообще первая

сколько-нибудь дальняя поездка — до тех пор я никогда не ездил из Петрограда дальше Пскова.

Попал я в Москву следующим образом. Мне было восемнадцать лет, я писал стихи и страстно мечтал увидеть их напечатанными. Не то чтобы я считал свои стихи прекрасными, вовсе нет, я был о них скромного мнения. И все же я только о том и думал, как бы их напечатать. Необъяснимая непоследовательность. Но что поделаешь, так было. К моему горю, никто не изъявлял желания их напечатать. И я решил напечатать их сам.

В зиму с 1921 на 1922 год в судьбе русской православной церкви произошло крупное событие — возникло новое религиозное течение, назвавшее себя Живой церковью. Вот причина его возникновения. В 1921 году был неурожай в Поволжье, и Советское правительство, чтобы накормить голодающих, решило закупить хлеб за границей. Для этого нужно было золото, а золота не хватало. Для того чтобы достать золото, решено было изъять ценности, находившиеся в руках у церкви. Патриарх Тихон, глава церкви, человек, настроенный белогвардейски, воспротивился этому. По его указанию священники и монахи стали прятать церковные ценности от властей.

Отец Александр Введенский, настоятель церкви Захария и Елисаветы на Захарьинской улице, был рослый мужчина тридцати с небольшим лет, цыганского типа. В городе его хорошо знали, потому что он нередко выступал на антирелигиозных диспутах, очень распространенных в первые революционные годы. Не раз бывал он оппонентом и самого Луначарского. Луначарский доказывал, что бога нет, а священник Александр Введенский утверждал, что есть. При этом он говорил, что цели у христианства и большевизма одни и те же и что все истинно верующие должны поддерживать Советскую власть.

Живая церковь ввела богослужение на русском языке вместо церковнославянского, отменила безбрачие монашества. Александр Введенский стал митрополитом и в своих проповедях поминал имена Шопенгауэра, Дарвина, Маркса и Александра Блока. Портрет Александра Блока (увеличенную фотографию работы М. С. Наппельбаума) он даже поместил среди икон на иконостасе церкви Захария и Елисаветы. Последователей у него было много.

Пылкой его последовательницей была преподавательница Тенишевского училища К., сухопарая длинная старуха из петербургских немок, принявших во время Первой мировой войны православие. У нее была дочь Таня, учившаяся со мной в

одном классе. Эта Таня тоже стала пламенной сторонницей Живой церкви, а потом сделалась невестой Александра Введенского.

Таня и открыла мне дорогу в 9-ю государственную типографию, находившуюся на Моховой неподалеку от улицы Белинского, — маленькое полукустарное предприятие, занимавшееся главным образом печатаньем афиш, бланков и этикеток. В ней работал метранпаж Васильев — плотный сорокалетний мужчина с примасленными светлыми волосами, пламенный сторонник Живой церкви и поклонник отца Александра. Рекомендация невесты митрополита подействовала безотказно. Типография согласилась в кредит снабдить меня бумагой и в кредит отпечатать книгу стихов с тем, что я расплачусь, когда продам тираж — 1000 экземпляров.

Я был счастлив, но тут выяснилось, что у меня нет стихов даже на самую маленькую книжку. То есть, разумеется, стихотворений у меня было уже несколько десятков, но я считал стоящими только два-три, написанные в самое последнее время. Но не терять же такую редкостную возможность — издать книгу. И я решил издать сборник стихов разных поэтов, включив в него и свои. Несколько стихотворений я взял у своих приятельниц — Нины Берберовой и сестер Наппельбаум. В ту зиму я учился на первом курсе Ленинградского университета, и среди моих сокурсников было, конечно, множество поэтов. Я и у них взял стихи — то, что мне казалось лучшим. Одно стихотворение дал мне Николай Тихонов, — между прочим, нигде никогда с тех пор больше не печатавшееся. Своих стихотворений я включил в сборник только три.

Я печатался в первый раз, и впервые передо мной возник вопрос, как подписывать свои произведения. Подписываться моим настоящим именем мне казалось неловким, потому что отец мой был известный литератор. И я придумал себе псевдоним — Николай Востоков. Я был очень доволен своим псевдонимом, но когда сказал о нем отцу, он стал называть меня Водостоковым. Я засмущался и придумал себе другой псевдоним — не столь пышный.

Юные поэты, мечтавшие напечататься в моем сборнике, заискивали передо мной. Я внезапно стал влиятельным лицом и упивался этим. Мы сообща придумали сборнику воинственное название — «Ушкуйники», — хотя стихи наши были робки, бледны и ничего воинственного не содержали.

Типография, у которой не было заказов, изготовила книжку в несколько дней. С каким наслаждением впервые в жизни держал я корректуру! Печататься, делать книги, держать корректуру — у

меня в детстве и юности не было более страстной мечты. И вот «Ушкуйники» готовы, одеты в белую обложку из меловой бумаги, и весь тираж свезен к нам на квартиру на Кирочной улице и сложен в углу моей комнаты.

Это была изрядная кипа — 1000 экземпляров! Я роздал по десять книжек каждому автору, я подарил по книжке всем моим знакомым, но кипа почти не уменьшилась. На мне висел долг в 381 миллион и угнетал мою душу. «Ушкуйники» нужно было продать как можно скорее.

По книжным магазинам Петрограда мы отправились вдвоем с моим братом Бобой, которому шел двенадцатый год. Он помогал мне нести книги.

Оказалось, что в Петрограде нет и двадцати книжных магазинов. Мы все их обошли за два часа. Нэп был в самом разгаре, и почти все книжные лавки принадлежали частным владельцам. В двух магазинах у нас купили по пять экземпляров. В одном купили три, — и то только потому, что Боба был очень хорошенький мальчик и понравился продавцу. В двух магазинах взяли у нас по десять экземпляров, но на комиссию, — с тем, что деньги нам будут уплачены только тогда, когда экземпляры разойдутся. В остальных не взяли ничего. Когда нам отказали, Боба, выходя из магазина, плевал на порог.

Кипа книг в моей комнате не уменьшалась, и продать ее, казалось, не было никакой надежды. Необходимо рассчитаться с типографией, но как добыть деньги? Всю весну 1922 года прожил я в тоске и тревоге. Каждый день я ходил в университет, готовился к экзаменам, но мне было не до ученья. Я считался отстающим студентом и предчувствовал, что мне придется остаться на первом курсе на второй год.

А между тем слава моя как издателя на первом курсе росла и росла. Первокурсник, мальчишка, а уже издал книгу! Университет кишел восемнадцатилетними поэтами, и все они заискивали передо мной, надеясь, что я издам и их. Напечататься, только бы напечататься! Меня умоляли издать второй сборник и включить всех, всех.

В эту несчастную для меня весну я сблизился со студентом Наумом Соломоновичем Левиным, называвшимся попросту Нюмой. Он был года на четыре старше меня и уже одним этим заслужил мое уважение. Одевался он по-нэпмански — галстук, коричневый пиджачок в талию, пестрые носки, полуботинки с острыми носками. Стихов он не писал, но много знал их наизусть и охотно рассуждал о современной поэзии. Между прочим, от него я впервые услышал стихи Павла Антокольского.

Гуляя с Нюмой Левиным по бесконечному университетскому

коридору, я, чувствуя потребность поделиться своей тревогой, рассказал ему и о своем долге, и о том, что я отчаялся продать «Ушкуйники». К моему удивлению, Нюма не нашел в моем положении ничего трагического.

— Вам просто нужно поехать в Москву, — сказал он. — Там больше книжных магазинов, чем в Петрограде, и там вы все продадите.

Эта мысль приходила мне в голову и раньше. Но как поехать в Москву, если нет денег на железнодорожный билет?

— Билет я вам достану бесплатный, — сказал Нюма. — Мой дядя работает в управлении железной дороги и устроит билет.

Но я в Москве никогда не был, никого там не знал, и мне негде было остановиться.

— Я поеду вместе с вами, — объявил он. — У меня в Москве родственники. Мы оба остановимся у них.

Через несколько дней его проект принял следующий вид. Мы с ним оба едем в Москву и везем с собой весь тираж «Ушкуйников». Останавливаемся у его родственников. Продаем книги московским книготорговцам. В результате продажи у меня, за вычетом долга, останется сумма в несколько сот миллионов рублей. Мы вернемся в Петроград, и Нюма Левин к моим сотням миллионов прибавит свои сотни миллионов — ровно столько же. На эти деньги мы начнем издавать литературно-художественный журнал. Мы оба будем издателями и редакторами на равных началах. Для нашего журнала есть прекрасное название — «Корабль».

Я сразу согласился на все. Я понимал, что у меня нет никакой другой надежды расплатиться с типографией. Да и издательский зуд во мне еще не прошел. Стать редактором журнала и печатать в нем все, что захочешь, — разве можно вообразить себе большее счастье?!

Я сдал только половину экзаменов, и то посредственно, и остался на второй год. Но зато весь первый курс узнал, что я редактор журнала «Корабль». Я уже деятельно занимался собиранием материала для первого номера. Я достал стихи даже у Ходасевича и Анны Ахматовой, — рукописи их потом долго хранились у меня.

Тем временем наступило лето. Студентов распустили на каникулы, и мы с Нюмой Левиным решили ехать не откладывая.

Я запаковал весь тираж «Ушкуйников» в рогожу, нанял человека с тачкой, злополучный сборник был отвезен на Московский вокзал, называвшийся тогда Октябрьским, и сдан в багаж. Я стал готовиться к отъезду. Достал заплечный мешок на ремнях, положил в него три банки сгущенного молока,

полученного папой из Ара, чистую рубаху и полбуханки хлеба; мама дала мне немного денег на путевые расходы — миллионов двадцать. Снаряженный таким образом, я пошел на квартиру к Нюме Левину, чтобы отправиться с ним на поезде.

Однако в тот день уехать не удалось, потому что Нюма сказал, что дядя его достал билеты не на сегодня, а на завтра. Он раскрыл бумажник и дал мне мой билет. Один день — не расчет, и задержка меня не огорчила. Провожая меня в прихожей, Нюма спросил:

— У вас есть какие-нибудь деньги?

Я показал ему двадцать миллионов.

— Одолжите мне их до завтра, — сказал Нюма. — Мы завтра поедем вместе, и в поезде я вам отдам.

Я дал ему все свои деньги и пошел домой.

На другой день в тот же час я опять был у Нюмы Левина. Он жил очень близко от вокзала, и мы вышли из его квартиры минут за двадцать до отхода поезда. На улице я заметил, что у него нет никакого багажа. Отправляясь в Москву, он даже кепки не надел.

— Я ничего не хочу с собой таскать, — ответил он на мой удивленный вопрос. — В Москве у моих родственников все найдется.

В вагон мы вошли за пять минут до третьего звонка. Нюма, как человек более опытный, сразу нашел мою полку и показал мне. Я снял заплечный мешок и сел.

— А где ваша полка? — спросил я.

— В том конце вагона, — ответил Нюма.

Но он не пошел ее разыскивать, а продолжал стоять передо мной, чего-то ожидая.

Поезд вздрогнул и медленно двинулся. Нюма вдруг кивнул мне и быстро пошел к выходу. Только тут я заподозрил что-то неладное. Я побежал за ним и догнал на площадке:

— Нюма!..

Он обернулся, но не взглянул мне в глаза. Лоб у него был в поту.

— Я не еду, — сказал он.

И на ходу соскочил с поезда.

Я растерялся. Пока я размышлял, прыгать ли мне за ним, поезд пошел так быстро, что прыгнуть было уже невозможно. Я вернулся в вагон, сел на лавку и стал думать о своем положении.

Положение мое казалось мне ужасным. Во-первых, Нюма не вернул мне моих денег и у меня не было ни одной копейки. Во-вторых, в Москве я не знал ни одного человека и мне негде было остановиться. С горя я съел банку сгущенного молока с хлебом и заснул.

В Москве было солнечно и очень жарко. Не зная, что предпринять, я спросил, где центр, и медленно побрел по Мясницкой. У меня не было даже несчастных двухсот пятидесяти тысяч на трамвайный билет. Да и куда ехать? Я прошел Мясницкую, Кузнецкий мост. Тверскую, заходя в книжные магазины. У меня с собой был один экземпляр «Ушкуйников», я показывал его магазинщикам и спрашивал, сколько экземпляров такой книжки они могли бы купить у меня. Очень скоро мне стало ясно, что все книжные магазины Москвы не взяли бы у меня и пятидесяти экземпляров. Так что все зря, — расплатиться с типографией не было надежды. Да и пятьюдесятью экземплярами я не мог располагать, потому что по своей багажной квитанции я должен был получить весь свой груз целиком, а что мне с ним делать, когда у меня не было денег даже на то, чтобы сдать его в камеру хранения. У меня не было денег даже на телеграмму маме, даже на почтовую открытку.

Днем на бульварной скамейке я пообедал — сгущенным молоком с хлебом. Жара стояла изнурительная, от сладкого сгущенного молока меня тошнило, хотелось пить. Я уже не искал книжных магазинов, а бесцельно бродил по бульварному кольцу из конца в конец. Долгий жаркий день погас. Я присел на скамейку на Тверском бульваре и провел на ней всю ночь.

Я дремал сидя. Бульвар постепенно пустел. Дольше всех на бульваре оставались проститутки. Они ходили мимо меня взад и вперед, как солдаты на часах, — до фонаря и обратно. Когда они поворачивались под фонарем, серьги их вспыхивали.

Перед рассветом стало холодно, и мне захотелось есть. Я опустошил третью банку сгущенного молока и швырнул ее в траву. Я доел свой хлеб. Потом положил под голову пустой мешок, растянулся на скамейке и заснул крепчайшим сном.

Проснулся я, когда солнце плыло уже высоко над крышами, почувствовав, что кто-то пристально смотрит мне в лицо. Я открыл глаза. Надо мной стоял Осип Эмильевич Мандельштам, тревожно и внимательно разглядывая меня.

Оказалось, я, сам того не зная, провел ночь как раз напротив Дома Герцена (Тверской бульвар, 25), тогдашнего литературного центра Москвы, где в левом флигеле занимал в то время комнату Мандельштам.

Несмотря на то что Осип Эмильевич знал меня довольно мало и отношения его с нашей семьей были довольно поверхностные, он, увидя меня спящим на бульварной скамейке, отнесся ко мне сердечно и участливо. На его расспросы я, со сна, отвечал сбивчиво и не очень вразумительно, и он повел меня в сад Дома Герцена, за палисадник, и усадил там меня рядом с

собой на скамейку, в тени под липой.

Мы начали прямо со стихов — все остальное нам обоим казалось менее важным. Мандельштам читал много. Я тогда впервые услышал его стихотворение, которое начиналось:

Я по лесенке приставной
Лез на всклоченный сеновал, —
Я дышал звезд млечных трухой.
Колтуном пространства дышал…

Потом он попросил читать меня.

Я читал последние свои стихи, читал старательно и именно так, как читал он сам и все акмеисты, — т. е. подчеркивая голосом звуковую и ритмическую сторону стиха, а не смысловую. Мандельштам слушал меня внимательно, и на лице его не отражалось ни одобрения, ни порицания. Когда я кончал одно стихотворение, он кивал головой и говорил:

— Еще.

И я читал еще.

Когда я прочитал все, что мог, он сказал:

— Каким гуттаперчевым голосом эти стихи ни читай, они все равно плохие.

Это суждение его было окончательным. Никогда уже больше он не просил меня читать мои стихи.

Однако отношение его ко мне нисколько не изменилось. Все так же участливо повел он меня к себе в комнату, на второй этаж.

Комната, в которой он жил, большая и светлая, была совершенно пуста. Ни стола, ни кровати. В углу большой высокий деревянный сундук с откинутой крышкой, а у раскрытого настежь окна — один венский стул. Вот и все предметы в комнате. На подоконнике рыжей горкой лежал табак. Он предложил мне свертывать и курить.

Он расспрашивал меня о своих петроградских знакомых, и я рассказывал ему все, что знал.

Осип Эмильевич отнесся к «Ушкуйникам» с полным презрением, но мой долг в 381 миллион заинтересовал и взволновал его.

— Ну, это мы сейчас уладим, — сказал он мне. — Пойдемте.

И он повел меня по раскаленным московским улицам и привел в какое-то частное контрагентство печати, помещавшееся в одной комнатке в полуподвале. Там сидели четыре нэпмана средних лет, которые, как объяснил мне Мандельштам, открыли множество книжно-газетных ларьков по станциям железных дорог, но почти не имели товара для продажи. И они тут же

купили у меня мою накладную на «Ушкуйники» и сразу же заплатили мне за нее один миллиард рублей.

Крупных купюр тогда не существовало, и весь этот миллиард с трудом запихался в мой пустой заплечный мешок. И все мои горести рухнули разом. Я мог сегодня же ехать домой и расплатиться с типографией.

О журнале «Корабль» я больше не помышлял. Можно ли издавать журнал с компаньоном, который поступил со мной так подло! А чтобы издавать его одному, было мало моего миллиарда, да и после мытарств с «Ушкуйниками» затея эта мне изрядно опротивела. Я попрощался с Мандельштамом и пошел на вокзал, таща свой миллиард за плечами.

Счастливый, шел я пешком, чтобы посмотреть Москву. На всех перекрестках стояли лотки с надписью «Моссельпром», и с этих лотков женщины в белых халатах продавали папиросы, конфеты, шоколад. «Моссельпром» был государственной торговой организацией, созданной для вытеснения частников. Из всего, что было на этих лотках, меня больше всего прельщал шоколад. В предпоследний раз я ел шоколад в 1916 году, когда отец мой, вернувшись из Англии, привез нам, детям, по плитке. В последний раз я ел шоколад в 1919 году на банкете, устроенном в Доме искусств в честь приезда Уэллса. С тех пор прошло уже около трех лет, и все это время я хранил о шоколаде смутное воспоминание как о чем-то блаженно-вкусном. Теперь я мог себе позволить есть шоколад. На каждом перекрестке я останавливался, закидывал руку себе за спину, на ощупь вытаскивал из мешка несколько миллионов и покупал плитку шоколада с орехами. Я съедал ее до следующего перекрестка и там покупал себе новую. Шоколад размякал от солнца и тек по пальцам, но от этого казался мне не менее прекрасным. Так я дошел до вокзала. Ночью я спокойно спал в вагоне, положив голову на свой миллиард. На другой день я получил в типографии квитанцию в уплате долга. Авторам «Ушкуйников» я, к величайшему их удивлению, выдал гонорар. Остальные деньги отдал матери.

Потом я встречался с Мандельштамом на протяжении еще пятнадцати лет. Он то пропадал на многие месяцы и даже годы из моего поля зрения, то возникал опять. У него никогда не было не только никакого имущества, но и постоянной оседлости, — он вел бродячий образ жизни. Он приезжал с женой в какой-нибудь город, жил там несколько месяцев у своих поклонников, любителей поэзии, до тех пор пока не надоедал им, и ехал в какое-нибудь другое место. Так живал он в Тбилиси, в Эривани, в Ростове, в Перми. Конечно, немало жил он и в Москве. Не раз

приезжал он и в Ленинград. Я встречался с ним главным образом в Ленинграде.

О нем всегда ходило множество анекдотов, повествовавших, как он присваивал себе в разных домах разные мелкие и малоценные вещи и как он занимал деньги без отдачи. В Ростове он несколько месяцев гостил у одной своей поклонницы, которая, заметив, что он зябнет, одолжила ему свою шаль; уезжая в Москву, он захватил эту шаль с собою. Ростовская любительница поэзии страшно возмутилась, писала на него жалобы в Союз писателей, но шали назад не получила. Все эти и подобные анекдоты свидетельствовали вовсе не о стремлении Мандельштама к обладанию чем бы то ни было, а совсем об обратном: о полном равнодушии к любому имуществу. Он вспоминал о предмете только тогда, когда этот предмет становился ему необходимым. Ему понадобилось мыло, и он взял его там, где увидел.

Миша Слонимский рассказывал мне, как Мандельштам, зайдя на несколько минут к нему в комнату, забыл у него свой паек — хлеб и крупу. Миша берег этот паек несколько дней, уверенный, что Мандельштам спохватится и вернется. Но Мандельштам не приходил, и хлеб уже начал плесневеть. Тогда Миша понес паек к Мандельштаму. Мандельштам удивился от всей души.

— Я не зашел, потому что не сомневался, что вы сразу же все съели, — объяснил он.

Так же относился он и к деньгам. Он всегда был крайне беден и каждый день в обеденный час начинал думать о том, где бы достать несколько рублей, чтобы пообедать. И эти рубли он брал у любого встречного, где приходилось. Долгов же он не отдавал никогда, — просто потому, что если в руки ему попадали деньги, они были ему остро необходимы все для той же цели — сегодня пообедать.

Рассказывали про него и такой случай. Однажды ленинградский Дом ученых постановил выдавать на похороны каждого своего члена, в случае смерти, пособие в размере 150 рублей и вывесил об этом объявление. Мандельштам почему-то был членом Дома ученых, хотя никакими науками никогда не занимался. Прочитав объявление, он явился в канцелярию Дома ученых и попросил выдать ему сто рублей, предлагая дать расписку, что после его смерти его наследники будут просить на похороны только пятьдесят.

— Деньги гораздо нужнее живому, чем мертвому, — сказал он.

Помню, Бенедикт Лившиц с возмущением рассказывал мне, как Мандельштам присвоил причитавшийся ему гонорар. Он

попытался по этому поводу объясняться с Мандельштамом, но Мандельштам не только не признал себя виновным, но страшно обиделся, хотя действительно взял в издательстве деньги Лившица и вовсе не собирался их возвращать. Дело было так: Мандельштам и Лившиц, два старых друга, подрядились для московского издательства «Земля и Фабрика» отредактировать собрание сочинений Вальтера Скотта и заключили на этот труд совместный договор. Все это, конечно, был только предлог для получения денег, так как ни тот ни другой английского языка не знали и Скотта редактировать не могли. Они просто расклеивали старые переводы и кое-где наугад меняли некоторые фразы. В процессе этой работы между ними образовались сложные расчеты, подробностей которых издательство не знало. И Мандельштам, живший в то время в Москве и имевший возможность посещать издательство гораздо чаще, чем Лившиц, живший в Ленинграде, получил не только все деньги, причитавшиеся ему самому, но и часть денег, причитавшихся Лившицу. Характерно, что в результате всей этой истории не Лившиц обиделся на Мандельштама, а Мандельштам на Лившица. И обиделся совершенно искренне. Постоянно нуждаясь в деньгах, он в то же время от души презирал деньги и возмущался, когда люди придавали денежным расчетам какое-нибудь значение.

Вообще он был полон чувства собственного достоинства и самоуважения и очень обидчив. Обижаясь, он по-петушиному задирал маленькую свою голову с перышками редеющих волос, выставлял вперед острый кадык на тощей, плохо бритой шее и начинал говорить об оскорбленной чести совершенно в старофицерском духе. Чтобы яснее стало это его свойство, я расскажу о его столкновении с писателем Сергеем Бородиным в конце двадцатых годов.

Сергей Бородин, в те давние молодые свои годы подписывавшийся псевдонимом Саргиджан, жил, как и Мандельштам, в Доме Герцена на Тверском бульваре. Мандельштама он знал мало, и поэтому, когда Мандельштам попросил у него взаймы пятьдесят рублей, он полагал, что через несколько дней получит свои деньги назад. Однако дни шли за днями, а Мандельштам денег не возвращал. Это сердило Бородина, и он, несколько раз встречая Мандельштама, напоминал ему о долге. Наконец, потеряв терпение, он пошел к Мандельштаму объясняться.

Он явился к нему в комнату, но застал одну Надежду Яковлевну. Она объяснила, что мужа нет дома. Бородин, сначала спокойно, а потом все более и более раздражаясь, стал требовать

у нее свои пятьдесят рублей. Надежда Яковлевна сказала, что ничего об этих деньгах не знает и что ему следует говорить не с ней, а с Осипом Эмильевичем. Однако Бородин, все более сердясь и повышая голос, не уходил и требовал денег.

В эту минуту в комнату вошел Мандельштам.

Он сразу же запальчиво накинулся на Бородина и потребовал, чтобы тот перестал оскорблять его жену. А Бородин потребовал пятьдесят рублей. Мандельштам и слышать не хотел ни о каких деньгах, он говорил все громче, что Надежда Яковлевна оскорблена, и настаивал, чтобы Бородин немедленно удалился. Бородин уходить без денег не собирался. Страсти накалялись. Кончилось это дракой. Два умных человека — плотный коротенький Бородин и сухопарый Мандельштам — тузили друг друга, а Надежда Яковлевна кричала. Окно в садик Дома Герцена было открыто, прибежали люди и растащили дерущихся.

Это глупое происшествие имело длинное продолжение. В Доме Герцена был устроен товарищеский суд над Бородиным и Мандельштамом. На разбирательстве дела присутствовало человек триста. Председателем суда и главным судьей выбрали Алексея Николаевича Толстого.

Начали с выслушивания объяснений обвиняемых. Бородин заявил, что он знать ничего не знает, что он никого не оскорблял, что не он начал драку, и просил суд заставить Мандельштама вернуть ему пятьдесят рублей. Мандельштам в своих объяснениях ничего не говорил о пятидесяти рублях, считая их несущественной мелочью, не имеющей никакого отношения к делу. Запальчиво и обидчиво он кричал об оскорблении, нанесенном его жене. Он объявил, что, если суд строжайшим образом не покарает Бородина, он будет считать председателя суда таким же оскорбителем Надежды Яковлевны, как самого Бородина.

Алексей Толстой старался вести дело к примирению. Возможно, он и достиг бы этого, если бы не присущее ему чувство юмора. Он несколько раз мягко пошутил, показав тем самым, что считает все происшествие крайне незначительным. Мандельштам, торжественно относившийся к вопросам чести, счел это новым оскорблением. Он заявил, что за оскорбление, нанесенное ему председателем суда, он расплатится, как найдет нужным. И, высоко задрав голову, вместе с женой покинул заседание.

Месяца через два, в Ленинграде, он дал Алексею Толстому пощечину. Случилось это в Издательстве писателей, в бухгалтерии, в платежный день. Издательство писателей помещалось в Гостином дворе, и его бухгалтерия занимала небольшую комнату, густо заставленную конторскими столами. В

платежный день там было полно. Алексей Толстой, рослый, грузный, в пышной шубе и потому занимавший очень много места, расписывался, склонясь, в гонорарной ведомости. Мандельштам подошел к нему сзади и ударил его по правой щеке. В истории пощечин это была первая и единственная пощечина, нанесенная сзади.

На этом вся цепь нелепостей кончилась, потому что Толстой отнесся к происшедшему со спокойствием умного человека.

Когда в 1913 году Мандельштам написал: «Самолюбивый, скромный пешеход — чудак Евгений — бедности стыдится, бензин глотает и судьбу клянет!» — он изобразил самого себя. Это он и был всю жизнь самолюбивым пешеходом. Он вырос в императорском Петербурге среди военных парадов и карет с гербами, но отец его был мелкий торговец кожей, и ни к парадам, ни к гербам маленький Осип не имел никакого отношения. Он правдиво и точно написал об этом в стихотворении двадцатых годов «Лэди Годива»:

С миром державным я был лишь ребячески связан.
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья.
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.

С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевой
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

Литературную деятельность он начал вместе с акмеистами — поэтической школой, наиболее отчетливо выражавшей эстетические взгляды господствующих классов предреволюционной России. Но он всегда болезненно и самолюбиво ощущал свою несопряженность с окружавшим его миром. В отличие от многих своих друзей, он приветствовал Октябрьскую революцию. Революция казалась ему страшной, грозной, но великой и достойной прославления. И он прославил ее.

Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год.
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенет;
Восходишь ты в глухие годы —
О солнце, судия, народ.

Прославим власти роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.
……
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.

Мы в легионы боевые
Связали ласточек — и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети — сумерки густые
Не видно солнца и земля плывет.

Ну, что ж, попробуем; огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

Но он оказался так же мало сопряжен с миром революционным, как и с миром минувшим. Он был несопрягаем ни с каким бытом, ни с каким общественным укладом, ни с какой государственностью. Он понимал это и называл себя «разночинцем».

Мы разночинцы,
Мы все умрем, как пехотинцы,—

писал он в одном из своих поздних стихотворений. В этих словах была и горечь, и гордость. В одной из своих статей он писал, что ему, как разночинцу, чужды сочинения, основанные на семейных преданиях вроде аксаковского «Детства Багрова-внука», потому что у разночинца нет семейных преданий, нет никакого прошлого, кроме книг, которые он прочел.

Я — трамвайная вишенка страшной поры, —

написал он о себе вскоре после окончания Гражданской

войны.

Стихи свои ему удавалось печатать редко. В 1928 году он выпустил сборник «Стихотворения». Тираж этой книжки — 2000 экземпляров. В тридцатые годы он напечатал в журнале «Звезда» цикл изумительных стихотворений об Армении. Стихи его усердно переписывались и заучивались наизусть любителями поэзии, но в печати откликов не получали. Читатели его любили страстно, но это были читатели только из среды наиболее образованных слоев интеллигенции. Слишком большие требования к поэтической культуре читателя предъявлял его стих. Как многие русские поэты первой трети двадцатого столетия, он был лишен величайшего счастья — говорить сложным и мудрым языком подлинной поэзии и в то же время быть народным, быть любимым и понимаемым миллионами русских людей. Это счастье в указанную эпоху оказалось доступным только двум поэтам — Блоку и Маяковскому. Мандельштам был великий русский поэт для узенького интеллигентского круга. Он станет народным только в тот неизбежный час, когда весь народ станет интеллигенцией.

В последнее десятилетие своей жизни он внешне уже нисколько не походил на Пушкина. В 1928 году Горький вернулся в СССР; ленинградские писатели по инициативе Федина решили в его честь своими силами разыграть пьесу «На дне». Федин пригласил принять участие в этой затее и Мандельштама, жившего тогда в Ленинграде.

— А разве там есть роль сорокалетнего еврея? — спросил его Мандельштам.

Он был дурно одет — в одежду с чужого плеча — и потерял почти все зубы. Он вставил себе новые зубы — на золотых штифтах, — но вставленные зубы скоро выпали, а штифты остались и покривились.

— У него во рту — индустриальный пейзаж, — говорил мой друг Валя Стенич, страстный поклонник стихов Мандельштама.

Куря, Осип Эмильевич обычно не пользовался пепельницей; пепел с папиросы он стряхивал себе за спину через левое плечо. И на левом плече его всегда собиралась горка пепла. Портился его характер, росла обидчивость, он все чаще находился в нервном, тревожном состоянии духа. Помню, я навестил его как-то летом, когда он жил в Царском Селе. Он поразил меня своей нервностью, душевной угнетенностью. Он очень много говорил, то вскакивал, то садился; иногда он вдруг опускал голову на стол и когда поднимал ее, в глазах его стояли слезы.

В тридцать пятом или тридцать шестом году, осенью, в дождь, я как-то возвращался из Москвы в Ленинград. На

Ленинградском вокзале в Москве я увидел Мандельштама, сидевшего рядом с женой на потертом чемодане. Чемодан был маленький, и, затерянные в огромном зале, они сидели, тесно прижавшись друг к другу, как два воробья. Я подошел к ним, и в глазах Мандельштама блеснула надежда. Он спросил, каким поездом я еду. Я ехал «Стрелой».

— А мы на час позже, — сказал он. — Мы пошли бы посидеть в ресторан, но…

Я понял его и дал ему пятьдесят рублей.

В наступившие вскоре страшные времена он написал стихотворение, полное удивительного человеческого достоинства:

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай же меня, словно шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей,

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первозданной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
Где сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

Но выслали его поначалу не в Сибирь, а только в Воронеж. Выслали его без всякой вины, а просто так, потому что он был

Как беззаконная комета
Среди расчисленных светил.

Он, постоянно кочевавший из города в город, мог бы жить и в Воронеже, но беда заключалась в том, что там у него не было никаких средств к существованию. Пользуясь слабостью надзора, гонимый голодом и тоской, он несколько раз сбегал оттуда в Москву и однажды добрался даже до Ленинграда. Тут я видел его в последний раз в жизни.

Днем мне позвонил мой друг Стенич и попросил вечером прийти к нему. Жил он тогда на Канале Грибоедова, 9, в маленькой двухкомнатной квартирке. Там я застал кроме Стенича и его жены Мандельштама с Надеждой Яковлевной и Анну

Андреевну Ахматову. Мандельштам был в мохнатом темно-сером пиджаке, который ему за час перед тем подарил Юрий Павлович Герман. Пиджак этот был очень велик и широк Мандельштаму, из длинных рукавов торчали только кончики пальцев. Поначалу Мандельштам был молчалив и угрюм, да и все молчали. Стенич сделал попытку почитать стихи из только что тогда вышедшей «Второй книги стихов» Заболоцкого; он читал, восхищаясь, но Ахматова слушала сдержанно, а Мандельштам, со свойственной ему прямотой, сказал, что ему не нравятся ни прежние стихи Заболоцкого, ни новые. Он стал просить Анну Андреевну почитать что-нибудь. Она неохотно и без подъема прочла «Мне от бабушки-татарки были редкостью подарки» — стихотворение, которое мы все хорошо знали. Хозяева повели нас в соседнюю комнату к столу. Стол был не роскошен, но на нем стояло несколько бутылок красного вина.

Выпив вина, Мандельштам оживился. Мы попросили его читать стихи, и он читал много, увлеченно, всю долгую угрюмую ленинградскую ночь напролет, все больше и больше одушевляясь. Он почти пел их, наслаждаясь каждым звуком, и мохнатые рукава его, как мягкие ласты, плыли в воздухе над столом.

На другой день он уехал. Через неделю Стенич был арестован. Потом был арестован и Мандельштам. Оба они погибли.

А я навсегда запомнил одно из его стихотворений, которое он читал нам в ту ночь у Стенича:

Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант.
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.

И всласть с утра до вечера
Заученную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть.

Что, Александр Герцович,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич,
Чего там! Все равно.

Пускай там итальяночка.
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках

За Шубертом летит.

Нам с музыкой, голубою,
Не страшно умереть.
А там вороньей шубою
На вешалке висеть.

Все, Александр Герцович,
Заверчено давно,
Брось, Александр Скерцович,
Чего там… Все равно.

Богоборец

Никогда за всю историю нашей страны не было в ней столько чудаков, как в первые годы революции.

В эту эпоху великого перелома для множества людей рухнули привычные, издавна установленные нормы морали, мышления, быта, все прежние верования превратились в суеверия. А новое складывалось медленно, и для слишком многих смысл его был еще неясен и чужд. Так после взрыва долго еще стоит в воздухе пыль, медленно оседая, и отдельные пылинки, никак между собою не связанные и ни к чему не прикрепленные, выделывают самые причудливые пируэты. Не знаю, правильно ли мое объяснение, но, как бы то ни было, отрочество мое и юность прошли в окружении множества всяческих чудаков.

К разного рода чудачеству относились тогда вполне благосклонно. Терпели даже злых чудаков, — которых, впрочем, было гораздо меньше, чем добрых. Художественная интеллигенция тех времен склонна была рассматривать чудачество как особо ценную эстетическую категорию. Чудачеством в той или иной степени отмечены работы многих деятелей искусств того времени. Разве не сплошным чудачеством было, например, все, что делал и писал Велимир Хлебников, Председатель Земного Шара? Разве весь русский футуризм, возникший перед Первой мировой войной и доживший до середины двадцатых годов, не воспринимался прежде всего как чудачество? Разве мало чудачества было в постановках Мейерхольда? А имажинисты, ничевоки? А художники тех лет — чудачество на чудачестве! Виктор Шкловский в 1920 году провозгласил теорию «остранения», суть которой заключалась в том, что всякое произведение искусства, для того чтобы оно воспринималось художественно, должно быть странным. Все не странное казалось банальным, мещанским, обывательским. Только чудаческое, эксцентрическое признавалось новым и революционным. Советское киноискусство, едва родившись, тоже начало с того, что провозгласило эксцентризм основным своим принципом. Двое юных талантливейших кинорежиссеров, Козинцев и Трауберг, столько сделавших впоследствии для развития советского кино, основали группу ФЭКС — «Фабрику эксцентризма» — и выпускали фильмы, полные самых причудливых нелепостей.

Все эти воззрения были чужды народным массам, делавшим революцию и создававшим советский общественный строй. Но значительная часть интеллигенции была охвачена ими, причем в

большей мере именно та часть, которая сочувствовала Октябрьской революции и стремилась служить ей. Сейчас это уже давно умерло, и у новых поколений не вызывает ничего, кроме удивления. Сейчас все это кажется нагромождением бессмыслиц, а между тем в этих бессмыслицах был смысл. В чудачествах, странностях, нелепостях выражалась потребность интеллигенции рассчитаться со своим прошлым — эстетским или либерально-буржуазным. Это был метод расчистки для постройки нового, метод наивный и неправильный логически, но органичный и для многих необходимый. К 1930 году все стало на место, пыль, поднятая взрывом, улеглась, и волна чудачества схлынула. В русской поэзии последним всплеском этой волны была первая книжка стихов Заболоцкого «Столбцы», вышедшая в 1929 году.

Но, когда я вспоминаю чудаков тех времен, мне прежде всего приходят в голову вовсе не деятели искусства. Явление это было куда шире. Мне прежде всего вспоминается Моисей Карцов, он же дядя Миша, он же Милицейский Глаз, неистовый безбожник, редактор-издатель газеты «Вавилонская башня».

На публичных диспутах о существовании Бога между Луначарским и протоиереем Александром Введенским самым пламенным оратором на стороне атеистов неизменно выступал дядя Миша, небольшого роста человек, средних лет, с испитым подвижным лицом, убого одетый. Говорил он на превосходном народном русском языке, и только по торопливости и неудержимой страстности речи можно было догадаться, что он еврей. Он поражал слушателей силой своей ненависти к религиям, попам и раввинам. Аргументация у него была самодельная, с антирелигиозной литературой он был мало знаком, и научные доводы, приводимые Луначарским, почти его не занимали, так как в школьном смысле он был человеком глубоко невежественным. Доводы у него были другие — морального и бытового свойства. Он обличал попов и монахов, как обличали их в эпоху Возрождения, — за чревоугодие, сребролюбие и любострастие. Лицемерие деятелей церкви — вот что разоблачал он непрестанно с пылкостью лично оскорбленного человека. Он поражал церковников замечательным знанием церковного ритуала, Священного Писания и монастырских нравов. Он знал наизусть и Талмуд, и Евангелие. Для него атеизм, который он исповедовал, был прежде всего религией, и он не говорил, а проповедовал, как библейский пророк. Речи его особенно доходили как раз до тех слушателей, на которых научная аргументация Луначарского воздействовала слабо. У Карцова было много приверженцев, которых он гордо именовал «мои поклонники». Когда Луначарский перестал участвовать в

подобных диспутах, Карцов стал организовывать их сам. Протоиерей Введенский, стремившийся к популярности, будущий основатель Живой церкви, тоже, по-видимому, был в них заинтересован, и по Петрограду расклеивались афиши, в которых сообщалось, что «дядя Миша» будет спорить с отцом Александром о том, есть ли Бог. Каждый приходил с толпой своих сторонников, и начиналась неистовая словесная битва, потрясавшая сердца.

Моисей Карцов родился в Житомире, учился в хедере и до военной службы почти не знал русского языка. Детство его прошло при синагоге, во мраке угрюмого средневекового иудаизма. Попав в солдаты, он впервые столкнулся с русскими людьми. Служил он в самом начале века, еще до Русско-японской войны. Там, в казарме, он не только научился русскому языку, русской грамоте, но и по собственному побуждению принял православие. Это был глубочайший духовный переворот, охвативший его с такой силой, что, отслужив положенное число лет и выйдя в запас, он тотчас же постригся в монахи. Лет десять, монахом, жил он по разным монастырям и лаврам, веря, что отыскал истину. Потом его начали мучить сомнения. Перед революцией он окончательно пришел к убеждению, что церковь существует для обмана и грабежа и что Бога — нет. Революцию — и Февральскую, и Октябрьскую — он встретил восторженно и весь отдался антирелигиозной пропаганде.

Служил он писарем в Управлении петроградской милиции. Он не имел ни малейшего служебного честолюбия и к потребностям плоти своей в одежде и пище относился с суровым монашеским пренебрежением. Управление петроградской милиции в годы Гражданской войны издавало удивительный ведомственный журнальчик, который я теперь очень хотел бы посмотреть. Журнальчик этот назывался «Горохр», что значит Городская охрана, и сотрудничали в нем Блок, мой отец, Алексей Ремизов, Анна Ахматова. Гонорар выплачивался милицейским хлебным пайком. Карцов был рабкором этого журнала. Рабкорствовал он и в «Красной газете», подписывая свои заметки псевдонимом Милицейский Глаз. Заметки эти, полные торжественного библейского негодования, посвящены были все тому же: жульничествам попов и проделкам кладбищенских сторожей. Через редакцию журнала «Горохр» он познакомился с некоторыми литераторами и стал изредка посещать Дом искусств, Студию. Там, разумеется, все было для него чуждо, и он остался для всех чужд и неинтересен. Там и своих чудаков хватало. Один только я почему-то сошелся с ним, и мы не раз бродили вдвоем по петроградским улицам.

Мы не беседовали, говорил он один, — он был способен

только к монологам. Он рассказал мне всю свою жизнь, почти не касаясь ее внешней стороны, а только внутреннюю — историю своих духовных переворотов. Он был когда-то правоверным евреем, потом православным, теперь — революционером и атеистом. Но в революции его интересовало только безбожие, и атеизм его носил, в сущности, религиозный характер. Он считал, что дьявол, искушая Христа, был прав. Об этом он мог говорить часами, и речи его напоминали одновременно и Экклезиаста, и «Братьев Карамазовых», которых он никогда не читал.

Не то в двадцатом, не то в двадцать первом году он начал издавать газету «Вавилонская башня». Это название было полно смысла, — согласно Библии, люди строили Вавилонскую башню для того, чтобы влезть на небо и ниспровергнуть Бога. Газета была большая, на четырех полосах, и всю ее от начала до конца Карцов писал один. У него не было никаких сотрудников, никакие общественные или государственные организации ему не помогали. Набирали и печатали его газету — в нескольких сотнях экземпляров — его «поклонники» — наборщики какой-нибудь национализированной типографии, разделявшие взгляды Карцова. Впрочем, побуждения у них были не только идейные — Карцов отдавал им всю выручку от номеров «Вавилонской башни».

Распространял он свою газету тоже сам — без помощи почты, газетчиков, контрагентств печати. Помню, как в ноябрьский денек двадцать первого года стоял он под мокрым снегом на углу Невского и Литейного. На голове у него была большая фуражка, широкий околышек которой был заклеен крупно набранным газетным заголовком: «Вавилонская башня». У него была кипа «Вавилонских башен» под мышкой, и он предлагал их каждому прохожему.

Газета просуществовала примерно год, и за это время ему удалось выпустить номеров пятнадцать. Номера эти читались охотно, потому что статьи и заметки в них написаны были страстно, одной рукой, били в одну точку и посвящены были темам, волновавшим тогда очень многих: вскрытию мощей, разоблачению чудес, творимых чудотворными иконами, сектантским радениям и поповским плутням. И погибла «Вавилонская башня» благодаря тому, что Карцов вздумал однажды этим темам изменить.

Я уже говорил, что Карцов посещал Дом искусств и встречался там с литераторами. Между ним и тогдашними литераторами-интеллигентами не было ничего общего — вся его проповедь была предназначена не для них, и произведений их он не читал. Но его тянуло к ним, потому что в нем, человеке

малокультурном и никогда не знавшем культурной среды, жило уважение к культуре. Но сколько-нибудь близко ему удалось сойтись только с одним литератором — с Акимом Волынским.

Так же как и Карцов, Аким Львович Волынский был родом из Житомира. Этим ограничивалось все, что их объединяло. Между их интересами не было ни малейшего сходства. Волынский писал о Леонардо да Винчи, потом о Толстом и Достоевском. Прославлял художников из группы «Мир искусства». После революции все его внимание было сосредоточено на русском классическом балете. Карцов не имел ни малейшего представления ни о Леонардо да Винчи, ни о Толстом, ни о Достоевском, ни о «Мире искусства», ни о балете. Он проникся к Волынскому горячей симпатией только потому, что тот был его земляк. И эта симпатия погубила его газету.

В годы Гражданской войны Волынскому почти не удавалось печататься. А он был весьма плодовит. И ему удалось убедить Карцова заполнить один из номеров «Вавилонской башни» его статьями о балете.

У меня был этот удивительный номер. Волынский писал витиевато и пышно, и в этом пышнословии, говоря по правде, и заключалась вся суть его статей. Тут были и «дионисизм», и «вакханалии», и «менады», и «эрос», и «лотос», и «флейта Марсия», и «бездна вверху и бездна внизу» — весь тот набор слов, которым пользовались авторы статей в журнале «Золотое руно». Карцов не нашел покупателей для этого номера и не мог расплатиться с типографией. И «Вавилонская башня» перестала выходить.

Разумеется, она очень скоро перестала бы существовать и без статей Волынского. Просто потому, что менялось время. Кончилась Гражданская война, начался нэп. Новые формы принимала жизнь, все менялось — постепенно, но довольно быстро. Партизанщина становилась невозможной ни в области антирелигиозной пропаганды, ни в области печати. И Моисей Карцов, наивный самодеятельный мудрец, до всего доходящий своим умом и все делающий по-своему, был уже неприменим в новых условиях, потерялся и исчез.

В последний раз я видел его в самом начале 1922 года. Я уже рассказывал, что в это время я был обуреваем мечтами об издательской деятельности. Я искал связей с типографиями и вспомнил о наборщиках, набиравших «Вавилонскую башню». Познакомить меня с ними мог только Карцов. И я отправился искать Карцова.

Не помню, как я узнал его адрес. Он жил в одном из переулков между Знаменской и Литейным. Я вошел под арку и

встретил его во дворе. Угрюмый, постаревший, он нес под мышкой перевязанный бечевкой сверток рогож. Хмуро глядя на меня снизу вверх, он объяснил, что уже не служит в милиции, а торгует рогожами на Мальцевском рынке. По-видимому, мое посещение не доставило ему удовольствия. Однако, узнав, что я пришел по делу, он повел меня к себе.

Жил он с семьей в бывшей дворницкой. Вход в комнатенку был прямо со двора. Нищета, которую я там обнаружил, поражала даже в те годы всеобщей поголовной нищеты. Два сломанных стула, деревянная лавка, стол, ничем не покрытый, и куча тряпья в углу, служившая ложем для всей семьи. Жена Карцова стирала, склонясь над деревянным корытом и плеща мыльную воду по некрашеным разъехавшимся половицам. Это была тощая женщина с изможденным русским крестьянским лицом, по-видимому, еще молодая, но уже пожелтевшая и увядшая. Приход мой не обрадовал ее нисколько, — когда я поздоровался, она на мгновение подняла лицо от корыта и раздраженно взглянула на меня и на мужа.

— Моя поклонница, — представил ее мне Карцов. — В церкви не венчаны.

Возле стола стояли две девочки лет пяти-семи, стриженные под машинку, убого одетые, в дырявых чулках. На столе лежала форма черного хлеба, девочки отрывали от нее куски и торопливо жевали. Их голубенькие глаза смотрели на меня и на отца с испугом.

Я изложил свое дело и сразу понял, что пришел напрасно. Никаких связей с типографиями у Карцова уже не было. Жизнь его была загнана в узенькую колею нищенских забот о пропитании. Торговля рогожами была, видимо, скорее мечтой, чем делом, потому что он объяснил мне, что тот черный хлеб, который лежит на столе, не куплен за деньги, а подарен ему частником-хлебопеком.

— Он мой поклонник, — сказал мне Карцов горделиво. — Каждый день дает мне бесплатно одну буханку.

Я ушел и больше никогда его не видел.

Константин Вагинов

Константин Константинович Вагинов был один из самых умных, добрых и благородных людей, которых я встречал в своей жизни. И возможно, один из самых даровитых. То, что он писал, было в свое время известно только очень узкому кругу, а сейчас неизвестно никому. Виною этому был он сам, — он не старался быть понятым. Его не понимали даже в том небольшом петербургском литературном кружке, к которому он принадлежал. Там его считали заумником, чем-то вроде Хлебникова, хотя он в действительности был глубоко чужд всякой зауми и все, что он писал, было полно смысла и разума. Он просто чувствовал себя отъединенным от всего и всех и излагал свои мысли так, что они обычно оставались понятными лишь для него одного. Не только его стихи, но и его романы представляют собой как бы криптограммы, как бы зашифрованные документы, причем ключ от шифра он не дал никому. Все это производит впечатление чудачества, хотя он вовсе не был чудаком, или, вернее, был чудаком поневоле. Ощущение отъединенности, о котором я говорил выше, коренилось в его большом, очень своеобразном уме, во врожденной замкнутости его духовной жизни, в особенностях его образования и, главное, в его судьбе.

А судьба его была сложная хотя бы уже потому, что был он сыном жандармского полковника и крупнейшего домовладельца.

В девяностые годы прошлого века его отец, тогда жандармский ротмистр Вагенгейм, служил в Сибири, в Енисейске, и там начальствовал над ссыльными. Он был лихой танцор, и ему удалось просватать первую невесту Сибири — дочь богатейшего золотопромышленника, городского головы Енисейска. Женившись и получив громадное приданое, Вагенгейм перевелся по службе в Петербург и купил большой доходный дом позади Мариинского театра. В этом доме, в бельэтаже, в последнем году девятнадцатого столетия родился Константин Вагинов.

Вскоре сибирский дед его умер, и семья Вагенгеймов унаследовала несметные богатства. Жандармский ротмистр стал жандармским полковником и процветал вплоть до семнадцатого года. В четырнадцатом году, когда началась война с немцами, он, подобно многим другим жандармам и чиновникам немецкого происхождения, подал «на высочайшее имя» прошение об изменении фамилии на русскую. Отсюда и родилась эта нелепая фамилия — Вагинов.

В автобиографическом романе «Козлиная песнь» Константин Вагинов так описывает кабинет своего отца: «В шкафах

помещались великолепные книги: приложения к „Ниве“, страшнейшие романы Крыжановской, возбуждающий бессонницу граф Дракула, бесчисленный Немирович-Данченко, иностранная беллетристика на русском языке. Были и научные книги: „Как устранить половое бессилие“, „Что нужно знать ребенку“, „Трехсотлетие дома Романовых“. В девять часов вечера отец облекался в форму, душился и уезжал в клуб. В соседней комнате, в гостиной, мать играла „Молитву девы“».

Маленький Костя, мальчик хилый, не умеющий ни бегать, ни играть, жил на попечении денщика, накрашенной горничной Маши и гувернера. Он не бегал, не играл, все происходившее в семье было ему чуждо, и жил он исключительно умственными интересами. С десяти лет пристрастился он к нумизматике — коллекционированию старинных монет. Нумизматика привела его к археологии, к изучению древней и средневековой истории. История привела его к поэзии.

Вот как в той же «Козлиной песне» он описывает свои детские походы за монетами: «После завтрака будущий неизвестный поэт пошел с гувернером в банкирскую контору Копылова. Копылов издавал журнал „Старая монета“. У него в конторе стояли небольшие дубовые шкафики с выдвижными полочками, обитыми синим бархатом, на бархате лежали стратеры Александра Македонского, тетрадрахмы Птолемеев, золотые, серебряные динарии римских императоров, монеты Босфора Киммерийского, монеты с изображениями: Клеопатры, Зенобии, Иисуса, мифологических зверей, героев, храмов, треножников, трирем, пальм; монеты всевозможных оттенков, всевозможных размеров, государств — некогда сиявших, народов — некогда потрясавших мир или завоеваниями, или искусствами, или героическими личностями, или коммерческими талантами, а теперь не существующих. Гувернер сидел на кожаном диване и читал газету, мальчик рассматривал монеты. На улице темнело. Над прилавком горела лампочка под зеленым колпаком. Здесь будущий неизвестный поэт приучался к непостоянству всего существующего, к идее смерти. Вот взнесенная шеей голова Гелиоса с полуоткрытым, как бы поющим ртом. Вот храм Дианы Эфесской и голова Весты, вот несущаяся сиракузская колесница, а вот монеты варваров, жалкие подражания, на которых мифологические фигуры становятся орнаментами, вот и средневековье, прямолинейное, фантастическое, где вдруг, от какой-нибудь детали, и пахнет, сквозь иную жизнь, солнцем».

Гувернер научил маленького Вагинова французскому языку. Но тому для его занятий французского языка было мало. Двенадцати лет он увлекся эпохой Возрождения и, для того чтобы

читать в подлиннике Данте, Петрарку, Ариосто, он изучил итальянский язык.

Для семьи жандармского полковника катастрофой была не только Октябрьская революция, но даже Февральская. Перепуганный отец, ежеминутно ожидая расправы, провел лето семнадцатого года где-то в бегах. Он вернулся домой только перед самым Октябрем. Но если Февраль был для него катастрофой, так сказать, служебной, то Октябрь был для него еще и имущественной катастрофой, то есть предельной, безвыходной. Дом был национализирован, и все наследство, полученное от енисейского золотопромышленника, конфисковано до последней копейки.

Что их спасло — не знаю. Вероятно, прежде всего — случайность. И небывалый испуг.

Это были люди, задавленные страхом. Они даже не помышляли протестовать или сопротивляться. За годы Гражданской войны и позже родители Вагинова не сделали ни одной попытки уехать к белым или в эмиграцию. У них было только одно стремление — забиться как можно глубже в щель, чтобы их не заметили. Они избегали не только знакомых, но и всех людей, чтобы их не могли обвинить в каких-нибудь предосудительных сношениях и разговорах. Они не пытались устроиться на работу, боясь, что их спросят, кто они такие, и потому не получали никаких карточек. В своем бывшем громадном доме, в своей бывшей громадной квартире они занимали маленький дальний угол и почти не покидали его. Иногда мать, взяв какую-нибудь уцелевшую вещь, бежала глухими переулками на рынок — продавать. Тогда она приносила домой немного хлеба. Если на улице валялась дохлая лошадь — что случалось тогда нередко, — она, вооружившись большим ножом, подкрадывалась к ней ночью и вырезала кусок мяса. Голод терзал их, но еще больше терзал их никогда не прекращавшийся страх.

Между ними и их сыном не было ничего общего. Он жил с ними, он разделял с ними все их невзгоды, разделял даже их страх, но к тому, что происходило вокруг, — к Революции — он относился совсем иначе, чем они.

Революцию он воспринимал как исполинскую катастрофу, трагическую и прекрасную в своей величавости. Как катастрофу, подобную гибели язычества и античной философии в первые века христианства. Как катастрофу, подобную гибели загнивающей Римской империи под натиском юных варварских племен, наивных, невежественных, но несущих в одряхлевший мир свою животворную кровь. Как катастрофу, несущую освобождение. И не только народу, который он представлял скопищем полудиких

людей, никогда не читавших Данте и не умевших отличить рококо от барокко, но и ему самому. Разве революция не освободила его от гувернера, от гимназии, от «Молитвы девы», от ханжеской морали, от всей тупости и пошлости чиновничье-полицейской среды?

Он сразу воспользовался своим освобождением. Целые дни и целые ночи проводил он на улицах. В угрюмый угол к своим запуганным и одичавшим старикам он возвращался только когда доходил до полного изнеможения. Он бродил один по улицам пустеющего голодного города, влюбляясь в его небывалую архитектуру. Когда город пустеет, архитектура его выступает особенно отчетливо. Архитектура Петербурга своею грандиозностью и цельностью несравнима с архитектурой никакого другого города в мире. Она подчиняет своим величавым законам не только здания, но и все небо над ними, и всю воду меж ними — все, видимое взору. Великолепнейшая трагическая сцена для великолепнейшей грозной трагедии, которая развивалась у Вагинова на глазах. Как гонимый вихрем, кружил он опять и опять по проспектам и площадям, и скопища домов казались ему флотом, качаемым бурной волною. Он был свободен, но не только свободен. Он был глубочайше одинок. С побежденными он порвал все связи, победители были ему неизвестны и чужды. Во время своих ночных блужданий он познакомился с девушкой Лидой, блуждавшей по городу подобно ему, и они стали блуждать вместе. Лида была профессиональной проституткой семнадцати лет. В ней было что-то странное, какая-то неестественная возбужденность, удивлявшая и поражавшая его. Мало-помалу он узнал, что она кокаинистка.

Это взволновало его, потому что он читал книгу Де-Квинси о курильщике опиума, который своими видениями украшал и преображал мир. Она угостила его белым порошком, и он стал нюхать, потому что любил ее и ему казалось, что это сближает его с нею. Но белого порошка постоянно не хватало, его нужно было каждый день доставать. В то время на Невском, между Лиговкой и Николаевской, в подвале, была большая общественная уборная. В этой уборной по ночам собирались продавцы марафета. Каждую ночь приходил туда Вагинов с Лидой и покупал новую порцию белого порошка. За порошок нужно было платить, и он расплачивался золотыми монетами из своей нумизматической коллекции — стратерами Александра Македонского и тетрадрахмами Птолемеев. Он стал кокаинистом, не мог уже без кокаина обходиться и оправдывал свое падение теорией, что опьянение не наслаждение, а метод познания. Вот как он описывает в «Козлиной песне» одну свою ночную встречу с Лидой

на Невском:

«Шел дождь, мелкий, косой. На ступеньках подъезда, разложив атласные карты, сидела Лида, прислонившись к дверям. Она дремала, полураскрыв рот. Неизвестный поэт сел рядом, посмотрел на ее девичье лицо, на тающий снег вокруг, на часы над головой, достал белое искрящееся из кармана, отвернулся к стене, особое звучание, похожее на протяжное „о“, переходящее в „а“, казалось ему, понеслось по улицам. Он видел — дома сузились и огромными тенями пронзили облака. Он опустил глаза — огромные красные цифры фонаря мигают на панели. Два — как змея, семь — как пальма.

Разложенные карты притягивают его глаза. Фигуры оживают и вступают с ним в неуловимое соотношение. Он быстро будит Лиду и начинает играть с ней в дурачка; пятерки карт дрожат в их руках, пока в глазах не темнеет. Ветер мешает, они отворачиваются к стене; дождь переходит в порхающий мягкий тающий снег.

Карты ему кажутся ужасом и пустотой. Скоро начнет просыпаться город.

— В чайную, в чайную скорей! — говорит Лида. — Я совсем застыла за эту проклятую ночь! Неужели ты не мог прийти раньше и увести меня в гостиницу! Я бы проспала, как убитая! Я ведь третью ночь на улице! Нет ли у тебя денег, может быть, мы найдем пустую комнату.

— Что ты, Лида! В пять часов все гостиницы переполнены, нас никуда не впустят!

— Тогда идем скорей, скорей в чайную! Меня мучит тоска. Боже мой, скорей, скорей идем в чайную!

Он посмотрел на ее совершенно белое лицо, на расширенные зрачки; сколько лет сидит он здесь, что означает фонарь, что знаменует собой снег?

Цветы любви, цветы дурмана… —

неожиданно запела Лида, отступив от подъезда. Проходил какой-то забулдыга; он посмотрел на них иронически. Неизвестный поэт и Лида, сквозь завесу колючего снега, пошли. Карты лежали забытые на подъезде.

Ночная чайная гремела. Проститутки в платках, в ситцевых платьях смотрели нагло и вызывающе. На бледных лицах непойманных воров мигали глаза и бегали по углам, на круглых столах стоял чай невыносимого, как заря, цвета».

В ту зиму, зиму 1917/18 года, в Петрограде еще были чайные. К весне они закрылись.

Вагинов погиб бы от кокаина, но его спасла мобилизация в Красную Армию. Красноармейцем он сражался против белополяков, потом в Сибири с Колчаком. Далеко за Уральским хребтом он заболел сыпным тифом и попал в госпиталь. После госпиталя его демобилизовали, и он вернулся к родителям в Петроград — в самую голодную пору. Все это он описал в стихотворении «Юноша»:

Помню последнюю ночь в доме покойного детства:
Книги разбросаны, лампа лежит на полу.
В улицы я убежал, и медного солнца ресницы
Гулко упали в колкие плечи мои.
Нары. Снега. Я в толпе сермяжного войска.
В Польшу налет — и перелет на Восток.
О, как сияет китайское мертвое солнце!
Помню, о нем я мечтал в тихие ночи тоски.
Снова на родине я. Ем чечевичную кашу.
Моря Балтийского шум. Тихая поступь ветров.
Но не откроет мне дверь насурмленная Маша.
Стаи белых людей лошадь грызут при луне.

Я увидел его впервые осенью 1920 года в Студии Дома искусств на семинаре Гумилева. Небольшого роста, худой, сутулый, одет он был в красноармейскую шинель. На ногах — обмотки. Черные до блеска волосы расчесаны на косой пробор. Умное, узкое, костистое лицо с крупным носом. Несмотря на молодость (ему тогда было двадцать лет), у него не хватало многих зубов, и это очень безобразило его рот. На подбородке глубокая ямка, расположенная асимметрично и кривившая все его лицо. Гумилев и все мы, старые участники семинара, сидели, а он стоял и глуховатым твердым голосом читал свои стихи. Из-за отсутствия зубов он слегка шепелявил.

Помню, стихи мне понравились, хотя я не понял тогда в них ни слова. Они мне понравились своим звуком, в них было то, что Мандельштам называл «стихов виноградное мясо». Гумилев слушал внимательно, серьезно и, выслушав, многозначительно похвалил; однако я не сомневаюсь, что и он не понял ни слова. Остальные тоже не поняли и тоже одобрили. Была в этих стихах какая-то торжественная и трагическая нота, которая заставляла относиться к ним с уважением при всей их непонятности.

С этого дня Костя Вагинов стал посещать Студию, семинар Гумилева и сделался нашим всеобщим приятелем. Его все полюбили, да и нельзя было его не полюбить: такой он был мягкий, деликатный, вежливый, скромный и внимательный к

каждому человеку. Со всей литературной молодежью он перешел на «ты». К творчеству товарищей относился он дружелюбно и доброжелательно; он всегда беспокоился, что кто-нибудь обижен, и старался поддержать и обласкать обиженного. «Количка», «Фридочка», «Алечка» называл он своих приятелей и приятельниц, и в этом не было ни малейшей фальши. Я был близок с ним четырнадцать лет, до его смерти, и знаю, что он нежно любил своих друзей. При этом он был человек насмешливый, хорошо видевший слабости и недостатки ближних; впрочем, это его свойство проявилось позднее.

К нему тоже все относились прекрасно, и в Доме искусств он скоро стал заметным явлением. Гумилев принял его в «Цех поэтов». Приняли его и в Союз поэтов. Когда из семинара Гумилева организовалась «Звучащая раковина», он стал членом и «Звучащей раковины». Осенью 1921 года Сергей Колбасьев, привезенный Гумилевым из Севастополя, организовал вместе с Николаем Тихоновым группу «Островитяне». Третьим членом группы был Вагинов. Они втроем выпустили сборничек стихов «Островитяне». Я в своих «Ушкуйниках» тоже напечатал Вагинова. Печатался он и в сборниках «Цеха поэтов», и в изданиях «Звучащей раковины». Вообще он давал стихи всем, кто желал их печатать, читал их с любой эстрады и в любом доме, куда его звали. Со всеми он был ровно мягок, удивительно вежлив, уважителен, доброжелателен, но не сливался ни с кем. Всюду он стоял особняком. Он никогда не защищал никаких групповых взглядов, никому не подражал, ни под чьим влиянием не находился и писал стихи так, как будто рядом с ним не было ни Гумилева, ни Блока, ни Ахматовой, ни Маяковского, ни Мандельштама, ни Хлебникова, ни Ходасевича, ни Кузмина, ни Тихонова. Его стихов не понимали, но это нисколько его не беспокоило, — он просто не удостаивал делать их понятными.

Гумилев, любивший во всем регламентацию и относивший любого, даже самого ничтожного и безличного стихотворца к какой-нибудь школе, объявил Вагинова символистом. И Вагинов с этим соглашался, хотя с русским или, скажем, французским символизмом стихи его не имели ничего общего. Он был символистом оттого, что стихи его с помощью условных символов опирались на грандиозный всемирно-исторический миф, им самим созданный. Он писал стихи, как бы исходя из предположения, что миф этот известен всем. А между тем он никому не был известен, и мне лишь со временем не без труда удалось его разгадать.

Вагинов считал, что победа революции над старым миром подобна победе христианства над язычеством, варваров над

Римской империей. Победу эту он считал благодетельной и справедливой, но, вместе с тем, и глубоко трагичной. Трагедию он видел в том, что вместе с рабовладельческим строем Римской империи погибла и античная культура.

Впрочем, в целом его миф был оптимистическим. Он полагал, что культура подобна мифологической птице Феникс, которая много раз сгорает на огне и потом возрождается из пепла, и, следовательно, бессмертна. Пример этого — возрождение культуры в конце Средних веков, в эпоху Ренессанса. Поэтому существует задача: тайно донести подлинную культуру до нового возрождения Феникса. Люди, на долю которых пало выполнение этой задачи, обречены на полное непонимание, на оторванность от всего окружающего и живут почти призрачной жизнью. Он писал:

Мы, эллинисты, здесь толпой
В листве шумящей, вдоль реки,
Порхаем, словно мотыльки.
На тонких ножках голова,
На тонких щечках синева,
Блестящ и звонок дам наряд,
Фонтаны бьют, огни горят,
За парой парою скользим,
И впереди наш танцевод
Танцует задом наперед.

Птица Феникс влекла его неудержимо. Он постоянно слышал ее зов:

От берегов на берег
Меня зовет она,
Как будто ветер блещет,
Как будто бьет волна.
И с птичьими ногами
И с голосом благим.
Одета синим светом,
Садится предо мной.

Тем местом, где культура должна была возродиться, по его убеждению, был Петербург. Он говорил:

В стране гипербореев
Есть остров Петербург,

Где музы бьют ногами,
Хотя давно мертвы.

Он утверждал, что при смене религий боги прежней религии становятся чертями новой. Так как революцию миф его рассматривал как смену религий, то он полагал, что все деятели и защитники старой культуры будут теперь в глазах новых людей чертями. «Ты в черных нас не обращай!» — молил он в одном стихотворении.

Кроме Феникса был в его мифологии еще и Филострат. Это был весьма неясный образ прекрасного античного юноши с миндалевидными глазами, кочевавший из стихотворения в стихотворение, а из стихотворений попавший и в первый роман Вагинова. В вагиновском мифе Филострат — любовник Психеи, т. е. души. Это особенно отчетливо выражено в стихотворении, которое так и называется — «Психея»:

Спит брачный пир в просторном мертвом граде,
И узкое лицо целует Филострат.
За ней весна свои цветы колышет,
За ним заря, растущая заря.
И снится им обоим, что приплыли,
Хоть на плотах сквозь бурю и войну,
На ложе брачное под сению густою
В спокойный дом на берегах Невы.

Конечно, Психея — душа самого Вагинова, и поэтому иногда кажется, что образ Филострата сливается с образом автора. Тем более что Филострат был, разумеется, символом того самого подвижника-гуманиста, которому суждено втайне пронести культуру сквозь сумрак нового средневековья до счастливого мига возрождения птицы Феникс. Однако слияние это только кажущееся. Образ автора живет в произведениях Вагинова совершенно независимо от образа Филострата. Вагинов изображает себя самого в виде жалкого уродца с перепонками между пальцами шестипалых рук. В действительности он вовсе не был уродом и руки имел самые обыкновенные, но таким он входил в свой собственный миф. Изображая себя уродом, он старался выразить болезненное ощущение своего разлада с окружающим его миром, мучительного разлада, которым он тяготился чем дальше, тем больше.

Миф, созданный им в годы Гражданской войны, оставался почти неизменным, но отношение его к собственному мифу резко

и очень любопытно менялось. Первое изменение произошло в начале нэпа, к которому Вагинов отнесся с резкой враждебностью.

Вокруг введения нэпа — в стране, а также и в партии — шла ожесточенная борьба. Ленинское понимание нэпа как меры, необходимой для поднятия народного хозяйства и укрепления союза рабочих с крестьянами, как меры, дающей возможность перестроить ряды и вести революцию дальше, разделялось не всеми. Очень многие поняли нэп как отступление и даже как поражение социализма. Все мещанство возликовало по этому поводу и преисполнилось надежд. Оно приветствовало нэп буйно, захлебываясь от восторга. Среди людей, любивших революцию и веривших в нее, тоже было немало таких, которые приняли нэп за поражение. Эти люди страдали, негодовали, мрачно относились к ближайшему будущему, тосковали по годам военного коммунизма.

Любопытно, что к числу этих людей, критиковавших нэп, так сказать, «слева», относился и Вагинов. Именно в годы нэпа проявлялась его ненависть к тупому реакционному мещанству, среди которого прошло его детство. Нищие годы Гражданской войны были для него годами полнейшей духовной свободы, неприкрепленности ни к какому быту, несвязанности никакими узами. Этот мир, свободный для людей мечты, казавшийся ему грандиозным, фантастическим и прекрасным, безбытным, вдруг опять наполнился бытом, стал узеньким, маленьким. И он оплакивал происшедшую перемену:

Не лазоревый дождь,
И не буря во время ночное,
И не бездна вверху,
И не бездна внизу,
И не кажутся флотом,
Качаемым бурной волною,
Эти толпы домов
С перепуганным отблеском лиц.
Лишь у стекол герань
Заменила прежние пальмы,
И висят занавески
Вместо тяжелых портьер,
Да еще поднялись
И засели за книгу,
Чтобы стала поменьше,
Поуютнее жизнь.

Вот тут и начали появляться в его мифе первые изменения.

Прежде всего в мифе — наряду с Филостратом, птицей Феникс, Психеей — возник новый персонаж — Тептелкин. Этот загадочный Тептелкин начал в вагановских стихах вести беседы о грядущем воскресении птицы Феникс. Впрочем, Тептелкин был не вполне загадочен; в кружке друзей Вагинова скоро догадались, что это наш общий знакомый Лев Васильевич Пумпянский, литературовед, историк и философ, знаток новых и древних европейских языков, человек поразительной эрудиции.

Льва Васильевича Пумпянского я тоже знал хорошо. В течение нескольких месяцев он преподавал у нас в Тенишевском историю русской литературы, и преподавал превосходно. Потом я неоднократно слышал его доклады и выступления на разных собраниях. Это был тощий, длинный, сутуловатый человек лет около тридцати, мягкий, кроткий, очень вежливый. Говоря, он пришепетывал и присвистывал, — впрочем, весьма приятно. Однако мягкость и кротость не мешали ему — вплоть до 1925 года — относиться к революции резко враждебно. Чтобы не произносить слово «товарищи», он все свои публичные выступления начинал словами: «Уважаемое собрание!» Через год-два после окончания школы я стал брать у него уроки французского языка. Я приходил к нему три раза в неделю, и мы читали с ним вместе «Fleurs du mal» Бодлера. Но занятия шли довольно плохо, потому что большую часть отведенного на урок времени он занимал меня разговорами о «метапсихике». «Метапсихикой» он называл особое мистическое учение — нечто среднее между теософией и спиритизмом. Он убежденно рассказывал мне, что по ночам души людей, превращаясь в «астралы», перелезают из тела в тело. Рассказывал он мне также, как с помощью метапсихической интуиции было раскрыто нашумевшее тогда уголовное дело — убийство богатой нэпманши мадам Шаскольской, владелицы магазина готового платья на Невском. Он в тот год свято верил во всю эту чепуху, хотя по-своему был человек тонкий и умный.

Пумпянский был пылким поклонником стихов Ваганова. В ненапечатанной вагановской поэме «1925 год» Тептелкин разговаривает с Филостратом, и разговор этот безусловно передает подлинные разговоры между Пумпянским и Вагановым. Вот что, между прочим, там говорит Тептелкин:

Поете вы.
Как должно петь — темно и непонятно,
Игрою слов пусть назовут глупцы
Ваш стих. Вы притворяетесь
Искусно. Не правда ли,

Безумие, как средство, изобрел
Наш старый идол Гамлет.

Таков был Пумпянский до осени 1925 года. Осенью, в течение одного месяца, с ним произошел крутой поворот — он стал марксистом. Произошло это не без некоторого шума: целому ряду своих старых друзей написал он письма, в которых рассказывал о случившейся с ним перемене и просил с ним больше не знаться, потому что они идеалисты, фидеисты и мракобесы. Написаны письма эти были тоном раздраженным, в выражениях оскорбительных. Нужно сказать, что этот кроткий учтивейший человек порой и прежде писал резкие оскорбительные письма людям, которых по своей болезненной мнительности считал своими обидчиками, хотя те и не помышляли его обижать. Но тогда поводом для писем были причины личные, а не идейные. Теперь же он проделал то же самое по идейным причинам. С непостижимой быстротой прочел он всю марксистскую литературу, и не только прочел, но и запомнил, потому что память у него была удивительная. Все дальнейшие его доклады и выступления — после идейного переворота — были переполнены цитатами из классиков марксизма. Он как-то мгновенно, без всяких переходов, превратился в готового ортодокса, в типичнейшего начетчика и цитатчика.

В вагиновский миф вошел Тептелкин, и сразу же отношение Вагинова к мифу изменилось. Прежде всего вдруг получилось так, что миф этот вовсе не вагиновский, а тептелкинский. Это Тептелкин стал проповедником идеи, что революция — новое средневековье и что заступники культуры должны укрыться в башне или в пещере, чтобы дожидаться там возрождения птицы Феникс из пепла. Это Тептелкин, а не Вагинов, мечтает о том, что румынский премьер Авереску едет в Рим к Муссолини, и там эти два вождя латинских народов строят планы, как восстановить древнюю Римскую империю в ее прошлых границах. Вагинов изображает Тептелкина обывателем, мещанином и простофилей, и таким образом весь миф о противопоставлении культуры и революции вдруг стал обывательским и дурацким. На стороне Вагинова из всего мифа остался один Филострат, возлюбленный Психеи, относившийся к Тептелкину с глубоким презрением.

Битва Вагинова с Тептелкиным отражена не столько в его стихах, сколько в его прозе — в романе «Козлиная песнь». Роман этот был издан в 1928 году ленинградским издательством «Прибой» в количестве 3000 экземпляров и больше не переиздавался. Но нам, друзьям Вагинова, он был по частям

известен и раньше, с 1924 года, когда Вагинов только начал работать над ним. Написав очередную главу, Вагинов шел читать ее по знакомым ленинградским квартирам. Главу за главой в течение трех лет читал он у Коли Тихонова, у Наппельбаумов, у меня, у Кузмина, у Бенедикта Лившица, у Федина, у Шкапской и, несомненно, у многих других. Некоторые главы я слышал в его чтении по нескольку раз, так как слушатели переходили вместе с ним из квартиры в квартиру. Слушали его с волнением, с жадным любопытством, потому что то, о чем он писал, живо касалось всей той среды, в которой мы жили.

Конечно, интерес отчасти был и просто сплетнический, так как в романе изображались хорошо знакомые нам лица, хотя и зашифрованные намеренными искажениями, но для нас легко узнаваемые. Например, действие романа происходит вскоре после смерти известного поэта-путешественника Александра Петровича Заевфратского, в котором нетрудно было отгадать Николая Степановича Гумилева. Выведен в романе и страстный почитатель творчества покойного Заевфратского — некий поэт Миша Котиков, несколько странным способом собиравший факты из биографии своего любимого мэтра, и в Мише Котикове мы узнавали Павла Лукницкого. Разумеется, мы все знали, что поэт Троицын, похитивший для своей коллекции «поэтических предметов» галстук у покончившего с собой Есенина, — наш общий приятель поэт Всеволод Рождественский. И уж конечно нам всем было ясно, что главный герой романа Тептелкин не кто иной, как Лев Васильевич Пумпянский; позже всех об этом догадался сам Лев Васильевич.

Но не это сплетническое любопытство было главным, что привлекало нас к вагиновскому роману. Нас влекло острое, верное, новое изображение тех внутренних идейно-психологических процессов, которые происходили в среде рафинированной, но по существу мещанской художественной интеллигенции во второе пятилетие существования Советской власти. «Козлиная песнь» — один из первых романов в нашей литературе о так называемой «перестройке интеллигенции». Книг на эту волнующую для интеллигенции тему немало появилось в конце двадцатых и в начале тридцатых годов; но среди этих книг «Козлиная песнь» стоит особняком, потому что написана она изнутри, а не извне, потому что все, о чем в ней рассказывается, происходило с самим автором, и не прежде, а как раз тогда, когда он писал свою книгу. Автор отказывался в ней от самых драгоценных своих заблуждений; недаром назвал он свой роман «Козлиной песнью», что является переводом на русский язык слова «трагедия».

Я перечитал эту книгу в 1959 году, через тридцать один год после ее появления в свет. Я принялся читать с боязнью и, в сущности, без особой надежды, — слишком много книг, волновавших когда-то, при перечитывании через десятилетия поражали своей бледностью, скудостью. Но я читал, и прежнее волнение, — правда, не столь уже сильное, но зато окрашенное какой-то новой мягкой грустью, — охватило меня. Конечно, я заметил и нестройность, и ненужную претенциозность стиля, портящую столь многие книги того времени, и все же книга эта показалась мне значительной, умной, не потерявшей свою остроту, совершенно живой и сейчас. Читая ее, я подумал, как богата советская литература, насколько она богаче, чем принято думать, сколько в ней произведений, забытых незаслуженно, по причинам, в сущности, случайным. Вагинов написал жестокий, беспощадный памфлет о мещанстве, причем о мещанстве наиболее стойком и трудно уязвимом, потому что оно рядится в одежды защитников высших культурных ценностей человечества. Кружок, в котором царствует Тептелкин со своими мечтами о возрождении Феникса и восстановлении древней Римской империи, казалось бы, насквозь духовен и имеет полное право с надменным презрением взирать на все, что совершается вокруг. Но величие этих людей мнимо, как мнима их причастность к подлинной культуре. Читаешь главу за главой и все отчетливее видишь, что этот возвышенный кружок — сборище жалких и злых обывателей. Это книга против мещанства, и мещанство остается в ней непобежденным, потому что Тептелкин не перестает быть мещанином и тогда, когда, переменив свои идеалы, поступает на советскую службу и начинает ходить по вечерам в гости к советским работникам. Мещанство осталось в книге непобежденным, потому что оно не было еще побеждено тогда и в жизни. Да ведь не побеждено оно в мире еще и сейчас, через тридцать с лишним лет. Все предрассудки, которые Вагинов прежде всего победил в себе самом, предрассудки, противопоставляющие революцию культуре и культуру социализму, живы еще в разных концах нашей планеты, и не только дальних, но и ближних, и «Козлиная песнь» — трагедия — могла бы служить против них тем более сильным оружием, что она написана с муками и сомнениями.

Конечно, Лев Васильевич Пумпянский в конце концов узнал себя в Тептелкине и ужасно рассердился. Он перестал раскланиваться с Вагиновым и написал ему яростное письмо, полное гнева и брани. Он утверждал, что Вагинов оклеветал его, что он не Тептелкин, и, пожалуй, по-человечеству он был прав. Вагинов, стремясь к художественной определенности и четкости

образа, многое изменил и придумал. Тептелкин значительнее, чем был Пумпянский, и в то же время Пумпянский, человек очень искренний, трудолюбивый, подлинно образованный, вовсе не был так законченно пошл, как Тептелкин. В тридцатые годы, избавившись от своего школярского начетничества, Пумпянский написал несколько действительно интересных литературоведческих работ, а его предисловие к собранию сочинений Тургенева можно назвать даже выдающейся работой. Он был прав, что он не Тептелкин, но он, на свою беду, послужил материалом для создания Тептелкина, и я, встречаясь с ним потом еще в течение почти целого десятилетия, не мог не видеть в нем Тептелкина.

А Вагинов, написав свою злую и смелую книгу, остался тем, кем был раньше, — робким, скромным, застенчивым добряком-чудачиной. Он женился, но по-прежнему жил в поразительной бедности, настолько для него правильной и естественной, что, кажется, он ничуть ею не тяготился. Из года в год ходил он в одном и том же заношенном бобриковом пальтишке, в детской шапке-ушанке, набитой ватой и завязывавшейся под подбородком. Как многие люди той эпохи, он был безразличен ко всякому, даже элементарному, комфорту. Если у него появлялись хоть небольшие деньги, он тратил их на книги. Любимейшее его занятие было — выйти утром из дому и до вечера обойти все букинистические лавки, ларьки и развалы города. В каждой лавке оставался он подолгу, перелистывая множество книг, — прочтет десять страниц по-итальянски, потом пятнадцать по-французски. Букинистов называл он по имени-отчеству, и они тоже звали его Константином Константиновичем и приглашали в комнату за лавкой попить чаю.

Покупал он книги только редчайшие — томики итальянских или латинских поэтов, изданные в шестнадцатом веке, — или диковинные: старинные сонники, руководства по поварскому искусству. Вообще он был тончайший любитель и знаток старинных вещей и старинного обихода. Он, например, прелестно танцевал менуэт. Где-нибудь на вечеринке, немного выпив, он вдруг отходил от стола и, счастливый, начинал выделывать изящнейшие па восемнадцатого века, — танцевать ему приходилось одному, потому что в нашем кругу не было дам, умевших танцевать менуэт. Из любви к старинному обиходу он долго жил без электричества и освещал свою комнату только свечами. Это кончилось тем, что его сосед, электромонтер по профессии, думая, что Вагинов не проводит у себя электричества из бедности, сам достал провод, соорудил у него все, что надо, ввинтил лампочки, а Вагинов из деликатности не посмел

отказаться.

Вообще он был человек на редкость деликатный и милый, и я любил с ним встречаться на наших скромных пиршествах, устраиваемых время от времени то в одной, то в другой литературной квартире. Пил он умеренно, выпив, становился еще милее, но имел одну странность, известную всем его друзьям: любил прятать недопитые бутылки с вином за шторы или под стол. У него всегда был страх, что вина не хватит до конца пиршества. В одном его стихотворении так и сказано:

И стало страшно, что не хватит
Вина средь ночи.

В конце двадцатых годов и в начале тридцатых мы с ним каждый месяц встречались в бухгалтерии «Издательства писателей в Ленинграде» и долгие часы просиживали вместе, ожидая, когда кассир привезет из банка деньги. Директор издательства Самуил Миронович Алянский, прекрасный человек, создавший некогда издательство «Алконост», друг Блока, Федина и многих других писателей, установил такой порядок: деньги, причитающиеся литератору по договору, выплачивались не в сроки, предусмотренные договором, а небольшими суммами помесячно. Это было выгодно издательству, но мы мирились с этим, потому что это давало нам возможность рассчитывать бюджет на несколько месяцев вперед. Вагинов получал 100 рублей в месяц, и это было все, на что он жил с женой.

В эти годы он больше сил отдавал прозе, чем стихам, но продолжал писать и стихи. Его стихи становились все понятнее и проще. Вот как изображал он в стихах свою тогдашнюю жизнь:

Два пестрых одеяла,
Две стареньких подушки,
Стоят кровати рядом,
А на окне цветочки —
Лавр вышиной с мизинец
И серый кустик мирта.
На узких полках книги,
На одеялах люди —
Мужчина бледно-синий
И девочка жена.
В окошко лезут крыши,
Заглядывают кошки
С истрепанною шеей
От слишком сильных ласк,

И дом насквозь проплеван,
Насквозь туберкулезен,
И масляная краска
Разбитого фасада,
Как кожа, шелушится.
Напротив из развалин.
Как кукиш, между бревен
Глядит бордовый клевер
И головой кивает,
И кажет свой трилистник,
И ходят пионеры.
Наигрывая марш.
Мужчина бледносиний
И девочка жена
Внезапно пробудились
И встали у окна.
И, вновь благоухая
В державной пустоте,
Над ними ветви вьются
И листьями шуршат.
И вновь она Психеей
Склоняется над ним…

Он действительно был в те годы «бледно-синим», потому что болел туберкулезом. Чахотка промучила его лет семь и в конце концов свела в могилу.

Вот другое его стихотворение о себе самом:

Он с каждым годом уменьшался
И высыхал,
И горестно следил, как образ
За словом оживал.

С пером сидел он на постели
Под полкою сырой.
Петрарка, Фауст, иммортели
И мемуаров рой.

Там нимфы нежно ворковали
И шел городовой,
Возлюбленные голодали
И хор спускался с гор.

Орфея погребали,

И раздавался плач.
В цилиндре и перчатках
Серьезный шел палач.

Они ходили в гости
Сквозь переплеты книг,
Устраивали вместе
На острове пикник.

Он медленно умирал. Наступила самая трагическая часть его жизни, — куда более трагическая, чем прощание с мифом, владевшим всею его молодостью. Именно тогда, когда он разделался с туманными аллегориями, достиг зрелости и почувствовал влечение к изображению живой жизни, болезнь отняла у него силы и повела к смерти. В начале тридцатых годов, в жадных поисках нового материала, он, преодолевая слабость, принялся изучать тот Ленинград, с которым всегда жил рядом и который совсем не знал — ленинградские заводы.

Помню, много раз ездили мы с ним вместе на завод электроламп «Светлана». Мохнатая изморозь покрывала стекла трамвая, ползущего на Выборгскую сторону, а посреди вагона стоял Вагинов — все в той же шапке-ушанке, завязанной тесемочками под подбородком, все в том же бобриковом пальто, — держался за ремень и, глядя в книгу, читал Ариосто по-итальянски. «Светлана» был завод женский — в просторных чистых цехах за длинными столами сидели работницы в белых халатах и складывали мельчайшие детали из стекла и металла. Все заводские организации — партком, завком — были в руках у женщин, и дух мягкой женственности, девичества, царивший на заводе, чрезвычайно нравился Вагинову. Он тоже там всем полюбился — добротой, скромностью и столь необычной старинной учтивостью.

— Славно, — сказал он мне как-то, когда мы возвращались с ним со «Светланы». — Совсем как бывало в Смольном институте.

Потом мы с ним встретились на другой совместной работе: мы оба приняли участие в составлении книги «Четыре поколения» — о рабочих Нарвской заставы. Книгу эту делали четыре ленинградских литератора: Сергей Спасский, Антон Ульянский, Вагинов и я, и то была интереснейшая, поучительнейшая работа. Мое участие в этой работе было весьма скромным, и это дает мне право сказать, что книга получилась замечательная — одна из лучших документальных книг о жизни петербургского рабочего класса с восьмидесятых годов до середины первой пятилетки.

Душой этого дела был даровитый писатель Антон Ульянский, бывший типографский рабочий, автор нескольких очень хороших повестей и рассказов, ныне несправедливо забытый. В течение нескольких месяцев все дни проводили мы на заводах, разговаривали с рабочими и записывали их рассказы. Борьба рабочего класса и великая русская революция, преобразившая мир, была для этих жителей Нарвской заставы делом своим, домашним, удивительно конкретным, — каждую забастовку за последние пятьдесят лет помнили они во всех подробностях, продолжали ожесточенно упрекать друг друга за то, что поверили Гапону, увлеченно рассказывали о подвигах красногвардейцев в семнадцатом году и большевиков, партию называли просто: мы. Вагинову, с его острейшим чувством истории, с его пронзительной любовью к родному городу, все это было глубоко интересно. Как ни странно, перед ним открывался новый мир. К работе он отнесся влюбленно и, с постоянно повышенной температурой, упорно ездил на заводы, пересиливая себя. Но силы его быстро убывали.

Поздней осенью Литфонд отправил его на зиму в Крым, в туберкулезный санаторий. До тех пор он никогда не бывал на юге, да и вообще никогда не расставался с родным своим городом, если не считать восемнадцатого — девятнадцатого года, когда он служил в Красной Армии. И вот он ехал в Крым. Все знали, что он обречен. Знал это и он сам.

Вот стихотворение, написанное им, умирающим, в зимнем Крыму, о том, как он в санатории слушал «Кармен»:

Вступил в Крыму в зеркальную прохладу.
Под градом желудей оркестр любовь играл,
И, точно призраки, со всех концов Союза
Стояли зрители и слушали Кармен.

Как хороша любовь в минуты умиранья!
Невыносим знакомый голос твой.
Ты вечная, как изваянье,
А слушатель томительно другой.

Он, как слепой, обходит сад зеленый
И трогает ужасно лепестки,
И в соловьиный мир, поющий и влюбленный,
Хотел бы он, как блудный сын, войти.

Вернулся он в феврале и был уже так слаб, что не мог сам подняться к себе на третий этаж. Помню, как он вылез из

извозчичьей пролетки, и мы долго стояли с ним вдвоем перед дверью его дома на засыпанной снегом солнечной улице в ожидании людей, которые внесут его наверх, и как он ласково и кротко озирался, счастливый тем, что снова в Ленинграде. Через несколько дней он написал стихотворение «Ленинград»:

Промозглый Питер легким и простым
Ему в ту пору показался.
Под солнцем сладостным, под небом голубым
Он весь в прозрачности купался.

И липкость воздуха, и черные утра,
И фонари, стоящие, как слезы,
И липкотелые ветра
Ему казались лепестками розы.

И он стоял, и в северный цветок,
Как соловей, все более влюблялся,
И воздух за глотком глоток
Он пил и улыбался.

И думал: молодость пройдет,
Душа предстанет безобразной
И почернеет, как цветок,
Мир обведет погасшим глазом.

Холодный и язвительный стакан,
Быть может, выпить нам придется,
Но все же роза с стебелька
Нет-нет и улыбнется.

Увы, никак не истребить
Виденья юности беспечной,
И продолжает он любить
Цветок прекрасный бесконечно.

Вообще он очень много писал в последние дни своей жизни. За месяц до смерти он пришел ко мне и, лежа у меня на диване, рассказывал мне о романе, который пишет. Роман назывался «Собиратель снов», и главным его героем должен был быть человек, который коллекционирует сновиденья.

Нужно сказать, что Вагинов сам всю свою жизнь был коллекционером, и в этом заключалась одна из характернейших его черт. В отрочестве он коллекционировал старинные монеты.

Потом стал собирать спичечные коробки, когда их не собирал еще никто. Одно время он коллекционировал ресторанные меню и всевозможные рецепты приготовления разных диковинных блюд. Всю свою жизнь собирал он старинные, странные и редкие книги. В «Козлиной песне» есть персонаж — Костя Ротиков, — который коллекционирует безвкусицы; и хотя персонаж этот изображен резко отрицательно, все же чувствуется, что коллекция безвкусиц, собранная Костей Ротиковым, весьма интересна самому автору.

В коллекционерстве Вагинова никогда не было ничего спортивного, ни малейшего стремления превзойти кого-либо, похвастаться обладанием тем, чего у других нет. Собираемые предметы интересовали его, потому что отражали жизнь, историю, общественные вкусы и взгляды. Старая флорентийская монета рассказывала ему об итальянском Возрождении больше, чем он мог прочитать в любом исследовании. По картинкам на спичечных коробках он умел прочитать и быт, и людские мечты. Но ведь коллекция человеческих снов может рассказать о людях еще больше, чем коллекция монет или ресторанных меню! И герой его будущего романа, для того чтобы собрать коллекцию снов, должен был знакомиться с множеством самых разных людей — с влюбленными, с попами, с портными, со старыми няньками, с бывшими царскими сановниками, с подлецами, с ханжами, с мечтателями, со школьницами, с ворами, с бухгалтерами, с профсоюзными работниками, с продавцами, с проститутками, и так далее, и так далее, — и поиски этих знакомств должны были ставить его в самые странные положения, вовлекать его в самые удивительные приключения. А так как сон, по утверждению Вагинова, нельзя изобрести, ибо подлинный сон нелогичен, а все, что изобретается нами, невольно подчинено логике, Вагинов сам занялся собиранием снов для коллекции своего героя. Он рассказал мне, как он выспрашивал сны у больных в туберкулезном санатории, где лечились люди самых разных профессий.

Помню, я начал с ним спорить. Не то чтобы я совсем не почувствовал прелести его своеобразного замысла, — напротив, я вполне оценил его, — но меня самого, как литератора, тянуло в другую сторону. Я стал доказывать, что действительность удивительнее любых самых удивительных снов. Он слушал меня, как всегда, кротко и терпимо, а я горячился все больше, так как догадывался, что мысль моя, нисколько не странная и лишенная всякого чудачества, именно потому и кажется ему плоской и антипоэтической. В пылу спора я торопливо глотал все, приготовленное моею женой, чтобы накормить гостя, — и забывал его потчевать. И деликатнейшему Вагинову не досталось

почти ничего, за что я потом получил нагоняй от жены, вполне мною заслуженный. Незавершенный роман свой о сновидениях Вагинов за несколько дней перед смертью передал Николаю Семеновичу Тихонову; не знаю, сохранилась ли у Тихонова эта рукопись.

Умер Вагинов в конце апреля 1934 года. Многие пошли провожать его на Смоленское кладбище, — помню плачущего Сережу Колбасьева, помню Тихоновых, Федина, Всеволода Рождественского, Михаила Фромана и жену его Иду Наппельбаум. Тут я впервые увидел отца Вагинова: маленький лысенький старичок, удрученный и тихий, он теперь служил кассиром в какой-то артели, и во внешности его не было ничего ни полковничьего, ни жандармского, ни миллионерского.

День был удивительный, весенний, теплый, влажный, солнце сияло в чистейшем небе, но город тонул в туманной дымке, и перед похоронной процессией неожиданно выплывали его колонны, фронтоны и шпили. Вагинов медленно ехал в гробу через Неву по мосту лейтенанта Шмидта, и Филострат, незримый, шел рядом, и роза со стебелька улыбалась ему в последний раз.

Поэт с острова Ямайка

В двадцатые годы посетил Россию негр-поэт Клод Мак-Кей, делегат от американской компартии на IV конгрессе Коминтерна.

Конгресс этот состоялся в Москве в декабре 1922 года, но по окончании его Клод Мак-Кей почему-то не вернулся на родину, а на много месяцев застрял в России. По причинам, для меня неясным, он поселился в Ленинграде, и комнату ему дали в том самом Доме ученых, где одно время жил Мандельштам. Не помню каким образом, но вышло так, что я поступил к нему на службу переводчиком.

Я был совершенно неподготовлен к подобной должности. Мое знание английского языка было только книжным, — я умел прочесть все и не умел сказать ничего. Это свойство осталось у меня на всю жизнь, — я перевел с английского десятки книг, многие из которых были чрезвычайно сложны стилистически, но и посейчас крайне беспомощен, когда мне приходится вести по-английски самый элементарный разговор. Мне легче писать по-английски, чем говорить. Я привык объяснять это отсутствием практики, но знаю, что это неправда, — у меня вовсе не так уж мало было практики за мою жизнь. Другой на моем месте, поработав переводчиком при Мак-Кее, уже на пятый день свободно болтал бы по-английски. А я в конце моей работы у него говорил так же плохо, как в самом начале. Тут, по-видимому, какая-то особенная, свойственная мне неспособность.

Несмотря на мою ужасную речь, Мак-Кей почему-то дорожил мною и не сделал ни одной попытки заменить меня другим переводчиком. За свою жизнь я немало видел негров, но это был самый черный негр из всех. Ночью на плохо освещенной улице казалось, будто у него нет лица, — лицо его сливалось с темнотой. Я обязан был приходить к нему в двенадцать часов дня. Он просыпался очень поздно, и я всякий раз заставал его в постели. Встретив меня радостным восклицанием, он высовывал из-под одеяла черную голую руку и шарил ею под кроватью. Там у него всегда стояла бутылка с коньяком; он выпивал стаканчик и, несмотря на все мое сопротивление, заставлял выпить и меня. С этого начинался наш трудовой день.

Для меня это было трагично, — из моей непривычной мальчишеской головы коньяк разом вышибал три четверти известных мне английских слов. Ему же, тридцатилетнему здоровяку, коньяк был, разумеется, нипочем.

Выпив, он, голый, выскакивал из постели и принимался за умывание. Он раскладывал посреди комнаты резиновый таз,

становился в него и обливал себя из кувшина теплой водой. Потом выдавливал на себя из тюбика какое-то американское мыло, растирал его резиновой губкой, покрывался пеной и весь от макушки до пят превращался в снежно-белый столб. Затем брал другой кувшин и помаленьку плескал на себя водой; и я, глядя на промоины в мыльной пене, заново удивлялся черноте его тела.

Бритье в его утренний туалет не входило, — у него совсем не росла борода, как у девушки. Он одевался, и мы шли с ним куда-нибудь — в город.

Он любил мне рассказывать свою жизнь. Родился он в Вест-Индии, на острове Ямайке. Я как-то спросил его, откуда у него шотландская фамилия. Он объяснил мне, что его предок был рабом какого-то шотландского выходца Мак-Кея, а все негры-рабы носили фамилии своих хозяев. Рабы на Ямайке были освобождены тогда, когда свекловичный сахар одержал на европейских рынках окончательную победу над сахаром из сахарного тростника. Ямайские плантаторы вернулись в Англию, бросив на произвол судьбы и свои обесцененные плантации, и своих рабов. В деревне, где рос Мак-Кей, белые люди появлялись так редко, что мальчишкой он способен был часами разглядывать белого человека как чудо. В их деревенской церкви даже Богородица на картине была черная. Работу на Ямайке достать было невозможно, и, когда Мак-Кею исполнилось восемнадцать лет, он перебрался в Соединенные Штаты. Ему посчастливилось найти место официанта в вагоне-ресторане поезда, который курсировал между Вашингтоном и Нью-Йорком. Работая в вагоне-ресторане, он увлекся английской поэзией. Он читал все стихи, которые ему удавалось достать, и сам начал писать стихи. В том же вагоне-ресторане он встретился с одним нью-йоркским поэтом и, прислуживая ему, поразил его тем, что стал ему читать его стихи наизусть. Поэт был сноб, писал стихи для избраннейшего интеллектуального общества, печатал свои книги ничтожными тиражами и был ошеломлен, встретив негра-официанта, рассуждавшего с ним о его стихах не хуже изысканнейших знатоков поэзии. Но когда негр стал читать ему свои собственные стихи, поэт был ошеломлен еще больше. Он познакомил Мак-Кея со многими нью-йоркскими литераторами, нашел для него издателей, и Мак-Кей, выпустив несколько сборников стихотворений, стал известным поэтом.

Он рассказывал мне, как его приглашали читать стихи в зажиточные культурные дома белых американцев. В гостиной собиралось общество, он читал, его хвалили. Потом белых гостей вели ужинать в столовую, а его, как негра, кормили отдельно — на кухне.

Я, как все русские, много читал об унижении негров в Америке, и то, что мне рассказывал Мак-Кей, было для меня, в сущности, не ново, но в его рассказах был такой заряд ненависти и боли, что они потрясли меня. Его возмущало, главным образом, даже не то, что белые постоянно унижают черных, а то, что черные привыкли к этому унижению и относятся к нему как к чему-то само собой разумеющемуся. Он говорил, что в южных штатах, где есть отдельные церкви для белых и негров, в церквах, предназначенных для негров, негры сажают мулатов на лучшие скамьи, этим признавая, что люди, кожа которых хотя бы немного светлее, тем самым стоят выше вполне черных. Он с негодованием рассказывал, что единственный в Америке негр-миллионер нажил свое состояние тем, что продавал снадобье, которое способно превращать курчавые волосы в прямые; дело в том, что все негритянки курчавы, и это мешает им носить такие прически, какие носят белые женщины, и вот все они накинулись на эту шарлатанскую мазь, чтобы хотя бы прическами походить на белых. Он говорил об этом с чувством оскорбленной гордости, которое глубоко трогало меня.

Он был очень эмоционален, и его отношение к угнетению негров носило характер тяжелой душевной травмы. Помню, мы как-то отправились с ним в Русский музей; он был оживлен, говорлив и весел, как всегда после выпитого утром коньяка. Мы шли с ним по пустынным залам от картины к картине, и он внимательно слушал мои объяснения. Русских художников он совсем не знал, и в картинах его интересовал только сюжет, но так как он был очень впечатлителен и сами сюжеты были для него новы, то рассказывать ему было интересно. Я объяснял ему картину Васнецова «Богатыри», когда он вдруг схватил меня за руку и заставил замолчать. Не выпуская моей руки, он увлек меня в угол и усадил рядом с собой на обитую бархатом скамейку. Тут только я увидел, что в зал вошли двое — господин и дама. Движения их были неторопливы, они подолгу стояли перед каждой картиной, не обратив на нас никакого внимания. По одежде их я видел — иностранцы. Белые американцы! Мак-Кей глядел на них молча, не двигаясь, и только все крепче сжимал мою руку. Он словно застыл от ненависти. Он не шевельнулся, пока они, осмотрев все картины, не вышли из зала.

Он, конечно, вступил в Коммунистическую партию Америки только оттого, что эта партия боролась за равноправие негров. Никаких других причин у него не было. О конгрессе этом он ничего не умел мне связно рассказать и очень мало им интересовался. Однако для того, чтобы прибыть на конгресс в Москву, он потратил огромные усилия и преодолел множество

препятствий. В Нью-Йорке он нанялся кочегаром на пароход, идущий в Европу, и пять недель проработал у жарких топок, пока пароход, переходя из порта в порт, не добрался наконец до Гамбурга. Гамбургские рабочие-коммунисты переправили Мак-Кея в Советскую Россию.

Мне никогда еще не приходилось встречаться с членами конгрессов Коминтерна, и, естественно, я, видя отличное отношение Мак-Кея ко мне (а он со мной был исключительно дружелюбен и добр), стал задавать ему вопросы и о минувшем конгрессе, и о деятельности американской компартии, и о международном положении. Представьте, как я был удивлен, обнаружив, что обо всем этом он знал гораздо меньше, чем я. Он не имел ни малейшего представления о марксизме. Пораженный, я стал толковать ему о классовом устройстве общества, о международной рабочей солидарности, об интернационализме. Но он слушал меня невнимательно и без всякого интереса. Для марксизма он казался совершенно непромокаем. Его симпатии к нашей стране строились на двух обстоятельствах: во-первых, здесь хорошо относились к неграм и, во-вторых, в жилах нашего национального поэта Пушкина текла негритянская кровь. Он покупал портреты Пушкина, внимательно разглядывал их и утверждал, что по пушкинскому облику он может безошибочно определить, какой процент негритянской крови тек в пушкинских жилах. Из западноевропейских писателей он больше всего ценил Александра Дюма, мать которого была мулаткой.

Стихи его были разнообразны, и многие из них мне очень нравились. Помню, например, его стихотворение «Рассвет входит в Нью-Йорк», в котором кроме очень точного, очень зримого описания предутреннего Нью-Йорка было что-то музыкально-магическое, верленовское. Но взгляды его гораздо лучше выражало другое стихотворение — «Проклятие порабощенного». Вот оно — в тяжеловесном переводе Валерия Брюсова:

Помыслю лишь о расе черной, той,
В чреде веков презренной, угнетенной,
Линчеванной не раз, угла лишенной
На христианском Западе, в родной
Своей стране обкраденной, наследство
Утратившей там, где встречало детство, —
Вдруг станет сердце тяжелей свинца,
И из глубин души кричу я жадно,
Чтоб Ангелы Отмщенья беспощадно
Мир белый истребили до конца:
Пусть рухнет он в разверзнутые бездны,

Всклубится дымом жертвы в купол звездный,
Клеймо стирая с черного лица!

Он ненавидел белых, и мне никак не удавалось объяснить ему, что ненавидеть белых так же глупо, как ненавидеть черных. Его симпатии к русским, или, скажем, в частности ко мне, его пылкая любовь к английской поэзии нисколько не меняли дела, — он ненавидел белых и громко провозглашал это. Я, выросший в чистой атмосфере первых лет революции, в обществе, где интернационализм был главной заповедью, впервые встретился с национализмом. Правда, это был самый справедливый вид национализма — национализм угнетенного народа с трагической судьбой. Впоследствии в жизни я, как и все, встречался с несравненно более гнусными формами национализма; воспитанный в мечтах о мировой пролетарской революции и только в ней одной видевший путь к разрешению всех национальных вопросов, я, вероятно, слишком нетерпимо отнесся к тому, что во взглядах Мак-Кея казалось мне узостью и ограниченностью. Много раз вступал я с ним в споры, пытаясь доказать, что ненавидеть надо не белых, а капитализм. Собственно, я говорил ему то самое, что должен был бы говорить мне он, член конгресса Коминтерна. Ему, однако, подобные взгляды были совершенно чужды, и он даже не возражал против них, а просто от них отмахивался.

Обо всем, происходившем в нашей стране, о нашей революции понятия у него были самые смутные, несмотря на то что он прожил уже в России несколько месяцев и довольно много ездил и видел. Его часто возили выступать на заводы и даже в Кронштадт на корабли. На этих выступлениях я не бывал, так как там сопровождали его другие переводчики, официальные, но знаю, что рабочим и военморам он читал по-английски свои стихи и рассказывал о страданиях негров. Принимали его необыкновенно жарко, на одном корабле его так качали на руках и подбрасывали вверх, что ушибли о потолок кают-компании. Ему хлопали и за то, что он негр, и за то, что он американский коммунист, и за то, что он деятель международного рабочего движения, в этих горячих приветствиях выражалось сочувствие ко всем угнетенным, выражалась надежда на помощь рабочих других стран и радость, что мы не одиноки в своей борьбе. Однако Мак-Кей, очень довольный этими встречами, весьма неясно представлял себе чувства встречавших его людей и не понимал своей собственной роли. Один я подозревал, что в основе этого лежит недоразумение, и дивился.

Жизнерадостный, очень здоровый, веселый, добрый и легкомысленный Мак-Кей беспечно жил в суровой, только что вышедшей из Гражданской войны стране, наслаждаясь вниманием женщин и дружелюбием мужчин, ни во что не вникая и не собираясь вникать. Имея самые смутные представления о том, что происходит вокруг, он подвергался столь же смутным опасениям и страхам. Внезапно ему начинало казаться, что за ним кто-то тайно следит, лицо его из черного становилось серым, и, озираясь, он шептал: шпионы.

Однажды, когда мы шли с ним по набережной Васильевского острова мимо университета, к нам подошел советский морячок торгового флота, небольшой, в тужурке с медными пуговицами, в фуражке, добродушный и простецкий на вид. Он бывал в заграничных плаваньях, знал несколько английских фраз и, увидев негра, захотел применить их на практике. Он подошел к нам, поздоровался и начал задавать Мак-Кею простейшие и естественнейшие вопросы: кто он такой и откуда прибыл. Мак-Кей стал серым от страха и, к моему удивлению, отвечал глухо, невнятно. Он все заслонялся от морячка мною и старался как можно скорее окончить разговор. Потом вдруг схватил меня за рукав и, таща за собою, побежал к Республиканскому мосту. На мосту он все озирался. Только убедясь, что морячок нас не преследует, он перестал бежать и сказал мне шепотом:

— Шпион!

Я очень гордился своим негром и хвастал им среди приятелей. Многие просили меня познакомить их с Мак-Кеем, но я делал это скупо, с разбором. Однако когда меня попросил об этом Николай Семенович Тихонов, бог молодых ленинградских поэтов того времени, я, разумеется, не мог ему отказать.

Я знал, что в ближайшее воскресенье мы с Мак-Кеем будем в Эрмитаже. И я назначил Тихонову свидание — воскресенье, два часа дня, в Эрмитаже, у «Данаи» Рембрандта.

В то воскресное утро Мак-Кей хлебнул коньяка больше обычного. Это бы еще ничего, но он настойчиво заставлял пить и меня, я тоже выпил больше обычного и изрядно захмелел. Опьянение мое выразилось в том, что я стал говорить очень громким голосом. И, придя с Мак-Кеем в Эрмитаж, мы своим появлением вызвали там сенсацию.

По случаю воскресного дня залы Эрмитажа были переполнены. Особенно много было учащейся молодежи, никогда до тех пор не видавшей живого негра. Мы брели из залы в залу, и вслед за нами валила толпа, с трудом протискиваясь в дверях. Мак-Кей, изрядно захмелевший, был чрезвычайно весел, размашист и мало приспособлен к восприятию искусства.

Обнаженные женщины — вот что сейчас привлекало его на картинах, и он шел от одной обнаженной женщины к другой, смеясь во все свои белые зубы и комментируя вслух. Я чувствовал некоторую скандальность его поведения и старался привлечь его внимание к более скромным сюжетам. Но и меня разглядывали со всех сторон не без удивления благодаря моему слишком громкому голосу и чудовищному английскому языку.

Однако я еще не потерял способности следить за часами и ровно в два подвел Мак-Кея к Рембрандтовой «Данае». Тихонов уже ждал нас там. Пришел он не один, а с очень милой и немного мне знакомой молодой женщиной Агутей Миклашевской. Толпа расступилась, образовав перед «Данаей» внимательный полукруг, и я, смущенный множеством устремленных на нас взоров, представил Мак-Кея Тихонову и Агуте. Я объяснил Мак-Кею, что перед ним — известный поэт, и Мак-Кей стал просить Тихонова почитать стихи.

Насупив густые брови, Тихонов глухим, суровым голосом прочитал свою знаменитую «Балладу о гвоздях». Все собравшиеся в зале слушали его затаив дыхание, боясь проронить слово. Баллада эта, как известно, кончается такими двумя строчками:

> Гвозди б делать из этих людей:
> Крепче не было б в мире гвоздей.

Эти строки всегда приводили меня в недоумение. Я не мог понять, как можно сказать людям в похвалу, что из них вышли бы хорошие гвозди. Но всю свою жизнь я со своим недоумением оставался почти в одиночестве, и тогда, в Эрмитаже, «Баллада о гвоздях» имела у слушателей необычайный успех. Тихонова выслушали с восторженным вниманием, и это произвело на Мак-Кея большое впечатление. Он попросил меня перевести ему прочитанное стихотворение.

Я принялся переводить. Тихонов медленно произносил строку, и я повторял ее по-английски. Так я довольно лихо одолевал строку за строкой, пока не дошел до роковых гвоздей.

Я забыл, как «гвоздь» по-английски. Разумеется, я с детства знал, что «гвоздь» по-английски — «nail», но в эту минуту — забыл. Бывает же такое! Безусловно, тут сработал выпитый утром коньяк; впрочем, мне и без коньяка случалось забывать хорошо известное нужное слово именно потому, что оно — нужное. Если бы не сотни глаз, следившие за мной, я, может быть, подумал бы и вспомнил. Но тут, дойдя до строчки «Гвозди б делать из этих людей» и чувствуя, что все смотрят на меня и ждут, я запнулся, обливаясь потом. Что делать из людей? Мак-Кей начал уже

подсказывать мне свои догадки — совершенно невероятные. Да и как он мог догадаться, что из людей следует делать гвозди? Я нервно оглядывал стены, надеясь, что где-нибудь торчит гвоздь и я покажу его Мак-Кею. Но в стенах эрмитажных зал гвозди не торчат. И вдруг мне пришло в голову — ведь картины висят на гвоздях. Там, позади «Данаи», из стены, вероятно, торчит гвоздь, на котором она закреплена. И я постарался объяснить это Мак-Кею, тыча в «Данаю» указательным пальцем.

Я тыкал в сторону картины пальцем и все попадал в разные места нагой Данаи, и, в зависимости от моих попаданий, Мак-Кей строил вслух все новые и новые предположения о том, что именно надлежит «делать из этих людей»…

Вскоре Мак-Кей уехал в Москву и в Ленинград уже не вернулся. Он навсегда покинул Советскую Россию, и я его больше не видел. По пути в Америку он посетил Лондон, где тогда проходил Всемирный негритянский конгресс, и он выступил на этом конгрессе. Из наших газет я узнал, что конгресс этот был буржуазный, глубоко лояльный, что ему покровительствовало британское правительство и что созван он был для того, чтобы помешать распространению среди негров коммунистических идей. И выступление Мак-Кея, вероятно, попало там в общий тон, потому что из Лондона прислал он мне письмо, в котором восхищался этим конгрессом.

Письмо его начиналось словами «Dear Colar» — так, по его мнению, следовало писать мое имя «Коля» по-английски. Это было ласковое, приветливое письмецо — в каждой фразе чувствовалось, что пишет человек добрый и веселый. Потом, несколько месяцев спустя, прислал он мне из Америки журнал, который начал там редактировать. Журнал назывался «Крайзис» и был похож на все прочие американские еженедельники — с голой девушкой на обложке, с советами, как следует вести себя в светском обществе. С объявлениями зубных врачей. Только девушка на обложке была черная, и на иллюстрациях к светским советам черные кавалеры ухаживали за черными дамами и черные зубные врачи рвали зубы у черных пациентов. А в передовой статье доказывалось, что Александр Пушкин был великий негритянский поэт, а Александр Дюма — великий негритянский романист…

Милый демон моей юности

Есть у Блока статья — «Русские дэнди», — написанная 2 мая 1918 года. В этой статье рассказывалось, как первой революционной зимой он принял участие в каком-то благотворительном вечере и как в артистической встретился с каким-то молодым человеком. Он пишет:

«Барышня попросила молодого человека прочесть стихи в этой интимной обстановке.

Молодой человек, совершенно не жеманясь, стал читать что-то под названием „Танго“. Слов там не было, не было и звуков: если бы я не видел лица молодого человека, я не стал бы слушать его стихов, представляющих популярную смесь футуристических восклицаний с символическими шепотами. Но по простому и серьезному лицу читавшего я видел, что ему не надо никакой популярности и что есть, очевидно, десять — двадцать человек, которые ценят и знают его стихи. В нем не было ничего поддельного и кривляющегося, несмотря на то, что все слова стихов, которые он произносил, были поддельные и кривляющиеся».

Через страницу Блок продолжает:

«Нам с молодым человеком было не по пути, но он пошел провожать меня с тем, чтобы рассказать мне таким же простым и спокойным тоном следующее: — Все мы — дрянь, кость от кости, плоть от плоти буржуазии.

Во мне дрогнул ответ, но я промолчал.

Он продолжал равнодушно:

— Я слишком образован, чтобы не понимать, что так дальше продолжаться не может и что буржуазия будет уничтожена. Но, если осуществится социализм, нам останется только умереть; мы совершенно не приспособлены к тому, чтобы добывать что-нибудь трудом. Все мы — наркоманы, опииисты; женщины наши — нимфоманки. Нас — меньшинство, но мы пока распоряжаемся среди молодежи: мы высмеиваем тех, кто интересуется социализмом, работой, революцией. Мы живем только стихами; в последние пять лет я не пропустил ни одного сборника. Мы знаем всех наизусть — Сологуба, Бальмонта, Игоря Северянина, Маяковского, но все это уже пресно; все это кончено; теперь, кажется, будет мода на Эренбурга.

Молодой человек стал читать наизусть десятки стихов современных поэтов. Дул сильный ветер, был мороз, не было ни одного фонаря. Мне было холодно, я ускорил шаги, он также ускорил; на быстром шагу против ветра он все так же ровно читал

стихи, ничем друг с другом не связанные, кроме той страшной, опустошающей душу эпохи, в которую они были созданы.

— Неужели вас не интересует ничего, кроме стихов? — почти непроизвольно спросил, наконец, я.

Молодой человек откликнулся, как эхо:

— Нас ничего не интересует, кроме стихов. Ведь мы — пустые, совершенно пустые.

Я мог бы ответить ему, что если все они пусты, то не все стихи пусты; но я не мог так ответить, потому что за его словами была несомненная искренность и какая-то своя правда…»

В конце этого разговора молодой человек сказал Блоку:

«— Вы же ведь и виноваты в том, что мы — такие.

— Кто — мы?

— Вы, современные поэты. Вы отравляли нас. Мы просили хлеба, а вы нам давали камень.

Я не сумел защититься; и не хотел; и… не мог. Мы простились — чужие, как встретились…»

Я хорошо знал этого молодого человека, о котором Блок рассказывает в своей статье. В течение многих лет он был моим ближайшим другом. Звали его — Валентин Иосифович Стенич.

Впрочем, подружился я с ним лет через семь после его встречи с Блоком. Но, зная его, я хорошо представляю себе, каким он был тогда, в начале 1918 года, двадцатилетним юнцом. И он сам неоднократно рассказывал мне об этой встрече.

Он благоговел перед Блоком, знал все им написанное наизусть — все три тома стихотворений, и поэмы, и пьесы. Для него Блок был гений, и притом из всех гениев человечества — наиболее близкий ему душевно; когда он читал кому-нибудь стихи Блока, он поминутно снимал очки, чтобы вытереть слезы. Встреча с Блоком была для него грандиозным событием. Тем, что Блок написал об этой встрече целую статью, он гордился до последнего своего дня.

— Все-таки мне удалось его обмануть! — восклицал он восторженно.

Конечно, вначале он надеялся не обмануть Блока, а восхитить. И начал он с того, что стал читать Блоку свои стихи. Но сразу почувствовал, что совершил ложный шаг — стихи Блоку не понравились. Тут сказалось, что Стеничу было всего двадцать лет, — будь он постарше, он не сделал бы подобной ошибки. Но в двадцать лет считать свои стихи хорошими простительно даже очень умному человеку. Почувствовав, что восхитить Блока он не в состоянии, он решил его хотя бы поразить. И это ему удалось, — но с помощью обмана.

Обман заключался в том, что он представил Блоку вместо

себя вымышленный образ, не имевший почти ничего общего с реально существовавшим Стеничем. Он сказал: «Если осуществится социализм, нам остается только умереть». А между тем он был яростным сторонником социализма и через месяц после разговора с Блоком вступил в большевистскую партию и уехал на фронт на Украину. Он сказал: «Все мы наркоманы, опииcты». А между тем он никогда в жизни не употреблял никаких наркотиков и даже к спиртным напиткам прибегал редко. Он страстно любил стихи, но вовсе не стихи Бальмонта или Эренбурга. И неправда, что он любил только стихи, — он жадно и деятельно интересовался всем, что происходило вокруг него, и любил лишь такие стихи, в которых отражалась жизнь. Из старых поэтов он любил Пушкина, — он мог прочесть наизусть всего «Евгения Онегина», ни разу не сбившись, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Полонского — т. е. тех самых, которых любил Блок. Из поэтов начала XX века он выше всего ставил Блока и любил, впрочем, значительно меньше — Сологуба, Ахматову, Маяковского, Мандельштама. Впоследствии он влюблялся в стихи Александра Прокофьева, Бориса Корнилова, Павла Васильева, Заболоцкого, раннего Твардовского, и когда он сказал Блоку, что мы «совершенно пустые, и это вы, современные поэты, сделали нас такими», — это был обман, чистейший вымысел.

Обман этот полностью удался. Он удался потому, что предложенный Блоку вымышленный образ чрезвычайно Блока взволновал и растревожил. Он до того его взволновал, что Блок о своей мимолетной встрече с двадцатилетним мальчишкой три месяца спустя написал целую статью, и не просто статью, а статью, полную мучительной полемики по самым болезненным для Блока вопросам. Блок, только что написавший «Двенадцать», ненавидевший буржуазию и проклинаемый всеми своими былыми друзьями как отступник, терзался сомнениями и в том, правилен ли был весь его прежний путь, и в том, не кончится ли вместе с буржуазией культура. Февраль 1918 года был самый трудный моменте его жизни. И Валя Стенич, мгновенно отгадав, что творится у него в душе, предстал пред ним как демон-искуситель. Он ворвался в эту замкнутую, предельно сложную, для всех других неясную душу и рассчитанно, без промаха говорил именно то, что могло причинить этой душе боль. Блок победил искушение. Но Стенича запомнил крепко.

Для такого обмана нужен был большой ум. И дар понимания чужой души, даже самой сложной. Этим даром Стенич обладал в высшей степени. И человек был редкостно умный.

О его детстве и ранней молодости я знаю довольно мало и только по его рассказам. А он, великолепный рассказчик, редко рассказывал о себе. Родился он в 1897 году. В Петербурге окончил немецкую Реформатскую школу — одну из лучших школ Петербурга.

Настоящая фамилия Стенича была Сметанич. Стенич — псевдоним, изобретенный им в самом начале литературной деятельности. Он не любил его и большинство своих переводов подписывал своей настоящей фамилией. Но прозвище «Стенич» прилипло к нему как кличка, он не мог от него избавиться и до конца дней своих был для всех Стеничем. Маяковский называл его Неврастеничем.

Из Реформатской школы его выгоняли каждый год за какую-нибудь новую проделку. И всякий раз принимали обратно — потому что учился он отлично. Ученье, по-видимому, давалось ему без всякого труда, так как способности у него были удивительные. Он с детства знал в совершенстве три иностранных языка — немецкий, французский и английский, — говорил, читал и писал на них, как по-русски.

Школьные проделки его всегда имели одну цель — поразить окружающих. Поразить все равно чем, но лишь бы поразить. Ведь Блока он прежде всего стремился поразить — и поразил. Это стремление поражать не оставляло его лет до тридцати, и этим объясняется то, что судьба его была полна таким множеством превратностей.

Я плохо знаю его похождения на Украине во время Гражданской войны. В 1920 году его перевели в Москву и назначили комиссаром школы военной маскировки. Военная школа эта была расположена за городом в дачном поселке, в соблазнительной близости от Москвы. И двадцатитрехлетний комиссар уезжал из нее в Москву каждую ночь. Ночи он проводил, разумеется, в знаменитом кафе поэтов «Стойло Пегаса». Отсюда пошло его личное знакомство с многими московскими литераторами — Маяковским, Брюсовым, Есениным, Шершеневичем, Мариенгофом, Львом Никулиным. Я никогда не был в «Стойле Пегаса», но по рассказам у меня создалось впечатление, что там все стремились друг друга поразить — и не столько даже стихами, сколько поведением. Конечно, Стенич не мог выдержать, чтобы кто-нибудь поражал окружающих больше, чем он сам. Стихи его не имели там никакого успеха, — да к этому времени он и сам уже не верил в свои стихи и писал их все реже и реже. Он мог бы поразить умом, — как он поразил Блока, — но умом ведь можно поражать только умных людей, а там умные были, по-видимому, в

меньшинстве. Он стал поражать завсегдатаев кафе удивительным соединением военной формы, комиссарской звезды на рукаве, рассказов о только что миновавших боях со знанием наизусть чуть ли не всей русской поэзии. Вероятно, впрочем, такое соединение не казалось в том обществе достаточно пряным, и его приходилось густо сдабривать тем нигилистическим дэндизмом, которым он поразил Блока.

Разумеется, это все только мои предположения, догадки, а твердо я знаю лишь то, что в начале 21-го года его арестовали. Его обвинили в предумышленном развале школы военной маскировки и в сношениях с врагами революции. И приговорили к расстрелу.

Он рассказывал мне, что для него самым страшным был момент, когда с его рукава спарывали красную комиссарскую звезду. Восемь — десять дней ждал он расстрела. Потом расстрел заменили многолетним тюремным заключением. Но просидел он всего месяцев восемь. Кончилось тем, что дело пересмотрели. Его оправдали и выпустили, не восстановив в партии.

О его жизни в течение последующих пяти лет я не знаю почти ничего. Освобожденный из Бутырок, он покинул Москву и, меняя профессии, слонялся по разным городам. Месяцы ли, годы ли, но какое-то время прожил он в Баку. Потом вернулся в Ленинград.

В 1925 году Стенич уже жил в Ленинграде и работал редактором в кооперативном издательстве «Мысль». Это было лжекооперативное издательство. В эпоху нэпа всяких лжекооперативов было множество. С откровенностью, кажущейся теперь невероятной, кооперативной вывеской прикрывалось процветавшее частное предприятие Льва Владимировича Вольфсона. Помещалось оно в Ковенском переулке, на четвертом этаже, и занимало просторную квартиру. В конце этой квартиры находилось святое святых — кабинет Вольфсона, хозяина, где в одиночестве за громадным столом в громадном кожаном кресле восседал «сам» — огромный слоноподобный мужчина, грозно хохотливый, грубый, властный, басистый и необычайно жизнедеятельный. Перед кабинетом была обширная комната в три окна, уставленная столами, — бухгалтерия, касса и производственный отдел. Все работники, сидевшие за этими столами, были родственники Вольфсона — кузены, кузины, племянники, племянницы. У всех было родственное сходство с хозяином — толстые шеи, широкие затылки, хохочущие рты. Кассирша — племянница — сидела за отдельным столом перед железным несгораемым шкафом. Она была совершеннейший Вольфсон в юбке — огромная, здоровенная, с массивными плечами, с голыми руками, толстыми, как окорока. Главными в

этой комнате были два кузена в серых костюмах — Йоня и Моня — тоже вылитые Вольфсоны, только помельче, в уменьшенном, так сказать, масштабе. Время от времени из кабинета раздавался громовой голос:

— Йоня!

— Моня!

И Йоня или Моня, перед этим жевавший бутерброд и рассказывавший анекдоты, вскакивал с испуганно-подобострастным лицом, вытирал губы и вбегал в кабинет к своему могучему родичу, осторожно прикрыв за собой дверь.

Эти две комнаты, полностью занятые родом Вольфсонов, от остальных редакционных комнат были отделены коридором. По другую сторону коридора были расположены корректорская и редакторская. Это была плебейская часть издательства, его низок. В корректорской распоряжался дедушка Флейтман — длинный тощий старик с наивными детскими глазами. Он начальствовал над тремя корректоршами — худосочными выцветшими девами из слоя, как тогда говорили, «бывших», то есть из петербургских чиновничьих семей, разоренных революцией и теперь продававших Вольфсону свою гимназическую грамотность, сидевших по шестнадцать часов за корректурами, заглушая папиросным дымом голод. Рядом с корректорской была редакторская. Редакторов было только двое — старая переводчица Алла Митрофановна Карнаухова и Валя Стенич. Вольфсон держал их за «интеллигентность». Из работников издательства только они двое знали иностранные языки, а «Мысль» издавала почти исключительно переводную литературу, и поэтому они были необходимы. Но Ленинград двадцатых годов был полон безработной интеллигенции, и заменить их Вольфсон мог в любую минуту. К тому же они не были его родственниками. И в иерархии издательства они занимали самую нижнюю полку — ниже даже несчастных корректорш.

Квартира Вольфсона находилась в том же Ковенском переулке, в доме напротив. Каждый день в двенадцать часов мадам Вольфсон готовила у себя на кухне гигантскую яичницу из двадцати пяти яиц. Домработница несла гигантскую сковороду с шипящей яичницей через переулок в издательство. Она сворачивала из коридора в комнату Йони и Мони, проходила сквозь нее, вносила яичницу в кабинет хозяина и ставила сковороду перед ним на письменный стол. Вольфсон съедал семь-восемь яиц. Насытившись, он отправлял сковороду в соседнюю комнату. Там ее окружали Йоня, Моня и кассирша. Они доставали из столов свои ложки и ели, непринужденно веселясь. Потом Моня спохватывался:

— Надо же оставить старику Флейтману.

И сковорода с последними яйцами переправлялась в корректорскую. Дедушка Флейтман склонял над ней свою седую бороденку. Корректорши жеманились, но тоже получали по яичку, — конечно, если оставалось. И наконец, когда на сковороде не было уже ничего, кроме растопленного масла и жижи пролитого яичного желтка, ее передавали в редакторскую. Там Стенич и старуха Карнаухова тщательно вытирали ее дно принесенным из дома хлебом.

С издательством «Мысль» жизнь столкнула меня в 1925 году.

К этому времени я был уже женат, и летом, в июле, жена моя родила дочку. Мы жили рядом с «Мыслью», в том же Ковенском переулке, снимали комнату у хозяйки и предельно нуждались. Я уже кое-что перевел с английского, кое-что из моих переводов было напечатано, и все мои финансовые планы строились только на переводах. Не помню, как мне удалось получить перевод в издательстве «Мысль». Мне поручили перевести роман английского писателя Стивена Грэхэма «Underlondon» — очень хороший роман. Это была большая удача для начинающего литератора. Со мной заключили договор, и я с увлечением принялся за работу. Правда, с самого начала меня ждала неприятность — в романе было восемнадцать листов, а мне предложили сделать так, чтобы в русском переводе получилось двенадцать. Все переводные романы, выпускаемые «Мыслью», имели одинаковый размер — двенадцать печатных листов — ни на букву больше, ни на букву меньше. Этого требовали какие-то коммерческие расчеты Вольфсона. А роман Грэхэма, как всякий хороший роман, туго поддавался сокращениям и явно проигрывал от них. Да и мой заработок уменьшался на целую треть. Но работу получить было трудно, и я беспрекословно согласился на все.

Настоящая беда пришла, когда я кончил работу. Я ужасно спешил, так как, согласно договору, деньги мне полагались по сдаче и приему рукописи, и нужда подгоняла меня. Три месяца я просидел за столом и довел роман до конца. Прием рукописи прошел без сучка без задоринки, — ее никто даже не прочитал, а просто подсчитали листы и, убедись, что их ровно двенадцать, отправили в набор. Теперь, по договору, мне должны были заплатить деньги. По десять рублей за печатный лист — 120 рублей! И я отправился к кассирше. Кассирша — в лиловом платье, покрывавшем такие груди, что ими можно было бы выкормить слона, с голыми жирными руками, с могучей вольфсоновской шеей, — потешаясь над моей наивностью, объяснила мне, что они платят только по субботам. Я пришел в

субботу. Но в субботу случайно в кассе не оказалось денег. Я пришел в следующую субботу, потом в следующую. Результат был все тот же. Мне становилось все труднее возвращаться домой, к жене, кормившей младенца, и объяснять ей, что я пришел с пустыми руками. Положение у меня было безвыходное, я сердился, возмущался, но ничего не мог поделать. Я понимал, что мне нужно поговорить с Вольфсоном, но к нему меня не пускали. «Сейчас он занят», — отвечали мне, и выше Йони и Мони я проникнуть не мог.

Шли уже корректуры переведенного мною романа, а денег я еще не получил ни копейки. И вот как-то раз я натолкнулся на самого Вольфсона в комнате у Йони и Мони. Он шел в свой кабинет, но я остановил его.

Он был выше меня на полторы головы. Не толст, но дороден, плечист и удивительно здоров. Ему, вероятно, было года тридцать два, и только по своей крайней молодости я считал его человеком солидного возраста. Он был разительным воплощением той новой буржуазии, которая на короткий срок возникла в России после Гражданской войны, — наглой, жадной, отважной, бесцеремонной, циничной, не сомневающейся в своей конечной победе. Я спросил его, когда он мне заплатит.

— Приходите в следующую субботу, — сказал он и двинулся к двери своего кабинета.

Я сказал, что приходил уже много суббот.

— Мы всем так платим, кроме тех, кто нам очень нужен, — ответил он.

Это меня взорвало. И я решил пустить в ход свой главный козырь. Я к тому времени был уже членом профсоюза и сказал:

— Я буду жаловаться на вас в профсоюз.

Он несколько мгновений молча смотрел на меня, потом захохотал. Хохот у него был громовой, его всего колыхало от смеха. Захохотал Йоня, захохотал Моня, взвизгнула и захохотала кассирша. У них у всех были золотые зубы, и открытые рты их сверкали, как четыре солнца. Их трясло от хохота. Дедушка Флейтман громко смеялся, стоя в дверях.

Униженный, я вышел в коридор. Я сам понимал, что обращаться в профсоюз — бесцельно. Во всяком случае, это будет очень долгая канитель. В отчаянье я решил посоветоваться со Стеничем.

Я был с ним едва знаком.

Взволнованный, вошел я в редакторскую. Несмотря на жаркую погоду, Стенич был, как всегда, элегантен — пиджак в талию, белейшая рубашка, запонки на манжетах, яркий, но почтенный галстук. Он слушал меня внимательно и серьезно,

блестя очками, Анна Митрофановна вздыхала. Тут же был и дедушка Флейтман.

— Есть один способ получить с него деньги, — сказал Стенич, выслушав мою негодующую речь. — Единственный, но зато верный…

— Какой?

— Возьмите лист бумаги и напишите заявление.

Я схватил лист и ручку:

— Кому писать?

— Вольфсону, конечно. Возьмите заявление в зубы, ложитесь на брюхо и ползите к нему в кабинет. Тогда он вам сразу заплатит.

И, глядя в мое растерянное лицо, прибавил:

— Другого способа нет.

Я почувствовал себя оскорбленным. Потом посмотрел в его красивые глаза, увеличенные стеклами очков, и рассмеялся. Рассмеялся с благодарностью, потому что он дал мне урок: не унижаться.

Мы вышли из издательства вместе. Еще на лестнице он стал читать наизусть Блока. Мы наперебой читали друг другу стихи, восхищаясь, чувствуя, что понимаем их одинаково и что наш общий мучитель Вольфсон не имеет над нашими душами власти.

И внезапно увидели мою двадцатилетнюю жену, возившую в колясочке полуторамесячную дочку.

Я представил Стенича. Он с восхищением разглядывал нашу дочку, — оказалось, ему никогда не случалось видеть таких маленьких детей.

— О, эти девственные пяточки, которые еще никогда не ступали по земле! — воскликнул он.

С этих пор мы подружились, безудержно, как дружат только в ранней молодости, и стали встречаться каждый день.

В течение тринадцати лет я встречался с Валей Стеничем почти ежедневно, почти каждый день послеобеденные часы он пролеживал у меня в кабинете на диване, он был человек с открытой душой и делился со мной почти каждым своим помыслом, и все же я чувствую, что бессилен его описать. Он был ярок, как павлиний хвост, и так многоцветен, что у меня не хватает красок. Первоначально мы сошлись с ним на любви к стихам. Мы без конца читали друг другу стихи и удивлялись совпадению наших вкусов. Так же как и я, из поэтов двадцатого века он превыше всего ставил Блока. Он знал Блока всего наизусть и, когда читал мне его стихи, поминутно снимал очки, чтобы вытереть слезы. Очень любил некоторые стихи

Маяковского. Подобно мне, любил Мандельштама и Ходасевича. Из старых поэтов он, как и я, любил Некрасова, Фета, Полонского, которых в те годы в среде интеллигентной молодежи не любили, не знали и, не зная, презирали.

Как я уже говорил, в эпоху нашей дружбы он больше не писал стихов и не считал себя поэтом. Он слишком любил и понимал поэзию, чтобы не видеть, как слабы были его собственные попытки. Он даже скрывал, что прежде писал стихи, и никогда не читал мне тех своих стихов, которые когда-то читал Блоку.

В нашей дружбе не было равенства. Он был старше меня на семь лет, и это чувствовалось всегда, а особенно вначале. Нередко он обращался со мной насмешливо, но я не обижался, так как любил его и твердо знал, что он меня любит. Чаще всего издевался он над моей неряшливостью. Говорил, например, про мой галстук, что чуть я его снимаю, он сам ползет в помойное ведро. Мои брюки, утверждал он, до того просалились, что стали тверды, как жестяные трубы, и я, раздеваясь по вечерам, ставлю их возле кровати стоймя, а утром впрыгиваю в них сверху.

Я хохотал вместе с ним, чувствуя, что под насмешкой скрывается ласка.

Он был блистательно и тонко остроумен, но передать его остроумие невозможно, потому что заключалось оно не столько в слове, сколько в жесте, в интонации и всегда было приурочено к мгновению, к неповторимому сплетению характеров и обстоятельств. Некоторые его остроты разрастались до размера целых новелл или мифов — с вымышленными персонажами, которые действовали в течение многих месяцев и всякий раз — к случаю. Был им изобретен, например, такой персонаж — Дурак с Байдарскими воротами. В жизни этого Дурака было одно-единственное яркое событие — он как-то побывал в Крыму и повидал Байдарские ворота. Они произвели на него неизгладимое впечатление и чрезвычайно повысили уважение к себе. И когда кто-нибудь в его присутствии говорил о политике, о музыке, о литературе, то есть о чем-нибудь для него непонятном, он, чтобы доказать, что и он не лыком шит, хлопал говорившего по колену и начинал:

— Позвольте, я вас перебью. Когда прошлым летом я был на Байдарских воротах…

И когда Стенича кто-нибудь перебивал, он говорил:

— Вы как Дурак с Байдарскими воротами.

Дурак с Байдарскими воротами имел свои суждения обо всем на свете, и, если что-нибудь случалось, Стенич сообщал, что думает об этом его Дурак. Особенностью этого Дурака было безмерное преклонение перед логикой. Когда он мыслил, из его

головы вылетали искры и раздавался сухой электрический треск.

Вообще Стенич удивительно чутко чувствовал дураков и сразу распознавал их, под какой бы маской они ни скрывались. Про одного нашего знакомого он говорил:

— Это такой дурак, что за ним уже начинаются вещи: самый умный шкаф, самый умный стол.

Кроме Байдарского Дурака одно время был у него другой мифический персонаж, который говорил про себя, картавя:

— Я не граф, я не князь, я Овчина-Телепень-Серебряно́й-Погорельский.

Все рассказы о похождениях Овчины-Телепня были приурочены к 1916 году — последнему году перед революцией, когда Петроград кишел великим множеством авантюристов. Овчина-Телепень-Серебряно́й-Погорельский выдавал себя за прямого потомка древних московских бояр, носил боярскую бороду, стригся в кружок и ходил в Дворянское собрание в расшитом кафтане и русских сапогах. Был у него роскошный выезд — рысак, покрытый черной сеткой с серебряными кистями, и огромный кучер Никита с бородой лопатой, с перьями на шапке, в поддевке с красным кушаком.

— Никита, к Казанскому собору! — говорил ему Телепень.

Рысак мчал его к Казанскому собору. Там, на самом людном месте Невского, Овчина-Телепень выходил, поднимался на паперть, но в собор не входил, а падал на ступени и начинал молиться. Молился он долго, вокруг собиралась огромная толпа, свистели городовые, но он ни на кого не обращал внимания, крестясь и отбивая поклоны. Потом вдруг вставал, садился в свой экипаж и кричал во весь голос:

— Никита, к Донону.

Донон был самый дорогой ресторан Петрограда.

— Никита, за мной!

Овчина входил в зал, сопровождаемый Никитой, и шел прямо к стойке.

— Рюмку водки!

Рюмка водки даже у Донона стоила всего сорок копеек, ради таких ничтожных трат к Донону ходить не полагалось, и рюмку протягивали Овчине-Серебряному с пренебрежением. Тогда он, выдержав паузу, говорил:

— И дюжину шампанского Никите!

Стенич был неистощим в изобретении похождений Серебряно́го-Погорельского, импровизировал все новые сцены с длинными диалогами. Я почти все перезабыл, помню только, что одна из плутней Телепня заключалась в том, что он собирал деньги для никогда не существовавшего кавалергарда Коко

Голицына, которому якобы грозит исключение из полка за неплатеж карточных долгов.

— Кто не был молод, графиня! — говорил, грассируя, Овчина-Телепень девяностолетней графине Клейнмихель, фрейлине императорского двора, заехав на своем Никите к ней в Аничков дворец. — Коко кумир полка, его обожают. Отец у него выжил из ума, скуп, не дает ни копейки… Если Коко выгонят, это будет такой удар для его дяди, князя Григория… Помните сетэмабль прэнс Григуар, графиня?.. Вот подписной лист… Граф Адлерберг подписывался на четыреста…

Получив сторублевку, Овчина-Телепень-Серебряно́й-Погорельский отказывался от кофе и удалялся. Из всех его четырех фамилий настоящей была только Погорельский. Отец его держал ларек на Никольском рынке…

Иногда героями стеничевских мифов становились не вымышленные, а живые лица.

Остроумие Стенича бывало нередко язвительным. Некоторые люди какую-нибудь язвительную его насмешку запоминали на всю жизнь и не прощали до конца дней своих. Таких людей, оскорбленно кривящихся при имени Стенича, я встречаю и сейчас, через четверть века после его смерти.

Один член Союза писателей как-то сказал при нем:

— Наш брат писатель…

Стенич мгновенно к нему обернулся и воскликнул:

— Как! У вас есть брат — писатель?

В редакции «Литературного современника» Стенич застал как-то одну поэтессу, сидевшую над корректурой. Заглянув ей через плечо, он увидел, что она правит корректуру своего стихотворения.

— Как! Даже вас печатают в этом журнале! — с ужасом воскликнул он на всю редакцию.

Его многие не любили, но для нас с женой каждый его приход был праздником. Хотя издевался он над нами не меньше, чем над прочими. Однажды он у меня нашел тетрадку моих стихов, которые я писал, когда мне было двенадцать лет — в Куоккале, в 1916 году. Невозможно передать, до какой степени он издевался над этими младенческими стихами. Он их декламировал без конца, он их пел. Наиболее глупые строки он выучил наизусть и читал их вслух в присутствии разных почтенных лиц, заставляя их смеяться надо мной. Но я не испытывал при этом ни обиды, ни малейшей даже досады и от души хохотал громче всех. Я знал, что этот неистовый весельчак, этот пронзительно злой насмешник — на редкость добрый, привязчивый, ласковый, скромный и грустный человек.

Наедине с собой он часто упорно грустил и даже подумывал о самоубийстве. Но шутя не раз меня уверял, что от самоубийства его уберегает привязанность не к жизни, а к житейским мелочам.

— Я бы покончил с собой, — говорил он, — но вот отдал в чистку белые брюки, а они будут готовы только в пятницу.

Этот неистощимый весельчак был очень грустный человек по натуре. Эта грусть вызывалась постоянным недовольством собой, — именно недовольством самим собой, а не внешними формами своей жизни. К внешним формам жизни — к бедности своей, к отсутствию славы — был он, в сущности, почти безразличен. С полным правом он говорил про себя словами Маяковского: «И кроме свежевымытой сорочки, сказать по совести, мне ничего не надо». А сорочки у него всегда были чистейшие. Безошибочно, как никто, умел он выбрать себе галстук, и любой пиджак сидел на нем так, словно сшит у лучшего портного. Он был одним из элегантнейших мужчин своего времени, не затрачивая на то ни особых усилий, ни средств. Он никогда не имел прочной семьи, не увлекался картами, не пьянствовал и удовлетворялся очень малым, не чувствуя себя ущемленным. Главный источник недовольства собой лежал в другом. Он не мог представить для себя никакой деятельности, кроме литературы. А из литературных его попыток очень долго ничего не получалось, — ничего такого, чем бы он мог быть доволен сам.

Писать стихи, как я уже говорил, он бросил бесповоротно. Он решил писать прозу, и я не сомневался, что его ждет успех. У него были все данные, чтобы стать прозаиком, — наблюдательность, меткость, чувство слова, умение построить образ, характер. Правда, все это проявлялось в его устных рассказах, но почему бы тем же свойствам не проявиться и на бумаге? И вот завел он тетрадку в клеенчатой обложке и стал время от времени в ту тетрадку что-то записывать. Я любопытствовал, но он держал в секрете.

— Так… Отдельные наблюдения… Удачные фразы… — объяснил он. — Материал собираю…

Прошло полгода, а то и больше, прежде чем я увидел эту тетрадку во второй раз. С удивлением я заметил, что в ней исписаны только первые три страницы.

— Но ведь это заметочки, — сказал он. — Кирпичики, из которых все будет построено.

Он снял очки, чтобы протереть их, и посмотрел на меня робко и неуверенно. Когда он снимал очки, глаза его всегда оказывались робкими и неуверенными.

Я попросил его почитать, и он прочел — с надеждой и

страхом в голосе. Я слушал его внимательно, с напряжением, стараясь разобраться. Но разобраться не мог. Все это были отдельные фразы, никак между собою не связанные, или коротенькие зарисовки — и тоже каждая особняком. Во всем этом нельзя было уловить никакого общего замысла, даже сюжетного или стилистического, это не было объединено никакой целью, никакой мыслью. Не было даже наблюдательности, приметливости. Объединяло эти фразы только стремление к вычурности, только желание сказать так, как никогда не было сказано раньше. Да и вычурность была вымученная, без блеска, без юмора. Вот какой примерно вид имела одна из заметок:

«В ресторан вошел грузин с лицом величественным, как явление природы — как гроза, как горный хребет, как облако».

Эта заметка привлекла мое внимание, потому что, пожалуй, была лучше других.

— Что вы собираетесь делать с вашим грузином дальше? — спросил я.

— Не знаю, — ответил он печально и захлопнул тетрадь.

— Но ведь у вас есть Серго Куртикидзе! Вот если бы вы о нем написали!..

Серго Куртикидзе был сосед Стенича по коммунальной квартире, и Стенич создал о нем один из своих блистательнейших мифов. Я никогда не видел Серго Куртикидзе, но точно знал, что он скажет и что он сделает при тех или иных обстоятельствах. Стенич вылепил из него образ по-гоголевски отчетливый и яркий. Теперь я, разумеется, все перезабыл и помню только, что Куртикидзе хоронил свою скончавшуюся тещу по православному обряду, и отпевал ее сам архиерей; на поминках тоже присутствовал архиерей, и потом Серго Куртикидзе говорил Стеничу:

— Этот архиерей такой интеллигентный человек: прекрасно ко мне относится.

С тех пор весь круг знакомых Стенича стал употреблять слово «интеллигентный» в том смысле, который ему придал Серго Куртикидзе. Стенич говорил мне:

— Главный бухгалтер Госиздата такой интеллигентный человек — выдал мне сегодня аванс.

— А мне отложил уплату до вторника, — жаловался я.

— Ну, для вас он полуинтеллигентный, а для меня интеллигентный: прекрасно ко мне относится!

И я посоветовал Стеничу вместо всех этих заметок сесть и написать про Серго Куртикидзе.

— Не получится, — ответил он.

— Ну, напишите про Овчину-Телепня Серебряно́го-

Погорельского.

— Тоже не получится. Это все можно рассказывать, а писать нельзя. Потухнет на бумаге. У меня потухнет…

И Стенич, страдавший слишком ясным пониманием себя и своих возможностей, больше не пытался писать прозу. Писать он не мог. Он был идеальный читатель.

…Он читал и восхищался. Как он умел восхищаться! Он восхищался деятельно, заставляя восхищаться всех кругом. Он ненавидел и презирал тех, кто не восхищался с ним вместе. Мало сказать, что он восхищался, — он влюблялся. У него были постоянные неизменные любви — Толстой, Достоевский, Пушкин, Блок, — и внезапные влюбленности, пламенные и сокрушительные. Влюблялся он в современных поэтов и писателей, влюблялся разом — и в книгу, и в автора. Он был великий пропагандист складывавшейся в те годы советской литературы. Мы, ленинградские литераторы, именно от Стенича узнали о «Разгроме» Фадеева, о Василии Гроссмане, о Валентине Катаеве, об Ильфе и Петрове, об Юрии Олеше. Разумеется, мы узнали бы о них и без Стенича, но именно Стенич первый растолковал нам их, заставил нас ими восхищаться, понять каждого как неповторимое явление искусства. Ему всегда мало было восхищаться книгой и заставлять всех кругом восхищаться ею; ему нужно было знать любимого автора лично, дружить с ним, обольщать его, спорить с ним, дразнить его, чтобы размотать его, как клубок ниток, до самого конца, до деревянной катушки. Он часто ездил в Москву и проводил там много времени, а потом, вернувшись, часами рассказывал нам о Евгении Петрове, о брате его Валентине Петровиче Катаеве, о Льве Никулине, о Юрии Карловиче Олеше, пересказывал их шутки, блистательно имитируя неповторимую манеру каждого острить, наблюдать, думать. Впоследствии я сам познакомился с ними и мог убедиться, до какой степени Стенич был точен и проницателен. Признаться, при личном знакомстве я испытал даже некоторое разочарование — по рассказам Стенича каждый из них представлялся мне ярче и определеннее.

С Юрием Карловичем Олешей у Стенича был настоящий многолетний роман — иначе не назовешь те отношения, полные восторга, ревности, любовных распрей, тяжелых объяснений и снова восторга, которые их связывали. Конечно, как во всяком романе, один любил, а другой позволял себя любить, и любил, конечно, Стенич, а позволял любить Олеша, но так уж бывало у Стенича во всех его романах с писателями. Он обречен был любить больше, чем любили его самого, и привык к этому, и нисколько этим не тяготился, потому что любовь его была

бескорыстна.

Казалось, сама природа создала его для того, чтобы он был другом писателей. Писателю всегда нужен такой друг, умный, пылкий, проницательный, заинтересованный в его работе почти как он сам. Стенич был чужд лести, он никогда не говорил человеку в лицо того, чего не чувствовал и не думал; напротив, он был насмешлив до жестокости, и проницательных его насмешек не избегал никто — ни враг, ни лучший друг. Едкой кислотой своих насмешек он выжигал все глупое, пошлое, фальшивое, напыщенное, механическое. Для высмеиваемого единственной защитой было — смеяться вместе с ним. И человек, который был строг к себе и требовал от себя многого, смеялся над собой вместе со Стеничем. И дорожил дружбой Стенича, потому что Стенич помогал ему понять самого себя.

Стенич, как мы знаем, спорил с Блоком, но этот спор был сплошной мистификацией, потому что Стенич был не только почитателем, но и единомышленником Блока. Этот спор был подобен спору черта с Иваном Карамазовым, — ведь черт тоже говорил Ивану Карамазову только то, что думал сам Иван Карамазов и что он ненавидел в себе. Стенич спорил с Блоком с позиций эстетизма, с позиций представлений об искусстве как о замкнутой сфере, то есть позиций, которые всегда были искушением для Блока, искушением, которое Блок преодолевал трудно, с гневом и ненавистью. Вот причина, почему спор со Стеничем так задел Блока и так взволновал его. А на самом деле Стенич был единомышленником Блока, любил в искусстве только живое, только страстно заинтересованное в общественной человеческой правде.

Как-то раз в середине тридцатых годов Стенич явился к нам и сказал:

— Я сейчас целых два часа импонировал Тынянову.

Я отлично знал, что на его языке называлось «импонировать». Это значило так поговорить с человеком, чтобы задеть его за живое, взволновать и заставить раскрыться. «Импонировал» Стенич обычно не соглашаясь, а споря. Искусство «импонирования» требовало прежде всего глубокого знания собеседника, отгадки его внутреннего мира, умения невзначай коснуться той его раны, которая наиболее его мучает, и при этом не потерять, а завоевать его доверие и заставить его вывернуть себя наизнанку. Чем умнее собеседник, тем труднее ему «импонировать», а Тынянов был человек умнейший, тончайший, образованнейший, не менее остроумный и язвительный, чем сам Стенич. Вот почему Стенич был так горд своей удачей. Впрочем, я не вполне уверен, что он остался победителем в споре.

Неизвестно, кто кого «переимпонировал». В конце тридцатых годов, когда Стенича уже не было на свете, я часто встречался с Тыняновым, и тот постоянно заговаривал со мной о Стениче, и всегда с уважением и каким-то тревожным интересом.

Стенич, открыватель талантов, один из первых заметил в Ленинграде двух поэтов — Бориса Корнилова и Александра Прокофьева. Оба они состояли в ЛАППе, а ЛАПП был полон поэтов, подражавших Крайскому и Евгению Панфилову, очень слабеньких и почти неотличимых друг от друга. И Стенич первый прокричал на весь город, что Корнилов и Прокофьев не просто несколько даровитее других, а титаны, по-новому изображающие мир. Слушали его с недоверием, но недоверие только подстегивало его энтузиазм. Переходя из дома в дом, из редакции в редакцию, влюбленно читал он «Улицу Красных Зорь» Прокофьева — всю книгу наизусть. Для меня «Улица Красных Зорь» — лучшая, любимейшая книга Прокофьева, — может быть потому, что полюбить ее заставил меня Стенич. Не меньше восхищался он и Корниловым и признавал первенство то одного, то другого. Они оба действительно резко выделялись среди толпы гладеньких эпигонов акмеизма, сладеньких «пролетариев», набожно воспевавших вагранки взятыми напрокат у Бальмонта ритмами, образами у имажинистов, — всей этой толпы, которая заглушала советскую литературу шумом своих мелких драк. Корнилов и Прокофьев писали о революции, о новой складывавшейся кругом жизни, писали новыми незалитературенными словами, писали смело и прямо, с юмором, с патетикой, с любовью к людям, с пристальным вниманием к действительности. И Стенич в пропаганду их стихов вложил весь свой бешеный темперамент. Разумеется, по своему обыкновению, он постарался подружиться с ними, поимпонировать им. Сошелся Стенич и еще с одним рапповцем — с Михаилом Чумандриным, — имя которого звучало грозно и страшно для питерских интеллигентов конца двадцатых годов. Это был молодой толстяк в косоворотке, самоуверенный, темпераментный, с самыми крайними левацкими взглядами. Его приверженцы дали ему прозвище «бешеный огурец». Он не признавал русских классиков, потому что они были дворяне, не признавал переводной литературы, потому что она сплошь буржуазная.

— Лучше своя телега, чем чужой автомобиль, — любил говорить он.

При его нетерпимости в понятие «свой» попадали чрезвычайно немногие. Все те писатели, которые с первых лет революции создавали советскую литературу, оказались для него

не «своими», а «чужими», — просто потому, что были интеллигенты. «Своими» он признавал только некоторых рапповцев. Всех остальных он ненавидел и считал нужным истребить. Алексей Толстой — новобуржуазная литература, Маяковский — мелкобуржуазный поэт, Федин и большинство серапионов — правые попутчики…

Он казался несокрушимым в своей заскорузлой узости. Сверкая маленькими голубенькими глазками на толстом одутловатом лице, держал он свои сокрушительные речи — всегда от имени советской власти и мирового пролетариата, — и всякого, кто осмеливался ему возражать, немедленно причислял к контрреволюционерам. Он не был ни карьеристом, ни приспособленцем. Это не было средством для проталкивания в печать своих неумелых романов. Это был человек скромный, бескорыстный, даже аскетический. Нетерпимость его была искренняя.

— Он на чистом сливочном масле, — говорил про него Стенич. — Ни капли маргарина.

Тем более сокрушительной казалась его нетерпимость. И было нам чему удивляться, когда вдруг Чумандрин подружился со Стеничем.

Казалось бы, все в Стениче должно было бы быть ему чужим и противным, начиная с галстука. Чумандрин считал галстук признаком буржуазности, галстуков не носил и всех людей в галстуках брал под подозрение. Исключение из партии, непролетарское происхождение, знание трех языков, обоготворение Льва Толстого и Блока, любовь к стихам Мандельштама и Ахматовой — «этих внутренних эмигрантов», дружба с «правым попутчиком» Олешей — все должно было отвращать Чумандрина от Стенича. И вдруг оказалось, что то тут, то там их видят вместе. Причем Чумандрин хохочет от каждого слова Стенича и поглядывает на него не только ласково, но даже восхищенно. И пожалуй, еще удивительнее было то, что Стенич говорил про Чумандрина:

— Пишет пока плохо. Но дьявольски умен.

И вот на глазах у нас Чумандрин стал изменяться. Уже одно то, что мы увидели его лицо, прежде всегда насупленное, смеющимся, изменило наше представление о нем. Оказалось, что природа весьма щедро наградила его благодатным чувством юмора. Медленно, но упорно, как весенний лед, таяли его сектантские пролеткультовские представления о литературе. Прежде всего выяснилось, что он просто не читал всего того, что так ненавидел. Стенич прочел ему наизусть «Медного всадника» — и потряс. Чумандрин стал запойно читать Льва Толстого и чем

больше читал его, тем лучше относился к современным писателям, жившим тогда в Ленинграде, — к Чапыгину, к Шишкову, к Форш, к Федину, к Слонимскому, к Козакову, к Никитину, к Зощенко. В Зощенко он просто влюбился, — здесь тоже сыграла роль его чувствительность к юмору. На наших писательских собраниях он стал говорить о Зощенко не только уважительно, но даже как-то робко. В «попутчиках», которых он так упорно громил и разоблачал, он вдруг увидел своих товарищей, единомышленников и стал деятельно сотрудничать с ними.

Я вовсе не собираюсь все это приписывать одному только влиянию Стенича. Это был общий процесс, который шел тогда подспудно, — слияние так называемой «пролетарской» литературы с так называемой «попутнической» в единую советскую литературу. И дружба Стенича с Чумандриным была только частным случаем, в котором проявился этот процесс. Чумандрин был умный, сложный, искренний человек, созданный революцией и воинственно преданный ей. Это резко отличало его от той толпы невежественных, завистливых и нечистоплотных карьеристов, которыми был переполнен РАПП.

Стенич дружил с ним до конца своих дней, постоянно с ним спорил, но в основном, самом главном, всегда оказывался с ним согласен. Это главное заключалось в их общей ненависти к мещанству, в общей любви к нашей революции и в вере в ее правоту.

У Стенича было много друзей, даже, может быть, слишком много, он не всегда был разборчив, сам понимал это и говорил, цитируя Стиву Облонского:

— Это мои постыдные «ты».

Но никого на свете не любил он так сильно, преданно и благоговейно, как Михаила Михайловича Зощенко. Он упивался каждой его строчкой. Вбежит в квартиру и, снимая пальто, скажет:

— Он мне сейчас читал предисловие к своей книге. Там есть такая фраза: «Эта книга написана простым суконным языком, доступным самому тупому читателю…»

И, протирая платком очки, качаясь от смеха, бормочет:

— Гениально… Гениально…

Для него Зощенко был не легким юмористом, высмеивающим обывателя, каким он казался всем, а писателем глубочайше трагическим. Для него это был титан, поднявший на своих плечах всю безысходную боль маленького человека. Он любил не столько рассказы Зощенко, сколько его повести — «Аполлон и Тамара», «Сирень цветет», «Записки Синягина». Конечно, любил и рассказы

и видел в них то же, что в повестях, — не только смех, но и боль. Он любил Зощенко за его великий демократизм, за народность. Он видел в Зощенко одного из тех наиболее им чтимых писателей, которые, являясь искушеннейшими мастерами, свободно входят в сердце любого простодушного и неискушенного человека.

— Я хотел бы печататься на папиросных коробках и конфетных бумажках, — говорил Зощенко, и эти слова приводили Стенича в восторг, вызывали у него слезы умиления.

Они были связаны тесной дружбой, и Зощенко не только позволял Стеничу любить себя, но и сам любил его.

— Валя, он же нежный, как женщина!.. — сказал мне как-то Зощенко.

Я помню их вместе на улице — красивых, элегантных, с тростями в руках. Стенич высокий, а Зощенко маленький, оливково-смуглый, с офицерской выправкой, с высоко поднятой головой, с удивительно изящными маленькими руками и ногами. Они вместе фланировали по улицам, вместе сидели в кафе, вместе дружили с актрисами из Театра сатиры и понимали друг друга с полуслова. Называли они друг друга Теодор и Амадеус. Не помню, кто из них был Теодор, а кто Амадеус. Оба эти имени были взяты из повести Зощенко «Записки Синягина». Стенич острил шумно, броско, звонко, с восклицаниями, стараясь быть замеченным всеми, поразить всех и в то же время «работая» только для одного — для Зощенко. Пусть остальные думают о нем что угодно, принимают его за шута, за скандалиста, за проходимца, лишь бы Зощенко оценил, задумался, рассмеялся. Смеялся Зощенко еле слышно, голос у него был негромкий, ровный, и шутил он всегда с неподвижным лицом, так что не сразу поймешь — шутит он или говорит серьезно. Он в те времена был еще весь светлый, добрый, мягкий, еще не одолевали его припадки мрачности, как впоследствии…

Стеничу не удалось стать ни поэтом, ни прозаиком. Переводчиком он стал случайно, против желания. И был переводчиком поразительным — по тонкости, по чувству стиля. Из него выработался великолепный мастер. Совсем к тому не стремясь, он оказался одним из основателей того, что мы сейчас называем «советской школой художественного перевода».

Начал он переводить, не помышляя ни о чем ином, кроме заработка, — да и о чем еще можно было помышлять, работая для издательства «Мысль». Так же, как и я, он сокращал роман любого размера до двенадцати печатных листов и стремился только к тому, чтобы сдать работу возможно быстрее, потому что Вольфсон не терпел задержек. Но его прирожденный талант

переводчика сказался с самого начала. Он не был ни поэтом, ни прозаиком, но обладал удивительной способностью заражаться чужим, а именно эта способность, по-видимому, как раз важнее всего для переводчика. Он влюблялся в писателя, которого переводил, сам превращался в него, чувствовал каждую особенность его стиля и передавал по-русски точно, находчиво и, главное, ярко, поражая гибкостью и богатством своего воображения. Когда он вырвался наконец из «Мысли» и стал работать для не столь диких издательств, он быстро оказался в ряду самых заслуженных и почтенных переводчиков.

Переводил он с немецкого и английского. Из немецких его переводов самая значительная его работа — «Опера нищих» Бертольта Брехта. С английского перевел он много, но больше всего души и труда отдал он переводу романов Дос Пассоса, и именно на их долю выпал наибольший успех.

Романы Дос Пассоса двадцатых годов, замечательные своей подлинной демократичностью, то трагические, то грустно-лирические, были эклектичны по стилю. Одни страницы были написаны в духе Синклера Льюиса, другие — в духе Томаса Харди, третьи — в духе Пруста, четвертые — в духе Джойса. Это ставило перед переводчиком особо сложные задачи, которые Стенич, с его изощренным чутьем к чужому стилю, разрешал блестяще. Он был влюблен в Дос Пассоса, эта любовь помогала ему перевоплощаться, он сам как бы становился Дос Пассосом, пишущим по-русски, он стремился всех заразить своей любовью к Дос Пассосу, и ему удалось заразить многих, в том числе и меня. Я читал Дос Пассоса с увлечением, много думал о нем, но никак не предполагал, что мне предстоит с ним встретиться.

Летом 1928 года мои родители снимали дачу на станции Сиверской, в сотне километров к югу от Ленинграда. Во второй половине лета к ним приехали и мы с женой и трехлетней дочкой. Лето было ужасное — дождь шел третий месяц не переставая. Сиверская в конце двадцатых годов было место нестерпимо унылое. Длинные прямые просеки, поросшие мокрой травой и огороженные гнилыми заборами, назывались проспектами — проспект Ленина, проспект Карла Маркса, проспект Октябрьской Революции. По этим проспектам ходить можно было только босиком; на них паслись тощие мокрые козы, привязанные к вбитым в землю колышкам. Беспрерывный дождь заставлял нас безвыходно сидеть в даче, тесной и неудобной, и мы хандрили. В то утро, о котором пойдет речь, отец мой был особенно не в духе. Он, как часто с ним случалось на протяжении всей его жизни, плохо спал несколько ночей подряд и потому

чувствовал себя больным и несчастным. Вскоре после завтрака его потянуло прилечь, но постель, в которой он промаялся без сна всю ночь, казалась ему отвратительной. И он разлегся на столе на застекленной террасе — длинный, костлявый, небритый, босой, прикрытый рыжим демисезонным пальто. Он надеялся задремать под шум дождя, но надежде этой не суждено было сбыться, так как калитка вдруг отворилась и в сад вошел Стенич с каким-то незнакомцем.

Стенич был в полном параде — крахмальный воротничок, великолепный галстук, отутюженный коричневый костюм (как любил он говорить, костюм «цвета наваринского дыма с пламенем»), коричневая шляпа; в те годы Стенич был чуть ли не единственный человек в стране, носивший шляпу, а не кепку. Пришедший вместе с ним незнакомец был одет гораздо хуже. Это был высокий тощий человек лет тридцати с небольшим, но уже совсем лысый. Маленькая его голова, ничем не прикрытая, была несколько закинута назад, словно он старался рассмотреть верхушки берез, и дождь свободно сек его по лицу и по лысине. На нем была какая-то куртка, надетая поверх фуфайки, и рядом с ним Стенич казался изысканным иностранцем. Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что этот незнакомец — иностранец, американец, и зовут его Джон Дос Пассос.

Дос Пассос, только вчера приехавший в Ленинград и явившийся к своему переводчику, выразил желание побывать за городом, и Стенич решил отвезти его к нам на Сиверскую, потому что в нашей семье говорили по-английски и мой отец, переводчик Уолта Уитмена и О. Генри, считался лучшим знатоком американской литературы. Все это было правильно задумано, но неудачно осуществилось. Во-первых, дождь, — нет ничего унылее и безотраднее ленинградских окрестностей в дождливую погоду. Во-вторых, мой отец: он отлично знал американскую литературу девятнадцатого века, но о более поздних писателях имел тогда, в конце двадцатых годов, самое смутное представление и о Дос Пассосе ничего не слышал. Кроме того, он не выспался, был раздражен, и приезд незнакомого гостя помешал ему и спать, и работать. Мама моя тоже была раздосадована, потому что гостя нужно кормить, а в доме не было ничего, кроме грибов и вареной картошки. К тому же тут же выяснилось, что Стеничу нужно немедленно бежать на станцию и возвращаться в город, а американец останется у нас на весь день.

Стенич ушел, а мы все уселись на террасе вокруг стола, уставившись на нашего гостя. Он нисколько не казался смущенным, охотно ел картошку с грибами и, щуря близорукие глаза, вглядывался в наши лица. Он начал расспрашивать нас о

наших родственных отношениях между собой и о том, как каждый из нас приходится бэби — то есть моей трехлетней дочке. Оказалось трудным ответить на этот вопрос, — мы не знали, как по-английски называются родственные отношения, кроме простейших. Тогда он стал спрашивать, как называются они по-русски, вынул записную книжку и стал записывать в нее: «plemyannitza», «nevestka». Тем временем мы хорошо его разглядели и как бы привыкли к нему. Привыкнуть к нему нам было легко, потому что, несмотря на то что он говорил по-английски, перед нами сидел типичнейший русский интеллигент, знакомый и понятный нам и по усмешке, и по мягкому взгляду близоруких умных глаз, и по неуверенным рассеянным движениям крупных рук, и по дырке на спущенном носке.

Отец мой оживился, разговорился, развеселился, но я чувствовал, что он хочет спать и гость ему в тягость. Дождь не то что прошел, а стал потише, и я, переглянувшись с женой, предложил Дос Пассосу покататься на лодке. Никакое другое развлечение в Сиверской придумать было невозможно. Он с готовностью согласился, сказав, что любит дождливую погоду и что нарочно ходит под дождем с непокрытой головой, чтобы волосы лучше росли. Мы катались втроем — Дос Пассос, жена моя и я. Речка Оредеж, узкая и глубокая, казалась темной под сенью ветвей, почти сплетавшихся над нею. Крупные капли падали с листьев в воду. Я греб, а Дос Пассос внимательно вглядывался в берега. Он сказал, что все это очень похоже на штат Мэн, граничащий с Канадой. Он был очень любезен с моей женой; выходя из лодки, он сорвал в мокрой траве желтенький цветочек и подал ей.

В город мы с ним отправились вместе. Помню, как мы вдвоем шагали через еловый лесок к станции. Только тут он наконец разговорился по-настоящему. Он сказал мне, что в нем течет одна шестнадцатая индейской крови, потому что бабушка его была на одну четверть индеанка. Он объяснил мне, что человек считается белым, а не цветным, если у него индейской крови не больше одной шестнадцатой. Если у человека одна шестнадцатая негритянской крови — он все равно цветной. Я сказал что-то об унизительном положении негров в Америке. Он сказал, что все время слышит разговоры об этом в Европе, но в Америке ничего подобного не наблюдал. Он знает многих негров, и все их любят и относятся к ним самым добродушным образом.

Я заговорил о его романе «Манхэттен», и он объяснил мне, что Манхэттен — его родина, где он с детства знает каждый уголок. И каждому жителю Манхэттена известна вывеска «Дос Пассос» над подвалом на углу Бродвея и такой-то улицы. В этом

подвале помещалась сапожная мастерская его деда, от которого он унаследовал свою португальскую фамилию.

Дед его приехал в Нью-Йорк из Лиссабона восемнадцатилетним парнем, не зная ни одного слова по-английски. Так он и не научился говорить по-английски, хотя дожил в Нью-Йорке до девяноста лет. Он женился на той бабушке Джона Дос Пассоса, в которой была одна четверть индейской крови; бабушка эта не знала ни слова по-португальски и прожила с мужем до глубокой старости в полном безмолвии; однако это не мешало ей настолько хорошо понимать мужа, что она родила ему тринадцать человек детей. Отец Дос Пассоса, сын этой четы, был по профессии адвокат.

Шлепая по грязи, добрались мы до станции, и тут выяснилось, что поезд в Ленинград только что ушел. До следующего поезда оставалось больше двух часов. И, как назло, снова полил дождь. Что было делать? Я предложил Дос Пассосу зайти в угрюмую избу рядом со станцией, на которой была вывеска «Буфет».

В буфете торговали только пивом. За столиками сидели сиверские выпивохи в разной степени опьянения. Мы заняли столик возле окна. На подоконнике лежал оставленный кем-то парусиновый портфель.

Я попросил пива, моченого гороха, черного хлеба, соли. Дос Пассос пил пиво с явным удовольствием. Он стал рассказывать про сухой закон в Америке и как его обходят. К сухому закону он был настроен крайне враждебно. Ему явно нравился и буфет, в котором мы сидели, и окружавшие нас люди. Он рассказал мне, как в Ленинграде он увидел пьяного, спящего на мостовой под дождем, и как он понял, что, несмотря на социализм, мы такие же люди, как все. Потом вынул из кармана книжечку, положил ее на стол передо мной и спросил, читал ли я ее.

Это был «Герой нашего времени» в английском переводе.

— Я только что прочел, — сказал он. — Великая книга. Вы ее знаете?

— Всем известно, что это великая книга, — сказал я.

— Мне это было неизвестно, — ответил он. — Я никогда прежде даже не слыхал о ней.

Он не знал даже, что Лермонтов писал стихи. Он никогда не читал Пушкина, хотя слышал его имя. Из Гоголя он прочел только «Тараса Бульбу», и «Тарас Бульба» ему не понравился. Все это меня удивило. В те времена я еще мало встречался с иностранцами и не знал, до какой степени даже образованнейшие из них невинны по части русской культуры.

За одним из соседних столиков пил пиво милиционер —

молодой белокурый парень в форменной фуражке, с наганом на боку. Он оживленно разговаривал со своими собеседниками и время от времени поглядывал на нас с Дос Пассосом. И я заметил, что эти взгляды беспокоят Дос Пассоса. Он нервно взглядывал то на милиционера, то на меня. Я, занятый тяжелым трудом — составлением в уме английских фраз, — долго не обращал на его тревогу никакого внимания.

И вдруг милиционер встал из-за своего столика и двинулся к нам. Дос Пассос, гремя стулом, мгновенно вскочил. Лицо его побелело.

— Извиняюсь, — сказал мне милиционер, стараясь быть как можно вежливее. — Мой портфель на подоконнике…

Он обошел наш столик и взял портфель. Дос Пассос, все еще не понимая, стоял на своих длинных ногах, готовый ко всему.

— Извиняюсь… Извиняюсь… — повторял милиционер, прикладывая руку к фуражке.

И только когда он, зажав брезентовый портфель под мышкой, вышел, Дос Пассос наконец все понял, порозовел и опустился на стул. И тут только мне стало ясным, до какой степени страшной кажется ему наша страна и каким одиноким и беззащитным чувствует он себя в ней.

Говорили мы с ним об американской литературе. То есть говорил, разумеется, главным образом он, и так увлекся, что проговорили мы с ним до прихода нашего поезда, а потом часа полтора в темном вагоне, который с каждой станцией все больше наполнялся вымокшими под дождем дачниками и крестьянами. Помню, почему-то заговорили мы с ним о Джеке Лондоне и О. Генри. К обоим он относился с полным презрением. Это не литература, говорил он, а развлекательное чтиво. Также презирал он и Брет Гарта. По его словам, в восьмидесятых и девяностых годах прошлого века в Америке вообще не было литературы, а существовало только развлекательное журнальное чтиво. Первым писателем, возродившим американскую литературу после перерыва в четверть столетия, он считал Теодора Драйзера.

Теодора Драйзера он ставил чрезвычайно высоко. Драйзер, по его словам, учился у Золя и Льва Толстого и перенес в Америку великие традиции европейских литератур. Все современные американские писатели — ученики Теодора Драйзера. И первый из них — Синклер Льюис. Мне нравилось, с каким воодушевлением говорил Дос Пассос о Синклере Льюисе, о его «Мистере Бэббите», которого я сам очень любил. Затем он назвал книги Бена Хэкта из Чикаго и Шервуда Андерсона. Я знал обоих. Я спросил его:

— А кто сейчас лучший писатель в Америке?

Он ответил:

— Хемингуэй.

Так я впервые в жизни услышал это имя.

Конечно, сейчас, через столько лет, я не помню в подробностях, как протекал наш разговор. Но смысл его я запомнил твердо и точно. Разумеется, мы с ним говорили не только об американской литературе. Как для всякого американца, английская литература была для него тоже родной. С большим уважением говорил он о Томасе Харди и Сомерсете Моэме. Но пламеннее всего восхищался он, конечно, Джойсом. Он считал его величайшим писателем современности. И совсем со мной не согласился, когда я сказал, что «Дублинцы» ставлю выше «Улисса». Он тоже высоко ставил «Дублинцев», но «Улисс» — великое открытие. Я отлично понимал, что открытием Джойса в «Улиссе» он считает изображение «потока сознания». В романах Дос Пассоса тоже были целые страницы, написанные отрывочными фразами, без знаков препинания, и я знал, что это прямое подражание Джойсу. Мне это нравилось, но не очень. Этот путь мне казался подозрительно легким, и я догадывался, что он уже превратился просто в моду, которая, как всякая мода, отомрет в свой час.

Но по-настоящему мы с ним поспорили из-за Честертона. И Стенич, и я, мы оба в то время переживали увлечение Честертоном и оба переводили его. Стенич перевел роман Честертона «Живчеловек» («Manalive»), я — роман «Перелетный кабак» («The flying inn»). Когда я рассказал об этом Дос Пассосу, он возмутился. Честертон, сказал он, это гнусный фельетонист, печатающийся в самой реакционной прессе. И книги его — сборники фельетонов, не имеющих к литературе никакого отношения. И эксцентричность их — фельетонная. Это — типичный английский консерватор. Слова «реакционер», «консерватор» Дос Пассос произносил с отвращением, как решающий аргумент, в котором заключено полное и окончательное осуждение.

В те годы, когда я встретился с ним, Дос Пассос был радикал, пацифист, гуманист, писавший романы только о «маленьких людях» и только с точки зрения «маленьких людей». Боль «маленького человека» была его болью. Он был первый американский радикальный интеллигент, с которым мне пришлось встречаться. Потом, на протяжении жизни, я встречал их не раз, этих прелестных, порядочных, милых людей, всегда растерянных и неуклюжих, пылких и в то же время во всем сомневающихся, горячих сторонников всего хорошего и непримиримых врагов всего дурного и при этом не имеющих ни

одной идеи, как сделать так, чтобы хорошее восторжествовало над дурным.

Как это ни кажется странным, но, проговорив с ним столько часов, мы не говорили с ним ни о нашей революции, ни о социализме. То есть я несколько раз заговаривал, но он тотчас замолкал, а потом переводил разговор на литературные темы. Он вообще не задал мне ни одного вопроса о нашей жизни, а между тем он, несомненно, приехал в так мало посещаемую тогда нашу страну, чтобы собственными глазами повидать революцию и социализм. Не знаю точно, почему не хотел он меня расспрашивать, — вероятно, из-за каких-нибудь опасений. Едучи к нам, он, по-видимому, наслушался разных ужасов и теперь все время чего-то боялся. Я видел это, и мне было немножко смешно и немножко жаль его, однако я не мог не радоваться, что он уклоняется от этих тем. Мне не хотелось бесплодных споров о вещах, которые были мною выстраданы и в которых я был убежден, так как я знал, что не мог убедить его. Что видел приехавший к нам Дос Пассос кроме толп нищенски одетых, полуголодных людей? Разве мог я ему рассказать про нашу боль, про нашу мечту, про нашу живую ненависть и такую же живую любовь? Разве мог я ему рассказать про красноармейцев девятнадцатого года, которые босые шли по снегу и побеждали солдат в английских сапогах? Разве мог я ему рассказать, что мы видим и знаем будущее? Я мог бы это рассказать Джону Риду, но не Джону Дос Пассосу — при всем его уме, радикализме и прекраснодушии.

На Варшавском вокзале мы с ним расстались, и больше никогда я его не видел. Он пробыл в Ленинграде еще несколько дней — преимущественно в обществе Стенича, — потом уехал в Москву и вернулся в Америку…

Итак, Стенич в последнее десятилетие своей жизни оставил все свои былые мечты о стихотворстве и целиком предался переводам. В тридцатые годы он был, безусловно, лучшим переводчиком западной прозы на русский язык. Стенич переводил реалистически, ярко, потому что всегда стремился передать не слова автора, а ту жизнь, которую изображал автор. Вообще его любовь к литературе была прежде всего выражением его любви к жизни, и переводил он поэтому не классиков, а те книги, в которых «отразился век и современный человек». Он получил широкое признание как первоклассный переводчик и, казалось, мог бы быть удовлетворен. Но удовлетворен он не был. Стремление к самостоятельному творчеству не оставляло его.

Он был музыкален от природы, любил и знал музыку. Жене

моей, музыкантше, он не раз говорил, что любит музыку даже больше литературы. И получилось совершенно естественно, что он стал писать либретто для музыкального театра.

Мейерхольд решил поставить в Ленинградском Малом оперном театре «Пиковую даму». Было одно затруднение — Мейерхольду не нравилось общеизвестное либретто «Пиковой дамы», написанное Модестом Ильичом Чайковским в конце восьмидесятых годов. Главный недостаток либретто Модеста Чайковского заключается в том, что события пушкинской «Пиковой дамы», которые, по Пушкину, происходили в девятнадцатом веке, при Николае I, перенесены либреттистом в восемнадцатый век, в екатерининское время. Сделал это Модест Ильич по цензурным условиям — в восьмидесятые годы николаевское время было еще настолько близким, что дирекция императорских театров предпочитала его не касаться. Естественно, что такой перенос действия из эпохи в эпоху привел к появлению ряда анахронизмов, к антиисторичности, столь несвойственной Пушкину, к искажению основных характеров, к профанации пушкинского замысла. Другим недостатком общепризнанного либретто были плохие стихи, отражавшие общий упадок культуры русского стиха в восьмидесятые годы прошлого века. Мейерхольду нужно было новое либретто «Пиковой дамы», и за создание его взялся Стенич.

Он принялся за дело пламенно, вдохновенно и полгода ходил наполненный музыкой Чайковского, как оркестр. В партитуре нельзя было переменить, разумеется, ни одной ноты, но текст создавался новый. Стенич стремился по возможности приблизить свое либретто к пушкинской повести, передать не только ее сюжет, но и ее тон, колорит, ее близость к декабризму, к петербургским повестям Гоголя. Для пения предлагал он не вирши Модеста Чайковского и не стихи восемнадцатого века, а стихи поэтов пушкинской поры и прежде всего самого Пушкина. Мейерхольд поставил «Пиковую даму» блистательно. Я был на просмотре и могу уверенно сказать, что никогда ни до того, ни после не видел такого удивительного оперного спектакля. «Пиковая дама» прозвучала так, как она никогда нигде больше не звучала — трагедийно, могуче. Мейерхольд блеснул в этой постановке таким зрелым, таким умным мастерством, как никогда раньше… Но роковые сроки уже приблизились. Скоро не стало ни Мейерхольда, ни Стенича, ни их «Пиковой дамы».

Я не знаю, сохранилось ли где-нибудь написанное Стеничем либретто. Если оно пропало, это потеря для всей русской культуры.

Стенич очень нравился женщинам и сам был влюбчив. Он

принадлежал к тем мужчинам, которые стыдятся сентиментальности и говорят о женщинах, о своих отношениях с ними грубовато, а в действительности бессильны перед женским обаянием, втайне идеализируют своих любимых, превращая альдонс в дульциней, и поэтому терпят поражения и мучительно страдают, когда Дульцинея ведет себя, как Альдонса. Мне представляется, что таким был и Маяковский. На свою беду влюблялся Стенич в женщин непостоянных, переменчивых, тщеславных, лживых, любящих легкие и быстрые победы; превращая их воображением в дульциней, он предъявлял к ним требования, которые к таким женщинам предъявлять излишне. И жизнь его была нескончаемой цепью разочарований.

Но никакие разочарования не могли изменить его. Он влюблялся опять и опять, украшая воображением хитрых и низменных, поэтизируя расчетливых и прозаических. Помню, как он без конца рассказывал мне и моей жене о женщине, у которой глаза как «лунные камни». Вскоре мы втроем так и стали ее звать — Лунные Камни.

— Сейчас я встретил Лунные Камни на Невском! — говорил он, входя, протирая очки и волнуясь. — Она вошла в магазин, и я полчаса ждал ее у дверей…

В его рассказах о ней было столько милого тумана, она представлялась ему окутанной такой очаровательной таинственностью, что мне, естественно, захотелось ее повидать. Он меня познакомил с нею — не то в кафе, не то в фойе театра. Я увидел тощую мещанку неясного возраста, с желтоватым лицом, с голубенькими гляделками, в которых ничего нельзя было прочитать, кроме хитрости, жадности и неуверенности в себе…

В середине тридцатых годов, подходя к сорокалетнему возрасту, Стенич стал толстеть. Относился он к этому с отвращением.

— У меня на животе — автомобильные шины, — говорил он брезгливо.

Но и толстея, не терял он изящества. Он по-прежнему нравился женщинам и сам влюблялся в них все страстнее, все безоглядней. Такой неистовой, страстной и безоглядной была и его последняя любовь.

Тогда он уже догадывался, что его арестуют. Он ни в чем не был виноват, но одного за другим арестовали его друзей. Борис Корнилов, Бенедикт Лившиц, Николай Заболоцкий, Николай Олейников, Дмитрий Жуков, Елена Тагер, Вольф Эрлих… Он занят был «Пиковой дамой», он переводил, дела его шли отлично, но от ужаса избавиться он не мог. В это время начался у него роман с одной замужней женщиной. Она тоже ждала ареста, — не

потому, что была в чем-нибудь виновата, а потому, что арестовали уже всех вокруг нее. Вот это и был самый неистовый, самый бешеный из всех его романов. Ни он, ни она ничего не скрывали.

— Я благодарен ей, — говорил он мне. — Я заслоняюсь ею от страха.

Арестовали их всех троих — Стенича, его возлюбленную и ее мужа. Спустя год она и ее муж были выпущены. А Стенич, милый демон моей молодости, не вернулся. Неукротимый огонь, так бешено бившийся на ветру, был погашен.

Евгений Шварц

На одном писательском собрании в Ленинграде, в середине тридцатых годов, выступил Евгений Львович Шварц и сказал:

— Говорить про себя: я — писатель так же неловко, как говорить про себя: я — красивый. Конечно, никому не возбраняется втайне, в глубине души надеяться, что он недурен собой и что кто-нибудь, может быть, считает его красивым. Но утверждать публично: я — красивый — непристойно. Так и пишущий может в глубине души надеяться, что он писатель. Но говорить вслух: я — писатель — нельзя. Вслух можно сказать: я — член Союза писателей, потому что это есть факт, удостоверяемый членским билетом, подписью и печатью. А писатель — слишком высокое слово…

Он так действительно думал и никогда не называл себя писателем. В советской литературе проработал он лет тридцать пять, но только к концу этого периода стали понимать, как значительно, важно, своеобразно и неповторимо все, что он делает. Сначала это понимали только несколько человек, да и то не в полную меру. Потом это стали понимать довольно многие. Настоящий успех пришел к нему после смерти. Его пьесы «Снежная королева», «Два клена», «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо», «Голый король» завоевывают все новых читателей и зрителей. И с каждым годом становится все яснее, что он был одним из замечательнейших писателей России.

Мне трудно писать о нем, потому что я знал его слишком близко и слишком долго. Я познакомился и подружился с ним сразу после его приезда в Петроград в 1922 году и был у него в последний раз за месяц до его смерти в 1958 году. Я столько пережил с ним вместе, столько разговаривал с ним, наши согласия и разногласия носили такой устойчивый, привычный, застарелый характер, что я относился к нему скорее как к брату, чем как к другу. А никому еще не удавалось написать хороших воспоминаний о собственном брате.

Он родился в 1896 году, в Казани, и, следовательно, был старше меня на семь лет. Отец его, крещеный еврей Лев Борисович Шварц, учился в конце прошлого века на медицинском факультете Казанского университета и, будучи студентом, женился на Марии Федоровне Шелковой. Помню, Евгений Львович одно время собирался подписывать свои сочинения фамилией матери — Шелков. Но намерения этого не осуществил, — вероятно, почувствовал в нем некую нечистоту и фальшивость.

Жизни в Казани он не помнил совсем, — двухлетним ребенком родители перевезли его на Северный Кавказ, в город Майкоп. Однажды Евгений Львович рассказал мне, что в течение многих лет его мучил один и тот же сон, постоянно повторявшийся. Ему снилась безграничная песчаная пустыня, накаленная солнцем; в самом конце этой пустыни — дворец с башнями, и ему непременно нужно перейти эту пустыню и дойти до дворца. Он идет, идет, идет, изнемогая от зноя и жажды, и когда наконец до дворца остается совсем немного, ему преграждают путь исполинские кони, грызущие желтыми зубами вбитые в землю деревянные столбы. И вид этих коней был так страшен, что он всякий раз просыпался от ужаса. Как-то раз Евгений Львович уже взрослым человеком рассказал этот странно повторявшийся сон своему отцу доктору Льву Борисовичу. Отец рассмеялся и сказал, что сон этот — воспоминание о переезде из Казани в Майкоп. Они ехали в июле, в самую жару, и на одной станции, где была пересадка, им пришлось ждать поезда целые сутки. Станционное здание — это и есть дворец с башнями. Перед станционным зданием была песчаная площадь, которую им приходилось пересекать, возвращаясь из трактира, где они завтракали, обедали и ужинали. А кони — извозчичьи лошади, привязанные к столбам перед станцией.

В Майкопе Женя Шварц прожил и детство, и юность. Но вспоминал об этом городе мало и редко. Я никогда не слышал от него ничего майкопского, кроме разве двух-трех смешных рассказов о майкопской гимназии. Уехав после окончания гимназии из Майкопа, он ни разу в жизни больше туда не возвращался. Этим он напоминал мне моего отца, который тоже вот так же покинул когда-то Одессу, где провел детство и юность, и никогда не испытывал желания повидать ее вновь. Мне это понятно: оба они были люди, всю юность стремившиеся вырваться из жалкой мещанской среды, из убогого круга провинциальных интересов, и когда это им удалось ценой огромных усилий, их уже не тянуло обратно.

Годы Гражданской войны Женя Шварц прожил в Ростове-на-Дону. Он там учился — не знаю, где. Там он начал писать стихи, — по большей части шуточные. Там он служил в продотряде. Там он стал актером. Там он женился.

Первая жена его была актриса, ростовская армянка Гаянэ Халаджиева, по сцене Холодова, в просторечье — Ганя, маленькая черненькая женщина, шумная, экспансивная, очень славная. Она долго противилась ухаживаниям Шварца, долго не соглашалась выйти за него. Однажды, в конце ноября, поздно вечером, шли они в Ростове по берегу Дона, и он уверял ее, что по первому

слову выполнит любое ее желание.

— А если я скажу: прыгни в Дон? — спросила она.

Он немедленно перескочил через парапет и прыгнул с набережной в Дон, как был — в пальто, в шапке, в калошах. Она подняла крик, и его вытащили. Этот прыжок убедил ее — она вышла за него замуж.

Они приехали в Петроград в мае 1921 года. Петроград был давнишней мечтой Шварца, он стремился в него много лет. Шварц был воспитан на русской литературе, любил ее до неистовства, и весь его душевный мир был создан ею. Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Лесков и, главное, Чехов были не только учителями его, но ежедневными спутниками, руководителями в каждом поступке. Ими определялись его вкусы, его мнения, его нравственные требования к себе, к окружающим, к своему времени. От них он унаследовал свой юмор — удивительно русский, конкретный, основанный на очень точном знании быта, на беспощадном снижении всего ложно-торжественного, всегда тайно грустный и всегда многозначный, т. е. означающий еще что-то, лежащее за прямым значением слов. Русская литература привела его в Петроград, потому что для него, южанина и провинциала, Петроград был городом русской литературы. Он хорошо знал его по книгам, прежде чем увидел собственными глазами, и обожал его заочно, и немного боялся, — боялся его мрачности, бессолнечности.

А между тем, когда он приехал, Петроград прежде всего поразил его своей солнечностью. Он мне не раз говорил об этом впоследствии. Петроград в мае, залитый сиянием почти незаходящего солнца, был светел и прекрасен. В начале двадцатых годов он был на редкость пустынен, жителей в нем было вдвое меньше, чем перед революцией. Автобусов и троллейбусов еще не существовало, автомобилей было штук десять на весь город, извозчиков почти не осталось, так как лошадей съели в девятнадцатом году, и только редкие трамваи, дожидаться которых приходилось минут по сорок, гремели на заворотах рельс. Пустынность обнажала несравненную красоту города, превращала его как бы в величавое явление природы, и он, легкий, омываемый зорями, словно плыл куда-то между водой и небом.

Приехал Шварц не один, а вместе со всей труппой маленького ростовского театрика, которая вдруг, неизвестно почему, из смутных тяготений к культуре покинула родной хлебный Ростов и, захватив свои убогие раскрашенные холсты, переехала навсегда в чужой голодный Питер. Я забыл, как этот театрик назывался. Он возник незадолго перед тем из лучших

представителей ростовской интеллигентской молодежи. В годы Гражданской войны каждый город России превратился в маленькие Афины, где решались коренные философские вопросы, без конца писались и читались стихи, создавались театры — самые передовые и левые, ниспровергавшие все традиции и каноны. Театрик, где актером работал Шварц, до революции назвали бы любительским, а теперь — самодеятельным, но в то время он сходил за настоящий профессиональный театр. Характер он носил почти семейный: ведущее положение в нем занимали два Шварца — Евгений и его двоюродный брат Антон — и их жены — жена Евгения Ганя Холодова и жена Антона Ирина Бунина. Режиссером был Павел Вейсбрем, которого все называли просто Павликом. Остальные актеры были ближайшие друзья-приятели. По правде говоря, в театрике этом был только один человек с крупным актерским дарованием — Костомолодский. Это был прирожденный актер, стихийно талантливый, настоящий комик, — когда он выходил на сцену, зрители задыхались от хохота при каждом его движении, при каждом слове. Он удивительно владел своим небольшим легким телом, был стремителен, легок, неповторимо отбивал ногами чечетку. Но главная сила его заключалась в мимике, — лицом он способен был выразить все что угодно. Остальные актеры и актрисы пошли в театр только из любви к искусству, не имея никаких актерских дарований. Не имел их и Евгений Шварц.

Переехав в Петроград, труппа захватила пустующее театральное помещение на Владимирском проспекте. У нее в репертуаре были пьесы — «Гондла» Гумилева и «Проделки Скапена» Мольера. Может быть, была и какая-нибудь третья, но я видел только эти две. В гумилевской пьесе главную роль — роль Гондлы — исполнял Антон Шварц. Женя и Ганя тоже там кого-то играли, но кого именно — я не запомнил. Пьеса Гумилева, написанная хорошими стихами, совершенно не годилась для постановки, потому что это не пьеса, а драматическая поэма, и спектакль свелся к декламации, — декламировал больше всех Антон Шварц, самоуслаждаясь переливами и перекатами своего низкого бархатного голоса. Однако, из-за имени автора, спектакль имел некоторый успех, — в Петрограде помнили и любили Гумилева. Успех «Проделок Скапена» был совсем другого рода, — там от души хохотали над всем, что выделывал комик Костомолодский.

Конечно, театрик этот оказался чрезвычайно неустойчивым и скоро распался. Он выполнил свое предназначение — помочь группе интеллигентной ростовской молодежи переехать в Петроград, и больше существовать ему было незачем. Петроград

как бы растворил его в себе. Костомолодского заприметил Мейерхольд и взял в свой театр в Москву. Павлик Вейсбрем стал второстепенным петроградским режиссером и долго кочевал из театра в театр. Ганя Холодова и Ирина Бунина тоже много лет работали в разных театрах на маленьких ролях. Остальные расстались с актерством навсегда. Я не раз потом удивлялся близкому знакомству Жени Шварца с каким-нибудь экономистом, юрисконсультом или завклубом; и он объяснял:

— А, это бывший актер нашего театра.

Юрисконсультом стал и Антон Шварц, юрист по образованию. Но страсть к чтению вслух чужих стихов не оставила его до конца жизни. Несколько лет спустя он занялся этим профессионально, и бросил свое юрисконсульство, и очень прославился как чтец-декламатор. А Женя Шварц потянулся к литературе. Он как-то сразу, с первых дней, стал своим во всех тех петроградских литературных кружках, где вертелся и я.

Не могу припомнить, кто меня с ним познакомил, где я его увидел в первый раз. Он сразу появился и у серапионов, и у Наппельбаумов, и в клубе Дома искусств. И у серапионов, и в Доме искусств его быстро признали своим, привыкли к нему так, словно были знакомы с ним сто лет.

В то время он был тощ и костляв, носил гимнастерку, обмотки и красноармейские башмаки. Никакой другой одежды у него не было, а эта осталась со времен его службы в продотряде. У него не хватало двух верхних передних зубов, и это тоже была память о службе в продотряде; ночью, в темноте, он споткнулся, и ствол винтовки, которую он нес перед собой в руках, заехал ему в рот.

Шварц стал часто бывать у меня. Жил я тогда еще с родителями, на Кирочной улице.

Родителям моим Женя Шварц понравился, и отец мой взял его к себе в секретари. Не понравиться он не мог, — полный умного грустного юмора, добрый, начитанный, проникнутый подлинным уважением к литературе, очень скромный и деликатный, Женя Шварц уже тогда обладал непобедимым обаянием, привлекавшим к нему всех думающих и истинно даровитых людей. У отца моего с первых лет революции всегда был какой-нибудь секретарь или, как он говорил, помощник. Это была странная должность с трудноопределимым кругом обязанностей. Пожалуй, основная и непременнейшая обязанность секретаря или помощника заключалась в том, чтобы разделять все умственные увлечения моего отца, будь то увлечение детским языком, или текстами Некрасова, или тайнописью Слепцова, или искусством перевода, или Блоком, Ахматовой, Репиным,

Маяковским. Секретарь служил для моего отца первой проверкой всего, что он писал: отец читал ему свои наброски и черновики и жадно следил по его лицу, какое это производит впечатление. Таким образом, секретарь прежде всего был собеседник, на котором проверялись мысли. Все остальные обязанности секретаря — ходить с поручениями в издательства, доставать нужные книги в библиотеках, подходить к телефону, надписывать и заклеивать конверты — носили третьестепенный характер. Естественно, что секретарь должен был быть человеком, мнение которого отец мог уважать. Если секретарь не любил литературу, оказывался невосприимчивым к ней, он долго не удерживался. Зато человеку пытливому, истинно литературному секретарство у моего отца давало образование, которого не мог дать университет. Секретарями моего отца были в свое время такие известные впоследствии литературоведы и критики, как Василий Гиппиус, Симон Дрейден, Максимович, такие писатели, как Михаил Слонимский и Евгений Шварц. С большинством секретарей у отца устанавливались дружеские отношения, которые потом не прерывались уже всю жизнь. Так как секретарь обедал и ужинал в нашей семье, у него устанавливались дружеские отношения со всеми членами семьи. И те несколько месяцев, которые Шварц проработал секретарем у отца, сблизили меня с ним еще больше.

Я нередко бывал и у него. Жил он тогда на Невском, недалеко от Литейного, во дворе доходного дома, в маленькой квартиренке с таким низким потолком, что до него можно было достать рукою. У Жени Шварца была тогда большая и очень трудная семья. Ганя Холодова привезла с собой из Ростова свою мать и своего младшего брата Федю. Теща Шварца, Эскуи Романовна Холоджиева, была красивая, добрая и мудрая старуха, почти неграмотная, хотя происходила из хорошей армянской семьи — ее родной дядя был Налбандян, известный армянский просветитель, друг Герцена. Федя, пламенный юноша с гортанным голосом, скоро женился, и в квартиренке обосновалась еще и его жена Леля — сдобная бело-розовая блондинка. В этом шумном семействе Женя — с тихим голосом, грустным юмором и деликатной уступчивостью — совершенно терялся. У него не было места ни для работы, ни для отдыха. А между тем он был единственным кормильцем всех этих многочисленных Холоджиевых, — он, актер закрывшегося театра и литератор, еще ничего не написавший.

Естественно, что семья крайне бедствовала и Женя жил в постоянных поисках заработка. Однако в те годы, годы молодости, это его нисколько не угнетало. Все кругом тоже были

отчаянно бедны, и поэтому бедностью он не выделялся. Бедны были и все серапионы, с которыми, как я уже говорил, он сблизился сразу после переезда в Петроград. Ему разрешалось присутствовать на их еженедельных закрытых собраниях, а это была великая честь, которой удостаивались очень немногие. Из серапионов он особенно подружился с Зощенко и Слонимским. И вот, в самом начале 1923 года, он, в поисках заработка, затеял с Мишей Слонимским поездку на Донбасс.

На Донбассе, в Юзовке, при газете «Всесоюзная кочегарка», создавался литературный журнал. Кому-то там пришла в голову мысль привлечь для работы в новом журнале петроградских литераторов. Как это все устроилось, не помню, но приглашения получили Миша Слонимский, Женя Шварц и я. Поколебавшись, я отказался, а Миша и Женя уехали.

Они отсутствовали месяцев восемь и деятельно со мной переписывались. По-видимому, организация журнала оказалась делом очень увлекательным. Из их рассказов я помню, что редактором был назначен человек очень добрый, но малограмотный и безвкусный. Он начал с того, что созвал совещание редакционных работников, чтобы изобрести для журнала название. Шварц высказал мнение, что название должно быть не банальным, не затасканным и в то же время близким сердцу шахтера. Редактор совершенно с ним согласился и, пока Шварц говорил, подбадривал его кивками головы. Когда Шварц кончил, он поблагодарил его и сказал, что у него есть прекрасное название для журнала: «Красный Ильич». Переубедить его было невозможно. К счастью, губком это название не разрешил, а утвердил предложенное Шварцем: «Забой».

Донбасский журнал «Забой» выходил много лет и был очень недурным журналом. Шварц и Слонимский, наладив его, осенью вернулись в Петроград. Уехали они из Петрограда вдвоем, а вернулись втроем. Они привезли с собой своего нового друга Николая Макаровича Олейникова.

Коля Олейников был казак, и притом типичнейший — белокурый, румяный, кудрявый, похожий лицом на Кузьму Пруткова, с чубом, созданным богом для того, чтобы торчать из-под фуражки с околышком. Он был сыном богатого казака, державшего в станице кабак, и ненавидел своего отца. Он весь был пропитан ненавистью к казакам и всему казачьему. Он утверждал, что казаки — самые глупые и самые ленивые люди на свете. В казачьих землях, говорил он, умны только женщины и работают только женщины, а мужчины — бездельники и выдающиеся дураки. Все взгляды, вкусы, пристрастия выросли в нем из ненависти к окружавшему его в детстве казачьему быту.

Родня сочувствовала белым, а он стал бешеным большевиком, вступил сначала в комсомол, потом в партию. Одностаничники избили его за это шомполами на площади, — однажды он снял рубаху и показал мне свою крепкую очень белую спину, покрытую жутким переплетением заживших рубцов. Он даже учился и читал книги из ненависти к тупости и невежеству своих казаков. Казаки были антисемиты, и он стал юдофилом, — с детства ближайшие друзья и приятели его были евреи, и он не раз проповедовал мне, что евреи — умнейшие, благороднейшие, лучшие люди на свете.

Первоначальным увлечением его была вовсе не литература, а математика. У него были замечательные математические способности, но занимался он математикой самоучкой, покупая учебники на книжных развалах. Увлечение математикой сохранилось у него до конца жизни. Особенно интересовала его теория вероятности. Он любил прилагать ее даже к социологии, к марксизму, но я, по своей математической безграмотности, рассуждений его не запомнил.

В журнал «Забой» Олейникова прислали из губкома. Это было первое его соприкосновение с редакционной работой, с литературой. В редакции «Забоя» он подружился с Шварцем и Слонимским. Когда Шварц и Слонимский стали собираться в Петроград, он решил поехать с ними.

Он показывал мне официальную справку, с которой приехал в Петроград. Справка эта, выданная его родным сельсоветом, гласила:

«Сим удостоверяется, что гр. Олейников Николай Макарович действительно красивый. Дана для поступления в Академию Художеств».

Печать и подпись. Олейников вытребовал эту справку в сельсовете, уверив председателя, что в Академию художеств принимают только красивых. Председатель посмотрел на него и выдал справку.

Олейникову в высшей степени свойственна была страсть к мистификации, к затейливой шутке. Самые несуразные и причудливые вещи он говорил с таким серьезным видом, что люди мало проницательные принимали их за чистую монету. Олейникова и Шварца прежде всего сблизил свойственный им обоим юмор, — и очень разный у каждого, и очень родственный. Они любили смешить и смеяться, они подмечали смешное там, где другим виделось только торжественное и величавое. Юмор у них был то конкретный и бытовой, то пародийный и эксцентрический, вдвоем они поражали неистощимостью своих шуток, с виду очень простых и веселых, но если посмотреть поглубже, то порой захватывало дух от их печальной

многозначительности.

Я уже сказал, что первыми произведениями Шварца были шуточные стихотворения, которые он сочинял с легкостью по всякому поводу и без повода. Они далеко не всегда были удачны, да он и не придавал им никакого значения и щедро разбрасывался ими во все стороны. Еще из Ростова привез он целый цикл стихотворений про некоего князя Звенигородского, напыщенного идиота, рассуждавшего самым нелепым и смешным образом обо всем на свете. Одно из стихотворений начиналось так:

Звенигородский был красивый.
Однажды он гулял в саду
И ел невызревшие сливы.
Вдруг слышит: быть тебе в аду!..

Всем этим своим молниеносным шуточным стихам, основным качеством которых была нелепость, Шварц не придавал никакого значения, и в его творчестве они занимают самое скромное место. Но, как это ни странно, они оказались как бы зерном, из которого выросла буйная поросль своеобразнейших стихов, расцветших в ленинградской поэзии конца двадцатых и начала тридцатых годов. Кажущаяся нелепость была основным отличительным признаком всей этой поэзии.

Наиболее непосредственное влияние шуточных стихов Шварца испытал на себе Олейников.

Олейников никогда не считал себя поэтом. До переезда в Ленинград он стихов не писал. Но очень любил стихи и очень ими интересовался. В редакции «Забоя» он ведал начинающими поэтами и наиболее причудливые из их стихотворений переписывал себе в особую тетрадку. У него образовалась замечательная коллекция плохих стихов, доставлявшая его насмешливому уму большое удовольствие.

Помню, что одно стихотворение из этой коллекции начиналось так:

Когда мне было лет семнадцать,
Любил я девочку одну,
Когда мне стало лет под двадцать,
Я прислонил к себе другу.

В Ленинграде Олейников стал писать стихи, как бы подхватив игру, начатую Шварцем. Стихи его были еще

причудливее Шварцевых и скоро приобрели особый отпечаток. Расцвету его поэзии чрезвычайно способствовало то, что они оба — и Олейников, и Шварц — стали работать в Детском отделе Госиздата.

Детский отдел Госиздата в Ленинграде в первые годы своего существования был учреждением талантливым, веселым и озорным. Возник он примерно в 1924 году. Создали его по инициативе моего отца, но уже с 1925 года настоящим его руководителем стал Самуил Яковлевич Маршак, вернувшийся с юга в Ленинград. Впрочем, официальным заведующим Детским отделом числился не Маршак, а небольшого роста человечек Соломон Николаевич Гисин, начисто лишенный юмора и литературных дарований, но зато ходивший в косоворотке и в высоких сапогах. Как-то кто-то спросил Маршака, почему тов. Гисин — Соломон Николаевич.

— Соломон — это он сам, — ответил Маршак, — а Николаевич — это его сапоги.

В этом царстве Гисина и Маршака Шварцу и Олейникову на первых порах жилось хорошо и привольно. То была эпоха детства детской литературы, и детство у нее было веселое. Детский отдел помещался на пятом этаже Госиздата, занимавшего дом бывшей компании Зингер, Невский, 28; и весь этот пятый этаж ежедневно в течение всех служебных часов сотрясался от хохота. Некоторые посетители Детского отдела до того ослабевали от смеха, что, кончив свои дела, выходили на лестничную площадку, держась руками за стены, как пьяные. Шутникам нужна подходящая аудитория, а у Шварца и Олейникова аудитория была превосходнейшая. В Детский отдел прислали практикантом молоденького тоненького студентика по имени Ираклий Андроников. Стихов практикант не писал никаких, даже шуточных, но способностью шутить и воспринимать шутки не уступал Шварцу и Олейникову. Ежедневно приходили в Детский отдел поэты — Введенский, Хармс, Заболоцкий — люди молодые, смешливые, мечтавшие о гротескном преображении мира, огорчавшего их своей скучной обыденностью. А шутки Шварца и Олейникова, самые домашние и незатейливые, именно тем и отличались, что обыденность превращали в гротеск. Олейников писал:

Я люблю Генриэтту Давыдовну,
А она меня, кажется, нет.
Ею Шварцу квитанция выдана,
Ну а мне и квитанции нет.

Генриэтта Давыдовна Левитина была прехорошенькая молодая женщина, жена чекиста Домбровского, родного внука того знаменитого Домбровского, который командовал всеми вооруженными силами Парижской коммуны. Она тоже служила в Детском отделе, и чаще ее называли просто Груней. Шварц и Олейников играли, будто оба влюблены в нее, и сочиняли множество стихов, в которых поносили друг друга от ревности и воспевали свои любовные страдания.

При Детском отделе издавались два журнала — «Чиж» и «Еж». «Чиж» — для совсем маленьких, «Еж» — для детей постарше. Конечно, Маршак, руководивший всем Детским отделом, руководил и этими журналами. Однако до журналов у него руки не всегда доходили, и настоящими хозяевами «Чижа» и «Ежа» оказались Шварц и Олейников. Никогда в России, ни до, ни после, не было таких искренне веселых, истинно литературных, детски озорных детских журналов. Особенно хорош был «Чиж», — каждый номер его блистал превосходными картинками, уморительными рассказиками, отточенными, неожиданными, блистательными стихами. В эти годы Шварц пристрастился к раешнику. В каждый номер «Чижа» и «Ежа» давал он новый раешник — веселый, свободный, естественный, без того отпечатка фальшивой простонародности, который обычно лежит на раешниках. Олейников участвовал в этих журналах не как поэт и даже не как прозаик, а скорее как персонаж, как герой. Героя этого звали Макар Свирепый. Художник — если память мне не изменяет, Борис Антоновский — изображал его на множестве маленьких квадратных картинок неотличимо похожим на Олейникова — кудри, чуб, несколько сложно построенный нос, хитрые глаза, казацкая лихость в лице. Подписи под этими картинками писал Олейников; они всегда были блестяще забавны и складывались в маленькие повести, очень популярные среди ленинградских детей того времени.

Из молодых поэтов, печатавшихся в Детском отделе и его журналах, самым даровитым и резко своеобразным был Даниил Хармс. Вообще двадцатые годы были эпохой небывалого художественного расцвета поэзии для детей. Тяготение к эксцентризму как основе стиля и видения мира казалось наиболее оправданным именно в поэзии для детей. В эти годы были созданы лучшие сказки моего отца и Маршака. Сказки эти живут и посейчас и имеют десятки миллионов читателей. Но почему-то забыты другие сказки, созданные почти в то же время и по-своему столь же блистательные, — сказки Хармса, Введенского и Евгения Шварца.

Шварц начал писать стихотворные сказки для маленьких

несколько позже других; первой появилась книжка Хармса «Иван Иваныч Самовар». Она поражала своим ритмом. Чуть ли не из одной фразы «Самовар Иван Иваныч», то повторяемой, то изменяемой на множество ладов, Хармс создал удивительное ритмическое кружево, буйное, стройное, стремительно льющееся, полное оптимизма и очищающее кровь. Вообще именно в ритме, напряженно-свободном, найденном человеком с безошибочным ухом, заключалась сила детских стихов Хармса. На всю жизнь запомнил я его стихотворение, прочитанное когда-то в «Чиже»:

Повар и три поваренка,
Повар и три поваренка,
Повар и три поваренка
Выбежали во двор.
Почему?
Свинья и три поросенка,
Свинья и три поросенка,
Свинья и три поросенка
Спрятались под забор.
Почему?
Режет повар свинью,
Поваренок поросенка,
Поваренок поросенка,
Поваренок поросенка.
Почему?
Почему да почему!
Чтобы делать ветчину!

Конечно, стихотворение это несколько кровожадно, и предлагать его детям не вполне педагогично. Тем не менее ритмическая постройка его прелестна. Да и стоит вспомнить, сколько всяческих кровожадностей в знаменитом «Максе и Морице» Вильгельма Буша; однако это не помешало «Максу и Морицу» сделаться любимым чтением детей всего мира.

Есть у Хармса стихотворение, которое мне хочется упомянуть потому, что оно иногда приписывается Маршаку. В пятидесятые годы я даже видел его изданным вместе с нотами и с надписью: «Музыка такого-то, текст С. Маршака». Потом его печатали под двумя фамилиями — Маршака и Хармса. А между тем оно было напечатано в «Чиже» как стихотворение Хармса, и я помню, как Хармс читал его в Ленинградском театре юного зрителя в числе своих стихотворений и не упоминая о Маршаке. Да и стоит вслушаться в ритм этого стихотворения, чтобы сразу понять, что автор его — Хармс и что Маршак тут ни при чем:

Жили в квартире сорок четыре,
Сорок четыре веселых чижа:
Чиж-судомойка, чиж-поломойка.
Чиж-огородник, чиж-водовоз,
Чиж за кухарку, чиж за хозяйку.
Чиж на посылках, чиж-трубочист.

Хармс был чудак. Я люблю чудаков, но к Хармсу, с которым сталкивался много лет, всегда оставался холоден и равнодушен. Мне чудилось в его чудачестве что-то нарочитое, искусственное, придуманное. Это был здоровый рослый плечистый человек — то, что называется «ражий парень», — с холодными голубыми глазами и угрюмым выражением лица. Я не помню его улыбающимся. Постоянный посетитель Детского отдела, он никогда не смеялся шуткам Шварца и Олейникова и в царившем там веселье не принимал явного участия. От этого деловитого, хмурого человека меньше всего можно было ждать каких-либо чудачеств. А между тем стоило вам с ним о чем-нибудь заговорить, как он ошарашивал вас чем-либо нелепым и неожиданным.

Его звали Даниил Иванович Ювачев. Хармс — его литературный псевдоним. Но он почему-то скрывал от знакомых свою настоящую фамилию, словно стыдился ее. Помню, один раз он уверял меня, что настоящая его фамилия — Карме; в другой раз он назвал какую-то двойную польскую фамилию, звучавшую очень изысканно, и утверждал, что род его происходит от крестоносцев, завоевавших Иерусалим. На галстуке он носил странного вида заколку, изображавшую замок с башнями; разумеется, он уверял, что это родовой замок его предков. Возможно, ему так хотелось быть аристократом, потому что он был женат на княжне Голицыной.

Однажды летом, в очень жаркий день, я встретил его в дачной местности Токсово, на берегу озера, на пляже. Я сидел там в одних трусах и жарился на солнце, а он был в пиджаке, в галстуке, в воротничке, в шляпе. Видя, как он обливается потом, я посоветовал ему снять пиджак, но он сказал, что боится простудиться. Немного погодя я предложил ему вместе выкупаться, но он сказал, что боится утонуть. Меня удивило, что здоровенный двадцатипятилетний мужчина, вдвое шире меня в плечах и на полголовы выше, боится утонуть в мелкой луже, даже на середине которой вода не доходила купающимся до пояса. Но он мрачно объяснил мне, что боится утонуть даже в ванне, и потому всегда моется в ванне только стоя.

Позже, уже в тридцатые годы, когда Детский отдел превратился в Детиздат и переехал с Невского в просторное помещение на Михайловской площади, я там, в одном из коридоров, встретил Хармса. Он бросился ко мне и спросил, не иду ли я отсюда домой. Мы жили с ним рядом, на улице Маяковского, я — в доме № 9, он — в доме № 11; но, несмотря на близкое соседство, мы никогда не бывали друг у друга и никогда не возвращались вместе. Несколько удивленный, я ответил, что действительно пойду домой, когда окончу здесь свои дела.

— А много ли они займут времени? — спросил он.

— Минут десять-пятнадцать.

— Хорошо, я подожду вас, — ответил он и сел на подоконник.

Директором ленинградского отделения Детиздата был в то время Дмитрий Иванович Чевычелов, которого все называли Какбычегоневычелов. Мне нужно было поговорить с ним, а он был занят, и я вынужден был дожидаться. Минут через двадцать я вспомнил, что меня ждет Хармс, и, чувствуя неловкость, выбежал в коридор. Хармс по-прежнему сидел на подоконнике. Я сказал ему, что задержусь еще минут на пятнадцать.

— Хорошо, я подожду, — сказал он покорно.

Но через пятнадцать минут мне стало ясно, что из Детиздата я уйду не скоро. Полагая, что Хармс хочет пойти со мной, чтобы сказать мне по дороге что-нибудь важное, я предложил ему сесть в уголок и поговорить здесь.

— Нет, — ответил он, — мне нечего вам сказать. Просто я пришел сюда в цилиндре, и за мной всю дорогу бежали мальчишки, дразнили меня, толкали. И я боюсь идти назад один.

Я подумал: зачем же он ходит в цилиндре, если цилиндр доставляет ему столько неприятностей? Что за странное стремление к оригинальности, в которой нет ни радости, ни веселья? У Хармса, детского писателя, вообще были постоянные нелады с детьми. На улицах к нему вечно приставали мальчишки, и он сердился, бранился, гонялся за ними, выходил из себя.

Разумеется, я понимаю, что, вероятно, мой портрет Хармса не вполне объективен. Я изображаю его таким, каким он остался у меня в памяти. Несомненно, было же в нем и что-то совсем другое, раз он писал такие блестящие живые стихи, с такими безумно веселыми ритмами. Это другое видели в нем два человека — поэты Александр Введенский и Николай Заболоцкий; они дружили с Хармсом, уважали его, находили прелесть в его чудачествах. Заболоцкий и через четверть века говорил мне о Хармсе с нежностью. Но я знаю, что Олейников и Женя Шварц, восхищавшиеся, подобно мне, детскими стихами Хармса, никогда не сближались с ним и относились к нему так же, как я.

Шварц был писатель, очень поздно «себя нашедший». Первые десять лет его жизни в литературе заполнены пробами, попытками, мечтами, домашними стишками, редакционной работой. Это была еще не литературная, а прилитературная жизнь — время поисков себя, поисков своего пути в литературу. О том, что путь этот лежит через театр, он долго не догадывался. Он шел ощупью, он искал, почти не пытаясь печататься. Искал он упорно и нервно, скрывая от всех свои поиски. У него была отличная защита своей внутренней жизни от посторонних взглядов — юмор. От всего, по-настоящему его волнующего, он всегда отшучивался. Он казался бодрым шутником, вполне довольным своей долей. А между тем у него была одна мечта — высказать себя в литературе. Ему хотелось передать людям свою радость, свою боль. Он не представлял себе своей жизни вне литературы. Но он слишком уважал и литературу, и себя, чтобы превратиться в литературную букашку, в поденщика. Он хотел быть писателем — в том смысле, в каком понимают это слово в России, — то есть и художником, и учителем, и пророком.

Тех, кого он считал писателями, он уважал безмерно.

Помню, как летом 1925 года мы шли с ним вдвоем по Невскому, по солнечной стороне, и вдруг увидели, что навстречу нам идет Андрей Белый. Мы заметили его издали, за целый квартал. Белый шел, опираясь на трость, стремительной своей походкой, склонив седую голову набок и никого не замечая вокруг. Он шел сквозь толпу, как нож сквозь масло, на людном Невском он казался совершенно одиноким. Как метеор проплыл он мимо нас, погруженный в себя и не обратив на нас никакого внимания.

Шварц остановился и остановил меня. Мы долго смотрели Белому вслед — пока его не скрыла от нас толпа, далеко, где-то у Главного штаба.

— Он думает, — сказал Шварц, почтительно вздохнув.

В то лето у нас родилась дочь Наталья, и моя теща настаивала, чтобы она была крещена. Теща моя была превосходная женщина, окончившая Смольный институт; взгляды ее на протяжении жизни претерпели крутую эволюцию, и к старости она стала безбожницей. Но тогда, в 1925 году, она находилась еще в начале своей эволюции, и ей казалось невозможным, что внучка ее останется некрещеной. Мы с женой уступили ей, потому что не придавали этому обряду никакого значения.

Женя Шварц внезапно предложил нам стать крестным отцом нашей девочки. Он сказал, что никогда еще никого не крестил и что ему это очень любопытно. Мы с женой почувствовали в этом

предложении проявление нежности к нашей семье, и были тронуты, и охотно согласились. Я давно уже знал, что Женя Шварц привязчивый и нежный человек, прячущий свою нежность за шуткой, как, впрочем, и все остальные свои чувства. И я, хотя сам смотрел на крестины как на ничего не значащую дань традиции, был взволнован его желанием покумиться со мной. На крестинах, происходивших в квартире моей тещи, был он застенчив, мил, приветлив со всеми и мягко шутил. Вместе с нами он испугался, когда поп, положив огромную ладонь на крошечное личико новорожденной, опустил ее в воду.

Через год или два в семье Шварца случилось трагическое событие — повесился Федя, брат Гани Холодовой. Этот Федя постоянно ревновал свою жену Лелю, и, кажется, без всяких оснований. Леля была беременна, но от этого он ревновал ее не меньше. Однажды Леле вздумалось пойти на какую-то вечеринку. Федя сказал ей, что если она вернется позже часа, он покончит с собой. Она вернулась в двадцать минут второго. Он уже висел.

Все это несчастье произошло в квартире Шварца и потрясло его. На руках у него остались три тяжко страдавшие женщины — мать повесившегося, вдова повесившегося и сестра повесившегося. Горе их не имело границ, и Женя, разумеется, не мог предложить им никакого утешения.

В связи с этим печальным событием я совершил самый бестактный поступок за всю мою жизнь. Случилось это так. Примерно месяц спустя я встретил Женю и на его вопрос, почему я долго не захожу, ответил, что я не решался зайти, так как полагал, что им всем сейчас не до гостей.

— Ошибаешься, — возразил он мне. — Нужно же попытаться хоть немного вывести их из уныния. Они тебя любят, будут тебе рады, и, может быть, тебе удастся хоть немного развлечь их.

Я обещал прийти и через несколько дней зашел. Шварца я не застал, но все три женщины были в сборе. Они пили чай и посадили меня с собой за стол. Эскуи Романовна, мать, седая и красивая, застыла в безысходной печали. Леля, вдова, опустив растерянное и испуганное лицо к припухшему животу, звякала большими ножницами — она шила распашонки для будущего младенца; несмотря на горе и на беременность, с одного взгляда на нее было понятно, как должен был сходить с ума черный, словно жук, Федя от ее белокурой, бело-розовой прелести. Горе Гани Шварц, сестры, было патетическим и шумным. Она страдала и за себя, и за мать, и за Лелю.

— Ужасно!.. Ужасно!.. Это невозможно пережить!.. — говорила она, хватая меня за руки.

Я растерялся. Я пришел, чтобы рассеять их и хоть немного

отвлечь от мрачных мыслей, но не знал, как взяться за дело. Однако во время чаепития разговор все же завязался; я рассказывал о своих домашних делах, об общих знакомых. Меня слушали внимательно, с интересом. Я рискнул пошутить. Ганя рассмеялась; смотрю — даже Эскуи Романовна улыбнулась уголками губ. Это придало мне смелости; я разговорился, стараясь выбирать темы повеселее. Теперь улыбались все трое, даже Леля. Ганя подавала мне бойкие реплики и громко смеялась. Я был очень доволен собой и становился все красноречивее.

Мы с увлечением обсуждали внешность наших знакомых, переходя от одного к другому. Я настаивал, что один наш общий приятель очень красив. По мнению Гани, он был бы недурен, если бы не то, что у него слишком длинный нос. У меня тоже длинный нос; я решил воспользоваться этим, чтобы повернуть шутку на себя, и, приставив палец к своему носу, сказал:

— В доме повешенного не говорят о веревке.

Женя Шварц повторял мне эту мою фразу много-много лет. Он повторял ее, задыхаясь и трясясь от смеха, и никогда меня не упрекал за нее. Но я всегда слышал в его смехе упрек, так как знал, что для него труднее всего простить людям душевную грубость.

Он всегда судил людей, всегда награждал их в глубине своей души за доброе и осуждал за злое. Это был суд нелицеприятный, справедливый, суд, в котором ничего не было похожего на пристрастный суд Серго Куртикидзе, говорившего: «Архиерей такой интеллигентный человек: прекрасно ко мне относится». Суд Шварца был не только суд справедливый, но и добрый, милостивый; судя, Шварц никогда не забывал о той многогрешной старухе из «Братьев Карамазовых», которая один раз нищему луковку подарила и тем искупила все свои грехи. Кроме того, это был суд тайный, о котором никто не догадывался и приговоры которого никто не приводил в исполнение, даже сам Шварц. Свои приговоры Шварц всегда скрывал за шутками, и нужно было быть очень душевно чутким человеком, чтобы догадаться, что эта шутка и есть приговор. Явного суда он не любил и не признавал права судить вслух ни за кем, даже за собой; ему по душе был только один громкий, явный суд — суд искусства.

Во второй половине двадцатых годов вышла в свет его первая сказка: «Степка Растрепка и Погремушка». Эта прелестная сказка в стихах для маленьких детей не переиздавалась уже лет тридцать пять, что свидетельствует только о том, как мы не умеем ценить и беречь наши сокровища; она могла бы расходиться каждый год в миллионах экземпляров и весело учить

читателей изяществу мысли, а также телесной и душевной чистоплотности. Конечно, в ней легко заметить зависимость и от «Мойдодыра», и от ранних сказок Маршака, и от хармсовских ритмов:

Я Степка Растрепка — хрю.
Я свиньям похлебку варю,
Нет в мире меня грязней,
Не веришь — спроси у свиней.

Однако в этой сказке есть то, чего не сыщешь ни в одной сказке Хармса, — презрение к злу, к ничтожеству, требование добра, благородства. Взамен блеска и треска хармсовского стиха, взамен холодного нагромождения причудливых эксцентричностей, летящих в стремительном ритме, вдруг возник человеческий голос, мягко, но настойчиво изобличающий грязь, лицемерие, жестокость и говорящий о красоте доброты. Конечно, в «Степке Растрепке» голос этот был еще очень невнятен; прошли годы, прежде чем он окреп и стал голосом «Обыкновенного чуда», «Тени», «Дракона» — голосом, говорящим правду навеки. Шварц как писатель созревал медленно. Как человек он созрел гораздо быстрее, но прошли годы, прежде чем он нашел изобразительные средства, чтобы выразить самого себя.

В середине двадцатых годов в Ленинграде образовалось новое литературное объединение — обериуты. Не помню, как расшифровывалось это составное слово. (О — это, вероятно, общество, ре — это, вероятно, реалистическое, но что означали остальные составляющие — сейчас установить не могу.) Обериутами стали Хармс, Александр Введенский (которого отнюдь не следует смешивать с попом Александром Введенским), Олейников, Николай Заболоцкий, Леонид Савельев и некоторые другие совсем позабытые литераторы. Не знаю, вступил ли в обериуты Шварц, — может быть, и не вступил благодаря врожденной уклончивости своего характера, которая заставляла его избегать слишком определенных положений. Насмешливость мешала ему уверовать в какое-нибудь одно литературное знамя. Но, конечно, он был с обериутами очень близок, чему способствовала его старая дружба с Олейниковым и новая очень прочная дружба с Заболоцким — дружба, сохранившаяся до конца жизни.

Олейников по-прежнему писал только домашние шуточные стихи и не делал ни малейших попыток стать профессиональным литератором. Как бы для того, чтобы подчеркнуть шуточность и незначительность своих произведений, он их героями делал

обычно не людей, а насекомых. В этом он бессознательно следовал древнейшей традиции мировой сатиры. Была у него, например, поэма «Жук-антисемит»:

Жук летит и жук жужжит:
— Ж-ж-ж-ж-жид!

Этот жук злобно изобличал всех обитателей леса в том, что они евреи:

Воробей — еврей,
Канарейка — еврейка,
Божья коровка — жидовка.
Грач — пархач.

Кончалась поэма тем, что жук, злобствуя, восклицал:

Одни только евреи
На веточках сидят!

Чем ближе подходило дело к тридцатым годам, тем печальнее и трагичнее становился юмор Олейникова. Как раз на переломе двух десятилетий написал он стихотворение «Блоха мадам Петрова».

Эта несчастная блоха влюбилась. Чего только она ни делала, чтобы завоевать любовь своего избранника:

Юбки новые таскала
Из чистейшего пике,
И стихи она писала
На блошином языке.
Но прославленный милашка
Оказался просто хам,
И в душе его кондрашка,
А в головке тарарам.

Разочарованная в своем любимом, блоха мадам Петрова разочаровалась во всей вселенной. Все, что происходит в мире, кажется ей ужасным:

Страшно жить на этом свете —
В нем отсутствует уют.

Тигры воют на рассвете,
Волки зайчика грызут.
Плачет маленький теленок
Под кинжалом мясника,
Рыба бедная спросонок
Лезет в сети рыбака,
Лев рычит во мраке ночи,
Кошка стонет на трубе,
Жук-буржуй и жук-рабочий
Гибнут в классовой борьбе.

И блоха, не перенеся этой жестокости мира, кончает жизнь самоубийством:

С горя прыгает букашка
С трехсаженной высоты,
Расшибает лоб бедняжка.
Расшибешь его и ты.

Ветер трагических тридцатых годов уже врывался в души, леденя их отчаяньем; и чепушистые домашние стишки выражали время лучше, сильнее, чем стихи, написанные всерьез. Самый чепушистый из писателей двадцатых годов, Зощенко, к тридцатым годам стал писать свои повести, полные безысходной тоски, — «Аполлон и Тамара», «Сирень цветет», «Возвращенная молодость», «Записки Синягина» — и кончил весь этот цикл «Голубой книгой», которая прозвучала как мольба о справедливости, милосердии и чести. В преддверии тридцатых годов вышли в свет «Столбцы» Заболоцкого, очень родственные по манере чепушистым стихам Олейникова, Шварца, Хармса и прозвучавшие как удар по морде мещанина, бессмысленной и беспощадной, все более нагло высовывавшейся отовсюду. Это был канун прихода в мир Гитлера и всего, что ему сопутствовало.

Много-много лет спустя, в середине пятидесятых годов, Заболоцкий написал замечательно нежное стихотворение, в котором вспоминает своих былых друзей — поэтов двадцатых годов. Называется оно «Прощание с друзьями»:

В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений,
Давным-давно рассыпались вы в прах,
Как ветки облетевшие сирени.

Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где всё разъято, смешано, разбито.
Где вместо неба — лишь могильный холм
И неподвижна лунная орбита.

Там на ином, невнятном языке
Поет синклит беззвучных насекомых,
Там с маленьким фонариком в руке
Жук-человек приветствует знакомых.

Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И всё ли вы забыли?
Теперь вам братья — корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.

Теперь вам сестры — цветики гвоздик,
Соски сирени, щепочки, цыплята…
И уж не в силах вспомнить ваш язык
Там наверху оставленного брата.

Ему еще не место в тех краях,
Где вы исчезли, легкие, как тени,
В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений.

В этом стихотворении длинный пиджак и широкая шляпа — Хармс. А мир насекомых, жуков, травинок — мир Олейникова.

Драматические сказки Шварца тридцатых и сороковых годов, полные жажды добра и справедливости и бесконечной ненависти к жестокости и лицемерию, для меня навсегда останутся неотрывно связанными с тем, что делали Олейников, Зощенко и Заболоцкий. А между тем Шварц в своих сказках вполне своеобразен и стилистически нисколько не близок ни тому, ни другому, ни третьему. Они написаны собственным голосом, но прежде чем найти собственный голос, ему предстояло пережить глубокую личную трагедию, порвать с Детским отделом и вернуться к театру.

О его личной трагедии — о разрыве с Ганей Холодовой и женитьбе на Екатерине Ивановне — я знаю очень мало. Женя Шварц был скрытен, и никакая близость и дружба не могли заставить его разговориться о том, что, по его мнению, касалось его одного. Я узнал обо всем очень поздно, так же поздно, как и Ганя Холодова, в один час с нею.

Весной 1929 года Ганя Холодова должна была родить. Шварцы стали подыскивать дачу, чтобы сразу после Ганиных родов туда переехать. Так как и они, и мы по своим средствам не могли снять целую дачу, нам пришло в голову объединиться и снять одну дачу пополам. Нашли мы дачу в Токсове, к северу от Ленинграда, — она нам понравилась тем, что была совсем новая, только что построенная, чистая. Мы переехали туда сразу, а Шварцы должны были переехать только после Ганиных родов.

Как раз в то токсовское лето и состоялся мой разговор с Хармсом о купании. Хармс, собственно, лишь за тем и приехал тогда в Токсово, чтобы повидать Шварца. Хармсу понадобился Шварц, и он искал его в Детском отделе и не нашел, искал на квартире и не нашел, тогда он приехал к нему на дачу и, разумеется, тоже не нашел. Шварц в то лето появлялся на даче редко.

Ганя приехала счастливая, довольная, гордая своим младенцем. Я спросил ее, когда приедет Женя, и она мне уверенно ответила: завтра утром. Но он не приехал ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день. Ганя, занятая ребенком, забеспокоилась, но очень мало.

Приехав, Шварц заперся с Ганей, и мы только слышали, как она закричала. Он пробыл с ней час, наскоро простился с нами и побежал к поезду. Лицо у него было белое, в крупных каплях пота. Через три дня Ганя с младенцем и матерью переехала в город.

Больше Шварц к ней не вернулся, и до конца жизни их связывала только дочка. Это была трудная, мучительная для обоих, но прочная связь, потому что Шварц очень любил свою дочь. Ему вообще было свойственно очень любить, и он никогда не умел противостоять любви, потому что был слабый человек. Он совершал решительные поступки именно потому, что чувствовал свою слабость. Полюбив Ганю, он прыгнул с набережной в Дон. Полюбив Екатерину Ивановну, он оставил Ганю и новорожденную дочь. В течение долгого времени он знал, что ему предстоит нанести Гане чудовищный удар; неизбежность этого так страшила его, что он все откладывал и откладывал, ничем себя не выдавая; и удар, нанесенный внезапно, ничем не подготовленный, оказался вдвое страшнее. Вначале казалось, что удар он нанес Гане, и только Гане; но потом обнаружилось, что удар этот прежде всего сокрушил его самого.

Он переехал к красавице Екатерине Ивановне, умной, доброй и любящей женщине; все было благополучно, все вышло так, как он хотел. Но с этих пор у него стали дрожать руки.

Почерк его изменился, превратился в каракули, потому что

пальцы его, держа перо, ходили ходуном. За веселым ужином жутко было видеть, сколько ему приходилось прилагать усилий, чтобы попасть вилкой в рот. Как трудно было ему не расплескать водку, поднося рюмку к губам. Прошли годы. Ганя давным-давно была уже замужем за другим, дочь его выросла и стала взрослой, он потолстел, полысел, а руки его продолжали дрожать.

В начале тридцатых годов произошло и другое важное событие в его жизни — ему пришлось расстаться с Детским отделом. Не ему одному. Вместе с ним ушли из Детского отдела и Олейников, и Андроников, и Груня Левитина. Ушли и почти все авторы, которые издавались там с самого начала, — в том числе и я. Ушли, разумеется, не по своей воле, а по воле Маршака.

Для большинства из нас, удаляемых, событие это в то время казалось непонятным, непостижимым. Дело в том, что каждого из нас в отдельности и всех вместе связывала с Маршаком дружба. Так, по крайней мере, нам казалось. Дружба эта основывалась на многолетней совместной работе, на нескончаемых вдохновенных разговорах об искусстве, на испытанном доверии к дарованиям друг друга. Кроме того, каждого из нас привлек к работе он сам — и Шварца, и Олейникова, и Хармса, и меня, и, несколько позднее, Бориса Житкова. Поэтому наше изгнание казалось необъяснимым предательством.

А между тем в нем не было ровно ничего необъяснимого. Просто Маршак, всегда обладавший острейшим чувством времени, тоже ощущал грань, отделявшую двадцатые годы от тридцатых. Он понимал, что пора чудачеств, эксцентриад, дурашливых домашних шуток, неповторимых дарований прошла. В наступающую новую эпоху его могла только компрометировать связь с нестройной бандой шутников и оригиналов, чей едкий ум был не склонен к почтительности и не признавал никакой иерархии. И он, подчиняясь своему безошибочному практическому инстинкту, стал отделываться от прежних приятелей и соратников.

Отделывался он от них не сразу, не рывком, а постепенно, но неукоснительно. Шварца и Олейникова он изгнал из детской литературы раньше, Бориса Житкова — позже. Детский отдел был преображен в Детиздат, во главе которого стоял не Соломон Николаевич Гисин, а Дмитрий Иванович Какбычегоневычелов. Но роль Дмитрия Ивановича была та же, что и Соломона Николаевича, — служить прикрытием Маршаку, который оставался полным хозяином. Несмотря на это, Детиздат оказался противоположностью Детского отдела. В Детиздате все было чинно, как в настоящем учреждении, — ни смеха, ни шуток. В новом его штате не было ни Олейникова, ни Шварца, ни

Андроникова. Их место заняли четыре девушки, грамотные, лишенные особых дарований, но набожно влюбленные в Маршака и верившие только в «редактуру». <…>

Изгнанники по-разному отнеслись к своему изгнанию. Коля Олейников заплатил Маршаку открытым презрением и прямолинейной ненавистью. Он повсюду часами поносил Маршака, и делал это едко, с блеском, создав из него гротескный, уморительный и гнусный образ. Такой же, и даже большей ненавистью заплатил Маршаку Борис Житков, — когда был изгнан в свой черед. Он ненавидел страдальчески, нервно, неистово, в последние два года своей жизни он ни о чем не мог говорить, кроме как о Маршаке. <…>

Иначе отнесся к своему изгнанию Шварц. Его мягкости, доброте, уклончивости претила открытая вражда. Когда его попросили уйти, он послушно ушел, ни с кем не объясняясь. С Маршаком он сохранил хорошие отношения, — правда, далеко не такие, какими они были в двадцатые годы. Житков не мог Шварцу этого простить и, беспощадно браня всех, кто продолжал поддерживать отношения с Маршаком, задевал и Шварца. Я помню, что Шварц не без удовольствия слушал злые и издевательские речи Олейникова о Маршаке и охотно смеялся, но никогда не соглашался с ними полностью и делал попытки несколько смягчить их убийственный смысл.

Но как бы то ни было, его изгнали, он остался без работы и должен был искать выход из положения. Такая же задача стояла перед всеми изгнанными Маршаком, и каждый решал ее по-своему. Я сел писать повесть для взрослых, назвал ее «Юность» и отдал в «Издательство писателей в Ленинграде»; она была крайне несовершенна, но тем не менее ее напечатали, и это определило всю мою дальнейшую работу. Лишив меня возможности издаваться в детском издательстве, Маршак, отнюдь к тому не стремясь, принес мне пользу, за что я ему от души благодарен. В сущности, то же случилось и с Житковым, — изгнанный Маршаком, он написал роман для взрослых «Виктор Вавич», несомненно, продолжал бы с успехом писать для взрослого читателя, если бы не умер. Гораздо хуже сложилась судьба Олейникова. Он никогда не был профессиональным писателем, да, по-видимому, и не стремился им стать. Изгнанный из детского издательства, он принужден был жить случайными заработками.

А Шварц, после продолжительных поисков, нашел свое место в театре, в драматургии.

Мне это показалось неожиданным, хотя, разумеется, ничего неожиданного в этом не было. Я в молодости мало интересовался театром и, вероятно, поэтому не обращал внимания на интерес к

театру моих друзей. Женя Шварц начал свой жизненный путь с того, что стал актером, и, хотя как актер он не проявил особых дарований, актером он был не случайно. Служа долгие годы в Детском отделе Госиздата, он был оторван от театра, но только теперь я понимаю, сколько театрального было в этом самом Детском отделе. Там постоянно шел импровизированный спектакль, который ставили и разыгрывали перед случайными посетителями Шварц, Олейников и Андроников. В этот спектакль, вечно новый, бесшабашно веселый, удивительно многозначительный, они вовлекали и хорошенькую Груню Левитину, и Соломона Гисина в косоворотке и русских сапогах, и Хармса с его угрюмыми чудачествами. И даже на всей продукции Детского отдела за те годы — на удивительных похождениях Макара Свирепого, на неистовых по ритмам и образам стихотворных сказках для трехлетних детей, на журналах «Чиж» и «Еж» — лежит отпечаток неосознанной, но кипучей и блестящей театральности.

Свою работу драматурга Шварц начал с пьес для детского театра. Потом он стал писать пьесы для взрослых, но его пьесы для взрослых — тоже сказки. Он выражал условным языком сказки свои далеко не условные мысли о совсем не условной действительности. Однако очень ошибется тот, кто подумает, что целью этого была какая-нибудь тайнопись, эзопов язык. Это — вульгарная мысль, не имеющая ничего общего с творчеством Шварца. Шварц тяготел к сказке потому, что чувствовал сказочность реальности, и чувство это не покидало его на протяжении всей жизни.

Занявшись драматургией, он вовсе не сразу понял, что ему надо писать сказки; он попробовал было писать так называемые «реалистические» пьесы. Но сказка, как бы против его воли, врывалась в них, завладевала ими. В 1934 году он напечатал в журнале «Звезда» пьесу «Приключения Гогенштауфена». Действие пьесы происходило в самом обыкновенном советском учреждении, где служат обыкновенные «реалистические» люди. Например, на должности управделами этого учреждения работала некая тов. Упырева. Странность заключалась только в том, что эта Упырева действительно была упырем, вампиром и сосала кровь из живых людей, а когда крови достать не могла, принимала гематоген.

Подобные его пьесы — например «Ундервуд» — имели ограниченный успех, — именно из-за своей жанровой неопределенности. Вся первая половина тридцатых годов ушла у него на поиски жанра, который дал бы ему возможность свободно выражать свои мысли, свое понимание мира. Первой его

настоящей сказкой для сцены была «Красная шапочка». Сделал он ее талантливо, мило, но очень робко. Первой подлинной удачей был «Голый король», написанный в 1934 году. Тут он впервые обратился к сказкам Андерсена, воспользовавшись сразу тремя — «Свинопасом», «Принцессой на горошине» и «Голым королем». Оказалось, что именно сказки Андерсена дают ему возможность говорить в полный голос. И он заговорил в полный голос.

Не помню, был ли «Голый король» Шварца где-нибудь поставлен в тридцатые годы. Если и был поставлен, то прошел незамеченным. Но четверть века спустя, уже после смерти автора, этой пьесе суждено было иметь шумный, даже буйный сценический успех. Запоздалый успех доказал только прочность и жизнеспособность этой пьесы, благородные герои которой, ополчившиеся против бессмертной людской глупости и подлости, поют:

Если мы врага повалим,
Мы себя потом похвалим,
Если враг не по плечу,
Попадем мы к палачу.

Шварц в пору своей художнической зрелости охотно использовал для своих пьес и сценариев общеизвестные сюжеты. «Снежная королева» и «Тень» — инсценировки сказок Андерсена, «Золушка» — экранизация известнейшей народной сказки, «Дон Кихот» — экранизация знаменитого романа. Даже в таких его пьесах с вполне самостоятельными сюжетами, как «Дракон», «Обыкновенное чудо», «Два клена», отдельные сюжетные ходы откровенно заимствованы из широчайше известных сказок. И при этом трудно найти более самостоятельного и неповторимого художника, чем Евгений Шварц. Его инсценировки несравненно самобытнее, чем великое множество так называемых «оригинальных» пьес, в которых, при всей их «оригинальности», нет ничего, кроме банальностей. Шварц брал чужие сюжеты, как их брал Шекспир, он использовал сказки, как Гёте использовал легенду о Фаусте, как Пушкин в «Каменном госте» использовал традиционный образ Дон Жуана. Я слышу голос Шварца, когда в кинокартине «Дон Кихот» студент-медик, леча больного Дон Кихота, говорит: «Подумать только — эти неучи пускали вам кровь по нечетным числам, тогда как современная наука установила, что это следует делать только по четным! Ведь сейчас уже тысяча шестьсот пятый год! Шутка сказать!» Я слышу голос Шварца в каждом кадре, хотя написанный им сценарий — самое верное и самое сильное истолкование великого романа

Сервантеса, которое когда-либо существовало.

Пьесы Шварца написаны в тридцатые и в сороковые годы двадцатого века, в эти два страшных десятилетия, когда мировая реакция крепла год от года, то растаптывая достигнутое в предшествующую революционную эпоху, то с циничным лицемерием приспосабливая идеи революции для прикрытия своей мерзости. Сжигались книги, разрастались концентрационные лагеря, разбухали армии, полиция поглощала все остальные функции государства. Ложь, подлость, лесть, низкопоклонство, клевета, наушничество, предательство, шпионство, безмерная, неслыханная жестокость повсеместно становились основными законами жизни. Все это плавало в лицемерии, как в сиропе, умы подлецов изощрялись в изобретении пышных словесных формул, то религиозных, то националистических, то ложно-демократических, чтобы как-нибудь принарядить всю эту кровь и грязь. Всему этому способствовали невежество и глупость. И трусость. И неверие в то, что доброта и правда могут когда-нибудь восторжествовать над жестокостью и неправдой.

И Шварц каждой своей пьесой говорил всему этому: нет. Нет — подлости, нет — трусости, нет — зависти. Нет — лести, низкопоклонству, пресмыкательству перед сильным. Нет — карьеристам, полицейским, палачам. Всей низости людской, на которую всегда опирается реакция, каждой новой пьесой говорил он — нет.

Верил ли он в свою победу, верил ли, что пьесы его помогут искоренению зла? Не знаю. Однажды он сказал мне:

— Если бы Франц Моор попал на представление Шиллеровых «Разбойников», он, как и все зрители, сочувствовал бы Карлу Моору.

Это мудрое замечание поразило меня своим скептицизмом. С одной стороны, сила искусства способна заставить даже закоренелого злодея сочувствовать победе добра. Но, с другой стороны, Франц Моор, посочувствовав во время спектакля Карлу Моору, уйдет из театра тем же Францем Моором, каким пришел. Он просто не узнает себя в спектакле. Как всякий злодей, он считает себя справедливым и добрым, так как искренне уверен, что он сам и его интересы и являются единственным мерилом добра и справедливости. Баба-яга в пьесе Шварца «Два клена» говорит о себе:

— Я, баба-яга, умница, ласточка, касаточка, старушка-вострушка! Я в себе, голубке, души не чаю. Тем и сильна.

Верил ли Шварц в возможность побеждать зло искусством или не верил, но пьесы его полны такой горячей ненависти к злу,

к подлости всякого рода, что они обжигают. Охлаждающего скептицизма в них нет ни крупинки: скептицизм насмешливого, житейски осторожного Шварца сгорел в пламени этой ненависти без остатка. Его пьесы начинаются с блистательной демонстрации зла и глупости во всем их позоре и кончаются торжеством добра, ума и любви. И хотя пьесы его — сказки и действие их происходит в выдуманных королевствах, зло и добро в них не отвлеченные понятия, не абстракции. Напротив, все в них всегда кажется таким реальным, конкретным, сегодняшним и злободневным, словно зритель сидит на собрании у себя в учреждении и следит за скрытой борьбой страстей, накаленных живою болью и живою злобой.

В 1943 году он написал «Дракона» — на мой взгляд, лучшую свою пьесу-сказку.

Вторая мировая война только что перешла через свою кульминацию — гитлеровцы разгромлены под Сталинградом, на Курской дуге и медленно откатываются; на западе американцы, англичане и французы несколько улучшают свои позиции. До конца войны еще почти два года, но победа уже угадывается. И встает вопрос — что будет с миром после разгрома гитлеризма?

Сюжет «Дракона» — традиционнейший сказочный сюжет, по крайней мере в начале. Город уже триста лет находится во власти дракона, который диктует городу законы и каждый год пожирает красивейшую девушку. Даже не пожирает, а просто уводит в свою пещеру, и там она умирает от отвращения. Отважный странствующий рыцарь Ланцелот заходит случайно в город, встречает девушку, предназначенную дракону, и вызывает дракона на поединок. Три драконовы головы, отрубленные его победоносным мечом, одна за другой валятся на сцену.

Так, казалось бы, должно было кончиться последнее, третье действие. Ничего подобного. Ланцелот убивает дракона в середине пьесы. А что же дальше? В чьи руки попадает власть? В руки Ланцелота? В руки освобожденного народа? Нет, в руки бургомистра, бывшего приспешника дракона.

Не Ланцелот, а бургомистр объявлен победителем дракона. Бургомистр поносит дракона, перед которым прежде пресмыкался, и провозглашает себя «главой самого демократического правительства в мире». Его власть нисколько не уступает власти дракона, и порядки, которые он вводит, — все те же драконовы порядки. Ничего не изменилось. Даже девушку, предназначенную прежде дракону, должны насильно выдать замуж за поганого и подлого сына бургомистра.

Вся эта пророческая история рассказана в пьесе и сказочно, и необычайно конкретно. Потрясающую конкретность и

реалистичность пьесе придавали замечательно точно написанные образы персонажей, только благодаря которым и могли существовать обе диктатуры, — трусов, стяжателей, обывателей, подлецов и карьеристов. Разумеется, как все сказки на свете, «Дракон» Шварца кончается победой добра и справедливости. На последних страницах пьесы Ланцелот свергает бургомистра, как прежде сверг дракона, и женится на спасенной девушке. Под занавес он говорит освобожденным горожанам и всем зрителям:

— Я люблю всех вас, друзья мои. Иначе чего бы ради я стал возиться с вами. А если уж люблю, то все будет прелестно. И все мы после долгих забот и мучений будем счастливы, очень счастливы наконец!

Так говорил Шварц, который, держа меч в вечно дрожавших руках, двадцать лет наносил дракону удар за ударом.

А руки его чем дальше, тем дрожали заметнее. В самом конце сороковых годов или в самом начале пятидесятых, в феврале месяце, поехал я в Комарово, в Дом творчества — поработать в уединении. Я жил уже тогда в Москве и выбрал из литфондовских домов творчества именно Комарово потому, что поездка туда давала мне возможность побывать в Ленинграде, где я не был со времен осады, и повидать наш старый куоккальский дом, где прошло мое детство и до которого от Комарова всего восемь километров, и пожить в тесном общении с моими старинными любимыми друзьями Леонидом Рахмановым и Евгением Шварцем. Я списался с ними заранее и знал, что они оба будут жить в феврале в Комарове — Рахманов в Доме творчества, а Шварц в маленьком домике, который он арендовал у дачного треста, возле самого железнодорожного переезда.

В этом домике стены постоянно дрожали от проходивших мимо поездов — тогда еще паровых, электричку провели там позднее. Каждый вечер после ужина мы с Рахмановым отправлялись по снегу в этот домик, к Шварцам. Засиживались поздно — за разговорами, за картами. Играли всегда в одну и ту же игру, которая называлась «Up and down». Я всю жизнь не любил и избегал карт и знаю, что Шварц не любил их тоже; но Екатерина Ивановна Шварц и Рахманов были картежники и нуждались в партнерах. Они относились к игре серьезно и страстно и часто ссорились за игрой, а потом дулись друг на друга минут тридцать и выясняли отношения. Шварц спокойно и ласково мирил их. Он сидел за столом, наклонив, как обычно, свое умное узкое лицо немного набок, и казался уравновешенным, дружелюбным, довольным, и только карты, которые он держал в обеих руках, ходили ходуном в его дрожащих пальцах.

Лицом он изменился мало, но очень потолстел. Однако, когда я сказал ему, что он немного пополнел, он стал отрицать это с удивившим меня пылом.

— Пощупай мой живот — никакого жира, одни мышцы!

И я действительно щупал сквозь фуфайку его живот и не вполне искренне соглашался с ним.

Я заметил, что его волнует тема постарения и что он в разговорах часто возвращается к ней. Мы с ним несколько лет не виделись, и, возможно, я казался ему сильно изменившимся. Но говорил он о себе.

— На днях я узнал наконец, кто я такой, — сказал он. — Я стоял на трамвайной площадке, и вдруг позади меня девочка спрашивает: «Дедушка, вы сходите?»

Каждый день перед обедом мы втроем отправлялись на прогулку — Рахманов, Шварц и я. Бродили мы часа два по узким снежным лесным тропинкам и нагибались, пролезая под лапами елок. Шварц шел всегда впереди, шел быстро, уверенно сворачивая на поворотах, и мы с Рахмановым не без труда догоняли его. Говорили о разном, понимая друг друга с полуслова, — мы трое были слишком давно и слишком близко знакомы. Много говорили о Льве Толстом. В сущности, весь разговор сводился к тому, что кто-нибудь из нас вдруг произносил: «А помните, Наташа Ростова…» или: «А помните, Анна…» — и далее следовала цитата, которую, оказывается, помнили все трое и долго вслух наслаждались, смакуя каждое слово. Это была прелестная игра, очень сблизившая нас, потому что мы всякий раз убеждались, что чувствуем одинаково и любим одно и то же.

И только однажды обнаружилось разногласие — между мной и Шварцем. Было это уже в конце прогулки, мы возвращались усталые и замерзшие. Перебирая в памяти сочинения Толстого, я дошел до «Смерти Ивана Ильича» и восхитился какой-то сценой.

— Это плохо, — сказал вдруг Шварц жестко.

Я оторопел от изумления. Гениальность «Смерти Ивана Ильича» казалась мне столь очевидной, что я растерялся.

— Нет, это мне совсем не нравится, — повторил Шварц.

Я возмутился. С пылом я стал объяснять ему, почему «Смерть Ивана Ильича» — одно из величайших созданий человеческого духа. Мое собственное красноречие подстегивало меня все больше. Однако я нуждался в поддержке и все поглядывал на Рахманова, удивляясь, почему он меня не поддерживает. Я не сомневался, что Рахманов восхищается «Смертью Ивана Ильича» не меньше, чем я.

Но Рахманов молчал.

Он молчал и страдальчески смотрел на меня, и я почувствовал, что говорю что-то бестактное. И красноречие мое увяло. Потом, оставшись со мной наедине, Рахманов сказал мне:

— При нем нельзя говорить о смерти. Он заставляет себя о ней не думать, и это не легко ему дается.

После нашего свидания в Комарове Шварц прожил еще лет семь или восемь. Время от времени я наезжал в Ленинград — всегда по делам, всегда только на день или на два, — и всякий раз самым приятным в этих моих приездах была возможность провести два-три часа с Женей Шварцем. И дружба и вражда складываются в первую половину человеческой жизни, а во вторую половину только продолжаются, проявляя, однако, удивительную стойкость. Так было и в нашей дружбе с Шварцем, — она уже не менялась. После любой разлуки мы могли начать любой разговор без всякой подготовки и понимали друг друга с четвертьслова. У него вообще было замечательное умение понимать, — свойство очень умного и сердечного человека.

Главной его работой в эти последние годы жизни был сценарий «Дон Кихот». По этому сценарию был поставлен отличный фильм, снимавшийся в окрестностях Коктебеля и получивший всемирное признание. И все же фильм этот несравненно хуже сценария, несмотря на то что ставил его великолепный режиссер Козинцев, а Дон Кихота играл превосходный актер Черкасов. Шварц был тончайший словесный мастер, и для выражения его дум и страстей ему ничего, кроме слова, не было нужно.

Как-то во время одного из моих приездов он прочел мне свои воспоминания о Борисе Житкове. Он очень волновался, читая, и я видел, как дорого ему его прошлое, как дороги ему те люди, с которыми он когда-то встречался. А так как его прошлое было в большой мере и моим прошлым, я, слушая его, тоже не мог не волноваться. Я порой даже возмущался, — мне все казалось, что он ко многим людям относится слишком мягко и снисходительно. Когда он кончил, я заспорил с ним, доказывая, что такой-то был ханжа и ловчило, а такой-то — просто подлец. Он не возражал мне, а промолчал, увел разговор в сторону — как поступал обычно, когда бывал несогласен. И мне вдруг пришло в голову, что он умнее меня и потому — добрее.

В последние годы он был уже очень болен, но на болезнь его не обращали особого внимания, так как считалось, что Екатерина Ивановна больна гораздо опаснее. Он и сам так считал и очень о ней беспокоился, рассказывал с тревогой, как у нее болит сердце, как она задыхается, как она мало спит.

В Ленинграде, в Доме Маяковского, отпраздновали его шестидесятилетие. Актеры и литераторы говорили ему всякие приятности — как всегда на всех юбилеях. Зощенко, уже седой, сказал примерно так:

— Я стал старше и больше не требую от людей ни доблести, ни чести, ни отваги. Я требую от них только приличия. Позвольте вам сказать, Женя, что вы очень приличный человек.

Шварц был весел, оживлен, подвижен, очень приветлив со всеми, скромен и, кажется, доволен. Но через несколько дней ему стало плохо. И потом становилось все хуже и хуже.

Я навестил его незадолго до смерти. Он лежал; когда я вошел, он присел на постели. Мне пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы не показать ему, как меня поразил его вид. Мой приход, кажется, обрадовал его, оживил, и он много говорил слабым, как бы потухшим голосом. Ему запретили курить, и его это мучило. Всю жизнь он курил дешевые маленькие папиросы, которые во время войны называли «гвоздиками»; он привык к ним в молодости, когда был беден, и остался им верен до конца. Несмотря на горячие протесты Екатерины Ивановны, он все-таки выкурил при мне папироску. Рассказывал он мне о своей новой пьесе, которую писал в постели, — «Повесть о молодых супругах». Глаза его блестели, говорил он о Театре комедии, о Николае Павловиче Акимове, об актерах, но смотрел на меня тем беспомощным, просящим и прощающим взором, которым смотрит умирающий на живого.

Живым я его больше не видел. Чем дальше уходит его смерть в прошлое, тем яснее я вижу, какая мне выпала в жизни удача — близко знать этого человека с высокой и воинственной душой.

Николай Заболоцкий

Я познакомился с Заболоцким в конце двадцатых годов, встречался с ним множество лет, не подозревая, что будет время, когда он станет моим близким другом. Мы жили с ним в одном городе, оба занимались литературой, ходили в одни и те же издательства; здоровались, иногда разговаривали, но оставались совсем чужими.

Заболоцкий был румяный блондин среднего роста, склонный к полноте, с круглым лицом, в очках, с мягкими пухлыми губами. Крутой северо-русский говорок — он родился в городе Уржуме Вятской губернии — оставался у него всю жизнь, но особенно заметен был в молодости. Манеры у него смолоду были степенные, даже важные. Впоследствии я даже как-то сказал ему, что у него есть врожденный талант важности — талант, необходимый в жизни и избавляющий человека от многих напрасных унижений. Сам я этого таланта был начисто лишен, всегда завидовал людям, которые им обладали, и, быть может, поэтому так рано подметил его в Заболоцком. Странно было видеть такого степенного человека с важными медлительными интонациями басового голоса в беспардонном кругу обериутов — Хармса, Введенского, Олейникова. Нужно было лучше знать его, чем знал его тогда я, чтобы понять, что важность эта картонная, бутафорская, прикрывающая целый вулкан озорного юмора, почти не отражающегося на его лице и лишь иногда зажигающего стекла очков особым блеском.

И когда вышла его первая книга стихов — «Столбцы», — меня поразило, что ее написал вот этот степенный молодой человек. Со времен раннего Маяковского не было еще у нас таких нестепенных, озорных книг.

Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня,
И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.

Стихотворение это называлось «Движение». Оно поражало правдивостью своей изобразительности. Передать то, что видят

глаза, передать правдиво, непосредственно, без всяких прикрас — вот к чему стремился автор «Столбцов».

В уборе из цветов и крынок,
Открыл ворота старый рынок.

Здесь бабы толсты, словно кадки,
Их шаль невиданной красы,
И огурцы, как великаны,
Прилежно плавают в воде.
Сверкают саблями селедки,
Их глазки маленькие кротки,
Но вот, разрезаны ножом,
Они свиваются ужом.
И мясо, властью топора
Лежит, как красная дыра…

…Калеки выстроились в ряд.
Один играет на гитаре.
Ноги обрубок, брат утрат,
Его кормилец на базаре.
А на обрубке том костыль,
Как деревянная бутыль…

Средствами своей дьявольской изобразительности показывал он мне тот самый мир, который я ежедневно видел вокруг себя, — Ленинград конца двадцатых годов, конца нэпа. Прочитав его стихотворение «Вечерний бар», я вскрикнул, — с такой точностью там был изображен пивной бар на углу Невского и Михайловской — великий соблазн всех нищих мальчиков города.

В глуши бутылочного рая,
Где пальмы высохли давно,
Под электричеством играя,
В бокале плавало окно.
Оно, как золото, блестело,
Потом садилось, тяжелело,
Над ним пивной дымок вился…
Но это рассказать нельзя.

Звеня серебряной цепочкой.
Спадает с лестницы народ,
Трещит картонною сорочкой,
С бутылкой водит хоровод.

Сирена бледная за стойкой
Гостей попотчует настойкой,
Скосит глаза, уйдет, придет,
Потом с гитарой наотлет
Она поет, поет о милом…

Период нэпа был неповторимый миг нашей истории. Революция победила в России, но была разгромлена, раздавлена всюду во всем остальном мире. Блокада отгораживала нас от мира, обрекала нас на нищету. Заводы в руках государства медленно оживали, но заводов было мало, а все остальное хозяйство осталось мелкотоварным и целиком находилось в руках мещанства и кулачества. После победы советской власти в Гражданской войне мещанство больше не рассчитывало ни на белых, ни на эсеров; оно поняло, что это битые карты. С утверждением нэпа мещанин пошел либо в торговцы, либо в чиновники. Необходимость мимикрии, вечная боязнь разоблачения делала мещанина-чиновника крикливым и придирчивым блюстителем нового строя, новых форм быта — именно форм его, а не сути. Суть же оставалась прежняя — дикая, мещанская. Об этом — о нежелающем сдаваться мещанстве — вопиют «Столбцы» Заболоцкого.

Восходит солнце над Москвой,
Старухи бегают с тоской:
Куда, куда идти теперь?
Уж Новый Быт стучится в дверь!

Так начинается стихотворение Заболоцкого «Новый быт». Подрос младенец, он — новый человек, он собирается жить по-новому.

И время двинулось быстрее,
Стареет папенька-отец,
И за окошками в аллее
Играет сваха в бубенец.

Новому человеку пришла пора жениться.

Приходит поп, тряся ногами,
В ладошке мощи бережет,
Благословить желает стенки,

Невесте крестик подарить.
«Увы, — сказал ему младенец, —
Уйди, уйди, кудрявый поп,
Я — новой жизни ополченец,
Тебе ж один остался гроб!»

Новый человек хочет жениться по-новому:

Варенье, ложечкой носимо,
Шипит и падает в боржом.
Жених, проворен нестерпимо,
К невесте лепится ужом.
И председатель на отвале,
Чете играя похвалу,
Приносит в выборгском бокале
Вино солдатское, халву,
И, принимая красный спич,
Стоит на столике кулич.

Попа прогнали, но от этого не изменилось ничего. Мещанская свадьба осталась мещанской свадьбой.

И стало все благоприятно:
Явилась ночь, ушла обратно,
И за окошком через миг
Погасла свечка-пятерик.

Вся эта книга — «Столбцы», — такая своеобычная, свободная, веселая, живописная, в сущности, имеет одну цель, в которую бьет с бешенством, — мещанство.

Часы гремят. Настала ночь.
В столовой пир горяч и пылок.
Графину винному невмочь
Расправить огненный затылок.
Мясистых баб большая стая
Сидит вокруг, пером блистая,
И лысый венчик горностая
Венчает груди, ожирев
В поту столетних королев.
Они едят густые сласти,
Хрипят в неутоленной страсти

И, распуская животы,
В тарелки жмутся и цветы.
Прямые лысые мужья
Сидят, как выстрел из ружья,
Едва вытягивая шеи
Сквозь мяса жирные траншеи.
И, пробиваясь сквозь хрусталь
Многообразно однозвучный,
Как сон земли благополучной,
Парит на крылышках мораль.

«Столбцы» — это революционная книга, полная не только насмешки, но и презрения, и бешеной ненависти. Однако революция с ее бурями была уже позади —

Он спит сегодня, грозный мир:
В домах спокойствие и мир.

И Заболоцкий со всей страстностью семнадцатого года ополчился против этого спокойствия и мира:

Ужели там найти мне место,
Где ждет меня моя невеста,
Где стулья выстроились в ряд,
Где горка — словно Арарат —
Имеет вид отменно важный,
Где стол стоит, и трехэтажный
В железных латах самовар
Шумит домашним генералом?
О мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой,
Одним проплеванным амбаром,
Одной мышиною норой,
Но будь к оружию готов:
Целует девку — Иванов!

Однако был уже не семнадцатый год, а подходил тридцатый. «Столбцы» были встречены критикой со злобой. В те годы шла борьба с формализмом, затянувшаяся на много лет. В формализме обвинялась не только так называемая «формальная» литературоведческая школа, возглавлявшаяся Шкловским и Эйхенбаумом, но вообще всякое проявление оригинальности в

искусстве. На одобрение критики, в сущности, могла рассчитывать только банальность. А так как «Столбцы» не были банальны, то Заболоцкий все годы вплоть до своего ареста работал в обстановке травли. Однако время от времени ему удавалось печататься, потому что у него появился сильный покровитель — Николай Семенович Тихонов.

В тридцатые годы Тихонов был одним из самых влиятельных людей в ленинградском литературном кругу, и постоянная помощь, которую он оказывал Заболоцкому, является одной из его величайших заслуг. Благодаря Тихонову в журнале «Звезда» была напечатана поэма Заболоцкого «Торжество земледелия», вызвавшая новую критическую бурю. Вообще роль Тихонова во всей жизни Заболоцкого была очень велика, и мне еще не раз придется говорить о ней. Тихонов, редко любивший своих современников, любил стихи Заболоцкого, любил его самого, любил, в сущности, неразделенной любовью, потому что к его собственным стихам и прозе Заболоцкий был всегда холоден и не вступал с ним в близкие личные отношения. В тридцатые годы Заболоцкий продолжал жить в том же кругу, в котором сложился как поэт; его ближайшими друзьями оставались Хармс, Введенский, Олейников, Евгений Шварц, Леонид Савельев; прибавились к ним Каверин и редактор сочинений Хлебникова Н. Л. Степанов. В этом кругу проходила его жизнь, здесь его понимали и любили, здесь он был веселым и простым, а не тем важным и внушительно серьезным, каким знали его в редакциях. Любовь друзей защищала его от грубых и диких ударов критики, как бы амортизировала их. И под их защитой шло медленное, но неуклонное созревание поэта, шла та эволюция его стиля, благодаря которой поздний Заболоцкий стал так отличен от Заболоцкого «Столбцов».

Эту эволюцию я впервые заметил, когда прочитал в 1934 году его стихотворение «Прощание. Памяти С. М. Кирова».

Заболоцкий любил Кирова. В этой любви было, по-видимому, и кое-что личное — земляки, оба родом из Уржума. Убитый Киров, революционер, деятель семнадцатого года, лежал в Таврическом дворце, и огромные толпы ленинградцев с утра до вечера шли по Шпалерной прощаться с ним. Я тоже шел в этой печальной и тревожной толпе, тоже чувствовал в этом событии что-то переломное, переход к новой эпохе, неведомо что сулившей. И когда я прочитал стихотворение Заболоцкого, торжественное и скорбное, как реквием, столь непохожее и в то же время похожее на его прежние стихи, у меня болезненно сжалось сердце:

Прощание! Скорбное слово!
Безгласное темное тело.
С высот Ленинграда сурово
Холодное небо глядело.
И молча, без грома и пенья,
Все три боевых поколенья
В тот день бесконечной толпою
Прошли, расставаясь с тобою.

В холодных садах Ленинграда,
Забытая в траурном марше,
Огромных дубов колоннада
Стояла, как будто на страже.
Казалось, высоко над нами
Природа сомкнулась рядами
И тихо рыдала и пела,
Узнав неподвижное тело.

Но видел я дальние дали,
И слышал с друзьями моими,
Как дети детей повторяли
Его незабвенное имя.
И мир исполински прекрасный
Сиял над могилой безгласной,
И был он надежен и крепок,
Как сердца погибшего слепок.

В развитии Заболоцкого как поэта огромную роль играла его работа над переводами стихов — главным образом, с грузинского. Начал он эту работу, если не ошибаюсь, в 1935 году и продолжал до самой смерти. Это был грандиозный, упорный, всегда вдохновенный труд, которому он отдал всю свою жизнь. Великую поэму Руставели «Витязь в тигровой шкуре» он перевел дважды — один раз до своего ареста, другой раз после освобождения, и оба раза по-разному. «Слово о полку Игореве» он перевел в лагере, стоя перед нарами на коленях. И этот лагерный перевод — самый лучший, самый поэтический, самый общедоступный — то есть народный — из всех существующих переводов.

К переводам с грузинского его привлек все тот же Тихонов. Он сам тогда занимался переводами грузин. Он отвез Заболоцкого в Грузию и познакомил с грузинскими поэтами.

За двадцатилетие с 1935 года по 1955 год было переведено на русский больше стихов, чем за всю историю существования

русского языка. Переводили, главным образом, с языков народов Советского Союза; переводили с языков народов социалистического лагеря, сложившегося как раз за это двадцатилетие; переводили и западных поэтов, но почти исключительно классиков; переводили поэтов Китая и Кореи. Этот огромный размах переводческой деятельности был вызван двумя разными, но совпавшими причинами. Одна причина была общественно-политическая — сближение народов требовало сближения их национальных культур. Вторая причина заключалась в том, что поэты в эту эпоху имели очень мало возможностей выразить себя в своем оригинальном творчестве. Переводы стихов давали им возможность заниматься поэзией во всей ее сложности и прелести, почти не ощущая механически навязанных извне чуждых искусству давлений и запретов. Поэзия наших национальных республик была тогда почти неизвестна русскому читателю. И работа переводчика была увлекательна, как работа первооткрывателя.

Переводами грузинской поэзии занялись Тихонов и Пастернак. Заболоцкий вместе с ними ездил в Грузию, и Грузия — люди, природа, поэзия — была для него открытием, наложившим печать на всю его дальнейшую жизнь. Грузинская поэзия необычайно богата и разнообразна стилистически и, при всем своем своеобразии, усвоила, развиваясь, все те формы, которые, сменяя одна другую, были свойственны всей европейской поэзии за последние два с половиной века. И перевод грузинских стихов, старых и новых, требовал от поэта-переводчика стилистической лабильности, приспособляемости, изменчивости. В этом отношении Заболоцкий далеко превзошел и Тихонова, и Пастернака, которые и в переводе не умели отказаться от своей собственной поэтической манеры. Заболоцкий угадывал границы стиля каждого поэта и никогда не выходил из этих границ. Работа над решением все новых и новых стилистических задач отразилась и на его собственном стиле, привела к той отчетливости, точности, ясности в передаче образа и чувства, к той «классичности», которыми отмечен поздний период его поэзии.

Арест, лагерь, ссылка на десять лет прервали его работу над переводами грузинских поэтов. Но вернувшись, он снова, с прежней любовью, принялся за этот труд.

* * *

Я уже писал, что, живя с Заболоцким в Ленинграде, я знаком

был с ним мало, поверхностно. Я встречался с ним в редакциях, у нас были общие друзья — Шварц, Олейников, Каверин, — но никакой близости между нами не существовало. Зимой 1945 года, первой послевоенной осенью, я жил уже в Москве, мечтал демобилизоваться, но все еще носил военную форму. И вдруг я услышал, что Николай Алексеевич Заболоцкий приехал из Караганды в Москву и живет без прописки на каких-то птичьих и очень опасных правах у Николая Леонидовича Степанова.

Мне захотелось навестить его. В то время человек, объявленный «врагом народа», а потом все-таки вернувшийся из лагеря, был странной, страшной, диковинной редкостью, и мне таких еще не случалось видеть. Я понимал, что многие остерегались возобновления знакомства с таким человеком, и это меня еще подзадорило. Ведь не испугался же Степанов приютить у себя. Мне показалось, что стыдно не пойти.

Появлением Заболоцкого в Москве был очень взволнован мой тогдашний хороший знакомый, поэт-переводчик Семен Израилевич Липкин. Он никогда не видел Заболоцкого, но был поклонник его стихов и очень хотел с ним познакомиться. И мы решили пойти с ним вдвоем.

Липкин недавно перед тем демобилизовался, но все еще носил флотскую шинель. Был декабрьский день с мокрым снегом на улицах. Степановы жили тогда на Моховой, в доме Литературного музея. Они занимали крохотную чуланообразную квартирку, вход в которую был прямо со двора. Мы постучали. Дверь открыл Заболоцкий. Увидев нас, он вышел на крыльцо и осторожно прикрыл дверь у себя за спиной.

Меня он узнал не сразу. Вид двух мужчин в военной форме, по-видимому, смутил его, о чем я догадался гораздо позже. На нем была вылинявшая цветная рубаха поверх брюк, и на дворе ему было холодно; однако впустить нас он медлил. Я не видел его восемь лет, но он показался мне мало изменившимся. В молодости благодаря полноте и солидности его принимали за человека средних лет; теперь он был человеком средних лет. Он, может быть, похудел, но не очень. Узнав меня, он поздоровался сдержанно. Я представил ему Липкина. Липкин объяснил, что знает и любит его стихи. Поколебавшись, Заболоцкий пригласил нас войти.

Из Степановых дома была только старушка мать. Разговор в комнате продолжался так же принужденно, как на дворе. Заболоцкий задал мне несколько вопросов о моей жизни, о моей семье. Его жена и дети были еще в Караганде, — они приехали туда к нему, когда его выпустили из лагеря и разрешили жить в Казахстане. Он прожил в Караганде год, работая в какой-то

канцелярии. И вот приехал один в Москву. Останется ли он здесь — неизвестно. Я его спросил, не собирается ли он вернуться в Ленинград. Он ответил, внезапно покраснев:

— Нет! В Ленинград — никогда!

Больше никаких вопросов мы ему не задавали. Помню, выяснилось, что он спал у Степановых на обеденном столе. Николай Алексеевич немного оттаял, благодарил нас за посещение, но мы продолжали чувствовать себя неловко и поспешили уйти.

Всю зиму с сорок шестого по сорок седьмой год прожил он в Москве без жилья. После Степанова приютил его у себя Ираклий Андроников — тоже его старый друг по Ленинграду. Житье по чужим комнатенкам не давало ему возможности выписать из Караганды семью и делало его положение безвыходным. И вдруг весной 1946 года я узнал, что писатель Ильенков разрешил ему поселиться в своей просторной даче в Переделкино.

Это был отважный и великодушный поступок, тем более удивительный, что Ильенков не только не принадлежал к числу старых друзей Заболоцкого, но не был с ним даже знаком. В конце весны Заболоцкий с семьей поселился на даче Ильенкова, и я, тоже живший тогда в Переделкине, оказался их ближайшим соседом. Мы виделись каждый день, очень сблизились и оставались в добрых дружеских отношениях до самой кончины Николая Алексеевича.

Поселившись в чужой пустой даче, Николай Алексеевич начал вить гнездо. Прежде всего он нанял человека и вместе с ним вскопал в саду участок под огород и посадил картошку. Эта работа продолжалась несколько дней, в течение которых Николай Алексеевич трудился от зари до зари, переворачивая землю лопатой. Помню, меня это несколько удивило. Я и сам, как и он, не имел в Москве жилья и жил с женой и детьми в пустой отцовской даче. Как и у него тогда, мои литературные заработки носили случайный характер и были крайне скудны. И все-таки я рассчитывал только на литературные заработки и огорода не заводил. Я сказал ему об этом.

— Нет, — ответил он, — положиться можно только на свою картошку.

Я понял, до какой степени он, выйдя из лагеря, чувствовал себя неустойчиво. Он знал, какая тень продолжала лежать на нем, знал, что эта тень будет долго мешать ему вернуться к профессиональной литературной жизни, не обольщался тем, что ему удалось получить кое-какую переводную работу, и готовился ко всему.

Он в то время был еще очень силен физически и

замечательно умело орудовал лопатой и топором. Помню, достал он дрова — метровые березовые чурбаки страшной толщины. Он расставил их, как солдат — целое войско, — и стал показывать мне, как их надо колоть, чтобы они разваливались с одного удара. Это искусство было не совсем безызвестно и мне, я выклянчил у него колун и постарался доказать, что и я не лыком шит. Мы оба вошли в азарт и хвастались друг перед другом. Каждый чурбан, прежде чем бить, нужно было понять, потому что успех удара зависит от расположения суков. В этом понимании он превосходил меня — у меня был опыт войны, а у него опыт лагерей, и я видел, что его опыт покрепче моего. Я стал отставать, и он был очень доволен. С каждым ударом румянец у него на щеках разрастался, и скоро лицо его пылало, как солнце. Он улыбался и впервые показался мне почти счастливым. Тот гнет, который лежал у него на душе, как бы слегка поддался, оттаял.

Вообще в нем в то время жило страстное желание уюта, покоя, мира, счастья. Он не знал, кончились ли уже его испытания, и не позволял себе в это верить. Он не смел надеяться, но надежда на счастье росла в нем бурно, неудержимо. Жил он на втором этаже, в самой маленькой комнатке дачи, почти чулане, где ничего не было, кроме стола, кровати и стула. Чистота и аккуратность царствовали в этой комнатке — кровать постелена по-девичьи, книги и бумаги разложены на столе с необыкновенной тщательностью. Окно выходило в молодую листву берез. Березовая роща неизъяснимой прелести, полная птиц, подступала к самой даче Ильенкова. Николай Алексеевич бесконечно любовался этой рощей, улыбался, когда смотрел на нее. Однажды, когда я зашел к нему в комнатку, он усадил меня на кровать, сам сел на стул и прочитал мне свое новое стихотворение, которое начиналось так:

В этой роще березовой,
Вдалеке от страданий и бед,
Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет,
Где прозрачной лавиною
Льются листья с высоких ветвей, —
Спой мне, иволга, песню пустынную,
Песню жизни моей…

Это стихотворение, щемящее, нежное, поразило меня тем, чего не было в прежних стихах Заболоцкого, — музыкальностью. В Переделкине он стал писать много — после восьмилетнего перерыва. Его новые стихи резко отличались от старых; они

ничего не потеряли, кроме разве юношеского озорства, но приобрели пронзительность боли, и нежность, и, главное, необычайную музыкальность. Написав стихотворение, он шел ко мне, потому что я был ближайший сосед, которому можно было его прочитать. Меня его стихи восхищали, и я тут же с горячностью высказывал свое восхищение. Но сам он восхищался далеко не всеми своими стихотворениями и многие из них выбрасывал. Я никак не мог понять, чем он руководствовался при отборе, да, признаться, не понимаю и сейчас. Иногда он выбрасывал то, что мне особенно нравилось. Помню, сидя у меня, прочел он стихотворение о боге, играющем на рояле, и привел меня в восторг. Я все позабыл, в памяти у меня осталось только, что стоял рояль где-то на чердаке, где было очень сухо и жарко, где пахло пылью, рассохшимся деревом, паутиной, и что бог иногда по ночам спускался с небес на чердак, садился за этот рояль и играл. Он прочел это стихотворение и ушел, и мы не виделись несколько дней. При следующей встрече я попросил прочитать его мне еще раз.

— Его уже нет, — ответил он. — Я его выбросил.

Я возмутился:

— Давайте я запишу. Как оно начиналось? Вы должны помнить.

Но он, упрямо сжав губы, твердил, что не помнит ни строчки. Я, возмущаясь, приставал к нему с этим стихотворением в течение нескольких лет. Но он был неумолим. Не знаю, действительно ли он начисто забыл его или не хотел вспоминать.

Однажды, во вторую половину дня, уже поздней осенью, у меня на даче сидели Заболоцкий и Липкин. Они сошлись у меня случайно и уже собирались уходить, как вдруг на крыльце загремело и в комнату вошел Фадеев.

Фадеев, тоже живший в Переделкине, время от времени совершал обход писательских дач и в некоторых из них застревал надолго. На нашу дачу заходил он и в летние месяцы, когда в ней жили мои родители, и в осенние, в зимние, когда в ней оставался только я со своей семьей. Отец мой, непьющий, всегда на случай этих посещений держал в буфете поллитровку. Фадеев заходил невзначай, по-соседски, без делового повода, держал себя непринужденно, со всеми наравне, и мы любили его, хотя ни он сам, ни мы ни на минуту не забывали, что он — начальство. Общество тридцатых и сороковых годов было прежде всего иерархично, и в этой строжайше соблюдаемой иерархии он стоял несравненно выше и нас, и подавляющего большинства остальных людей. К этому времени я уже хорошо знал его. Он был человек редкой красоты и обаяния, в каждом слове которого

поблескивали и ум, и талантливость; так и хотелось довериться ему, до конца отдаться его очарованию, и я отдавался бы, если бы меня не смущали жесткие нотки, иногда проскальзывавшие в его речах и смехе. Да и кроме того, мы все слишком зависели от него, чтобы любить его чистой, беспримесной любовью. От него зависели пайки, которые мы получали тоже по строго иерархическому принципу, от него зависело распределение жилья, которого у нас не было, и возможность печататься, которая была столь узка, и Сталинские премии, и строго нормированная газетная слава, и вообще вся та оценка твоей личности, от которой полностью зависели и ты сам, и твоя семья. Поэтому даже против воли эти благодушнейшие добрососедские посещения имели привкус начальнического надзора.

Когда он вошел на этот раз, мне подумалось, что он явился ради Заболоцкого. Так и оказалось, — он объяснил, что заходил на дачу к Заболоцкому и, узнав, что Николай Алексеевич у меня, зашел ко мне. Мы все уселись вокруг стола, жена поставила на стол поллитровку и пошла жарить мясо на закуску. Я уже хорошо знал обыкновения Фадеева и сразу послал сына за второй поллитровкой. Заболоцкий принял тот степенный и важный вид, который у него всегда бывал при посторонних. Фадеев был шутлив, весел, говорлив, но говорил все о незначительном, случайном, как бы нащупывая почву. После двух-трех первых рюмок он попросил Заболоцкого почитать стихи.

Николай Алексеевич всегда охотно читал свои стихи, если его просили. На этот раз он читал обдуманно, с выбором. Лицо его несколько оживилось, он всегда интересовался тем, какое впечатление производят его стихи на слушателя. Фадеев слушал внимательно, поворачивая великолепную седую голову, великолепно сидевшую на великолепной шее. Свои чувства он выражал, похохатывая высоким голосом. Стихи ему нравились, он похвалил их, но, в сущности, сдержанно. После стихов он стал расспрашивать Заболоцкого о его жизни. Николай Алексеевич отвечал скупо, ни на что не жалуясь и ничего не прося.

Потом произошло то, что происходило обычно, когда Фадеев приходил и засиживался. Сын мой снова был отправлен за бутылкой. Речь Фадеева превратилась в монолог, который невозможно ни запомнить, ни передать. Он говорил о Тургеневе, вспоминал сцены из его рассказов. Он читал стихи Баратынского, некоторые пел. Он пел сибирские партизанские песни. Он рассказывал о писателях — соседях по переделкинским дачам. И пил водку большими стопками. Я помню, он сказал однажды о ком-то:

— У него нормальное отношение к еде: как к закуске.

Но сам он пил, почти не закусывая. Было страшно смотреть, сколько водки он в состоянии поглотить. Пьянел он медленно, лишь лицо его постепенно краснело и от этого становилось еще красивее под седыми волосами. Речи его не делались сбивчивыми, но в них появлялись трагические и даже жалобные нотки. На что он жалуется, нельзя было понять, он, казалось, хотел сказать нам: я не такой, как вы думаете, я такой же, как вы. И оставалось ощущение исполинских бесцельно растрачиваемых сил, и становилось жалко его. Мы-то думали, что он человек, творящий законы времени, а он еще больше раб этих законов, чем мы.

Между тем шли часы, и давно уже была глухая ночь. Сынок мой, еще раза два бегавший за водкой — к соседям, — давно уже спал. Мы с женой попеременно засыпали на стуле, — то она заснет, то я. Заболоцкий раза два уходил домой и возвращался. Липкин тоже полежал часа два на диване, потом вернулся к столу. Один только Фадеев не проявлял ни малейших признаков утомления. Монолог его не прекращался, напротив, становился все более воодушевленным. Он читал наизусть стихи Некрасова, восхищаясь до слез. Потом стал рассказывать, как арестовали одну женщину, близкого его друга, и как он старался спасти ее и ничего не мог сделать. Мы поняли, что он говорит о Марианне Герасимовой, сестре Валерии. Рассказывая о своих бесплодных попытках отстоять ее, он вдруг зарыдал, опустив седую голову на стол, на руки.

Наконец, в пятом часу черной декабрьской ночи, он поднялся, чтобы уйти. Его качало, и стало страшно, что он свалится на дороге и никуда не дойдет. Мы с Липкиным решили пойти с ним и довести его до его дачи. Едва мы вышли за калитку, как пришлось взять его под руки. Он становился все беспомощнее, засыпал на ходу, и мы тащили его на себе, изнемогая от тяжести, потому что он был велик и грузен. Мы переговаривались с Липкиным, говоря о нем в третьем лице, потому что было ясно, что он нас не слышит и не понимает. Так мы протащили его метров триста, но едва свернули за угол на дорогу, ведущую к его даче, как он вдруг ожил. Ноги его окрепли, он вырвал руки и объявил, что дальше пойдет один. Мы ни за что не хотели бросить его на дороге в таком состоянии и настаивали, что доведем его до дверей. Но он остановился и упорно, даже с ожесточением гнал нас. Мы не привыкли спорить с начальством, да, кроме того, и сами были пьяны и очень устали. Попрощавшись, мы разошлись.

Прошло два дня, мы сидели с женой и детьми за ужином, как вдруг к нам постучали. Я вышел на крыльцо и увидел жену

Фадеева А. О. Степанову и ее сестру. С величайшим изумлением я узнал от них, что Фадеев до сих пор домой не вернулся. Они искали его по переделкинским дачам и зашли к нам, потому что слышали, что он был у нас. Они были убеждены, что он у нас до сих пор, и не верили мне, когда я утверждал, что не видел его уже два дня. Они думали, что я прячу его, и я предложил им обыскать нашу дачу, чтобы убедиться. От этого они уклонились, и мне показалось, что Степанова не слишком встревожена, — по-видимому, она попривыкла к подобным происшествиям.

Через несколько дней как-то утром я встретил Фадеева на одной из переделкинских тропинок. Он был свеж, статен, подтянут, весел, высоко нес гордую голову. Остановив меня, он стал расспрашивать о романе, который я тогда писал.

— Какая радость — писать роман! — сказал он. — Месяцами, годами живешь с одними и теми же героями, ждешь, что они сделают дальше, а делают они всегда неожиданное.

В разговорах со мной — и с многими другими — он часто жаловался, что должность Генерального секретаря Союза писателей и члена ЦК партии мешает ему писать. Он даже, казалось, завидовал тому, что я, при всем моем житейском неблагополучии, сижу и пишу. Я знал, что жалуется он совершенно искренне, но знал также, что отрава власти, могущества, первенства сидит в нем настолько сильно, что у него никогда не хватит духа от нее отказаться. Знал я и то, что власть его иллюзорна, что для того, чтобы не потерять ее, он должен беспрестанно угадывать волю вышестоящих и выполнять ее наперекор всему, не останавливаясь перед любой несправедливостью и жестокостью.

— Какой твердый и ясный человек Заболоцкий, — сказал он мне. — Он не развалился, не озлобился. На него можно положиться.

И я понял, что Николай Алексеевич прошел проверку благополучно.

Около двух лет прожили мы с Николаем Алексеевичем в Переделкине в ближайшем соседстве, и за это время я хорошо узнал его. Это действительно был твердый и ясный человек, но в то же время человек, изнемогавший под тяжестью невзгод и забот. Бесправный, не имеющий постоянной московской прописки, с безнадежно испорченной анкетой, живущий из милости у чужих людей, он каждую минуту ждал, что его вышлют, — с женой и двумя детьми. Стихов его не печатали, зарабатывал он только случайными переводами, которых было мало и которые скудно оплачивались. Почти каждый день ездил он по делам в город, — два километра пешком до станции, потом

дачный паровичок. Эти поездки были для него изнурительны — все-таки шел ему уже пятый десяток. Дорога на станцию, так хорошо нам обоим знакомая, вела мимо кладбища, осененного высокими соснами, вершины которых уходили высоко в небо. Возле самой дороги была могила летчика, сбитого под Москвой во время войны, тогда еще сохранявшая некоторые свои украшения — цветные ленты, вылинявшие от дождя, и деревянный пропеллер. И это кладбище, и сосновую рощу, и могильный пропеллер с лентами, и ночное возвращение домой — из города в Переделкино — удивительно изобразил он в стихотворении «Прохожий», написанном весной 1948 года:

Свернув в направлении к мосту,
Он входит в весеннюю глушь,
Где сосны, склоняясь к погосту,
Стоят, словно скопища душ.

Тут летчик у края аллеи
Покоится в ворохе лент,
И мертвый пропеллер, белея,
Венчает его монумент.

И в темном чертоге вселенной
Над сонною этой листвой
Встает тот нежданно мгновенный
Пронзающий душу покой.

Тот дивный покой, пред которым,
Волнуясь и вечно спеша,
Смолкает с опущенным взором
Живая людская душа.

И в легком шуршании почек,
И в медленном шуме ветвей
Невидимый юноша летчик
О чем-то беседует с ней.

А тело бредет по дороге,
Шагая сквозь тысячи бед,
И горе его и тревоги
Бегут, как собаки, вослед.

Так как я тоже совершал частые походы со станции мимо того же кладбища, он переписал это стихотворение и подарил его мне.

Этот листок хранится у меня до сих пор, — стихотворение написано на нем остро отточенным карандашом мелким, ровным, четким почерком. Все свои стихи он писал и переписывал карандашом, и при его аккуратности, при тщательности, с которой он делал любое дело, это получалось у него лучше, отчетливее, чем на пишущей машинке.

Все литераторы, жившие тогда в Переделкине, много гуляли. Я во время длинных своих прогулок по окрестностям встречал и Всеволода Иванова, и Катаева, и Фадеева, и Тихонова, и Каверина, и Федина, и других наших соседей. Один только Заболоцкий не любил прогулок и избегал их. Происходило это, вероятно, оттого, что он, за долгую изнурительную жизнь в лагере, привык беречь силы. Человеку, изнемогающему под тяжестью подневольного труда, бесцельное хождение кажется нелепостью. А Заболоцкому и после лагеря не пришлось отдохнуть, — и колка дров, и огород, и, главное, беспрестанные поездки в город — все это требовало от него полного напряжения сил. В свободное время он предпочитал сидеть у себя в комнате или в саду. Я не сразу понял его состояние и нередко подсмеивался над его нежеланием ходить гулять. Я стыдил его, что он ни разу не ходил в лес, не прошелся по берегу речки.

— Вы как Фет, — сказал я ему однажды. — Он тоже, как вы, был страстный изобразитель природы и не любил на нее смотреть.

И я рассказал ему, что когда Фет приехал в Неаполь, друзья сняли ему комнату с великолепным видом на Неаполитанский залив и Везувий, думая, что поэту, изобразителю природы, этот вид доставит особенное удовольствие. Но Фет завесил свое окно плотной шторой и так ни разу и не отодвинул ее.

Заболоцкий выслушал мой рассказ угрюмо. Он сказал, что Фет был плохой поэт, хотя и не любил Неаполитанского залива.

Николай Алексеевич терпеть не мог Фета, как и многих других поэтов, с детства меня восхищавших. От этого между нами возникали постоянные споры, доходившие до настоящей ярости. Я отстаивал Фета с бешенством. Я читал ему фетовское описание бабочки:

Ты прав: одним воздушным очертаньем
Я так мила,
Весь бархат мой с его живым миганьем —
Лишь два крыла…

Выслушав, он спросил:

— Вы рассматривали когда-нибудь бабочку внимательно,

вблизи? Неужели вы не заметили, какая у нее страшная морда и какое отвратительное тело.

Нет, обольстить его Фетом было невозможно. Ни Фетом, ни Яковом Полонским, ни Некрасовым, ни Сологубом, ни Ходасевичем, ни Ахматовой, ни Маяковским. Отношение его к Блоку до такой степени раздражало меня, что мы годами не упоминали в наших разговорах этого имени. Зато и обожаемого им Хлебникова я поносил, как мог. Я утверждал, что Хлебников — унылый бормотальщик, юродивый на грани идиотизма, зеленая скука, претенциозный гений без гениальности, услада глухих к стиху формалистов и снобов, что сквозь стихи его невозможно продраться, и так далее в том же роде. Он слушал меня терпеливо, ни в чем не соглашаясь. Наши симпатии сходились только на Тютчеве и Мандельштаме.

Во вторую половину жизни — после лагерей — он выше всех других русских поэтов ставил Тютчева. Он знал его всего наизусть и считал единственным недосягаемым образцом. Огромное воздействие Тютчева на стихи Заболоцкого последнего десятилетия его жизни неоспоримо.

В творчестве Заболоцкого за его жизнь произошла огромная эволюция. Литературные же вкусы его, симпатии и антипатии, эволюционировали гораздо медленнее. В стихах Заболоцкого, написанных за последние пятнадцать лет его жизни, самое пристальное исследование не обнаружит ни малейшего влияния Хлебникова. Однако до конца дней своих он продолжал утверждать, что Хлебников — величайший поэт двадцатого века. Я часто приписывал это его упрямству. Пожалуй, упрямство — не то слово. Он был на редкость верный человек — верный во всех своих приязнях и неприязнях. Заставить его изменить сложившееся мнение было нелегко. Иногда в наших спорах мне начинало казаться, что в глубине души он со мною согласен, но не хочет, чтобы я об этом догадался. Впрочем, может быть, я ошибался.

Меня особенно сердило, когда он судил о любимых мною поэтах, почти не зная их. Прочел когда-то в молодости случайно попавшееся стихотворение Фета, оно по случайным причинам не понравилось ему, показалось скроенным из банальных элементов, и он навсегда отверг Фета, больше его не читая. Стремясь его переубедить, я нередко читал ему самые разные стихи, которых он не знал. Он всегда внимательно и охотно слушал, но почти никогда не соглашался с моими оценками. За двенадцать лет нашего постоянного общения мне удалось переубедить его только в очень немногом. Да и тут я, пожалуй, слишком самонадеян, полагая, что это мне удалось переубедить его. Просто к концу

жизни отношение его к некоторым поэтам стало медленно меняться. Он, например, открыл для себя Ахматову и стал с уважением читать ее. О Блоке он уже не отзывался так, как вначале, и я знал, что он, потихоньку от меня, часто его читает. Я видел, как постепенно изменялось его отношение к Пастернаку. Вначале он Пастернака любил мало и знал плохо. Я помню, как в конце сороковых годов мы были с ним у Пастернака в гостях. Пастернак прочел нам несколько глав из «Доктора Живаго» и несколько стихотворений, приписанных его герою. Заболоцкий был добр, внимателен, любопытен, но я видел, что все это произвело на него не слишком большое впечатление. Он прежде начал восхищаться переводами Пастернака, а только потом его собственным творчеством. В последние годы своей жизни он относился к Пастернаку с благоговением — и к его личности, и ко всему, что Пастернак писал. Пастернака изобразил он в своем стихотворении «Поэт», написанном в 1953 году:

А внизу на стареньком балконе —
Юноша с седою головой,
Как портрет в старинном медальоне
Из цветов ромашки полевой.
Щурит он глаза свои косые,
Подмосковным солнышком согрет, —
Выкованный грозами России
Собеседник сердца и поэт.

Любопытно, что это стихотворение мне удалось напечатать в первом посмертном сборнике стихов Заболоцкого, вышедшем под моей редакцией в издательстве «Советский писатель» в 1960 году. Лесючевский, глава издательства, ненавидевший Заболоцкого лично и обкорнавший сборник, как мог, заметил это стихотворение и сразу заподозрил, что оно посвящено Пастернаку. В то время писать о Пастернаке было запрещено, и стихотворение казалось обреченным. Но я стал доказывать Лесючевскому, что изображенный в стихотворении поэт не Пастернак, а Тихонов, который очень обидится, если этого стихотворения не окажется в сборнике, и Лесючевский уступил.

Ожесточенные мои споры с Николаем Алексеевичем никогда не отражались на наших личных отношениях. Этот добрый, справедливый, верный человек был терпим к чужому мнению. Он был прекрасным другом своих друзей, хотя душевное целомудрие никогда не допускало его до дружеских излияний. Привязавшись к кому-нибудь, он привязывался навсегда, до конца. Такими вечными привязанностями его были и Хармс, и Введенский, и

Олейников, и Евгений Шварц, и Каверин, и Степанов, и Ираклий Андроников, и Симон Чиковани, и Антал Гидаш, и в последние годы Эммануил Казакевич, Борис Слуцкий. С Тихоновым он расходился во вкусах и мнениях, но питал к нему глубокую признательность, которую не могло поколебать ничто.

За долгие годы общений с Николаем Алексеевичем для меня мало-помалу стал проясняться путь его умственного развития; я начал догадываться об истории развития его вкусов. Он родился и вырос в маленьком глухом городке, и все, что знал, узнавал самоучкой, до всего додумывался самостоятельно, и нередко очень поздно узнавал то, что с детства известно людям, выросшим в культурной среде. Он понимал, что он самоучка, и всю жизнь относился к самоучкам с особой нежностью. Он называл их «самодеятельными мудрецами», — то есть мудрецами, в основе мудрости которых лежит не школьная наука, не книжность, а собственное, наивное, но отважное мышление. Такими «самодеятельными мудрецами» считал он Григория Сковороду и Циолковского. Он ценил Циолковского не столько за его пророческие открытия в области астронавтики, сколько за его статьи по философско-этическим вопросам, в которых выражались смутные мечты о будущем совершенстве человечества; все эти статьи Циолковский издавал брошюрками в первые годы после революции, и все эти брошюры — величайшая библиографическая редкость — Заболоцкий собрал и переплел в один том. Величайшим «самодеятельным мудрецом» считал он, конечно, Хлебникова. «Самодеятельным мудрецом» был для него и Даниил Хармс.

Стихи Николай Алексеевич любил с отроческих лет, и первым поэтом, поразившим его, заученным наизусть, был Алексей Константинович Толстой. Я был удивлен таким совпадением: когда мне было лет десять-двенадцать, я тоже выше всех поэтов считал того же Алексея Толстого и полюбил его да еще Жуковского гораздо раньше, чем Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Блока. Впоследствии я совсем в нем разочаровался, — то же было и с Заболоцким, только, по-видимому, несколько позже. Знакомиться по-настоящему с русской поэзией Заболоцкий стал уже взрослым, в Ленинграде. Здесь он, попав в круг Хармса и Введенского, открыл Хлебникова, и Хлебников надолго заслонил от него всю остальную поэзию. К Хлебникову он пришел совсем иначе, чем все прочие хлебниковские поклонники. Им нравился Хлебников за то, что он не похож на всю предыдущую поэзию, которая им приелась. Заболоцкий же полюбил Хлебникова за то, что это, в сущности, была первая поэзия, с которой он столкнулся в жизни. Русской поэтической классикой он овладел позже, во

взрослые годы, и она наложила свою печать на все его позднее творчество. Это был своеобразный, необычный путь развития — от Хлебникова к Тютчеву. Путь этот был пройден трудно и основательно, потому что Заболоцкий был «самодеятельный мудрец», не доверявший чужим суждениям и до всего доходивший своим умом. Сам, своим умом старался он решить и две величайшие задачи, волновавшие его, — задачу смерти и задачу любви.

О том, как он решал эти задачи, я расскажу все, что знаю.

…Заболоцкий утверждал, что смерти нет; смерти не было, нет и никогда не будет. Он утверждал это в течение всей своей сознательной жизни, с молодых лет до конца. Утверждал в разговорах с друзьями, утверждал в стихах.

В основе этого утверждения лежала мысль, что если каждый человек, в том числе и он, Николай Заболоцкий, — часть природы, а природа в целом бессмертна, то и каждый человек бессмертен. Смерти нет, есть только превращения, метаморфозы. Наиболее полно выразил он эту утешительную мысль в одном стихотворении 1937 года, которое так и называется — «Метаморфозы».

…Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела!
И если б только разум мой прозрел
И в землю устремил пронзительное око,
Он увидал бы там, среди могил, глубоко
Лежащего меня. Он показал бы мне
Меня, колеблемого на морской волне,
Меня, летящего по ветру в край незримый, —
Мой бедный прах, когда-то так любимый.

А я все жив!..

И дальше:

Как все меняется! Что было раньше птицей,
Теперь лежит написанной страницей;
Мысль некогда была простым цветком;
Поэма шествовала медленным быком;
А то, что было мною, то, быть может,
Опять растет и мир растений множит.
Вот так, с трудом пытаясь развивать
Как бы клубок какой-то сложной пряжи,
Вдруг и увидишь то, что должно называть

Бессмертием. О, суеверья наши!

Как видите, самую мысль о смерти он называл суеверием. Эта же идея, — что каждый бессмертен, потому что бессмертна природа, — высказывалась им и гораздо раньше. Еще в 1929 году, в стихотворении «Прогулка», он говорил:

И смеется вся природа,
Умирая каждый миг.

В том же 1929 году, в стихотворении «Искушение», где рассказывается о смерти девушки, Заболоцкий старался убедить читателя, что смерть эта — мнимая, кажущаяся. Мертвую девушку закопали в землю, но:

Солнце встанет, глина треснет,
Мигом девица воскреснет.
Из берцовой из кости
Будет деревце расти…

В 1936 году он написал:

Вчера, о смерти размышляя,
Ожесточилась вдруг душа моя.

Но дальше в этом стихотворении он объясняет, что душа его ожесточилась зря, потому что благодаря мнимости смерти, благодаря совершающимся в природе метаморфозам бессмертны не только тела, но и мысли людей:

И я, живой, скитался над полями.
Входил без страха в лес,
И мысли мертвецов прозрачными столбами
Вокруг меня вставали до небес.

И голос Пушкина был над листвою слышен,
И птицы Хлебникова пели у воды,
И встретил камень я. Был камень неподвижен,
И проступал в нем лик Сковороды.

И все существованья, все народы
Нетленное хранили бытие,

И сам я был не детище природы,
Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!

И одиннадцать лет спустя, вернувшись из лагерей, он упрямо писал все о том же, все о том же:

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу.
Многовековый дуб мою живую душу
Корнями обовьет, печален и суров.
В его больших листах я дам приют уму,
Я с помощью ветвей свои взлелею мысли,
Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли
И ты причастен был к сознанью моему.

Еще пять лет спустя, в 1952 году, он, вспоминая умерших друзей своей юности, пишет все о том же:

Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И все ли вы забыли?
Теперь вам братья — корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.
Теперь вам сестры — цветики гвоздик,
Соски сирени, щепочки, цыплята…

Вслед за этим написал он стихотворение «Сон», которое начинается так:

Жилец земли, пятидесяти лет,
Подобно всем счастливый и несчастный,
Однажды я покинул этот свет
И очутился в местности безгласной.

Как видите, это тоже о смерти. И смерть, как и прежде, вовсе не представляется ему уничтожением или исчезновением, а, напротив:

Какой-то отголосок бытия
Еще имел я для существованья…

И даже в трагическом стихотворении 1956 года «Где-то в поле

возле Магадана», в котором рассказывается о смерти двух заключенных, замерзших в тундре, смерть — не уничтожение, а только «уход в дальний край»:

Обняла их сладкая дремота,
В дальний край, рыдая, повела.

Стихотворение это он написал за два года до собственной смерти. Он продолжал отрицать смерть — в обычном понимании этого слова — до самого конца. В разговорах он отрицал это «суеверие» еще определеннее и бесповоротнее, чем в стихах.

Мы с ним, оставаясь вдвоем, по русскому обыкновению, часто «философствовали». В наших рассуждениях и спорах он неизменно объявлял себя «материалистом», и «монистом». Под «монизмом» разумел он понятие, противоположное «дуализму», и отзывался о «дуализме» с презрением. «Дуализмом» он называл всякое противопоставление духовной жизни — материальной, всякое непонимание их тождества, полной слитности. Поэтому, говоря о бессмертии, он вовсе не имел в виду существования души вне тела. Он утверждал, что все духовные и телесные свойства человека бессмертны, потому что в природе ничего не исчезает, а только меняет форму.

Для меня это много раз повторяемое им рассуждение было недостаточно убедительно. Я спорил с ним — довольно робко. Я соглашался, что если живое становится мертвым, то это всего только превращение, а не исчезновение; однако для живого совершенно безразлично, исчезнет ли оно или «превратится». Если из берцовой кости умершей девушки вырастет деревце, то это будет уже не девушка, а другое существо, сознание же девушки, ее «я» погибнет безвозвратно. Хотя природа и бессмертна и в ней ничего не исчезает, но мы с вами смертны и умрем всерьез, навсегда.

Он не соглашался. Слушал хмуро и упрямо повторял свое. Эти разговоры о смерти происходили обычно ночью, за вином, у меня на квартире. В последние годы жизни он ничего не пил, кроме вина, но вина пил много и не умел без него обходиться. К его приходу я запасал несколько бутылок «Телиани», потому что «Телиани» он предпочитал всем другим винам; думаю, причины этого предпочтения были прежде всего литературные — он очень любил и часто повторял стихи Мандельштама:

В самом маленьком духане
Ты товарища найдешь.
Если спросишь «Телиани»,

Поплывет Тифлис в тумане,
Ты в бутылке поплывешь.

Он приходил часов в семь, читал свои последние стихи, потом мы принимались читать стихи других поэтов. Часов в девять садились за стол и сидели порой часов до трех ночи. Он мог выпить вина сколько угодно, и я скоро отставал от него. Пьянел он медленно, становился все веселее. Потом хмурился и тогда со все возраставшим ожесточением повторял, что мы не умрем, а только превратимся.

Надо сказать, что к таким его рассуждениям я относился недостаточно серьезно, и это привело меня к ошибке. Я перестал спорить, возражать, а только отшучивался. Я знал, как он был чуток к юмору, и потому никогда не опасался шутить в его присутствии над чем угодно. Уехав летом 1958 года в Коктебель, я отправил ему оттуда следующее шуточное стихотворное послание:

«Н. А. Заболоцкому, который, выпив три бутылки „Телиани“, любит утверждать, что после смерти мы перевоплотимся в другие существа».

Тело, жертва медицины,
Мертвенно, как перламутр,
Препараты и вакцины
Принимает скорбно внутрь.

А душа, пред униженьем
Опуская гордый взор.
Уж ведет с уничтоженьем
Предстоящим разговор:

Не хочу я превращений
В множество вещей, веществ
Или перевоплощений
В множество иных существ.

Не хочу я вечных странствий
Паром, снегом и водой,
Не хочу лететь в пространстве
Ослепительной звездой.

Не хочу я цепью брякать,
Дом хозяйский сторожа,
Птицей петь, лягушкой квакать,

Быть супругою ежа.

Ванечка, гулявший с мамой
Вдоль по берегу ручья, —
Это я был, тот же самый,
Это я, и только я.

Принимая капли на ночь
У предела бытия,
Это я, Иван Степаныч,
Это я, все тот же я.

Доброй Машею любимый
Мне неведомо за что,
Это я, неповторимый,
Я, и более никто.

Не боюсь чертей и ада,
С мукой примирюсь любой,
Мне ничьей судьбы не надо,
Дайте быть самим собой!

И в ответ гремит на башне.
Отмечая каждый час,
Звон привычный, звон всегдашний,
Утешительный для нас.

Ничего не обещая.
Кроме вечной пустоты,
Ничего не предвещая,
Кроме полной темноты.

К моему удивлению, никакого ответа на это послание я не получил. Через месяц я вернулся в Москву, и Заболоцкий зашел ко мне. Была уже вторая половина августа, лето он провел в Тарусе и показался мне посвежевшим, поздоровевшим. В город заехал только на несколько дней и зашел ко мне, чтобы прочитать мне свою новую поэму «Рубрук». Читал он весело, увлеченно, счастливо, громко смеясь от радости в тех местах, которые ему самому казались особенно удачными. Поэма была написана круто, зорко, щедро, поразила меня внутренней веселостью, наблюдательностью, жадным жизнелюбием. Все это я высказал автору — к его большому удовольствию. Когда разговор о

«Рубруке» иссяк, я спросил его, получил ли он мое послание. И был поражен, как внезапно изменилось его лицо. Он потемнел, замолк, поник. Мне стало жалко его. Я понял, как некстати была моя шутка.

Я понял, что вся эта созданная им теория бессмертия посредством метаморфоз всю жизнь была для него заслоном, защитой. Мысль о неизбежности смерти — своей и близких — была для него слишком ужасна. Ему необходима была защита от этой мысли, он не хотел смириться, он был из несмиряющихся. Найти защиту в представлении о бессмертной душе, существующей независимо от смертного тела, он не мог — всякая религиозная метафизическая идея претила его конкретному, предметному, художественному мышлению. Поэтому он с таким упорством, непреклонностью, с такой личной заинтересованностью держался за свою теорию превращений, сулившую бессмертие и ему самому, и всему, что он любил, и сердился, когда в этой теории находили бреши.

Он умер через два месяца после этого нашего свидания.

Ни в молодости, ни в зрелые годы Заболоцкий стихов о любви не писал. Эта странная особенность отличала его от всех поэтов мира. Любовные стихи начал он писать в конце жизни.

Почему же это так получилось? По-видимому, по разным причинам. Во-первых, так шло развитие поэтических вкусов Заболоцкого. Его внимание художника вначале было целиком обращено на внешний мир, на эксцентрическую, причудливо-живописную его сторону. В этом насмешливо изображаемом вещном и конкретном мире не находилось места для любви. И только постепенно, с годами, с трагическим и печальным расширением жизненного опыта, овладевая все новыми и новыми изобразительными средствами, Заболоцкий научился говорить обо всем, о любых человеческих чувствах, в том числе и о любви.

Вторая причина лежала в его целомудренно-скрытном характере; ни в стихах, ни в разговорах с друзьями он никогда не говорил о том, что касалось его одного. Нужна была трагедия, нужна была нестерпимая боль, чтобы преодолеть его скрытность, чтобы вынудить его нарушить стоном это принудительное молчание.

Третья причина лежала в конкретной истории его чувств. О ней мы можем только догадываться. Никто не имеет потребности говорить о счастливой любви, а Заболоцкий рано женился, рано обзавелся детьми и был, кажется, совершенно счастлив в своей семейной жизни. Во всяком случае, и он так полагал, и все так полагали. Он любил жену, и жена любила его, и он считал этот

вопрос решенным навсегда.

Жена его Катерина Васильевна была готова ради него на любые лишения, на любой подвиг. По крайней мере, такова была ее репутация в нашем кругу, и в течение многих-многих лет она подтверждала эту репутацию всеми своими поступками. В первые годы их совместной жизни он был не только беден, а просто нищ; и ей, с двумя крошечными детьми, пришлось хлебнуть немало лишений. К середине тридцатых годов Николай Алексеевич стал несколько лучше зарабатывать, у них появилось жилье в Ленинграде, наладился быт; но после двух-трех лет относительно благополучной жизни все рухнуло — его арестовали. Положение Катерины Васильевны стало отчаянным, катастрофическим. Жена арестованного «врага народа», она была лишена всех прав, даже права на милосердие. Ее вскоре выслали из Ленинграда, предоставив возможность жить только в самой глухой провинции. И она выбрала городок Уржум Кировской области — потому что городок этот был родиной ее мужа. Она жила там в страшной нищете, растя детей, пока наконец, в 1944 году, не пришла весть, что Николай Алексеевич освобожден из лагеря и получил разрешение жить в Караганде. Она сразу, взяв детей, переехала в Караганду к мужу. Вместе с ним мыкалась она в Караганде, потом, вслед за ним, переехала под Москву, в Переделкино, чтобы здесь мыкаться не меньше. Мучительная жизнь их стала входить в нормальную колею только в самом конце сороковых годов, когда они получили двухкомнатную квартиру в Москве на Хорошевском шоссе и он начал зарабатывать стихотворными переводами.

В эти годы я близко наблюдал их семейную жизнь. Я сказал бы, что в преданности и покорности Катерины Васильевны было даже что-то чрезмерное. Николай Алексеевич всегда оставался абсолютным хозяином и господином у себя в доме. Все вопросы, связанные с жизнью семьи, кроме мельчайших, решались им единолично. У него была прирожденная склонность к хозяйственным заботам, особенно развившаяся благодаря испытанной им крайней нужде. В лагере у него одно время не было даже брюк, и самый тяжелый час его жизни был тот, когда их, заключенных, перегоняли через какой-то город и он шел по городской улице в одних кальсонах. Вот почему он с таким вниманием следил за тем, чтобы в доме у него было все необходимое. Он единолично распоряжался деньгами и сам покупал одеяла, простыни, одежду, мебель. Катерина Васильевна никогда не протестовала и, вероятно, даже не давала советов. Когда ее спрашивали о чем-нибудь, заведенном в ее хозяйстве, она отвечала тихим голосом, опустив глаза: «Так желает Коленька» или «Так сказал Николай Алексеевич». Она никогда не

спорила с ним, не упрекала его — даже когда он выпивал лишнее, что с ним порой случалось. Спорить с ним было нелегко, — я, постоянно с ним споривший, знал это по собственному опыту. Он до всего доходил своим умом и за все, до чего дошел, держался крепко. И она не спорила.

Он платил ей за покорность самой нежной, бесспорной любовью. В одном удивительном стихотворении 1955 года он впервые чуть-чуть приоткрыл свои чувства к жене. В этом стихотворении он вообще впервые приоткрыл многие свои чувства, о которых прежде считал нужным умалчивать. Называется оно «Бегство в Египет». Под «бегством в Египет» он разумел переезд всей семьей на маленькую дачку с верандой, снятую на летние месяцы в поселке под Москвой, по Белорусской железной дороге. Вот это стихотворение:

Ангел, дней моих хранитель,
С лампой в комнате сидел.
Он хранил мою обитель,
Где лежал я и болел.

Обессиленный недугом,
От товарищей вдали,
Я дремал. И друг за другом
Предо мной виденья шли.

Снилось мне, что я младенцем
В тонкой капсуле пелен
Иудейским поселенцем
В край далекий привезен.

Перед Иродовой бандой
Трепетали мы. Но тут
В белом домике с верандой
Обрели себе приют.

Ослик пасся близ оливы,
Я резвился на песке.
Мать с Иосифом, счастливы.
Хлопотали вдалеке.

Часто я в тени у сфинкса
Отдыхал, и светлый Нил,
Словно выпуклая линза,
Отражал лучи светил.

И в неясном этом свете,
В этом радужном огне,
Духи, ангелы и дети
На свирелях пели мне.

Но когда пришла идея
Возвратиться нам домой
И простерла Иудея
Перед нами образ свой —

Нищету свою и злобу,
Нетерпимость, рабский страх,
Где ложилась на трущобу
Тень распятого в горах, —

Вскрикнул я и пробудился…
И у лампы близ огня
Взор твой ангельский светился,
Устремленный на меня.

Ангел-хранитель со светящимся взором — вот кто была Катерина Васильевна для Заболоцкого. В неустойчивом, полном опасностей мире только ее покорность и преданность казались ему неизменными.

Встречаясь с Заболоцким, я, грешным делом, мало к ней приглядывался. Он полностью заслонял ее от меня собою, и я воспринимал ее только как его дополнение. Когда он читал свои стихи, она слушала, безмолвно восхищаясь. Она постоянно твердила: «Николай Алексеевич это любит», «Николай Алексеевич это не любит», «Николай Алексеевич считает так-то», а как она сама считает, оставалось неизвестным. И вдруг она ушла от него к другому.

Нельзя передать его удивления, обиды и горя. Эти три душевных состояния обрушились на него не сразу, а по очереди, именно в таком порядке. Сначала он был только удивлен — до остолбенения — и не верил даже очевидности. Он был ошарашен тем, что так мало знал ее, прожив с ней три десятилетия в такой близости. Он не верил, потому что она вдруг выскочила из своего собственного образа, в реальности которого он никогда не сомневался. Он знал все поступки, которые она могла совершить, и вдруг в сорок девять лет она совершила поступок, абсолютно им непредвиденный. Он удивился бы меньше, если бы она

проглотила автобус или стала изрыгать пламя, как дракон.

Но когда очевидность сделалась несомненной, удивление сменилось обидой. Впрочем, обида — слишком слабое слово. Он был предан, оскорблен и унижен. А человек он был самолюбивый и гордый. Бедствия, которые он претерпевал до тех пор, — нищета, заключение, не задевали его гордости, потому что были проявлением сил, совершенно ему посторонних. Но то, что жена, с которой он прожил тридцать лет, могла предпочесть ему другого, унизило его, а унижения он вынести не мог.

Ему нужно было немедленно доказать всем и самому себе, что он не унижен. Что он не может быть несчастен оттого, что его бросила жена. Что есть много женщин, которые были бы рады его полюбить. Нужно жениться. Немедленно. И так, чтобы об этом узнали все.

Он позвонил одной женщине, одинокой, которую знал мало и поверхностно, и по телефону предложил ей выйти за него замуж. Она сразу согласилась. Для начала супружеской жизни он решил поехать с ней в Малеевку в Дом творчества.

В Малеевке жило много литераторов, и поэтому нельзя было выдумать лучшего средства, чтобы о новом его браке сразу стало известно всем. Подавая в Литфонд заявление с просьбой выдать ему две путевки, он вдруг забыл фамилию своей новой жены и написал ее неправильно.

Я не хочу утверждать, что с этим новым его браком не было связано никакого увлечения. Сохранилось от того времени одно его стихотворение, посвященное новой жене, полное восторга и страсти:

Признание

Зацелована, околдована,
С ветром в поле когда-то обвенчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная моя женщина!

Не веселая, не печальная,
Словно с темного неба сошедшая,
Ты и песня моя обручальная,
И звезда моя сумасшедшая.

Я склонюсь над твоими коленями.
Обниму их с неистовой силою
И слезами и стихотвореньями

Обожгу тебя, горькую, милую.

Отвори мне лицо полуночное,
Дай войти в эти очи тяжелые,
В эти черные брови восточные,
В эти руки твои полуголые.

Что прибавится — не убавится.
Что не сбудется — позабудется…
Отчего же ты плачешь, красавица?
Или это мне только чудится?

Но стихотворение это осталось единственным. Больше ничего он новой своей жене не написал. Их совместная жизнь не задалась с самого начала. Через полтора месяца они вернулись из Малеевки в Москву и поселились на квартире у Николая Алексеевича. В этот период совместной их жизни я был у них всего один раз. Николай Алексеевич позвонил мне и очень просил прийти. Я понял, что он чувствует необходимость как-то связать новую жену с прежними знакомыми, и вечером пришел. В квартире все было как при Екатерине Васильевне, ни одна вещь не сдвинулась с места, стало только неряшливее. Печать запустения лежала на этом доме. Новая хозяйка показалась мне удрученной и растерянной. Да она вовсе и не чувствовала себя хозяйкой, — когда пришло время накрывать на стол, выяснилось, что она не знает, где лежат вилки и ложки. Николай Алексеевич тоже был весь вечер напряженным, нервным, неестественным. По-видимому, вся эта демонстрация своей новой жизни была ему крайне тяжела. Я высидел у него необходимое время и поспешил уйти. Через несколько дней его новая подруга уехала от него в свою прежнюю комнату, и больше они не встречались.

И удивление, и обида — все прошло, осталось только горе. Он никого не любил, кроме Катерины Васильевны, и никого больше не мог полюбить. С новой женой он не сжился не потому, что она была чем-нибудь нехороша, а потому, что она была не той единственной, которую он любил. Оставшись один, в тоске и несчастье, он никому не жаловался. Он продолжал так же упорно и систематично работать над переводами, как всегда, он внимательно заботился о детях. Все свои муки он выразил только в стихах, — может быть, самых прекрасных из всех, написанных им за всю жизнь.

Он тосковал по Катерине Васильевне и с самого начала мучительно беспокоился о ней. И эта тоска, и это беспокойство, и

сознание, что он не может ей помочь, отразилось уже в самом первом из обращенных к ней стихотворений — «Чертополох». Ему поставили на стол букет чертополоха, и великолепное изображение этих прекрасных и страшных цветов с клинообразными шипами он закончил так:

Снилась мне высокая темница
И решетка черная, как ночь,
За решеткой — сказочная птица.
Та, которой некому помочь.
Но и я живу, как видно, плохо,
Ибо я помочь не в силах ей.
И встает стена чертополоха
Между мной и радостью моей.
И простерся шип клинообразный
В грудь мою, и уж в последний раз
Светит мне печальный и прекрасный
Взор ее неугасимых глаз.

Теперь он уже вовсе не ее одну винил в разрыве. Он считал, что они оба виноваты, — значит, винил и себя:

Клялась ты — до гроба
Быть милой моей.
Опомнившись, оба
Мы стали умней.

Опомнившись, оба
Мы поняли вдруг,
Что счастья до гроба
Не будет, мой друг.

Колеблется лебедь
На пламени вод.
Однако к земле ведь
И он уплывет.

И вновь одиноко
Заблещет вода,
И глянет ей в око
Ночная звезда.

Он думал о ней постоянно. Видел ее всюду. Нежное, точное,

необычайное изображение того, как она явилась ему во сне, мы находим в его стихотворении «Можжевеловый куст»:

Я увидел во сне можжевеловый куст,
Я услышал вдали металлический хруст,
Аметистовых ягод услышал я звон,
И во сне, в тишине, мне понравился он.

Я почуял сквозь сон легкий запах смолы.
Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей
Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Легкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим
Облака проплывают одно за другим,
Облетевший мой садик безжизнен и пуст…
Да простит тебя бог, можжевеловый куст…

Как отличается нежность и изящная мягкость этих печальных стихов от веселой грубости «Столбцов», с которых он начал свой путь!

Шло время, он продолжал жить один — с взрослым сыном и почти взрослой дочерью, — очень много работал, казался спокойным. Гордая сдержанность никогда не позволяла ему говорить о своем несчастье даже с близкими друзьями. Но в стихах он был откровенен. Уже больше года прошло после разрыва, а он писал:

Кто мне откликнулся в чаще лесной?
Ты ли, которая снова весной
Вспомнила наши прошедшие годы,
Наши заботы и наши невзгоды,
Наши скитанья в далеком краю, —
Ты, опалившая душу мою?

На возвращение жены он не надеялся. Свой разрыв с нею он считал окончательным, бесповоротным. Он не делал никаких попыток вернуть ее. Но острота тоски его и нежность не

проходили. Весной 1958 года, за несколько месяцев до смерти, он написал стихотворение «Ласточка», в котором еще раз выразил свое отчаянье:

Словно ласточка щебечет,
Ловко крыльями стрижет,
Всем ветрам она перечит,
Но и силы бережет.
Реет верхом, реет низом,
Догоняет комара
И в избушке под карнизом
Отдыхает до утра.

Удивлен ее повадкой,
Устремляюсь я в зенит,
И душа моя касаткой
В отдаленный край летит.
Реет, плачет, словно птица,
В заколдованном краю.
Слабым клювиком стучится
В душу бедную твою.

Но душа твоя угасла,
На дверях висит замок.
Догорело в лампе масло
И не светит фитилек.
Горько ласточка рыдает
И не знает, как помочь,
И с кладбища улетает
В заколдованную ночь.

Он уже хорошо понимал, что с ним случилось несчастье, которого не поправишь. Несчастье смягчило его, открыло в его душе те стороны — доброту, сочувствие к людям, — которые всегда были в ней, но в молодые годы заслонялись насмешливой суровостью. Несчастье смягчило его, но не сломило. Он нес его как сильный и гордый человек. Он очень много работал, он жадно интересовался литературой, жизнью, политикой, историей. Он писал стихи, проникнутые удивительной нежностью к людям, — «Некрасивая девочка», «Старая актриса», «О красоте человеческих лиц», «Старость», «Детство», «Это было давно», «Казбек», «Городок», «Стирка белья». Каждое лето теперь проводил он в Тарусе. Жил он там один, снимая комнату у хозяйки; иногда из Москвы приезжала к нему на недолгое время дочь. Неподалеку от

него в Тарусе жил венгерский писатель Антал Гидаш с женой Агнессой Кун — близкие друзья Заболоцкого. Агнесса Кун заботилась о Николае Алексеевиче с материнской добротой, следила, чтобы он был сыт, здоров. Николай Алексеевич очень полюбил Тарусу — архаический русский городок на Оке. Тарусские улочки, сады, березовые рощи, Ока — все это стало жить теперь в его стихах, как прежде жила Грузия.

Он не примирился со своим горем и не свыкся с ним; но он трудом и силой воли заставил свое горе не заслонять от него ни людей, ни искусства, ни вселенной. Ранней весной 1957 года он поехал с группой советских поэтов в Италию. Никогда до тех пор не был он за границей. Поэты решили лететь самолетом; но у Заболоцкого уже болело сердце, и врач посоветовал ему ехать поездом. Получалось, что ему придется ехать через пол-Европы, а он не знал европейских языков и не был уверен в своем здоровье. Добрый Борис Слуцкий, почти незнакомый с Николаем Алексеевичем лично, вызвался поехать вместе с ним поездом, чтобы не оставлять его одного. И они направились в Рим — через Будапешт и Вену.

Вернувшись из Италии, Николай Алексеевич позвонил мне и предложил встретиться в ресторане «Пекин». За столиком он рассказал мне о Флоренции, Равенне и, главным образом, о Венеции. Впечатления переполняли его, но он еще не находил слов для их выражения. Я знал это его свойство — ему нужно было время, чтобы переварить впечатления. Мысли еще бродили в нем, только зарождаясь. Я заметил, что мысли эти были не столько об Италии, сколько о России. Чужие страны пробудили в нем множество соображений о родине. Он говорил мне о том, как громадна наша страна, как громадна ее история, как громадны в ней события, мечты, люди.

Я уже упоминал, что он зашел ко мне как-то во второй половине августа 1958 года прочесть свою поэму «Рубрук в Монголии». Эта полная пышных и неожиданных образов поэма вся пронизана веселым обожанием жизни, и он смеялся, читая ее. Слыша его смех, я подумал, что наконец-то он начал справляться с горем, угнетавшим его более двух лет.

И он, кажется, действительно с ним уже почти справился. Недовольно отвергнув спор о смерти и бессмертии, он оживленно заговорил со мной о разных житейских делах и планах. У него был план достать для своего недавно женившегося сына квартиру и таким образом отселить его от себя.

— И ему будет лучше, и мне, — сказал он. — Я ведь должен и о себе подумать. Я ведь еще могу жениться.

Не знаю, имел ли он кого-нибудь на примете, говоря о своем

намерении жениться. Думаю, что никакой определенной женщины за этим не стояло. Просто в этой фразе выразилось то, что Катерины Васильевны он больше не ждет.

Перед уходом он прочел мне еще одно свое новое стихотворение, которое потрясло меня больше, чем «Рубрук». Это было суровое требование, обращенное к самому себе:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку.
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя безжалостно сорвет.

А ты хватай ее за плечи.
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.

Она рабыня и царица.
Она работница и дочь.
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Когда я думаю о Заболоцком, я всегда вспоминаю это стихотворение. В нем он отчетливо и сильно выразил самую главную черту своего характера. Все беды, которые наваливала на него судьба, он побеждал, заставляя свою душу трудиться. Только этим он ее и спас — и во время травли тридцатых годов, и в лагерях, и потом, когда его оставила жена. Прочитав мне это стихотворение, он ушел — веселый, не знающий, что больше ни

одного стихотворения он уже никогда не напишет.

Он пережил уход Катерины Васильевны. Но пережить ее возвращения он не мог.

На другой день после того, как он был у меня, он вернулся в Тарусу. Около первого сентября из Тарусы переехали в город Гидаш и Агнесса Кун. Агнесса зашла к нам и рассказала, что Заболоцкий решил остаться в Тарусе на весь сентябрь; он с увлечением переводит сербский эпос, здоров, весел и хочет вернуться в город как можно позже. После этого сообщения я не ожидал что-нибудь услышать о Заболоцком раньше октября. И вдруг, через неделю, я узнал, что Заболоцкий в городе, у себя на квартире, и к нему вернулась Катерина Васильевна.

Трудно сказать, как он поступил бы дальше, если бы был в состоянии распоряжаться собой. Мы этого не знаем и никогда не узнаем, потому что сердце его не выдержало и его свалил инфаркт.

После инфаркта он прожил еще полтора месяца. Состояние его было тяжелым, но не казалось безнадежным. По-видимому, только он один из всех и понимал, что скоро умрет. Все свои усилия после инфаркта — а он не позволял душе лениться! — он направил на то, чтобы привести свои дела в окончательный порядок. Со свойственной ему аккуратностью он составил полный список своих стихотворений, которые считал достойными печати. Он написал завещание, в котором запретил печатать стихотворения, не попавшие в этот список. Завещание это подписано 8 октября 1958 года, за несколько дней до смерти.

Ему нужно было лежать, а он пошел в ванную комнату, чтобы почистить зубы. Не дойдя до ванной, он упал и умер.

Ю. Н. Тынянов

Юрий Николаевич Тынянов в молодости был очень похож на Пушкина, — больше, чем Мандельштам. В конце двадцатых годов среди студентов Института истории искусств в Ленинграде, где преподавал Юрий Николаевич, ходила карикатура — пушкинские кудри, пушкинские курчавые баки, а лица нет, и подпись: «Ю. Н. Тынянов». Эта злая карикатура была глубоко несправедлива, — Юрий Николаевич был похож на Пушкина не только кудрями, и не баками, которые он вскоре сбрил, и не маленькой легкой стройной своей фигуркой, не своей подвижностью, темпераментностью, веселостью, остроумием, не только умением так верно подделывать пушкинскую подпись, что и специалисту нелегко было отличить ее от подлинной, но и гораздо более глубокими свойствами натуры, ума, склонностей, интересов. Так же как Пушкина, его страстно интересовала русская история, и, так же как для Пушкина, для него в русской истории самыми важными были трагические отношения между русской государственностью и человеческой личностью. Тема «Медного всадника», тема бегущего Евгения, за которым с чугунным грохотом по потрясенной мостовой скачет гигант на бронзовом коне, была основной темой всего, что написал Тынянов.

Молодой Тынянов был человек общительный, говорливый и жизнерадостный. Я знаком с ним был с первой половины двадцатых годов, но где и как познакомился — не помню. Никогда не бывал он в Доме искусств, на серапионовых собраниях, в салоне Наппельбаумов — там, где бывал я. В то — начальное — время водился он и дружил не с поэтами и прозаиками, а с теоретиками и историками литературы — с Виктором Шкловским, с Борисом Эйхенбаумом и с более молодыми — Григорием Гуковским и Николаем Степановым. Тогда еще никому — в том числе и ему — не приходило в голову, что он будет не ученым, а писателем, автором романов и повестей.

Я встречал его чаще всего на Невском, на солнечной стороне. Он шагал по тротуару, легкий, элегантный, — насколько можно было быть элегантным в то время, — стуча тростью, тоже напоминавшей о Пушкине. Рядом с ним шагал какой-нибудь собеседник, обычно случайный, и слушал его. Иногда этим случайным собеседником бывал и я. Впрочем, уж я-то был не собеседник, а только слушатель. Тынянов был на десять лет старше меня, беспредельно превосходил меня познаниями, и я в

его присутствии не отваживался рта раскрыть. Познания его были поистине удивительны; он знал русский восемнадцатый и девятнадцатый век так, словно сам прожил их. Петра III, Павла I, Екатерину, Карамзина, Крылова, Вяземского, Кюхельбекера, адмирала Шишкова, Сенковского, Булгарина, Катенина, Вельтмана и, разумеется, Пушкина он знал гораздо лучше, чем можно знать ближайших родственников. Об их жизни рассказывал он так, как насмешливый сплетник рассказывает о жизни своих знакомых. Анекдот, положенный в основу блистательного рассказа «Подпоручик Киже», я слышал от него еще тогда. Еще тогда слышал я о потаенной любви Пушкина, хотя написал он о ней два десятилетия спустя. Он еще не знал, что будет писать исторические романы, но все образы этих романов, готовые, сложившиеся, жили в нем. В этом одна из причин, почему он писал свои романы так быстро, — ему не нужна была никакая подготовительная работа, все необходимое было ему известно заранее.

«Кюхлю» он написал меньше чем за три недели. Он писал всегда запоем, по двадцать часов в сутки, почти без сна и даже почти без еды. Когда он писал, он переставал бриться, не выходил на улицу, ни с кем не встречался и не разговаривал. Так же написал он и «Вазира Мухтара», через несколько лет после «Кюхли», — за неслыханно короткий срок. Писал он запоем, а в промежутках между этими запоями, иногда очень длительных, не прикасался к перу.

О том, как Юрий Николаевич пишет, рассказывал мне много раз Каверин, его близкий родственник, и рассказывал всегда с крайним удивлением. Сам Каверин писал ежедневно, регулярно, — по две страницы в день, — и иначе не мог. Он работал так, словно на службу ходил, а по воскресеньям устраивал себе выходной день и даже не приближался к письменному столу. И поэтому Тынянов, способный одним порывом написать большой роман, казался ему существом непонятным, странным, как бы высшим.

Они были женаты на сестрах друг друга — Каверин на сестре Тынянова Лидии Николаевне, а Тынянов на сестре Каверина Елене Александровне, — и дети их были двойными двоюродными. Каверин и Тынянов жили настолько близко, что, в сущности, составляли одну семью, и очень дружили, но в дружбе их не было равенства. Настоящим писателем в этой семье считался только Тынянов, «дядя Юша», как его называли, а к Каверину относились как к начинающему, из которого неизвестно что выйдет. Любопытно, что сам Каверин безропотно подчинялся этому мнению семьи, вполне разделял его и относился к

Тынянову с почтительным благоговением. Помню, мне это казалось странным. Я знал Каверина как человека, уверенного в себе, высоко ценящего свой труд, неуступчивого, иногда даже заносчивого. Да и литературная известность пришла к Каверину лет на пять раньше, чем к Тынянову, и к тому времени, как вышел тыняновский «Кюхля», Каверин, серапионов брат, был уже автором широко читаемой повести «Конец хазы»…

Книги Тынянова, появлявшиеся с промежутками в несколько лет, читались интеллигенцией жадно, с волнением. Может показаться странным, что читателя тридцатых годов так волновал рассказ о событиях столетней и даже двухсотлетней давности. Ведь Тынянов ни одним словом не обмолвился о своем собственном времени — ни в романах, ни в повестях, ни в статьях по вопросам теории литературы. Он был историком, и притом честнейшим, никогда не искажавшим исторические факты в угоду представлениям о своем времени. Но его рассказы о прошлом волновали современников больше, чем рассказы иных о настоящем, потому что Медный всадник по-прежнему скакал вдогонку за бегущим Евгением и с каждым годом все громче раздавалось это тяжело-звонкое скаканье по потрясенной мостовой.

Как же относился Тынянов к Медному всаднику? Да так же, как Пушкин. Как к мощному властелину судьбы, полному великих дум, от скаканья которого не убежишь никуда и никогда. Как же относился Тынянов к Евгению? Да так же, как Пушкин. Он, как и Пушкин, сам был Евгением. Менялась русская государственность, менялся русский человек, но отношения между ними, между Медным всадником и Евгением, оставались неизменными. В ужасе мчался Кюхельбекер в Варшаву со всеми своими мечтами, стихами, надеждами, но тяжело-звонкое скаканье, как будто грома грохотанье, настигало его, и вот мечты, стихи, надежды бесплодно догорают в холодной тишине среди сибирских елей. А вот создатель Чацкого, написавший все его горько-вольнолюбивые речи, Грибоедов. Он не просто декабрист, он идеолог, вдохновитель декабризма. Но декабристы разгромлены, казнены, сосланы, а он отвертелся на допросах и выскочил. И он дружит с Булгариным, служит у врагов всего, что любил и чему учил, едет осуществлять великие думы Медного всадника на Востоке. Ну как это было не понять человеку тридцатых годов двадцатого века? Ну как было не понять ему «Подпоручика Киже», эту поэму о всеобъемлющем бюрократическом мышлении, населяющем мир фантомами и превращающем живых людей в фантомы, о человеке, рожденном из канцелярской описки, дослужившемся до генеральского чина,

имевшем жену и детей, но никогда не существовавшем?

В конце тридцатых годов я встречался с Тыняновым чаще, чем прежде. Начиная с 1938 года я три лета подряд снимал дачу в Луге и был соседом Тынянова. В то время там, в Луге, на берегу лесного озера Омчино стояли новенькие дачки трех писателей — Тынянова, Каверина и Н. Л. Степанова. Наши литераторские семьи жили очень тесно и дружно. Мы, с кучкой детей, вместе гуляли по лесам, вместе ходили купаться. Но Юрий Николаевич в наших прогулках участия не принимал — он был уже болен. У него была редкая странная болезнь, с которой я никогда больше не встречался; врачи называли ее рассеянный склероз. Заболевание Тынянова выражалось в том, что он мало-помалу терял способность управлять органами своего тела; болезнь медленно, но неуклонно развивалась, распространяясь снизу вверх, и поразила сначала его ноги, потом туловище, потом руки, шею; когда она дошла до головы, он умер.

Однако летом 1938 года болезнь его еще только начиналась и он еще не потерял способности бродить по комнатам, по саду. Помню, с какой тревогой однажды рассказала мне жена, как Юрий Николаевич упал в ее присутствии. Она зашла к Тынянову на дачу, и Юрий Николаевич, старомодно галантный с дамами, вызвался ее проводить. Но едва они вышли за калитку, как он вдруг на ровном месте упал со всего роста и не мог встать, пока жена моя не подняла его. Нам стало понятно, почему он избегает выходить за пределы своего сада. Но когда мы к нему заходили, он бывал по-прежнему оживлен, подвижен, говорлив и весел. Он был из тех собеседников, которые гораздо больше говорят, чем слушают, и это была приятнейшая его черта, потому что все, что я мог бы сказать, я и так знал сам, а все, что говорил Тынянов, было всегда ново и блестяще умно. Говорун он был именно блестящий: речь его была полна остроумия, неожиданных и точных определений, вкусно подаваемой отстоянной эрудиции. Когда ему удавалось сказать что-нибудь особенно удачное, на его высоком лбу распускались морщины, как у Билибина из «Войны и мира».

Он не любил сплетен, пересудов и никогда не говорил — со мной, во всяком случае, — о близких и знакомых людях. Не говорил он и о современной литературе, которой, кажется, довольно мало интересовался. Почти всегда его речи были о минувшем, о вычитанном из книг и рукописей. Очень часто говорил он о Кюхельбекере, которого любил нежнейшей любовью. Кюхельбекер был его детищем, созданием его рук: он открыл его неопубликованные рукописи, истолковал его, разрушил укоренившуюся легенду, будто Пушкин относился к

Кюхельбекеру пренебрежительно, он издал его сочинения, ввел их в русскую литературу. Но чаще всего говорил он о Пушкине, который всегда в его мыслях занимал главное место, а в те годы особенно: он тогда уже работал над своим последним романом «Пушкин».

Снова услышал я от него любимую его мысль, что в жизни Пушкина была потаенная любовь, никому неведомая, но прошедшая через всю его жизнь и оставившая яркий след на всем пушкинском творчестве. Тынянов был убежден, что Пушкин всю жизнь, с детства до последнего вздоха, любил одну женщину — Екатерину Андреевну, жену Карамзина, сводную сестру Петра Андреевича Вяземского. Со свойственной ему силой и конкретностью воображения он восстанавливал всю эту тайную драму до малейших подробностей. У Пушкина были холодные отношения с матерью, и поэтому ему было естественно полюбить женщину старше себя. Он полюбил ее мальчиком и любил всегда, неизменно. Он уже знал многих женщин, он уже собирался жениться на Натали Гончаровой, но в душе все оставался верен Екатерине Андреевне и только ее имел в виду, когда в стихотворении «На холмах Грузии лежит ночная мгла» писал: «… печаль моя светла; печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой…» И, умирая, Пушкин попросил всех выйти из комнаты, чтобы одна Екатерина Андреевна Карамзина осталась с ним… Юрий Николаевич так часто рассказывал эту историю, так верил в ее истинность, так ею волновался, что невольно приходило на ум, что история эта связана для него с чем-то личным, своим собственным…

Юрий Николаевич очень любил и великолепно знал русскую поэзию; множество стихов помнил он наизусть. Когда я заходил к нему на дачу, мы, оставшись одни, часто занимались вспоминанием стихов. Конечно, он помнил гораздо больше меня; да и любили мы разное. Стихи мелодического, романсового склада, нравившиеся мне, были ему чужды; он был холоден и к Фету, и к Блоку, и к Лермонтову. Сам он любил стихи декламационные, ораторские или афористические. Кроме поэтов пушкинской поры, которых он был выдающимся знатоком, любил он Державина; а из более поздних, к моему удивлению, Апухтина. Он хорошо понимал безвкусицу апухтинских стихов и тем не менее многие знал наизусть — он ему нравился своей свободной ораторской интонацией. Из поэтов двадцатого века больше всего любил он Иннокентия Анненского. Много раз читал он мне сонет Анненского «Человек», который кончается так:

В работе ль там не без прорух,

Иль в механизме есть подвох.
Но был бы мой свободный дух —

Теперь не дух, я был бы бог…
Когда б не *пиль* да не *тубо,*
Да не *тю-тю* после *бо-бо!*..

А стихотворение Анненского «Кэк-уок на цимбалах» он пел на мотив кэк-уока; пел очень фальшиво, каким-то детским голосом, но с огромным увлечением:

Молоточков лапки цепки,
Да гвоздочков шапки крепки,
Что не раз их,
Пустоплясых,
Там позастревало.

Молоточки топотали,
Мимо точки попадали,

Что ни мах,
На струнах
Как и не бывало.

Пали звоны топотом, топотом,
Стали звоны ропотом, ропотом…

Из нерусских поэтов он больше всего любил и лучше всего знал Генриха Гейне. Он много переводил его, и переводил превосходно, — и очень жаль, что теперь сочинения Гейне на русском языке порой выходят без переводов Тынянова. Но и в Гейне он любил прежде всего не лирику, не мелодию, а насмешливость и остроумие. Для перевода он выбирал обычно стихи сатирические и переводил их так, что все лирическое отходило на задний план, а на переднем плане оставался один только суховатый треск острот.

Болезнь его развивалась неуклонно, но медленно. Летом 1939 года он еще немного бродил, тяжело опираясь на трость, заведенную когда-то из щегольства и ставшую теперь необходимой подпоркой. Летом 1940 года он уже почти потерял способность ходить и целые дни неподвижно сидел в соломенном кресле в саду перед балконом своей дачки.

Это было тревожное, печальное, страшное лето. Только что

пала Франция. На Западе шла война, неторопливо набирая скорость, и завтрашний день был туманен, но в его тумане ясно предчувствовались неслыханные беды. После конца «зимней» войны с Финляндией я был демобилизован, и в июне мы опять всей семьей поехали на дачу в Лугу. Меня очень огорчило, что я застал Тынянова в таком дурном состоянии. Потеряв способность ходить, он стал очень беспомощен; жена его и дочь в то лето на даче бывали мало, и ухаживала за ним его сестра Лидия Николаевна Каверина. Между сестрой и братом были самые нежные, самые близкие дружеские отношения. Постоянное присутствие младшей сестры, по-видимому, напоминало Юрию Николаевичу их общее детство, и он часто рассказывал, как они качались на качелях, когда были детьми. Он скучал, сидя с утра в своем соломенном кресле, все ждал, когда принесут газету, но газеты в Луге появлялись только к двум часам дня. Он с жадностью хватал газетный лист и долго читал. Иногда за газетой задремывал.

Как-то раз, застав его за газетой и поговорив с ним о новостях, я ушел на берег озера и там, под впечатлением разговора, написал стихотворение. Я написал его как бы от имени больного Тынянова и привожу его здесь только оттого, что в нем запечатлен один миг его жизни.

Высокое небо прозрачно.
Я болен. Гулять не хожу.
Я перед верандою дачной
В соломенном кресле сижу.

Вверху возникают и тают
Стада молодых облаков,
Из леса ко мне долетают
Мольбы паровозных гудков.

Прохладное катится лето
В сиянии, в сини, в цвету…
А вот, наконец, и газета!
Ну, что же, спасибо. Прочту.

Министры сбегают, бросая
Народы на гибель и ад,
И шляются, все истребляя,
Огромные орды солдат.

В волнах, посреди океанов,

Беспомощно тонут суда,
Под грохотом аэропланов
Горят и горят города.

Хвастливые лживые речи
Святош, полицейских, владык…
А солнце все греет мне плечи,
И я головою поник,

И вот уж уводит дремота
Меня за собой в полутьму.
Где вижу знакомое что-то,
Родное, но что — не пойму.

А, детство! Высокие ели,
И милой сестры голосок,
И желтые наши качели,
И желтый горячий песок…

Я не видел Тынянова целую зиму и встретился с ним снова в апреле-мае 1941 года. Мы оба оказались в Доме творчества в Царском Селе. Дом этот прежде принадлежал Алексею Толстому. В 1937 году Толстой развелся с Натальей Васильевной Крандиевской, женился на Людмиле Баршевой, а свой царскосельский дом подарил Ленинградскому отделению Литфонда, и Литфонд устроил в нем Дом творчества. Это был небольшой Дом творчества — в нем было только двенадцать комнат не считая столовой и гостиной, и, следовательно, жило одновременно только двенадцать человек. Застав там Тынянова, я был удручен совершившейся с ним переменой. Двигался он уже еле-еле, — с величайшим трудом добирался из своей комнаты до обеденного стола. Теперь уже и руки служили ему плохо, — за столом он поминутно терял то ложку, то вилку. Он сгорбился и высох и казался бы маленьким старичком, если бы не черные волосы без единой сединки и не белые молодые зубы. Но главная перемена произошла не в физическом его состоянии, а в умственном. Мы, постояльцы, все ели за одним столом, и он, говорун и остроумец, как в прежние времена, развлекал весь стол рассказами, многие из которых я давно уже знал. Но, к моему удивлению и ужасу, эти рассказы теперь у него не получались, — он сбивался на середине, внезапно забывал продолжение, вяло и долго путался, и рассказ оставался без концовки, в которой и был весь смысл. Это всякий раз производило тягостное

впечатление, — тем более что в нашем обществе были грубые и глупые люди, которые смеялись над ним.

Несмотря на болезненное расстройство памяти и внимания, он продолжал упорно работать над своим романом о Пушкине. Судя по результатам, болезнь никак не отразилась на романе. Но теперь он уже не писал залпом, в один присест, как прежние свои романы, а работал трудно, медленно и кропотливо. Не думаю, впрочем, что тут дело заключалось только в болезни. Дело было в самой теме, — жизнь Пушкина так изучена день за днем, что все это нагромождение мелких фактов, твердо установленных и поэтому неподатливых, связывало воображение романиста.

В середине июня 1941 года мы, и Каверины, и Степановы, и Тыняновы в четвертый раз переехали на дачу в Лугу. Погода стояла дождливая, холодная, лето еще не начиналось. Первое солнечное теплое утро выдалось только в воскресенье 22-го. Мы встретились с Кавериным и вместе пошли на пляж. Был уже второй час дня, когда на пляж пришла соседка-докторша и рассказала новость — Гитлер напал на СССР.

Мы с Кавериным сразу поняли, что значила эта новость и для всех, и для нас с ним. Нам хотелось поговорить, но на пляже было людно и многие прислушивались к нашим словам. Мы вошли в воду, выплыли на середину озера, и там, где никто не мог нас слышать, обменялись не столько мыслями, сколько волнениями. Нам было ясно, что мы оба должны немедленно ехать в город, потому что там, безусловно, нас уже ждут мобилизационные листки.

Я ничего не слышал о Тынянове до конца ноября, когда случайно встретил Каверина на одном военном аэродроме. Каверин рассказал мне, что Тынянов был благополучно вывезен и из Луги, и из Ленинграда и находится в Ярославле, где очень хворает. Жена моя с детьми находилась в Перми, и через некоторое время, уже в 1942 году, я получил от нее письмо, что туда, в Пермь, перевезли Тынянова и что он в очень плохом состоянии. В сентябре 1942 года мне дали отпуск на десять дней для поездки к семье. На дорогу туда и обратно у меня ушло восемь дней, и в Перми я провел только двое суток. Жена сказала мне, что Юрий Николаевич уже давно лежит в госпитале, и предложила его навестить.

Она уже не раз навещала его и хорошо знала дорогу. Юрий Николаевич лежал в отдельной, очень маленькой, палате; кудри его чернели на подушке. Положение его было ужасно, — он не мог двинуть ни ногой, ни рукой; когда голова его сползала с подушки, он не мог поднять ее. Он давно уже не мог есть самостоятельно, и его кормили с ложечки…

Нам он обрадовался. Вид моей военной формы сразу навел его на мысли о войне, о Гитлере, о фашизме. И, едва мы вошли, он стал нам рассказывать историю, которую я от него уже слышал не раз. Историю эту я теперь позабыл и помню только ее суть. В 1918 году Юрий Николаевич поехал из Петрограда в захваченный немцами Псков, чтобы вывезти оттуда жену и двухлетнюю дочку. По-видимому, это было трудное и романтическое предприятие, навсегда врезавшееся ему в память. Поразило его, что немцы уже тогда, при Вильгельме, задолго до Гитлера, в своей агитации делили людей на арийцев и на неарийцев. «Arier und nicht Arier», — повторял он, рассказывая, по-немецки… Жена моя уверяла меня, что эту историю в тех же самых словах он повторяет всякий раз, когда она заходит к нему в госпиталь. Из-за болезни ассоциации его приняли постоянный, неподвижный характер — одному лицу он всегда рассказывал одно и то же…

Самым удивительным было то, что в этом состоянии он продолжал работать над романом. Одна добрая женщина, тоже эвакуированная в Пермь из Ленинграда, приходила в госпиталь писать под его диктовку. И то, что он диктовал, было умно, превосходно, талантливо. Прочтите его незавершенный роман «Пушкин» — и вы никогда не догадаетесь, что писал его смертельно больной человек.

В следующий раз я увидел его уже в гробу. Тынянов умер в Москве, в декабре 1943 года, и хоронили его на Ваганьковском кладбище. Снег белел между черных прутьев кустов, уже начинались сумерки. Тынянов в гробу лежал маленький, как ребенок, неправдоподобно маленькими казались его ступни в полосатых носках. Фадеев в длинной солдатской шинели сказал надгробное слово. Шкловский плакал навзрыд и размазывал слезы по лицу.

Тынянов умер в страшный военный год, когда столько умирало вокруг. Я только что приехал в Москву из осажденного Ленинграда, где миллион людей умерли у меня на глазах за одну зиму. Но к смерти привыкнуть нельзя, она всегда поражающе нова. И смерть Тынянова поразила меня глубоко. Умер русский летописец, певец самых сокровенных, самых обольстительных и болезненных тайн русской истории. А русская история продолжалась — полная неслыханных бедствий и поражений, величавых мечтаний и ни с чем не сравнимых побед.

Переписка Корнея и Николая Чуковских

1. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

10 июля 1921 г.[2] *Холомки*[3]

Мне хочется дружески, безо всякого задора, уверить тебя, что ты идешь по ложному пути. Пожалуйста, не думай, что вот опять скучный «старого закала» отец привередничает, а взгляни на вещи здраво и просто. 17 лет никогда в жизни не повторяются. Именно в 17 лет формируется человек. Каков он в 17 лет, таков он во всю жизнь. Что же ты такое — в 17 лет? Чудесный малый, искренний и прямой, — верно. Поэт — верно. Не без сведений — верно. Но, несмотря на это все, ты шалопай. Вот настоящее слово. Ни систематической работы, ни любви к работе, ни жажды знаний, ни выдержки — ничего. И когда я, глубоко уважая и твои дарования, и твою натуру, тяну тебя к труду, к новым интересам, к расширению духовного горизонта — ты кочевряжишься, ломаешься, торгуешься, норовишь увильнуть — к шалопайству. Я твердо убежден, что тебе, поэту, и вообще будущему интеллигенту, огромным подспорьем будет английский язык. Русский, не знающий ни одного иностр. языка, все равно что слепой и глухой. 7 лет, не жалея трудов, я тяну тебя за уши к этому знанию. А ты упирался. А ты бездарно норовил ускользнуть. Ни разу не было, чтобы ты сам, своей волей, захотел узнать, наконец, как следует этот язык, которым я стал заниматься в 17 лет, один, без учителей, без учебников, без всякой поддержки. Да я на твоем месте проглотил бы в одно лето всего Шекспира, Байрона, Мура, Браунинга, а ты вежливо позволяешь мне иногда, из милости, прочитать тебе какой-нибудь английский стишок.

В этом твое тупосердие. Ты именно туп сердцем, не чуток. Ты все воображаешь, что есть какой-то ненужный отец, который из упрямства навязывает тебе какие-то прописи. Вчерашняя история со сходом именно такова. Уверяю тебя, что поэты делятся на образованных и необразованных. Уверяю тебя, что еще больше, чем англ, язык, рус. поэт должен знать Россию. А Россия — это деревня. Я затем и потянул вас сюда (причем вы все тоже сопротивлялись), чтобы показать тебе (главным образом тебе) русскую деревню, без знания которой России не понять. Я думал, что тебя увлечет крестьянский быт, простонародный язык и т. д.

Тебя же увлекло шалопайство. Как особенное одолжение, измываясь надо мной неприлично, ты сделал вчера несколько шагов к Захонью[4], но потом повернул — к логарифмам. (И пошло сочинил, что я *заставил* тебя тащить тяжести — 10 фунтов крупы, которую ты же схряпаешь!) Второй раз тоже ломанье, и тоже позорное бегство — к тем же логарифмам. Знаю я твои логарифмы!

А твое отношение к семье! Тебя заставят что-нибудь сделать, ты сделаешь. Но сам — никогда. Ты ведь знаешь, что просвирня отказалась посылать молоко. Ну взял бы ведерко и ежедневно сам пошел бы к ней и принес бы молоко, которое так нужно нам всем. Но тебе это невдомек. Ты предпочитаешь целый день по жеребячьи ржать, валяться на постели, козырять пред поповнами[5], чем, по собственному почину, помочь отцу и матери[6], и Лиде[7] — своим участием.

Почему ты никогда не понянчишь Мурку[8]? Или ты думаешь, что Лида обязана возиться весь день с Муркой, губя свое детство, а ты можешь целый день ржать и бездельничать, отделываясь тем, что ты «качал воду».

Предлагаю тебе одуматься. Даю тебе сроку до Петрова дня[9]. После Петрова дня ты должен:

1. Серьезно заняться англ. языком.
2. Наметить программу чтения.
3. Определить точно время занятий и отдыха.
4. Посвятить ежедневно не меньше 2-х часов на помощь семье, которая вся работает, кроме тебя.

И, пожалуйста, определи раз навсегда, друг я тебе или враг. Ты отдалился от меня и от Лиды, и от Бобы[10] — право, напрасно. Не сомневаюсь, что в глубине души ты и сам жалеешь об этом.

2. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

11 июля 1921 г.[11] *Холомки*

Я согласен с многим из того, что ты мне пишешь, но с гораздо большим не согласен. Ты совершенно прав, говоря, что у меня нет ни любви к работе, ни выдержки. Работать я люблю лишь [тогда], когда я особенно заинтересован в ней (напр. «Каракакула»[12]), а работать так вообще — не выношу. И, право, я и без всякой твоей в этом отношении помощи изо всех сил стараюсь с этим бороться. И эта, столь безвинно презираемая тобой тригонометрия, которой я занимаюсь (и совершенно

честно) 1 ½ часа в день, — есть попытка моя систематически заниматься каким-нибудь *нужным, но противным* делом.

Насчет английского языка ты тоже не прав. За последний год я занимаюсь английским языком охотно и много. Здесь, в Холомках, я прочел (это за последние 3–4 дня) много из английского романа Woman in Firelight[13], который я взял у Доди[14].

Что же касается твоих чтений нам английских стихов — то, вообще говоря, я их тоже очень люблю, но не нравится мне, что ты сначала читаешь их по-дружески, будто это совместное наше удовольствие (как и есть на самом деле), где каждый волен слушать и читать, сколько может, хочет или считает нужным, а потом уйти, — а я, между тем, отлично знаю, что, уйди я раньше дозволенного тобой времени, вырази я на лице меньше энтузиазма, чем тебе хотелось бы, — и весь твой дружеский вид пропадет, и ты начнешь читать мне нотацию. Когда кажется человеку, что ему запрещено чесать нос, — он употребляет все усилия, чтоб почесать его. Так и я. Когда ты предложил мне дружески идти вчера на сход — я с удовольствием пошел. Но когда оказалось, что меня тянут на сход силком, — я стал упираться. А не захотелось мне идти еще и потому, что мы и не на сход идем вовсе, а придется нам часа два просидеть у дяди Васи. Для меня же находиться в чужой среде, среди незнакомых людей — пытка. И вот когда я заметил, что на эту пытку меня тянут силком, да еще под видом совместного удовольствия, — я, конечно, решил употребить все усилия, чтобы избежать этой противной обязанности.

Если мы гуляем с тобой по-дружески, когда каждый может уйти в любую минуту, — я стараюсь доставить тебе удовольствия как можно больше. Если же ты гонишь меня гулять с тобой — я, естественно, становлюсь врагом тебе, и в то время как ты заинтересован заставить меня гулять с тобой как можно больше — я заинтересован гулять как можно меньше.

Я всегда по-дружески отношусь к тебе, а ты сам ставишь меня в положение врага своим начальническим ко мне отношением.

Теперь о твоих требованиях ко мне после Петрова дня.

1) Английским языком я вполне серьезно занимаюсь и теперь.

2) Программу чтения намечать считаю лишним, т. к. и так знаю, что мне надо прочесть, и читаю по мере возможности все из необходимого интеллигентному человеку, что я еще не читал.

3) Для тригонометрии время занятий у меня определено точно (1½ часа по утрам). К сожалению, мне не всегда удается соблюдать его по независимым обстоятельствам. (Кстати о тригонометрии. За 3 недели моего здесь пребывания я прошел

почти весь годовой курс прямолинейной тригонометрии, что и можешь ты проверить каждую минуту.) Остальные мои занятия не регулярного характера, и время определено для них быть не может.

4) Буду больше сидеть с Мурочкой.

Извини безграмотность мою. Лучше не умею.

3. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

6 августа 1921 г.[15] *Холомки*

Дорогой Колька!

Не сердись на меня за сегодняшнее. Просто у меня нервы черт знает как измотались[16]. Я тогда же увидел, что был не прав, и хотел перед тобой извиниться, но смалодушничал.

Твой К. Ч.

4. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

Вторая половина февраля 1923 г. [17] *Петроград*

Милый папа.

Посылаю тебе вторую главу «Евангелины»[18] — она у меня, кажется, самая чистая. С книгами для Ары[19] дело обстоит так: Кини[20] в Москве и сдать ему невозможно. 250 мил. Давыдов[21] уже истратил. Я ему дал еще 250 из всемирнских денег[22], но советовал не тратить, пока он не сдаст Кини первой партии книг.

«Евангелину» переписывал не я — поэтому уйма опечаток.

Нельзя ли в Москве пристроить мою книжку[23]? Над «Евангелиной» работаю все время — как встал после болезни. Дня через четыре кончу 5 гл. — и в первой части не будет уже ни одного непереведенного места. Тогда останутся только 2 неоконченные главы II ч. да всяческая чистка.

К сожалению, в посылаемой 2 главе не всегда верный (по Зоргенфрею[24]) гекзаметр. Кой-где я исправил, но в некоторых местах не успел. Иногда прекрасная строчка от исправления превращается в посредственную, среднюю — и мне жалко.

Меня заедает Университет[25] — учу психологию.

Всего хорошего

Коля.

Деньги дома на исходе.

5. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

Вторая половина февраля 1923 г.[26] *Петроград* Дир Фазерналиус[27].

Был я у Кини, выдержал длинный разговор на британском наречьи с его пламеннокудрой альбионкой [28], в результате чего выяснилось:

1) Профессор Golder [29] в Москве.

2) Адрес его ты можешь достать в Московской Аре.

3) Кини очень доволен книгами, доставленными ему Давыдовым.

Давыдов истратил на эти книги те 250 миллионов, которые ты ему дал, а те 250, что я дал, почему-то солит.

Вчера я кончил еще одну главу «Евангелины», сегодня чищу. Работы еще очень много впереди, а надо приниматься за университетские дела. Поэтому гоню «Евангелину» вовсю. Кончу к началу апреля.

Посылаю тебе два стихотворения[30]. Прочти и оцени. Одно из них новое. Если тебе понравятся они, и представится случай — покажи их Мандельштаму[31], а то и дай куда-нибудь напечатать. Только дуракам не показывай, пожалуйста.

Будь добр, купи мне Мандельштамову «Tristia»[32] и Асеевскую «Избрань»[33].

Приезжай скорее.

Коля.

Как с «Евангелиной»?

Здесь Маршак волнуется — как с Киплингом[34]? Он уже свою долю перевел.

6. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

Вторая половина февраля 1923 г.[35] *Петроград*

Dear Father[36]

Я глубоко огорчен неудачами моей «Евангелины». Прямо отбивает всякую охоту работать. А здесь у меня уже почти половина новой главы готово.

Но у меня есть надежда продать здесь, в Питере, в Госиздат книжку моих стихов под именем: «Дикий Рай»[37]. Это отчасти меня утешает.

Сколько я тебе ни пишу, ты избегаешь написать мне хоть строчку. Ну, что ж!

Лида на меня посылает всяческие гнусные клеветы (насчет Библии), так что у тебя извращенные обо мне представления. О, Лида, Лида!

Sweet was her breath as the breath of kine that feed in the

meadows[38].

Привези *Tristia* / Мандельштам и *Избрань* / Асеев.

Привези первый альманах *«Круг»*[39]. Пожалуйста, не забудь. Это все не так дорого стоит, да ты, пожалуй, и даром достанешь. Говорят, вышла книга статей Мандельштама[40]. Если попадется — привези.

Мура сейчас сказала: «Мама, иди, да, а то ты то туда, то сюда».

Коля.

[Приписка Л. К. Чуковской]:

Ради Бога, выздоравливай. Сейчас получили твое раннее письмо. Я очень встревожена твоею болезнью. Как быть тебе без близких. При малейшей возможности кати домой, а то если осложнится, нужно будет тебе ехать в больницу. Здесь милый Конухес[41] поставит тебя на ноги. Плюнь на склероз. Опасны только легкие. Во всяком случае, пиши о состоянии твоего здоровья. Мы все здоровы. Плюнь на врачей. Доверься одному. Деньги у нас есть, и вообще все обстоит благополучно. Пришли мне адрес Добраницких[42].

7. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Вторая половина апреля 1924 г.[43] *Ленинград.*

Милый Коля. Только сейчас урвал минутку, чтобы написать тебе — о твоей свадьбе. Раньше всего скажу тебе то, что ты сам чувствуешь: Марину[44] я люблю и уважаю и уже около полугода вполне примирился с мыслью о вашем супружестве. Но против сейчасного брака протестую всеми моими душевными силами. И вот почему.

Возьмем самое главное: стихи. Это для меня термометр твоего духовного развития. И вот я вижу поразительную вещь: от 1918 до 1922 года ртуть поднимается: ты развивался, рос, крепчал и вдруг остановился. Все, что ты написал за этот год, — есть вариация прежнего. Ни новых тем, ни новых горизонтов. И ты сам знаешь, что причина этой остановки — Марина. Уайльд сказал: «Женщины вдохновляют нас на написание прекрасных стихов, но они же мешают нам писать эти стихи»[45]. Это, конечно, вздор. Марина не мешает тебе, но в чем же она помогает? Она для тебя — все, она душа твоей души, — это дает ей огромные права, но налагает на нее и страшные обязанности. Чувствует ли она эти обязанности? Понимает ли она, что в ее

руках вся твоя судьба как поэта? Приготовилась ли она к тому, чтобы быть *женою поэта*? Едва ли. Теперь большим поэтом может быть только тот, кто широко образован (как Блок или Гумилев, Пастернак или Ходасевич), или тот, кто хорошо, насквозь, знает страны, города, жизнь, людей (Киплинг, Н. Тихонов и пр.). Остальные — в лучшем случае — Дмитрии Цензоры[46]. Если ты останешься еще год при своих — очень хороших — темах, тебе грозит та же участь. Тебе нужно читать, путешествовать, повысить свое любопытство к людям, странам, культурам, вещам. Это нужно тебе именно сейчас, потому что только в твои годы определяется, творится человек. Оттого я и говорю: ради своего будущего, ради Марины, ради своих стихов — уезжай до осени, один, побродить, пошататься, увидеть новых людей. Ты и не представляешь себе, до какой степени узок и тесен тот круг, в котором ты теперь вращаешься. Этот круг сузится еще больше, если ты женишься сию минуту. Женившись, ты сейчас же принужден будешь думать о скучных вещах, о копейках и тряпках — и тогда прощай поэт Н. Чуковский!

В этом я твердо убежден. Я уверен, что если бы я так рано не попал в плен копеек и тряпок, из меня, конечно, вышел бы очень хороший писатель: я много занимался философией, жадно учился, а стал фельетонистом, по пяточку за строчку, очутился в обществе Карменов[47] и Ольдоров[48].

Признаюсь, что покупка тобою обручальных колец — испугала меня. Это дурной тон, низменный, пошлый. Не думай, что во мне интеллигентские предрассудки. Нет, я вовсе не хочу, чтобы Марина побудила тебя к покупке Бокля[49], но кольца… ведь она не за юнкера, не за парикмахера выходит замуж, а за поэта. В этом сказалось даже какое-то неуважение ко мне.

Я не намерен влиять на будущий стиль твоей жизни, — но, милый, я вдвое старше тебя, много видел людских отношений — и, мне кажется, ни Марина, ни ты — не уважаете единственной вещи, с которой вы вступаете в жизнь — твоего поэтического дарования. Если ты в этот год опошлеешь, сузишься, обнищаешь душой — ты никогда, никогда не наверстаешь утраченного. 20–21 год — решающие в жизни человека.

Уже давно я замечаю в тебе обывательские (для меня страшные) замашки. Ты слишком любишь именины, галстухи, прически, шашки и пр. Ты опоэтизировываешь эту пошлятину, ты говоришь

— жить, как другие живут,

но другие живут *не так.* Ни у Баратынского, ни у Тютчева, ни у Лермонтова, ни у Блока — ты не найдешь обывательщины. Их творчество — трагическая борьба с бессмертной пошлостью людской, отторжение от того сплошного Ольгина[50], которым была Россия. И это — закон, с этого начинается всякое творчество. У тебя же установилась инерция — и в жизни, и в стихах — восхвалять «забытье». А потому твои стихи — уже не творчество, а только мастерство. Что сделала Марина, чтобы отвлечь тебя от этой опасности?

Предо мной все время стоит моя судьба: с величайшим трудом, самоучка, из нищенской семьи вырвался я в Лондон — где столько книг, вещей, музеев, людей, и все проморгал, ничего не заметил, так как со мною была любимая женщина. Горе твое, если основой твоей карьеры — будут переводы с английского. Это еще хуже моих фельетонов, на которые я убил мои лучшие годы. Я не вижу ничего противоестественного в том, что жених и невеста, готовясь к долгой совместной жизни, разлучаются на 3–4 месяца, чтобы запастись духовным капиталом. Но после нашего вчерашнего разговора — я вижу, что мои слова не дойдут до тебя. Похоже, что ты, действительно, дошел до предела — физической страсти, которая совершенно изнурила и опустошила тебя. Что же делать! Если так, то женись, от всей души желаю тебе счастья, но помни, дорогой, об опасности, о которой я пишу тебе в этом письме: об опасности незаметного заплесневения души. Тебе нужны героические усилия, чтобы не подчиниться той нечеловеческой пошлости, в которой теперь утопает Россия. Ты верным инстинктом всегда выбирал себе хороших друзей — Познера[51], Арнштама[52], Леню Месса[53], Тихонова[54], — но тебе нужно выбиться из старого круга и найти новых. Этого я и ждал от твоей кавказской поездки, т. к. в этом году в Крыму, на Кавказе будет вся московская талантливейшая богема. Упустить этот случай — страшно. Ведь в будущем году у тебя, вернее всего, будет ребенок, а ребенок для тебя в твои годы — могила. Если же ты соберешь столько денег, что поедешь на Кавказ с женой, то там вы будете так поглощены друг другом, — что самые драгоценные люди пройдут мимо вас, как в тумане.

Теперь второй вопрос: о деньгах.

Признаюсь, я ждал, что наступит минута, когда ты будешь помогать семье, дашь возможность отдохнуть и мне, и маме. (Твоя мама заслужила отдых; ты и не подозреваешь, как горька и мучительна была ее жизнь: она, ради семьи, закопала свою молодость в Финляндии, нигде не была, ничего не видела, думала — только о вас). Теперь ты уходишь от нас — и, конечно,

ты сам понимаешь, что при всем желании я, даже на первых порах, не могу снабдить тебя деньгами.

Вот и все. Я не говорю *нет,* но в моем *да* есть несколько сомнений и боязней, которые я счел своим долгом не скрыть от тебя. А ты поступай так, как ты чувствуешь. Я верю и в тебя, и в твои чувства. Я верю, что та связь, которая есть у нас с тобой (и у тебя с мамой), с годами не порвется, но окрепнет. Поэтому если ты с Мариной, несмотря на это письмо, решишь, что тебе нельзя не жениться сейчас, что ж, я не буду в отчаянии. Но подумайте, попробуйте протомиться до осени, если, конечно, вы согласны со мной, что это сделает вас крепче для будущего.

8. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

23 июня 1924 г. Ленинград

Коля, милый. Лившиц[55] денег не дает, тянет. Я послал тебе в Феодосию на твое имя 40 рублей телеграфом 20/VI; посылаю с Полонской[56] еще денег немного; не волнуйся, все образуется. Всякая неудача в твоем возрасте имеет значение воспитательное. Я уверен, что отныне, напр., ты никогда в жизни не забудешь паспорта, собираясь в дорогу. Деньги у тебя будут, — из Госиздата[57]. А на Лившица, признаться, я плохо надеюсь. Пиши детскую вещь, приглядывайся к детям, и постарайся подмечать их методы мышления, их вкусы. Клячко[58] издаст твои детские стихи с удовольствием. К Максимилиану Александровичу[59] едет Чехонин[60], вот тебе и иллюстратор. Детская книжка даст тебе ренту. Главное, что плохо в Коктебеле: он располагает к безделью. В Питере так же трудно бездельничать, как голодать, а в Коктебеле — праздность естественное состояние людей. Конечно, твоего письма, первого, я не получил. Получил только второе, посланное с оказией из Москвы. Мария Николаевна[61]уже очень давно послала тебе твой паспорт. Как твоя брачная жизнь? Без трещины? Как ты отнесся к Крыму? Напиши подробно, но не мне (не доходит), а Лиде, например. Или мне на адрес «Всемирной литературы», который теперь пишется так:

Ленинградское отделение Госиздата, Моховая, 36.

Милый Коля. Я в пустой квартире, мама на даче, в Сестрорецке. Здесь идет дождик, крыши блестят, птицы поют в садике, пять часов утра. В общем, очень хорошо, и никто вокруг не виноват, что у меня болит сердце. А сердце болит. Оно потребует самого серьезного лечения, а для лечения нужны будут деньги. В Сестрорецке — на жизнь семьи уходит столько, что

одному человеку хватило бы каждый месяц ездить в Америку! Я лежу и читаю Фрейда[62]. Читал ли ты этого господина? Забавно. Везу к Лиде — пусть тоже прочтет. Здесь паника от безденежья — бедный Выгодский[63]шатается от голода, Анна Ив. Ходасевич[64] обедает единожды в неделю, Пяст[65] опять уныл и дряхл (от неядения), о Верховском[66] страшно и подумать. Этот год для многих хуже 1920-го. Чем живет Татьяна Богданович[67], не ведаю. Шкапская[68] тоже без работы, без заработка. В Москве я видел людей, которые на 4 червонца содержат 6 человек. И все эти люди с утра до ночи ходят — без надежды — по редакциям, согласны на все, готовы на все — и вечером возвращаются домой, не обедавши. Вчера в Госиздате видел Колю Никитина[69], даже он приуныл: где бы перехватить 5 рублей. Хотел продать Белицкому[70] «Дэзи» из «Рвотного форта» в качестве детского рассказа, не удалось, и он решил кинуться к Клячко. Алексей Толстой был у меня — в совершенной тоске. У него впереди процесс — из-за «Бунта машин»[71]. Я вполне утешил его, сказавши ему, что Шекспир тоже списал «Укрощение строптивой». Он судорожно ухватился за сие обстоятельство. В Питере Шкловский. Дал «Современнику» статью об Андрее Белом[72]; доказывает, что в Белом важна не антропософия, а «установка на стиль». Хотя эта демонстрация формализма уже утратила свою новизну (ей уже лет 15), он так суетится, словно вчера до этого додумался. А ведь лысый, желтый, толстый, обидчивый — и милый. Кланяйся Борису Николаевичу[73]. Я сказал Чехонину, что он в Коктебеле, и Чехонин намерен поехать к нему, т. к. он (Чехонин) пишет декорации к «Петербургу» Белого, который («Петербург») пойдет в виде пьесы в 1-й Студии. Скоро ли ты пришлешь конец Гэрдльстонов[74]? Начал ли ты Spanish Gold? Я устроил Симе[75] большой заказ в «Красной Ниве» — он уже получил 7 червонцев. Торжествует. Знаешь ли ты, что у Бобы переэкзаменовка по-французски и по географии? Бедный мальчик, везу ему «Путешествие Миклухи Маклая»[76]. У Лиды тоска: куда себя деть? Мне нужно мудро, незаметно для нее втянуть ее в интересную литературную работу, так, чтобы к осени она была по уши в каком-нибудь деле. Ну, обнимаю тебя и Марину. Самый сердечный привет Максимилиану Александровичу и Марии Степановне. Спасибо Марии Степановне[77] за милое, милое письмо. Книги[78] им я послал давно — и накладную отдельным письмом. Неужели не получили? Пиши. Как жаль, что твой отдых омрачается пустяками: безденежьем и отсутствием паспорта.

Твой ОТЕЦ.

Июнь 23

1924.

Пишешь ли стихи?

9. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

Начало июля 1924 г.[79] *Коктебель.*

Милый папа!

Вот конец «Гэрдлстонов». Правь их скорее и сдавай поскорей в Госиздат. Сейчас отходит почта, времени нет, и потому буду краток.

Здесь чудесно. Занимаюсь философией. Белый изумительный, умнейший человек. Фрейда я прочел. Детская книжка моя подвигается неприлично медленно. Но надеюсь в конце концов (к сентябрю, пожалуй) что-нибудь сделать[80].

Но, увы.

Все деньги истрачены, хотя мы тратили минимально. Когда пришли деньги, их пришлось отдать в уплату долга. Больше жить здесь не на что. Вышли госиздатские семь червонцев немедленно телеграфом, но не на Феодосию, а прямо на Коктебель. И через неделю мы дома.

Коля.

Целую всех.

10. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

11 июля 1924 г. Коктебель[81]

Вышли семьдесят, едем домой.

Коля.

11. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

24 мая 1925 г. [82] *Ленинград*

Милый Коля.

Острецову[83] я расписал роман Конан Дойла самыми яркими красками. Сапиру[84] тоже. Острецов согласен экстренно прочитать этот роман. Сапир говорит, — понимаешь ли, — что, понимаешь ли — *«Кубуч» будет рад издать этот роман* и, понимаешь ли, заплатить за него деньги. Понимаешь? От Острецова — понимаешь ли? — я пошел к Горлину[85] взять у него — понимаешь ли? — рукопись «Гэрдлстона», но Горлин, понимаешь ли? — говорит, что у тебя — понимаешь ли? —

есть, — понимаешь ли? — дубликат «Гэрдлстонов», — уже проправленный мною [1]. Если этот дубликат существует в Детском, дай его Бобе, а если он на твоей квартире, укажи Бобе, где «Гэрдлстон» находится. Я боюсь, это самое, что исправленный «Гэрдлстон» имеется только у Горлина. В таком случае — это самое — тебе надо взять неисправленный экземпляр, пойти, это самое, к Горлину и, основываясь на его экземпляре, внести туда свои исправления.

Впрочем, надеюсь, что — это самое — у тебя тоже — это самое — есть экземпляр исправленного «Гэрдлстона» и — понимаешь ли? — Сапир на будущей неделе превратит его в деньги!!

Твой — понимаешь ли? — папа.

[Рукой Б. К. Чуковского]:

Коля! Был я у тебя — это самое — три раза и не застал тебя дома. Даже Марины понимаешь ли? не было.

Твой — понимаешь ли? — брат Боба.

[1] Свой экземпляр — понимаешь ли? — Горлин, — понимаешь ли? — не отдает: говорит, что права не имеет.

12. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

Июнь 1925 г.[86] *Детское Село*

Милый папа.

Мне очень жаль, что восьмая и девятая главы так плохи. Но, надеюсь, это исправимо. К счастью, мне кажется, вторая половина романа лучше первой[87]. Роман у меня идет к концу, но, все же к 1-му мне не кончить. Я вру Сапиру, что сдал уже тебе все, и только конец в переписке. Помоги мне устроить так, чтобы он дал мне все следуемые деньги не позже первого.

Метрику получу, наконец, в среду. Все, что проправишь, при первой же оказии отправляй в город — это страшно ускорит работу.

Марина хорошо. Денег у меня ни гроша. Жив только долгами.

Коля.

13. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Июнь 1925 г. Сестрорецк

Милый Коля.

Посылаем Тебе три червонца. Плодись и размножайся. Бог

дал Тебе необыкновенно чадолюбивую мать. Она очень по Тебе скучает. Каждый день рвется к Тебе. Ей кажется, что Ты голодаешь, что Ты исхудал, что у Тебя нет отдыха, что Ты переутомился и проч. Мне кажется, что Тебе для опровержения этих слухов следовало бы приехать к нам. Приезжай, искупаешься, переговорим о Твоем романе, и в целости вернем Тебя Марине (каковой Марине мы все посылаем целую кучу приветов). Надеемся, что она даст Тебе отпуск.

На Сапира нажму. О романе не беспокойся. Я не успел его по-настоящему исправить, но *он исправим.*

Твой К. Ч.

Июнь. 25.

14. К. И., М.К. и Л.К Чуковские — Н. К. Чуковскому

30 июля 1925 г.[88] *Сестрорецк*

Милая Марина. Какой у тебя ребенок, золотой или простой?

Мура.

Милая Марина Николаевна.

Это письмо Мура сама сочинила — и написала сама. Привет Наталье Николаевне.

Ваш К. Ч.

Коля! Я твой роман передал С. Дрейдену. Получил? Мне роман нравится. Интересно.

К. Ч.

Мура сейчас сказала: «И я уверена, что она ответит, что золотой. Непременно! Мы всегда с ней балуемся, и она говорит глупости…» *Л.Ч.*

30/VII.

15. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

13 августа 1925 г. Сестрорецк

Милый Коля!

Не нужно эпилога. К чему ставить точки над О? Поверь мне, что так будет лучше. Меня тревожит твое безквартирье. Не сделать ли так: я бы остался весь сентябрь в Курорте, а ты поселился бы с семьею у нас — места хватило бы. Это было [бы] и маме приятно: удовлетворило бы ее потребность быть с тобою и с внучкой. Не зови маму в Детское. Ей это невозможно: голова болит по неделям. Она чувствует себя как будто виноватой, а между тем ведь это никому не нужно: ни тебе, ни Тате, никому.

Мне кажется, что мы, родные, должны помогать друг другу, а не выполнять какие-то правила вежливости. Если бы мама понадобилась вам — она кинула бы все и пешком пошла бы в Детское, но отрывать ее от моря, от пляжа, от спокойно-налаженной жизни не надо!

Father.

Коля! Отец одной моей подруги рассказал мне, что ему известен один комиссионер по квартирам, который предлагает всяческие квартиры. Я просила его узнать адрес этого комиссионера, и, если он узнает, то я к нему пойду.

Вот все, что я могу пока тебе по квартирному вопросу сказать.

Привет Марине; поцелуй Татульку.

Я, может быть, приеду в Царское в конце той недели.

Лида.

13. VIII. 25 г.

16. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

2 сентября 1925 г. Ленинград

Милый папа.

Я был в «Сеятеле»[89]. Они в восторге, что ты предоставляешь им «Короли и Капусту»[90]. И согласны уплатить на будущей неделе 250 рублей за О. Генри и 40 за Уэллса. Я сказал, что это тебе мало и попросил у них разрешения узнать у тебя последнюю цену. Проси 300 за Капусту (по 30 за лист) и 45 за Уэллса. Он согласится, я уверен. Он в восторге от твоего перевода О. Генри и сейчас же велел приостановить одного из переводчиков, которому он две недели тому назад заказал этот же перевод[91]. Для того чтобы все деньги были бы уплачены на будущей неделе, *необходимо,* чтобы твой ответ был у него не позже понедельника, а лучше всего — в субботу. Если к понедельнику ты ничего не ответишь, я буду с ним торговаться за свой риск.

Посылаю тебе корректуру Уэллса[92].

На днях решится, закажет ли он мне переводить Марка Твэна[93].

Не продашь ли ты ему «Записок Жулика»[94]?

Не сердись, если я что-нибудь перепутал, ей Богу, старался бескорыстно и усердно.

Коля.

2 сент. 1925.

17. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

1926 г.[95] *Ленинград*

Коля! Не будь идиотом. Плюнь на Вольфсона[96]. Делай для Госиздата «Underground London»[97], и пусть Вольфсон подаст на тебя в суд. Если он посмеет это сделать (а он не посмеет!), — мы все вскроем такую панаму — его «Мысль», что он будет заклеймен навсегда. Проучи Вольфсона за его хамство. Я тысячи раз поступал так с издателями и всегда побеждал.

Ч.

18. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

1926–1927 г.[98] *Ленинград*

Чиколай Нуковский!

Под стеклом у меня на письменном столе ты найдешь:

1. Телеграмму от Древицкого[99].

2. Узенькую квитанцию, из коей явствует, что ты немедленно должен идти на телеграф к 56-му окну — и получить для нас обоих 4235 рублей[100]!!!

Чорней Куковский.

19. Н. К. Чуковский — М. Б. Чуковской

18 июня 1927 г. Саратов

Милая мама. Я не писал тебе до сих пор, потому что хотел написать, когда все окончательно о Лиде выясню[101]. Приехал я сюда третьего дня, остановился у Афруткиных[102] и много с Лидой говорил обо всем, познакомился с Юрой[103], повидался с Сашей[104] и с Изей[105].

Во-первых, Лида здесь очень потолстела и выглядит лучше, чем в Ленинграде. Но в голове у нее такой необыкновенный сумбур, что говорить с ней совершенно невозможно. Я говорил с ней двое суток и бросил, увидев, что это ни к чему, кроме ссоры, не приведет. Роковую и очень печальную роль здесь сыграл, конечно, *Юра*.

Юра мог бы быть гораздо хуже, чем он есть, и вообще он мальчик не плохой, если, конечно, его не видеть слишком часто. Он фанатик, много читающий и много говорящий и притом изучающий язык *эсперанто*. Судьбой своей очень гордится. Я сказал Лиде, что он настоящий и законченный *Смердяков*[106] (даже на гитаре играет), но она чуть не разревелась. Никакой романтической истории между ними нет. Все это — очередное сумасшествие.

Сегодня Лида переезжает от Афруткиных в коммуну[107]. Я сделал все возможное, чтобы этому помешать, но ничего не добился. Все мои доводы отскакивали от нее, как от стены. Афруткины смотрят на Лиду, как на доходную статью, но зато сытно и хорошо кормят, моют ей полы, стирают ей белье. Они сейчас отвоевали у соседей еще одну комнату, и туда переселилась Нюра, которая до сих пор спала с Лидой, так что Лида могла бы теперь жить в комнате одна.

Видел я и эту коммуну. Коммуна помещается на заднем дворе в маленькой комнате, по величине вроде той, в которой у нас живет Дора[108]. В комнате нет своей печки, она отопляется печкой, которая стоит за стеной в коридоре. Впрочем, Лида утверждает, что от этого будет еще теплее. В комнате стоят три кровати, но нет ни стола, ни стульев. Юра уверяет, что сделает всю мебель сам из фанеры.

Лида очень несчастна, считает свое положение безвыходным и непоправимым. *У нее нет ровно никаких политических убеждений*[109]. Иногда она повторяет кой-какие юрины смердяковские словечки, но довольно неуверенно. Иной раз кажется, что здесь все дело в упрямстве, но чем ей помочь — не представляю. Она глубоко несчастна. Папино письмо[110] произвело на нее тот эффект, *что она решила никогда ему больше не писать*. Но это так, истерика, на самом деле она очень мучается тем, что папа не одобряет ее поступков. По-моему, папа должен написать ей еще раз, мягче, но не менее решительно. К ней можно относиться только как к тяжело больной.

Я катал ее на лодке, угощал всякой всячиной, хочу свести в кинематограф, и это ее немного развлекает. Твой приезд был бы ей очень приятен. Она необыкновенно тоскует по дому (особенно по Мурке), но думает, что все родные — враги. Разубедить ее очень трудно, но думаю, если ты приедешь, ты сделаешь гораздо больше, чем я. Ей непременно надо мешать ухудшать ее положение, потому что к каждому ухудшению своей судьбы она относится с каким-то отчаянным злорадством.

Я великолепно проехался по Волге. Шесть суток был на воде. Отдохнул вполне и тороплюсь в Калугу, чтобы скорее засесть за повесть. Не понимаю, почему Марина мне так мало пишет. Беспокоюсь, получила ли она деньги. Я здесь истратил чертову уйму. Пароход — дорогое удовольствие. Чтобы сытно питаться, надо тратить пять рублей в день.

Саратов — очень хороший, чистенький городок, лучший на Волге. Жара, тополя, мухи. Очень много земляники. Все дешево, кроме квартир. Через месяц будут арбузы и дыни.

Лида поссорилась с Сашей преимущественно из-за того, что

он покушался на самоубийство. Покушался он из безраздельной любви к ней. Но теперь все прошло, и он, кажется, собирается жениться на какой-то Шуре. Юра его ненавидит, поэтому и Лида тоже.

Изя честно пытался выполнить все данные тебе обещания, но потерпел полный крах. Лида совершенно с ним не считается, так же, как и со мной.

Коля.

О Муре мне расскажет Марина в Калуге. Я уезжаю туда через несколько дней, и ты мне в Саратов не пиши. Пиши в Калугу.

18 июня 1927.

20. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

25 июня 1927 г. Ленинград[111]

Милый Коля! Спасибо за письмо. Оно объяснило нам очень многое. Это именно сумасшедшая, с которой крутыми мерами не сделаешь ничего. Но ты сам понимаешь, что лебезить перед нею мне никак не возможно. Лучше уж подвергнуться ее бойкоту, чем одобрять ее упрямые и тупые безумства. Может быть, мое письмо только пришпорило ее, но не могу же я улыбаться, когда она делает глупости. — Мура молодцом: у нее нормальная температура, она *сидит* в постели и читает «Детство Темы»[112]. Через три дня встанет. И тогда в Сестрорецк! — Приехал Ионов[113] — обамериканился, стал вежлив и тих. Спрашивал о тебе. — Денег в Госиздате не дали (Мессу дали, а мне обещали в ближайшую пятницу), но если тебе нужны, пришли открытку, я вышлю тебе свои, а потом с Госиздата сорву. — Начал ли ты повесть «Цветные моря»[114]? Я почему-то думаю, что она будет лучше всех твоих вещей, и что тебе будет *легко* ее писать. Наблюдай за Таточкой. Записывай ее слова. Опиши нам, как Вам живется. Как путешествовал ты по Оке? по Каме? по Волге? Воображаю, сколько у тебя впечатлений. Привет Марине.

Твои отец.

Советуешь ли ты мне хлопотать о Лиде?

21. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому.

28 июня 1927 г.[115] *Калуга*

Милый папа. Я многого не хотел писать тебе из Саратова. Ты спрашиваешь — хлопотать ли? Конечно, хлопотать, и чем скорее, тем лучше, хотя момент очень неподходящий. Переезд в коммуну

необыкновенно испортил мнение о ней начальства. Сам Юра передавал мне, что начальство говорило: так значит, Чуковская тоже с вами? Да и место для коммуны они выбрали неподходящее: в том же доме коммуна менш., напротив коммуна с.-р. Она все это понимает, но Юра ее тянет, и с ним не совладаешь. Лида очень его чтит, даже больше, чем раньше Катю[116]. Она открещивается от дальнейшей деятельности, Юра горит жаждой применить свои силы. Он непременно влипнет и потянет ее за собой. Воздействовать на нее невозможно, надо воздействовать на ее начальство.

Из Саратова я поездом махнул в Москву, надеясь повидаться с Добраницким и Шатуновским[117]. Но достать адрес Добраницкого частным лицам по понятным причинам невозможно. На розыски я истратил полдня — всюду меня гнали в шею. Шатуновского я застал вечером. У него сидело несколько друзей — все высокопоставленные лица. Он принял меня ласково, но холоднее, чем в прошлый раз. (Тут я вспомнил стихи его родственника, которые ты ругал). Он сам вызвал меня на разговор о ней. Я рассказал ему все, что можно было.

— Чего же вы хотите?

— Пусть ее сошлют к папе и маме.

— Это невозможно. Но можно перевести ее в другой город, где у нее нет друзей.

Я промолчал, потому что Саратов большой и прекрасный город. Притеснений там она никаких не терпит, отношение к ней превосходное.

Добиваться стоит только одного — чтобы ее отпустили в Ленинград на три месяца[118] (здоровье, зоб). Я говорил с ней, она на это согласна. Это оторвет ее от шайки. Чистота юриных намерений мне кажется сомнительной. К сожалению, я не проницательный человек.

Если ее не вытащить хоть на время, можно считать, что несчастья только начинаются. Она увязнет не по своей вине, но по своей глупости. После трех месяцев можно хлопотать об отсрочке.

Она необыкновенно тоскует по Ленинграду и культурным интересам. Судьбу свою считает безнадежной и именно поэтому не делает никаких попыток к ее улучшению. Часто плачет. Стихи она повторяет только те, что повторяла в прошлом году в Луге, — ни одного нового не выучила. Много говорит об Ап. Григорьеве[119], но как-то виновато — думаю, что ничего не делает. Случайно прочел одно ее стихотворение — очень слабое. Ведь ей некому читать, а женщины верят в самоценность отвлеченной искренности, и поэтому она не считает нужным работать над стихами.

Среди тамошних своих приятелей она пользуется необыкновенным уважением. В этом и заключается секрет, почему они безраздельно владеют ею. Если бы Изя не так ее уважал, он, может быть, чего-нибудь и достиг.

Характер у нее каменный. Мы на Волге, в лодке, ночью, в страшную грозу и бурю заблудились между островами. Я греб четыре часа без перерыва и содрал всю кожу с ладоней. Изя позорно перетрусил, Юра метался, мешал, волновался, качал лодку, вел себя гнусно. Но я любовался Лидиным мужеством и спокойствием.

Папа, если можешь, — хлопочи. Только не пиши ей об этом. Провожая меня на вокзал, она плакала. Очень тоскует по Мурке. (Которая, надеюсь, теперь уже здорова.)

Я живу в Калуге у необыкновенно скучных и глупых людей. Калуга после волжских городов — просто гнусная яма. Жду не дождусь, когда, наконец, переедем в деревню, хотя здесь у меня есть отдельный домик в прекрасном саду, где я пишу «Разноцветные моря». Повесть двигается быстро, и если выйдет так, как я хочу, я отрекусь от всех Куков и Зворык[120]. Но кажется, все в ней звучит фальшиво. Тогда я пропал.

Деньги у нас еще есть, но скоро кончатся. Если ты или Леня[121] получили что-нибудь — пришлите. Только ради Бога не шли своих — мы еще не совсем обеднели.

Ты пишешь, что Мурка выздоравливает. А делали ли ей операцию? Напиши подробно, а не открытку. Где будете жить в Сестрорецке? Есть уже дача?

Марина разочаровалась в Калуге и хочет назад в Питер. У Татки болит живот и, кроме того, она плохо переносит жару. Здесь необыкновенно жарко.

Лида очень хочет, чтобы мама приехала. Я говорил ей, что мама приедет осенью.

Прости за такое торопливое письмо. Я весь день писал и очень устал.

Коля.

Деньги можно передать Марье Николавне[122] — она скоро едет. (Басков пер. 18, кв. 4.)

Если она уже уехала — вышлите.

28 июня.

Кстати! Лида поседела. Довольно много седых волос. Годам к тридцати будет совсем седая.

22. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

13 июля 1927 г. Сестрорецк[123]

Дорогой Коля. Неужели тебе *не* нужны деньги? Почему ты не пришлешь свой новый адрес. В своем последнем письме ты уведомлял нас, что завтра ты уезжаешь из Калуги — а нового адреса до сих пор не прислал. Между тем, у меня лежат для тебя Госиздатские деньги, и я не знаю, по какому адресу их послать. Пришли мне письмишко с адресом, да заодно сообщи побольше о себе, о Марине, о Татке. Мы (за исключением Лиды и Бобы) в Сестрорецке (Лиственная ул., 6). Мура поправляется. Я хирею. Мама здорова. Лето здесь чудесное. Что твои «Разноцветные моря»?

Твои отец.

23. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

15 июля 1927 г. Хутор Никольский

15 июля 1927.

Милый папа. Непременно сообщи мне, когда ты собираешься быть в Москве. Я, проездом домой, тоже остановлюсь в Москве и хотел бы тебя там застать. Домой я вернуться хочу к 5–10 августа. Здесь очень хорошо, мы все трое растолстели, и уезжать не хочется.

«Разноцветные моря» я кончил и теперь правлю. Подсчитал листы и, о ужас! вместо договорных 4-х всего два. И расширить нет никакой возможности — пропадет вся слаженность сюжета, над которой я бился столько времени. Не рассказывай об этом в ГИЗ'е. Я затеял писать новый рассказ. «Раз<ноцветные> м<оря>» — сентиментальная сказка, несмотря на ленинградский быт.

Вышли мне, пожалуйста, денег. До сих пор не получил ни копейки. Деньги у меня здесь еще есть, но беспокоюсь, не пропали ли гизовские 75 р. на почте.

Пиши подробное письмо.

Калужск. губ., Медынский уезд, ст. Полотняный Завод, хутор Никольский.

Коля.

24. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

22 июля 1927 г. Сестрорецк[124]

Спасибо, милый Коля, за письмо. Видно, нечего делать, приходится мне ехать в Москву. Ты великолепно описал ее

характер — и, конечно, не мне такой характер ломать. Признаюсь, во мне даже ревность шевельнулась: променяла меня и тебя на Смердякова. Но Смердяков для него — это даже слишком лестно. У Достоевского даже Смердяков и тот — гений. С изюминкой. А судя по карточке, этот Ю. просто солдафон, без оттенков. (Напиши, пожалуйста, свой подробнейший адрес, и вообще пиши сверху в каждом письме свой адрес — снова и снова — всем — всегда, это сокращает для адресата работу разыскивания предыдущего письма). В Москве я нажму все пружины и уверен, что достигну своего: пойду к Бухарину[125], к Калинину[126] и проч. Как это ни дико, но мне жалко ее до боли. Сейчас она написала маме глупейшее письмо, что не желает получать наших денег, т. к. у нее теперь «коммуна». Как это черство по отношению к нам, грубо по отношению ко мне. Она «железная», именно в том отношении, что у нее нет никакой задушевности. Я написал как-то ей нежное письмо — очень от души, — она ответила: *«спасибо тебе за выраженные чувства»,* что-то в этом роде.

В Госиздате у тебя появился поклонник — Горохов[127]. Он прочитал «Русскую Америку»[128] и очень хвалит. В «Разноцветные моря» я крепко верю, только не поддавайся ритму, сидящему в нас с тобой. Ломай фразу, делай ее шершавее, мужественнее. Читал ли ты Гектора Мало «В семье»[129]? Вот повесть для девочек. Мура пришла ко мне и говорит: «„В семье“ — лучше Пушкина и чуточку-чуточку хуже „Тома Сойера“». Мне кажется, что в девочкиных повестях (girl's stories) должен быть непременно фамильный элемент, семейные отношения (сиротка, находящая мать), вообще нечто кроватное, спальное, «вечно женственное».

Вот Мура входит ко мне в комнату — выросла — длинноногая — с бантиками в двух косичках — и несет книгу «В семье»: все хлопочет, чтобы и я прочитал.

У нас безденежье: Мурина болезнь поглотила кучу денег, Рувим[130] надул, «Круг» не шлет[131], словом, все по-старому. Но мой Некрасов выходит[132], Панаева вышла[133], и теперь будет гораздо легче.

О твоих деньгах: всякий раз, когда я прихожу за ними, мне говорят: взял Месс. Сейчас я звонил к Мессу — у него твоих 55 рублей. Он сегодня же отнесет их Марии Николаевне, а если ее не застанет, даст нам и мы пошлем тебе. Мама собирается с Мурой в пансион, но безденежье сделалось помехой.

Ну, прощай. Привет Тате и Марине. Пиши.

Твой К. Ч.

25. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

26 июля 1927 г. Сестрорецк[134]

Милый Коля! Боба провалился на устной математике — еду в город хлопотать о нем. Конухес ничего не устроил для Лиды — еду в город хлопотать о ней. Рувим не дал за этот месяц ни гроша, еду в город бить ему морду. Там и выяснится, когда я буду в Москве. Почему ты так рано стремишься в Питер. Успеет еще тебе осточертеть. Посидел бы до октября или сентября. Но если нужно быть раньше, выезжай в Москву около 15 августа, я буду там, в гостинице «Ливерпуль». Впрочем, мы еще обо всем сговоримся. Привет святому семейству. Твоих денег у меня было всего 50 р. Справлюсь в Госиздате об остальных.

Твой отец.

Пиши мне в Ленинград.

26. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Начало августа 1927 г. [135] *Сестрорецк* Милый Коля! С твоими деньгами вышла чепуха: я потерял (то есть оставил в городе) твое первое письмо, где ты сообщал свой калужский адрес. Во втором письме твоем никакого адреса нет, а в третьем ты сообщаешь новый адрес, но просишь писать по старому, которого у меня нет. Сейчас я получил твой адрес от Бобы, из города — и шлю тебе деньги по телеграфу.

Странное вышло у меня положение:

1) я в Сестрорецке, 2) ты в Калуге, 3) Боба в Питере, 4) Лида в Саратове. Чувствую, что это только начало нашего семейного распада. Напишу тебе по всей четырем пунктам:

1. *Сестрорецк.* Погода сказочная. Ни одного плохого дня. Море милое, горячее, облака живописнейшие. Мы живем в трех минутах от моря. Каждый день ходим купаться — я, мама, Мура. Мура поправилась, но не совсем: температура прыгает, боли в животе, желудок не установился. Плохо то, что людей здесь очень много; я не могу спать; вся дача набита чужими людьми; хорошо то, что на взморье в курорте есть лодка, в которой я катаюсь каждый день. Море оказалось для меня дивным отдыхом — я не знаю высшей радости как заезжать далеко *нагишом*: выветривает все некрасовские корректуры, всего Клячку, всех Ангертов[136], остаются большие и спокойные мысли. Мама поправилась, варит варенье, много времени проводит на пляже, очень тоскует по Татке, по тебе, по Лиде, по Бобе, жалеет, что не может (за отсутствием адреса) ответить Марине. Я не пишу ничего — ибо только сегодня *окончательно* послал в типографию последние корректуры Некрасова.

Пункт второй. Твое житье в Калуге. От Бобы (который в своем письме к нам пересказал письмо Марины) мы знаем, что Татка здорова, что Марина весела и счастлива, что ты… впрочем, о тебе мы ничего не знаем. Неужели ты пишешь свою повесть — во время летних каникул? Счастливец! Наконец-то ты дорвался до возможности писать любимое, то, что на душе. Такая повесть страшно нужна. Все эти Бернет[137], Джемисон[138], Олкотт[139] ужасно устарели. Я сейчас перечел «Лорда Фаунтлероя», «Лэди Джэн», «В семье», «Без семьи»[140] — все это задушевно, но мизерно: бедные дети становятся в конце книги богатыми и дарят подарки тем беднякам, с которыми бедовали вместе. Доволен ли ты своей повестью? Хорошо ли она развернулась? В «развороте» все дело. Необходимо, чтобы злые были наказаны, чтобы в судьбе добрых, в конце концов, произошел благодетельный перелом и проч. и проч. Как был бы я рад послушать твои «Моря» — хотя бы в ванне, как я слушал здесь же, в Сестрорецке твою «Танталэну»[141].

Пункт 3-ий. Боба живет у Жени Штеймана[142]. Сдает экзамены. Через два дня мы узнаем, благополучно ли. Читает Тургенева, но застенчиво: прячет его в ящик, чтоб никто не видел, что вот он, Боб, а читает.

Пункт 4-й. Здесь Конухес, находящийся в отличных отношениях со всеми властями, взялся выхлопотать для Лиды возможность приехать на месяц. Если это случится, я поеду в Москву и выхлопочу полное спасение. Конухес ручается за успех. Он же утверждает, что сюда в Сестрорецк должен на днях прибыть Луначарский[143]. Если он не прибудет, я на будущей неделе еду в Москву. И оттуда хотел бы махнуть в Калугу, чтобы найти там *тихий* уголок, где бы можно было заниматься. Я занимаюсь лишь тогда, если ложусь спать рано. Мне страшно хочется писать *свое,* своего накопилось много, но в этой цыганско-опереточно-ресторанной обстановке ни строки не могу написать. И почему-то мне мечтается Калуга.

С Лидой я примирился. Мы обменялись очень задушевными письмами. Ее письмо все *полито слезами,* но я убежден, что добровольно она не уедет из своей трудовой коммуны. Ей там мил каждый гвоздик. А что мы можем дать ей взамен? Домашние ссоры? Нашу Чуковскую бестолочь? Уверен, что все это опротивеет ей до тошноты, и она затоскует по Саратову.

Вся надежда на Изю, который любит ее пламенно и умно. Татке, марине — горячий привет!

Сестрорецк. Лиственная, 6.

27. К. И. Чуковский — Н. К. и М. Н. Чуковским

4 июля 1928 г. [144] *Сиверская*

Идиоты!

Почему Вы молчите!

Татка здорова. Целый день на воздухе. О Вас и не вспоминает. У нас благодать. Все мы здоровы. Ждем Ваших писем. Коля обещал мне написать — о бабушке[145], о Марусе[146], о Коле, о Кате[147] — и ни звука.

Не обращая на Вас никакого внимания, целую вышеназванных.

К. Чуковский.

4 июля

Сиверская

д. Абрамова.

Купальная 10/12.

28. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

16 сентября 1928 г. Кисловодск[148]

Воскресение, 16.

Милый Коля! Степочка полез на потолок [149] — а я, старый дед — в двух шагах от Эльбруса. Ах, если бы ты видел, какие нежные и благородные очертания гор, как величавы кипарисы, как сине небо и как счастлив я. Я по горам еще не ходил (мне запрещено из-за сердца), но маме здесь было бы чудесно — мама побывала бы и на Медовом водопаде, и на Кольце горе, и в Храме Солнца, и здорово укрепила бы всю свою систему. Здесь я вижу чудеса, которые творит нарзан с пожилыми людьми. Здесь, между прочим, отец Коварского, магистр фармации — очень моложавый старик 54 лет[150], который прыгает по горам как козел, а приехал почти инвалидом. Здесь Леонид Гроссман[151], у которого аорта в полтора месяца сузилась до нормальных размеров. Мы с мамой непременно в будущем году — будем жить в Кисловодске, а ты с Мариной пойдешь по Грузинской дороге. Дико и вспомнить о Сиверской. Привет Марине и Тате. Напиши мне подробно о себе и своих.

Скажи маме, что сюда сию минуту приехал Тихонов[152].

29. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

18 июля 1929 г. Сестрорецк[153]

Милый Коля. Ты большой негодяй — можно ли так долго молчать! Я ждал от тебя письма со дня на день, и мне обидно

было узнавать, что ты пишешь всем, кроме меня. Открыткой ты от меня не отделаешься, изволь сейчас же написать подробное письмо 1) о своем путешествии, 2) о том, каков Новый Афон, 3) что тебе в нем да/не нравится. Мы живем тихо и вяло — событий, к счастью, никаких, Лида едет к Изе и Шевченко в Киев[154], я работаю в четыре руки, здесь тепло, купаемся, едим землянику, лежим нагишом на холодновато-тепленьком пляже, дрессируем Тотошку, гуляем с Зощенкой[155] в дубках, мама принимает ванны в курорте. Мура собирает чернику, от Бобы получаем великолепные красноармейские письма, Мура читает Пушкина, спрашивает, что такое «любовница» и отчего рождаются дети, получили письмо от Бенедикта Лившица[156], что у него украли штаны, у нас в гостях был Стенич[157] и говорил, что Ю. Олеша[158] его обокрал, что Зощенко покончит с собой, что Горький хороший плохой писатель, а Георгий Блок[159] плохой хороший.

Сердечный привет Марине, воображаю, какая она стала черная. Мама кланяется — и Мура.

Твой отец К. Ч.

30. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

19 июля 1929 г. Новый Афон

Милый папа.

Сейчас получил письмо от Бобы. Он жалуется, что очень устал на военной службе. И отчего-то боится, что ты не отпустишь его на юг.

А ему страшно хочется поехать. Отпусти его, пожалуйста, а то на будущий год у него летом практика, и он опять никуда не поедет. Ведь девятнадцатилетнему парню не может быть очень весело сидеть в Сестрорецке. Ему хочется повидать свет.

Мы процветаем, но сидим без денег. Деньги наши у Марьи Николавны. Она должна была выслать их почтой, но отчего-то не шлет. Если не подохнем — вернемся в начале августа. Почему ни ты, ни мама, ни Лида мне не ответили?

Коля.

Н. Аф. 19 июля 1929.

31. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

26 октября 1929 г. Кисловодск[160]

Милый Коля. Поздравляю Марину с ее XXV летием. Конечно это возраст дряхлый, но есть люди еще более «скорбные днями». В твоем романе *я уверен.* И название чудесное: «Недоноски» [161]. Очень мне интересно, как у тебя пошло дальше. Поправил ли ты начало? Или Козаков[162] читал первую редакцию? Если тебе дадут за 8 листов 1600 р. — это вряд ли окупит твой колоссальный труд. Но вся надежда на 2-ое изд. — Маме очень понравился Лидин «Тарас»[163]. Я не могу достать его в здешних киосках. Каково твое мнение об этом отрывке? — Ни «Союз», ни «замятиноедство» [164]меня не интересуют не мало. Я даже сам удивляюсь. Хочется работать, а не махать руками. — Пусть мама не волнуется «Радугой» [165]. И вообще ничем не надо волноваться. Все будет очень хорошо. Если посмотреть объективно, вы счастливее многих: у Бобы, Лиды и тебя есть любимое дело, у тебя — чудесная жена, которую, пожалуйста, поцелуй от меня. Маме скажи, что я совсем поправился, осталась только слабость. Пишу на балконе. Жарко. Вчера была жара тропическая: я скрывался от нее в комнате, закрывая ставни. Я забыл твой адрес.

Твой ПИП.

32. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

23 сентября 1930 г.[166] *Алупка*

Дорогой Коля. Муре лучше. Температура не выше 37 и 4, а по утрам 36.6, 36.9. Вторая нога перестала болеть. Нас теперь тревожат ее почки, так как в ее моче найдены лейкоциты (т. е. гной) и палочки Коха (т. е. туберкулы). Нет сомнения, что туберкулез у нее блуждающий, рассеянный: поразил ногу, поразил глаз, поразил почки, но также нет сомнения, что в тех условиях, в которых она сейчас, она имеет максимальные шансы на выздоровление[167]. Жизнь она теперь проводит в двух местах: либо на горе, над самым морем, либо в бараке, огромные окна которого распахнуты настежь; кормят ее отлично (главным образом молочными продуктами, из-за почек); общество детей больных той же болезнью, что и она — вполне удовлетворяет ее.

Место, где расположена санатория, самое теплое в Крыму. Здесь всего 12 морозных дней в году и средняя годовая температура 14 градусов. В Сухуме средняя годовая тоже 14, в Батуме 15, в Ницце 16.

Отрыв от мамы произошел, конечно, болезненно, но главным образом — для мамы. Когда Муру перевели из изолятора в общий барак, маме заявили, что она может посещать Муру *три раза в месяц.* Тогда мама, конечно, сказала, что она немедленно берет Муру к себе в гостиницу, что она везет ее в Евпаторию, всю ночь мама стонала, кричала, рыдала, но теперь успокоилась, потому что 1) увидела, что Муре очень хорошо в кругу детей, 2) Изергин[168] в виде особой милости разрешил маме посещать Мурку раз в пятидневку.

Я хожу туда каждый день, и мне это очень трудно, т. к. я должен для этого разыгрывать роль корреспондента и, чтобы повидать Муру, видеть сотни малоинтересных детей. Изергин великолепный врач, отдавший не только все свои силы этой санатории, но и все свои деньги. В голодные годы он кормил больных детей на свой счет. Лучшего места для Муры и желать невозможно.

Были мы в Ялте, видели Симу. Он пользуется огромной популярностью среди тамошнего населения, состоящего наполовину из актеров. Кроме актеров там Вишневский[169] и Либединский[170], которые тоже относятся к Симе почтительно. Он как всегда блестящ и остроумен. К нему такой пиетет, что люди не смеются даже, когда он купается в море.

В Симеизе есть пионерский лагерь. Вечерами пионеры разводят костры. Пригласили меня, встретили громовым ура; я прочитал им своих «Мойдодыров», а потом оказалось, что они

чтут меня главным образом за написанные мною книги «Танталэна», «Один среди людоедов», «Навстречу гибели» и «Капитан Кук»[171], которые пользуются у них неотразимой популярностью, равно как и в среде 13-летних пациентов Изергина.

О Таточке я думаю часто: здесь много деток в ее возрасте. Но если бы Марина видела, какие у всех у них тонкие ноги, какие голодные глаза! Дети, не видевшие ни молока, ни яиц, взращенные на кизиле и «кабачках». Надеюсь, что Таточка здорова, и что ее окорока не похудели! Муре написали бы Вы по письмишку: «Крым. Алупка Сара, корпус Десятилетие Октября». Пусть бы и Таточка приписала три слова. Ведь она теперь пишет, небось, не хуже Гуфизы[172].

О твоих делах я тщетно жду известий. Какова судьба твоей повести? Что говорит Стенич об ее конце? Как твои денежные обстоятельства? Бываешь ли у супругов Вольпе[173]. От Бобы ни слуху, ни духу. Не умерла ли моя мама? Просто не знаю, что думать.

Привет Стеничу, Лиде, Марии Николаевне; Цезарю Самойловичу. Я вчера был на вилле «Мария», где жила Лидия Корнеевна в прошлом году. Там теперь живет Копылов[174], который третьего дня был в гостях у Муры — к ее величайшему счастью.

Весь твой

К. Ч.

Погода здесь эзумительная. Я босиком; даже ночью жарко. В море купаюсь каждый день.

33. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

2 ноября 1930 г.[175] *Севастополь*

Милый Коля. Я писал Лаганскому[176], но очевидно, письмо мое к нему не дошло. Я разыскал здесь чудесный дом, близ моря, весь в зелени, который по случаю можно купить за пустяшные деньги — для писателей, особенно для легочных. Требуется 6–8 тысяч, и у писателей будет великолепная база в Крыму. Ведь здесь и вправду роскошно. Вот сейчас ноябрь, а я в туфлях на босу ногу, в рубашке, ходил к ручью умываться. Воздух сухой удивительно: за все время, что мы здесь, выпало только два дождя. Даже ночи не холодные. Как отлично было бы, если бы, напр., Высоковский[177], Катя Боронина и др. молодые литераторы «с легкими» могли бы приезжать сюда на весну или осень. Нельзя ли откомандировать сюда кого-нибудь из

представителей *Фоспа*[178] для совершения купчей, потому что через месяц будет поздно. Дом уйдет в другие руки.

Мура весела. Вчера вечером у нее было 36.9. Вошла в санаторную жизнь с головой. Сегодня мама понесет к ней Маринино письмо (чудесное!) — и я заранее предвкушаю, как она будет смеяться. Только ей нужно побольше про Татку. Татка ее интересует так же интенсивно, как Алик. — Твое освобождение от рекрутчины мы с мамой здесь отпраздновали так: мама не пошла в сберкассу стоять в очереди — а вместо этого погуляла по парку и сошла к берегу моря — посидеть на скамейке. Ты, действительно, счастливый человек и тебе необыкновенно везет. А ты лысеешь, хнычешь и тиранишь Марину, которая вносит к тебе в дом столько винограду и денег. Здесь винограду нет, и Мура видит его очень редко. В санатории виноград заменяют морковкой.

Воронскому[179] я написал, спасибо за извещение. Я надеюсь, что паника с Муриным глазом — вздор, и не падаю духом. Поцелуй от меня ТАТКУ и Марину и кланяйся Стеничу и Е. М. ТАГЕР[180]. Не хочешь ли ты переделать вместе со мной «Бородулю» для «Молодой гвардии»[181]? На Стенича я не очень сержусь за то, что он не ответил на мое письмо.

К. Ч.

34. К. И. Чуковский — Н. К. и Н. Н. Чуковским

8 ноября 1930 г. Алупка[182]

Дедка любит Татку,
Как Татка — шоколадку.
А Татка любит дедку
Как мятную конфетку.

Таточка дорогая! Кланяется тебе Мурочка из далекого Крыма. Приезжай к ней в гости. Бабинька и Мурочка будут очень рады.

Твой дединька.

Коля! Я на несколько дней застряну в Москве. Буду в Черкасском переулке у Нерадова[183]. Выезжаю из Алупки через 3–4 дня. Здесь на октябрьские торжества было очень жарко, как в июне. Многие купались. Я сидел на берегу нагишом.

35. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

19 апреля 1931 г. Ленинград

Милый папа.

Через несколько дней добуду, наконец, твой профсоюзный билет. Чтоб его добыть, нужно дать объявление в газете о краже. Все это будет сделано.

Посылаю тебе письмо из «Мол. Гв.» Пришло оно, конечно, опять на мой адрес.

С путешествием моим все еще неопределенно. Но 22-го дадут ответ самые высшие и окончательные органы, и тогда все будет известно наверняка.

Ведь украли только бумажник? Деньги, которые были в чемодане, целы?

Напиши, как ты нашел Мурочку.

У меня неприятности — из-за отсутствия бумаги роман мой не пойдет в производство до следующего квартала. Если бы здесь был Чагин[184], я бы его убедил, но Чагин в отпуску. Поцелуй Мурку. Попроси маму мне написать.

Коля.

19 апр. 1931.

Надеждинская, 9 кв. 31.

36. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

21 апреля 1931 г. Алупка

21 /IV-31.

Милый Коля!

Не знаю, как сейчас в Нью-Йорке, а в Алупке дивно хорошо. На третий день после моего приезда погода круто изменилась: на небе ни облачка, море стало теплое и доброе. Сколько цветов, какая прелестная зелень! Должно быть, в связи с погодой, Мурочке стало лучше; боль в колене прошла, гной перестал скопляться, температура упала. Я, конечно, не обольщаюсь большими надеждами, но радуюсь и временному облегчению. Я бываю у нее каждый день. Все мои знакомые дети, лежащие там, сильно поправились за зиму: значит, место и вправду чудодейственное. Все пополнели, закалились, прибавили в весе. Я насчет Мурочки утешаю себя мечтой, что доктор, открывший у нее поражение колена, быть может, ошибся. Ведь ошибся же он по поводу туберкулеза ее почек! Он говорит, что установил «гонит» при помощи рентгена. Но рентген у них мутный, допотопный; я привез из Питера свежий. Посмотрим.

Мама тоже, как будто, ожила. Она вообще прожила героиней: без друга, без радостей, с такой отчаянной болью в душе. Она

целыми днями ничего не ела, не спала; теперь, готовя для меня, она поневоле и сама отхлебнет немного супу или чаю. Напиши ей о себе большое письмо, о Марине, о Татке. Она принимает очень близко к сердцу горе Марины и катастрофу с Фефой[185], и коклюш Таты, и твою поездку в САСШ. — Если не поедешь туда, приезжай непременно в Алупку, но захвати с собой возможно больше пищи. Здесь — может быть временно — страшная заминка с провиантом. Мы покуда ни в чем не нуждаемся, но маме приходится целый день стоять у плиты. Если приедешь ты, мы возьмем кухарку, и вообще приезжай — мы покатаемся в лодке, полезем на Ай Петри, порадуем Мурочку, побываем в Ялте. И вообрази только, как приятен будет маме твой приезд. От Лиды мы получили большое письмо с описанием жизни в Гандже[186]. Она описывает родителей Ц<езаря> и вообще весь его дом — описание, достойное Диккенса. Я не цитирую его, п. ч. знаю, что для Вас оно будет предметом ехидных хихиканий. От Бобы вчера получил письмо: он четко и умно выполнил все мои комиссии[187] — и я нежно благодарен ему. Если ты уедешь в Нью-Йорк, пиши с дороги почаще. Поклонись Тагер; она, бедная, должна была из-за меня потерять столько времени. Узнай и напиши мне, пожалуйста, адрес С. Я. Маршака — домашний. Целую Марину — в пробор. Что с Фефочкой? Как Татин кашель? Представь себе, воры вытащили у меня вместе с бумажником и Татино письмо к бабиньке!!!

Твой Пип.

[Рукой М. Б. Чуковской]:

Дорогой Коля, не приехать ли тебе с Мариной и Таточкой? У Таточки здесь мигом пройдет коклюш. Помещение найдется, а питание мы с Мариной обдумаем. В Ялте все есть. Мурочка очень будет рада Марине.

Мама.

37. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Около 25 апреля 1931 г.[188] *Алупка*

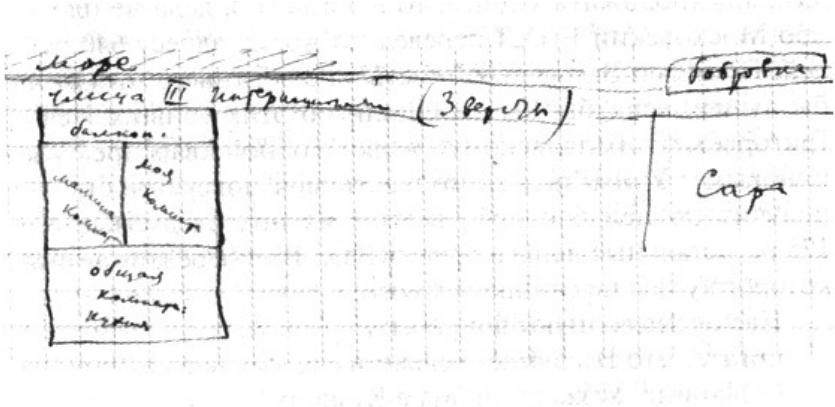
Милый Коля. Из этого письма ты поймешь, в чем дело. Я пишу Копылову на твой адрес, т. к. не знаю его адреса (забыл!) Его местожительство хорошо известно в Дюнгизе[189] — Леониду Савельевичу Савельеву[190]. Спроси, пожалуйста, у него и немедленно доставь это письмо Копылову.

38. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Около 28 апреля 1931 г.[191] *Алупка*

Милый Коля.

Мы с мамой живем здесь хорошо. Погода упоительная. Если Америка у тебя сорвалась, приезжай сюда возможно скорее. Вот план нашей квартиры — она на втором этаже.



Как видишь, для тебя есть комната. Устроимся втроем отлично. С наступлением хороших дней — Муре стало значительно лучше. Ее ножки под солнцем крепнут. Она повеселела. Температура спала. Я вижу ее каждый день. Мое присутствие подняло ее дух. Ей только очень хочется книг — Райдера Хаггарда[192] и других таких же. Нет ли у тебя под рукой? Едим мы с мамой сытнее, чем весь Крым — едим очень много, потому что мама сама готовит. Для себя одной она не хотела готовить, но для меня она взялась за стряпню — и вместе со мной ест и сама. Вообще она стала бодрее: лучше спит по ночам (в конце зимы она вообще разучилась спать), не надрывает свое сердце безысходным отчаянием, как это часто бывало в последнее время.

Вообще зима здесь была трудная и для мамы, и для Муры — следовало Муру взять отсюда в декабре — ну хотя бы в комнату, к себе, и кормить ее домашней едой — но весенний воздух здесь чудотворен, и это я уже чувствую на Муре.

Боба — хозяйственный гений, и не мне учить его, как распоряжаться деньгами. Пайкину и Зильбершеру я послал нахлобучку[193]. Они не имели права брать от меня поручение перевести мои *собственные, кровные 750 р.* в сберкассу и не выполнить этого поручения, так как на основании их обещания я дал сберкассе целый ряд распоряжений. Но если даже предположить худшее, то и тогда мои дела не плохи, ибо Московский ГИХЛ перевел по моему адресу 640 рублей. Посылаю Вам доверенность на эти деньги, хотя было бы лучше, если бы Вы сообщили об этих деньгах Исаку Григорьевичу Ямпольскому[194]

(живет в одной квартире с Тыняновым). У Ям<польского> есть моя доверенность, он получит по ней 640 руб., вычтет из них следуемые ему 175 р., остальные деньги вручит Вам. Вы сбережете время, которого у Вас не слишком много.

Нас очень волнуют вопросы:

О Тате. Что Вы думаете сделать с ее коклюшем?

О Марине. Уезжает ли она в Кузнецк?

О тебе. Получил ли ты разрешение от Григория Ивановича ехать в Америку[195]?

Немедленно пиши обо всем.

Твои К. Чуковский.

39. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

15 мая 1931 г. Алупка [196]

Коля милый! Я очень рад, что ты едешь сюда. Только не открепляй своей продуктовой книжки: здесь новоприезжих не прикрепляют к коопам. Поэтому будет лучше, если будут получать хлеб для тебя в Питере — и высылать его сюда посылкой. Захвати с собою побольше хлеба — и приезжай. Голода не бойся: у нас все есть, и чудесная простокваша, и яйца — решительно все.

Мурка будет рада тебя видеть. Сейчас мы пережили страшные дни: показалось, что у нее туберкулез почек, и что она при смерти. Изергин так и сказал нам — что надежды у него мало. Анализ ее мочи в Ялте обнаружил страшные вещи. Но вот с тех пор прошло 5 дней — и диагноз, *как будто, не подтверждается.* Она повеселела, явился аппетит, и кто знает? — может быть, она и выживет.

Привези ей что-нибудь географическое. Ну, хоть карту, хоть книжку, это ее развлечет.

В Бобровке в старшей группе ты самый знаменитый писатель. «Один среди людоедов» и «Навстречу гибели» зачитаны всеми до дыр. Я ничего не знаю о Марине: уехала ли она, осталась ли? Думаю, что осталась из-за внезапного краха твоих денежных дел. Этот крах, должно быть, ударил тебя в самое темя. Воображаю, как ты изнемог и озлобился. Приезжай сюда, здесь отдохнешь. Все купаются в море, цветет *глициния* (это изумительное зрелище), я черен, как негр, побродим с тобой по Симеизам, Кореизам, Мисхорам — и мама отвлечется немного от горя. И позволь тебе сказать, мой милый, в утешение, что «крах» с твоим романом[197] — это вздор, несуществующая царапина, на которую и обращать внимания не следует — это я понял теперь, пережив

ужасы Муркиной гибели. Когда в прошлом году погибал ее глаз, когда в нынешнем году мы с мамой слушали в Ялте приговор врача, сделавшего анализ ее крови, когда мы узнали, что у нее вдобавок к глазу и *двум* голеностопным суставам поражено колено (т. е. что она лишилась обеих ног) — мы поняли, что все другие горя — не горя.

Плюнь на все злоключения, возьми денег (хотя бы у меня) — садись на питерский поезд и к Черному морю.

Из денег, которые получились в Ленкублите:

1) 60 рублей — бабушке,

2) 50 рублей — Валентине Александровне Коц[198] (ее телефон знает Лида),

3) 100 рублей Лиде на хозяйство (наша доля),

4) остальное — в сберкассу — и, сколько нужно, возьми себе.

Привет обожаемой Тагер. Я бы написал ей, но не хочется заражать ее своими печалями. Закрепила ли она за собою (в «Academia») книгу Каролины Павловой[199]? Привези рукопись своего романа. Алупка — такое забавное место, тебе пригодится для беллетристики. Съездим к Сергееву-Ценскому[200], к Максу[201].

Попроси Валентину Коц достать мне (хотя бы в библиотеке ГИЗа) *2-й том* «Очерков русской критики» под ред. А. В. Луначарского и Вал. Полянского[202], том, где статья В. И. Невского[203] «60 годы». А также 8-й том «Красного Архива». Но можешь и не просить, если трудно. Обнимаю Валентина Осиповича[204], Таточку и Марину.

К. Ч.

40. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

10 августа 1931 г. Алупка[205]

Коля! вот письмо, которое только что пришло к тебе из Москвы. Пользуюсь этой оказией — и передаю Генриетте Соломоновне [206] сто миллионов поклонов!

Мурочке эти дни лучше, температура нормальная, аппетит улучшился. Жизнь наша стала легче: хозяйка наша ходит для нас за обедами. Погода прелестна по-прежнему. Так как Мура находится весь день на балконе, у мамы гораздо меньше хлопот — и настроение ее очень улучшилось.

Видел ли ты Леночку Вегер? Как доехала Татка до Москвы?

К. Ч.

41. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

15 августа 1931 г. Москва

Милый папа.

Прежде всего, о твоих делах.

1) Слепцова [207] я сдал секретарше Ежова[208] и довел об этом до сведения Чагина. Ежов в отпуску, все дела «Академии» в руках у Чагина. Рукопись подсчитывается, и Чагин уже дал письменное распоряжение выслать тебе гонорар.

Чагин согласен платить тебе с листа за Слепцова не 150, а 175 рубл. С деньгами необыкновенно трудно — ГИХЛ, в связи с хозрасчетом, никому ничего не платит. Но тебе обещают заплатить на днях.

2) Чагин дал письменное распоряжение выплатить тебе 25 % по договору на Воронова[209].

3) Чагин не отрицает получения твоих писем, но решительно не помнит, что ты в них писал. Идея об издании *твоей* книги «Шестидесятники» для него совсем новая. Однако, он согласен заключить с тобой договор на эту книгу[210].

4) Уолт Уитмен в производстве[211]. Казин[212] утверждает, что статья твоя идет без всяких изменений, как ты ее сдал.

5) В городе ходят слухи, что детские книжки твои запрещены окончательно, все, включая «Мойдодыр» и «Федорино горе». Говорят, что все остатки прежних изданий по складам, магазинам и библиотекам списаны в макулатуру[213]. Многие выражают мне соболезнование. Однако, я не вполне убежден, что все это так, а проверить не удалось. Вершители детских судеб уклоняются от разговоров со мной на эту тему.

Теперь мои дела:

1) Сдал «Собственников» в «Новый мир»[214]. Полонский[215]в отпуску, его заменяет Н. П. Смирнов[216], человек, по словам Воронского и Катаева[217], безответственный. Завтра, 16-го, он даст мне ответ, который не будет окончательным ответом, так как самостоятельно он ничего решить не вправе. В сущности, на удачу я не надеюсь.

2) Я сказал Чагину, что роман мой в Ленинградском ГИХЛ'е до сих пор не сдан в набор. «Мудрят они с вашим романом, — сказал Чагин. — Чумандрин[218] не хочет, чтобы он был напечатан, и оттягивает дело. Я знаю это от Старчакова[219]». «Что же мне делать, Петр Иваныч?» «Ничего вы сделать не можете».

3) Был у Лядовой[220] и предложил ей переиздать моего Крузенштерна[221]. Категорический отказ: «Мы теперь издаем и переиздаем только те книги, которые имеют непосредственное и прямое отношение к какой-нибудь сегодняшней политической кампании».

4) Предложил Лядовой план объединения всех моих книжек о

путешествиях. Отказ. Но добился от нее того, что если мне удастся добиться согласия в Ленинграде, Москва не будет протестовать. Во время разговора входят ленинградцы: Гисин[222] и Кетлинская[223]. Я обращаюсь со своим планом к Гисину. Он соглашается, при условии коренной идеологической переработки. Обещает заключить в Ленинграде договор. Опасаюсь, что при заключении договора будут у нас расхождения в листаже: я хочу 25 печ. листов, а они столько не дадут.

Результат: Не добыл в Москве ни копейки.

Общие впечатления: Литературная жизнь необыкновенно ухудшилась сравнительно с весной, хотя это трудно себе даже вообразить.

От Кетлинской узнал, что я уже дядя[224].

Завтра, 16-го, уезжаю.

Пожалуйста, пиши мне о Мурке.

Спасибо за письмо.

Привет маме.

Москва. 15 авг. 1931

Коля.

42. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

16 августа 1931 г. Москва [225]

Милый папа.

Сегодня, 16-го, перед отъездом в последний раз был в «Академии». Дело с твоими деньгами внезапно обернулось к худшему. Мне заявили, будто выяснилось, что денег у них нет ни копейки, что они никому не платят и платить будут не раньше 1-го сент. Я бегал к Чагину, бегал к Тихонову, но ничего не добился. Напиши им письмо, пусть хоть помнят, а то сегодня я уезжаю.

Смирнов, читавший в «Новом Мире» мой роман, его весьма одобрил. Теперь роман пойдет на чтение к Соловьеву[226].

Коля.

Если нужно куда-нибудь пойти, я могу пойти.

43. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

20 августа 1931 г. Алупка[227]

Спасибо, милый Коля, за письмо.

Что сказал Смирнов о твоей «Собственности»? Он хоть и безответственный, но как будто понимающий человек. Неужели

Чумандрин продолжает оттягивать сдачу романа в набор? Разве он способен к каким-нибудь интригам и подвохам? Он человек прямой — и гадит в лоб. Известие о моих книгах меня взволновало, но теперь все это для меня — как луна. Далеко и в тучах. Что же касается Муры, она после Вашего отъезда чувствует себя хорошо, температура невысокая, аппетит неплохой: ест много слив, дынь, помидор — и все же не поправляется. Очевидно, почки съедают все. Живется нам уютнее. «Желстрана» похерена[228], Мура на балконе и потому с нею меньше возни. Привет Марине! Дружеский поклон Валентину Осиповичу[229]. Где Тагер? Каково было тебе у Шатуновской? Ты так и [не] ответил, как доехала Татка.

Пип.

44. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

24 августа 1931 г. Ленинград Милый папа.

Надеюсь, ты получил два моих письма с описанием моих московских похождений. Теперь вот мои похождения ленинградские:

16-го, получив в «Новом Мире» некоторое неясное обещание, что роман мой там пойдет, я покатил домой. Прихожу утром к себе на квартиру — двери заперты, ни Марины, ни Таты. Я к Лиде, и узнаю, что Марину в карете скорой помощи увезли в Мечниковскую больницу. Оказалось, она расчесала москитный укус под коленом, началось воспаление колена — «гнойный бурсит» — температура поднялась до сорока, потребовалась срочная операция. Оперировал ее Бок[230], под наркозом, гною вышло чуть ли не ведро. К сожалению, операция оказалась не совсем удачной — под коленом образовалась сумка с гноем. Сегодня решится, будет ли Бок ее вскрывать или она сама рассосется. Во всяком случае, Марине лежать еще в больнице недели полторы по крайней мере. Татулька у Марьи Николавны и Ирины где-то на даче по Ириновской ж. д. Я ее еще не видал — на меня навалилась туча дел и не было времени съездить.

18-го я был в ГИХЛе у Старчакова и спросил его, как с моим романом. Он ответил: «Одно из трех: либо мы вернем его вам, выплатив 100 % по договору, либо напечатаем его с предисловием, либо напечатаем его, так как есть. Мы еще не знаем». Каково! Я спросил: «Когда же будет окончательный ответ?» — «23-го. Сейчас его читает ответственный товарищ». Я прихожу 23-го. Ответа еще нет. Теперь обещают сказать 26-го. А денег у меня ни копейки. Пробую сварганить кой-какие гешефты

с детским отделом, но пока безрезультатно.

У Лиды здоровая молчаливая черноволосая девочка с носом, как Ливанский хребет. Лида очень поздоровела, оживлена, кормит, девочка нравится ей до странности. Цезарь отрастил себе брюхо, как чемодан, и ходит, словно беременный. Вообще, в квартире не осталось даже духа Чуковского. По комнатам рыщет юркая зубная врачиха[231] и острит. Впрочем, завтра она уезжает.

От Бобы пришло письмо. В первых числах сентября он вернется, но ненадолго. Их повезут смотреть Днепрострой. Из Днепростроя он собирается съездить на несколько дней к вам.

Как Мурочка? Не болит ли у нее спинка? Напишите о вашем житье после нашего отъезда, и пусть она мне тоже напишет. Что мама? Кто ходит в «Десятилетие» за едой? Погода тут стоит не плохая. А как у вас? Жарко?

Коля.

24 авг. 1931.

Ленинград 14, Надеждинская, 9, кв. 31.

45. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

24 сентября 1931 г. [232] *Алупка*

Милый Коля.

Я написал Лиде прилагаемое письмо, но побоялся, не мрачно ли будет, теперь, когда она кормит, оно может подействовать на нее угнетающе. Поэтому посылаю его тебе; реши сам. Если ты не дашь его ей, сообщи, что мы просим пианино не продавать.

Спасибо Марине за письмо к Муре. Оно ее очень порадовало.

Что ответил «Новый мир» о твоем романе? Как поступил ты с той вещью, которую писал у нас [233]?

Пип.

Денег у меня немножко есть.

Вышла ли «42 параллель»[234]?

46. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

16 октября 1931 г[235]*. Алупка*

Милый Коля.

Овцы не бывают рогатыми. Между тем у тебя в «Животных героях» фигурирует овца с длинными и острыми рогами (стр. 238 и друг.)[236]. Мура обращает твое внимание на этот рассказ. Пожалуйста, напиши ей по этому поводу. Это ее очень интересует. Сэттон-Томпсон доставил ей радость. Она читает его

маме. Просит тебя прислать ей Гофмана[237]. Я писал тебе об этом, но ты не ответил. Пожалуйста, пришли на недельку. Прочтем и возвратим. Сейчас мы ищем во всем Крыму мороженицу и не можем достать. А Муре хочется мороженого! Что ты переводишь? Как твой роман? Привет от Муры — Тате и Марине. (Это письмо наполовину продиктовано ею.)

Пип.

Не забывай нас.

47. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

19 октября 1931 г. Алупка[238]

Вот что, Коля: Муре я больше не нужен. В течение суток у нее есть *один час,* когда она хоть немного похожа на прежнюю Муру, — и тогда с ней можно разговаривать. Остальное время — это полутруп, которому больно дышать, больно двигаться, больно жить. Комок боли и ужаса. За врачами бегать уже нет надобности. Так что моя работа здесь заключается в том, что я выношу ведра, кормлю голубей, бегаю в аптеку, и, ворочаясь по ночам с боку на бок, слушаю, как мама каждые 15 минут встает с постели и подает Мурочке судно, а Мурочка плачет, потому что у нее болит колено, болит спина, болит почка, болит грудь. В таком положении (ухудшающемся) Мура будет еще месяца 3. И вот я решил, что в Питере я буду полезнее. Нужно как-то поладить с фининспектором, урезонить ЖАКТ, распутать дела в ОГИЗе, да и Бобе и Лиде помочь, и вытребовать деньги у Академии, у Московского ГИХЛа и пр. (Я, напр., уверен, что *мне* удалось бы устроить твой роман в Москве, нажать на Соловьева и Полонского.) Словом, я хочу на две недели уехать отсюда. Но для мамы всех этих надобностей не существует. Для нее все, естественно, сосредоточилось в переживаемой нами трагедии. Поэтому я даже не рискую приводить ей какие бы то ни было доводы. А тебя прошу *(по секрету от всех)* прислать мне телеграмму: «Приезжай немедленно: фининспектор, ЖАКТ и ОГИЗ требуют твоего присутствия». Эта телеграмма, в которой ведь выражено действительное положение вещей, даст мне возможность сделать в Ленинграде все нужные дела (чтобы вернуться в Крым через 2–3 недели). У меня на руках книга «Шестидесятники», которую надо продать[239]. Я ничего не знаю о Уитмэне[240]. Словом, ты сам понимаешь, что сидеть здесь безвыездно я не имею права. Если бы была хоть тысячная доля надежды спасти Муру, я плюнул бы на все, как плевал до сих пор. Но отравлять ее морфием могут и без меня.

Не пишу тебе подробностей о ней, потому что знаю, что ты будешь реветь, как побитый. Она такая героически мужественная, такая светлая, такая — ну что говорить? Как она до последней минуты цепляется за литературу, — ее единственную радость на земле, — но и литература уже умерла для нее, как умерли голуби, умерла Виолетта[241], умер я — умерло все, кроме боли.

Привет Марине и Таточке, которую она вспоминает так нежно — и которая до сих пор кажется ей маленькой девочкой.

48. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

8 ноября 1931 г. Алупка[242]

Коля. Мама потрясена твоим письмом. И Мура и мама минут десять плакали навзрыд и повторяли: «Что же будет с ребеночком?»[243] — Сейчас мама придумала такой план: ты приезжаешь сюда, взяв с собой свою работу. Я еду в Ленинград — к Лиде. В Москве я делаю грандиозный скандал в ГИХЛе, добываю денег, везу их в Ленинград — и спасаю семью. Это план неплохой, но — что будет с Мариной и Таткой?

Я упал с лестницы, повредил спинной хребет, еле хожу — и ниоткуда никакой помощи, никакой надежды.

Мурочка так слаба, что еле говорит — шепотом. Кашель бьет ее ночью и днем. Вчера хотела рассказать мне сон, но на полуслове заплакала и махнула рукой: уйди.

Врачи говорят, что Лена вне опасности, но Лида… что будет с ее сердцем? Воображаю, как она страдает сейчас. У Стенича в переводе я нашел около 40 погрешностей[244]. Если ему интересно, сообщу. Пиши.

Твой Пип.

49. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

10 ноября 1931 г. Ленинград

Милый папа.

Я бы с величайшей охотой приехал к вам в Крым. При получении каждого письма из Алупки думал я о том, чтобы бросить все, уехать и попытаться хоть сколько-нибудь тебя заменить. Но попал в такой переплет, что никуда не денешься. Я зажат, как в тисках, множеством обстоятельств.

Главное из них: завод «Светлана». Мне и моему партнеру Вагинову[245] приходится бывать на заводе по крайней мере три раза в пятидневку. Под эту работу выбрано уже множество денег.

Кроме того, если я уеду — Вагинову тоже придется бросить «Светлану» и возвращать деньги — один он на «Светлане» работать не может — это его единственный источник существования, и, таким образом, выйдет прямая подлость.

Второе: на какие средства без меня будут жить Тата и Марина?

Третье: у меня больше 600 рублей неотложных долгов, кто их станет выплачивать? Если я уеду, сумма будет расти и расти.

Четвертое: Маринина болезнь, которая приняла затяжной и тяжелый характер и делает ее совершенно беспомощной.

И многое другое.

Но на все можно было бы, в крайнем случае, плюнуть, кроме «Светланы». Со «Светланой» я развяжусь не раньше середины января. К тому времени отчасти уладилось бы, может быть, и остальное. Тогда я мог бы приехать — но будет ли надобность?

В промежуток между предыдущим моим письмом и этим общее положение несколько улучшилось. Лидина девочка здорова. Скарлатина у Лиды протекает в несильной форме, со сравнительно небольшой температурой. Некоторые документы, касающиеся твоих налогов, нашлись, и Боба заткнет фининспектору рот.

С квартирой уладилось так: в тот день, когда ЖАКТ собирался подать в суд, Боба прописал какую-то девицу. Это может быть плохо, но ничего другого не могли придумать — новый квартирный закон не оставил никакого выхода. Впрочем, девица без права на площадь, и выселить ее, если понадобится, удастся.

Я получил деньги — очень небольшие при моих долгах — и дал немного Бобе. Так что, видишь, все помаленьку улаживается.

Таточка ходит в хорошую группу. Страдаем мы от бесприслужья. Прислугу в Питере найти невозможно. Марина выбилась из сил — она ведь, в сущности, инвалид. Я работаю сутки сплошь.

Как писателя меня раскассировали и отменили. Никуда, кроме «Мол. Гвардии», не пускают. Но и в «Молодой Гвардии» смотрят косо. Боюсь, что, когда представлю рукопись, будет скандал. Всюду новые люди, хуже цепных псов. Единственная цель их — охранение читателя от нас и нас от денег, и это им вполне удается.

Послал Мурочке Гофмана. Может ли она еще слушать? Мы уехали 6-го августа, всего три месяца назад, и с ней так ужасно изменилось. Думаю о ней всегда и очень хотел бы ее повидать.

Посылку получили. Папа, продукты в Ленинграде есть все, какие хочешь, как пять лет назад. По-моему, не стоит посылать.

Коля.
10 ноября 1931 г.

50. К. И. Чуковский — Н. К. и Б.К Чуковским

19 ноября 1931 г. Алупка[246]
Мама приедет двадцать второго скорым поездом седьмом вагоне.

51. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

3 марта 1932 г.[247] *Москва*
Милый Коля. Вчера провел весь вечер с Лядовой и убедил ее, что твоя «Ревтройка» — гениальная вещь. Не сомневаюсь, что, если повести дело без шуму, вещь будет напечатана в ближайшее время. Вообще Московская «Гвардия» гораздо умнее Питерской.

Как мне больно, что маме пришлось возиться с Финном[248]. Главное в этом деле — отсрочка. Теперь, когда отсрочка добыта, попроси маму возможно скорее приехать в Москву, здесь такие дела гораздо легче устроить. Я помаленьку торгую: продаю свои мелочишки и в «Огонек»[249], и в «Гвардию»[250], и в «Литер, наследство»[251]. 5-го читаю «Солнечную» у Халатова[252], который относится ко мне очень сердечно. Погода здесь питерская. Что твоя пьеса[253]? Привет Ма и Та.

Твой К. Ч.

Напиши о Тагер.

Бобе — привет!

52. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

27 марта 1932 г. Москва[254]
Милый Коля. Сейчас я лечу над Москвой на АНТ-14. Будет испытание «потолка», то есть мы поднимемся на максимальную высоту. Если я разобьюсь, возьми себе «Чукоккалу», отдай ее в переплет и всякий раз мой руки перед тем, как ее перелистывать. Впрочем, вряд ли я разобьюсь, у меня больше шансов простудиться.

Мама говорила, что, работая над пьесой, ты благодаря этому понял недостатки своей повести — и внес в нее много поправок. Как бы то ни было, Москва к тебе весьма расположена и на днях затребует ее у тебя. (Это — секрет; если у тебя есть вообще на

примете какие-нибудь «детские» вещи Берзина[255], Тагер и др. передай их через меня для Москвы.) Впрочем, об этом мы поговорим при свидании… Черкни мне, пожалуйста, в каком положении моя книга «Шестидесятники». Берет ли ее «Изд-ство Писателей»? Судьба моего детского сборника сейчас решается у Волина[256]. Завтра я еду в колонию ребят ОГПУ — вместе с Халатовым. Что мамина спина?

Маринке и Татке поклон.

Твой П.

53. К. И. Чуковский — И. К. Чуковскому

9 июня 1932 г. Кисловодск[257]

Милый Коля! Твое письмо страшно взволновало маму. Можно ли писать так бегло о Бобиной болезни? Прошла ли она окончательно? Что это было? Шутка ли: язва нёба. Какие врачи его лечили? Кто ухаживал за ним? Как могла привязаться к нему такая болезнь? Будь другом, сейчас же напиши обо всем, или Бобу попроси написать. Боба поступил как герой — ни строчкой ни обмолвился в своих письмах к нам, — не хотел нас беспокоить. Но раз уж нам известно, что он болен, хотелось бы знать все подробности.

О нас я скажу: мы живем в раю. И кормят, и лечат нас прекрасно, природа здесь не пошлая (как в Крыму), а строгая, бессмертно-спокойная, — даже маме здесь хорошо, она сблизилась со многими людьми, бродит по горам, принимает нарзанные ванны, ездит в экскурсиях, и та патологически удушливая атмосфера, которая была у нас в Питере, рассеялась тут без следа.

Насчет Горького я тоже слыхал, что он болен[258]. К июлю я надеюсь быть в Питере. Мы едем 16-го числа пароходом в Крым. Хочу увлечь маму на Военно-Грузинскую дорогу, но здесь мне худо работается, надо влезать в ярмо поскорее, да и тоскую я от ничегонеделания.

Какая дикость, что тебе приходится ехать в полуголодный Коктебель — когда ты имеешь все права быть здесь в КСУ. Сейчас КСУ — богатейшая санатория в СССР. Нам сюда, в Кисловодск, отвалили 12 миллионов. Мы строим огромнейший корпус, у нас 3 автомобиля (больших, один системы «Ролс Ройс»), никогда писателишкам не жить в таком комфорте, в каком живем мы, мировые ученые. Как это все скверно с моими детьми: Лида мается от безденежья, ты и Марина — подвергаете и себя и Татку всем ужасам петербургского лета, Боба хворает какими-то язвами

— все это очень невесело. Как твои литературные дела? Что *вторая* оперетта? Что ТЮЗ? Что твоя пря с «Мол. Гв.»[259]? Пиши обо всем, удели старикам полчаса. Видел здесь Жукову[260], обещала зайти, обманула. Целую Татку за письмо. Привет Марине.

П.

54. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

23 июня 1932 г. Кисловодск[261]

Милый Коля. Ведь это лотерея — с Максимычем. Логики здесь не ищи. Мне он совсем не ответил[262]. Конечно, ты реагировал на все это наилучшим образом: новою повестью. Что за повесть[263]? Нравится ли тебе? Что ты сделал с той, которую писал в Алупке[264]?

Здесь удивительно хорошо. Трава, ветер, знойная прохлада гор. Мама необыкновенно поправилась; нервы у нее отдохнули. Я тоже, как будто, лучше себя чувствую, но мучает меня вынужденное безделье. I-й том Слепцова[265] уже вышел, с *позорнейшими* опечатками, которые испакостили всю книгу… Катался ли ты с Бобом в лодке? Какое теперь у него настроение? Мы выезжаем в Алупку 29-го, приезжаем 2-го. Так что теперь нам следует писать: «Алупка, до востребования». Скажи это, пожалуйста, Бобе. Как у тебя с деньгами? Привет Марине и Таточке.

Твой Пип.

55. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

4 января 1933 г. Москва

4/1 33. Вечер.

Дорогой Николай Корнеич.

Со мной случилось обычное: я заболел. Вагон, в котором я ехал, не отапливался; ни одеяла, ни белья мне не дали, я всю ночь дрожал от озноба; потом из-за телеграфных недоразумений автомобиль, который должен был меня встретить, не встретил меня, и я целый час стоял на перроне (на сквозняке), поджидая. В гостинице было чадно — и холодно. Поэтому я нигде ничего до сих пор *не читал,* никого не видел, а провалялся в постели в гнуснейших условиях.

Сегодня у меня температура нормальная, 5-го я читаю в клубе художников, 6-го в Теа-клубе, 7-го в Радио-Центре. Очень

прошу тебя сделать три вещи: 1) позвонить по телеф. 5. 37. 29 Ирине Серг. Миклашевской[266] и спросить, выезжает ли она на радиоконцерт, где ее очень ждут, 2) задержать корректуру репинского письма в «Соврем.»[267] до моего приезда (я приеду скоро), 3) позвонить Зое Никитиной и спросить ее, сдала ли она в печать тот материал, который я вручил ей 31-го дек. прошлого года[268]? Пожалуйста, пусть сдаст.

Марине привет. Маме передай содержание этого письма. Я не писал, т. к. был болен. Пиши мне на «Academia»: Кузнецкий мост, 16, ОГИЗ, 1 этаж, комната 111.

Твой отец.

56. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

12 апреля 1933 г. Москва[269]

Милый Коля. Я писал маме, что я заключил на Стивенсона договор[270]. Нам с тобой платят 200 р. за лист, т. е. мне 50, тебе 150. В связи с теперешним положением гонораров, это неплохо. Торопят. Просят, чтобы ты: 1) перевел и Джунгли[271], 2) составил сборник «Пушкин для детей»[272].

Тихонов заключит на Вильсона договор в июле[273].

Мои дела хороши. Жаль, что прихварываю (простужен) и маловато сплю. Но могло быть и хуже. Приеду 18 — для выступления в Радиотеатре. Здесь все хвалят поэта Васильева[274]. Читал ли ты?

Привет Коле Четвертому[275], Марине, Тате, Люше. Принимайся за Стивенсона. Говорят о переводе Зенкевича в «Зифе»[276] — надо достать. Попроси Наталью Сергеевну[277], она возьмет в Публичной.

Пип.

57. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

10 августа 1933 г. Евпатория[278]

Милый друг. Проезжая через Москву, видел Лядову. Твой «Рольф» ею принят[279] — но договор будет подписан спустя время, ибо сейчас все ее договорные права исчерпаны. Что слышно с моей книгой в «Издательстве писателей»? Я живу среди актерской богемы; это утомительно и неинтересно — все равно что жить в обезьяннике. Но дынь и абрикос сколько угодно, пляж гениальный, детворы миллионы, и я не ропщу. Напиши мне побольше о себе, Марине и Н. Н.[280] Я выступал — афиши были

большие, а успех, по-моему, средний. Ежедневно посещаю санаторию для костных. Мать рвется в Алупку, но в общем веселее и спокойнее, чем дома. Каждый день бываем в Курзале — на концертах, и ей-богу на днях я (первый раз в жизни) слушал симфонический без скуки. Никогда я и не думал, что на свете столько музыкантов, балетчиков, речевиков и т. д. И какие пустопорожние люди — о! о! о!

Сегодня будет у меня эпизод специально для «Солнечной»: я поеду с костными на катере.

Твой К. Ч.

58. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

30 августа 1933 г. Ленинград

Дорогой папа.

Выяснял в Изд. пис. твои дела, но ничего толкового не выяснил — из твоего письма неясно, что, собственно, ты хочешь знать? За «От 2 до 5»[281] они должны тебе не 600 рублей, а 400. Сколько должны за «Шестидесятников», еще не подсчитано, но очень много[282].

Моя книжка все еще не вышла — лежит отпечатанная в типографии, но читается Облитом — в который раз! Только что зарезали две уже вышедшие книги — Лившица[283] и Венуса[284]. Трепещу!

Путешествие по каналу было необыкновенно интересно[285]. Впрочем, расскажу, когда ты вернешься.

Здесь Эйхлер[286]. Вчера он был у меня. Я с ним условился о создании 2-го тома Сетона Томпсона из рассказов бывш. 1-го и 3-го томов[287], а «Рольф в лесах» — вещь слабую — решили похерить. Кроме того, упорно всучиваю им переиздание «Избранных рассказов» Чарльза Робертса под моей редакцией[288]. Все это прекрасно, но когда еще будет, а пока я без копейки.

С Полупочтенным беда — был у него кровавый понос[289]. Страшно — бедненький — похудел, стал крохотной хлопоухой мышкой. Сейчас ему лучше, но все еще живот не налажен, и Марина мается.

Татка завтра впервые идет в школу.

В московской газете «Кино» появилась ругань о нашем сценарии «Юность»[290]. Сейчас иду к Траубергу[291] писать ответ[292].

Воюю, торгую, бегаю, а путного ничего не делаю.

Напишите о вашей жизни.

20-го сюда неожиданно приехал Боба. Я тогда был на канале,

но, вернувшись, его еще застал. 24-го он уехал на Ниву. Приедет совсем 14-го сентября.

Знаешь ли ты, что художник, которому поручено было иллюстрировать нашего Стивенсона, внезапно скончался[293]?

Эйхлер собирается в Кисловодск.

Тебя прочат в редакторы московского Детиздата.

Мама, напиши нам и ты.

Коля.

30 авг. 1933.

59. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

3 сентября 1933 г. [294]*Тифлис*

Милый друг! Пишу тебе это письмо — *пьяный!!!* А твоя мать до такой степени угостилась вином, что я еле довел ее до кровати в гостинице, где она немедленно заснула. Кроме того, меня, как Хлестакова, всюду приветствуют флагами, тостами, букетами, кахетинским номер пятый, кахетинским номер восемнадцатый — обнимают меня, целуют, подбрасывают на воздух — и все потому, что мы в Грузии! Необыкновенная страна, и мы с тобой дураки, что до сих пор сидели в Ленинграде. Вчера я захотел осмотреть в Коджорах детский дом. Нарком Просвещения[295] дал мне свою машину, мы поехали на гору, такую высокую, что, в самый знойный день, ощутили дивную прохладу; там, в этой дачной местности, расположена колония для беспризорных детей. Я разыскал заведующего, и он показал мне две-три детские комнаты, кухню, столовую и пр.; весь показ длился пять минут, потом повел нас в столовку на открытом воздухе, в саду, посадил за стол, уставил его вином, позвал учителей и стал меня чествовать, плохо зная, кто я такой. Со мною, конечно, был твой приятель Тициан[296], который является блестящим заместителем Паоло Яшвили[297], он произнес 400 тостов (в том числе за тебя) и выпил 4 бутылки вина. И вот: кругом бегают дети, которые мне страшно интересны, я нахожусь в самом центре любопытнейшего учреждения, но осмотреть его не могу, п. ч. я сижу за столом — и пью кахетинское и провозглашаю тосты за Грузию, за жену Тициана[298], за Бориса Пильняка[299], за Бориса Пастернака[300], за Бориса Бугаева — трех Борисов, побывавших в Грузии, — пью за воробья, пролетевшего мимо, и за цветы в цветниках, пью за шофера, который тут же пьет с нами, оставив машину на улице. Это занимает часа два; потом я иду, наконец, к ребятам, они гениально поют и танцуют, и времени у нас уже мало, шофер волнуется, тогда дети подносят нам огромные букеты

необыкновенных цветов, на улице собирается толпа, которая жмет нам руки, мы садимся в автомобиль, и заведующий стоит на подножке — и в такой позе провожает нас версты три — ибо этого требует этикет! И такая канитель длится три дня, и я уже пил с драматургом Бухникашвили[301], с критиком Дудучавой[302], с Линой Гогоберидзе[303], с наркомом Гегенавой[304], с Лидой Гасвиани[305] — и конца этому нет никакого. Вчера хотел посмотреть музей, да побоялся — ибо и там, должно быть, есть стол, уставленный бутылками. Если добавить, что в той же гостинице, где *я*, стоит *ПИЛЬНЯК*, то все станет понятно. Пильняку в гостинице дали *правительственный номер,* он не платит ни гроша, «Заря Востока», «ГИЗ» и др. учреждения умоляют его, чтобы он взял аванс от тысячи до трех тысяч рублей, он создан для этой страны и она для него, он обедает сам-двадцать и, когда идет по улице, то одной рукой обнимает одну прекрасную грузинку, другой — другую, и за ним едут цугом машины на случай, если он пожелает куда-нибудь ехать.

60. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

20 сентября 1933 г. Кисловодск[306]

Спасибо тебе, Коля, за письмо. Очень огорчают меня твои неудачи. Конечно, они преходящи: это обычные осенние тяготы, свойственные нашей профессии. Не могу ли я помочь тебе чем-нибудь? Мы отсюда уезжаем, ты сейчас на Беломорканале, но когда вернешься, напиши мне в *Кисловодск санатория КСУ,* где мы будем около 3/X. Я постараюсь нажать на Лядову, чтобы выслала тебе авансом 500 рублей.

Конфет нам присылать не нужно. Их вполне заменяют груши, персики, пшенки, абрикосы, которые я жру в необъятном количестве. Поздравляем Таточку с поступлением во 2-й класс, с выдержанными экзаменами, и с началом новой жизни. Щелкни от меня в нос Несравненного. От Бобы мы получаем письма, краткие, как телеграммы, но (для нас) чрезвычайно насыщенные. Приятно думать, что он смолоду запасается таким фундаментальным опытом, какого иные не имеют и в старости. Он написал нам и о Кольке, и о Лушке, и о Татке — самое основное и главное. Прилагаемую доверенность прошу тебя предъявить в Горкоме и взять на себя все вытекающие из оной последствия. Вышла ли твоя книга[307]? Скажи, при случае, в Изд-ве Писателей, что я хотел бы выяснить финансовые наши отношения. Они должны мне 600 р. за «От двух до пяти» да около шестисот в месяц должны выплачивать за «Шестидесятников».

Я здесь вижу много детей, наблюдаю, записываю, но ничего определенного не сделал. Что Лида?

Твой К. Ч.

Тысяча приветов Марине!

61. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

10 октября 1933 г. Москва[308]

Дорогой Коля.

Сегодня истратил полдня по твоему делу. Пришел в «Молодую Гвардию» — сообщил секретарше, что тебе должны деньги, всполошил бухгалтерию, произвел исследование; оказалось, что «да, договор есть», но их не «спустили вниз» — в бухгалтерию, потому что не было распоряжения Лядовой, а если их спустят, тогда сию минуту вышлют и т. д.

— Где Лядова?

— Лядова сейчас придет.

Жду-пожду. С моими книгами Лядова поступила бездарно: «Остров сокровищ» все еще иллюстрируется. «Робинзон» в производстве[309]. Собрание моих сказок — еще не вышло из цензуры[310] (4 месяца в цензуре!!!) Где Лядова?!? Почти без всякой надежды иду в ОГИЗ, где на 4 этаже, в тех дебрях, где сидел Халатов, восседает полный, седой, явно-глупый Смирнов, глава Детиздата. Я пошел к Смирнову жаловаться на Лядову, ан Лядова там. Я излагаю ей твои дела. Ничего не соображает. «У нас сейчас заседание правления». Но мой сын без гроша, а вы должны ему деньги. «Завтра, завтра». Я пошел в «Молодую гвардию». Эйхлер печально поник головой — и произнес монолог, полный гражданской скорби и возвышенного смеха сквозь слезы. Сегодня с утра я опять пойду к Лядовой — и надеюсь добиться тебе денег. У меня немыслимо трудное житье. Мне как-то ничего не удается. Образовался новый музей, где есть много материалов об Успенском, Некрасове, Дружинине, Слепцове, но во главе этого музея стоит Бонч-Бруевич[311], который до сих пор не вернулся из отпуска, и я спорю со служащими музея, что я имею право знать все материалы, относящиеся к Некрасову и т. д., и т. д., а время проходит. В «Academia» тоже неразбериха, выясняю денежные отношения, и чувство у меня такое, что хочется бросить все и ехать домой, ибо я страшно соскучился по дому, но по всей Москве висят афиши, что К. Чуковский выступает 18 октября в Радиотеатре два раза, и хотя нынче детские утренники в трех-четырех театрах сразу, и конкурентов у меня сколько угодно, афиша взбудоражила московских мамаш, и я уже стал волноваться. Для меня это будет серьезный экзамен, к которому я уже начинаю готовиться. Ситуация здесь такая: Лядова ненадежна, может полететь каждый день, главная сила — Маршак и Алексинский[312] (старый друг Маршака), которые и свалят Лядову, т. к. сам Смирнов тоже против нее. Поэтому твои вещи — другие — можно продать «Молодой Гвардии» лишь сейчас, о чем я и стараюсь всемерно.

Твою книгу прочитал залпом. Напрасно ты ее хаешь. Поэтичность настроения, лаконичный язык, зоркий глаз, лиричность в отношениях к природе, — все это ее капитал. Правда, темы у тебя нет, диалоги вялы и натянуты, все экскурсы в идеологию срываются, но талант несомненен, а тема — дело наживное. О твоей «Юности» здесь уже пошли разговоры, и «Комсомольская правда» уже поручила репортерам ознакомиться с ней — для соответствующей встречи[313].

Погода чудесная. Скажи маме об этом письме, т. к. сегодня я

не успею писать ей. Иду к доктору — зубному. Марине и внукам привет. Стеничу тоже.

62. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

11 октября 1933 г. Москва[314]

Коля. Я достал здесь «Русскую Америку». Очень удачная книга. Я отметил в ней 5–6 микроскопических lapsus'ов, которые будет легко устранить. *Не сомневаюсь,* что Лядова возьмет ее[315]. Мне бы хотелось, чтобы к этой книге была приложена карта Берингова пролива и Русской Америки, а также, чтобы ты написал коротенькую главку — географическую — о том, что же такое Русская Америка, и что с нею стало впоследствии, до наших дней. Главка должна быть заключительной. Согласен? Ведь нужно объяснить читателю, отчего мы интересуемся Штеллером[316], что внесли в историю Беринг[317] и Штеллер.

Я простудился. Лежу. Грипп. Не говори маме — грипп, надеюсь, скоро пройдет.

Рисунки должны быть другие. Твой Соколов[318] дегенерат и вредитель. Конечно, я постараюсь выхлопотать немедленные деньги за эту книжку. Температура у меня 38, хриплю, кашляю, сморкаюсь, исхудал, но доктор говорит, что послезавтра встану. Если ты вообще хочешь дополнить «Русскую Америку», было бы хорошо. Эта книга выдержит много изданий — пусть же гонорар за нее будет побольше.

Неужели мама до сих пор не помирилась с Лидой? Мне хотелось бы поселиться на зиму в Детском и писать «Госпогоду»[319]. Я здесь заключил договор на «Госпогоду» с кино[320]. Не хочешь ли работать со мной? Сделаем сценарий вдвоем. Ты напрасно говоришь, что со мною нельзя тебе работать. Это относится только к области перевода, а не к беллетристике и кино. С «Госпогодой» мне, конечно, необходимо затронуть север — действие должно происходить раньше всего на Беломорканале. Все это тебе знакомо и близко. Дальше вообще выступит ряд проблем географического свойства. Это тоже по твоей специальности. Я хочу начать работу над «Госпогодой» с 1 декабря. В месяц мы бы сделали главнейшее. Ну да поговорим при свидании. А сейчас о другом: тебе, конечно, нужно быть в Москве. Поехать тебе нужно со Стеничем. Ты сейчас сидишь без работы, между тем — если попасть в соответствующую среду — здесь можно нагрузиться работой по горло. Давай поедем в январе вместе. Я сведу тебя с «Academiей», с «Огоньком», с «Известиями». Тебе надо печататься в «Известиях». Тихонов

говорил, что даст тебе работу в «Истории фабрик»[321].

Очень радует меня Боба. Мама пишет о нем, что он работает, не щадя живота. Хотя в этой запойной работе есть какое-то самооглушение, какое-то убегание от себя, но в результате он и сам не заметит, как из него сделается квалифицированный первостатейный инженер. Дружит ли он по-прежнему с Мариной. Пиши мне спешной почтой: Москва 72, ул. Серафимовича, 2, Дом ЦИКа, Кольцову для Корнея Чуковского.

Интересно, что, приехав, я найду в своей семье двух незнакомцев: Колю и Лушу. Луши я не видел полгода. Что *делает* Цезарь[322]?

63. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

21 января 1934 г. Москва[323]

Милый Коля. Тут неразбериха. Смирнова прогнали, но *письменного* приказа еще нет (не успели написать из-за конференции [324]), и он, пользуясь этим, симулирует заведующего. Накинулся на меня: «Мы хотим купить у Вас все ваши книги!», но прав у него уже нет. Лядова уходит. Но 23-го мы с нею разберемся во всех твоих счетах, и, будь покоен, я деньги из них возьму. Кто будет замом, я не знаю, но я нарочно останусь дня на два, чтобы продать ему все твои книги. Я только сейчас начинаю приходить в себя. Сон у меня был не налажен, желудок ужасен, и проч. В гостинице очень неуютно. Я стал вроде как бы знаменитостью (третьего сорта), и всякий народ обрывает у меня звонок телефона, который, увы, у меня в комнате. Привет Марине. 23-го напишу подробно.

Твой К. Чуковский.

64. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

29 января 1934 г. Ленинград

Милый папа.

Что с тобой случилось? Где ты сломал ребро? Чем ты отравился? Обо всем этом мне сообщил Эйхлер, и я не знаю, что и подумать. Напиши сразу. Не нужно ли, чтобы мама или кто-нибудь приехал к тебе? Я пока, конечно, маме ничего не говорю, чтобы понапрасну ее не тревожить.

Главное домашнее событие — история с Бобой. Он,

несчастный, бегает, мечется, не знает, за что ухватиться, чтобы только не ехать. Пока ничего не добился. Ну, да тебе все известно.

Встретил Шкловского. Он рассказывал мне о невероятных успехах твоих московских выступлений. «Обольщает младенцев», — сказал он.

Получил от Эйхлера длиннейшее письмо и ровно ничего из него не понял. Ни о твоей болезни, ни о моих делах. С одной стороны, он пишет, что все мои книги до сих пор не пошли в производство, с другой — что верстка Чарльза Робертса будет готова через шесть дней. Вот тут и разберись.

А верстка бы мне очень пригодилась. Раз верстка, значит и деньги — ведь 40 % — 864 рубля — причитаются мне при подписании к печати, то есть при верстке. Я совсем обнищал. Фильма моя даст мне денег не раньше марта[325], а у Таточки воспаление легких, у Гульки грипп, у меня сапоги развалились, у Марины нет пальто, и вообще все к чертовой матери.

Как с «Русской Америкой» и «Одним среди людоедов»[326]?

Был в издательстве и справлялся о твоих «От 2 до 5». Там суматоха, ответили: — в производстве, скоро выйдет.

Я схожу туда еще 31-го, узнаю подробнее и тебе сообщу.

Не идет ли в Москве моя фильма «Частный случай»? Здесь идет. На мой взгляд, она ужасна. К довершению всего Трауберг за последние дни перед пуском заменил все надписи новыми, и ¾ из них безграмотны. Но с ним говорить невозможно — он всем доволен.

Послезавтра выходит «Звезда» с моим рассказом[327]. Напиши о своем здоровье сразу же.

Коля.

29 янв. 1934 г.

[Рукой М. Н. Чуковской]:

Надеюсь, что все это выдумки — Ваши болезни? Напишите!

Марина.

65. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

14 февраля 1934 г. Ленинград

Милый папа.

Когда ты едешь в Узкое? До какого числа тебе можно писать на больничный адрес?

Мама, по-моему, в нерешительности. Не знает, ехать ли ей в Москву, или нет. Узкое ее, кажется, не прельщает.

У Бобы все пока хорошо. Сегодня он был у меня и показывал

наряд на Среднюю Волгу. Пошел туда наниматься.

Таточке делали реакцию Перке. Просвечивали. Туберкулез у нее не обнаружен. Но, оказывается, сердце сильно расширено. Железы совсем не в порядке. В легких какие-то тени — вероятно, последствие воспаления. Температура — 37,4. Превратилась в заморыша. Быть может, мы ее отправим в санаторию. На днях это выяснится.

Хуже всего, конечно, что нет денег. Эйхлер прислал мне обнадеживающее письмо, и с тех пор от него ни слуху, ни духу. А между тем я убежден, что верстка моего Чарльза Робертса готова. Следовательно, они мне уже должны последние 40 % — 860 рублей. Если увидишь Эйхлера, скажи ему об этом. Пусть пришлет, я измучен долгами, безденежьем. Мне нужно 1000 рублей в месяц, а я с трудом натягиваю 500–600.

Поправляйся. Пиши мне о своем здоровье. Ты мне очень редко пишешь.

Твоя переводная пьеса[328] находится у мамы. Напиши издательству (или мне), как быть с версткой «От 2 до 5-ти»[329].

Коля.

14 февр. 1934.

66. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

9 марта 1934 г. Москва[330]

Милый Коля. Здесь во главе Детиздата Семашко[331]. Я видел его. Впечатление прекрасное. Серьезно и деловито вникает во все. Создаст, несомненно, хорошее дело. Я заикнулся было о твоих книгах; он просит поговорить с ним об этом позже, когда он чуть-чуть сориентируется в положении вещей. По поводу денег: уже две недели твердят мне, что они высланы, но в первый же день, когда я стал выходить — я пошел в бухгалтерию, и выяснилось, что бухгалтер *всех обманывал:* телеграфный перевод тебе валялся у него в кармане — и он не давал ему никакого движения. Я нажал на этого негодяя и — и он *при мне* отправил тебе нужную сумму. Я уже решил биться за твои книги «Один среди людоедов» и «Русская Америка». Влияние Эйхлера теперь умалилось, но он — растяпа. В Москве мне муркотно, но нельзя уехать, не наладив того, что нужно было наладить еще 1½ месяца назад. Ведь я на ногах только 3 дня. Но мама торопится, и дело срывается.

Твой Пип.

До скорого свидания.

67. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

9 октября 1934 г. Ленинград

Милый папа.

Дела твои в «Издательстве Писателей» так же плохи, как и мои. Деньги они обещают уплатить до последней копейки, но пока их нет. Я сел на мель. Может быть, что-нибудь заплатят нам с тобой в середине месяца. На всякий случай, пришли мне еще доверенность, так как, по всей вероятности, платить они будут в несколько приемов маленькими суммами.

Когда ты собираешься вернуться?

В начале ноября в Москве выходит наш Стивенсон. Выходит он не десятитысячным тиражом, как указано в договоре, а тридцатитысячным. Следовательно, мы должны получить за два лишних тиража. Если ты проездом застрянешь в Москве хоть на день, выбей из них эти деньги. Они очень мне пригодятся.

В 10 № «Звезды» идет моя повесть «Старики»[332]. Кроме того, «Звезда» заключила со мной договор на *мой новый роман*[333]. Они собираются печатать его в будущем году с первого номера. Я гоню его изо всех сил, чтобы потом к каждому номеру иметь три готовых листа, и сижу за столом невылазно. Гослитиздат включил его в свой план. Одна беда — до денег еще надо жить и жить.

Недавно слышал стороной, что Лендетгиз включил в свой план издание какой-то моей юношеской книги. Значит, пронял-таки я Маршака в Москве. Говорят, на днях собираются со мной договор заключать.

Отчего ты мне не пишешь? Как мама? Сообщите о ваших планах. Когда вас ждать?

Коля.

9 окт. 1934 г.

68. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Середина октября 1934 г.[334] *Кисловодск*

Дорогой Коля. Мы живем здесь неплохо. Мама после 14 нарзанных ванн очень поправилась. Сегодня, например, она долго играла в крокет и беспрестанно колотила всех партнеров. Мы ходим с нею в горы; она легко всходит на 6–7 километров вверх. Кровяное давление у нее очень понизилось: от 175 до 135. Ей делают массаж, она проходит курс электризации и т. д. У нас с нею *две* отдельные комнаты, поэтому я много занимаюсь: написал статью «Как же переводить Шекспира»[335] и сейчас «делаю» для «Академии» новое издание «Искусства перевода»[336]. Погода здесь разнообразная, но преобладают мягкие, жаркие, ясные дни, когда людям хочется беспричинно смеяться, озорничать и

заговаривать с незнакомыми. Тут Либединский. Сначала мы сторонились его, но он оказался таким кротким, скромным и почтительным, что на днях мы совершили с ним большую прогулку. Здесь еврейский писатель Даниэль[337] (из Харькова), с которым познакомил тебя Берзин. Он тебе кланяется. Я прочитал его повесть «Юлис» — это глупая, беспомощная дрянь. Здесь Борис Ромашов[338], автор пьесы «Бойцы». Он читал эту пьесу артистически, меняя голоса, играя каждую фигуру, но даже таким изумительным чтением не прикрыл шаблонности и схематичности текста.

Как жаль, что ты так мало пишешь о своем романе. Удается ли он тебе? Доволен ли ты «Стариками»? Ты жалуешься на безденежье. Я очень прошу тебя взять себе те деньги, которые получишь для меня в «Изд-стве писателей». Там довольно большая сумма, потому что Зоя[339] засчитала мне подстрочный гонорар за стихи. Ты возьми из этой суммы сколько тебе нужно, чтобы продержаться до получения гонорара за роман. Насчет Стивенсона сделай так: напиши Николаю Александровичу Семашко просьбу выслать деньги теперь же за два тиража. Он любит, чтобы к нему обращались, и непременно удовлетворит твою просьбу.

От Бобы опять нет писем. Мама скучает по тебе и по нем страшно, постоянно видит вас во сне — и вдруг вообразила, что ты болен колитом, что у тебя во рту опухоль (!!!), и решила ехать немедленно в Питер, спасать тебя от ужасных смертельных болезней. Твои письма успокоили ее. Мы приедем около 28/X, но не говори этого посторонним, ибо я не хочу, чтобы все накинулись на меня в этот день. Хотели ехать в Сочи, да уж очень тут хорошо.

Что с Лидой? Верны ли слухи о Цезаре[340]? Я написал было ей большое письмо — о том, чтобы она примирилась с мамой, но не послал до сих пор — потому что получил от нее письмо, показавшее, что сие безнадежно. Кланяюсь многострадальной Марине, Тате, Гульке, Марии Николаевне, Ирине.

Пип.

69. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

6 декабря 1934 г. Москва [341]

Милый Коля. Дела наши очень неважны. «Домино» выйдет не раньше апреля[342]. Тираж еще не установлен. («Ориентировочно» 50 тыс.). Ни Робертс, ни «Животные герои» к переизданию не намечены[343]. В плане 1935 года их нет. «Остров сокровищ»

выходит очень небольшим тиражом (20 000) в I квартале 1935 года. Словом, Эйхлер, как всегда выдал свои идеалы за факты.

У меня: приостановлены ОГИЗом «50 поросят»[344], задержан Главлитом «Крокодил»[345] — и отвергнуты для переиздания маленькие вещи: «Барабек», «Чудо дерево», «Котауси и Мауси»[346]. Я, конечно, простудился. Грипп. Но — не теряю надежд. И ты не теряй. Напиши мне непременно о дальнейших судьбах твоего романа. Я видел Луппола[347], он говорит о тебе очень тепло. Привет Гульке и Тате. Я сижу в номере и пишу весь день. Если мама еще не выедет к тому времени, как придет эта открытка, попроси ее захватить в ГИХЛе корректуры «Детей»[348] и академический томик Некрасова, который нужен мне для работы в музее[349].

Твой папа.

70. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

17 декабря 1934 г. Москва [350]

Милый Коля. Лекарство для тебя добывается. Твои «Старики» здесь многим пришлись по душе. В Детгизе есть такой человек Игнатий Петрович Магидович [351]. Он обещал мне и маме «выкрутить» для тебя *в начале января* тысячу рублей. До января нельзя, т. к. сдается отчетность. Ты напиши ему сейчас письмо, чтобы закрепить его обещание. Вообще при ближайшем рассмотрении он оказался неплохой человек. Сегодня я достану «Стариков». Скоро увидимся.

Твой Пип.

71. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

25 января 1935 г. Москва[352]

Милый Коля!

Был я в Детгизе; говорят: посланы тебе деньги еще 15/XII. Все повторяли это в один голос. Я пошел к заведующему бухгалтерией. Говорит: «Да, такое распоряжение было, но…» Словом, повторилась старая история.

Я забушевал, и в результате тебе завтра по телеграфу переводят деньги. Магидович тут не виноват: его обманули.

Вчера я читал о Репине [353]. Успех имел бешеный. Действительно: это мой жанр, и мне от него отбиваться не следует. У меня должна выйти через 2–3 дня книжка «От двух до

пяти», но так как возможны всякие пертурбации, я прошу тебя сходить в Ленгихл — и нажать на Волобрисскую, или как ее там зовут[354]. У меня душа болит: ничего не знаю, что с мамой. И как это дело решится, не имею понятия. Сейчас ситуация такая: я писал книгу «Искусство перевода» по уговору с Накоряковым[355]. Он сказал мне: дайте мне ее в январе, я ее протащу в «Academia», потому что в феврале у меня не будет для этого власти. Я торопился неутомимо. Сделал всю книгу, привез — и сейчас же с вокзала — поехал к Накорякову. Он говорит: сдайте ее в «Academia», я ее протащу. Я еду в «Academia», и Тихонов по секрету говорит мне, что *сам же Накоряков вычеркнул ее из плана.* Я — к Накорякову: как же так? Он смущен, но… все дело надо вести сначала. Сегодня будет в «Academia» заседание, я должен выступить на этом заседании и — бороться. И вот в то самое время, когда я готовлюсь к Репинскому докладу, хлопочу о гостинице (номеров нет) и воюю за «Искусство перевода»[356], получаю от мамы телеграмму: «Приезжай сейчас же или не возвращайся никогда». Что это такое? Во имя чего это делается? Ведь мы с тобою оба — писатели, и ты хорошо знаешь, сколько душевной силы приходится нам тратить на каждую свою книгу. Не знаю, как ты, но я 9/10 всех своих мыслей отдаю своим писаниям. Утром в постели я думаю не о политике, не о здоровье моих близких, не о квартирных делах, не о моих отношениях к Лиде, а только о том, *что я сегодня буду писать.* И в Москве меня интересуют не театры, не психология моих знакомых, не Третьяковская галерея, а то, что я пишу, и борьба за напечатание моих вещей. Сейчас мне важно сдать «Репина» в журнал или Горькому, протащить «Искусство перевода», сделать из «Искусства перевода» статью и поместить ее где-нибудь в журнале, продержать корректуру моих сказок в «Academia» и т. д. *Других забот и мыслей у меня нет.* И вот: во мне вся кровь закипает, я прихожу в бешенство, если свой человек, ближайший свидетель моих усилий, может, по своей воле, — все мои планы разбивать и калечить — и в то время, когда моя голова занята моими писаниями, вбивать в мою голову какие-то другие мысли, навязывать мне посторонние заботы — и напоминать мне какие-то старые мои (может быть, и большие) грехи. Таким образом, вся моя рабочая программа полетела к чертям. Сейчас мне только предстоит кончать статью о Репине, между тем я мог кончить ее еще в Ленинграде. Все это так мучительно, что я готов на все, лишь бы это не повторилось. Я дал слово приехать 1-го — но во имя чего ехать, не знаю. Прошу тебя как-нибудь урезонить маму, иначе жизнь моя станет сплошным терзанием.

Пип.

Т. к. я не нашел комнаты в Москве, я еду в Болшево, за город, в санаторию — чтобы докончить там о Репине и редактировать свои «Сказки».

72. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

30 августа 1935 г. Кисловодск[357]

Коля.

В Москве в Детгизе Семашки нет; он в отпуску. Замещает его т. Шендерович[358] (Б. Черкасский, 7. Детгиз). Он сказал мне, что им дано распоряжение выслать тебе весь гонорар за «Остров»[359]. Если ты до сих пор этого гонорара не получил, будь добр, напиши Шендеровичу.

Здесь погода сверхъестественная. Нежная, изящная жара. Я видел в Ессентуках маму, она очень поправилась. Если вышла «Слава»[360], пришли.

Санатория КСУ в Кисловодске превратилась в дворец. Вообще весь город *неузнаваемо* изменился в один год. Привет Марине и Берзину.

Напечатали ли его фельетон?

Татке поцелуй!

Твой П.

73. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

12 сентября 1935 г. Кисловодск[361]

Милый Коля. У меня есть к тебе просьба, которую я все откладываю, так как мне все кажется, что дело рассосется, но оно не рассасывается и очень угнетает меня. Дело идет о Соне Островой[362]. Узнай, пожалуйста, чем объясняется ее поведение и напиши мне об этом хоть несколько строк.

История такая. В последний месяц перед моим отъездом — она вела себя цинически небрежно по отношению ко всем моим интересам. Достаточно сказать, что я из-за нее, напр., потерял ту тысячу рублей, которую дал Губеру[363]. Губер, уезжая, взял у меня тысячу рублей — и оставил свой договор с Арктическим институтом, по которому (договору) я должен был получить эту тысячу. Я дал договор Соне с тем, чтоб она снеслась с Арктическим институтом — и она ничего не сделала, и деньги пропали.

Таких проступков скопилось очень много. Я долго вглядывался в нее, покуда понял, что это — очень хитрая

местечковая тварь, необыкновенно практичная и при этом бездарная. Я решил расстаться с нею, и хотя предупреждал ее об этом ранее, дал ей рублей двести «выходных» и предоставил свою пишущую машинку, чтобы она могла зарабатывать перепиской.

От нее же требовалось только одно: чтобы она около 2-го сентября написала мне письмо обо всех моих литературных делах, сосредоточенных в Доме Книги, *на одном и том же этаже.*

Но вот уже 12-ое, и от нее ни слуху, ни духу. Если она не выслана и не больна, ее бездействие омерзительно. Она знает, как волнуют меня все эти дела, и столько дней держит меня в полном неведении. Меня интересуют такие дела:

— Вышел ли в ГИХЛе Уитмэн[364]? Если — да, почему не выслали мне 2-х экз. авторских, как было условлено. Если нет, почему?

— Печатается ли мое «Искусство перевода» в «Academia»?

— В каком положении в Детгизе «Том Сойер»[365]?

Кроме того, я оставил Соне доверенность на получение моих гонораров — в «Красной газете»[366] и еще где-то — и просил ее передать эти деньги Лиде, которая очень нуждается: из письма Лиды вижу, что это тоже не сделано.

Впрочем, это вздор: Лиде я пошлю сегодня же деньги телеграфом, но перечисленные здесь дела для меня — далеко не вздор, и я прошу тебя черкнуть мне о них возможно скорее и, не передавая Соне моего мнения о ней, все же разузнать чем объясняется ее поведение. Будь так добр.

Мама больна. У нее не то колит, не то дизентерия. Она лежит с высокой температурой — и очень тоскует по дому. Погода здесь очаровательная. Жаркие ясные дни — прохладные ночи. Мое здоровье тоже неважное, и санаторная жизнь начинает надоедать. Вчера я получил твою открытку; жаль, что ты не ответил в ней на вопрос о Берзине: устроился ли Берзин в «Правде»[367]? Если нет пусть идет в «Известия» от моего имени — к Андронову[368].

Очень смешно то, что ты пишешь о Гульке; жаль, что вы не сфотографировали его. Очень было бы любопытно потом посмотреть на него в этом возрасте. Снимите его, пожалуйста, и пришлите нам карточку. Твою «Падыспань»[369] мы с мамой прочитали прилежно. Хотел бы поговорить о ней при свидании, хотя это — твое *давнее* прошлое. Как идет новый роман[370]? Что сценарий? Вышла ли «Слава»? Появился ли наконец «Остров сокровищ»? Здесь отец и мать Лукницкие: влюбленно говорят о своем Павлике[371]. Я упорно занимаюсь еврейским языком — то есть ничего не делаю. Прочитал «Волшебную гору»[372] — действительно очень полноценная вещь. Ну, прощай. Целую Татку

и Гульку, Марине привет. Что Ирина[373]? — есть ли у тебя о ней сведения. Ты чудесно бы сделал, если бы написал нам большое письмо. О Бобе мы ничего не знаем. Приехал ли он? На днях я пошлю ему денег, т. к. уверен, что у него нет ни копейки.

П.

74. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

19 октября 1935 г. Ленинград

Милый папа.

Эйхлер сочинил, что я болен — я совершенно здоров.

В Москву мне очень хочется, но все прежние деловые побуждения ехать туда отпали одно за другим. Я собирался ехать, чтобы попытаться заключить с «Красной Новью» договор на мой новый роман. Но тем временем «Звезда» настойчиво предложила мне заключить договор с нею. Денег они дают больше, чем прежде давали. Поколебавшись, я решил, что тут дело верное, тут они во мне заинтересованы, а там, в «Красной Нови», я буду чем-то вроде просителя, что мне до черта надоело. И я подписал договор со «Звездою».

Кроме того, я собирался в Москву, чтобы повлиять на ход моих дел с «Межрабпомфильмом». Однако, дела сами завертелись достаточно быстро: начальство запретило «Межрабпомфильму» ставить картины на советском материале. «Межрабпомфильм» не будет ставить мой сценарий, уже принятый здешним их отделением. По этому случаю они решили не доплатить мне того, что остались еще должны — семь с половиною тысяч. Я подал на них в суд. Дело будут слушать на днях и, конечно, до суда я никуда выехать не могу. Мне жаль не денег, а сценария. Он вышел у меня, кажется, хорошо. Немного погодя попробую завести о нем речь с Ленфильмом.

Все-таки в Москву мне очень хочется, хоть без дела. Это решится на днях в зависимости от одного обстоятельства. Суть в том, что Зоя[374] сейчас в Москве, присутствует там на утверждении плана «Советского писателя». В этом плане две мои заявки — новый роман и переиздание «Юности»[375]. «Юность» они почти наверняка зарежут, могут зарезать и новый роман. Если они зарежут «Юность», имеет смысл предложить им переиздание «Славы»[376]. Когда-то они очень обижались, что «Славу» я отдал в Гослитиздат. Теперь переиздание «Славы» в Гослитиздате зарезал Луппол. Может быть, «Советский писатель» возьмется переиздать. Ради этого стоит ехать в Москву.

Я поехал бы 25-го. Вернулся бы 1-го. На днях Зоя вернется, я

все узнаю, обдумаю и дам тебе знать.

За роман свой я никак не могу приняться: есть множество соображений, записей, но все неясно, невнятно. Хочу начать, когда будет готов железный план, чтобы ничего не смять, как я многое смял в «Славе». А пока читаю кучу всяких брошюрок, относящихся к двадцать первому году и занят громадой всяких мелких и гнусных делишек: пересмотрел заново для переиздания моего Сетона Томпсона[377], поганый очеркишко написал о Казахстане[378], преподаю в лит-университете, начал учить французский язык.

Пишу все о себе, потому что о тебе ровно ничего не знаю, кроме того, что ты работаешь в музее у Бонча над какими-то некрасовскими рукописями.

Мама здорова, но выглядит она неважно — хуже, чем летом. Все бегает, все покупает. Но, кажется, довольна и спокойна.

Общелюбопытного в Ленинграде нет ничего. Погода аховая.

Напиши мне, не дожидаясь моего приезда, потому что бог еще знает, как все выйдет.

Коля.

19 окт. 1935.

Надеждинская, 9, кв. 31.

75. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

22 октября 1935 г. Москва[379]

Вначале, Коля, я прямо рассвирепел, когда узнал, что ты отдаешь свой роман «Звезде», т. к. я твердо уверен, что «Красная новь» взяла бы у тебя твое новое произведение с закрытыми глазами — и заплатила бы отличные деньги. Ты не учитываешь *новой* своей репутации. Я в Москве никого не вижу, да и то слышу о твоей «Славе». Вчера на улице подошел ко мне репортер «Вечерней Москвы»[380], стал говорить о «Славе», будто он первый открыл твое дарование. На пленуме писателей о тебе говорили с сочувствием. И проч., и проч., и проч.

Так что вначале я очень огорчился. А потом подумал: у тебя свой путь. Очень достойный — и, в сущности, правильный. Может быть, даже лучше печатать роман в малозаметном месте, чтобы потом уберечь свои нервы во время его писания. Тут «Звезда» под боком, все отношения с редакцией можно установить пятиминутным разговором, а здесь изволь ездить в Москву объясняться по поводу всякой главы. Так что, пожалуй, ты поступил мудро. Вышла ли статейка о «Славе» в «Литературном современнике»[381]?

С Межрабпомом лучше бы тебе договориться в Москве. Захвати, во всяком случае, твой сценарий. Здесь я лишний раз убедился в зловредности Эйхлера. Он сказал мне, что ты *очень* болен, что ты сам написал ему, будто твое здоровье все хуже — и что вследствие этого никакой речи о твоем приезде в Москву быть не может. «Остров сокровищ» выпущен им с огромным числом опечаток, т. к. он ленив и малограмотен. Вместо «вскрыть вену» он печатает «вскрыть рану» и проч.

Мне очень хочется домой, но проклятый Некрасов привязал меня к Москве, и — о, если бы я мог выкарабкаться! Ситуация получается слякотная, и надо быть настороже — ходить в ЦК, и в Литературный музей — при свидании сам увидишь.

Читал ли ты в 10-й книге «Красной нови» рассказ В. Гроссмана *«Муж и жена»*[382]*!* Вот великолепный мастер, стопроцентный художник, с изумительным глазом, психолог — если не сорвется, выпишется в большие писатели. Во всем романе Козакова[383] меньше ума и таланта, чем в нескольких строчках Гроссмана. После него трудно читать других советских писателей.

Отчего ты не написал ни слова о Тате, о Марине, о Гульке? О маме я думаю так: ей сейчас не нужно работать, не нужно бегать по магазинам, а нужно лечиться — нужно по-настоящему отдохнуть от Кисловодска и Ессентуков. Я не верю Чернорукому[384] — а других докторов мы не знаем. Было бы очень хорошо, если бы маму по-настоящему осмотрел Ловцкий[385] — и дал бы ей общее направление: то есть указал бы, к каким специалистам она должна обратиться, какой делать себе массаж, какие принимать ванны, что есть, что пить, как проводить свой день. Чем *скорее* мама сделает это, тем будет лучше.

Сейчас я завязываю отношения с комсомольцами, которые теперь стоят во главе Детгиза[386]. Я хочу дать им на рассмотрение «Один среди людоедов». Но книжки у меня нет.

Привези, пожалуйста!

76. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

23 октября 1935 г. Москва[387]

Коля, милый!

Эйхлер сказал мне, что ты приедешь 26-го. Это чудесно.

Захвати, пожалуйста, V т. Некрасова (изд. ГИХЛа), знаешь — тот, где «Письма». Этот том в шкафу (кажется), в том шкафу, что у меня в комнате. Или на полке, где Некрасов? В нем есть мои пометки, — целый ряд записей на последней странице.

Привези мне от мамы и от Лиды — письма.

Привези мне письма, которые за это время пришли ко мне на квартиру — все! И главное, привези мне мои *ЗУБЫ,* в нижнем ящике комода. Пожалуйста. Мои сломались — и я очень страдаю. Прямо с вокзала приезжай ко мне. Метро — до Охотного ряда.

Пип.

77. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

22 сентября 1936 г. Кореиз[388]

Милый Коля.

Напрасно ты бранил свой роман[389]. Те отрывки, которые нам удалось прочесть, очень и очень неплохи. Конечно, описательная часть много выше действенной, сюжетной, но тут уж ничего не поделаешь. Напиши, пожалуйста, как относятся к роману в Ленинграде, каковы вокруг него толки, что говорят о нем в ГИХЛ'е.

То полуобморочное состояние, которое было у меня в КИЕВЕ, прошло. Прошло не сразу — и после него остались в наследие лютые бессонницы, изводящие меня хуже всякой чахотки. Но той тяжести, которая давила меня, уже нет и в помине.

Здесь — жара. Нам странно читать, что Вы в Ленинграде ходите «без пальто». Мы ходим без пиджаков, без чулок — и то изнемогаем от солнца.

Мама, к сожалению, заболела своей аритмией. Сейчас проходит, а было пять суток очень мучительных. Мама много читает, у нее отличная комната, и вид у нее с балкона такой потрясающий, что никак нельзя к нему привыкнуть. Впрочем, она тебе сама напишет обо всем.

Скажи Татке, что я был в «Артеке» — и пришел в неистовый восторг. Это самое счастливое место на земном шаре. Я очень рад, что Татка побывала там. Пусть учится на отлично, чтобы еще раз провести там июль или август.

Дела у меня в Москве такие:

1. В каком положении «Лирика», которую я составил для старших ребят[390]?
2. Седьмое издание «От двух до пяти»[391]?
3. Стихи Квитко[392]?
4. Мои сказки?
5. Хуже собаки?

Адрес наш: Северный Кавказ. Кисловодск. Санатория КСУ.

Марине — любовь!

Мама напишет тебе завтра.

78. К. И. Чуковский — М.Н. и Н. К. Чуковским

Начало октября 1936 г.[393] *Сочи* Дорогие Марина и Коля!

Наваливаю на Вас кучу дел:

1-ое.) Пришлите мне (не по телеграфу) 500 рублей. Или попросите Детиздат выслать. Они мне должны. Если будет высылать Детиздат, пусть вышлет тысячу.

2-ое.) У меня не плачено за квартиру с августа. Посылаю Вам почтовые карточки, которые благоволите опустить в ящик. Я писал управдому, прося его выслать такие же карточки за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Этот олух не выслал. Возьмите у него, пожалуйста, и заполните по образцу этих.

3-ье.) Я должен за переплеты 100 рублей. Уладьте это дело, Христа ради.

4-ое.) Меня и М. Б. беспокоит судьба Бобы. Если он взят в армию, напишите об этом *мне,* но при этом прибавьте, что ему, мол, отлично, чтобы я мог в удобную минуту показать это письмо М. Б., которая только сейчас начала поправляться, да и то весьма относительно.

Очень рад предстоящему съезду молодых и старых Чуковских в Москве. Это Вы чудесно придумали!! Мы будем приблизительно числа 10-го. Спасибо, спасибо Марине за великолепное письмо. Коле надо отдохнуть вовсю, поездить по СССР, забыть о пере и бумаге.

Если Боба освобожден, телеграфируйте об этом.

Целую всех четырех. Я пишу… беллетристику. Выходит бездарно, но я пишу.

Здесь ночи стали *теплые.* Дни жаркие.

Спим при открытых дверях (на балкон). Воздух сверхъестественный. А Сочи! Сочи!

Yours[394] *K. Ch.*

79. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

23 октября 1936 г. Кисловодск[395]

Милый Коля! Спасибо тебе за возню с нашими скучнейшими делами. Оказывается, мама переплетчику *заплатила.* Тебе совсем не надо ходить в сберкассу. Достаточно будет, если ты опустишь прилагаемые карточки в ближайший почтовый ящик.

Здесь чудесно. Вчера была такая жара, что даже на горах душно. Мама уже оправилась после гриппа. Здесь старики Лукницкие. *Она* умирает от грудной жабы. Вчера они справляли 35-летие свадьбы. И представь себе: он отправился в город

покупать вино — и встретил своего шафера — того, кто держал над ним венец 35 лет назад!!

Здесь Мих. Лозинский. Читал свой чудесный перевод Данте[396].

Здесь Маршак. Интригует даже здесь и отравляет мне воздух.

Здесь Лежнев[397]. О сем умолчу.

Здесь академик Губкин[398]. Сидит с нами за одним столом. Ему 65 лет, а все зубы целы, шевелюра густая, как у юноши (седая), походка быстрая.

Здесь составитель алгебры Киселев[399]; ему 84 года, а он до того прыткий, что, стоит мне поговорить с кем-нибудь, он подбегает и спрашивает:

— С кем это вы говорили?

Марину целуем тысячу раз. Поздравляем ее с днем рождения. Надеемся отпраздновать этот день в Москве.

Pater.

80. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Конец октября 1936 г.[400] *Кисловодск* Милый Коля. Мы отсюда выезжаем 5-го. Я на несколько дней задержусь в Москве. Если тебе что нужно, черкни мне по адресу «Литер, газеты» или «Молодой гвардии».

Впрочем, успеешь и сюда. До сих пор живем мы в Кисловодске хорошо. Мама (не сглазить!) очень поправилась. Скучаем по *Вам.*

Твой.

81. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

3 ноября 1936 г. Кисловодск[401]

Дорогой Коля! Жара здесь египетская. Еле сижу — в легеньком белом костюме. Уже третий день стоят жгучие безветренные солнечные «погоды» — в одном только Кисловодске. Пятигорск и Ессентуки заволокло тучами, там ленинградский «мелкий дождичек», а здесь хоть бы облачко. Люди ходят с облупленными красными носами и пьют нарзан, как лошади. На склонах гор голые люди принимают солнечные ванны.

Я был в Кабардино-Балкарии — в Нальчике. Познакомился с Беталом Калмыковым [402], видел целодневное народное празднество, был на банкете с Буденным [403] и Постышевым[404]

и очень жалел, что мне не 32 года: все это так баснословно, легендарно, изумительно, радостно. Сейчас сижу у здания нарзанных ванн и жду, когда приедет наш автобус с учеными. Вчера было чествование нашего санаторного доктора. Я сказал такой экспромт (преплохой!):

Достопочтенные ученые,
В водах Нарзана кипяченые!
Взгляните в зеркало: увидите вы сами:
Вы были старцами, а сделались юнцами
С помолоделыми сердцами.
И силы юные, и юную красу
Вернуло вам родное наше КСУ.
Родное, да! здесь все для нас родное,
Но всех роднее он, наш доктор Айболит,
Которому горячее, простое
Спасибо сердце говорит, —
Спасибо за нарзан, за солнце, за упорный,
Неблагодарный, незаметный, черный,
Тяжелый труд — хвала ему, хвала
С Великого и Малого Седла!

Сегодня уезжает Маршак. На прощанье мы с ним расцеловались, хотя за последние 3–4 месяца он только и делает, что предает меня оптом и в розницу. И здесь, и в Нальчике, ставил мне подножку за подножкой. Эгоцентрическая хавронья! Черт с ним, не тронь его; ты побьешь его не как оратор Союза писателей, а как автор книги «Тихий океан»[405]. Мы с мамой страшно счастливы, что тебе заказана такая книга: ее прочтет каждый 13-летний мальчишка советской страны. Я теперь побывал в лагерях, в школах, в библиотеках четырех республик — и ручаюсь тебе, что такая книга нужна до зарезу и что, если к ней дадут хорошие рисунки, она будет издаваться и переиздаваться до конца твоих дней.

По-моему, незачем тебе делать «Затерянный мир»[406]. Вложи всю энергию в книгу, и тебе обеспечено почетное место в детской литературе!

Целую Марину, Тату, Гульку!

Мама здорова. Нарзанные ванны имеют на нее магическое действие: она порозовела, окрепла, взбирается на высоченные горы!

Мы будем в Москве 16-го. Рады будем провести там время с вами!

Твой К. Ч.

82. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

12 ноября 1936 г. Кисловодск[407]

12/XI.

Милый Коля. Сегодня мы едем в Москву. Даже странно, что где-то есть холод и слякоть. Здесь безветрие, солнце, синее небо. Вчера я ездил на высокую гору, откуда видел весь Эльбрус, весь Кавказский хребет — и там, на высоте было так жарко, что я в *белом костюме* лежал на траве. А кругом кузнечики, жуки, мотыльки.

Сейчас я прочитал книгу: Б. А. Зенкович «Вокруг света за китами» (Молодая Гвардия, Ленинградское отделение, 1936). Там на стр. 48–51 есть интересный эпизод, относящийся к капитану Куку. Может быть, тебе пригодится [408].

Здесь в КСУ все читают твой «Княжий двор» [409], и всем нравится.

Привет Марине, Тате, Гуленьке. До скорого свидания. У меня — летнее пальто и летние костюмы. Ах, если бы вы привезли мне мое зимнее!

Пип.

83. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

10 сентября 1937 г. Кисловодск[410]

Милый Коля. Как-то вы все живете? Я слыхал, что у Таты была ангина, но теперь как будто она поправляется. Здесь отлично. Кисловодск в этом году как-то особенно прелестен. Днем синева и жара, вечера прохладны, иногда дожди, грозы. Воздух необыкновенен — я ни на секунду не закрываю балкона. Мама приехала сюда *очень* больной, врачи хмурились, когда глядели ее, но сейчас ей лучше, она повеселела, посвежела и вчера приняла первую нарзанную ванну. Народ здесь симпатичный — старики — много орденоносцев, академики. Ужасно волнуют провокации фашистов, пытающиеся вызвать войну. Но не сомневаюсь, что в другой обстановке это волновало бы еще сильнее. Здесь Асеев[411], Лежнев, Анатолий Виноградов[412], акад. Ферсман[413], акад. Горбунов[414]. Пролетел кометой Стенич. Интересно, кого назначат вместо Цыпина[415]. Я видел Цыпина накануне его падения. Он был придавлен и готов ко всему. Надеюсь, что Вы уже переехали на квартиру. Напиши нам большое письмо о себе, о Марине. Я написал в «Правду» фельетон — о детях[416]. Сильно переделал «От 2 до 5», вписал туда несколько новых глав. Пишешь ли ты роман? Мы надеемся,

что войны не будет. Привет Гульке и Татке.

К. Ч.

Что поделывает Лидочка[417]? Здесь, между нами говоря, Цезарь. Ходит, мерин, по горам, и читает на Большом Седле корректуру Жуковского[418]. Ей не говори, ей будет больно. Он очень мил, здоров, проживет лет сто или больше. Между тем, конечно, в Кисловодске надлежало бы жить *ей.*

84. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

29 сентября 1937 г. Кисловодск[419]

Милый Коля. Вот наш адрес: *Крым, Кореиз, Гаспра, санатория КСУ*. 30-го мы едем туда. Спасибо тебе за письмо. Мы узнали из него все детиздатские новости. Должно быть, ты видел мою статейку в «Правде». Я послал ее *по телеграфу,* телеграмма стоила 136 рублей, и в печати *не узнал,* так все было перековеркано телеграфом. Погода здесь жаркая, воздух сладок и ясен, какие цветы, какие горы! Не хочется уезжать. Каково-то будет в Крыму? От Бобы мы получили много писем. Он впервые очутился в *своей* среде — литературной. И там его вполне оценили: я получил оттуда сведения, что и Лавренев, и Зощенко, и другие полюбили его. Не хочешь ли ты приехать на месяц в Крым? Писать здесь отлично, а насчет комнаты я похлопочу. Если хочешь и можешь приехать, телеграфируй. Мама *поправляется.* Я же как-то сразу постарел, и это, очевидно, надолго. Как твоя «Слава»? Будет новое издание[420]? Целую Марину, Тату. Гульке привет от деда и бабы. Устроилось ли у тебя дело с кино? Пишешь ли ты Ярославский роман[421]?

Твой отец, К. Ч.

85. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

4 октября 1937 г. Сочи[422]

Дорогой Коля. Мы застряли в Сочи. На море был шторм, и мы не решились выехать третьего дня. Сидим в гостинице «Ривьере», гуляем, ездим в Хосту, в Гагры, на гору Ахун. Вчера я купался, катался в лодке. Температура моря 24 градуса, и сочинцы ропщут, что мало. Завтра едем, наконец, в Крым (Кореиз, Гаспра, санатория КСУ). Мама *очень* поправилась. У нее хороший цвет лица, отличное самочувствие, она целый день на ногах, ее изумительно поправил нарзан. В Кисловодске образовался целый культ Марии Борисовны Ч. — когда мы уезжали, ее поехали

провожать поклонники и поклонницы: она получила 6 букетов роз. — Я как будто тоже поправился, но букета не получил ни одного. Здесь был Стенич, мелькнул метеором и умчался в Коктебель к жене. Маму и меня волнует Лидино здоровье. Видел ли ты Бобу? Каковы его планы? Что поделывает Нина[423]? Мама купила для нее какую-то накидку, но еще не послала: так как накидка маме не нравится. Видел здесь Фриму[424] (б. жену Антона Шварца[425]). Она вам кланяется. Привет Гульке, Татке. Марину обнимаю. Ничего не пишу, надоело. Напиши мне в Гаспру письмо. Проси Катю[426] поселиться у нас! Привет ей.

К. Ч.

86. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

19 октября 1937 г. Кореиз[427]

Коля, дорогой! Что же с Гулькой? Надеюсь, уже все обошлось. Таточке скажи, что я был в Артеке, видел пионервожатого Леву, который ей кланяется. Видел Лиду. *Говоря между нами* — она безумная. Я всю жизнь ненавидел маршаковщину, считал всю редакцию Ленинградского Детиздата — бессмысленной и нелепой, но сейчас мне жалко бедную Лиду[428] до слез… Настроение у меня бодрое; я душевно спокоен. Конечно, Асеев ругал меня не случайно[429], но ей богу нужно быть выше этого. И я — выше. Черт возьми, я 30 лет отдал литературе не для того, чтобы меня волновали Асеевы. Внутренне я от него не завишу. Привет Марине. Мы — из-за Люши — приедем после праздников. Хорошо было бы, если бы ты привез в Москву мою шубу и мой синий костюм — боюсь, как бы в пути не простудиться. Добудь их из недр квартиры — и приготовься к телеграмме о дне выезда. Надо бы присобачить дело так, чтобы ты мог встретить нас на Курском вокзале. Подробности в следующих письмах. Если ты сочтешь по ходу дел необходимым мой приезд *раньше,* телеграфируй, я приеду.

Кое-что написал, но… неохота работать: болен, устал. Я и бросил.

87. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

2 ноября 1937 г. Кореиз[430]

Милый Коля. Посылаю тебе письмо Эйхлера[431]. Немедленно напиши Андрееву[432]. Непременно приезжай в Москву бороться за книгу о Тихом океане[433]. Понять не могу, почему Томпсон

откладывается на 1939 год[434] — это такая насущная книга. Но в общем наши (твои и мои) фонды стоят вовсе не так низко, как мы думали.

Пальто мое пусть сложат вдвое, обвернут газетами и перевяжут бечевкой. Такожде и костюм! Приезжай в Москву международным — легче будет везти эти вещи. Как жаль, что Марина без домработницы. Не привезти ли отсюда хохлушку? Маме лучше. Люша поправляется.

Твой К. Ч.

88. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Середина ноября 1937 г.[435] *Москва*

Милый Коля. Мы с тобой тогда очень свирепо накричали на маму. Правда, мы этого не хотели, но так вышло. На маму эта грубость произвела впечатление убийственное: она заболела, у нее обострилась сердечная болезнь, ночь она провела без сна. Поди к ней, загладь свой проступок. Ты вообще по отношению к ней черствоват. Поведи ее в театр, в кино. Вообще отвлеки ее от навязчивых мыслей. Деньги уже переведены ею на *твое* имя.

Твой Ч.

89. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

18 февраля 1938 г. Узкое[436]

Милый Коля. Чудесно вы надумали — ехать весною в Ялту. Но не будет ли вредно Гульке? Такая перемена климата. И кроме того — от моря далеко. Не хочешь ли ты, чтобы я сделал попытку устроить вас в Бати Лимане? Кажется, мне это удастся. Больно думать, что Марина давно уже не была нигде, кроме Сестрорецка. Ты-то хоть в Переделкине побегал на лыжах с своим лилипутиком, а она совсем закастрюлилась.

Здесь идеально. Московские снега чудесны. Воздух сухой, морозный, пейзажи левитановские, люди хорошие, даже Маршак не мешает. Ходит тоненький, сонненький и совершенно невинный. Мама поправляется; уже не та, какой ты видел ее в Москве, но иногда не спит, иногда жалуется на сердце, но все же приятно слышать ее смех, какого давно уже мы не слыхали до Узкого. Здесь Щепкина-Куперник[437], автор учебника истории Шестаков[438], академик Чаплыгин[439], дочь Станиславского[440] — всё очень милые люди. Я корплю над повестью. Но пишется вяло, и я все время чувствую, что взялся не за свое дело. Она уже

набирается и выйдет скоро во 2-м, 3-м и 4-м номере «Пионера»[441].

Сегодня я был в Москве и нарочно спрашивал о тебе в «Знамени». То есть не о твоем романе, а вообще: не видали ли они тебя, не было ли от тебя слухов, вестей. Отвечают: «нет». По-моему: если б у них были серьезные намерения насчет твоего романа, они сказали бы.

Квартира висит в воздухе, но авось чего-нибудь добьемся. С дачей большая возня, ну ее! Гораздо лучше снимать у хозяев и платить вчетверо дороже — да не заботиться о каждом гвозде.

В Детиздате новость: печатаются только военные книжки. Остальные отложены на неопределенное время… Эйхлера все еще нет.

Я чувствую себя гораздо лучше, чем в городе. Человек я куоккальский — и ничего с этим не сделаешь. Таточке — привет. Гульке — привет! Марине — поцелуй. Бобе поклон. Марина прелестно написала о Гульке и Люше: как он растирал ее слезы ножкой.

Ну, вот и все.

К. Ч.

Коля, на мое имя пришли авторские экземпляры из Москвы[442]. Удалось ли получить их с почты? Узнай, пожалуйста. Если нет, я пришлю доверенность.

90. Н. К. Чуковский — К. И.и М. Б. Чуковским

3 марта 1938 г. Ленинград

Милые мама и папа!

Когда вы переезжаете из Узкого в Москву и где там будете жить?

Непременно пришлите мне поскорей свой московский адрес.

А когда собираетесь в Ленинград?

Живем мы по-прежнему. Я много работаю над романом [443]. Роман, кажется, получается, хотя я к нему совершенно холоден и пишу механически. С переизданиями «Славы» и «Княжьего угла» видимо ничего не выходит[444] но и это меня мало трогает — душа одеревенела. Детиздат обещает прислать мне договора на перевод «Лимермурской невесты» и «Хижины дяди Тома»[445]. Этому рад, с удовольствием займусь сейчас переводами — спокойный механический труд, отнимающий много времени.

Мы твердо решили ехать 15 апреля в Крым — Марина, Гулька и я. Но проклятый московский Литфонд до сих пор не дает нам ответа, будет путевка или нет.

Как ваше здоровье?

Как квартира?

Папа, ты кончил повесть[446]?

Пишите нам чаще.

Коля.

3 марта 1938.

91. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

14 марта 1938 г. Москва[447]

Коля!

Плюнь на скуку,
Морскую суку,
И знай штуку!

А штука такая: пришли мне свою повесть, — новую, те главы, кои написаны, и авось я их (т. е. ее) устрою в «Молодой Гвардии» [448], каковая реорганизуется — и будет первым журналом СССР.

Второе: видел я Накорякова. Он, кажется, вновь будет призван[449]. Он говорил о твоей «Славе», будто ты обещал переделать ее, прибавить две главы. Знаешь ли ты об этом. Или

он что-то путает?

Маме лучше. Но она все еще слаба. Я здесь задерживаюсь, т. к. моя повесть сразу идет в трех местах: в Детиздате, в «Молодой гвардии» (журнале) и в «Пионере»[450]. Каждый редактор крутит мне голову по-своему.

Надеюсь, что в середине апреля ты на юге!!

Как таткин спектакль[451]?

Марину целуем!

Папа.

92. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

3 мая 1938 г. Ленинград[452]

Милый Коля.

От тебя ни слуху ни духу. Стыдно-с. Даже на телеграмму не ответил. Хорошо ли доехала Марина? Удобно ли устроилась? Как реагирует Гулька на ту скучную дрянь, которая окружает его? Покорила ли Марина сердца Гусихи и Асеихи[453]?

Сейчас получил от Лиды письмо. Изображает себя *моей* жертвой. Я, видишь ли, *приказал* ей уехать из Киева, и она, повинуясь моим велениям, едет в Крым!!!

Скажи ей, что все это — мифы. Зная, как ненавистен ей Крым, я ни звука не говорил о Крыме. Зачем ей ехать туда в такую жару, понять не могу. Да и зачем ей ехать куда бы то ни было? И зачем воображать меня каким-то тираном? Или трусом? Впрочем, это все естественно в ее положении, и дико мне было бы сердиться на больную, загнанную, бесконечно несчастную женщину.

Я послал ей длиннейшую телеграмму, уговаривая остаться в Киеве — или где она хочет, — но боюсь, что телеграмма запоздала… В таком случае — ты увидишься с ней (на что ей это свидание, я понять не могу!!!) — сообщи ей, что полученную от нее телеграмму-доверенность я лично предъявлю кому следует, что Люша цветет, что на изгнание Иды[454] никто у нас не покушается и, главное, что есть признаки, что положение Лиды и Катеньки Л[455], и тысяч других Лид и Катенек стало тверже, прочнее[456].

Купаешься ли ты? Вообще, как проводишь день. С кем, кроме Рахманова[457], дружишь? Видел вчера Татку, она была у нас, говорила со мной покровительственно. Здорова, толста, бесконечно мила. Была у нас Мария Николаевна[458], получившая путевку под Лугу.

Я кончил воспоминания о Горьком[459].

Корплю над сволочной повестушкой[460].

Твой Ч.

Марину глажу по седеющим волосам.

Гуле привет! Мама переутомлена. Кланяется вам. Татка ропщет: почему не пишете?

93. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

15 мая 1938 г. Одесса

Милый папа.

Мы второй день в Одессе, на Большом Фонтане. Здесь прекрасно — тихо, пустынно, солнце печет. Сегодня в первый раз выкупался. Этот украинский писательский дом отдыха находится в бывшей даче Федорова[461] — ты, верно, знаешь. Здесь пока кроме нас никого нет.

Ехали мы из Ялты пароходом. Выехали в дождливый день, горы были скрыты туманом. А подъехали вчера к Одессе — порт, мол, маяк, корабли, город — все сверкало на солнце. Лида ехала с нами. На пароходе мы жили очень дружно. Мне кажется, Ялта несколько успокоила ее и отвлекла, хотя она это решительно отрицает. Она загорела и даже, по-моему, поправилась. Вчера вторую половину дня провела с нами в доме отдыха, мы гуляли с ней по бурым буграм на берегу. Вечером я посадил ее в трамвай, она уехала на вокзал и оттуда отправилась в Киев.

Здесь у нас путевки до 1 июня. Быть может, мы их немного продлим, это еще не решено. Я бы остался здесь дней на 10 сверх срока, но меня волнуют мои дела в Ленинграде. Дел этих два, и оба на пять минут. Я хочу попросить тебя, если тебя не затруднит, позвонить по двум телефонам и сразу сообщить сюда результат.

Во-первых, позвони в Гослитиздат, в литхудотдел, тел., кажется, 184–61, вызови тов. Гессен[462] или тов. Колесеня[463] и спроси от моего имени, находится ли 2-ое изд. «Княжьего Угла» в производстве, когда будет которая корректура и когда по их предположениям книга выйдет в свет[464].

Во-вторых, позвони Мише Слонимскому[465]. Телефон 5–76–97. Уезжая, я сдал в «Звезду» начало моего «Ярославля». Со мной заключили договор, но рукописи до моего отъезда прочесть не успели. Мне обещали, что роман пойдет с 7 № «Звезды» (июль — двадцатилетие изображаемых мною событий). Первым должен был читать член редколлегии Слонимский. Две недели назад я написал из Ялты Слонимскому открытку, и *он мне ничего не ответил.* Это меня встревожило. Спроси его от моего имени: 1) Читал ли он начало романа. 2) Каково решение редколлегии. 3) Пошла ли рукопись в набор для 7 №. В рассуждения с ним не

пускайся и ничего не предпринимай, но непременно напиши мне все, что он ответит. Мне нужно знать, т. к. из Одессы я заеду в Москву и, если в «Звезде» с романом что-нибудь, не дай Бог, не в порядке, я попытаюсь поговорить с московскими журналами. Впрочем, это только на худой конец. И, *пожалуйста,* в случае отказа «Звезды» или какого-нибудь сомнительного ответа *никому об этом не рассказывай,* чтобы не повредить роману. Будет очень неприятно, если об этом узнают Гослитиздат или Детиздат, или кинофабрика, а такие известия передаются как по телеграфу.

Но, вернее всего, я волнуюсь напрасно, и Мишка не ответил мне просто по небрежности. Работаю я много, работа идет, и роман мне нравится.

Как Ваша дача? Напиши мне о своей повести и о вашей жизни, ведь я ничего не знаю. Когда ты будешь в Москве? Не удастся ли нам там встретиться? Где мама и как ее здоровье? Жду ответа.

Коля.

15 мая 1938.

Мой адрес: Одесса, Большой Фонтан, станция Ковалевского, дом отдыха писателей.

94. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

19 мая 1938 г. Ленинград[466]

Слонимскому роман нравится, пойдет седьмой книжке «Звезды».

Чуковский.

95. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

20 мая 1938 г. Ленинград[467]

Милый Коля. Я пригласил Мишу Слонимского к нам. Он долго говорил, как растет твое дарование, как ему понравился твой «Ярославль». *«Ярославль» уже набирается для июльской книги «Звезды».* В успехе этой вещи он не сомневается. (Вообще он очень милый!)

Позвонил я в Гослитиздат. Там мне сказали, что твой «Угол» набран, и ждут бумаги. Бумаги сейчас нет, но она *будет,* и твоя книга пойдет в первую очередь. В июле выйдет в свет. Но тут же завопили:

— Где же, черт возьми, «Ярославль»!?? Обещал сдать в мае!.. Просрочил!!

Просят сдать книгу хотя бы в июне…

В общем и там, и здесь ситуация очень неплохая. Если ты напишешь в Гослитиздат, чтобы подождали до июля, подождут[468].

Мне кажется, тебе нужно сделать вот что:

Немедленно написать в «Огонек» Ефиму Давидовичу Зозуле[469], в «Смену» (т. Гольдбергу[470]) о том, что через два месяца юбилей Ярославля, что ты готов предоставить им отрывки из твоего романа. Дай им по главе. Они у тебя с руками и ногами оторвут. Хорошо бы дать отрывок в «Лит. газету» — тов. Пёльсон[471] (she).

Я рад, что тебе пишется хорошо.

С Мариной я, конечно, не прочь помириться. Я привык любить ее и считать одной из лучших женщин в мире, но, конечно, она поступила с Лидой непедагогично. О, если бы она видела, какое письмо написала мне Лида!!! Смысл письма такой:

— Оказывается, папаша, ты брехал, будто с Люшей все благополучно. У тебя, папаша, терзают Иду, как в застенке, поэтому благоволи поместить Иду на Загородном, пусть живет, ничего не делая вместе со своим Маттей[472], плати ей за это безделье рублей 400 в месяц, а мама пусть делает на Люшу всю черную работу, в наказание, зачем она не уберегла Иду от Нины. Меня это тупосердие взорвало. Все письмо написано так, будто мы солидарны с Ниной[473]. Между тем, мы ненавидим это животное, губящее Бобу (и Нина знает, что мы ненавидим ее). Я сгоряча послал Марине ругательную телеграмму; да и нельзя было не послать, потому что она *зря* разволновала Лиду (ведь Нина уже на Сиверской, далеко от Иды, с которой никогда не встретится), *зря* разволновала маму, которая две ночи не спала из-за Лидиного благородного письма; *зря* разволновала меня. Теперь уже все успокоилось, и все хорошо. Главное, хорошо то, что в доме у нас нет Нины.

Мне страшно захотелось в Одессу — сейчас. Завтра я еду в Москву, телеграфируй мне на Детиздат, советуешь ли приехать. Тихо ли там? Есть ли комната?

Внешне у меня дела неплохие: вышел «Айболит» — увеличенное издании[474], довольно толстая книга, 21-го выходят мои «Сказки»[475]. Я написал неплохие воспоминания о Горьком. (Говоря по секрету, я получил письмо от заведующего Мосжилотделом: мне дают квартиру в Москве, я поэтому и еду), — но я так ужасно недоволен своей повестушкой, так устал, меня так мучает мамино нездоровье, что я тоскую как никогда. Счастье, что хоть с Лидой как будто обошлось. Есть много косвенных данных, что она будет безмятежно проживать в

Ленинграде. Тату я видаю, но редко. Возил ее и Иннику[476] на один спектакль — у них все хорошо. Она показывает мне все ваши письма. Продолжает ли Марина переводить? Оставайся в Одессе подольше.

Твой отец.

Мария Николаевна весела и здорова.

96. Н. К. Чуковский — К. И.и М. Б. Чуковским

14 июля 1938 г. Луга

Милые родители, я ничего о вас не знаю. Вы удрали от детей, и даже не пишете. Как у вас в Переделкине? Собираетесь ли в Ленинград? Когда поедете на юг? Все это меня чрезвычайно интересует. Быть может, в середине августа я буду в Москве. Если вы к тому времени еще не уедете на юг, я заеду к вам. Сижу я в Луге, в Ленинград почти не езжу (туда и пишите, т. е. в Лугу!), до сих пор мучаюсь над романом, а конца ему не видно. Первая половина его будет, вероятно, напечатана в девятой книжке «Звезды»[477]. Марина и Гулька после юга болели гриппом, но теперь поправились. Пишите.

Коля.

14 июля 1938 г.

97. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

29 июля 1938 г. Москва[478]

Дорогой Коля.

На юг мы поедем в октябре. До той поры дача № 13 к Вашим услугам. Письмо твое слишком кратко. Ты ничего не пишешь о Татке, о Гульке, о Марине. Авось, после моего ответа ты станешь щедрее. Итак — раньше всего о даче. Дача изумительная. Будто специально для меня приспособлена. Две террасы — на восток и на запад — дают мне возможность работать на воздухе целые дни. Тишина полная. Зимою она будет холодновата, но я весь август употреблю на ее отепление. Обобью полы, исправлю печи. Мама — хоть и трудно ей на первых порах — тоже удовлетворена, как мне кажется. Здоровье ее в здешнем благодатном климате улучшилось. Никаких простудных явлений, нет прежней раздражительности, сердечные боли не повторились ни разу.

Писатели мне не мешают. Уже выяснилось, что водиться я буду с Всев. Ивановым[479], Фединым[480], Лидиным[481], Пастернаком, Сейфуллиной[482], а не с Треневым[483],

Павленкой[484] и Погодиным[485]. Это очень успокоительно. Каждый день я хожу босиком под жгучим солнцем по степи, ложусь рано, много работаю. Бессонницы не было ни одной, а этого со мною не бывало лет 30: чтобы целый месяц спать каждую ночь подряд. Правда, я очень постарел, но чувствую себя очень неплохо. Работа моя такая: я сильно переделал свою проклятую «повесть». Сделал из повести — воспоминания, ввел много длиннот, побочных эпизодов и вышло как будто живее, менее литературно, озаглавил повесть «Так было» — и сдал в набор[486].

Готовлю для «Молодой гвардии» книжку воспоминаний о Репине, Горьком и Маяковском[487]. Они издадут с удовольствием. Хочу переиздать «Искусство перевода»[488] и «Уитмэна»[489]. Взялся написать «Жизнь Некрасова»[490]. Готовлю 9-ое издание «От двух до пяти», которое будет озаглавлено так «От двух до пяти и другие очерки о детях»[491].

Кольцов[492] пригласил меня снова в «Правду». Очень не хватает мне пишущей машинки и книг, которые в Ленинграде. Сколько раз я просил Анну Георгиевну[493] выслать — и ни слуху, ни духу. Если будешь в Ленинграде, узнай, в чем дело. Очевидно, на мое имя пришла куча писем. Я просил прислать мне все письма. Не получил ни одного. Если будешь ехать к нам, захвати «Чукоккалу» и письма. Соседи мои Лапин[494] и Хацревин[495] — милые, тонкие, забавные люди. Вчера у меня на скамье сидели рядом: Шагинян (дочь)[496], Багрицкий (сын)[497] и Иванов (сын Всеволода)[498]. Странно, что дети здесь хуже родителей: ни Багрицкий-сын, ни Шагинян-дочь не знают иностран. языков (родители знали). Дети Пастернака[499] — хулиганы, а сын Багрицкого, который «тоже пишет стихи», прочитал мне вчера:

> До чего щегол ты,
> До чего ты щегловит![500]

То есть выдал стихи Мандельштама за свои!!! Я уличил его. Он не сконфузился.

…Видишь, какое я написал тебе письмо. Такого же подробного жду от тебя. Почему ты «мучаешься» с повестью? Как живется Вам в Луге? С кем ты водишься больше всего? Что делает и говорит Гуля? Боба писал мне, что он сказочно вырос. Воображаю, какая гигантесса Татка. Вот по ком я скучаю — по Татке. Чем она теперь занята? Что читает, с кем дружит? Марина совершенно напрасно сердится на меня. Пора бы перестать. Где Мария Николаевна? Обещала заехать к нам — и обманула. Дружишь ли ты с Тыняновым[501]? Он обиделся на меня зря. Он хотел придти ко мне, я сказал, что приду к нему, а в это время

началась история с Лидой и я *не мог* повидаться с ним. Очень больно, что он сердится на меня, уговори его и Марину сменить гнев на милость. Что «Хижина дяди Тома»? Лапин, Хацревин и Пастернак тебе кланяются. Федин говорит о тебе так дружески, что мама сразу полюбила Федина. Где и как живет Ирина Рейнке? Как здоровье Юрия Николаевича и Елены Александровны[502]?

У нас 1½ месяца не было ни одного дождя. Я бреюсь сам — безопасной бритвой. Единственная здесь неприятность — осы. Чуть сядешь есть — десятки ос. В начале августа буду строить гараж.

Требую столь же длинного и немедленного письма.

К. Ч.

98. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

4 августа 1938 г. [503]*Переделкино*

Милый Коля! Может быть, тебе будет приятно узнать, что сегодня вечером у Всеволода Иванова Пастернак и Федин прочитали твой перевод из Мэсфильда[504] и очень хвалили его. И вспоминали твою прозу и хвалили ее поэтичность. Федин вспомнил твой рассказ о Каторжнике[505] — восхищался многими деталями.

Но как странно и как страшно в августе 1938 года читать стихи об августе 1914.

Здесь говорят, что войны не будет. Когда ты приедешь? Тут чудесно. Надеюсь, все здоровы. Одолевают нас соседи и репортеры. Третьего дня были с визитом Леоновы[506], потом пришли Лапин и Хацревин, потом Ромашовы[507], и т. д.

Репортеры приезжают в Переделкино — сразу ко всем писателям. И обходят все дачи, и прогнать их нет сил. Насколько лучше в Луге!

Привет Слонимским, Каверину, Ю. Н. Какой адрес Ю. Н.[508]? Его разыскивает для чего-то А. В. Косарев[509].

Целую Марину, Тату, Гульку.

99. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

10 октября 1938 г. Кисловодск[510]

Дорогой Коля.

Очень хотелось бы знать о тебе. О Марине. О Тате. О Гульке.

Приключения наши здесь таковы: санатория КСУ преобразилась в санаторию ВОКС'а. Из-за этого она стала гораздо

хуже. Набита доверху всяческой шушерой, в каждой комнате по два, по три человека, врачи сбились с ног, прислуга затуркана. Маму поместили в холодной комнате «на время». Она дрожит, меряет температуру, не может до сих пор распаковать чемоданы. Настроение у нее очень мрачное, хотя по моим наблюдениям она все же начала поправляться.

Я получил отдельную комнату, но шумную. Рядом какие-то моряки режутся в домино, зверски стуча по столу костяшками.

Напиши мне подробно о твоем романе. Вышли ли уже первые главы? Какова реакция читателей? Получил ли ты деньги за этот роман от Детиздата?

Выиграл ли кино-процесс?

Нравится ли тебе фильм Арнштама «Друзья»? Говорят, фильм так себе, ординарный. Лёля всегда говорит об искусстве лучше, чем делает его: рассказывал он об этом фильме обаятельно.

Что Боб? Скажи Марине, что я свято храню ее тайну, но оказывается, мама знает больше, чем мы трое.

Помнит ли еще Гулька «Антропку» и «дилижанс как арбуз», или эти цитаты сменились новыми? Какими?

Соблюдает ли Татка порядок на своей книжной полке? Что сделала она с английской книгой о ботанических бульбах? Удалось ли устроить ее в Ботанический сад? Взяла ли она под свое покровительство Люшеньку?

Здесь был Тарле[511]. Мы беседовали с ним часами. Сверкающий человек. Может говорить о чем угодно — об Австрии, о Немировиче-Данченко[512], об Илюшке Василевском[513], об очередях, о французах — десятки анекдотов, вызывающих хохот.

Мы с мамой попросили его осветить нам современные события, и он прочитал нам замечательную лекцию о Даладье[514], Гитлере[515], Чемберлене[516] и прочих бандитах. Жаль, что слушателями были только мы двое.

Сегодня 10/X маме значительно лучше, она повеселела, ей назначили нарзанные ванны, и мне кажется, что она выкарабкивается из своей болезни.

Как обстоит дело с «Хижиной дяди Тома»?

Очень хочется в Ленинград. О Москве думаю с тошнотой.

Ну, всего.

К. Ч.

Сейчас получил от Займовского[517] такое письмо: «Сегодня я узнал, что выходит скоро Мюнхаузен — переиздание того, что было выпущено под Вашей редакцией во „Всем. Лит.“ в 1923[518].

Редакция Ваша остается, разумеется, но перевод-то ведь мой. Это почти дословная перепечатка части рассказов из моего

перевода Распе[519] в издании „Пользы“[520]. Я думаю, Вы вряд ли имеете что-нибудь против того, чтобы это было восстановлено и гонорар, причитающийся мне, был выплачен».

Что посоветуешь ты ответить этому нахалу?

100. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

18 ноября 1938 г. Ленинград

Милый папа!

Не писал тебе, потому что не знал твоего адреса. А вот отчего ни ты, ни мама ничего мне не написали?

Как мамино здоровье? Ее падение с моста очень нас всех напугало. Поправилась ли она? Непременно напиши мне об этом подробно и сразу же.

Какие у вас житейские планы? Где вы собираетесь провести зиму? Как с квартирой в Москве? Можно ли зимовать в Переделкине? Когда собираетесь в Ленинград?

Я живу суматошливо и по уши занят делами, которые мне совсем не нужны. Два раза смотался в Москву из-за плана Ленгослитиздата, в котором нет ни одной моей строчки. «Хижину дяди Тома» мы с Маринкой благополучно кончили и отослали Домбровской[521]. Маринка перевела 31 главу, я последних 13. Они не только не прислали мне денег (ведь у меня договор отдельный от тебя), но даже не известили, что рукопись получена. Андреев (директор) и Эйхлер обещали мне сразу по получении рукописи «Хижины дяди Тома» выслать мне договор на роман Вальтер Скотта[522], чтобы я мог приняться за работу без простоя. И не выслали. А мне не хочется ничего нового своего писать, хочу переводить.

В Москве я видел Ал. Н. Тихонова, который обещал дать мне переводить для Гослитиздата «Черную стрелу» Стивенсона[523]. Я напомнил ему письмом, но он даже не ответил. Спроси его, если с ним встретишься. Спроси также и Эйхлера, почему он мне не ответил на письмо.

«Ярославль» мой в Ленгослитиздате печатается. Отношение к нему пока хорошее. «Кн. угла» (2-ое изд.) начали уже поступать чистые листы.

Тем временем, неизвестно для чего, я перевел «Улялюм» Эдгара По[524]. Посылаю тебе. Перевод точен, и по ритму, и по смыслу, и по характеру рифм. Только вымышленные географические названия заменил другими. Прочти его и напиши мне, что ты о нем думаешь.

Очень жду от тебя письма.

Маринка шлет вам привет.

Дети наши болели ангиной, но теперь оба здоровы. Квартиру нашу мы перестроили — выкроили из кухни новую комнату (без окна). Этот ремонт сил у нас отнял массу, но зато теперь хорошо.

Коля.

18 ноября 1938.

Пожалуйста, если тебе не трудно, узнай у Эйхлера, почему он не высылает мне договор на Вальтер Скотта, как было условлено.

Не говори в Детиздате, сколько перевела Марина и сколько я, а то они начнут зря придираться.

101. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

20 ноября 1938 г. Москва[525]

Милый Коля. Раньше всего о твоем переводе. Колорит передан очень хорошо, хотя, конечно, нет этой тревоги и загадочности, проникающей *каждое слово*. Словарь выдержан не всюду:

«целовал ее *звонко*»

это Некрасов, а не Эдгар По. *«Сестрёнка»* — тоже тривиально и жанрово. Дико называть Психею, волочащую крылья по камням — сестрёнкой. Это все равно, что Прометея назвать: «братишечка».

В ритмическом отношении меня не удовлетворяет строка: «Бегущий со скал горы Леи». — Очень сбивчивый амфибрахий, получается «скалгоры» или «горылеи».

Возражаю я также против: «Разговор наш был грустный и серый», но не очень. Пожалуй, это может остаться, но все же здесь есть оттенок тривиальности: «у нас был серый разговор», «была такая серая скука» и проч. Вообще crisped and sere это изысканно, а «грустны и серы» — тривиально.

Больше всего мне понравились строфы:

«Еще плотен был мрак уходящий»,

«Я сказал горячей, чем Диана»,

«Я ответил: — Нас манит сиянье»

и

«Стал я сразу печальный и серый».

Эти строфы показывают в тебе силача и безупречного мастера. Я уверен, что перевод Бальмонта и в подметки твоему не годится.

Итак: перевод отличный, но над ним надо еще поработать.

Сообщаю тебе то, что знаю о твоих делах в Детиздате. «Хижина» получена. Через несколько дней я принимаюсь за ее редактуру. Редактор уже читал ее. Она ему страшно понравилась. Он говорит, что сокращения сделаны очень умело и что перевод превосходен (по общему впечатлению, если не вникать в детали).

Денег тебе не прислали потому, что *денег нет.* Детиздат, не выпускающий никакой продукции из-за отсутствия бумаги, ниоткуда не получает денег — и еле-еле платит жалованье. Через месяц положение изменится.

Отчего вылетели из Правления Слонимский и Лавренев[526]?

Я сижу по уши в Шевченко. Редактирую однотомник для Детиздата[527]. Мне очень хорошо перевели его вещи Исаковский, Твардовский, Благинина, Звягинцева. Хуже: Ушаков и М. Светлов. Еще хуже: Браун и Комиссарова. Но, в общем, работа очень интересная.

О маме ты уже знаешь. Она писала Марине подробно[528].

Эйхлер потому не отвечает тебе, что его нет в Москве. Он уехал за город писать статью о Шевченко, так как нас подвел проф. Белецкий[529]. Обещал сдать к 1-му ноября, и не сдал.

Генрих уехал — и пишет вовсю. Что из этого выйдет, не знаю. Скажу тебе по секрету, что он взялся кое-что переводить из Шевченко и, к моему изумлению, получился бред. Не то чтобы отдельные слова были поставлены ошибочно, а — нет ни ритмов, ни рифм, антилитературная белиберда. В этом что-то патологическое: ведь он по-своему любит поэзию и кажется понимающим, но я уверен, что Гулька перевел бы лучше. Целую Марину и внуков.

Теперь когда у Марины есть отдельная комната, не сомневаюсь, что она еще что-нибудь переведет — и что, в конце концов, из нее выйдет маститая переводчица, вроде Шишмаревой[530].

Твой.

102. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

24 ноября 1938 г. Ленинград

Милый папа.

Гулька научился немного читать и понял, что у каждой книги есть заглавие. Поэтому он стал сочинять сказки с заглавия… Вчера он мне рассказал сказку, которая называлась: «Поросята, Чуковский и мертвецы».

«Улялюм» я переделал по твоим указаниям. Нет больше ни горылеи, ни звонко, ни сестренки. Вот как теперь звучит наиболее

исправленная строфа:

Целовал я ее, утешая,
Разогнал темноту ее дум,
Победил темноту ее дум.
Так дошли мы до самого края,
Видим: склеп, молчалив и угрюм,
Вход в него молчалив и угрюм.
— «Что за надпись, сестра дорогая,
Здесь, на склепе?» — спросил я, угрюм.
Та в ответ: — «Утялюм… Улялюм…
Вот могила твоей Улялюм».

Перенеси эти исправления на свой экземпляр. Мой перевод далек от совершенства, но в сравнении с бальмонтовским[531] он *гениален*. У Бальмонта только по одной паре каждой рифмы, а целый ряд строк оставлен совсем без рифмы. Смысла же в его переводе доискаться невозможно.

Как «Хижина»? Ты уже над ней работаешь? А я томлюсь от безделья, потому что Детиздат не высылает мне договор на Вальтер Скотта. У нас был уговор: чуть я пришлю «Хижину», мне вышлют договор на Вальтер Скотта. Это подтвердили Домбровская, Эйхлер, Сысоев[532] и два Андреева[533]. «Хижину» я представил давно, день идет за днем, а договора нет. *Позвони Андрееву-редактору*. Поторопи его, узнай, в чем дело. М.б., они не высылают, потому что у них денег нет? Так деньги они вышлют потом, когда будут, сейчас мне не деньги нужны, а договор. Без договора я не могу приступить к работе, потому что у меня нет гарантии, что они потом не передумают.

Ты, верно, встречаешь А. Н. Тихонова. В Москве он мне обещал устроить перевод «Черной стрелы» Стивенсона для Гослитиздата. Недели две тому назад я послал ему на адрес Гослитиздата письмо, но он мне не ответил. Позвони ему, пожалуйста, и узнай, в чем дело.

Вообще, денежные мои дела очень неважны. «Ярославль», который, видимо, имеет некоторый успех, дал мне сущие гроши. Ремонт стоил около двух тысяч, я купил себе летнее пальто за две тысячи, Марине на днях покупаю зимнее пальто за две тысячи — все это вещи необходимые — да пять тысяч придется, очевидно, заплатить киевской кино-фабрике. В результате у меня не остается денег и на три месяца самой скромной жизни. Когда я был в Москве, Эйхлер обещал пустить мои «Фрегаты» и моих Томпсонов по Школьной серии[534]. Я написал ему об этом письмо, но он уже был в отпуску. Мое письмо попало к

Прусакову[535], который написал мне, что делами Школьной серии ведает один Эйхлер и без Эйхлера никто мне ничего не может сказать. Ты переписываешься с Эйхлером по делам Шевченки. Спроси его в письме, удалось ли мои «Фрегаты» и мои переводы включить в Школьную серию.

Не сердись за поручения. Если тебе трудно или неудобно их выполнить, не выполняй, как-нибудь устроится. Между прочим, ты сам виноват, что поручил Эйхлеру переводить Шевченку. Ведь и так было ясно, что он с этим не справится. А теперь отнесись к нему снисходительно. Эйхлер — достойнейший человек, а ты редактор строгий и придирчивый, и мне его заранее жалко.

Ну, не сердись. Я очень скучаю по маме и по тебе. Как ваше здоровье? Как квартира? Как машина? Неужели никогда не настанет такое время, когда у вас с мамой будет квартира в Москве, и у нас с Мариной будет квартира в Москве, и мы будем ходить к вам в гости?

Читал в «Литгазете» о твоем шевченковском выступлении[536]. Не сомневаюсь, что Шевченко выйдет у тебя превосходный, не хуже, чем в подлиннике.

Коля.

24 ноября 1938 г.

103. М. Б. Чуковская — М. Н. Чуковский К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

26 ноября 1938 г. Москва

Мариночка! Поздравляю Вас с новосельем. Дайте, пожалуйста, это письмо Коле.

26. XI. 38

Дорогой Коля!

Я *в восторге* от твоих исправлений. Мне казалось, что вся эта строфа неисправима. Мама даже советовала мне не писать тебе таких неприятностей. «Ты ужасно придирчив, а Коленька и так сделал все, что возможно». И как же я обрадовался, увидев новый вариант этой труднейшей строфы. Сейчас же перепишу ее в твой текст. Перевод превосходный. Когда родился Эдгар По? Кажется, в 1809 году. Если это так, то в будущем году юбилей: 1939–1809 = 130 лет.

Вообще нужно напечатать этот перевод под тем или другим соусом!

Как мне жалко, что ты не в Москве!

Я втянул бы тебя в детиздатского Шевченко — ведь подлинных переводчиков так мало. Как я переутомился с

шевченковским томом! Нужно тебе сказать, что один из наших переводчиков — Асеев — гнусняк и склочник — выступил с темными инсинуациями против меня публично на шевченковском вечере[537], что Лозовский[538] написал на меня подлейший донос в «Правду» (я сам читал, мне показывали), что 5–6 дней подряд я писал Асееву ответ в «Лит. газету», — причем спал в сутки часа три, и после того как эту статью набрали, взял ее назад по совету великого мудреца Квитки.

Вчера было у нас собрание шевченковского комитета. Асеев и Лозовский приготовили свои бомбы, ходили как заговорщики. Но после того как я, по просьбе Алексея Толстого, прочитал свой доклад, после того как Корнейчук[539] сказал, что доклад этот «глубок и блестящ», они спешно ретировались, и Асеев даже заявил, что он благодарен К. И-чу Чуковскому за многие дельные поправки, улучшившие его перевод.

С Тихоновым о Стивенсоне поговорю непременно. С Эйхлером бесполезно переписываться по этому поводу, так как достойнейший Генрих ныне изгнан из литературы изящной в литературу неизящную, сиречь, в научно-популярную, в коей он не смыслит ни аза. В понимании изящной он тоже был не слишком силен, но — как многие неталантливые люди, он любил ее горячей и бескорыстной любовью, самоотверженно, до слез. У других такая любовь сочетается с честолюбием, у других — с нравственной гнилостью, он же был, как лампадка, перед этой иконой, и вот равнодушный невежда и лодырь Сысоев дунул на эту лампадку. Я написал Генриху нежное письмо. Напиши ему и ты, если хочешь. Его адрес: Ст. Сходня. Окт. жел. дороги. Санатория им. Артема Сергеева.

Все твои дела по Детиздату сделаю в эти три дня и отпишу тебе обо всем подробно.

Дико сказать: только вчера имел я время позвонить в жилотдел. Секретарша совершенно спокойным голосом ответила, что 3-х комнатная квартира для меня уже была в новом доме на Тверской, но т. к. я прошу 4 комнаты, то придется мне подождать до января. Мама твоя во время этого моего разговора так волновалась, что, сидя на кресле, придвинула к себе стул и стала жевать зубами его спинку.

Итак, квартира у нас уже есть — к сожалению, т. к. я тоскую по Ленинграду ужасно. Сегодня иду в жилотдел разговаривать.

Вчера же мы занимались странным делом: выбирали себе по вкусу цвет машины М 1. Я предпочитаю цвет *кофе с молоком,* а мама желает *зеленый.* Оказывается, это важный вопрос. Решено — выкрасить машину в две краски: правая сторона будет зеленая, левая — кофейная.

Послезавтра шофер Союза поедет за «нашей» машиной в Горький.

Вчера на шевченковском комитете подошла ко мне Рябинина[540] из Гослитиздата и сказала, как все гослитиздатчики были очарованы твоим выступлением.

— Просто не верится, что это — ваш сын! — «сказала она сквозь очки», как говорится где-то у Замятина.

Скажи Бобе, что мы звонили Фидману[541], но тщетно. Сегодня мы, кажется, увидим его. Сегодня у меня пьют чай Тычина[542] и Степун[543].

Скажи Гульке, что я пишу книгу под названием «Вдилижанстулежанс». Помнит ли он еще —

Омнибус,
Как арбуз,
Весь набит до верха!

Как устроить тебе квартиру? Если нашу нам дадут без обмена на ленинградскую, хорошо было бы, чтобы ты обменял обе наши (твою и мою) на московскую. Или при наличии машины поселиться бы Вам где-нибудь в Переделкине — покуда. Мне кажется, что, во всяком случае, до поры до времени тебе надо проводить в Москве около 2–3 месяцев в году.

!!! етаТ тевирП

Перевел бы ты еще что-нибудь стихами! Бальмонтовский перевод, действительно, рядом с твоим — блекота. Насчет денег не беспокойся: я уверен, что «Ярославль» принесет тебе еще и еще. И «Хижина».

Твой Тато (под влиянием Шевченко).

104. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Декабрь 1938 г. Москва[544]

Дорогой Коля! Это Гульке. Пусть наклеивает в нужном порядке. В январе будущего года юбилей Эдгара По (130 лет) — и «Лит. газета» поместит твой перевод. Так говорил мне П. Антокольский[545], который будет заведовать стихами «Лит. газ.».

Па.

105. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

7 марта 1939 г. Москва [546]

Милый Коля!

Я два раза прочитал «Ярославль». Несомненно, это лучшая твоя книга. Целые пригоршни тонких наблюдений, чудесных психологических мотивировок, строгий и серьезный язык. Сцены с баржой — войдут в хрестоматию. Я не знаю ни одного из современных писателей, кто мог бы так великолепно пережить и перечувствовать эту баржу. Получил ли ты письмо от Лозовского? Я недавно был у него. Как раз в эту минуту выходил от него Герасимов[547]. Лозовский, провожая Герасимова к дверям кабинета, говорил:

— Вы отлично сделали, что напечатали «Ярославль» Чуковского, а с «Фомою Клешневым»[548], ей-богу, могли подождать.

Увидев меня, Лозовский сказал:

— Пишу вашему сыну письмо. Его книга взяла меня за живое. Очень талантливая, хорошая книга. Уверен, что она будет иметь успех. Есть, впрочем, один недостаток…

— Какой?

— Слабо показано партруководство… Большевики изображены хорошо, правильно, но — получается так, будто они действуют в одиночку. Впрочем, это искупается большими достоинствами книги.

С чем тебя и поздравляю.

Выздоровел ли ты? Гуля меня умилил своим письмом. Сегодня берусь, наконец, за «Хижину дяди Тома».

Мне в новой квартире очень нравится. Омрачает ее только больная Лида, которую мне до смерти жалко. Я написал три статьи о Шевченко[549], и все плохие. Невдохновенные. С сегодняшнего дня прекращаю работу. Надоело писать без просвета, наводя тоску на всех домашних.

Напиши мне, что ты сам думаешь о «Ярославле». Читала ли твой роман Тата?

Занимается ли она фотографией?

Виделся здесь с Тыняновым — он изнурен и бледен. Шкловский прислал мне покаянное письмо.

Мама здорова. Хлопочет с утра до вечера.

Напиши мне хоть несколько строк.

Твой К. Ч.

106. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

9 марта 1939 г. Ленинград

Милый папа.

Рад, что тебе понравился «Ярославль». Он нравится многим, все мне об этом говорят, но нигде нет ни рецензийки. Здешние критики поздравляют меня, когда встречают на улице, но не пишут. От Лозовского письма я не получал, да, признаться, не верю, что он пошлет.

У меня грипп, вот уже восьмой день лежу в постели. Со скуки перевел отличное стихотворение Стивенсона «Heather ale»[550]. Чуть встану — перепишу чернилами и пришлю тебе. А «Улялюм» напечатана во 2 № «Звезды».

Недели две назад получил письмо от А. Н. Тихонова. Он обещает дать мне перевести какой-нибудь роман Стивенсона. Я ему немедленно ответил и попросил прислать договор, но до сих пор он, конечно, ни черта не прислал. А я неотвратимо ползу к денежной катастрофе — летом мне не на что будет жить. Одна надежда — повышение гонораров. Выйдет из этого что-нибудь или это только слухи? Я начал новую повесть[551], но она окупится лишь в том случае, если даст мне на круг по четыре тысячи за лист.

Отчего вы не сообщаете, когда, наконец, мама приедет в Ленинград? Быть может, ты тоже соберешься? И мы, и Боба очень хотим вас повидать. Непременно напишите поскорее обо всех ваших планах на ближайшие два месяца.

Едешь ли ты в Киев? Один или с мамой? Когда? Надолго ли? Читал твою статью о Некрасове и Шевченко — превосходная статья, и «Правда» ее хорошо подала[552].

А Шкловский все равно — бездарность, болван и неудачник. И тактика у него одна — сделать гадость, а потом замазывать, до новой гадости. Ну его, он всегда за спиной говорит мерзости. Я это знаю наверняка.

Очень мне хочется повидать твой орден[553] и вашу квартиру. Наконец-то, старинное чуковское гнездо на Кирочной исчезло навсегда. Остался там один Боба, да и тот, видимо, ненадолго — он уедет либо в Москву, либо в Самару. Странно, что этот белый дом против церкви станет скоро таким же чужим, как и все прочие дома.

Боба обедает у нас каждый день. Дела его неважные — платят ему гроши, работает, как каторжный, перспектив никаких. Я и сам думаю, что лучше бы ему переехать в Москву и там поискать чего-нибудь.

Какие у вас планы на лето? Опять Переделкино? А мы опять будем в Луге, на той же даче. На юг никуда не поедем — денег нет, и детей не на кого оставить. А вот в Переделкине у вас мне хотелось бы побывать. Быть может, удастся дней пять погостить у

вас в жаркую пору даже с Мариной.

Московский Детиздат, видимо, и не собирается издавать моих мореплавателей. «Сестру»[554], кажется, тоже. Похоронили книги. Это самое скверное издательство в СССР. Гослитиздат в миллион раз лучше работает. Как твоя «Лирика»? Переиздаются ли твои книги? Что Эйхлер? Существует? В каких чинах? Сысоев все еще всем ведает, или уже полетел? Есть ли у тебя деньги? Знаешь ли ты, что тебе скоро предстоит получить тысяч двадцать за «Айболита» в кино — я знаю, что Шварц ждет такую сумму[555].

Я очень рад, что и ты и мама здоровы. Ужасно хотел бы вас повидать.

Коля

(пишу в кровати).

9/III 39.

Пришли мне свою гимназию.

107. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

14 марта 1939 г. Москва[556]

Милый Коля. Был у меня сейчас Тихонов. Клянется, что послал тебе договор на перевод «Черной стрелы» Стивенсона. Объясняет долгую волокиту тем, что переводчик Кашкин[557] вдруг заявил ему, будто бы у него, у Кашкина, есть новый перевод этой вещи. Потом оказалось, что это неверно. Кашкин великодушен: он предлагает давать тебе справки, если в переводе встретятся какие-нибудь неясности.

Я дал Тихонову твой «Ярославль». Ведь это тоже «Исторический роман». Тихонов прочтет и постарается ввести его в серию[558].

Твои «Фрегаты» введены в план Детиздата на 1939 год. А «Сестры» отложены на будущий год. Во главе Детиздата теперь два человека: Александр Сергеевич Еремеев[559] и Куклис[560]. Оба очень мне нравятся: работящи, серьезны, умны. Еремеев на днях будет в Детиздате Ленинградском. Если можешь, повидайся с ним.

Эйхлер в издательстве оставлен.

Я своим жильем очень доволен. Правда, лифт покуда не регулярно действует, приходится взбираться на 6-й этаж, не всегда есть горячая вода, не проведен еще телефон, но центр города, ванна, возможность во всякое время удрать в Переделкино — освобождение от гостиниц — все это очень приятно.

Меня разъяряет то, что критики о твоем «Ярославле» ни

слова. Пошли книгу Федору Левину[561] на адрес Союза писателей. Ему передадут. Он человек неглупый и способный.

С нетерпением жду гулькиного письма. Мне кажется, что это будет умственный силач, жадный глотатель книг и наук. Ему повезло: у него очень неплохие родители. Я очень хотел бы повидать Татку, жалко, что мы с нею так мало знакомы.

Я опять взялся за Некрасова. Хочу перед смертью сделать хоть одну книгу, которой я был бы доволен.

Не можешь ли ты прислать мне «Улялюм» — вернее книжку «Звезды»? Что говорят об этом переводе? Готов ли твой перевод стивенсоновых стихов? Если пришлешь перевод, вышли хоть несколько строк подлинника. Марину крепко целую. Нынче первый год, что мне в день рождения придется прожить без ее «Наполеона». Ах, если бы она написала мне конфиденциально, что говорит Боба о своем разрыве с Ниной.

Ты пишешь, что я получу гонорар за «Доктора Айболита». Но ведь это переделки Doolittle'a[562]. Неловко брать деньги за чужой сюжет. Сейчас в мультипликате идут «Лимпопо» и «Мойдодыр»[563] — отлично сделанные. Я хотел бы выклянчить за них тысяч десять. Ибо деньги льются как вода из крана: дворник, шофер, Лида — опустошают мои сундуки. Но покуда я еще не чувствую костлявой руки голода. Думаю, что и тебе нечего впадать в панику.

Это чудная твоя идея — приехать к нам с Мариной погостить. Тебе нужно почаще бывать в Москве. Я думаю, что совсем не безнадежна твоя попытка переехать сюда насовсем.

Мама приехала бы в Ленинград, но Лида, чуть прибыла к нам, заболела. Необходимо ухаживать за ней. Теперь мама собирается к началу апреля приехать в Ленинград — и ликвидировать старинную (казавшуюся вечной) квартиру, где родилась и заболела Мура, где написаны все мои «Мойдодыры» и «Некрасовы», где промелькнули Цезарь и Нина, где ты писал первые стихи о Марине, — где жилось мне так тяжко, так одиноко и душно. Нет, я не тоскую об этой постылой квартире, хотя сейчас она кажется мне поэтичной, и милой, и уютной.

Твой К. Ч.

Мама спрашивает: получили ли Вы ее телеграмму? Напишите ей письмо.

108. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

18 марта 1939 г. Ленинград

Милый папа.

Рад был получить от тебя такое бодрое письмо. Давно я тебя не видал и очень хотел бы повидать. И маму тоже. Отчего она все не едет? Очень нужно бы, чтобы она приехала поскорей, и не только из-за ликвидации квартиры на Кирочной, а, скажу по правде, главным образом из-за Бобы. Он ждет ее с нетерпением и просто истомился ждать. Все его дела могут разрешиться только после маминого приезда.

Сегодня получил от Тихонова письмо — он пишет, что вышлет мне договор на «Черную стрелу». Я жду этого договора очень, чтобы заняться переводом и иметь возможность не гнать новую повесть — совсем незачем мне торопиться писать, я и так достаточно написал за последние годы.

В «Литсовременнике» пойдет большая статья Льва Левина об «Ярославле»[564] — в общем, видимо, хвалебная. В «Резце» тоже будет хвалебная статья[565]. А что Москва скажет — не знаю[566]. Пусть уж лучше промолчит, чем обругает.

Я выздоровел, но заболел Гулька. Сегодня у него первый день нормальная температура, но заболела наша домработница Женя. Так из гриппа и не вылезаем. А как Лида? Уехала в Узкое? Как ее дела?

Зощенко написал замечательную пьесу «Опасные связи». Дал мне прочесть в рукописи. Вещь совершенно оригинальная и очень смелая. Смертельно смешно. Он поразительный писатель, второго у нас сейчас такого нет.

Видел Тынянова, который сказал мне, что ты выглядишь бодрым и здоровым, как пятнадцать лет назад. Видимо, тебе пошла на пользу Москва и Барвиха. Сам Тынянов очень изменился даже с лета — постарел, позеленел, еле ходит.

Едешь ли ты в Киев? Когда? Один или с мамой? Я тебя об этом уже второй раз спрашиваю.

Ты пишешь книгу о Некрасове или редактируешь Некрасова? Для кого[567]?

Что говорят в Москве о предстоящем повышении гонораров? Когда это состоится?

Правда ли, что в мае будет новый съезд писателей[568]?

Коля.

18 марта 1939 г.

Снег, мороз, метель.

109. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

21 марта 1939 г. Москва[569]

Милый Коля. Вчера я был в гостинице «Москва» — там есть

книжный ларь специально для делегатов XVIII съезда[570]. На прилавке груда «Ярославлей». Делегаты раскупают их с жадностью.

Не сомневаюсь, что Москва, в конце концов, так же оценит твой «Ярославль», как и Ленинград. Сейчас в Москве эта книжка у всех на руках. Было бы здорово, если бы Тихонов включил эту книгу в план «Исторических романов». От него еще нет ответа.

Что за Лев Левин?

В Киев я вряд ли поеду. Я вооружил против себя Асеева и Безыменского — а они в шевченковском комитете заправилы[571]. Асеев дал мне в свое время плохие переводы. Я их забраковал. Inde irae[572].

Марина, не желая того, причинила мне большую неприятность. М. Б. прочла в ее письме строки: «никак я не думала, что вы так ненавидели квартиру на Кирочной» — и страшно обиделась… за Кирочную. Оказывается, Кирочную надо любить. И за эту ненависть к Кирочной я был предаваем анафеме в течение долгого времени. Пожалуйста, пусть Марина (если зайдет разговор) уведомит М. Б., что никаких особенных ненавистей я к Кирочной не выражал.

Мама давно бы приехала к Бобе в Ленинград, но *ОНА БОЛЬНА*.

Лежит с температурой, в гриппу — или еще хуже! — бродит по комнатам еле живая. Ехать ей сейчас опасно. Тем не менее, она едет. На 23-е заказан билет. По-моему зря. Могла бы отлежаться до полного выздоровления. Тем более, что свалившаяся на ее плечи Лида, сама того не замечая, еще до гриппа изнурила ее. Я никого не вижу из литературных заправил, т. к. загружен лекциями и Лидиными делами — о съезде писателей ничего не слыхал.

Сейчас я работаю над: 1) «Книгой воспоминаний»[573], 2) книгой «Искусство перевода»[574] для нового издания. И то и другое очень интересно.

Не приедешь ли ты в Москву? Захвати в таком случае «Чукоккалу». Она в шкафу в моей комнате.

«Хижину» правлю.

Все же я должен сказать, что работа у нас с тобою хорошая. Чудесное дело — литература. Сейчас я «делаю» «От 2 до 5» для 9 издания (Детиздат купил)[575] — и ничего мне в жизни не надо. Сидел бы целый день, не отрываясь. Только бы еще года на два хватило здоровья.

Квартирой я лично очень доволен. Главное: центр. За углом Кузнецкий мост, книжные магазины под боком. Живется веселей, чем в Ленинграде. Я нарочно читаю столько лекций (почти

каждый день), чтобы не опуститься, не выбиться из ритма московской жизни.

Так как Детиздат включил в план множество моих книг, грозившая мне бедность отодвинута еще на год.

Гуленьке спасибо за письма. Я его очень лублу и надеюсь скоро увидеть. Тате привет. И Марине!

Бобу надеюсь перетащить в Москву.

Твой.

110. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

30 марта 1939 г. Ленинград 30 марта 1939.

Поздравляю с днем рождения!

Марина тоже поздравляет и клянется, что «Наполеон» за ней не пропадет!

Милый папа. Пишу на обороте Гулькиного письма[576] по его просьбе. Маму видаю часто, вид у нее хороший, она даже посвежела с зимы. Вертится на квартире, пытается продать и купить мебель, подготовляет с Анной Георгиевной к отправке книги.

Тихонов мне никакого договора, конечно, не прислал. Это грустно, очень хочется переводить, так как я уже не в силах писать свое (пишу новую повесть), надо дать передохнуть воображению. Когда он вернется из отпуска, напомни ему, чтобы он прислал договор, ведь он обещал.

Не переиздает ли Детиздат чего-нибудь из моих старых переводов (Остров сокровищ, Робертс, Сеттон Томпсон) [577]? Ведь там недавно было утверждение плана, неужели меня опять обошли? Узнай по телефону, хоть у Эйхлера, и напиши мне.

Когда Лида возвращается в Ленинград?

В самом конце апреля или в мае мы с Маринкой поедем в Москву и очень об этом мечтаем. Попробуем сделать что-нибудь для обмена нашей квартиры. Развалины древнего Санкт-Петербурга (вроде развалин Помпеи, Вавилона и Карфагена) осточертели. Сегодня опять идет мокрый снег. Посылаю тебе один из моих стивенсоновских стишков. В мелочах он не совсем точен, но в целом верно выражает подлинник. Пойдет в № 6 «Звезды». О «Ярославле» все еще рецензий нет, но я этому, пожалуй, рад, а то еще дадут поленом по уху — Фадеев[578] и Петров[579] меня не любят.

111. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Около 5 апреля 1939 г.[580] *Москва*

Милый Коля! Когда ты приедешь в Москву, ты лично поговоришь с издателем. Думаю, что удастся протащить Сэттон Томпсона. Я, конечно, буду говорить с Эйхлером, но говорить окончательно должен ты. Я знаю по себе. При всем благожелательстве Эйхлера ко мне из моих книг были включены в план только две или три. Вмешался в это дело я лично, идет и «Солнечная», и «Гимназия», и «Персей»[581], и «Так и не так»[582], не говоря уже о всяких «Мойдодырах».

С Тихоновым переговорю, чуть он вернется. Очень рад, что Вы с Мариной приедете к нам погостить. Я вчера говорил с Вишневским о твоем «Ярославле». Он клянется, что не читал его, и даже не знал, что этот роман вышел в свет. Фадеев кажется мне хорошим человеком — и с ним ты можешь завязать в Переделкине отличные отношения. Чем раньше Вы приедете, тем будет лучше.

Твой отец.

112. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

10 апреля 1939 г. Ленинград

Милый папа.

Женя Шварц просил передать тебе следующее:

Тебе по «Айболиту» следует получить большие деньги. Но ваш договор с кинофабрикой был плохо составлен (на короткометражку, а фильм вышел полнометражный). Фабрика пользуется этим и отлынивает от платежа. Женя уже подал заявление в Упр. по охр. авторских прав и совершенно не сомневается, что получит все, что ему следует. Он убеждает тебя позвонить Хесину[583] в московское управление и поручить ему добыть все следуемые тебе деньги.

Маме лучше, она уже встала. Температура у нее не поднимается выше 37,1, а большей частью нормальная. Спит она в одной комнате с Бобой.

Гослитиздат прислал мне договор на «Черную стрелу».

А ты-таки *едешь в Киев!*

Коля.

10 апр. 1939 г.

113. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

18 апреля 1939 г. Ленинград

Милый папа, Лида рассказала мне о твоем столкновении с Шкловским[584], это взволновало меня, и мне захотелось написать тебе. По разным признакам я догадываюсь, что Шкловский ненавидит тебя уже более двадцати лет. Причины его ненависти не важны — вероятнее всего, это зависть и многолетнее сознание своей неполноценности. Почему он завидовал именно тебе, а не кому-нибудь другому? Потому что, как это ни странно, как раз ты обладаешь всеми теми качествами, к обладанию которыми он больше всего стремился в течение всей своей жизни. Ты всегда писал легко, понятно, остроумно; ему вечно хотелось быть легким, неожиданным, остроумным, а писал он обрывочно, скучно, недоходчиво. Ему хотелось славы эстрадной, широчайшей, которая давалась тебе без усилий, а он, несмотря на свое старательное кабацки развязное поведение на всех литературных эстрадах, всегда был кумирчиком крохотных кружков архивных юношей. Он написал много книг, но ни одна из них никогда не имела никакого успеха. И т. д. и т. п.

Он подкапывался под тебя долго и трусливо. Он осторожно лягал тебя при всех удобных случаях. За последнее время его ненависть к тебе приняла истерический характер.

Его хамское выступление против меня в Ленинграде было, в сущности, выступлением против тебя. Меня он не знает, и я ему не интересен. Во время его доклада я сидел в первом ряду, он видел меня и именно поэтому заговорил о твоих переводах из Марка Твэна. Кстати, я неплохо отплатил ему за его хамство. Недели две тому назад он снова приезжал сюда и выступил здесь на диспуте о критике. Аудитория была та же, что и на прежнем его выступлении. На этот раз он говорил только о том, что критика замалчивает все его книги. Он подробно рассказывал, как он ходил к Федору Левину и просил, чтобы в «Литкритике» была помещена о нем статья, и как Левин обещал и статьи не поместил. Федин и Каверин[585] спровоцировали меня на выступление. Я сказал несколько фраз о критике и кончил под аплодисменты зала, что есть книги, которые не заслуживают критических статей.

Но это чушь. Теперь он осмелел, связавшись с Асеевым, с «Знаменем», с Фадеевым, и истерическая его ненависть не имеет удержу. Теперь он открыто тебя обхамил, *и это к лучшему.* Лучше быть с ним в открытой *всем известной* ссоре, потому что в таком случае все гадости, которые он будет говорить за твоей и за моей спиной, никто всерьез не примет. Открытая ссора обезоружит его, а мир с ним ничего тебе не даст, потому что он ненавидит, а ты нет.

Не мирись с ним, не унижай себя и нас. Ты очень большой

писатель, и значение твое в русской литературе XX века огромно. Ты при своей мнительности сам не понимаешь, что ты сделал за свою жизнь. А от его косноязычных, смешных невежеством и наивностью, теориек не останется ничего. Будь с ним в ссоре и не обращай на него никакого внимания — ты уже давно его победил.

Извини меня за письмо, если оно тебе не понравится.

Привет маме.

У нас все благополучно.

Коля.

18 апр.1939

Маринка, которая была свидетельницей выступления Шкловского в Ленинграде, тоже согласна с этим письмом.

114. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

7 июня 1939 г. Москва[586]

Утопаю в «Хижине дяди Тома». На одной странице 4 «ош» — это норма. Привели ли Вы в норму первые 10 страниц?

Коле младшему сердечный поклон от ДЕДА. Пусть сейчас же по получении этого письма встанет у березы и держит поднятую руку, покуда ты будешь считать до тысячи. Пусть чувствует власть своего господина на расстоянии. Нюшенька — прелесть. Читает мне вслух, помогает складывать книги и интересуется не паровозами, но Альфой[587]. Погода: то солнце, то дождь. Сейчас здорово припекает. У меня новая помощница — армянка[588]. Повесть Лидина мне нравится, особенно вторая часть — о Неживом, об Умани[589]. Как-то поживают твои «бабы», едущие за хлебом в Астрахань? И когда ты поедешь знакомиться с ними? Марину *целую.* Тате почтительный привет: в каком положении ее фотография? Ирине, Марии Николаевне приветы. Верно ли, что болен Юрий Николаевич. Видаешься ли ты с ним? Смотри на обороте.

Твой Uncle Tom's Editor[590]

Дорогой Коля!

«Хроническое употребление табака ведет к катару дыхательных и пищеварительных путей. Хроническое отравление никотином принимает очень большие размеры. Необходима планомерная борьба с этим явлением. К сожалению, у нас в СССР эта борьба до сих пор ведется недостаточно энергично, т. к. недостаточно учитывается значение никотинизма в поражении сердечно-сосудистой системы». Проф. Л. И. Фогельсон. «Болезни сердца и сосудов». М.; Л. 1939, стр. 183.

115. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

15 июня 1939 г. Москва[591]

Стыдно, Коля; написал бы хоть строчку. Хотя ты теперь знаменит, но все же нос задирать не годится. И Марина ни звука: не знаем ничего ни о Гульке, ни о Тате, ни о том, бросил ли ты курить.

Как подействовала на тебя статья в «Литгазете»[592]? Я знал о ней заранее, но мама утверждала, что ни за что не поместят. Поместили.

С «Хижиной» все уладилось: покуда делают рисунки, я правлю помаленьку. О,о, о, о, о!!!

Курить брось! Брось курить!

Только что получил письмо Марины. Спасибо. Гульке-рабу привет.

Ваш К. Ч.

116. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

24 июня 1939 г. Москва[593]

Дорогой Коля. Привет Таточке, Юрию Николаевичу, Вениамину Александровичу. Пишется ли тебе? Мамино здоровье лучше. Приезд Бобы — лучшее для нее лекарство. Поздравляю Тату с отличным экзаменом. Надеюсь, что у тебя уже прошли неприятные ощущения от некурения. Ты так и не написал нам, как ты реагировал на статью Мессер в «Лит. газете». Марине — поцелуй. «Хижину» правлю. Почему не присылаешь первых страниц. Твой Марк Твен[594] мне очень нравится. Очень хотелось бы покататься с тобою в лодке.

Всего доброго!

Читаю «Пархоменко» Всев. Иванова[595]. Мне очень нравится. Превосходный талант.

117. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

30 июля 1939 г.[596] *Переделкино*

Милый Коля. Ты — увалень, лежебок, сурок, сновидец. Как же может беллетрист отказаться от поездки по Волге! Чехов не хуже тебя знал русскую жизнь, однако, в твоем возрасте успел уже и на Сахалине побывать. Хорошо, конечно, верить во внутреннюю силу творящего духа, но сила эта тоже хоть изредка нуждается в пище. — Таточка процветает.

Дед.

118. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

23 сентября 1939 г. Ленинград

Милый папа.

Ни одного письма от тебя, ни от мамы. А нам интересно знать, как вы живете. Только из бобиных писем получаем мы о вас редкие отрывочные сведения. Кстати, как бобина нога, которую ему ушибла Леночка[597] автомобилем? Он нам писал, что ты уже здоров и собираешься ехать в Барвиху. А как же Кисловодск? Не едете? Или мама едет, а ты нет?

У нас все благополучно. Я продал в «Советский писатель» сборник моих старых повестей и рассказов[598]. Сейчас сижу над ними — подправляю.

Марина тщательнейше исправила взятые у тебя 100 страниц «Хижины»[599]. Что с ними делать? Куда и когда их тебе посылать, чтобы они, не дай бог, не потерялись? Пожалуйста, ответь на этот вопрос поскорее, потому что надо же это затянувшееся дело привести к концу.

У нас превосходная погода весь сентябрь. Вы все еще в Переделкине? Каков ваш новый шофер?

Я, быть может, с писательской бригадой поеду в Белоруссию[600]. Впрочем, вряд ли.

Коля.

23 сент. 1939.

119. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Конец сентября 1939 г.[601] *Переделкино*

Дорогой Коля!

Завтра утром, если все будет благополучно, я уезжаю в Барвиху. Адрес мой ты знаешь. Я еще никогда не чувствовал себя так худо, как теперь, и не верю, что поправлюсь. Мама внизу тоже лежит больная. Ей нужен отдых больше, чем мне.

Я рад, что у вас все благополучно. Татка доставила бы мне большое удовольствие, если бы прислала в Барвиху письмо о себе. Гуля тоже. Если мне полегчает, я буду заниматься «Хижиной дяди Тома» [602]. Закончила ли Марина работу над теми листами, которые она у меня взяла. Впрочем, мы об этом еще спишемся.

Дорогой Коля! Меня сильно тревожит судьба Кати[603]. В последнее время я неотступно думаю о ней. Я обязан ей помочь.

Боюсь, что ей очень плохо живется. Но где она? — узнай, пожалуйста.

Военные дела меня не тревожат. Я уверен в нашей быстрой и безупречной победе[604]. Воображаю, как воинственно настроен Гулька. Напиши мне о нем, пожалуйста.

Твой отец.

120. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

7 октября 1939 г. [605] *Барвиха* Барвиха.

Милый Коля, в Барвихе есть твой «Ярославль», который отдыхающие усердно читают. Есть и «Княжий угол». Я перечел «Ярославль», и мне снова понравилось европейское изящество твоей литературной манеры. — Удается ли тебе твоя работа теперь? Да, очень жаль, что ты не поехал во Львов, в Белосток. Будь я здоров, я непременно поехал бы. Хотелось бы видеть тамошнюю детвору, тамошних писателей, интеллигентов.

Сейчас был у меня консилиум: профессор, два доктора. Насколько я мог понять, сердце мое скверное, нервная система никуда не годится, и вообще песня моя вроде как бы спета. Здесь терзает меня бессонница, пульс 98, и вообще. Я так и чувствовал, что чуть перееду в Москву, так и покачусь под гору.

Лечат тут хорошо, но очень меня оглушают всякие снотворные; жизнь не мила после люминалов и бромов. Писанье я забросил: велят 6 часов быть на воздухе.

Хорошо еще, что публика здесь неплохая. Да и мало ее — человек тридцать, не больше. Погода — как и у Вас — диковатая: то снег, то кавказское солнце.

Мамы я не видал уже две недели. Как ее здоровье, не знаю.

Лидина повесть идет в «Красной нови»[606]. Там же будет напечатана и моя статья о Шекспире[607]. Сейчас из Лидиной повести можно бы сделать сценарий. Как жаль, что я сижу в санатории!!!

Вскоре я смогу заниматься и тогда просмотрю 100 страниц, просмотренных Мариной.

Целую Тату: спасибо ей за письмо. Я был бы рад, если бы она не разочаровалась в Ленинградском Дворце Пионеров. Кружок ботаники может дать ей хороший фундамент. Бедная девочка, она до сих пор не знает, что Блэк[608] оказался девицей и уже изгнан из нашего дома, как не оправдавший доверия.

Толстуха[609] изгнана с позором, будучи уличена в похищении продуктов. В домино я ни с кем не играю. Не помню, поблагодарил ли я ее за чудесные фото. Если нет, благодарю от души.

Гуленька может теперь играть в войну с поляками; надо бы купить ему танки; я видел в игрушечном магазине в Москве. Если у Вас нет, попытаюсь достать при помощи своей секретарши.

Шлю Вам горячий привет.

Отец.

121. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

13 ноября 1939 г. Ленинград

Милый папа, я удручен тем, что ты болен и что мама больна. Ты был уже в кремлевской больнице или еще только будешь? Делали уже тебе операцию? Отчего ты об этом не пишешь?

А маме тоже нужна операция? По отрывочным сбивчивым сведениям о вашем здоровье мы ничего толком не можем себе представить. Как ужасно, что вы так расхворались. Напиши сам и маму попроси написать и о вашем здоровье, и о вашей жизни.

В Москве я буду в этом месяце между 20-м и 25-м. Так, по крайней мере, уверяют в Гослитиздате — я еду защищать гослитиздатовский план. Но, быть может, и отложат, кто их знает. А в Москву мне хочется — хоть переводик какой-нибудь захудалый у Александра Николаевича[610] попросить, мы совсем без денег, отказываем себе во всем, а в Ленинграде заработать негде.

А чем ты занят? Что ты пишешь? Что у тебя выходит? Что переиздается в Детиздате? Как книга воспоминаний? Об этом я уже ровно ничего не знаю. Как твои отношения с Детиздатом, со Шкловским, с Маршаком? Я всегда задаю тебе в письмах множество вопросов, и ты никогда на них не отвечаешь.

Я — председатель Окружной избирательной комиссии по выборам в Ленсовет!

Повесть моя[611], над которой я работаю, движется медленно и вяло, и не жду от нее ничего. Мне вообще не нужно писать так много, как я пишу за последние годы. Вот выйдет книга моих старых заново переработанных рассказов — они никому не известны и сойдут за новые. А мне переводик бы!

Гулька чрезвычайно польщен твоим вниманием к его письму. Собирается писать новое. Он, конечно, опишет нашу жизнь гораздо лучше, чем мы с Мариной.

Привет Бобе. Попроси его мне написать.

Привет маме.

Ваш старый сын *Коля.*

13 ноября 1939.

Прочитав, скажите, кто соврал: он или я?

122. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

22 января 1940 г. Москва[612]

Коля! У нас все более или менее хорошо. Боба имеет квартиру!!! Маму не мучают почки!! Мы радуемся, зная, что

деньги у Вас все же есть. Говорят, что Лида более или менее здорова. Я кончил книжку: «Горький, Репин, Маяковский, Брюсов». В феврале начнет печататься моя книга «Высокое искусство». — У меня новая секретарша — 22-летняя, математик, еще лучше Аветовны[613].

При Союзе писателей есть специальная иностранная комиссия, во главе которой стоит т. Аплетин[614]. *Только* через эту комиссию ты можешь сноситься с издателями. Напиши на мой адрес письмо т. Аплетину, я ему передам. Конечно, можно и через Уманского[615], но Уманский сдерет с тебя большой процент.

О том, что у нас морозы до 44°, ты знаешь. Надеюсь, что скоро кончится эта волна необыкновенного холода и начнется обыкновенный. С «Хижиной» еще много возни: придется редактировать и твой перевод и «поправки» редактора, а потом вся книга пойдет на рецензию; придется читать ее после рецензента, а потом ее выбранит Шкловский.

Я много печатаю статей в «Учительской газете», в «Русском языке в школе»[616] — но все это 3-й сорт. Надеюсь, что Таточка поправилась после каникул; Гуле и ей — сердечный привет; попроси Марину написать мне о них подробнее. Вышли в свет «От 2 до 5», «Солнечная» и проч. Когда выйдут твои рассказы? Целую Марину.

Твой папа.

123. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

19 марта 1940 г. Москва[617]

Дорогой Коля. Я тебя против воли подвел. Сейчас только разбирая груду писем, скопившихся в ящике моего стола, я нашел твое письмо к Аплетину. Не знаю, как я мог не заметить его, думаю, что оно застряло в конверте, приклеилось — и вот только теперь я посылаю его в Союз. Прости, пожалуйста. Поправки Домбровской бредовые. Я только и делаю, что вычеркиваю всю ее дребедень. Итак, ты был в Куоккале! Воображаю, как волновался ты при встрече со своим детством, со знакомыми камнями и деревьями. Целую без церемоний Марину и Гулю, и Тату. Уже сделаны рисунки к «Хижине дяди Тома». На днях сдаю ее в набор.

Твой.

124. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

27 марта 1940 г. Москва[618]

Фадеев согласен поддержать ходатайство Ленлитфонда всех дач, но отказался хлопотать отдельно моей даче.

125. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

29 марта 1940 г. Москва[619]

Милый Коля!

Письмо Соловьеву я отправил.

Хорошо, что ты хочешь ехать туда и там закрепить дачу. Ал. Ал.[620] очень вежливо, но твердо отказался принять участие в этом деле. Боюсь, что без его поддержки оно провалится. Мне очень хочется, чтобы эта дача была у тебя, но те меры, которые ты предлагаешь, кажутся мне… как бы это сказать?.. — невозможными, экстравагантными.

Я написал одновременно с этим Анне Георгиевне. Если нужно будет приехать, я приеду, но думаю, что и предпринятых мер достаточно. Особенно важно, чтобы ты поехал туда. Я сообщил Соловьеву приблизительный адрес: в 300–400 шагах от «Пенатов» Репина, в сторону Оллила, на берегу Финского залива.

Мама поправляется. Я как будто тоже. Пришли рассказы свои.

Твой.

Марине, Тате, Коле — привет.

126. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

9 апреля 1940 г. Куоккала

Милый папа!

Что это тебе вздумалось дарить мне деньги? Они замечательно нас выручили, и мы очень тебе благодарны.

С дачей ни то, ни сё. Соловьев, безусловно, хочет ее отдать, но мелкие работники, ведающие делами непосредственно, отдавать не хотят и чинят препятствия. Документы, присланные тобой, они объявили не стоящими ни гроша и даже не приняли их у меня. Кроме того, они ссылаются на какое-то обязательное постановление, согласно которому (или которого) все дачи стоимостью более 50 000 рублей безусловно национализируются. Сегодня я несколько часов пререкался с ними в Териоках. Все неясно, но я еще надеюсь на успех.

Опять был сегодня на даче. День печально-пасмурный и теплый. Ручей шумит под снегом. Дом Разживиных[621] не существует. Дом Колляри[622] не существует. А у нас не хватает только двух стекол (в кухне и в твоей комнате), да плита

попорчена, да у печки в гостиной сорвана заслонка.

Гулял по Прямой дороге от станции до того дома, где родился Бобочка. Проходил мимо Козиночки. Все удивительно так, как было в моем раннем детстве, но все покосилось, покривилось.

Станция совершенно такая, как была, даже скамейки в ней те же. Но нет Меркурия и нет Труббе.

От безденежья я начал писать с Мишей Слонимским пьесу. Договора с театрами у нас нет, пишем мы, как говорится, на Бога, и я мало надеюсь, что из этой затеи что-нибудь выйдет. Скорблю, что оторвался из-за пьесы от романа, который опять движется чрезвычайно медленно. Но жить на романы невозможно.

Книжка моих рассказов вышла, и я на днях ее пришлю.

Когда вы возвращаетесь из Узкого?

Передай маме, что я был у Чернорцкого и что здоровье мое за последнее время лучше.

А как вы?

В конце месяца я, возможно, буду в Москве.

Коля.

9 апр. 1940 г.

К даче я сегодня прикнопил лист бумаги, на котором написал: «Дача советского писателя-орденоносца К. И. Чуковского».

127. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

14 апреля 1940 г. Узкое[623]

Дорогой Коля.

Только сегодня (14/IV) кончил я работать над «Хижиной». Дело в том, что невежественная Домбровская так «исправила» рукопись, что пришлось вновь сверять с оригиналом. Работая по 5 часов в день, я сделал эту сверку в 14 дней. Рисунки готовы. Рукопись сейчас же идет в набор, и в июне книга будет готова. Отличная книга.

Почему исполком отказал? Потому что документы — очень слабы и недоказательны, или потому, [что] подействовала клевета Бродского[624]? Черкни, пожалуйста. В первом случае я могу достать документы — письма Репина ко мне, свидетельство Ал. Толстого и Шкловского, которые были на моей даче, и проч.

Во втором случае я, конечно, ничего делать не буду.

Мы все еще в Узком. Мама прихварывает. Простудилась опять, лежит. Да и признаюсь, не охота мне ехать в город, т. к. в нашей квартире — Боба с женой, со своей домработницей, и я бы

только помешал.

Деньги я тебе послал потому, что решил разыграть «Короля Лира»: Дал Лиде 2000, тебе 2000 и Бобе 2000. Оказалось, что каждому из вас они пришлись очень кстати. А я все еще далек от нужды.

Читали мы с сокрушением статью о тебе в «Знамени»[626]. Хуже всего то, что левидовская неправда очень похожа на правду. Все несчастье Левидова в том, что сам он писать совсем не умеет (то есть писать поэтически, так, как пишешь ты), вся его беллетристика — корчи и судорога.

Вышел сейчас № 2 «Театра» — и там моя анти-радловская статья «Астма у Дездемоны».

Надеюсь, что свинка уже прошла и у Таты, и у Гули.

Им обоим привет.

Не забудь прислать книжку «Рассказов».

Твой отец.

Получила ли Фефа мое письмо?

24 апреля 1940 г. Ленинград

128. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

Милый папа.

Клевета Бродского *безусловно* ни в чем никакой роли не сыграла. Решительно никто о ней не знает. Как раз наша беда заключается в том, что инстанции, к которым приходится обращаться по нашему делу, абсолютно неграмотны и не знают ни кто такой Репин, ни кто такой ты, ни кто такой Бродский. Мне отказали грубо, нравоучительно («сейчас, мол, не время обзаводиться собственностью»), и без каких бы то ни было мотивировок. Если бы я все-таки эти мотивировки потребовал, мне сказали бы, что у меня нет купчей и что мои документы — не документы. Между прочим, все свидетельские показания, которые ты хочешь собрать, не стоят в их глазах ничего, потому что они и так не сомневаются в том факте, что дача принадлежала тебе, а совершенно откровенно пользуются отсутствием у тебя купчей, чтобы дачи тебе не дать. А если бы у тебя была купчая, они тебе ответили бы, что дача оценена в сумму больше 50 000 рублей, следовательно, по закону должна быть национализирована.

— Зачем вашему отцу здесь дача? — спросил меня уполномоченный облисполкома тов. Борисов. — Раз он служит в московской «Правде», его не отпустят жить здесь на даче.

О том, что можно работать в газете, не служа в ней, он никогда не слышал. О том, что ты работаешь в «Правде», он узнал

от меня. Фамилии твоей он никогда прежде не слышал. А это именно тот человек, от которого все зависит.

Дело, конечно, не в купчей. Дело в том, что это имущество, за обладание которым борется множество могущественных учреждений и лиц. И так, за здорово живешь, получить ничего невозможно. Кстати: облисполком — не такая уж высокая инстанция, и рассчитывать на него было наивно. Лучше было бы обратиться либо к тов. Кузнецову[627], либо к тов. Жданову[628], либо в Совнарком, либо в Президиум Верховного Совета. Там, по крайней мере, знают, кто ты такой, и могут взять на себя ответственность за такое решение. Но тут уж должен действовать *ты.* Я ничем помочь не могу.

Не помню, писал ли я, что командование Балтийским флотом наградило меня почетной грамотой за мою деятельность на фронте во время войны[629]. Представь себе. Вот до чего дошло.

Я все еще болен (уже полтора месяца), Марина меня уложила в постель и кладет мне на живот компрессы. Но пока помогает мало. Черноруцкий от меня отказался. Завтра пойду к гомеопату.

Делаю мучительные попытки что-нибудь заработать. Отложил роман (в который раз!) и пишу вместе с Мишей Слонимским пьесу. Мы с ним задумали написать хорошую плохую пьесу — для денег. Уже кончаем. Но, кажется, пьеса вышла и недостаточно хорошей и недостаточно плохой. И денег мы не получим.

Мечтаю съездить к вам в Москву. Жду, чтоб подвернулась какая-нибудь командировка. Да вот, не подвертывается.

Когда же ты вернешься из Узкого? А мама, видимо, в Москве? И почему это Боба с Женей[630] и нянькой у вас на квартире? Когда собираетесь в Переделкино?

Все-таки в мае непременно приеду в Москву.

А за деньги тебе, король Лир, спасибо. Когда ты, в безумии, с выколотыми глазами, покинутый всеми, в бурю, будешь рвать свои седые волосы, именно я окажусь той дочерью, которая тебя пожалеет. Впрочем, все они так говорили.

Коля.

24 апр. 1940 г.

Книжку рассказов пришлю. В ней нет ничего нового, все старье, но приятно, что старье это от времени не скисло.

А Левидов меня взволновал мало. Даже если его неправда не только кажется правдой, айв действительности правда, мне все равно интересно делать то, что я делаю. А второго издания «Ярославля» мне не добиться ни с Левидовым, ни без него.

Почему на твоем письме калининский почтовый штемпель? Ты написал письмо 14.IV, а я получил его только сегодня,24.IV,

через десять дней.

Фефа твое письмо получила.

129. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

27 апреля 1940 г. Москва[631]

Дорогой Коля.

Посылаю тебе копию письма Репина[632], которое ясно свидетельствует что дача — моя. К сожалению Толстого нет в городе, но я кое-что сделал, о чем сообщу тебе в следующем письме.

Твой К.

130. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Начало мая 1940 г.[633] *Узкое*

Итак, милый Коля, дело находится в таком положении. Я написал бумагу:

«Сим свидетельствую, что такая-то дача в Финляндии действительно принадлежит и проч.».

Под этой бумагой подписались:

Заслуженный деятель искусства Т. Л. Щепкина-Куперник, Академик Тарле.

Подпишутся Ал. Толстой и (я думаю) Лебедев-Кумач[634]. К сожалению, Толстой во Львове, а Кумач — в Барвихе. Я не только уверен, что эта бумага будет сильнее купчей, но не сомневаюсь, что она-то и может побудить людей отдать мне дачу.

Но… но… но…

1) Мне страшно не хочется именно сейчас, в связи с Бродским, напоминать о себе, привлекать к себе внимание именно по линии Куоккала, Илья Ефимович, и проч.

2) Мне вообще не нужна эта дача. Я хлопочу о ней исключительно ради тебя — вернее, Вас. Мне было бы бесконечно приятно, если бы у тебя, у Марины, у Гульки, у Таты был бы летний приют — именно в том месте, где протекло твое детство, такое поэтичное, в сущности, радостное. Я вполне понимаю, как взволновало тебя свидание с Куоккалой, узнавание забытых деревьев, холмов, берегов и т. д. Но уже по тому, как отнесся к этому Фадеев, я вижу, что пускаться во все тяжкие, нажимать все пружины для получения куоккальской дачи при наличии Переделкина, это страшно компрометантно, несвоевременно. Симпатии к нам с тобою нет ни у кого, добра нам в литературном

мире не желает никто, — и с этим нужно считаться. Нужно работать, сжать зубы, любя литературу больше всего, находя утешение в чем угодно — только не в благожелательстве окружающих.

Итак, хлопотать я о даче буду, но из кожи лезть не стану и против рожна прать не считаю возможным. К сожалению, мама *горит* этой дачей, требует от меня героических действий и т. д.

План у меня такой: я дождусь подписи Ал. Толстого — и обращусь с помощью Лебедева-Кумача в Верховный Совет. Если постановят дачу мне вернуть, то кому бы она ни была отдана, мне ее вернут, так как на дачу люди обычно выезжают в июне, когда у детей кончаются занятия в школе, да и погода установится. А до июня я все дело оберну. Если нужно будет, приеду в Ленинград.

Я сейчас принимаюсь за новую работу «Некрасов в 40-х годах»[635] — первый том своей монографии о Некрасове. Трудно переходить на новые рельсы, но я решил с головою уйти в многолетнюю работу, и не печататься ни в газетах, ни в журналах, не выступать ни на каких трибунах. Не правда ли, это — самое лучшее? Конечно, мне очень больно, что вся моя огромная 15-летняя работа до революции пошла насмарку; мне хотелось бы так реставрировать мои старые книги об Уайльде[636], о Уитмане[637], о десятках писателей, чтобы составилось хотя бы два тома моих сочинений, но где найдешь издателя для таких «беззаконных комет»?.. Берусь поэтому за новое.

Мама в Узком очень поправилась. Прекратились ее бессонницы, несколько умерилась ее страшная раздражительность. Сейчас она с радостью сообщила мне по телефону, что выиграла 750 рублей. Женя до того изнервлен, столько в нем пошло-истерической крови его отвратительной матери, что видеть его — страдание. Бедный Боб достоин лучшего сына. Конечно, переделать мальчика можно, но не с помощью нянек. А больше никто мальчиком не занимается.

Как Таткина фоторабота? Делала ли она какие-нибудь снимки зимой? Очень хотелось бы мне видеть Гулькино фото: я его совсем не представляю себе. Очень хорошо и ясно могу представить себе Люшу, Тату, а каков Гуля — не имею понятия. Его письма так необыкновенны, что даже возраст его мне неясен — то кажется, что это 10-летний, то — 3-летний. Интересно знать, как сложится его будущее. Каков он будет в 15–18 лет? Передай ему и Тате дедин привет!

Странно, но я очень радуюсь, когда немцы колотят англичан. А ведь как когда-[то] любил Томми Аткинсов[638]! Целую Марину от всей души. Отправить тебе письмо я дал одному профессору,

живущему в Калинине. Он обещал опустить в почтовый ящик в Москве — и забыл[639].

Твой Лир.

131. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

13 мая 1940 г. Москва[640]

Дорогой Коля!

Конечно, клеветники сильно лгут: в 1932 году я не мог писать Репину каких бы то ни было писем, т. к. он умер в 1930 году. Я случайно прочел два письма, адресованные тобою и Лидой не мне, а маме, и прошу тебя не думать, что они обескуражили меня. Напротив. Я совершенно спокоен. Самое худшее — бессонницы. Но можно привыкнуть и к ним.

Читаю твою книгу. Она отлично написана, но немного… как бы это сказать?.. гуттаперчевая. Все от нее отскакивает — и смерти, и раны, и боли. Хотелось бы, чтобы она была менее умелой.

Черкни мне о сестре Юлика[641]. Мне обещали, что ей пришлют сведения о нем. Если не прислали, я пойду снова.

Что та книга, которую ты писал вместе с Григорьевым на фронте[642]?

Я руководитель секции классиков при Детиздате от Союза писателей. На днях вырабатываем программу. Сделай, если хочешь, любую заявку на предмет перевода.

Гуле привет. Спасибо ему за письмо. Напишу вскоре.

Твой Ч.

132. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

31 мая 1940 г. Москва[643]

Дорогой Коля!

Конан Дойл за тобой! Выбери лучшие его рассказы: «Союз рыжих», «Пеструю ленту», и приехав в Москву, подпиши у Куклиса договор [644]! Кроме того — «Дети воды» Кингсли[645]. И проч., и проч., и проч. Почему не переиздать «Нашу кухню» и «Огород»[646]?

Ждем тебя и твоих!

133. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Июнь 1940 г.[647] *Москва* Дорогой Коля.

Спешу известить тебя, что Григорий Самойлович Куклис уже уладил дело с Конан Дойлем и ждет от тебя перечня его рассказов и указания на количество листов (приблизительное).

Я думаю, нужно указать листов 15 — *не больше.*

Сейчас у меня сидят товарищи из журнала «Смена» — хороший журнал, культурный — и они возымели мысль напечатать несколько рассказов Конан Дойля. Хорошо бы в первую голову «Союз рыжих» — и еще 2–3 лучших рассказа[648] (например, о дипломате).

Адрес «Смены»: Ул. Правды, д. 24 Кирклисовой Маргарите Ивановне.

Маргарита Ивановна тебе пишет при сем.

Твой К. Ч.

134. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

17 июля 1940 г.[649] *Переделкино*

Милый Коля. На другой день, как ты уехал, я заболел: грипп и радикулит. Поэтому никак не мог лично переговорить с Куклисом по поводу Конан Дойля. Болезнь прошла, я собрался в город — и вновь заболел — колитом — в сильнейшей степени. Мама поехала за врачом в Кремлевку — и входя (в городе) в машину, так ударилась головой о раму двери, что разбила себе голову до крови; кровь залила ее шляпку, ее лицо[650]. Сейчас она в больнице, ей наложили швы, впрыснули сыворотку; а я лежу здесь — и даже не могу догадаться, когда же у меня хватит сил, чтобы поехать в Москву и поговорить с Куклисом.

Что делает Марина? Как ее «Дети воды»[651]. Сейчас я продержал корректуру гранок «Хижины дяди Тома». Готовлюсь писать предисловие[652].

Поздравляю (хоть и поздно) Татку с днем рождения. Крепко жму руку Гульке.

Если увидишь Юрия Николаевича[653] — напомни ему обо мне.

Через 2–3 дня мама, говорят, будет дома. Авось все обойдется благополучно.

Мама видела Чагина и говорила с ним о твоем «Ярославле». Он сказал: — прекрасная книга. Мы издадим ее в 1941 году.

Сердечный привет

Дед.

Не сомневаюсь, что, уехав от нас, Вы написали нам, но письмо, должно быть, затерялось на городской квартире.

135. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Около 10 августа 1940 г. [654]*Переделкино*

Коля.

Вот письмо твоего соседа и почитателя. Ответь ему, пожалуйста. Жребий брошен. 13-го я в Ленинграде. Но умоляю тебя, не говори никому.

Твой старый папаша.

Марине привет
И мерси за жилет.

136. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

24 августа 1940 г. Москва[655]

Милый Коля! Радиофикация «Хижины дяди Тома» будет непременно — на тех же основаниях, что и «Два капитана» Каверина (имевшие огромный успех). Ко мне приедут из радио, чтобы я вместе с Халтуриным препарировал роман для радио[656].

«Фрегаты» *включены* в план 1940 года. Под них, *кажется,* дают бумагу.

«Смена» получила твой перевод и печатать его *будет*[657]. Спасибо за цитату из «Звезды»[658]. На днях я читал «Лит. Современник» и снова убедился, что московским журналам далеко до ленинградских.

Я перевожу запоем Уитмана, выйдет в Гослитиздате большая книга[659]. Не приедешь ли ты в сентябре?

Твой.

Привет Марине.

137. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

2 октября 1940 г. Москва[660]

Дорогой Коля.

У меня сейчас Ваня Халтурин. Исключительно по его вине до сих пор не осуществлена в радио «Хижина дяди Тома». Мы с мамой пристыдили Ваню, и он поклялся, что в 10 дней все сделает.

Был я у Куклиса. У него на столе твои сверстанные «Фрегаты». Он завтра сдает их в печать. Бумага есть.

«Черная стрела»[661] еще на рецензии. Дело решится на днях.

Весьма возможно, что положительно. «Принц и нищий» пойдет непременно[662]. На днях в Ленинграде будет Куклис и нажмет.

Твое письмо так печально, что я не решился показать его маме. У нее на днях закончилась аритмия, и ее взволновало бы твое письмо. Я попросил ее послать тебе завтра 1000 рублей, Куклис обещал выслать тебе за «Черную стрелу» — приезжай скорее, все устроится.

Знаешь ли ты, что окончательно установлено, что мое знаменитое письмо относится к 1922 году[663]. Погода чудесная. На даче отлично. Пишу впопыхах. Спешу в МГУ — читать лекцию о Репине. Спасибо за подробное письмо. Марину крепчайше целую…..

Твой.

138. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

3 октября 1940 г.[664] *Переделкино*

Дорогой Коля. Пишу тебе только затем, чтоб сказать, что мы с 1 по 15 окт. — в Переделкине, с 15 по 1 ноября — в Москве, с 1 ноября — в Кисловодске. Конечно, если не будет неожиданностей.

Об остальном поговорим при свидании. Есть ли у тебя деньги, чтобы приехать к нам? Если нет, телеграфируй. Знаешь ли ты, что в Ленинграде Федин?

Твой отец.

Марину и всех Вас целую. У мамы была аритмия, теперь лучше.

139. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

8 октября 1940 г.[665] *Переделкино*

Дорогой Коля!

«Черная стрела» одобрена. 35 % тебе высланы. Я лично проследил за этим. Мы с мамой выслали тебе 1000 рублей.

«Хижина» печатается. Если бы не Ваня Халтурин, она давно передавалась бы по радио. Насчет «Шерлока» не беспокойся, пожалуйста. Хотя в «Правде» кто-то высказался против «Шерлока», но это не поколебало Куклиса — он просит дать переводы возможно скорее. Только, пожалуйста, будь внимателен при переводе. Я уже после верстки *четвертый раз* правил «Хижину» (строка за строкой) и все находил ошибки.

Куклис вторично подтвердил, что «Фрегаты» твои выйдут в

нынешнем году. Их смутила какая-то рецензия (кажется о Лаперузе). Кроме того, какой-то ученый прислал неодобрительное письмо. Но ведь ты принял во внимание эту рецензию? И вообще вся книга сделана тобою заново. Мне нравятся рисунки к ней[666]. Словом, милый друг, не унывай. Дела не так плохи, и хотя, скажу тебе по секрету, у меня, богатого старика, скоро иссякнут все деньги, — я не предаюсь ненужной скорби, а подобно тебе, работаю с утра до ночи: заново перевожу Уитмана (на которого нет договора), пишу сценарий «Айболит на севере»[667]. Уже пришла корректура моей книги «Высокое искусство». (Обо многом хотелось бы мне с тобой посоветоваться.) Работаю так, что некогда побриться. Из-за этого не пишу Мариночке. Ведь ей надо написать с тем, чтобы править «Питера Пена»[668], а для этого у меня будет только ноябрь. Целую всех — будьте веселы.

140. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

27 октября 1940 г. Москва[669]

Дорогой Коля. Кланяется тебе Слепин, знаешь ты такого? Вчера он очень хорошо говорил на юбилее Сергеева-Ценского [670] (мы были с мамой). Твоя «Черная стрела» выходит одновременно в Детиздате и в Гослитиздате[671]. «Хижина» и «Фрегаты» печатаются. Знаешь ли ты о моих успехах? Я написал сценарий «Айболит на севере», имеющий успех; я продал Детиздату полный том своих стихов и сказок, я очень много перевел Уолта Уитмена, составил «Чтеца-Декламатора»[672]; *печатается* моя «Репин — Горький — Маяковский — Брюсов», сильно «исправленная» в разных местах. Верстается «Высокое искусство». Как твой роман? Вчера на юбилее Ценского я напился первый раз в жизни; юбилей был сердечный. Новиков-Прибой, Вересаев, Пришвин, Шкловский, Ал. Толстой, А. Н. Тихонов, Чагин, представители флота — очень интимно и любовно чествовали беспримерного труженика, написавшего сто листов в 2 года!!!

Твой.

141. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

8 декабря 1940 г. Москва[673]

Дорогой Коля! Был у Куклиса. Он обещал завтра же, то есть сегодня, написать в Ленинград, чтобы насчет «Янки» [674] сейчас же заключили с тобой договор. Равно и насчет «Принца и

нищего»[675]. Халтурин ко мне должен придти сегодня. Он всю работу сделал (сообщает по телефону). «Лис» [676]тоже может быть поручен тебе, если ты хочешь повозиться с ним. «Фрегаты» перенесены в первый квартал 1941 года. Написал бы больше, но у меня грипп, лежу. Гульке шлю горячий привет. Тате и Мане тоже. Марину целую.

Дед.

142. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

16 декабря 1940 г. Москва [677]

Милый Коля!

Я настоял, чтобы Детиздат выслал тебе деньги по телеграфу. Получил ли ты?

Твои «Фрегаты» у меня на столе. Они включены в план 1941 года и через несколько дней будут печататься. Я хочу их прочитать.

Шерлока правлю.

В Гослитиздате вышла твоя «Черная стрела». Детиздат возмущен: «Как мог Ник. Чуковский нас не предупредить?!..» Я советую тебе написать Григорию Самойловичу Куклису письмо, — предъявить встречный иск. Напиши ему о том, как возмутительно ведет себя по отношению к тебе Детиздат. Как смеет он три года мариновать книгу, одобренную к печати? Ты мог десятки раз подать в суд и однако воздерживался от этого. Почему Детиздат требует корректного отношения к себе, когда к авторам он относится так небрежно. Куклис, по-моему, хороший человек, и вовсе не хочет создавать инцидента.

Как твой роман[678]?

Я только что встал с постели. Работаю над Уитманом. Оказывается, я читал тебе черновики, так как беловые оставались в Москве.

Спроси при случае в «Ленинграде», что с моей рукописью[679].

Скоро вышлю тебе свою книгу.

Я не могу править переводы Марины, т. к. у меня нет подлинника. Не пришлете ли Вы книжку «Sherlock Holmes», которую я Вам некогда дал.

Спасибо Тате за фото!

Гулякину привет.

Твой отец.

143. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

26 декабря 1940 г. Москва[680]

Милый Коля. Укладываем чемоданы. Завтра утром едем в Кисловодск. Наш тамошний адрес: Северный Кавказ. Кисловодск. Санаторий Наркомтяжпром. О твоих делах могу сказать тебе следующее. Я прочитал «Фрегаты» и мама прочла. Книга хорошая. Будет иметь успех. Ее задержал Н. С. Дороватовский[681], т. к. не умел до сих пор выработать отношения к ней. Боялся: а что если книга плохая. По моему настоянию, дал ее на рецензию специалисту-географу. Тот дал о ней *положительный* отзыв, смысл которого таков: дико держать столь ценную книгу под спудом!! Географ указал два-три крошечных промаха. Так как почти все они относятся к предисловию, которое вообще ни к чему, я предложил предисловие снять. Надеюсь, ты не возражаешь. Гораздо лучше, чтобы книга начиналась сразу Куком. У меня есть две заметки. 1-ая: Resolution — не «Решение», а «Упорство», «Решимость». 2-ая: Ты пишешь, что наши Тихоокеанские берега охраняет «Дальневосточная Армия». Надо написать: Красная Армия. Вот и все. Книга идет в ближайшее время. Бумага для нее есть.

Твоя история с «Черной стрелой» рассосалась. Ярцев говорит: «он не сообщил нам о своем намерении издать ту же книгу в Гослитиздате». — Нет, он сообщил Эйхлеру. — «В частном разговоре, неофициально». — Нет, официально, так как Эйхлер вел переговоры с издательством, Эйхлер — лицо официальное. У Ник. Кор. нет с ним отношений, кроме деловых.

— Да, пожалуй, это так. Не возьмет ли Ник. Кор. «Рейнеке-Лис»?

В самом деле, почему бы тебе не взяться за редактуру стихотворного перевода «Рейнеке-Лис»?.. Во всяком случае, Григорий Самойлович Куклис ждет ответа. Напиши ему.

Редактирую Конан Дойля.

Халтурин вчера был. Он «Хижину» закончил. Будет на праздниках передаваться. Тебе вышлют договор и деньги, хотя книга уже вышла. Я видел сигнальный, толстая книга со множеством середняцких рисунков[682].

Почему твой роман начинается во 2-й, а не в первой книжке[683]?

Ты не ответил мне, печатает ли «Ленинград» мою статью? Сукинсынство с их стороны не сообщать об этом. Я мог отдать ее в «Огонек».

Напиши нам на Кавказ письмо.

Напиши о «Фрегатах» Николаю Сергеевичу Дороватовскому в Детиздат, чтоб поторопили.

Асеев в редсовете зарезал моего Уитмена. Чагин, заказавший

мне эту книгу, теперь не заключает со мной договора. Но я продолжаю работать.

Как твое здоровье?

С Новым Годом!! Марину целую. Гульке щелчок и поцелуй. Таточке — благодарность за ее фотоэтюды.

Скажи Лиде наш адрес.

Твой старый отец.

144. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

6 января 1941 г. Ленинград

Милый папа!

Я потрясен тем, что Асеев зарезал Уитмэна! Эта вонючая группка пышет к тебе, видимо, неистребимой ненавистью. Вообще, особенно огорчаться тут нечего, — их злоба только выдает всю их мелкость, трусость и бездарность, все их бессилие, — но что ты сейчас будешь делать с Уитмэном?

Сегодня видел редактора журнала «Ленинград»[684]. Он меня уверил, что твоя статья *наверняка* идет в 1 или 2 № их журнала (оба январские), и что он написал тебе об этом на днях в Москву.

Спасибо тебе за попечения о моих «Фрегатах». Предисловие это я написал когда-то страха ради и, конечно, отлично, что ты его снял. Что-то не верю я в то, что «Фрегаты» выйдут. Там кто-то тайно тормозит. Немного погодя напишу Дороватовскому.

Я все еще не кончил своего романа, хотя уже два месяца у меня такое ощущение, что вот-вот я его кончу. Первая его половина в «Звезде» уже на днях идет в набор. Конец декабря я прекрасно прожил в Царском и много там работал. И здоровье мое поправилось. Мечтаю поехать туда снова и прожить там месяц в феврале-марте.

Собираюсь недели через две поехать в Ревель и в Литву. Очень хочу. Не знаю, удастся ли.

Подписал договор на «Янки». С тобой они заключат особый договор на редактуру. Я взял на себя только перевод — никаких предисловий и дополнений. Срок сдачи — 1 июня. Чуть кончу роман, сяду за «Янки» и постараюсь сделать его как можно лучше.

Пиши мне. Надеюсь, в Кисловодске вам будет хорошо. Я очень соскучился по маме. Неужели мы с нею увидимся только летом в Переделкине?

Коля.

6 янв. 1941.

145. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

12 января 1941 г. Кисловодск[685]

Дражайший сын. Очень хотелось бы прочитать твой роман. Его читал один Слонимский или были еще читатели? Сколько в нем, в конце концов, листов? Сейчас мне сказали, что Гослитиздат переходит в ведение ОГИЗа. Напиши Чагину, чтобы он издал «Ярославль»[686], поелику теперь появилась бумага. Сколько же ты, в конце концов, получил денег?

Здесь очень было приятно встречаться с Шолоховым[687]: как не похож он на писателей Ленинграда и Москвы! Вдумчивый, медлительный, спокойный, благородный. Он говорил о Союзе писателей, как о большом нарыве, который необходимо уничтожить.

Папанин[688] тоже очень занимателен: хороший рассказчик, бесхитростный человек. Здесь также Коробов, замнаркомнефть — из знаменитой семьи Коробовых[689].

Мама здесь расцвела. Если у тебя есть возможность, дай Лиде тысячу рублей, я тебе отдам, чуть приеду. Ей нужны деньги к 1-му февраля. Если тебе неудобно, не надо, я устрою иначе.

Твой.

146. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

31 января 1941 г. Кисловодск[690]

Дорогой Коля. Покуда у тебя были заботы с романом, неурядицы с «Фрегатами» и прочие тяготы, я не хотел говорить тебе о Шерлоке Холмсе. Сейчас я считаю себя вправе сказать, что эта работа причинила мне много горя. Я составил было огромный список всяких ошибок и промахов, но не посылаю его тебе, чтобы не вступать с тобой в ненужную полемику. Я так люблю и тебя, и Марину, и твой талант, что готов совершенно безропотно отдавать редактуре твоего (и ее) перевода десятки и сотни часов. Но горе мое в том, что этих часов у меня нет. Редактура каждого Вашего перевода потребовала у меня втрое и вчетверо больше труда и времени, чем потребовалось Вам для того, чтобы сделать этот перевод. Есть страницы, над которыми я бился весь день. Я говорю это без всякой запальчивости, не сержусь и не жалуюсь. Я просто констатирую факт. Посылаю тебе свои заметки по поводу перевода «Пятнистой банды». Их здесь всего 20, а на самом деле больше 200. Здесь я отмечаю только те случаи, где переводчик явно и наглядно не прав. О том, что gables не фронтон, а professional не профессорский, а metropolis не метро, а wickedness не несчастье, а top hat не «высокая шляпа» и т. д. должен знать каждый, кто берется за перевод (и все это известно тебе). Что

«рухнула оземь» или «ведя такой образ жизни, у нас было мало» — неграмотно, это известно тебе так же, как и мне. Так что я говорю не о невольных ошибках, а только о таких, которые произошли по небрежности. Если бы не ты прислал мне этот перевод, я отказался бы его редактировать: такой в нем топорный синтаксис, такие негибкие интонации, такой переводческий стиль. Я не обвиняю Марину: она учится; но ведь ты смотрел ее перевод, ты сверял его с подлинником. Но сверка была самая поверхностная. Вряд ли ты сверял каждое слово. Чувствовалось, что тебе было жаль терять время на Конан Дойла, но ведь мне мое время так же дорого, как тебе твое. Мне 60 лет. Я не сказал и сотой доли того, что хотел сказать о Некрасове, о Уитмане, о детях, обо всех волнующих меня темах. Мне дорог каждый час, покуда свежа голова. А я должен изо дня в день переделывать «шкаф» на «комод». Я не то что не хочу это делать, но больше не могу. Поэтому я умоляю тебя переводить «Янки при дворе» не смаху, а очень медленно, проверяя каждую фразу, чтобы ко мне попадал *только проверенный текст.* Если ты не можешь ручаться за это, если ты не хочешь удесятерить свою переводческую внимательность, я не возьмусь редактировать перевод, так как не располагаю ни нужным временем, ни нужными силами. Будет вообще лучше всего, если этот перевод возьмется редактировать Франковский[691]. — Я говорю это без малейшей озлобленности. Я думаю, что ты со мной согласен. Никаких чрезмерных требований я к тебе не предъявляю. Но если у тебя в черновике перевода floor переведено *дверь*, в беловой рукописи ты должен заменить эту дверь *этажом.* Вообще, переводить нужно не прямо набело, а сначала начерно. Извини, милый, что пишу тебе об этом. Я как-то внезапно понял, что я непоправимо стар, и что для работы у меня остается мало времени. До революции меня изматывала газетная поденщина, теперь мне легче и жить и работать, но нужно не тратить себя на пустые дела — хоть на старости. Мы уже в Москве[692]. Скоро пойду делать себе операцию. Обнимаю всех.

Твой К. Ч.

Вы переводите в «Пестрой ленте»:

1) — Что же *случилось*? Пожар?

— Нет, клиент.

Как может клиент «*случиться*»? И почему, если клиент — женщина, он все же остается клиентом? В подлиннике:

— Что же *там такое*? Пожар?

— Нет, клиент*ка*. (122)

2) Дальше на той же странице:

Конан Дойль: «Молодые дамы бродят *по столице».*

Вы переводите:

…«путешествуют в метро»!!! (122)

хотя Metropolis — столица, а метро по-английски — tube, under-ground и никогда не Metropolis. Если это Вам неизвестно, посмотрели бы хоть в тот русский перевод, который был у вас перед глазами.

3) *123* who *cared* for me — «беспокоится обо мне», а на самом деле «неравнодушен ко мне», т. е. «кому до меня есть дело», «кто любит меня».

4) *124* «*вытащил* (?!) книгу своих записей».

на самом деле:

«достал маленькую (small) записную книжку».

5) *124* Вы спутали жениха этой девушки с Холмсом. Она говорит: «Даже тот, к кому я имею право обратиться за советом и помощью» *(т. е. жених),* а Вы переводите: даже вам, от кого я жду совета и помощи *(т. е. Холмс)*.

6) *124 В подлиннике:*

Он не говорит мне этого, но я вижу это в *его* успокоительных ответах.

Вы переводите:

«Я увижу это по *вашим* успокаивающим ответам».

7) *124* averted eyes = уклончивые взгляды

у Вас: отсутствующие глаза.

8) *124* manifold wickedness of human heart

«многочисленные *злые наклонности* человеческого сердца»

У Вас:

человеческие *несчастья.*

9) *125* Вы напрасно *обвиняете в краже* какого-то «туземного дворецкого». В подлиннике не сказано, что он — вор. В подлиннике говорится: в доме случилась кража, и хозяин избил дворецкого.

10) *127 «ведя* такой образ жизни, *у нас было* мало возможностей» — неграмотно.

11) *129* «рухнула оземь» — не по-русски. Нужно «рухнула наземь».

12) *129* У Конан Дойла: «Он был в халате» «He was in his dressing-gown». Вы переводите: «он, *совсем одетый».* Зачем же человек станет надевать халат, если он «совсем одет»? Страннее всего то, что в дальнейшем Вы переводите dressing-gown — халат.

13) *130* У Конан Дойла: «он *тщательно* исследовал все это дело» (with great care). У Вас: «он очень *осторожно* вел следствие».

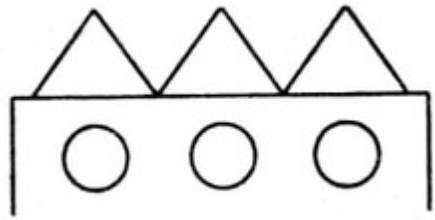
14) *134* По-английски top hat — «цилиндр». Вы же переводите: «высокая шляпа».

15) *134* professional — профессиональный. В данном случае лекарский, докторский. Вы переводите: *профессорский*!!!

16) *136* у Вас: «лист бумаги, весь исчирканный и *разрисованный*»

В подлиннике: «with notes and figures». Очевидно, вы решили, что figure — фигурка. Между тем, figure — цифра. Нужно: с заметками и цифрами.

17) *137* gables — зигзаги крыши вот такие:



Вы переводите: «фронтон»!

18) *137* Холмс говорит кучеру: «Я думаю, мы пойдем той дорогой, которую вы нам указали».

I think we had better do you suggest.

Вы переводите:

«Кажется, все идет лучше, чем мы предполагали».

19) *138* «Найдет кого-либо похитрее *себя».*

Как может быть человек хитрее себя самого?

Нужно: «здесь может найтись человек похитрее его».

20) *140* Chest et drawers — не платяной шкаф, а комод.

стр. 10

Переведено: «в Союзе рыжих сидят люди *понимающие*» (10 стр.)

Нужно: «дело дойдет до *состязания* рыжих»… Переводчик смешал: competition и competent стр. 15

Перевод: «вставочка»; *подлинник*: «гусиное перо».

29

«Председатель *директоров».* Нужно: «председатель *правления».*

32

Перевод: «оставив в руках свой *воротник».* Оригинал: «поймали только *фалду* его пиджака».

65

Перевод: «старик с отвислыми губами».

Как может верхняя губа быть отвислой? Нужно: с отвислой губой.

87

«Приведем его в приличный вид».

Как можно кого-нибудь «привести в вид»?

185

Перевод: «третья дверь».

Подлинник: «третий этаж» (не door, а floor).

147. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

4 февраля 1941 г. Ленинград

Милый папа.

Твое письмо совсем расстроило нас. Действительно, очень жаль, что тебе приходится тратить столько сил и времени на правку наших переводов. Я уже думал об этом и раньше и всегда в глубине души удивлялся, зачем ты за это берешься.

Из создавшегося положения нужно найти выход и сделать выводы. Твои выписки из «Пестрой ленты» с несомненностью доказывают, что Марине рано заниматься переводом, потому что она недостаточно знает английский язык. Исправить я ее не могу, хотя хорошо знаю, что значит floor, и top-hat, и heart, и metropolis. Дело в том, что подобных элементарных ошибок у нее так много, что я, заметив одно, несомненно, не замечу другого. Дело в том еще, что я, видимо, при всем старании не умею исправлять чужие переводы: внимание мое всегда прежде устремляется на склад русской фразы (впрочем, и в этом отношении я, исправляя, не достигаю желаемых результатов). Марине нужно заняться английским языком, и тогда из нее будет переводчик.

Теперь о себе. Floor и door я спутать не могу, но competition и competent[693] я иногда смешать в состоянии. Стыдно сказать, английский язык и моя беда, хотя я занимаюсь им всю свою жизнь. Конечно, я знаю его гораздо лучше, чем Марина, и все же недостаточно хорошо. У меня, к сожалению, нет способностей к языкам. Тут уж ничего не поделаешь. Однако, перевожу я уже 18 лет, перевел десятки книг, и никто никогда о моей работе ни слова дурного не сказал. Впрочем, быть может, аргумент это недостаточно убедительный.

Теперь о моих с тобой отношениях как с редактором. Ты сам понимаешь, что они очень трудны, потому что они перепутываются с отношениями родственными. Мы очень разные литераторы, каждый любит свое, отношение к стилю у нас различное. Я очень люблю тебя и твой стиль, и, тем не менее, всякий раз, когда в каком-нибудь своем переводе, отредактированном тобою и уже напечатанном, я встречаю твою фразу, она меня чуть-чуть коробит. (Конечно, это не относится к тем случаям, когда ты исправляешь фактические мои ошибки — за такие исправления я очень тебе благодарен). Тут дело не в

правоте или неправоте, а во вкусах, которых я победить не в состоянии. Впрочем, не думай, что я имею к тебе какие-нибудь претензии, — я никаких претензий не имею и охотно прячу свои вкусы в карман. И сознание того, что в нашей совместной работе я доставляю тебе неприятности, тяготит меня гораздо больше, чем тяготят меня неприятности, которые я испытываю при этом сам.

Теперь о «Янки». Не скрою, мне очень хочется перевести эту книгу. И я уверен, что я перевел бы ее лучше, чем все, кто переводили до меня. Помнишь, мы с тобой переводили «Принца и нищего» [694]? Ты мне тогда не сделал почти никаких замечаний. Это внушило мне надежду, что мы вместе работать можем. Почему бы и в «Янки» не быть тому же самому? Ты мне предлагаешь Франковского. Ну что ж, если так надо, я не протестую. Мало ли кто меня ни редактировал. Если мой роман[695] сейчас редактируют Кривошеева, Капица и Лесючевский[696], почему бы моих переводов не редактировать Франковскому. Без этого нельзя. Но, по правде сказать, я бы не струсил, если бы меня никто не редактировал. И был бы рад, если бы меня редактировал ты.

Все это я пишу, глубоко огорченный тем, что доставил тебе неприятности. Принимай любое решение, поступи так, как найдешь нужным, я на все соглашусь с радостью. Прости за откровенное письмо, оно необходимо. Какие бы ни были у меня с тобой разногласия, я всегда с восхищением отношусь ко всему, что ты делаешь.

Когда твоя операция?

Я здоров, и напрасно вы с мамой, прочитав Маринино письмо, пришли к таким преувеличенным выводам.

Коля.

4 февр. 1941 г.

148. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

9 февраля 1941 г. Москва[697]

Дорогой Коля.

Ты пишешь, что тебя чуть-чуть коробит от многих моих поправок. Я тебя вполне понимаю.

Мой стиль испорчен многолетней газетной поденщиной.

У меня хватает вкуса, чтобы не питать пристрастия к моему стилю.

Я гораздо больше люблю твой стиль, полнокровный, не юркий, широкий. Мне никогда не написать ни одной страницы

твоего «Ярославля». Я потому и настаиваю, чтобы твои переводы были более строги и четки, что я знаю твои силы и верю в них. Ты знаешь, как люблю я твои переводы стихов. Именно потому, что ты так силен, мне больно видеть твою нарочитую слабость. В «Союзе рыжих» есть фразы, которых ты не написал бы, если бы хоть на минуту вгляделся в текст.

Я пишу это не для того, чтобы скулить. Я просто хочу, чтобы ты, переводя «Янки», мобилизовал *все* свои силы. «Янки» — прекрасный роман, его будут читать миллионы детей, делать его кое-как — не годится. Возьми в библиотеке Союза хороший словарь, Александровым[698] здесь не обойдешься, заведи черновики и беловики, прочитывай переведенное вслух, ведь ты сделаешь этот перевод гораздо лучше, чем его сделал бы я, и моя редактура будет для меня сплошным удовольствием.

Конечно, было бы лучше, если бы у тебя не было никакого редактора. Я постараюсь это устроить; ведь переводил же ты без редактора Сеттона Томсона. Но нельзя переводить Твена, как ты переводил Томсона; Томсон, по-моему, наименее удачный из твоих переводов и настоятельно требует редактуры. Не сомневаюсь, что Твен у тебя выйдет прекрасно, и тогда я официально откажусь от его редактуры.

По поводу Марины. «Палец механика» переведен ею лучше, чем «Пятнистая банда», а «Второе пятно» лучше, чем «Палец механика». Ей надо тщательнее вчитываться в текст, медленнее переводить, но не бросать этого дела ни за что: у нее большие способности к переводу, но очень мало было практики.

Что поделывает Гуля? Попроси его написать мне письмо. Я сочинил несколько загадок. Пожалуйста, прочти ему, пусть отгадает. Первая загадка такая:

Мудрец в нем видел мудреца,
Глупец — глупца,
Баран — барана.
Овцу в нем видела овца
И обезьяну — обезьяна.
Но вот подвели к нему Федю Баратова,
И Федя неряху увидел лохматого.

И еще:

Словно небывалые чудесные цветы,
Полетели зонтики с небесной высоты.

И еще:

Железная рыба плывет под водой,
Врагам угрожая огнем и бедой.

И еще:

Между черными тучами рыщут
Неустанные наши лучи
И без отдыха на небе ищут
Злого недруга в черной ночи.

И еще:

Я лаю со всякой
Собакой.
Я вою
Со всякой совою.
И каждую песню твою
Я вместе с тобою
Пою.
Когда же вдали пароход
Быком на реке заревет,
Я тоже реву:
«У-у!»

Пусть пришлет мне отгадки. Прочитала ли Таточка «Хижину»? Какие плохие рисунки!!!

Мы несколько раз видались здесь с Шолоховым. Какой очаровательный и крепкий человек. Вчера он сказал мне: «Выпьем за то, чтобы Вы организовали свою жизнь так, как я организовал свою». Это действительно доброе пожелание, ибо он организовал жизнь свою мудро. Приехал с матерью своею, не видится *ни с кем* из писателей, со мною водится отнюдь не по писательской линии.

Мама послала тебе вчера наш долг — тысячу рублей.

Радуйтеся и веселитеся! Целую вас всех.

Ваш К. Ч.

149. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

17 февраля 1941 г. Ленинград

Милый папа.

Я перевожу «Янки» со всей тщательностью, на которую только способен. Сделал пока совсем мало, потому что меня одолел грипп. Сегодня первый день нормальная температура.

Напрасно ты решил, будто я не хочу, чтобы ты редактировал «Янки». Напротив, я этого очень, очень хочу, и буду рад, если ты не откажешься редактировать. Перевод трудный. Поглядываю для справок в добросовестный, но скучный и тусклый перевод Губера[699].

Теперь вот какая история: Ярцев[700], встретив меня, спросил, согласен ли я заняться «Рейнеке-Лисом». Так как «Рейнеке-Лис» прельщает меня не особенно, я ответил, что занят до 1 июня переводом «Янки». Тогда он вынул план Детиздата на 1941 год и выяснил, что «Янки» в плане не стоит. Тогда он сказал:

— Я поговорю с Куклисом, он отсрочит вам договор на «Янки» и у вас будет возможность заняться «Рейнеке-Лисом».

Я был неподготовлен к этому разговору и так растерялся, что ничего ему не ответил. Когда он ушел, я сразу же вспомнил, что «Янки» мы не к 41 году готовим, а к 42-му, и Куклис это знает. (Я кончу перевод летом, осенью ты его проредактируешь, ясно, что он не выйдет в 41 году).

Пожалуйста, объясни Куклису при встрече, что я хочу переводить «Янки», а для «Рейнеке-Лиса» найди кого-нибудь другого. Я охотно согласился бы на редактирование *стихов* «Рейнеке-Лиса», но Ярцев хочет, чтобы стихи перемежались с прозаическим переложением, а я перекладывать ничего не умею, и у меня это выйдет хуже, чем у многих других.

Кстати, «Двойное пятно» в Шерлоке переведено не Мариной, как ты полагаешь, а мною. Марина перевела «Голубой карбункул», «Палец инженера» и «Пятнистую банду».

Когда, наконец, ты ложишься на операцию? Уже столько времени ты к этому готовишься. Отчего ты откладываешь?

А в Барвиху ты поедешь? Что ты пишешь сейчас? Твои «Воспоминания» имеют в Ленинграде огромный успех. В библиотеках их рвут друг у друга.

Роман мой[701] кончен и уже набирается как в «Звезде», так и в «Советском писателе». Я очень жду его, волнуюсь и пр.

Как отлично, что мама приезжает, буду рад с ней повидаться!

Катя отказалась от 300 рублей. Марина сделает еще попытку уговорить ее, но, во всяком случае, ты нам ничего не присылай, пока мы не сообщим, что она взяла деньги. Привет Бобе. Что он?

Коля.

17 февр. 1941.

150. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

19 февраля 1941 г. Москва[702]

Милый Коля. Я говорил с Куклисом. Он просит сказать тебе, чтобы ты не думал о «Рейнеке Лисе», а переводил бы «Янки». Ярцев не знал, что он сообщает тебе давнишнее (уже аннулированное) предположение редакции. Привет бабеньке!

Твой К. Ч.

151. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

6 апреля 1941 г. Москва[703]

Спасибо, Коля, и за книгу[704], и за поздравление[705]. Книгу я еще не кончил, но она мне *очень* нравится. И предисловие отличное[706]. Я недавно был в Музее Красной Армии. Там есть специальные залы, посвященные войне с белофиннами. Есть куски разбитых нашей артиллерией дотов, есть макеты Линии Маннергейма[707], множество фотографий — и твоя книга кажется мне, благодаря этому, еще более волнующей.

Жаль только, что я не знаю, какой очерк обработал ты, а какой — Григорьев.

Что твой роман? Пришли книжку «Звезды», чуть он выйдет.

«Хижина» имеет бешеный успех. «Шерлок» на днях будет набран. «Союз рыжих» вместе с моей статьей о Шерлоке будет напечатан в ближайшей книге «Пионера»[708]. Чуть появится моя статья — все журналы расхватают другие рассказы: журнал «30 дней», «Смена» и друг.

Сейчас мы составляем трехлетний план Детиздата. Туда входит весь твой Сеттон Томпсон, «Остров сокровищ», «Принц и нищий», «Хижина». Все это пойдет огромными тиражами, и у тебя будет возможность, не тревожась мыслями о деньгах, писать следующий роман — о чем? О чем? В самом деле — о чем? Хорошо бы тебе съездить на Дальний Восток или на Камчатку — впрочем, колит, очевидно, не позволяет тебе далеких операций.

Завтра ложусь в больницу. У меня все время такая душевная боль, что о боли физической думаю с удовольствием. Беда только в том, что операция совсем не нужна. Грыжа не беспокоит меня, это такая уютная, милая, изящная, микроскопическая грыжа, что любо. Мне очень повезло с нею, бывают грыжи гнусные, когда кишки вываливаются черт знает куда. Снова принимаюсь за Некрасова — с восторгом.

Целую всех. Если помру — не поминайте лихом.

Твой старый 60-летний отец.

152. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

17 апреля 1941 г. Москва[709]

Милый Коля. Твои «Фрегаты» *печатаются*. Они выйдут одновременно со второй частью «Лета». «Звезду» не присылай. Достану, прочту. Сейчас прочитал новый роман Райта «Сын Америки»[710]. Есть чудесные куски; замечателен высокий (только в Америке встречающийся) стиль абсолютной художественности, но последняя часть пошла под откос, автор запутался в идеях, в идейности. — Мою книжку «Воспоминаний» все хвалят. В «Новом мире» была хвалебная рецензия, в «Литгазете»[711] и проч. Но, конечно, ты прав. Я вправе требовать от себя большего. Я подал заявление — не издадут ли они второе издание[712]? Я увеличу чуть не вдвое о Репине, — сильно расширю о Горьком и прибавлю о Леониде Андрееве и Блоке. Андреев — единственный, кого можно показать не в двух измерениях, а в трех. «Штурм» я прочитал с огромным удовольствием. Завтра отнесу эту книгу в «Правду» — поговорю. Во 2-й книге «Инт. л-ры» много моих переводов из Уитмана[713], и — странно, Уитман, когда я увидел их в печати, разонравился мне совершенно.

Я не посылаю тебе «Иск. перевода», потому что у меня этой книжки нет. Всю роздал переводчикам. Достану экземпляр, пришлю.

Занимаюсь я опять Некрасовым. Пишу большую о нем статью по новым материалам.

Гулькино нездоровье очень беспокоит маму. Что же у него такое? Я никак не могу представить его себе больным. Сейчас слышу за стеной топанье жениных ног. Ты не можешь вообразить, какой из него чудесный выходит мальчишка — веселый, наблюдательный, тонкий. Лысый Боба работает даже по воскресеньям, забегает на минутку, он спокойнее и счастливее, чем был прежде.

Мама читает Ж. Ж. Руссо. Она здорова, но утомляется ужасно. В день операции я заболел гриппом, а во время гриппа и долго после него операция невозможна. Поэтому я должен перед операцией провести месяц в санатории. Бррр!

Интересно будет прочитать «Лето». Каверин говорил, что это лучшая твоя вещь.

Марине привет и любовь. Мама говорит, что она стала такой красивой, какой еще не была никогда. Цени, благодари судьбу и радуйся.

У меня *два* новых костюма и *новое* пальто! А сам я не то чтобы очень новый.

Был сегодня на выставке Маяковского[714]. Необыкновенно

помпезная, — статьи, картины, десять больших зал…

Целую Таточку.

Твой К. Ч.

153. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

27 апреля 1941 г. Ленинград

Милый папа!

Здешний Детиздат все время спрашивает меня: отчего ты не прислал им обратно посланные тебе для подписи два договора — 1) на редактирование «Янки» и 2) на предисловие к «Янки». Сейчас они послали тебе третий договор — на переиздание «Принца и нищего» (они сделали два договора — на мою часть отдельно и на твою часть отдельно). Подпиши и отошли им, пожалуйста, а то они в недоумении.

Я упорно работаю над «Янки», но он движется у меня очень медленно, и уже ясно, что к договорному сроку — 1 июня — мне ни в коем случае не поспеть. Это грустно, но ничего не поделаешь.

Во второй половине мая непременно буду в Москве. Где ты будешь к тому времени — в городе, в Переделкине, в Барвихе? Мы здесь с Лидой ничего точного о ваших намерениях не знаем. Не знаю я, и где ты теперь — в санатории или в Москве. Здоров ли ты? Как ты решил с операцией? Отложить на осень?

30-го я еду с Гулькой на 5 дней в Детское Село. Думаю, Гуле это пойдет впрок.

Маме привет. Мечтаю с вами повидаться.

Коля.

27 апр. 1941 г.

А все-таки неужели ты не можешь прислать мне «Высокое искусство»?

3 № «Звезды» уже вышел[715].

154. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

3 мая 1941 г.[716] *Барвиха*

Милый Коля. Прочитал твою повесть, не отрываясь. Очень хорошо и увлекательно. Тема трудная, но благодарная, и ты безошибочно разработал ее. Главный герой повести — весь коллектив. Тебе удалось привлечь к этому коллективу такие симпатии читателя, что, когда обнаружилось, что в Кинешме «хлеба нет, город голый» — читатель почувствовал личное горе —

и как обрадовался, когда в Симбирске выдали по два фунта на душу. Очень хорошо разделение парохода на «палубу» и «трюм». Катя, Шуша, Звягин, влюбленность Кати, «картофельные котлеты», тиф, Виктор — все изобретательно, талантливо, пластично. Радуюсь твоей новой удаче и понимаю теперь, почему Каверин говорил мне, что это — лучшая твоя вещь.

Недостатки мелкие: немного холодноватое, «беллетристичное» начало и еще некоторая олеографичность манеры. Но эта олеографичность померещилась мне лишь в начале, а потом исчезла — или я перестал ее замечать, поглощенный сюжетом и мастерством. Мастерство большое, чудесное. Композиция безупречна. Диалоги живы почти все. Интересно, что говорят об этом романе в ленинградских литературных кругах?

Черкни мне письмецо: Ст. Барвиха, Балтийско-Белорусской ж.д., Клиника Кремля «Барвиха», мне.

Таточке и Гуле — приветы.

Слыхал ли ты, что Детиздат перешел в Наркомпрос?

Твой К. Ч.

155. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

7 мая 1941 г. [717] *Барвиха*

Дорогой Коля. Трепещи: сегодня начну читать 3-й номер «Звезды».

В Детиздат послал письмо, чтобы прислали мне новые договоры. Старых не подписал ввиду малости предложенного гонорара. Я в Барвихе. До скорого свидания. В середине мая надеюсь быть в Переделкине. Марину *целую.* Привет внукам.

156. Н. К. Чуковский — М.Б. и К. И. Чуковским

27 июня 1941 г. Ленинград

Дорогие родители!

29-го я, интендант 3 ранга, в новенькой форме, уже полученной, отправляюсь к западу. Я был бы гораздо спокойнее, если бы знал, что делается у вас. Но от вас никаких вестей уже больше двух недель. Что папа? Что Лида? Неужели нельзя написать? Что Боба? Он уже в форме? В Москве ли он?

Когда я приеду на место назначения, пришлю вам свой адрес. Но, не дожидаясь этого, непременно сразу же напишите обо всем Марине. Проводив меня, она съездит за детьми в Лугу и привезет

их в город. Что она будет делать дальше, пока не ясно. Если понадобится, можно ли ей будет приехать в Переделкино?

Папа, возможно, «Фрегаты» мои уже вышли или скоро выйдут. Попроси свою секретаршу или еще кого-нибудь взять авторские экземпляры и спрячь их у себя для меня. А то я сейчас совсем беспомощен и, если упущу момент, экземпляров потом не достану.

Теперь о «Янки». Я кончить перевод не успел. Переведено у меня немного больше половины — листов 12–13. А срок *моего* договора — 1 июня. Твой договор на редактуру более долгий, — ты должен представить отредактированного «Янки» к 1 окт., кажется. Лендетиздатчики — сволочи. Я боюсь, как бы они не расторгли со мной договор на том основании, что я не сдал в срок. Теперь уж тебе придется иметь с ними дело. Я попрошу Марину выслать все, мною переведенное, тебе. И напишу об этом Колесеню. А ты уж найди человека, который переведет конец.

Нет времени писать дальше. Будьте счастливы.

Коля.

27 июня 1941 г.

157. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

1 сентября 1941 г[718]*. Переделкино*

Чуковскому Николаю.

Дорогой Коля. Мы живы-здоровы. От Марины получили депешу — она едет с детским лагерем. Я послал ей на всякий случай еще 200 рублей. Тебе пишу *беспрестанно*. Настроение у нас оптимистическое, бомбежки нам не мешают жить; от Бобы получаем известия — бодрые. Живем в Переделкине, где сейчас чудесно: много малины, солнца. Там же живут: Катаев[719], Всев. Иванов, Афиногенов[720], Панферов[721]. — Мы никуда не собираемся, т. к. здесь мы полезнее всем Вам — и детям и внукам.

Твой отец.

158. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

5 сентября 1941 г. Москва[722]

Дорогой Коля. Были мы с Мишей Слонимским у Хавинсона[723] — в ТАСС'е. Обещал сделать все возможное, но сделает ли? У Миши дружеское отношение к тебе, но — ему не везет с тобой, боюсь, что и на этот раз рука у него окажется для

тебя несчастливая.

О Бобе хлопочет Шолохов. У Бобы сделалась грыжа, и надо вызволить его в Москву для операции. Лида подголадывает в Чистополе[724]. Ей требуется сразу тысяч пять, а я послал ей 500 р. — и больше сейчас не могу. Будь бодр и здоров. О Марине у меня очень отрадные сведения. И о детях тоже.

Твой отец.

159. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

12 сентября 1941 г.[725] *Переделкино*

Милый Коля. Мы живем хорошо. В Переделкине чудесная погода. Много малины, земляники. С нами живут Большинцовы[726] — приятные люди. К бомбежке мы привыкли. Есть, конечно, и горести: волнуемся за Бобу, за тебя, горюем, что из-за безденежья ничем не можем помочь Марине. Лида, как ты знаешь, в Чистополе. Ее адрес: *Татреспублика. Чистополь береговой. До востребования.*

Читали твою статью в «Правде»[727]. Для нас она была огромною радостью. Я работаю в Информбюро, но мало и вяло. Не вошел еще в ритм. Все же мне 60 лет, и это сказывается. Мама бодра и деятельна. Знаешь ли ты, что Литфонд дал большую дотацию на детей Гаврилова-Яма[728]? Кажется, их направляют в Ташкент. Но это только слухи. Боба часто пишет нам с фронта. Письма бодрые. Пожалуйста, пиши. Мы пишем тебе постоянно. Куда ты послал рукопись «Янки при дворе короля Артура»? Я ее не получал. Мама целует тебя.

Твой К. Чуковский.

Отец.

160. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

6 октября 1941 г. [729] *Устюжна*

Умоляю, молнируй точный адрес Марины: Устюжна Вологодской востребования мне. *Коля.*

161. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

15 октября 1941 г. Устюжна

Дорогой мой папа. Я оторван ото всех, писем не получаю, получил только страшную телеграмму, что Гулька тяжело болен,

и безумно боюсь за него. А как вы с мамой? Едете ли вы куда-нибудь? По-моему, вам *надо* ехать. Поезжайте, не колеблясь, в Пермь к Марине, захватите по дороге и Лиду с детьми. Как бы я мечтал, чтобы все вы были вместе! Для меня Пермь тоже, в конце концов, теоретически достижимее, чем другие места. А тут так важно друг друга не потерять. Послушай моего совета, не откладывай отъезда. Твой возраст дает тебе на это полное право.

Как Боба? Как Лида? Пиши мне, ради Бога. Телеграфируй. Всякая весть о близких — для меня единственная радость. Не уезжай, не дав мне телеграммы, чтобы я всегда знал, где вы с мамой.

Твой Коля.

15 окт. 1941 г.

162. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

17 октября 1941 г. Москва[730]

Дорогой Коля. Что же ты не откликаешься? Мы послали тебе две телеграммы; кроме того Лозовский из Информбюро послал тебе две телеграммы — ты ни звука! Мы едем в Ташкент или в Алма-Ату. Пиши в Ташкент (главный почтамт) до востребования. Постараемся вытащить Марину и Лиду. До свиданья, сынок. До скорого свиданья. От Бобы хорошие известия! Воображаю, сколько у тебя новостей!

Твой отец.

163. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

7 декабря 1941 г.[731] *Ташкент*

Живем мамой Лидой[732] детьми улица Гоголя, 56, здоровы. Три месяца Бобе нет вестей[733].

Чуковский.

164. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

29 декабря 1941 г. Устюжна

Милый папа, Маринка мне пишет, что вы с мамой не знаете моего адреса. А между тем я все еще в Устюжне Вологодской области, до востребования или почтовый ящик 7/4. Я послал тебе в Ташкент две телеграммы, но ответа не получил. Ничего о вас не знаю. Не знаю даже вашего адреса, и вот пишу на главный

почтамт до востребования.

Знаете ли вы что-нибудь о Бобе? Я много раз пытался писать ему по разным адресам, но за всю войну ни разу ничего от него не получил. Где он?

Сидя в Устюжне и разъезжая по окрестным областям, я совсем от всего оторвался. Существуют ли еще издательства? Где Детиздат, кто там? Где «Сов. писатель» (московский)? Я пишу книгу о летчиках[734], хотел бы ее куда-нибудь пристроить, но не знаю даже, куда писать. Сообщи все, что знаешь.

А толстые журналы еще есть? Где они?

Книжка у меня получается интересная. Дай совет.

Вообще, пожалуйста, пиши мне почаще, побольше, маму проси писать, для меня каждое письмо — такая радость. Раньше мне Лида писала, но теперь и она бросила. Мой адрес пока Устюжна, а когда я куда-нибудь уеду, я дам телеграмму.

Коля.

29 дек. 1941 г.

С новым годом!

165. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

15 января 1942 г. Ташкент

Милый Коля.

Хоть бы строчку получить от тебя! Мы живем здесь неплохо — сытно и безбедно — Люша учится в школе — я читаю лекции, работаю в Комитете помощи эвакуированным детям — печатаюсь в газетах. — Ташкент мне очень нравится — поэтичный самобытный город — весь в тополях — и каждый тополь втрое выше обычного тополиного роста — узбеки чудесный народ, деликатный, учтивый, — мы сошлись с семьей Горького, — с Екатериной Павловной Пешковой — с «Тимошей»[735]. — Лида работает в Академии Наук (с Зильберштейном[736]), и если бы мы не томились мрачными мыслями о Бобе, жизнь нашу можно бы признать неплохой.

Неужели тебе не дадут передышки? Напиши о себе. Сюда вчера прибыла жена Прокофьева[737] (поэта), здесь ленинградская консерватория — Михоэлс[738] — Ал. Толстой — Анна Ахматова[739].

Мы прикреплены к поликлинике, получаем обильный паек, пытались выписать сюда Марину с детьми, но она хочет быть поближе к тебе.

С нами Ида.

Тата прислала нам необыкновенно взрослое письмо.

Воображаю, как ты скучаешь по семье. Заранее радуюсь твоему роману, который ты напишешь теперь.

Теплынь. Зеленеет травка.

Шофер украл мою машину. Я обратился в Угрозыск.

В свободное время готовлю статью о Чехове[740]. Читаю его с умилением. Как все это далеко и как близко!

Обнимаю.

Твой отец.

15 января. Жарко. Девочки ходят с голыми ногами, в носках, я — в летнем пальто, голубое небо, все дети — на улице. Верблюды, ишаки, содовая вода в киосках, бухарские халаты, тюбетейки. 17-го будет благотворительный концерт в пользу эвакодетей, я буду говорить вступительное слово — участвует Анна Ахматова, Толстой и другие. Сбор полный — 18 000 рублей.

Сейчас пришел ко мне Вирта прощаться. Он закончил роман[741] и едет в Москву. И у него стащили калоши, которые он на секунду оставил в коридоре.

Я хворал, а теперь совершенно здоров. Пиши!!!

166. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

18 января 1942 г. Ленинград

Дорогой папа.

Я опять в Ленинграде. Телеграфируй и пиши мне по адресу: Ленинград, Басков, 18, кв. 4. М. Н. Рейнке для меня.

Собираетесь ли вы возвращаться к себе домой? Когда будете возвращаться, возьмите к себе Марину и моих детей. Пожалуйста.

Целую, люблю всех.

Я здоров.

Где Боба?

Ваш Коля.

Ленинград.

18 янв. 1942 г.

167. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

30 января 1942 г. Ленинград

Дорогой папа!

Делаю еще одну попытку, уж не знаю которую, написать тебе. От тебя и от всех вас, господ Ташкентцев, не имею ничего с ноября. Я в Ленинграде. Здоров. Мой адрес для писем: *Ленинград, Краснознаменный Балтийский Флот, Военно-морская почтовая*

станция № 1101 почтовый ящик 924, редакция, мне. Для телеграмм: *Ленинград, Басков пер., 18, кв. 4. М. Н. Рейнке для меня.*

Как вы все? Есть ли у вас хоть какие-нибудь вести от Бобы? В Устюжне я получал очень тревожные письма от его жены[742]. Нашла ли она его?

Папа, собираешься ли ты в Москву? Когда? У меня к тебе просьба: когда поедешь, возьми с собой в Москву Марину и моих детей. Я не хочу, чтобы они ехали в Ташкент — в Краснокамске им неплохо, да и ближе ко мне. Но очень хочу, чтобы, когда придет время, они поехали с тобой в Москву. Дело в том, что в Ленинграде у нас теперь квартиры нет, а устраиваться на будущее ведь как-нибудь нужно. Быть может, Марине удастся в Москве или под Москвой найти какое-нибудь помещение. Кроме того, Москва ближе и достижимее для меня.

До сих пор у меня были деньги, и я посылал Марине столько, сколько ей было нужно. Но теперь, в связи с моим переездом и с тем, что прежние ресурсы исчерпаны, я остался совсем без денег. Если у тебя есть возможность, вышли ей хоть немного. Ее адрес: *Краснокамск Молотовской области, ул. Карла Маркса, 25. Общежитие Литфонда.*

Папа, милый, пиши мне, телеграфируй. Письма моя единственная радость, а я так редко их получаю. Как ваш ташкентский адрес? Я до сих пор пишу вам на главный почтамт, а вы, быть может, туда совсем не заходите.

Как мама, Лида, дети?

Очень любящий вас *Коля.*

Ленинград, 30 янв. 1942 г.

168. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

12 февраля 1942 г. Ташкент [743]

Дорогой Коля.

Мы живем лучше многих. Сыты. Тебя дважды вызывал в Москву т. Лозовский. Не знаю, дошли ли до тебя его телеграммы. Чагин в Москве. Твою книгу он издаст. Я здоров. Работаю. Читаю лекции, пишу в газетах, написал книгу «Дети и война» [744]. Мы мечтаем о свидании с тобой. Я хлопочу о тебе. Пошли свою книгу Чагину. Пусть копию даст Кеменову [745] в Литературное агентство ВОКСа. Марину приглашаю сюда.

Твой отец.

Обнимаю тебя! Мама шлет тысячи приветов.

169. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

21 февраля 1942 г. Ташкент

Ташкент. Ул. Гоголя, 56.

21/1142.

Дорогой Коля!

Пишу тебе 12-ое письмо; ни одно из них до тебя не доходит. В письмах этих я сообщал тебе, что мы живем в Ташкенте безбедно, что я работаю и в газетах, и в издательстве, читаю лекции, много пишу для Информбюро. Здесь хорошее издательство, которое выпускает даже мои «Сказки»[746].

Но, конечно, если бы я заболел или помер, семье пришлось бы очень тяжело, так как Лида, например, за четыре месяца не может заработать ни гроша.

Мама хворала гриппами, аритмией сердца — теперь поправляется. Лида после операции необыкновенно поправилась, неузнаваемо бодра — работает в порядке шефства над улучшением быта эвакуированных детей, дружит с Анной Ахматовой. У нас 2½ комнаты, что по-здешнему невиданная роскошь. Я часто встречаюсь с Ал. Н. Толстым, которого вновь полюбил, с А. Н. Тихоновым, с Пешковыми, с Риной Зеленой[747], с Иосифом Уткиным[748],с Погодиным — все литературные отношения слагаются здесь по-другому, по-новому. О, если бы до нас дошло хоть одно твое письмо! Мы страстно хотим знать о тебе. Есть ли надежда, что ты хоть на месяц отдохнешь от боев? Что мог бы делать в этом направлении я? Я писал о тебе С. А. Лозовскому. Лозовский послал тебе две телеграммы в Устюжну, но ответа от тебя не получил. Он любит твое дарование, помнит твой роман «Ярославль» и хотел привлечь тебя к работе в Информбюро. Хоть бы ты переслал мне рукопись своей книги «Летчики». Здесь ее было бы легко издать. Говорят, что Чагин — в Москве, но я в этом не уверен.

К сожалению, от Бобы нет вестей. Боюсь, что и не будет.

Не можешь ли ты переслать мне письмо с кем-нибудь, кто едет или летит в Ташкент или Куйбышев.

От Марины мы регулярно получаем известия: она очень тоскует, что ты не в Устюжне, но живет сносно. От Гули я получил открытку, которая начинается словами: «Дед, я живу прекрасно». Марина — дивный человек, я по ней скучаю, только теперь я понял, какой это благородный характер, мне хочется — если ей будет возможно — выписать ее сюда, и я предпринимаю для этого соответствующие шаги. Крепко целуем тебя, надеемся, что скоро увидимся, — мама только и думает о тебе и о Бобе, шлем привет — не дружеский, а родственный — Марии Николаевне, Иннике и всем дорогим ленинградцам. При первой возможности вернемся в Москву.

Твой отец.

170. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Февраль 1942 г.[749]*Ташкент* Дорогой Коля!

Мы здоровы. Наш адрес: *Ташкент. Ул. Гоголя, 56.* С нами Лида, Ида, Люша, Женя. О Бобе у нас нет никаких сведений. Его жена осталась в Москве.

Чагин в Москве. Пришли ему свою рукопись.

Мы хотим, чтобы Марина приехала к нам. Здесь жить можно, но трудновато.

Я пишу в газетах. Написал две книги. Здесь есть хорошее издательство, которое печатает мои «Сказки».

Много работаю для Информбюро. Тебе дважды писал С. А. Лозовский, звал тебя в Москву.

Не можешь ли ты приехать на побывку сюда?

Если есть у тебя копия твоих «Летчиков», пришли сюда. Здесь весна. На деревьях почки. Зеленая трава. Скоро зацветет урюк.

Целую тебя крепко. Привет Н. С. Тихонову и Вам всем.

Твой отец.

171. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

7 марта 1942 г. Ленинград

Милый папа!

Из Устюжны мне сюда переслали твое письмо от 15-го января. Как я обрадовался ему! Я так соскучился по вам всем. Милая мама, вот бы повидать ее. Вы так далеко от меня и живете такой странной непохожей жизнью.

Я очень скучаю по Марине и детям. У меня мало надежды повидать их в скором времени. Если со мною что-нибудь случится, папа, не забудь о них.

Пока я не хочу, чтобы они ехали в Ташкент. Краснокамск все же ближе ко мне. Вдруг летом так повернется судьба, что мы с Маринкой встретимся. Если она уедет в Ташкент, эта надежда пропадет окончательно.

А вы не собираетесь домой? Ты ничего мне об этом не пишешь. Вообще, какие у тебя планы на ближайшее будущее? Если вы поедете в Переделкино, захватите с собой Марину с детьми.

Что ты пишешь? Я пробую писать, да времени нет, ничего не получается. И обстановка неподходящая, и мысли не те.

Отсюда все мои знакомые уехали, я здесь совсем один. Я здоров, только похудел немного.

Нашлась ли твоя машина? Как Лида и дети? Попроси ее мне написать. Скажи ей, что дом ее в порядке.

От Бобиной Лидочки получил на днях две телеграммы. От Бобы у нее вестей нет. Она в Москве.

Пишите мне, пожалуйста, почаще. Для меня такое счастье — письма.

Ваш Коля.

Целую всех.

7 марта 1942 г.

Мой адрес: Краснознаменный Балтийский Флот, военно-морская почтовая станция № 1101 почтовый ящик № 924.

172. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

9 марта 1942 г. Ташкент[750]

Дорогой Коля.

Я обратился к тов. Щаденко[751] с личным письмом по поводу Бобы. Получил немедленно такую телеграмму:

«Приказанию заместителя наркома обороны о вашем сыне запрошено фронтовое командование. По получении ответа сообщим. Генерал-майор Беляков».

Наряду с этим я попросил Наркомат сообщить мне о тебе — ведь я даже адреса твоего не знал. Здесь у меня много друзей среди высшего комсостава, они обещали установить с тобой связь; мне и маме страстно хочется помочь Марине и детям повидаться с тобой. Марину я зову сюда; хлопочу о переводе сюда всего лагеря; привлек к этому делу Ал. Толстого и Пешковых, которые, когда я ближе пригляделся к ним, оказались очень милыми людьми. Здесь сейчас солнце, трава, теплынь, — как будто конец мая. Но скоро наступит жара — и вот я боюсь, не вредно ли будет Гуленьке и Таточке попасть сразу в этот азиатский климат.

Здесь у меня неплохие заработки. Я пишу сказку в стихах[752]! Много читаю лекций! Знаешь ли ты, что тов. Лозовский вызывал тебя в Москву еще в сентябре?

Твои письма до востребования все получены. Я тоже верю, что мы еще увидимся. Чагин — в Москве. Здесь есть отделение «Советского писателя». Не пришлешь ли книгу о летчиках сюда? Редакторы: Ал. Толстой (который живет за углом), Тихонов и Лежнев.

Кому писать о тебе, о твоих детях, о Марине, о Марии Николаевне, об Иннике, об Идином сыне Матте? Как бы мне

хотелось оказать им какую-нибудь помощь!

Кланяется тебе Леля Арнштам (он в Алма-Ата), делает сценарий о Джамбуле[753]; кланяются Толстые, кланяется Анна Ахматова, которая только что закончила чудесную поэму[754].

Ах, если б ты знал, каким чудесным мальчиком — оригинальным, поэтичным — стал Женя.

От Гуленьки я получил письмо: «Дед, мне хорошо. Я прекрасно живу. Я живу в Краснокамске в интернате. Учусь в школе и мне скоро 9 лет. Гука».

Мама целует крепко — Лида пишет тебе особо.

Твой отец.

Узбеки — очень хороший народ — среди них, как среди своих. В Москву мы сейчас не собираемся. Но, м.б., поедем к лету. Как твоя нога? Не хотел бы ты полечить ее?

173. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

22 марта 1942 г. Ленинградская область

Милый папа.

Я в командировке за городом. Ночую в землянках, мороз, сосны, снег, мартовское солнце. Через неделю вернусь в город.

Постоянно думаю о вас всех. Ваша жизнь кажется мне невероятной, я смутно ее представляю, вы так редко пишете мне. Поздравляю тебя с шестидесятилетием. Увы, Маринке на этот раз не удастся прислать тебе наполеон. Что ты делаешь? Что пишешь? Собираешься ли ты в Переделкино? Умоляю тебя, если поедешь туда, захвати с собой Марину и моих детей. Как бы хорошо это было! У Маринки достаточно денег, я ей выслал свой аттестат, и она не будет тебе в тягость.

Как мама? Как Лида? Целую их. Как их здоровье? Почему они мне не пишут?

Бесконечно тоскую по Марине и детям. Не хочу, чтобы они ехали в Среднюю Азию — пусть будут поближе ко мне.

Вот в Переделкино — другое дело.

Как хотелось бы мне сидеть за столом и переводить «Янки».

Твой Коля.

Краснознаменный Балтийский Флот, военно-морская почтовая станция № 1101, почтовый ящик 924.

Неужели от Бобы так до сих пор ничего?

22 марта 1942 года.

174. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

3 апреля 1942 г. Ленинград

Милый, милый мой папа!

Разом получил три твои письма. Даже рассказать не могу, как взволновал меня твой почерк. На адрес Марьи Николавны писать больше не надо — я отправил ее, еле живую, вместе с Ириной к Марине — и теперь туда не хожу. Мой адрес: Краснознаменный Балтийский Флот, Военно-Морская почтовая станция № 1101, почтовый ящик № 924.

Телеграмм от Лозовского я не получал. Да и вряд ли они могли бы мне помочь. Здесь нужно действовать через самые высокие военные инстанции. И не в смысле приезда к Вам, а в смысле перевода меня в любое другое место.

Твой привет через армейского комиссара мне передали. Благодарю.

Книжонку свою о летчиках кончаю. Она получается сырой и поспешной — совсем нет времени работать над ней, слишком много другой работы. И всякие другие причины. И все же в ней есть мысли и наблюдения свежие, никем не высказанные, и она может быть живой и интересной. Когда кончу, попытаюсь переслать тебе рукопись.

Как бы хотел я повидать и тебя, и маму, и Лиду! Неужели из нас четверых остались только двое — я и Лида. Я очень рад, что здоровье ее лучше. Передай ей привет, попроси написать мне. Скажи ей, что дом ее в порядке.

С бобиной женой я переписываюсь. Вчера получил письмо. Она о Бобе ничего не знает.

Имущество мое пропало окончательно — разграбили. Пропала библиотека, пропали твои милые умные письма, которые ты писал мне всю мою жизнь.

Папа, скоро ли ты поедешь в Москву? Если поедешь, захвати с собой Марину и моих детей. Я хотел бы, чтобы Марина подыскала в Москве или под Москвой для нас какое-нибудь жилье. Здесь я больше жить не хочу. Да и негде.

Не хочу я также, чтобы Марина ехала в Ташкент. Если она заберется в такую даль, я не увижу ее до конца событий. Да и перенесет ли Гулька летнюю среднеазиатскую жару. Вот разве осенью. Но к осени, надеюсь, вы все уже будете дома.

Пиши мне почаще. Попроси писать маму и Лиду. Целую вас всех.

Ваш почти тридцативосьмилетний сын *Коля.*

3 апр. 1942 г.

175. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

9 апреля 1942 г. Ленинград

Милый папа!

Очень тороплюсь и потому пишу только о делах.

А дел два.

Ты написал мне, что хочешь мне помочь. Вероятно, сделать это ты можешь, но не знаешь как. А суть вот в чем. Я работаю на Балтике в газете. Я хотел бы работать в какой-нибудь другой военной фронтовой газете, в другом месте. Здесь мной руководит Пубалт. Мной мог бы руководить и кто-нибудь другой. Решить это может только высшее командование. Подумай и помоги.

Второе дело — семейное. Таточка скоро кончит школу. Мне не хотелось бы, чтобы она лето проболталась в Краснокамске. Возьмите ее к себе. Ведь осенью она уже студентка.

Приедет ли к Вам Марина — не знаю. Признаться, я ее пока задерживаю. Если она уедет в Ташкент, я потеряю всякую надежду ее увидеть. Хочу немного подождать, как решится моя судьба.

Обнимаю тебя и маму, и Лиду.

Ваш Коля.

9 апр. 1942 г.

176. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

29 апреля 1942 г. Новая Ладога

Дорогой мой папа!

Мой адрес теперь: Новая Ладога, Ленинградской области, до востребования.

Здесь очень хорошо — словно попал на дачу — весна, прелесть, леса, пески — конечно, с дачей кое-какая разница есть, но уж одно то хорошо, что я не в городе.

Вот что вышло из твоего письма Льву Захаровичу[755], — его переслали моему начальнику, а тот вызвал меня и стал журить за то, что я не пишу тебе о своем здоровье. Вот и все. А все потому, что ты писал о моей ноге, а нога у меня прошла — она болела зимой, а теперь я вполне здоров. Тут нужно говорить совсем о другом — я хочу работать в большой московской газете, военной (м.б., не газета, а ТАСС или информбюро, если они имеют право отзывать), хочу быть к ней прикомандирован. Кроме того, прошло 10 месяцев, я имею право на отпуск. Для того, чтобы меня пустили туда и сюда, нужен приказ очень больших людей.

Книгу о летчиках я написал и сдал Вишневскому. Но это меня устраивает мало. Если бы мне удалось побывать в Москве, я напечатал бы ее в толстом журнале, продал бы в приличное

издательство. Но в Москву мне пока не добраться. При какой-нибудь верной оказии я пришлю тебе экземпляр.

Безумно тоскую по Марине и детям. Не собираешься ли ты домой? Если собираешься, захвати с собою мое семейство. Мне не хочется, чтобы Марина ехала в Ташкент — во всяком случае до осени.

Обнимаю тебя и маму. Привет Лиде. Отчего она мне не пишет?

Коля.

29 апр. 1942 г.

177. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Конец апреля — начало мая 1942 г.[756] *Ташкент*

Дорогой Коля. Наконец-то могу побеседовать с тобой — имея хоть минимальную уверенность, что письмо дойдет. Я писал тебе около 20 писем, причем посылал их через Информбюро, через знакомых летчиков, — при всякой оказии, но все это кануло в Лету. Поэтому в настоящем письме я должен повторить «все пройденное».

Итак, Ташкент прелестный город — весь в тополях, в арыках, — сейчас в нем яркая, как огонь, трава — но жить в нем трудно. Я в первый месяц перенес сразу все ташкентские болезни — и даже провел дней пятнадцать в больнице. Хотя Правительство отнеслось к нам, писателям, очень радушно, но все же устройство было очень трудно. Покуда я лежал в больнице, писатели оттяпали данную мне квартиру. Но все же квартиру я достал: 2 комнатки в разных местах одного двора. Двор шумный, крикливый, южный. Детей около 50, кричат под окнами, визжат с утра до ночи. Никакой возможности заниматься. А между тем я работаю, как никогда. Вдруг — неожиданно для себя — написал большую сказку стихами — еще не кончил, но все понимающие люди — Анна Ахматова, Толстой, А. Н. Тихонов, Лежнев — говорят, что это будет лучшая моя сказка. Она на военную тему — о гитлеровщине, о демократизме, о гуманизме. Очень хотел бы прочитать тебе. Сказка будет печататься здесь в изд-ве «Советский писатель»[757], членом редакции коего я теперь состою. (Я говорю о Ташкентском отделении). Во главе изд-ва Ал. Толстой. — Главный редактор — Тихонов. Поэтому, если ты не сможешь выехать с этим эшелоном, — пришли вместе с ним свою книгу о летчиках, я уверен, что ее здесь издадут. Кстати, Лида Чуковская составила очень любопытную книжку — записи подлинных рассказов эвакуированных детей о немецких зверствах — и

книжка тоже печатается в здешнем изд-ве[758]. Конечно, тиражи небольшие, но ведь это не мешает издать книжку и в Москве.

О Марине. Ее письма к нам полны тобой. Я постоянно посылаю ей письма и телеграммы с изъявлением полной готовности приютить ее и детей, и ее маму, и Ирину в Ташкенте, я поддерживаю ее всячески как могу (морально), но письма мои к ней почти не доходят, и ее телеграммы ко мне свидетельствуют, что она получает далеко не каждую мою телеграмму. Недавно она прислала телеграмму, что хочет ехать в Ташкент. По целому ряду причин, вполне уважительных, в Ташкент сейчас не пускают одиночек (вне эшелонов). Я отправился к Наркому Внутренних дел, с которым случайно знаком[759], и этот любезный человек послал просьбу Краснокамскому НКВД наладить поездку Марины в Ташкент самым комфортабельным образом. Но от Марины по этому поводу нет никакого отклика. Ехать ли ей в Ташкент? Не знаю. Советовать боюсь. Для 9/10 населения Ташкента этот город (в бытовом отношении) не лучше Ленинграда. Многие ленинградцы, только что приехавшие из Ленинграда, говорят, что в Ленинграде им было лучше, что суп там гуще и дешевле. Наступают летние жары, о которых говорят с ужасом даже закоренелые ташкентцы.

О работе Марины все отзываются с восторгом. Сейчас мама видела человека, который видел Марину недавно, и он утверждает, что она отлично выглядит, бодра и здорова.

Что касается мамы — конечно, ей очень трудно. Ее тоска по Бобе дошла до физической боли. Она страшно волнуется о тебе. Много хлопот доставляет ей Женя, которого мы отдали теперь в чудесный детский сад (Совнаркома). Очень ей трудно жить в одной комнате с Лидой и Идой, трудно одолевать большие пространства Ташкента, но все же держится она молодцом.

Лида здесь живет вовсю. Здесь живет обожаемая ею Анна Ахматова, и Лида, когда разговаривает с нею, набожно сюсюкает и вообще говорит как-то очень мармеладно. Конечно, я полон всякого уважения к Лиде, это действительно большой человек, здесь она работает много в детских домах (в порядке шефства), пишет статьи, выступает на собраниях общественниц, все ее любят, но какой это жесткий, трудный, несгибаемый человек. Она очень поправилась, здоровье ее в тысячу раз лучше, чем до операции.

Я получаю Совнаркомский паек. Кроме того, у нас были деньги, которые сейчас пришли к концу. Я в общем зарабатывал не больше 1500 р. в месяц, но тратили мы тысяч пять, и были сыты. Авось, проживем неплохо и с Мариной, и с детьми. Я, главным образом, для того хочу Мариниого приезда, чтобы

устроить Тату в высшее учебное заведение — наиболее серьезное.

Здесь я близко познакомился с семьей Пешковых, с внучками Горького, Марфой и Дарьей[760]. Семья мне очень нравится, и к нам все они относятся очень хорошо. Ал. Толстой живет за углом — я бываю у него довольно часто, — он к старости стал лучше, чем был; его пьеса «Иоанн IV»[761] — отличная пьеса и т. д.

Теперь о тебе. Получив твое письмо, что у тебя «застужена» нога, я забеспокоился и написал письма трем лицам: М. М. Громову[762], А. В. Белякову[763] и Мехлису. Всех просил о предоставлении тебе отпуска. Если я поступил неправильно, прости, пожалуйста. Если бы ты мог заехать за Мариной и привезти ее сюда с детьми, или хотя бы пожить недели две в Краснокамске или в Ташкенте. Об этом хлопочет и Толстой. — Ну, целую тебя, обнимаю и желаю поскорее встретиться с тобою — и да будет проклят Гитлер!

Твой отец.

178. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

7 мая 1942 г. Ленинградская область

Милый папа, я уже сообщал тебе, что живу в г. Новой Ладоге Ленинградской области, но на всякий случай повторяю. Пиши и телеграфируй до востребования. Сейчас я в командировке до 15-го, в грязной скучной деревне, засыпанной майским снегом. Сижу в холодной избе у окошка, курю, читаю «Виргинцев» Теккерея[764]. В Новую Ладогу вернусь через неделю.

Выдумал я два больших романа, которые напишу потом, если это потом когда-нибудь будет. И оба — не «войны и миры». После войны все кинутся писать «войны и миры», а я — нет. Я почему-то твердо решил написать о Софье Перовской и народовольцах[765]. Печальный роман — все в мире не так, как они себе представляли, и мир пошел не туда. Уже и тогда было ясно видно, что мир пойдет не туда, да они не хотели видеть. Много было в них и смешного, и гаденького, и очень величавого.

Еще хочу написать большой роман, сюжетный, с тайнами, для юношества и для простодушных читателей[766]. О защите Ленинграда, которая так необычайна, что ничего в мире подобного никогда не бывало. Все слова о героизме малы и плоски для такого великого до странности дела. Если писать правду, так получится гротеск — то есть как раз то, что нужно для простодушного романа с сюжетом и тайнами.

А о летчиках я хочу сделать книгу просто своих записей и наблюдений — слишком близко я все видел, чтобы делать повесть

или роман. Поступаю я вот как: в начале войны я написал две брошюры о летчиках и выпустил их в Военмориздате[767]. Потом объединил их, обработал заново, увеличил и напечатал в 9 № «Звезды»[768]. Потом сделал кучу еще новых записей и, соединив их с прежним, сделал книжку «Ленинградское небо»[769], которую перед отъездом в Ладогу сдал Вишневскому. Что сделает с ней Вишневский — не знаю, да и не очень интересуюсь, так как работа еще не закончена, я продолжаю записи, и настоящая книга о летчиках будет у меня к концу мая. Если бы ты был в Москве, я прислал бы ее для устройства в каком-нибудь хорошем издательстве или журнале, но, к сожалению, ты в Ташкенте и я никак не могу понять — почему.

Мне втройне жаль, что вы все в Ташкенте, так как в июне мне, возможно, удастся побывать в Москве. Вот было бы счастье — три дня прожить в Переделкине со всеми вами! Это было бы блаженство, о котором не позволяю себе даже думать. Повидать маму! Такое может только во сне присниться. Вот уж почти год как я живу, словно колобок в сказке: ушел и от деда, и от бабы, и от папы, и от мамы, от жены, от детей, и все спрашиваю: «Уж ты зверь ты зверина, ты скажи свое имя, ты не съешь ли меня…» Но звери пока меня не трогают, я бодр, здоров, сыт и только слишком тоскую по семье.

Неужели вы все действительно собираетесь сидеть все лето в ташкентской духоте и глотать среднеазиатскую пыль? Не понимаю.

Как Лида? Отчего она мне не пишет? Вот рад был бы получить от нее хоть открытку. Где Цезарь Вольпе? Жив ли он[770]?

Что ты пишешь? Сюда ничего не доходит. Не прислать ли тебе мое «Ленинградское небо» для какого-нибудь ташкентского издательства или журнала?

Целую вас всех и обнимаю.

Твой Коля.

7 мая 1942.

Если поедешь в Москву, вызови туда Маринку и моих детей. После войны я хочу жить в Москве, назад не вернусь ни за что, да и некуда — квартира погибла. Вот Маринка и подыскала бы нам исподволь помещение. Кроме того, в Краснокамске ей слишком тошно.

Если можешь что-нибудь сделать для меня — сделай.

179. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

Начало июня 1942 г.[771] *Новая Ладога*

Милый, милый папа!

Получил от тебя, наконец, большое письмо, написанное, видимо, в апреле. И как обрадовался! Постоянно думаю о тебе, о маме, о Лиде, и вы даже представить себе не можете, до какой степени я чувствую себя частью вас, вашим представителем. Мы все-таки замечательная и совсем особенная семья, и здесь это особенно остро чувствуешь.

Какой странной, неправдоподобной и обольстительной кажется мне ваша ташкентская жизнь. Как хотелось бы мне прочесть твою новую сказку. Не поленись переписать, пришли ее мне. Меня она очень интересует, как родной голос. Я, зная тебя, так много по ней отгадаю.

Ты пишешь, что большинство твоих писем ко мне не доходят. И знаешь отчего? Оттого, что ты обычно прибегаешь к оказиям. Нет ничего хуже оказий. Мною давно испытано и проверено, что почта гораздо вернее.

Я вот уже больше месяца, как в Новой Ладоге, но, кажется, на днях вернусь туда, где прожил вторую половину зимы. Но адрес там у меня будет другой — *КБФ, военно-морская почтовая станция 1101, почтовый ящик 704.* Пиши либо по этому адресу, либо, как сейчас: Новая Ладога Ленинградской, до востребования. В данный момент, к сожалению, ничего точнее сообщить не могу, так как сам не знаю, где буду завтра.

Очень меня волнует вопрос — отчего вы остались на лето в Ташкенте? Я никак этого не могу понять. Отчего Маршак в Москве, а ты в Ташкенте? Отчего вы ютитесь в двух комнатах, когда у вас есть отдельная отличная квартира и отличный отдельный дом? Величайшая моя мечта сейчас — чтобы вы вернулись. Это единственный шанс повидать вас — Москва для меня досягаема. Это единственная моя надежда хоть как-нибудь устроить мою несчастную семью.

Я смертельно истосковался по детям и по Марине. Им там очень плохо. Посылать их в Ташкент я не хочу — куда их еще в ваши две комнатушки в такую адскую жару. Это для меня значит уж наверняка их не увидеть. Это значит — лишиться радости аккуратно получать их письма. А между тем Татке необходимо учиться, Марине — хоть сколько-нибудь отдохнуть и пожить человеческой жизнью. Кроме того, у нас ведь нет жилья, никакого. Об этом необходимо подумать сейчас, Марина могла бы что-нибудь сыскать в Москве, потом будет труднее. А как она сама, бедняжка, мечтает о Москве, она пишет мне об этом в каждом письме, она предлагает даже поехать туда раньше вас, чтобы подготовить ваш переезд.

Я очень благодарен тебе за твои хлопоты обо мне, но из Ташкента хлопотать бесполезно. К тому времени, как ты начал хлопотать, нога моя, действительно очень болевшая зимой, к счастью, совершенно прошла. Если бы ты был в Москве, я бы сам указал тебе, что нужно сделать, а ведь для меня это вопрос жизни.

Есть у меня и много других соображений, почему мне не хочется посылать в Ташкент Марину и почему мне хочется, чтобы и вы оттуда уехали. В Москве сейчас сытно, много работы и совершенно безопасно. По всем этим показателям там лучше, чем в Ташкенте.

Отчего мне не пишет Лида?

Отчего ты так редко пишешь Марине и не отвечаешь на ее письма?

Книжку свою о летчиках я закончил. Если удастся устроить лишний экземпляр, я непременно вышлю ее тебе.

Обнимаю тебя. Как соскучился я по милой маме, которую не видел уже больше года. Целую вас и люблю.

Ваш преданный *Коля.*

180. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

10 июня 1942 г. Ташкент[772]

Милый Коля. У меня есть возможность послать Марине письмо с оказией — посланные по почте не доходят. Я предлагаю ей прислать мне Тату — здесь очень хорошие высшие учебные заведения. И будь покоен: непременно буду хлопотать о твоем водворении в Москве. Марину и семью твою, конечно, возьму с собою. Скосырев телеграфировал мне, что он хочет печатать твоих «Летчиков». Получил ли ты его телеграмму. О тебе буду разговаривать по прямому проводу с высшим начальством. Здесь чудесно: тополя, розы, сплошной сад. Мама крепко тебя целует. Она работает через силу — похудела, состарилась.

Я написал сказку — большую — в стихах.

Твой отец.

К кому обратиться с хлопотами о тебе?

181. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Около 17 июня 1942 г.[773]*Ташкент*

Милый Коля. Я надеюсь скоро быть в Москве и, конечно, перетащу твою семью к себе, хотя в Переделкине сейчас жить нельзя за отсутствием у меня машины, которую украл мой шофер.

Сотый раз пишу тебе, чтобы ты прислал мне «Летчиков». Я здесь издам. Здесь материал о Ленинграде на вес золота.

Здесь чудесно — прохладно — цветут розы, много интересной работы. Еду в Москву, гл. обр., из-за тебя и буду счастлив увидеться с тобой, скажем, в середине июля.

Твой отец.

Мама целует.

182. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

17 июня 1942 г. Ленинградская область

Милый папа!

Судьба занесла меня в глухую дальнюю деревушку, и я до 10-го июля не буду в Новой Ладоге, где теперь мое постоянное местожительство. Это значит, что до 10-го июля я не получу ни одного письма ни от тебя, ни от Марины.

А между тем к моему приезду в Ладогу мне очень хотелось

бы узнать, как проникнуть в твою квартиру или в Переделкино. Дело в том, что в конце июля или в начале августа я, возможно, буду в Москве (вот достижение!). И мне очень хотелось бы остановиться в вашей квартире. Кроме того, я вывез из моей погибшей квартиры кило пятнадцать всяких бумажек и книг, которыми дорожу. (Письма писателей, например.) При моей бродячей жизни эти пятнадцать кило очень мне мешают, деть их здесь мне некуда, и я хотел бы сложить их у вас на квартире.

Напиши мне, пожалуйста, или телеграфируй в Новую Ладогу, Ленинградской обл. до востребования, где ключ или кто меня впустит. Может быть, и ты к тому времени приедешь в Москву? Вот повидались бы!

Сегодня здесь первый теплый летний день, и на смену комарам появились мухи. А до сих пор здесь было холодно, и почти каждый день шел дождь. Я здесь работаю пока мало, очень много ем, и от отдыха, от сытости еще больше тоскую по всем своим.

Читаю «Литературное наследство» — о Толстом[774]. Читала ли это мама? Вот ей было бы интересно — особенно выпуск второй.

Твой Коля.

17 июня 1942 г.

183. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

3 июля 1942 г. Ташкент[775]

Дорогой Коля! Я подал заявление, что хочу вернуться в Москву. Бомбежки я нисколько не боюсь. Оказалось, что я выношу ее весьма хладнокровно — и мне даже дико было смотреть на многих более юных писателей, которые дрожали, как кролики, при всяком взрыве снаряда.

Я бы поехал сейчас, но прихворнул — и ослаб. За последние 2 месяца я потерял 22 кило и хочу сперва поправиться чуть-чуть в каком-нибудь доме отдыха. Путевки есть, но не могу оставить маму, которая превратилась почти в инвалида. У нее было что-то вроде слабого удара, это скоро прошло, теперь она молодцом, но был такой месяц, когда ей пришлось обслуживать Лиду, Люшу, меня, Женю, т. к. Ида уехала, а новой работницы не было. Мама переутомилась, тревога о тебе, тоска по Бобе — и жара — все это истомило ее.

Я решил так: если не поправлюсь в эти две недели, поеду в августе так, как есть, чуть только окончу сказку. Сказка моя кончена, но во второй части хромает композиция, и я бьюсь, как

проклятый, над выпрямлением линии.
Звери напали на Айболита.

И поставили злодеи
Девятнадцать батарей.
У двадцатой батареи
Сам разбойник Бармалей.
Он стоит и не шевелится,
В Айболита прямо целится.
Шестьдесят четыре пушки
Он поставил у опушки
И с акулою вдвоем
Схоронился за холмом,
И смеется, и хохочет,
И кривую саблю точит:
«Ну теперь-то Айболит
От меня не убежит».

Отвечает добрый доктор:
«Погоди же ты, зверье».
И скликает добрый доктор
Войско верное свое.

«Вы, кузнечики,
Разведчики,
Побегите по полям
К тем зеленым тополям
И спросите поскорей
У сорок и снегирей,
Где пехота Бегемота,
У реки
Иль у болота,
Чтобы наши журавли
Разбомбить ее могли,

И поставьте у калитки
Дальнобойные зенитки,
Чтобы наглый диверсант
К нам не высадил десант.

Вы, орлицы, партизанки,
Сбейте вражеские танки
И пустите под откос
Бармалеев паровоз…»

и т. д.

Но с жужжанием веселым
Из окошек и дверей
Налетели пчелы, пчелы,
Пчелы, пчелы, пчелы, пчелы
Из окошек и дверей
И давай колоть их жалами,
Словно острыми кинжалами.

Укусили бегемота,
И от боли бегемот,
Рот разинув, как ворота,
Так и грохнулся в болото
И белугою ревет.
А они не унимаются.
Пуще прежнего кусаются.

Испугались носороги,
Побежали по дороге.
И в испуге носорог
Носорогу сел на рог.
А над ними пчелы тучею
Так и жалят, так и мучают.
……
И звенят над ними птенчики,
Словно звонкие бубенчики:
«О, хвала тебе, хвала
Трудовая,
Боевая
Беспощадная пчела!»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Победа, победа, но враг не разбит.
Злодей Бармалей за рекою стоит.

Он стоит, Бармалей, и позевывает
На цветы луговые поплевывает.
А слюна у него ядовитая.
Где ни плюнет, там змеи и ящерицы.

Он стоит со своими удавами,
Со своими волками кровавыми.

Вкруг него павианы поганые
На траве развалилися пьяные.
Он стоит над веселыми селами,
Над полями стоит он веселыми,
И бормочет бессмысленным голосом:
Истребить! Погубить!
Уничтожить! Убить!
Погубить! Разбомбить!
Ни людей,
Ни детей,
Никого не щадить!

Потом тревога: прилетели вражьи самолеты, истребляющие детей и женщин. В самолетах — бегемоты. Их преследуют журавли:

Над темными равнинами
За ним они летят
И длинными, предлинными
Носами журавлиными
Долбят его, долбят.
Всего его истыкали,
Истыкали, как пиками.
Истыкали, изранили,
Проткнули, протаранили
И все еще долбят его,
Долбят его проклятого.
Долбят, долбят, долбят.
«Так вот тебе! так вот тебе,
Бессовестный пират!
Чтобы не смел расстреливать
Беспомощных ребят!»

И глядите: закружился,
Завертелся самолет
И свалился, и разбился
Стопудовый бегемот.

Вот тебе бессвязные клочки. Написал я больше 1000 строк. Писал и волновался ненавистью к гитлеристам всех мастей и оттенков. Конец мне дался легко: всеобщее ликование, когда Гитлер побежден. Сказка имеет необыкновенный успех (в моем чтении) в частях Красной Армии — но будет ли она иметь успех у

Фадеева[776] и К°, не знаю.

Марине пишу часто. Чуть поправлюсь здоровьем (если поправлюсь) — буду в Москве устраивать твою, мою, ее жизнь. Написал ей о Таточке. У нас две *огромные комнаты.* Лида выехала от нас: она прошла в члены Союза, ее книжка «Слово предоставляется детям» имеет большой успех, печатается в «Красной нови», в Госиздате (в Москве), она пишет отличный сценарий о детях — вообще на пути к процветанию. С мамой она во вражде, ко мне охладела, и прекрасно чувствует себя в стороне от нас.

Поэтому у нас есть помещение и для Марины и для Таты. Денег маловато, но сказка выручит. Это я говорю на всякий случай. А покуда мои установки — Москва.

Хочется писать еще и еще, но торопят. Надо бежать на почту.

Целую тебя, друг мой.

Мама пишет отдельно.

Твой отец.

184. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

13 июля 1942 г. Новая Ладога

Новая Ладога 13 июля 1942.

Папа, папа, милый, родной мой! Чем старше я становлюсь, тем больше я люблю тебя и горжусь тобою. Вот бы посмотреть на тебя хоть часок!

Ты мне пишешь, что будешь в июле в Москве. Увы, в июле я в Москве не буду, и пустят ли меня позже — сомнительно. Я вот просился к Марине в отпуск на несколько дней — отказали. Не любят меня — я вот уже стар, а все не умею быть любимым. Вот от чего мне так жестко достается.

Я написал книгу о летчиках. Это фронтовые записи и, кажется мне, хорошие, но именно поэтому они кажутся здесь грешными и, идя по инстанциям, терпят неуспех. Писать так дурно, как требуется, я не умею. Я всегда добивался антигазетности, сжатости, внутренней, а не внешней эмоциональности, а хотят от меня как раз противоположного, чего я просто не умею. Вот отчего я здесь самый последний.

Когда я узнаю, где ты, в Москве или в Ташкенте, я пришлю тебе рукопись. Устрой ее, где знаешь. Я потерял все издательские связи. Ты пишешь, что Скосырев послал мне телеграмму. Телеграммы от него я не получил и кто такой Скосырев — не знаю. Был Скосырев — писатель в Москве. Это он? Чем он заведует? Где он? Есть ли в Москве «Советский писатель»? А

Детиздат? Пиши мне, телеграфируй.

Ты мне пишешь, что переезжаешь в Москву не ради себя, а ради меня. А я хотел бы, чтобы ты переехал ради себя. И не для того, чтобы быть там на виду — не до виду сейчас, — а оттого, что я был бы за вас спокойнее — поверь мне.

Если ты действительно переедешь в Москву, — возьми, умоляю, туда Марину и моих детей. Марина не только не будет тебе в тягость, а поможет и тебе, и маме. Если сам собираешься жить в городе — посели их в Переделкине. Им машина не нужна.

Получил от Лиды письмо с двухмесячным опозданием — не столько по вине почты, сколько по вине своих переездов. Она просит, чтобы я поглядел за ее квартирой. Не думаю, чтобы у нее сохранилось хоть что-нибудь из вещей — таких чудес там не бывает. Если мне суждено будет когда-нибудь снова побывать на Загородном, я непременно зайду и проведаю. Я сам ей на днях напишу. Я рад, что ей лучше. Привет ей и маме. Я так часто о них думаю!

Отчего ты не прислал мне свою сказку? Она доставила бы мне радость.

Оставили ли вы кого-нибудь у себя в московской квартире на время отъезда в Ташкент? Я хотел бы послать туда посылкой кое-что, сохранившееся от моего архива — здесь держать негде, таскать с собой тяжело, а квартиры у меня нет. Пиши. Телеграфируй.

Твой Коля.

Ох, советую — поезжайте домой.

Ты спрашиваешь — где за меня хлопотать? В Главном Политическом Управлении Военно-Морского Флота.

Если уж надо служить, я хотел бы служить в большой центральной военной газете — в «Красной Звезде», например.

185. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

27 июля 1942 г. Новая Ладога

Милый папа, почему ты мне не пишешь? Уже почти два месяца назад ты написал мне открытку, что в июле будешь в Москве и возьмешь туда Марину. И с тех пор — ни слова. Я послал маме телеграмму — она мне не ответила. Сейчас я кончил книгу, хочу послать тебе рукопись — не знаю куда. Марина, Тата, Гуля пропадают, им необходимо попасть в Москву, а я беспомощен сейчас, бессилен, и мне не к кому обратиться, кроме как к тебе. Ведь у тебя в Москве квартира и дом — неужели их никак нельзя туда устроить. Ну, сделай это ради меня, пока я не

уехал вслед за Бобой. Кого мне просить, к кому мне обращаться в беде, как не к тебе? А ты мне не пишешь по месяцам и Марине не отвечаешь на письма. Я не понимаю, почему ты в Ташкенте, но если у тебя есть причины, которых я не знаю, так съезди в Москву на время, устрой там моих. Я понимаю, что это хлопотно, но нельзя же, чтобы все пропали.

Очень любящий тебя *Коля.*

Нов. Ладога, Ленингр. обл. п/я 22.

186. Н. К. Чуковский — М.Б. и К. И. Чуковским

30 июля 1942 г. Новая Ладога

Милые мама и папа!

Вот Вам Ваш старый-старый старший сын. Снимал меня Тарасенков[777]. День был солнечный, — чуть ли не единственный за все лето, — и солнце било мне прямо в глаза.

Полтора месяца не имею от вас никаких известий, и это так тревожно и грустно. Пишите мне, пожалуйста.

Ваш Коля.

30 июля 1942 г.

Новая Ладога, Ленинградской обл. п/я 22.

187. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

5 августа 1942 г. Ташкент[778]

Буду Москве середине сентября. Марине, детям рад всегда везде. Когда собираемся Москву?

188. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

7 августа 1942 г. Ташкент

Выехать сейчас не могу, предлагаю Марине приехать Ташкент, отсюда вместе поедем Москву.

189. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

14 августа 1942 г. Новая Ладога

Милый папа! Наконец дошли до меня твои телеграммы о том, что в сентябре ты будешь в Москве и возьмешь туда Марину. Я глубоко этим обрадован — и за тебя, и за Марину, и за себя. Это

надо сделать, и поскорей, и сейчас более необходимо, *чем когда бы то ни было.* Только не нужно, чтобы Марина заезжала за тобою в Ташкент — я не хочу, чтобы она была в Ташкенте, так же, как не хочу, чтобы вы там были. Вообще, торопись. Если поедешь в Москву через Молотов — это вполне возможно, во многих отношениях лучше, и крюк не велик, — захвати ее с собой. Если же поедешь в Москву прямо, сразу же устрой ей вызов.

Мои дела, сказать по правде, неважны. Пришелся я не ко двору. Не позже сентября отправят меня в пекло, чему я рад. По-своему там лучше, чем здесь, да я уже побывал в стольких переделках, что привык. Буду ли в Москве — не знаю. Если разрешат, буду непременно. Конечно, не раньше, чем ты там будешь. В Москве ты сможешь очень много для меня сделать — что именно, напишу туда.

Держи меня, пожалуйста, в курсе всех твоих планов. Привет маме и Лиде. Ты их берешь с собой? Советую взять. И детей.

Получил от Скосырева предложение выслать книжку о летчиках в «Советский писатель». Обрадовался. Завтра вышлю.

Коля.

14 авг. 1942 г.

Новая Ладога Лен. обл. п/я 22.

190. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

18 августа 1942 г. Ташкент[779]

Рвусь домой момента отсутствия вестей Бобы, тормозила Лида, квартира, дом твоем распоряжении.

191. М. Б. Чуковская — Н. К. Чуковскому

18 августа 1942 г. Ташкент[780]

Папа стационаре, Лиды брюшной тиф, поправляется, приедем домой первой возможности.

192. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

25 августа 1942 г. Ташкент[781]

Еду Москву[782] повидаться тобой, телеграфировали, писали тебе востребования.

Отец.

193. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

6 сентября 1942 г. Москва[783]

Прилетел Москву свидание тобой, телеграфируй квартиру возможность свидания Москве.

194. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

7 сентября 1942 г. [784]*Станция Буй*

Милый папа, телеграмма о твоем приезде в Москву застала меня в Молотове у Марины. После хлопот, продолжавшихся в течение целого лета, мне разрешили провести у нее три дня. Я фактически провел у нее четыре с половиной дня — 2-ое сент., 3-е, 4-ое, 5-ое и половину шестого. Потом она проводила меня в поезде до гор. Кирова (б. Вятка), и, таким образом, мы выкроили еще половину суток. Попытался я с моими документами добраться до Москвы, чтобы провести там хотя бы ночь — увы, это невозможно. А между тем мне предстоит полтора суток дожидаться поезда на Волховстрой на ст. Буй.

В Москву я уже просился месяц назад — дальше объясню, по какому делу. Мне отказали. Просить сейчас — безнадежно — сразу после того, как меня отпустили к Марине. Меня можно только вызвать — причем вызов этот должен быть для моего начальства приказанием. А приказанием для Пубалта является только вызов Главного Политического Управления Народного Комиссариата Военно-Морского Флота.

В Москву я просился вот для чего. Свою новую книгу я отослал Скосыреву для «Советского писателя» и не получил никакого ответа — даже подтверждения, что книга получена. Боюсь, как бы ее там не затерли. Узнай, пожалуйста, о ней.

Ради этой книги Главное Политуправление, конечно, не пришлет мне вызова. Оно могло бы вызвать меня ради книжки, которую я сейчас пишу — о Третьем гвардейском истребительном полке. Я делаю ее для Военно-морского издательства. Беда только в том, что готова она будет не раньше конца октября.

Надолго ли ты в Москве? Какие у тебя планы? А мама и Лида? Я ничего не знаю о ваших проектах.

Марина очень хочет, чтобы ты вызвал ее в Москву. Для нее достаточно вызова Скосырева.

С удовольствием я работал бы в какой-нибудь центральной газете или в авиации Северного Флота.

Коля.

Пиши мне: КБФ, ВМПС 1001 п/я 19.

7 сент. Поезд Молотов — Буй.

195. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Начало октября 1942 г.[785]*Москва*

Шоколад возьми!

Коля милый! Я опаздываю. Бегу. Почти невероятно, чтобы мы *оба* уцелели до 43 года, но будем надеяться на чудо. Целую тебя. Счастлив до слез, что повидался с тобой — и что ты такой. Напиши маме и Лиде. Я все сделаю для декабрьского свидания.

Ключ оставь на письменном столе.

196. Н. К. Чуковский — М. Б. Чуковской

11 октября 1942 г. Новая Ладога

11 окт. 1942 г., день приезда в Новую Ладогу из Москвы.

Милая, милая мама! Папа, конечно, рассказал тебе все, но я хочу прибавить, что я был невыразимо счастлив с ним встретиться. Я побывал в Молотове и в Москве, и это дало мне возможность понять многое и в положении всей нашей семьи, и в моем лично. Я теперь совершенно убежден, что нам четверым — тебе, папе, Марине и мне — необходимо в начале декабря съехаться в Москве для решения важнейших дел (ваша квартира, моя жилплощадь, папина сказка, деньги, продолжение моей службы), устроить которые возможно только, если мы все будем в Москве. Ты мне совсем не пишешь. Отчего? Я постоянно, постоянно думаю о тебе и так хочу тебя повидать. В разлуке я еще резче чувствую свою связь с замечательной нашей семьей, свою любовь к ней. Как бобин Женечка, напиши мне о нем. Если бы вы были в Москве, и Марина была бы в Москве, она очень помогла бы и *тебе* и папе. Для себя я мечтаю тоже только о Москве. Целую тебя, будь здорова. Привет Лиде. Почему она мне никогда не пишет?

Коля.

197. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

19 октября 1942 г. Ленинградская область

Милый папа!

С отъезда не имею от тебя ничего и ничего не знаю. Боюсь, что узнаю не скоро, т. к. адрес мой переменился. Там, куда я ехал,

я пробыл только два дня. Теперь я там, куда собирался после Молотова. Здесь отлично, но работать трудновато.

Как ты доехал? Как нашел в Ташкенте маму? — я много думаю о ней, и так хотел бы ее повидать! Как твое здоровье? Как сказка? Получил здесь твое старое письмо, в котором отрывок сказки — прочел и еще раз убедился, что она великолепна. Добился ли ты чего-нибудь с Детиздатом?

Непременно напиши мне тотчас же.

Как твои планы насчет декабря? Не изменились? Я уже здесь прощупал почву и убедился, что без твоей помощи мне снова будет трудно поехать. Впрочем, увидим.

Марина пишет, что комната у нее есть, но что жизнь в Молотове потребует гораздо больше денег. А больше денег я могу достать только в Москве.

Здесь суровая прекрасная осень, сосны, море. Жизнь эта и тяготит меня и нравится мне одновременно. Путешествие мое было очень трудным, но в то же время очень интересным и увлекательным. На милых родных улицах пробыл я сутки, и это было очень волнительно. Я здесь проживу, очевидно, месяц, и рад этому. Но через месяц хотел бы исполнения наших планов.

О нашем с тобой свидании вспоминаю, как о празднике. Напиши мне. Напиши Марине.

Коля.

19 окт. 1942 г.

КБФ, ВМПС 1001 п/я 19.

198. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

20 октября 1942 г. Ташкент[786]

Милый Коля. Женя болен скарлатиной. У мамы аритмия сердца. Оба лежат.

Здесь жара. Хожу в летнем. Все нашли, что я очень поправился. Я летел сюда в самолете Спирина[787], который оказался отличным человеком…

Напиши Лиде Толстой[788]. Она обещала похлопотать о тебе. Я со своей стороны написал Любанскому[789].

Я написал в Молотов, чтобы Марину прикрепили к столовой театра, так как ты пишешь пьесу[790].

Я уже начал собираться в Москву. Надеюсь, что мы скоро увидимся.

Женя уже поправляется.

Твой отец К. Чуковский.

199. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

9 ноября 1942 г. Ташкент[791]

Дорогой Коля!

Получил ли ты мое письмо? Я писал тебе о том, что мама больна аритмией сердца, Женя болен скарлатиной, домработницы нет, моя секретарша тоже заболела, и я в беготне, в бытовых пустяках. Погода прелестная, теплая, птицы поют. Ночи звездные. Вчера я получил от Марины большое письмо. Она на новой квартире — ул. Кирова, 13, кв. 3. Восхищается тем, что вырвалась из бабьего бедлама. Бодра. Определила Тату в 3-й класс. Прикреплена к столовой Мар. театра. Мечтает о Москве. Я ответил ей, что, если буду здоров, сделаю все, чтобы мы в декабре-январе встретились в Москве.

Пишешь ли ты Лиде Толстой? Снесся ли с Ю. Н. Либединским? С Любанским из Оборонной комиссии С.С.П.? Я каждому из них написал по письму.

Я снова взялся за сказку. Изменил многое — и уверен, что к лучшему. Лида возится со сценарием, покровительствует ей Леля Арнштам.

На днях Ал. Толстой уезжает в Москву. Жалко. Последнее время я привязался к нему. Маме не становится лучше, т. к., будучи больной, она принуждена ухаживать за лежащим в скарлатине Женей. Всеволод Иванов улетел вчера в Москву.

Твой отец

К. Чуковский.

200. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

До 20 ноября 1942 г.[792] *Ташкент*

Милый Коля! В декабре или в январе я, если не заболею, буду беспременно в Москве — и, конечно, возобновлю хлопоты. Сейчас получил письмо от Лиды, она сообщает, что ты наверняка будешь встречать Новый год со мною.

Я много работаю. Сказку переписал заново. Если бы она была пущена в свет, я выслал бы Марине толику. Но из Москвы о ней ни слуху, ни духу. Мама поправляется. У Жени скарлатина. Пиши.

Твой отец.

201. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

20 ноября 1942 г. Ташкент[793]

Милый Коля! Конечно, мы можем заболеть, но если этого не случится, в декабре мы с мамой будем в Москве. Мама получила разрешение, и было бы хорошо, если бы ты заблаговременно прислал, хотя бы на адрес Лиды Рогожиной (Москва, Б. Козихинский, 6, кв. 7), все свои пожелания относительно моих хлопот в Москве.

Сделал ли что-нб. Либединский? От Марины получаем бодрые письма. Если я реализую мою сказку, я сейчас же вышлю ей денег.

Я пишу тебе это при открытых окнах. Вчера днем здесь было *жарко.*

У Жени была скарлатина. Теперь он молодцом. И мамино здоровье полегче. А было совсем худо.

Твой отец.

202. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

29 ноября 1942 г. Ленинградская область

Милый папа, грустные от тебя письма — аритмия, скарлатина. Как бы я хотел сейчас повидать маму!

От Марины тоже письма печальные, очень уж ей тяжко приходится — денег мало, дров нет. Она мечтает только о Москве. Вообще, мы с ней не в силах уже выносить создавшееся положение. Я писал Либединскому, Толстой, в В<оенно>-м<орское> издательство, но никто мне даже не ответил. Историю я кончил. Ужасно, что тебя нет в Москве. Должен же быть конец.

Я много летаю, плаваю, езжу. Здоров, но очень устал. Установилась зима — снег, сосны, метель. На днях буду снова в городе. Пиши мне только и точно по адресу, обозначенному на обороте, а телеграфируй на наш Собз.

Привет маме и Лиде.

Коля.

29 ноября 1942 г.

203. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

5 декабря 1942 г. Ташкент[794]

Будем Москве конце декабря.

204. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

Декабрь 1942 г.[795] *Ленинградская область*

Милый папа. На всякий случай пишу тебе в Москву — может быть, ты уже там. Так следует из твоей телеграммы: «Будем Москве конце декабря». А из «будем» следует, что ты приедешь с мамой, и я очень этому рад. А Лида, Люша, Женечка? Я со времени нашей разлуки столько раз менял свой адрес, что не получил от тебя почти ничего.

Мое положение сейчас резко изменилось. Я уже не в бригаде, а в Пубалте, в группе писателей (Вишневский, Успенский[796], Зонин[797], Амурский[798], Браун, Мирошниченко[799], Азаров[800] и я). Начальник мой — замнач Пубалта капитан 1 ранга Рыбаков[801]. Живу я в городе, на службе, за неимением другого жилья. Пишу очерки, роман[802], историю полка закончил. Приключения мои после нашей с тобой разлуки были исключительно любопытны. Я много летал и плавал. Теперь я живу мирно, работаю, сижу на одном месте и жду от тебя вызова.

Вызов мне нужен, в сущности, какой угодно: от Рябова[803], или от Военмориздата, или от Военной комиссии ССП, или даже от Гослитиздата — меня, вероятно, отпустят по любому, но не больше, чем на 10 дней.

205.. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

14 января 1943 г. Ташкент[804]

Приедем Москву конце января, дне выезда телеграфируем тебе, Марине; мечтаем увидеться — Чуковские.

206. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

12 февраля 1943 г. Москва[805]

Найдой[806] говорил, вызов послан, Марине хлопочу.

207. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

2 марта 1943 г. Москва[807]

Марине вызов послан 27 февраля.

208. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

2 июня 1943 г. Москва[808]

Поздравляем рождением, желаем скоро приехать Москву, здоровы, ждем известий — *папа с мамой.*

209. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

2 июня 1943 г.[809] *Москва*

Дорогой Коля!

Живем мы очень мирно и благополучно — до времени. Был я в ВОКС'е, наговорил о твоем романе, ждут. Видел вчера Шолохова, читал ему свою сказку, сказку он одобрил, подписал бумагу в Детгиз с требованием напечатать ее. Подписал и Толстой. Подпишут и Федин, и Фадеев, и Зощенко, и Слонимский и, кажется, даже Асеев[810]. Результатов это иметь не будет. Тогда я плюну. Basta cosi[811].

О Чехове пишу упрямо и радостно. Только бы дожить, чтобы кончить! В первой части будет десять глав: человек. Во второй десять глав: писатель. Впервые будет объявлено читателям величие таких вещей, как «В овраге», «Дама с собачкой», «Скрипка Ротшильда».

Был у меня Квитко. Я читал ему «Скрипку Ротшильда», и оба мы разревелись.

Сегодня в «Правде»: Николай Тихонов, писатель, награжден Орденом Отечественной войны 1-ой степени. Это праздник для всей русской литературы!

Надеюсь, что ты скоро вернешься. Здесь мы открываем Выставку детского рисунка. Кропаю об этом статейку[812].

Таточка в абдоменах, кадаврах, предплечьях, матках, почках, печенках и проч. И незаметно втянула во все это Гулю. А Гуля тянет Женю в «двигатели внутреннего сгорания». Жалко, что у нас так мало времени — для этих глубокоуважаемых мыслителей.

Твой отец.

210. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

23 июля 1943 г. Ленинградская область Милый папа, ты мне совсем не пишешь. Я отправил тебе письмо месяц назад, и до сих пор нет ответа. И я почти ничего не знаю о вас — маринины письма очень скупы. Я понимаю, что тебе лень писать, но все-таки очень прошу тебя ответить мне на все мои дальнейшие фразы, отмеченные вопросительными знаками.

Как твои дела? Что сказка? Что Чехов? Что книга «Двенадцать портретов»?

Как Лида? Приезжает ли она в Москву?

Как Переделкино?

Как мои дела? Больше месяца назад я послал тебе с Олей Берггольц [813] рукопись романа для «Молодой гвардии»[814]. Передал ли ты ее? Собираются ли они ее печатать? (Ведь издания Военмориздата[815] в общую торговую сеть не поступают.)

Напиши мне об этом. Это очень меня волнует. У меня с ними есть договор, по которому они, если возьмут роман, должны мне много денег.

13-го июля отсюда уехал Успенский, который повез тебе рукопись романа для литературного агентства. Сделал ли ты что-нибудь?

О себе мне писать нечего. Я совершил очень любопытную трехнедельную поездку. Приехал, а тут заново решается моя судьба. То ли меня оставят здесь на теперешнем положении, то ли ушлют куда-нибудь в газетку, т. е. вернут в положение прежнее, откуда с таким трудом выбрался, и тогда прощай всякая надежда на писание, на заработок. Мне это было бы особенно досадно теперь, когда я, после двух лет мытарств, поселился, наконец, в прекрасной отдельной совершенно целой комнате, где есть печка, электричество, вода. Ну, посмотрим. Я устал, одеревенел и оравнодушел. Как мама? Привет ей и всему семейству.

Твой Коля.

23 июля 1943 г.

Полевая почта 81 355 К.

211. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Около 24 июля 1943 г.[816] *Москва*

Дорогой Коля. Не беспокойся: все идет хорошо. Землячка[817] направила мое ходатайство о твоей квартире — в Моссовет, я говорил с Мишаковой[818] о тебе, бумага Рогову[819] за ее подписью послана, Гулька поправился в Переделкине *очень*, Тата пишет из деревни веселые письма, в январе 1944 года у К. Чуковского будет новый внук (или внучка)[820] — Розенцвейг[821] загадочно молчит, но мы с Мариной возьмем его за зёбры, из Ташкента пришел напечатанный мой «Бармалей»[822], Наумову[823] прогнали из Детгиза, в детском радио командует Живова[824], которой я прочитал твой роман, она хочет передавать его, мы дадим ей экземпляр «Молодой гвардии», я полон *необыкновенной* энергии (очевидно, перед самым концом!), — хожу каждый вечер в Публичную библиотеку — и

сам себе завидую, так хорошо и санаторно там, недавно видел *своими глазами,* как мальчишки в Переделкине жгли в нашем лесу мою библиотеку — письма ко мне Луначарского, — английские редкие книги XVIII века, Стерна и Свифта — Некрасова — и даже не огорчился.

Знаешь ли ты, что Шерлок Холмс *выходит* в Детгизе[825]!? Не знаешь ли, что с Курчавовой[826]?

Твой отец.

212. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

3 сентября 1943 г. Москва [827]

Милый Коля. Раньше всего выбрось из головы, что твоя семья стесняет нас. Напротив. Я рад, что ближе узнал и Тату, и Колю, и Марину. Все это — первоклассный человеческий материал, и быть с ними в общении приятно. Мама иногда нервничает, но не *вообще*, а по разным конкретным случаям. Но ведь живя под одной крышей, нельзя иногда не понервничать.

Второе: к Рогову пойду с удовольствием, выполню твои заветы свято, но Рогов сейчас отсутствует, а к его помощнику идти не стоит. Ведь с Роговым я знаком, а помощник мне абсолютно неведом.

Твою повесть одобрил ВОКС[828]. Посылает ее в Америку. На днях будем заключать договор.

Рахманов — человек удивительный, спокойный, знающий, преданный литературе, как фанатик. Я свел его с ВОКС'ом. У него, кажется, возьмут «Дарвина»[829]. Но не знаю, что понравилось ему в моем Чехове. Ведь это только начало — первые четыре печ. листа. Так сказать, — предисловие. *Главное* начнется на 125 странице.

Вся Москва очарована победами Красной Армии. Вечерние салюты необыкновенно красивы. Гулька и Женя неотрывно глядят на них.

Как у тебя с «Девятью братьями» в отношении кино[830]? Об этом спрашивает и ВОКС.

Мой Чехов будет печататься в «Знамени»[831]. Скоро пойдет в набор. К нашему «Шерлоку» сделаны дивные рисунки[832]. Книжка пойдет под общим названием «Союз рыжих». 2–3 рассказика выброшены. Узнай по телеф. в Гослитиздате, получили ли они две мои книжки «Чудо-дерево»[833], которые я послал им почтой. Пусть телеграфируют. Гуля — поступил в новую (которую?!) школу и уехал в Переделкино — в детский сад еще на две недели. Ему там хорошо. Медовый запах августовских

трав, чудесный воздух, неплохие товарищи. Он стал удивительно красив. Целую тебя.

Твой Отец.

213. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

24 сентября 1943 г. Москва

24/IX 43.

Дорогой Коля. Я советую тебе сразу же приняться за чтение *2-й части* этого письма (на последней странице), так как в ней будет описано мое свидание с г.-л. Роговым, который все это время пребывал на юге, теперь вернулся и СЕГОДНЯ в 4 часа примет меня. Я же пишу тебе это в 1 час дня — и мне самому хотелось бы знать, что я напишу тебе в конце этого письма.

Но попытаюсь и в начале письма сообщить тебе кое-что интересное. Раньше всего о романе. Он имеет *ОГРОМНЫЙ* успех, какого не имела ни одна твоя вещь. Я послал первые два номера в кино, минуя Большинцова, — Олегу Леонидову[834] (рецензенту кинокомитета), и он на *следующий день* позвонил мне, что роман великолепен, что если 2-ая часть так же хороша, как и то, что имеется в *«Смене»*[835], то они сейчас же будут воплощать его на экране. То же самое и в ВОКС'е. Они уже хлопочут о переводе этого романа и скорейшем напечатании его за границей. К сожалению, «Смена» — не тот журнал, который читают в литературных кругах, но «Мол. Гвардия» печатает роман ускоренными темпами[836], сегодня вечером мне будет дана *корректура* твоего романа, чтобы я мог весь целиком передать его в Кинокомитет. Чуть выйдет книга эта из печати, ее ждет целая туча хвалебных рецензий[837].

Теперь вообще о твоих делах. Я обратился к тов. Землячке с письмом, где просил о предоставлении тебе жилплощади. Она переслала письмо в Моссовет. Там отказали. Но мы не кладем оружия, хотя, признаться, достать сейчас жилплощадь в Москве гораздо труднее, чем вызволить тебя из Ленинграда в Москву. Я пишу второе письмо Землячке и завтра же пошлю его в Кремль.

С детьми твоими дело обстоит так: недавно Гуля обедал у меня в комнате и за общим столиком рассказал мне, что рассказывал ему один мальчик, бывший в немецкой оккупации. Это так точно, так подробно, так дельно, как будто сам Гуля в течение года был под немцами! Меня поразила емкость его ума, крепкая хватка всей жизненной фактологии, его памятливость и его громадный интерес ко всему, что на самом деле должно интересовать человека. Он занимается с Женей по географии, по

арифметике, и меня поражает его педагогия, такт и зрелое понимание своих задач. Он благожелателен, дисциплинирован, отлично ладит со всеми нами. О Таточке и говорить нечего — ты знаешь ее деликатность, щепетильность. Самое болезненное — это отношения Марины и мамы. Но и здесь ничего трагического нет. Мама в основе своей — такой любящий, семейственный, умный человек, что ее мелкие вспышки нисколько не выражают ее основного отношения к Марине, которое всегда доброкачественно и глубоко-сердечно. Но, конечно, когда две женщины — в такое трудное время — находятся в одной квартире у одной плиты — нельзя ожидать, что все у них будет гладко и стройно. Этого никогда не бывает. Но, конечно, им обеим тяжело. Я понимаю томление Марины, но ведь маме труднее всего. Во-первых, она тоскует по Бобе, во-вторых, ее мучает твоя неустроенность, в-третьих — неустроенность Лиды (Люша больна малярией!), в-четвертых, она страшно устала — целый день без прислуги, не присядет ни на минуту, топчется из кухни в прихожую, в «гостиную» и проч. И было бы чудно, если бы ты, не откладывая, сейчас же написал ей письмо, а ты ведь ей даже поклона никогда не передаешь, и ей это горько…

Моя статья о Чехове застопорилась — так меня волнуют твои и Лидины дела. (Я так браню себя за свою житейскую неумелость!) Печатается ли мой «Сборник сказок» — «Чудо-дерево»? Ты обещал узнать и прислать телеграмму. Сейчас моя «Одолеем Бармалея» вышла двумя изданиями в Ташкенте и одним изданием в Пензе. Было бы чудно, если бы ее издал Ленгиз. Посылаю тебе экземпляр — для переговоров с Л-изом. Москва прекрасна, поэтична, салюты радуют нас как детей. Москву чистят, украшают, мостят, а кое-где и отстраивают. Вести с фронта *необыкновенны.*

Ну, бегу к Рогову. Что-то он скажет. Обнимаю тебя. Какая прелесть Милюся.

Ну, вот тебе The Latest News[838].

В страшный дождь побежал я в калошах под зонтиком к И. В. Рогову и… опоздал, т. к. сунулся не в то бюро пропусков, — так что когда, наконец, очутился в его приемной, было 16.20. В приемной мне сказали, что он уже спрашивал обо мне. Впрочем, вскоре меня позвали к нему. Моложавый, симпатичный, простой. Пил чай с мармеладиной. — «Я по поводу сына моего Н. Ч-ого». Улыбнулся. — «Как же знаю». Я дал ему твое письмо (которое мы с Мариной переписали, выбросив о *Военмориздатских* «Девяти братьях»). Он внимательно прочитал его. — «Позвольте дать комментарий к этому письму (сказал я). Дело в том, что мой сын как газетчик совершенно бездарен, в газетах он писать никогда не

умел, да и агиткнижки у него выходят неважные, потому что единственное, что он умеет, это писать РОМАНЫ. Вот его „Девять братьев“ имеют огромный успех… и т. д.».

— Ну, что ж, — сказал он, — мы его сейчас же выпишем.

— Когда же?

— На днях… И создадим ему условия для работы.

— Написать ему об этом?

— Нет, мы напишем сами.

Выйдя из его кабинета, я поговорил с его секретарем.

Секретарь говорит: «Как же. Раз обещал, вызовет непременно». Я взял телефон и послезавтра буду звонить.

Твой Father.

214. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

26 сентября 1943 г. Москва[839]

Вызов послан, сообщи получение, ждем.

215. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

1949 г.[840] *Москва*

Коля! Посылаю тебе несколько книжек в подарок.

«Детство» [841] дай Гуле!

216. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

30 марта 1951 г. Москва[842]

Дорогой Коля.

Я чувствую душевную потребность уничтожить одно недоразумение, которое уже давно угнетает меня. Дело касается мамы. У всей семьи складывается такое впечатление, будто я — ни в чем не повинный страдалец, замученный деспотизмом жены. Я сам виноват в этом лестном для меня заблуждении, ибо в минуты семейных бурь я жаловался, хныкал и т. д. Между тем это — заблуждение. Никто из Вас не знает, какую роль здесь сыграли мои тяжкие вины перед нею. Какие травмы наносил я ей своей неверностью, своими увлечениями, сколько раз я бывал не прав перед нею! Теперь она — разрушенный больной человек — не по моей ли вине? Нет ли у меня *обязанности* заботиться о ее светлом настроении, о том, чтобы ее не томила бессонница, не должен ли я (и мы все) уступать ей — соглашаться с нею, —

памятуя, что это — больной человек, инвалид? Ты говорил с ней очень резко, защищая меня — с юношеским пылом и задором, — спасибо тебе за этот порыв, но, право, я не заслужил таких порывов. И мне кажется, будет лучше всего, если ты напишешь ей письмо — «дорогая мама, не сердись» и т. д. Нужно, нужно нам — хоть перед нашим концом — не то что сплотиться, а примириться, тем более что мама ведь и не требует ничего, кроме доброго *слова.*

Эльсберг дал о моей книге хвалебную рецензию[843], к моему изумлению. Жаль, что болезнь помешала мне работать над ней весь этот месяц. А болезнь была ужасная: вирусный грипп с осложнениями на сердце. Я у тебя был *уже больной,* это-то и подкосило меня. Целую Марину — отцовски и дружески. Ник. Пав.[844] показывал и мне, как другим, рисунок Мити: стрельба из утробы.

Твой Дед.

217. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Начало апреля 1951 г.[845] *Москва*

Дорогой Коля, хотя я не спал уже суток 8, но сегодня вдруг почувствовал себя спокойнее. На душе стало яснее. Я опять нахожу в себе силы — заботиться о маме до последней возможности, жалеть ее, думать о ней. Говорил с психиатрами: оказывается, у них *нет* средств снять ее гневливость; есть только полумеры, паллиативы. Марина заботится обо мне с величайшим участием; какой это задушевный, энергичный и *правильный* человек.

Имею сведения, что Лидочке легче. Уверен, что она поправится и возьмет продление; Люшенька здорова, весела.

Поговори с сестрой Марией Алексеевной [846]. Скажи, что я написал о ней письмо А. А. Фадееву. В деле принимает участие Валерия Осиповна[847], которая просит, чтобы М. Ал. тотчас же прислала через автобус Литфонда (на имя Марины Н. Ч-ской) заявление: «Прошу перевести меня в П-но. На первых порах К. И. Ч. предоставляет мне помещение» и т. д. и пусть повторит в той же бумаге свою автобиографию.

Привет всем — Лиду целую.

Дед.

218. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

16 апреля 1951 г.[848] *Москва*

Милый Коля. — Наконец-то я могу написать тебе несколько слов. Раньше всего о твоем доме. Моя любовь к Марине удесятерилась: такой это деятельный, задушевный, правильный человек. Она героически, самоотверженно заботилась обо мне — во время моего гощения в твоем кабинете. Гуля: умница, знает литературу наизусть, но застенчив необыкновенно и *мученик*. Мученик своего фантастического образа жизни. Он умудряется 20 часов в сутки просиживать над чертежом, причем часов 5 уходит у него на черчение, остальные 15 — на канительную и бездейственную тоску, вызванную этим самым чертежом. Это необыкновенный труженик — с необычайно малой производительностью. Ему нужен спорт, нужен воздух, нужен отрыв от гнетущей его обстановки. В общем же это — прелестный, милый, с хорошим будущим юноша. Митя занимается англ, языком. Я сказал ему пять англ, слов подряд, и *он сразу же запомнил их.*

Мне звонила Мария Алексеевна — говорит, что и ты, и Лида поправляетесь. Воображаю, какие чудесные прогулки под Рузой. Мама уезжает в Узкое, я достал ей путевку на 18-ое. Там ей будет хорошо. Что же касается меня, то думал ли я когда-нибудь, что меня обрадует обзор детской литературы (в сегодняшней «Правде»), где *не упомянуто мое имя.* А я, действительно, рад. Спасибо, что не ругают. Мой «Некрасов»[849] оказался мифом. Я решил не печатать его. Конечно, можно было бы на этот месяц поселиться в Переделкине мне (скажем с Лидой и молодым некрасоведом Гаркави[850] (родств. Тынянова)) и сделать книгу отличную — но у Лиды свои заботы, да и хватит ли у меня сил? Рецензии о моей книге хорошие, изд-во относится хорошо, но… мне она очень не нравится. Черт с нею.

Что ты поделываешь? Переводишь Петёфи[851]? Где думаешь жить на даче? С кем водишься в Малеевке? Я добыл для Лиды продление до 5 мая. Рад, что праздники она проведет там. От Таты было письмо: как-то преувеличенно она хвалится своим семейным счастьем.

Занимаюсь X-м, XI-м и XII т. Полного собр. соч. Некрасова[852]. Это вроде рукоделия. Успокаивает.

Ну, будь здоров.

Твой Дед.

219. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

2 июля 1951 г.[853] *Переделкино*

Дорогой Коля!

Получив твое письмо, я немедленно позвонил в Узкое — Карлу Адольфовичу Кругу[854]. Это было нагло: звать 75-летнего ученого вниз к телефону, но делать было нечего. Карл Адольфович через час собирался уехать куда-то на Оку, — но ангельски согласился написать начальнику Богомолова[855] — тов. Ионкину, *завед. кадрами,* слезное письмо о внуке «своего друга» Корнея Чуковского и письмо оставил у своей жены — в Узком. На след, день я поехал из Переделкина в Узкое (а на глазу у меня как нарочно ЯЧМЕНЬ, не бывший у меня с 1905 года). Письмо у меня в руках, но тут же супруга Круга стала просить у меня, чтобы я (услуга за услугу!) добыл в Литфонде путевку в Коктебель для ее дочери. Получив письмо, я поехал на Гороховскую — на квартиру Ионкина. Он — в институте, на Красной Казарменной. Я туда. Ионкина нет. Я в отчаянии. Но тут встречаю дочь Круга[856], которая в дружбе с женой Богомолова. Еду с нею в Литфонд — хлопочу о путевке для нее. Прошу чуть не на коленях. Кисло и хмуро полуобещают. Беру у Таты Круг (ее зовут Тата) клятву, что она сегодня же поговорит с Богомоловым, еду после 6-часовых мытарств в Переделкино и пишу это письмо. Две двойки — вообще говоря — автоматически влекут за собою изгнание из стен И-та, но сделано все, что в человеческих силах. Я объяснял, что Гуля — мальчик развитой, любит свой предмет, что его провал, — от неимоверной застенчивости и т. д., но удастся ли Ионкину нарушить устав, не знаю. Тата (аспирантка этого Института, защитившая кандидатскую диссертацию, родившаяся в нем) сделает все возможное; мы с нею приятели и, кроме того, ей очень хочется в Коктебель. В крайнем случае, она приедет без путевки. Окажите ей на первых порах покровительство.

Привет сердечный Треневым[857]! У меня за последние полгода совершенно испортилось сердце. Сделали кардиограмму — черт знает что! Спать я почти разучился, отдыха никакого, писать я стал бесцветно и бездарно. Погода наступила холодная. Очень, очень прошу Вас: не упрекайте и не казните Гулю. Я сам был когда-то в его положении и знаю, как это тяжко. Авось, все обойдется, а осенью он сдаст, подготовится. Загорайте, купайтесь. Целую Марину.

Напиши мне несколько слов о своем здоровье. Воображаю телячий восторг Мити — на коктебельском пляже.

Дед.

Ночь. Переделкино. 2 июля.

220. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

4 июля 1951 г. Москва[858]

Дорогие мои! Вот краткий отчет. Круг написал письмо Ионкину, дочь Круга нажала на Богомолова. Сегодня Ионкин сказал мне: Николай Чуковский от Института отчислен, но мы ввиду ходатайства К. А. Круга — допустим Н. Н. Ч. к экзаменам — и примеч лишь в том случае, если он сдаст *на отлично*. Причем желательно, чтобы перед испытаниями он явился в И-т со мною, с дедом — хотят поговорить с ним в моем присутствии. Почему, не знаю. О Гуле у них представление, как о способном, но лодыре. Я буду говорить с Ионкиным послезавтра и постараюсь рассеять эту иллюзию. Спасибо старику Кругу! Дело теперь поставлено так: «неужели Н. Н. Ч. подведет своего деда!» Надеюсь, что не подведет. Пусть сейчас же возьмется за зубрежку[859].

Дальнейшие подробности сообщу немедленно.

Дед.

221. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

10 июля 1951 г. Переделкино

Дорогой Коля! Посылаю тебе письмо Таточки Круг — очень милой и своеобразной девушки, которая едет на днях в Коктебель. Из этого письма ты ясно увидишь, в чем дело. В разговоре с Ионкиным проскользнуло какое-то (по-моему, ошибочное) суждение о нравственной расхлябанности Гули, — суждение, которое я постараюсь рассеять или, по крайней мере, ослабить. Если Гуле трудно заниматься в Коктебеле, шли его к нам в Переделкино, я прослежу за тем, чтобы он отдавал все свои силы занятиям.

Здесь жара коктебельская. Трава пожелтела. Пыль поднимается от малейшего ветерка. Даже в лесу душно. Сегодня было 30°. Мама чувствует себя неплохо. Я строчу или вернее: корплю. Как-то живется Вам в этом…….? Едут Каверины[860], Штейны[861] и вообще все Переделкино.

Черкни слова два.

Марину целую. — Что Митя?

Твой Дед.

Как мило со стороны Таты Круг, что она написала мне это письмо. — Коля Каверин[862] окончил с золотой медалью. 10/VII 51.

222. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Конец июля 1951 г.[863]*Переделкино*

Дорогие мои. Пишу впопыхах. Все у нас превосходно. Здоровье поскрипывает, но могло бы быть и хуже. Очень рад, что Вам удалось отдохнуть. Завтра еду в Университетскую клинику — хлопотать о Люше: ей нужно вырезывать гланды. Надеюсь, что Гуля готов к испытаниям. Приезжать раньше времени ему вряд ли следует. Лучше искупаться в море лишний разок. Я написал М-me Круг большое письмо, но ответа не получил — слишком уж запутанный адрес; должно быть, не дошло. Работается мне очень неплохо — вообще это лето было не бесплодно. Могло быть гораздо хуже. Мама чуть-чуть поправилась. От нас ушел Геннадий[864]. В. П. Катаев рассказывал мне много о Мите, которому шлю особый привет. Надеюсь увидеть Марину совершенно помолодевшей — загорелой, изящной красавицей. Конечно, целую Треневых, приветствую железобетонную Тату Круг. И Штейнов. И Марию Степановну Пермяк[865], и Марию Степановну Волошину.

Дед.

223. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Август 1951 г.[866] *Переделкино*

Дорогой Коля!

Мама тяжко страдает из-за произошедшего между Вами отчуждения. Тебя она очень любит и всегда говорит о тебе сердечно. Не найдешь ли ты возможным написать ей несколько приветливых слов — прибавив, что ты очень жалеешь о бывшем между вами недоразумении? Ведь она очень больна, очень одинока, — и отмахиваться от нее не годится. Конечно, решай сам — по душе.

Мариночка написала мне письмо, но я так и не получил его — Лида затеряла. Крепко целую ее. Надеюсь, что Вы оба отдохнули. Скоро увидимся.

С Гулей, я уверен, все будет отлично. Привет Мите — и Тате!!

Дед.

224. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Начало февраля 1954 г.[867] *Переделкино* Дорогой Коля!

Меня очень обрадовала возможность пожить с тобой под одной кровлей. Устроим тебе и уют, и покой, — телевизора не бойся. Он кончается в десять с половиной. У мамы сейчас

чудесное настроение, и я уверен, она будет рада тебе.

Приезжай!

Твои Дед.

225. К. И. Чуковский — Н. К. и М. Н. Чуковским

30 сентября 1954 г.[868] *Переделкино*

Дорогие родственники! Целую Вас крепко. Куда ни пойду, всюду слышу добрые (порою восторженные!) отзывы о «Балтийском небе»[869]. Была у меня Тамара Трифонова[870] и говорила, что в «Литгазете» — на каком-то редакционном совещании все единогласно отзывались о «Балтморе» [871]вполне одобрительно.

К Вам едет Женя. Нельзя сказать, чтобы я был доволен его поведением. Он совершает моральное самоубийство: не читает ни одной книги, ничем не занимается, водится с ребятами, которые значительно *ниже* его по развитию — и целый день только и делает, что ищет развлечений. Конечно, в этом виноват и я, но ведь малому 17-й год, и мог бы он без деда сообразить, что он страшно обедняет себя своим упорным и сплошным битьем баклуш. Я хотел хоть в августе приняться за него, но он соблазнился поездкой к Вам, стало быть, развлекательная жизнь будет продолжаться.

Я очень постарел, но работается мне очень неплохо. 2-ое изд. «Мастерства» ушло в набор, переделываю наново «От 2-х до 5» [872]. Выходит вроде как бы новая книга. Целую вас опять и опять. Дмитрию Николаевичу[873] особый поклон. Будете писать Таточке — передайте мой привет! Хочь солдатам чижало, между прочим ничего.

Мариночка, будьте веселы!

Ваш Дед.

226. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Январь 1955 г.[874] *Переделкино* Дорогой Коля.

Маме все хуже и хуже. Сегодня я позвал чудесного врача — Яковлева[875] из клиники ВЦСПС, он сказал мне, что есть угроза нового инсульта, уложил ее в постель, предписал абсолютный покой, дал новые рецепты и т. д. Кровяное давление у нее опять поднялось; явления склероза стали угрожающими.

Посему я хочу попросить у тебя в долг 2000 р. Деньги у меня есть, но некому получить их в сберкассе: с Лидией Филипповной

я расстался.

Привет Мариночке, Тате, Мите, Маше. Как Гулины экзамены? Если будешь писать мне, не пиши о маминой болезни. Здесь нужна полнейшая конспирация.

Врач уложил ее всего на 7 дней. Я хотел быть у Вас дня три назад, но почувствовал себя очень расслабленным: еле отошел в Переделкине.

Всего доброго

Твой Праотец.

227. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

5 февраля 1955 г.[876] *Переделкино*

Дорогой Коля. Сейчас я получил письмо от Игоря Ильинского[877]. Он между прочим пишет: «Совсем недавно я искренне радовался успеху Вашего сына и завидовал, что Вы можете испытывать высокое чувство радости и гордости за своего сына».

Вот.

Асеев жалкая сволочь.

Маме немного лучше, и, может быть, не придется класть ее в больницу. t° у нее приближается к норме.

Как жаль, что теперь не ноябрь: совсем другим показался бы тебе Кисловодск.

Писал бы еще, но Клара[878] торопится на поезд.

Дед.

228. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

16 февраля 1955 г. Москва[879]

Мама умирает[880], приезжай скорее, хочет тебя видеть — *дед.*

229. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

14 августа 1955 г.[881] *Переделкино*

Милый Коля. Твое письмо для меня — нечаянная радость. Мне и в голову не приходило, что ты можешь так сердечно и щедро отнестись к моим старческим домыслам. До твоего письма я так и не знал, испортил ли я книгу, внеся в нее столько мозгологии, — или улучшил ее. По Лидиному ощущению — испортил, а мне было скучно ориентироваться на толстомясых

мамаш, которые во всей этой книжке видят одно сплошное «намакаронился». Твое письмо так окрылило меня, что я отбросил все остальные дела (Уитмен, Слепцов, Бибигон, мемуары[882]) и стал дополнять эту книжку новыми главами, новыми материалами — для 11-го[883], пусть и посмертного, издания [Независимо от личной заинтересованности я — словно это меня не касается, пришел в восторг от того блестящего стиля, которым написана твоя рецензия. А ты говорил: «не умею я писать статьи» [884].].

Сейчас у меня был Леля Арнштам. Он рассказывает, что готовятся свободные экскурсии в Италию, в Англию — для всех желающих писателей, художников, киноработников. Сейчас во многих учреждениях — говорит Арнштам, — вывешены объявления об условиях свободного приезда (для служащих) в Польшу. Никаких виз, плата 1000 р. и 1500 р.

Детгиз спешно печатает сказки Киплинга [885] и мою книжку «Английские народные песенки» [886] («Робин Бобин Барабек» и др.). Вообще гениальная наша дипломатическая победа чувствуется даже в Гослите: печатают Колдуэлла[887], Хемингуэя[888], подумывают о Дос Пассосе[889]. Из нового издания стихотворений Уитмена выбросили лживую статейку Мендельсона[890], написанную для холодной войны.

Надеюсь, что ты отдыхаешь с утра до вечера, не загружая себя корректурами и рукописями.

Хотел писать еще, но Франц Францевич[891] торопит, ему нужно немедленно в город.

Еще раз спасибо! —

Дед.

Привет Мите, Тате, Гуле, Кларе!

Отыскал ли ты Мурочкину могилу?

230. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

30 января 1956 г. [892]*Переделкино*

Дорогой Коля.

Вот еще лавр в твоем венце. Прислала мне этот дифирамб твоему «Небу» Вера Александровна Сутугина, бывший секретарь «*Всемирной литературы*» [893]. Прилагаю ее письмо, в качестве комментария.

Женю придется класть в больницу[894]. Кости у него не срастаются — по неизвестной причине. Рука может сгинуть.

Надо бы нам повидаться. Целую Марину.

Дед.

231. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

30 января 1956 г.[895] *Переделкино*

Дорогой Коля! Вот и годовщина со дня маминой смерти. — Посылаю тебе письмо, доставленное мне по ошибке. Сердечный привет Марине.

Дед.

232. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

8 февраля 1956 г.[896] *Переделкино*

«Удивительный, кристальной души человек!» (цитата).

Вот тебе и еще комплименты, адресованные по ошибке мне. При случае скажи в «Советском писателе», чтобы та халда, которая ведает нашей эпистолярией, сообразила бы, наконец, о существовании двух разных Чуковских.

Привет Мите и Марине.

В Переделкине арестован сын генерала Попова[897], 18 лет, ударивший (неподалеку от станции) кассиршу (по голове) — из-за трех тысяч рублей. Оказывается, тут действовала целая шайка барских сынков.

Дед.

233. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

Октябрь 1956 г.[898] *Москва*

Дорогие потомки!

Я говорил по телефону с Игорем Сергеевичем[899]. Оказывается, он только что приехал. Я сказал ему, что Вы хотите с ним поговорить. Он весь к Вашим услугам. Его телефон *К–6–29–82* (ЦК). Домашний тел. Г–9–23–76. Я приехал сегодня, т. к. боюсь, что послезавтра слягу. Мой совет: сговориться с ним на утро (четверг). Я приеду часам к 12-ти и в 12½ мы будем в ЦК. Если же я не приеду в 12 (то есть слягу), то попроси его, чтобы он выписал пропуск для тебя. Если же в четверг ты, Коля, будешь занят, то валяй в среду с утра (без меня). И. С. страшно расположен к нам.

Дед.

234. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

14 ноября 1956 г.[900] *Переделкино* Дорогой Коля.

Здесь необыкновенно хорошо. Приезжай — все недуги пройдут.

Pater.

Приветмаринетатемитеюребобе[901].

235. К. И. Чуковский — Н. К. Чуковскому

13 августа 1957 г.[902] *Переделкино*

Милый Коля!

Вот тебе читательский отклик. По-моему очень умный и верный. Адрес Александры Яковлевны Бруштейн [903], замечательной женщины, которая помнит нас еще по Куоккале:

Москва Г-2, Серебряный пер., дом 5, кв. 7.

Напиши ей хоть несколько слов. Дела с библиотекой наладились. Литфонд своим чиновничьим методом задержал ее постройку на 3 недели. Но благодаря вмешательству Союза — Ляшкевич посрамлен — и сейчас мы копаем фундамент[904]! Привет Лоле и Тате Либединским[905] и Ксене Агаровой[906]. Скажи им, что к их возвращению библиотека будет уже открыта.

Атарову поклон!

Я поскрипываю. О твоей повести говорят хорошо. Собака Арбузова[907] искусала лицо мальчику Ажаева[908]. Иностранцы меня одолели: один день обедали федеративные немцы, а ужинал уругваец с красивой женой. У уругвайцев и новозеландцев я достал для Мити по монетке. И у поляков тоже. Целую Мариночку. В прошлое воскресенье был у нас Гуля, прелестный, талантливый, но — загадочный.

Геннадию Матвеевичу[909] дружеский привет!

Твой Дед.

236. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

18 декабря 1958 г. Будапешт

Целуем Вас, дорогой Дед, и вспоминаем в Будапеште!

Марина.

С самым приятным воспоминанием на дружеский прием в Переделкине — по случаю встречи с Николаем Корнеевичем в Будапеште — привет горячий от *И. Вальдапфеля*[910]. *Твой Н. Ч.,* выпимши.

18 дек. 58.

237. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

15 августа 1963 г. Коктебель

15 авг. 63 г. Коктебель

Милый папа!

Пишу тебе древним, доисторическим стальным пером, вправленным в деревянную вставочку, макаю его в чернильницу. Оказалось, я совсем разучился так писать и еле-еле справляюсь. Мой английский карандаш, начинку для которого ты дал мне перед отъездом, исписан весь: я написал здесь большой рассказ[911], плохой, но на плохие рассказы уходит столько же чернил, сколько и на гениальные.

Прочел я здесь три твои превосходные статьи[912]. Читал с волнением и даже с болью — можно ли объяснить людям, что все дело во вкусе, когда у людей нет вкуса? Невольно становишься на сторону «дистилляторов» — их хоть можно читать, не коробясь.

А дай сторонникам просторечия хоть немного воли, и они такого наворотят, что читать станет невозможно. Даже приведенные тобой удачи — неудачны. Сочетание слов: «Слышь, Эльза» — меня рассмешило.

Что поделаешь, победы в переводе всегда индивидуальны, неповторимы, и потому из них нельзя извлечь никаких уроков. Систематизации поддаются только поражения. Ты это чувствовал, когда писал, и потому две последние твои статьи лишены присущей тебе отчетливости.

В Коктебеле прекрасно, и расстаюсь я с ним с сожалением, хотя мы прожили здесь больше месяца. Наслаждение было двойное — прекрасно быть в Коктебеле и прекрасно не быть в Москве. 21-го мы полетим отсюда в Киев. Надеюсь проболтаться там дней пять, а то и неделю. Следовательно, будем дома вскоре после 25-го.

Видел 6 № «Нового мира», по нынешним временам любопытный[913]. Там несколько отрывков из моего Тувима. Прочитал и подумал, что нужно было дать не эти отрывки, а другие. Ну, да все равно. Скоро выйдет вся книжка — мне сюда, в Коктебель, прислали верстку[914].

Тревожит меня по-прежнему Митя — заберут или не заберут? Господи, до чего хочется, чтобы не забрали и до чего мало на это надежды!

Говорят, в «Веч. Москве» было что-то о моем «Избранном»[915]. Но здесь «Веч. Москвы» нет, и что они написали — не знаю.

Итак, скоро увижу тебя в Переделкине. Будь здоров. Попроси Люшу оставить для меня немного крыжовника — не в виде

варенья. Сердечный привет ей.

Коля.

[Рукой М. Н. Чуковской]:

Дорогой Дед!

Спасибо за письмо. Слава Богу, что Вы здоровы, — это главное. И все же предчувствую, сколько неприятностей свалится, чуть приедем в Москву. Бррр…

Целую *Марина.*

238. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому

2 августа 1964 г. Коктебель

2.8.64.

Коктебель.

Милый папа!

Мы здесь уже три недели и почти ничего о тебе не знаем. Люша написала, что Зоя Семеновна[916] уложила тебя в постель. Что с тобой? Напиши нам. А то в разлуке всегда тревожно. Напиши о здоровье и о твоих делах.

О нас мне писать нечего. Здесь не жизнь, а нирвана. Купаемся, бродим, спим, беседуем со старичками о предметах возвышенных и вечных. Митя занят любовными похождениями, за которыми не уследишь. (Не уследим, как скоро прикажут писать[917].) На днях он уже возвращается в Москву и, конечно, объявится в Переделкине со своим гремящим мотоциклом.

Я доделал здесь рассказ для «Юности»[918] и уже пишу другой, новый, и дней через пять кончу[919]. Тоже о предметах возвышенных и вечных и, кажется, тем более плохой.

Ничего не знаю о своем Мандельштаме в 8 № «Москвы»[920]. Но волнуюсь не очень — будь что будет. Вернусь к сентябрю и узнаю все разом.

Напиши нам, пожалуйста, хоть несколько строк.

Коля.

239. К. И. Чуковский — М. Н. Чуковской

5 ноября 1965 г.[921] *Барвиха*

Мариночка, родная, любимая. Вот мы и осиротели.

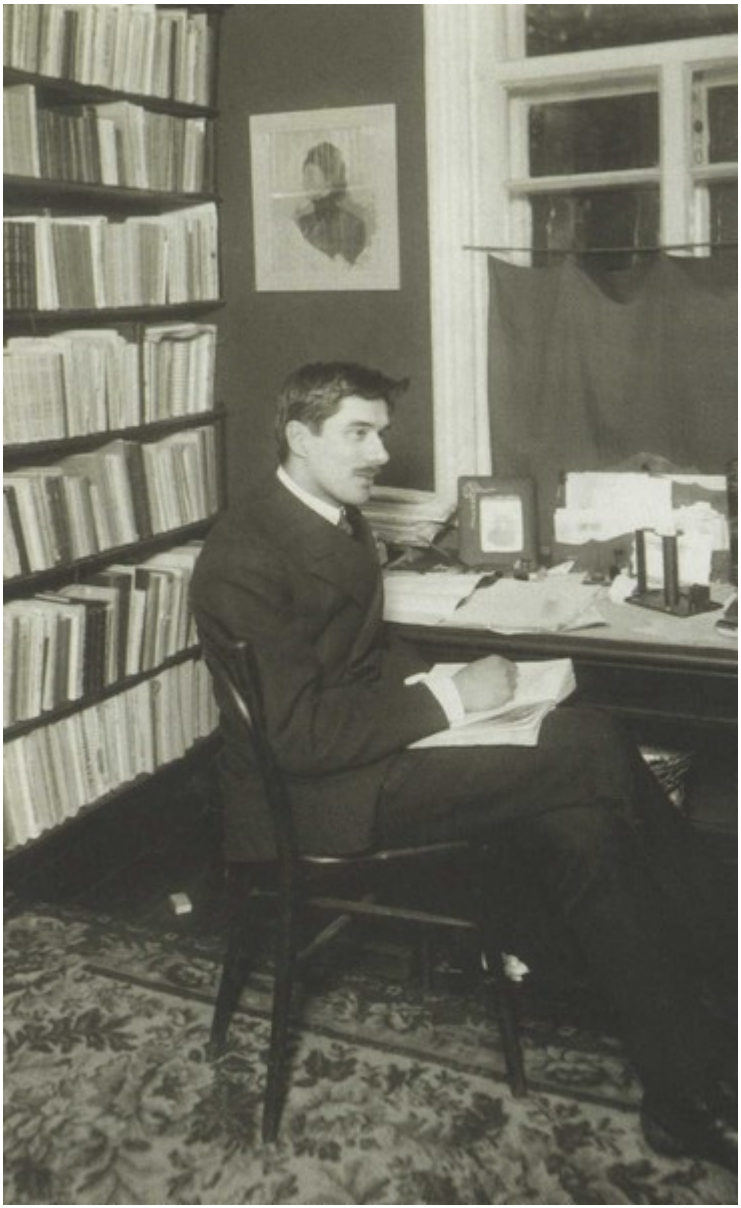
Для меня это так непривычно, так противоестественно, так странно, что кажется, будто и небо надо мною стало другое, и весь вид из окна другой. Как поразительно закручена его жизнь, сколько в ней было творческих радостей, сколько *титанической*

работы — что наряду с БОЛЬЮ, есть какое-то восхищение, какая-то радость о гармоническом человеке. Будьте, друг мой, спокойнее, чувствуйте, что мы все любим и любили Вас обоих *неотделимо,* что любовь наша, общая, должна облегчить Вам Ваше *лютое* страдание. Я пишу чепуху, но я сам — стал идиотом — и целую Вас — целую еще раз, целую и плачу, плачу и целую.

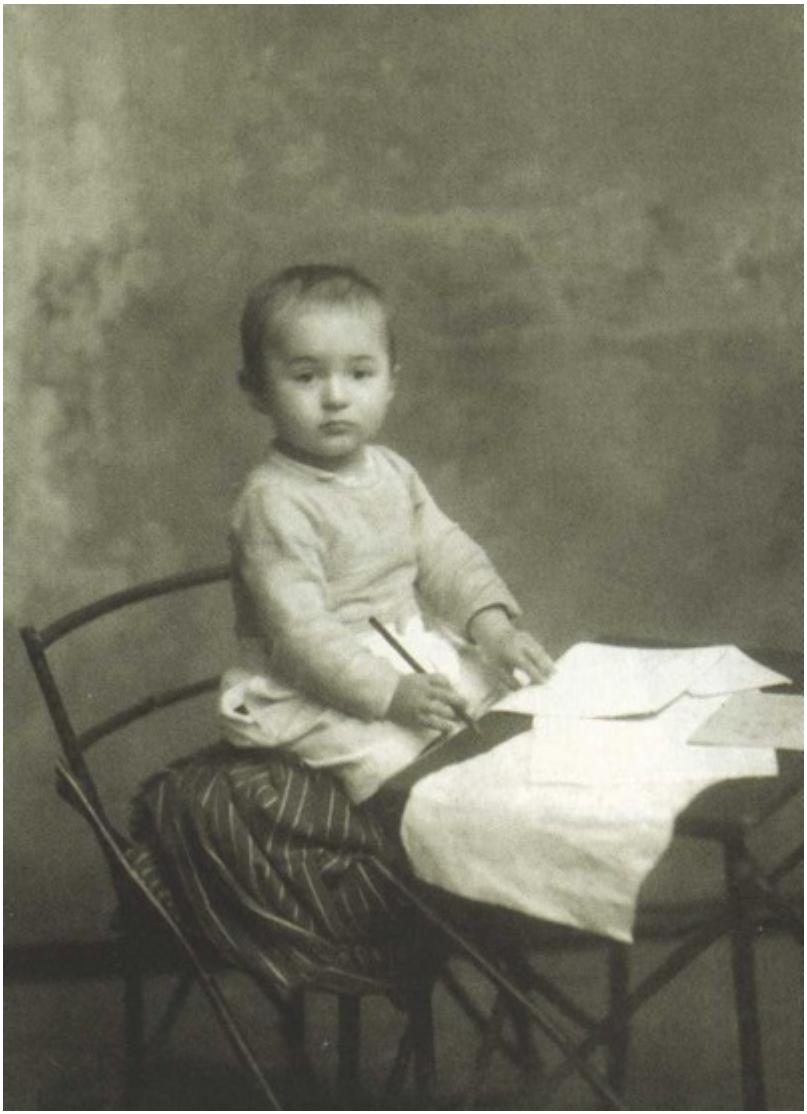
Ваш дед.

Иллюстрации

Николай Корнеевич Чуковский. 1959 г.



Корней Иванович Чуковский. Фото К. Буллы. Куоккала. 1913 г.



Николай Чуковский. Одесса. 1906 г.

В детской. Николай и Лидия с мамой и папой, Боба на руках у няни. Куоккала. 1913 г.

Семья за обедом. Фото К. Буллы. Куоккала. 1912 г.

Репинские «Пенаты». Илья Ефимович (стоит второй слева) с гостями. В лодке — Корней Чуковский с женой и детьми. 1913 г.

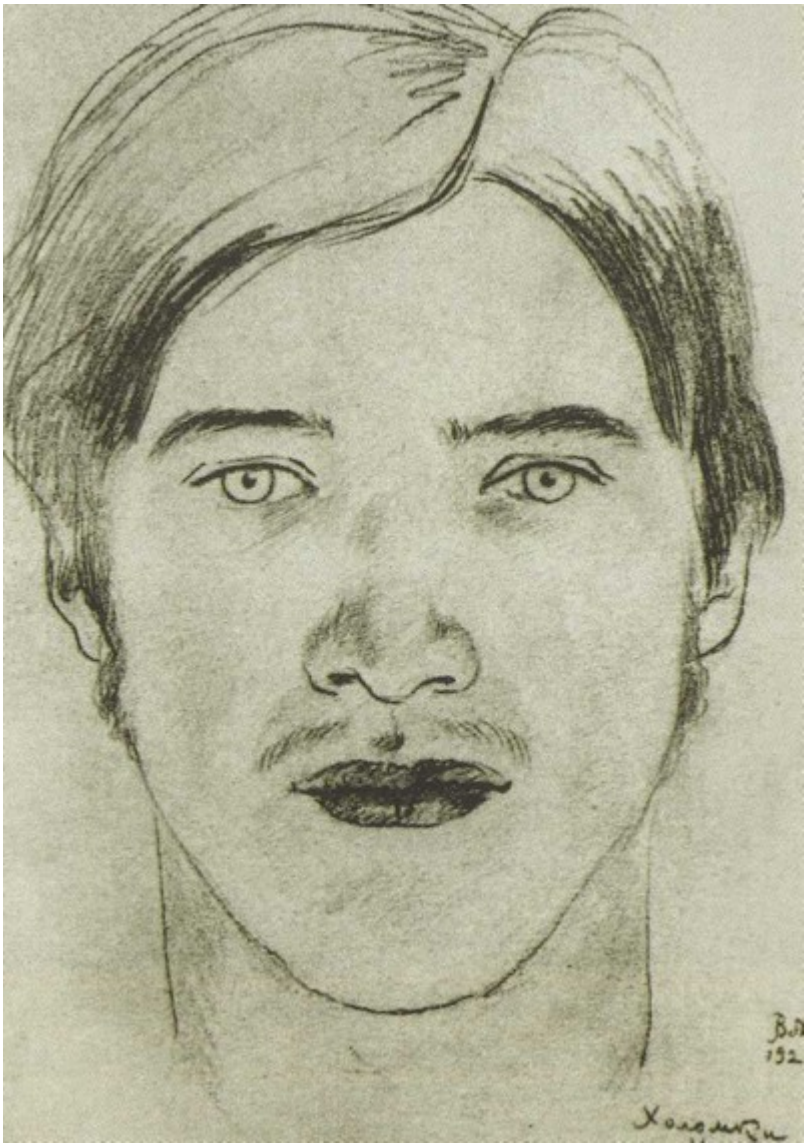
На льду Финского залива. Стоят: К. И. Чуковский (второй слева), И. Е. Репин (в центре), Ф. И. Шаляпин (третий справа), Николай Чуковский (на лыжах). Фото К. Буллы.

Куоккала. Февраль 1914 г.

За чтением в гостиной. Слева направо: Лидия, И. Е. Репин (в центре), К. И. и М. Б. Чуковские, Н. Б. Нордман-Северова, Николай. Куоккала. 1913 г.

И. Е. Репин и К. И. Чуковский с сыном Николаем у беседки «Храм Осириса и Исиды» в «Пенатах». Куоккала. 1912 г.

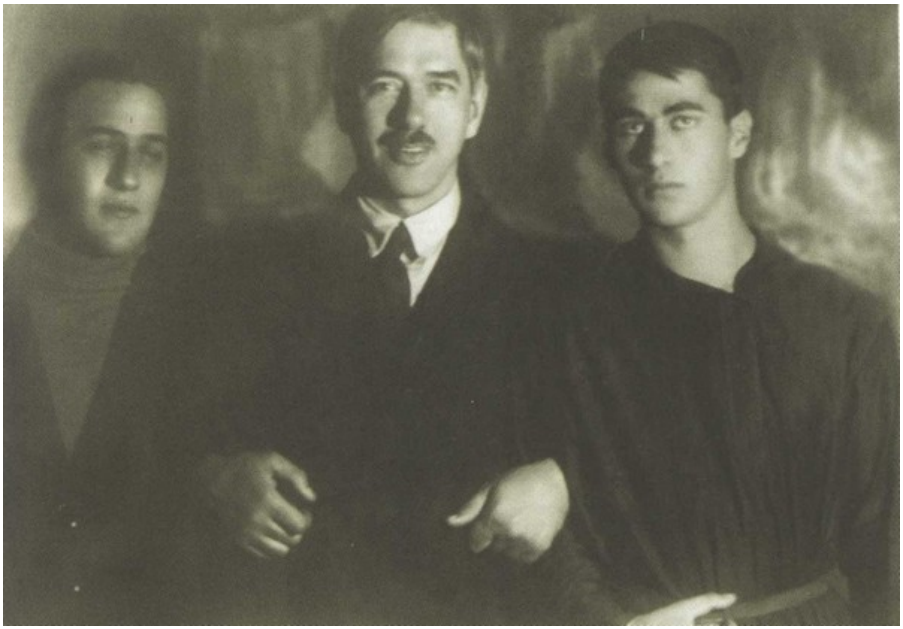
Корней Иванович с женой и сыном. Фото К. Буллы.



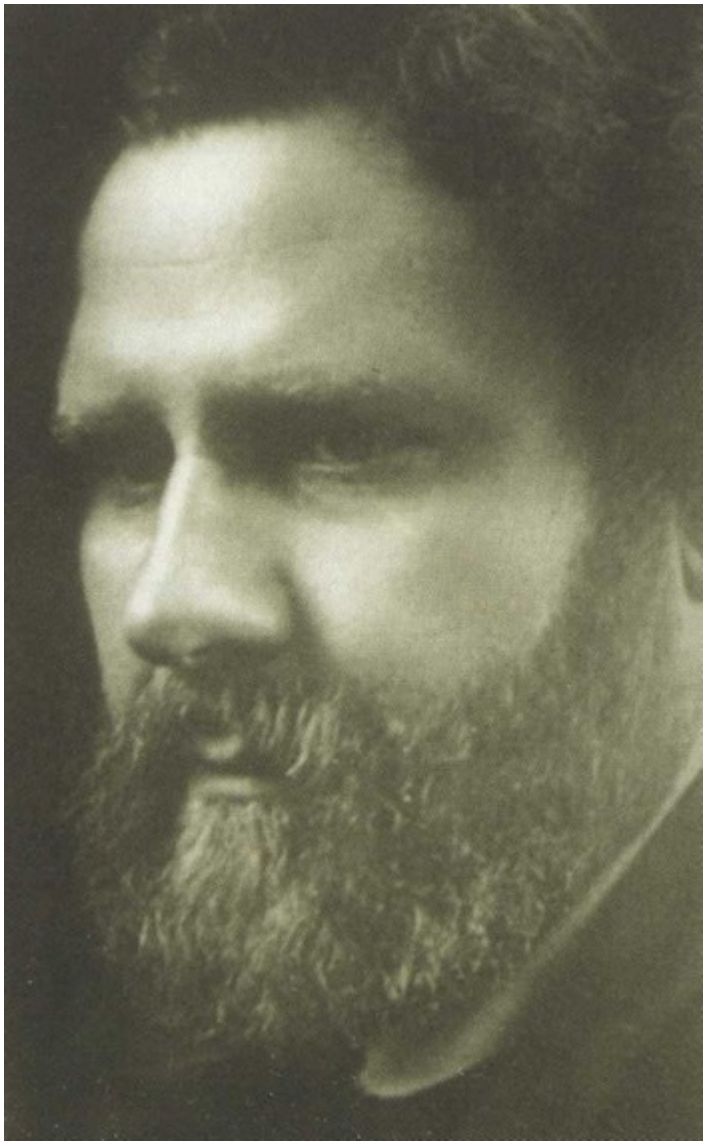
Николай Чуковский. Рисунок В. Милашевского. 1921 г.

Чествование А. М. Горького по случаю его 50-летия в издательстве «Всемирная литература». 30 марта 1919 г. Юбиляр — в центре. Перед ним на коврике сидят дети К. И. Чуковского — Лида, Боба, Коля. Среди присутствующих: А. А. Блок (в первом ряду третий справа), рядом с ним З. И. Гржебин, затем Н. С. Гумилев; К. И. Чуковский с «Чукоккалой» в руках, А. Л. Волынский (справа от него); у стены (четвертый слева) Е. И. Замятин. Фото К. Буллы.

Книги Николая Чуковского, вышедшие в 20–30-е годы.



Корней Иванович с сыновьями Николаем и Борисом. 1927 г.



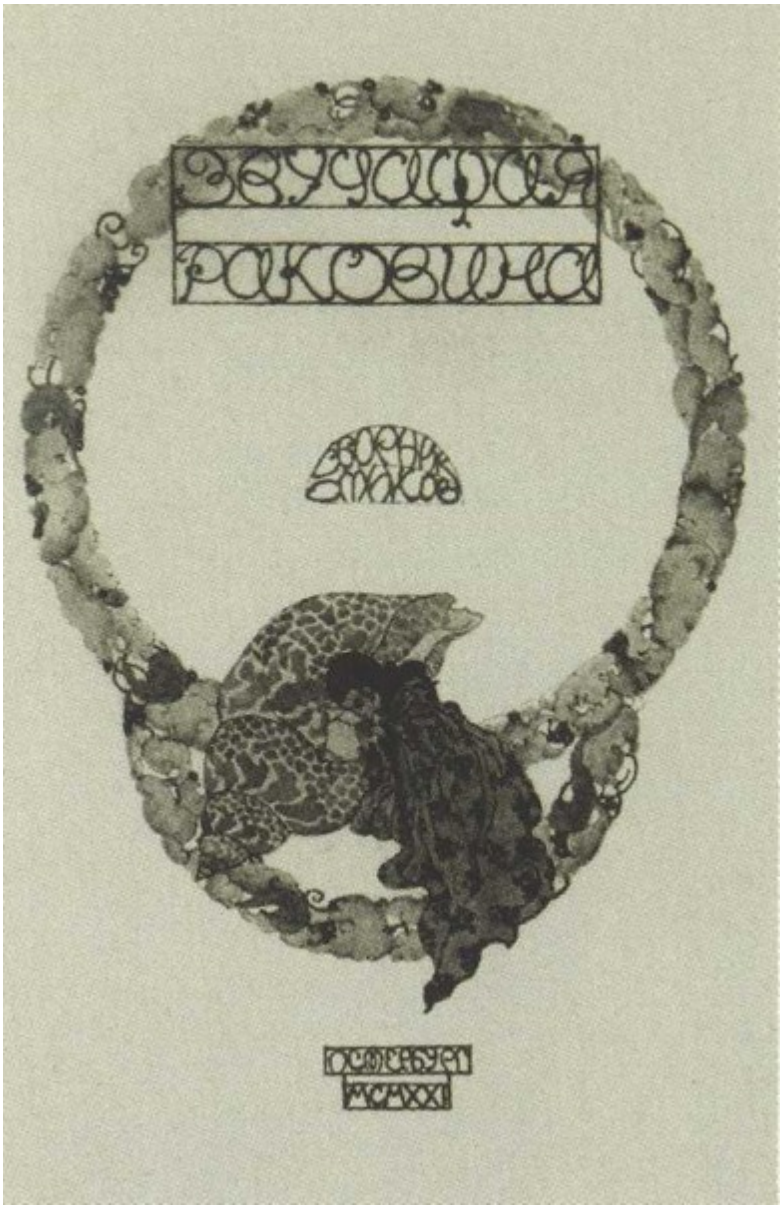
Максимилиан Волошин.

В. Ф. Ходасевич с племянницей В. М. Ходасевич (слева) и Н. А. Пешковой. Германия. Бад-Сааров. 1923 г.

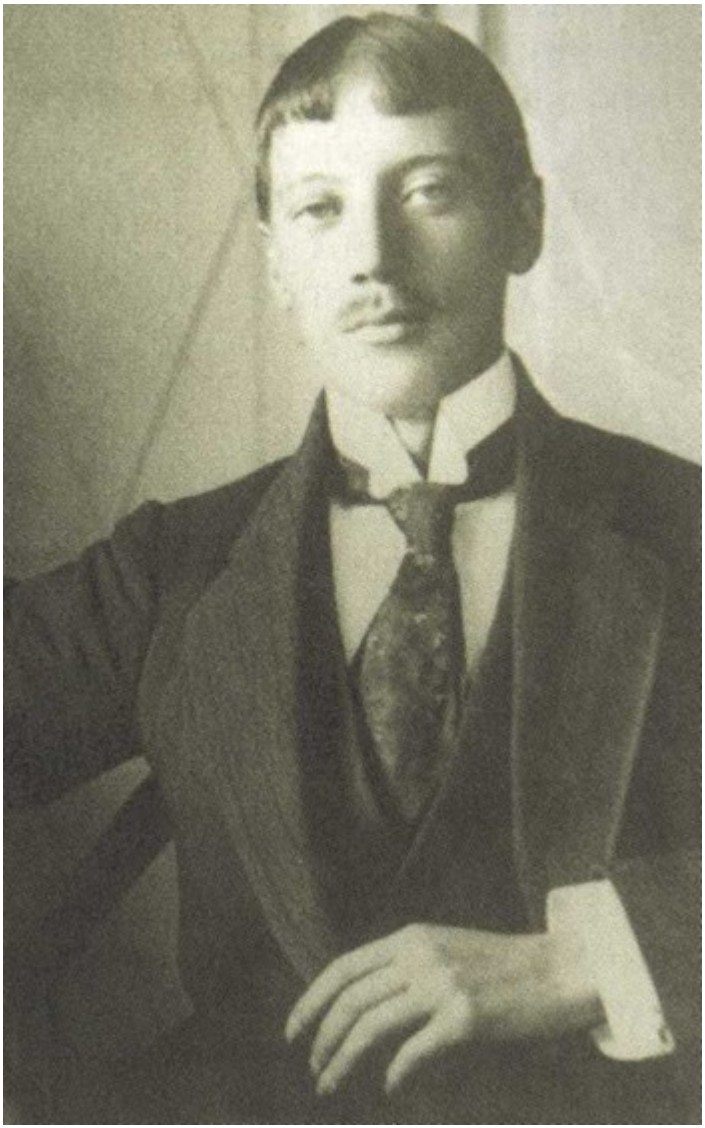
У фонтана. Слева направо: В. Ф. Ходасевич, М. И. Будберг, А. М. Горький и Н. Н. Берберова. Италия. Сан-Аньело. 1924 г.

Марина Николаевна. Фото М. Наппельбаума. 20-е гг.

Николай Корнеевич. Фото М. Наппельбаума. 20-е гг.



Обложка сборника «Звучащая раковина».



Николай Гумилев.

Осип Мандельштам.

Евгений Замятин. Рисунок В. Милашевского.

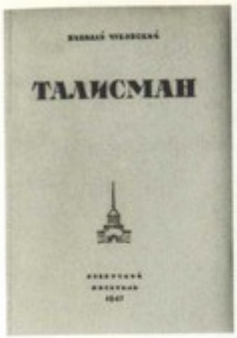
Ирина Одоевцева. Рисунок В. Милашевского.

Семья Чуковских. Сидят (слева направо): Лида, Мурочка, Марина (жена Николая), Корней Иванович с внучкой Татой (Натальей) на коленях, Мария Борисовна. Стоят: Николай и Борис Фото М. Наппельбаума. Ленинград. 1927 г.

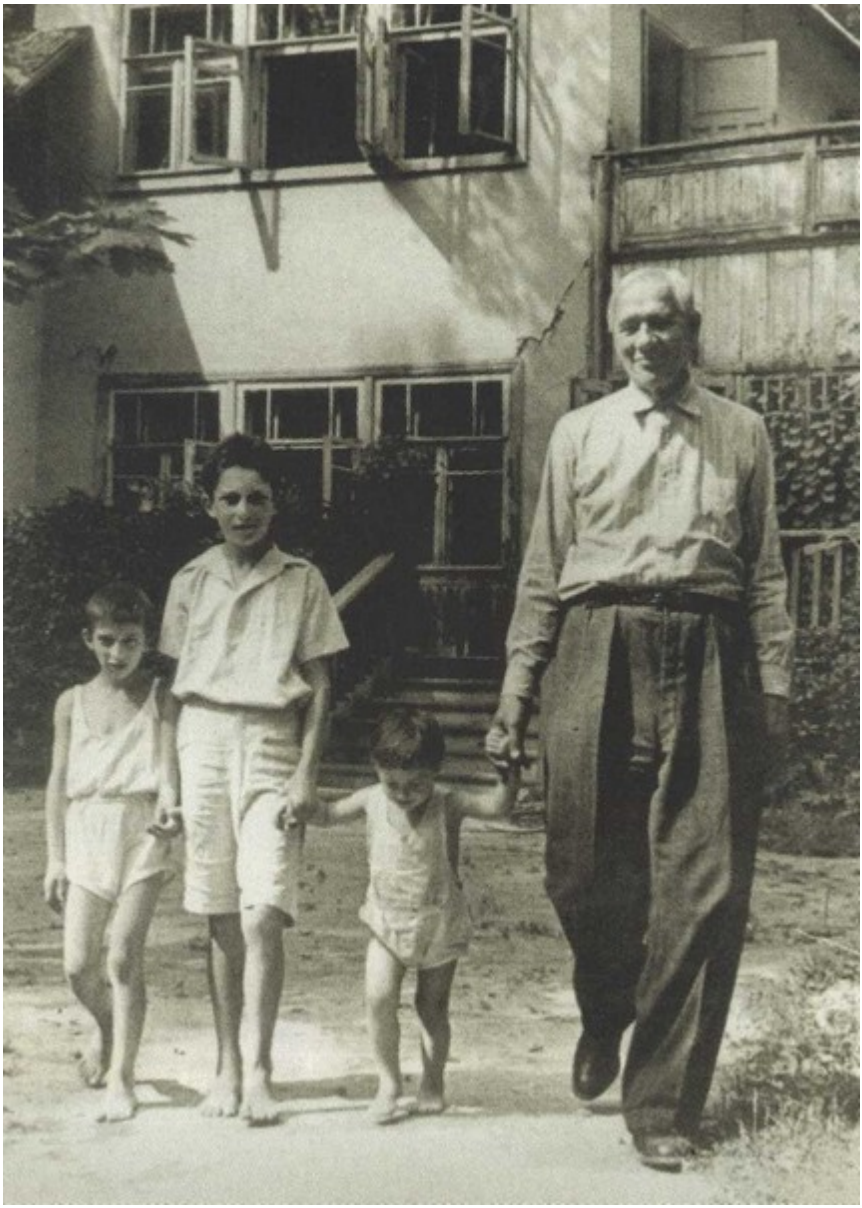
Николай Чуковский. 1944 г.

С однополчанами. Крайний слева — Н. К. Чуковский, в центре — А. К. Тарасенков. 1942 г.

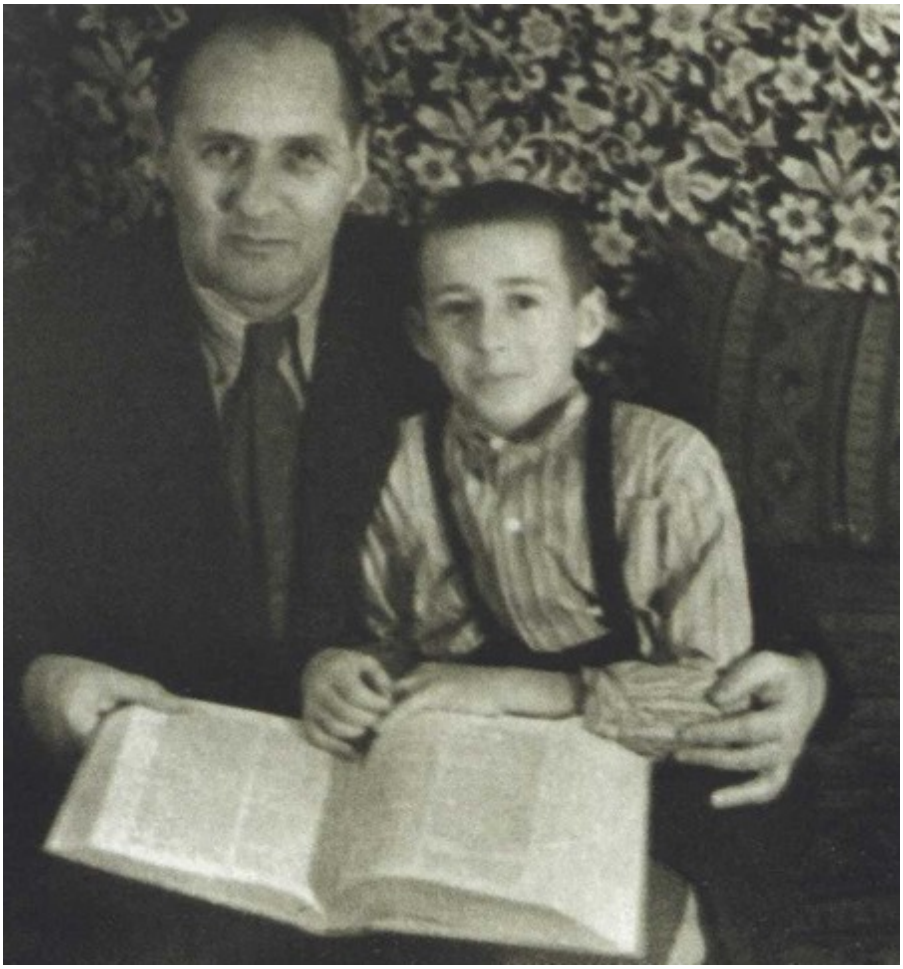
Николай Корнеевич с комиссаром авиабазы Громовским. Новая Ладога. 1942 г.



Книги Н. Чуковского, изданные в 40-е годы.



Корней Чуковский с внуками (слева направо) Евгением, Николаем и Дмитрием в Переделкине. 1946 г.



Николай Корнеевич с сыном Дмитрием. Начало 50-х гг.

На набережной Невы. Ленинград. 1955 г.

Николай Заболоцкий и Антал Гидаш. Таруса. 1954 г.

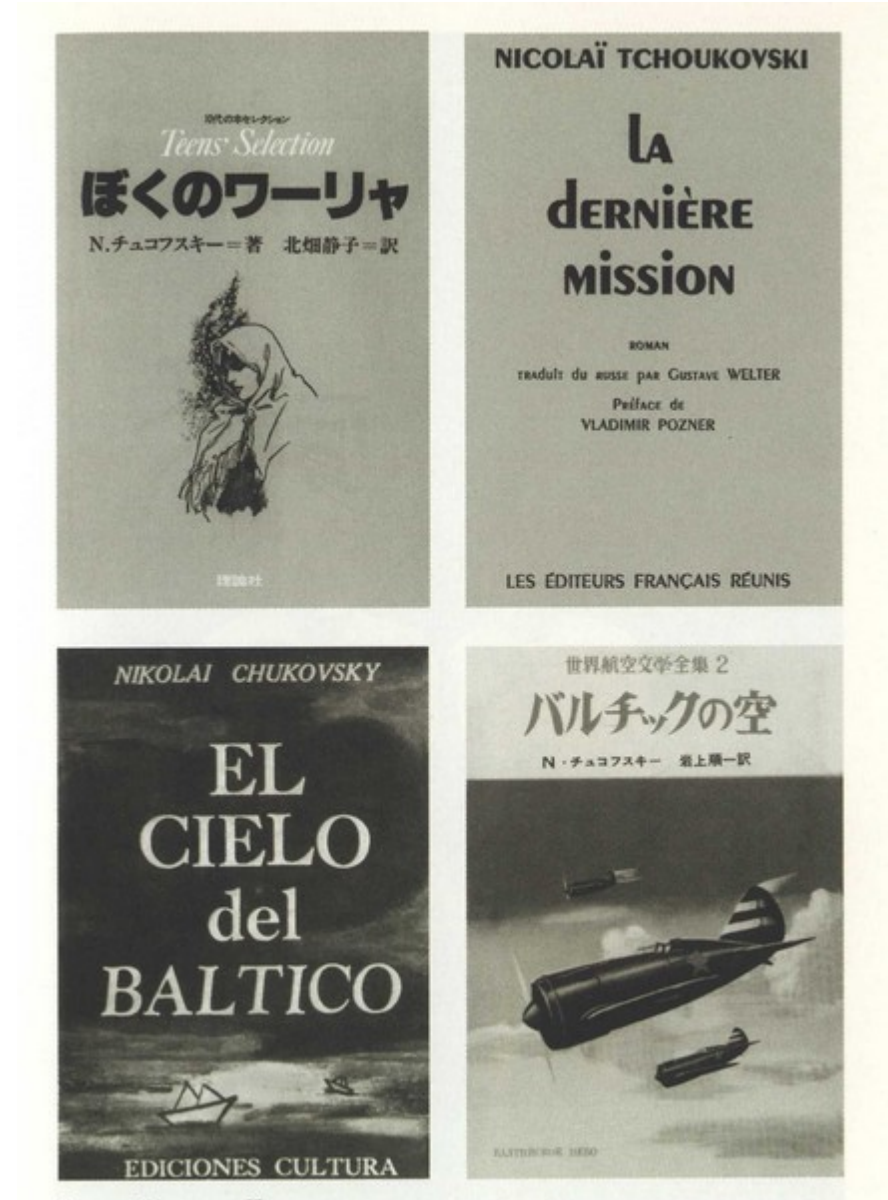
Семья Чуковских в Переделкине. Слева направо: Елена (дочь Лидии Корнеевны), Марина Николаевна (жена Николая Корнеевича), Дмитрий и Николай (сыновья Николая Корнеевича и Марины Николаевны), Николай Корнеевич, Корней Иванович и Лидия Корнеевна. Переделкино. 1956 г.

С переводчиком и поэтом Семеном Липкиным. Фото Ф. М. Наппельбаум-Миллер.

Со старым другом Вениамином Кавериным в Переделкине. Фото Н. Кочнева. 1958 г.

Писательская поездка в Ялту. Слева — Николай Чуковский, в центре — Константин Паустовский. 1959 г.

С близким другом Александром Беком.

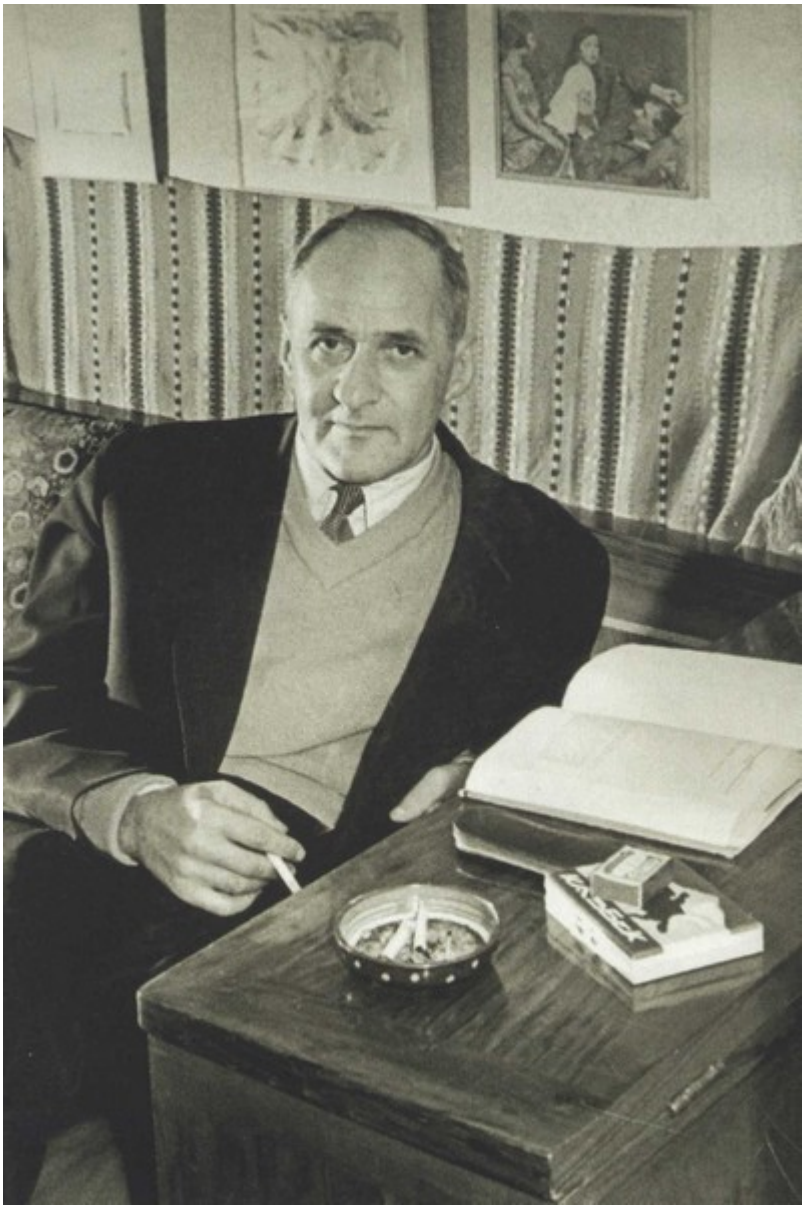


Книги Николая Чуковского, переведенные на иностранные языки.

Американская переводчица и педагог Елена Редл в гостях у Чуковских. Переделкино. 1961 г.

С Павлом Антокольским. 1963 г.

Группа писателей в Альметьевске. 1964 г.



Николай Чуковский. Фото начала 60-х гг.

На прогулке с Леонидом Рахмановым. Комарово. 1965 г.

Николай Чуковский. Рисунок В. Милашевского.

Корней Иванович с дочерью и сыном. Фото Ал. Лесса. 1957 г.

Отец и сын. 1963 г.

Корней Иванович Чуковский. Переделкино. 50-е гг.

В Переделкине. 1963 г.

notes

Примечания

1

Все литературные произведения цитируются автором по памяти. — Прим. сост.

2

Датируется по записи в дневнике от 10 июля 1921 г.: «Сегодня я написал Коле укоризненное письмо. Он зашалопайствовал. Хочу, чтоб опомнился» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 177).

3

Холомки — имение князей Гагариных в Псковской губернии, недалеко от Порхова. Князь Андрей Григорьевич Гагарин (1855–1921), математик, инженер, первый ректор Политехнического института в Петербурге, в 1905 г. спас от ареста группу студентов-революционеров. Вероятно, поэтому его имение в 1918 г. было оставлено ему в частное владение. В 1920 г. там организовалась колония петроградской художественной интеллигенции. В усадьбе с весны и до зимы жили семьи Добужинских, Радловых, Черкасовых, Чуковских, Е. И. Замятин, М. М. Зощенко, О. Э. Мандельштам, В. А. Милашевский, С. В. Нельдихен, В. А. Пяст, М. Л. Слонимский, В. Ф. Ходасевич и др. Заведующим колонией был художник Б. П. Попов, управляющей хозяйством — Е. О. Добужинская. См.: *Чуковский Н.* Холомки // *Чуковский Н.* Литературные воспоминания. М., 1989. С. 93–99.

4

Захонье — деревня, находящаяся недалеко от Холомков.

5

Речь идет о Лиде, дочери отца Сергия, местного священника, и дочери дьякона.

6

Чуковская Мария Борисовна (1880–1955).

7

Чуковская Лидия Корнеевна (1907–1996).

Чуковская Мария Корнеевна (1920–1931).

9

12 июля — день первоверховных апостолов Петра и Павла.

10

Чуковский Борис Корнеевич (1910–1941).

11

Датируется как ответ на п. 1.

12

Пьеса «Каракакула», о жизни в Холомках, была написана Н. К. Чуковским совместно с сестрой Лидой. Текст пьесы утрачен.

13

«The Woman in the Firelight» («Женщина при свете камина») — роман английской писательницы Маргариты Эванс (Marguerite Evans; 1892–1964), впервые опубликованный под псевдонимом *Oliver Sandys* (Sieve's Monthly. 1909. № 2).

14

Добужинский Всеволод Михайлович (1905–1998), сын М. В. Добужинского, в будущем художник-дизайнер.

15

Датируется, предположительно, по записи в дневнике (см. ниже).

16

6 августа 1921 г. К. И. Чуковский записал в дневник: «Коля на именинах у Б. П. Ухарского. Здесь в деревне что ни день, то именины. Мы здесь около месяца, но мы уже праздновали именины Пети, священника (отца Сергия), г-жи Добужинской, учительницы Ольги Николаевны и т. д. и т. д. Все это мне чуждо до слез, и меня иногда разъяряет, что Коля вот уже больше месяца ничего не делает, а только справляет именины полузнакомых людей. Дождь, ветер. На столе у меня Блок, D. G. Rossetti, „Cristabell“ Колриджа, „Бесы“ Достоевского — но нигде, никогда я не был так далек от литературы, как в это подлое лето. Я здесь не вижу никого, кому бы все это было хоть в малой мере нужно, а ежедневные столкновения с Анной Густавовной и прочая канитель не располагает к работе над Блоком» (Чуковский К. И. Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 178).

17

Датируется по времени пребывания К. И. Чуковского в Москве (см.: Чуковский К. И. Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 236–240).

18

«Evangeline» (1847) — поэма американского поэта Генри Уодсуорта Лонгфелло (1807–1882). Перевод Н. К. Чуковского не опубликован.

19

«АРА» (ARA, сокращение от английского American Relief Administration — «Американская администрация помощи», 1919–1923, руководитель Г. Гувер), была создана для оказания помощи странам, пострадавшим в 1-й мировой войне; в 1921 г. в связи с голодом в Поволжье ее деятельность была разрешена в РСФСР.

20

Кини (Кеепу) Спурджион Милтон (1893–1988), американский филолог, выпускник Оксфордского университета. 13 февраля 1923 г. К. И. Чуковский записал в дневник: «Очень милые многие люди в Ара, лучше всех Кини (Кеепу) <…> Узнав о голоде рус. студентов, он собрал в Америке среди Young Men Christian Association изрядное количество долларов, потом достал у евреев (Hebrew Students) небольшой капитал и двинулся в Россию, где сам, не торопясь, великолепно организовал помощь русским профессорам, студентам и т. д. Здесь он всего восемь месяцев, но русскую жизнь знает отлично — живопись, историю, литературу» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 235).

21

Возможно, речь идет о писателе *Зиновии Самойловиче Давыдове* (1892–1957).

22

Речь идет о деньгах издательства «Всемирная литература» (1918–1924), сотрудником которого был К. И. Чуковский.

23

Речь идет о сборнике стихотворений «Сквозь дикий рай».

24

Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882–1938), поэт и переводчик.

25

С 1921 по 1924 г. Н. К. Чуковский был студентом общественно-педагогического (историко-филологического) факультета Петроградского университета, но так и не закончил его. Он вспоминал: «Всю весну 1922 года прожил я в тоске и тревоге. Каждый день я ходил в Университет <…> но мне было не до ученья <…> Я сдал только половину экзаменов, и то посредственно, и остался на второй год» *(Чуковский Н. К.* Литературные воспоминания. М., 1989. С. 157, 158).

26

Датируется по времени пребывания К. И. Чуковского в Москве и фразе: «Кончу к началу апреля».

27

Дорогой папаша (от англ. dear father).

28

Н. К. Чуковский ошибается. Жена С. М. Кини — Амелия С. Кини — не была уроженкой Британских островов (Альбиона). 17 января 1923 г. К. И. Чуковский записал в дневник: «Был два дня назад у м-ра Keeny и его жены — рыжей уроженки Георгии — южного штата Америки» *(Чуковский К. И.* Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 230).

29

Голдер Франс Альфред (1877–1929), американский историк, родился в России, но в 1881 г. семья переехала в США. В 1920–1923 гг. работал в России в качестве члена АРА, в 1924 г. стал директором Гуверовской библиотеки Стэнфордского университета.

30

К письму приложены два стихотворения:

* * *

В нежном белом ореоле,
И спокойна и ясна,
Светит в бесконечном поле
Круглолицая луна.
Тучи темные напрасно
Задушить ее хотят.
И сквозь тучи светит ясно
Лунный, нежный странный взгляд.
Заколдованные тени
Мрачно по полю легли
И, как духи сновидений,
Тут касаются земли.
Жжет лицо мороз жестокий.
Под ногою хрустнул снег.
Бродит в поле одинокий
Запоздалый человек.
В бесконечной этой шири
Он так страшно одинок,
Ему кажется, что в мире
Существует он и Бог.
Снег блестящий, нежно-белый,
Тени жуткие, как сны,
А кругом разлит несмелый
Свет загадочной луны.

* * *

Что, милый? Жалки мы с тобой.
К чему шумны и резвы были?
Снег выпал. Все, что мы любили.
Укутал ровной белизной.
Брожу без радости, без дела.
Гляжу в оконное стекло…
Все, что росло, цвело и пело,

Все унеслось, все облетело.
Все безразлично и бело.
Одно бесплодное сверканье
Струит нам солнце. Время ждет
И стынет. Мерзлое дыханье
Покой природы бережет.
Но как ты счастлив, друг природы,
Коль сердцем понимаешь ты,
Что и в сугробах зреют всходы,
И подо льдом стремятся воды,
Ища любви и полноты.
И я — таков. Дано мне верить,
Что не угаснет жизнь моя.
Что здешней жизнью не измерить
Весь пышный вихорь бытия.

31

Осип Эмильевич Мандельштам (1891–1938) был одним из самых любимых поэтов Н. К. Чуковского. В «Литературных воспоминаниях» сказано: «Мандельштам читал много <…> Потом он попросил читать меня <…> Когда я прочитал все, что мог, он сказал: „Каким гуттаперчевым голосом эти стихи ни читай, они все равно плохие“. Это суждение его было окончательным. Никогда уже больше он не просил меня читать стихи» (*Чуковский Н. К.* Литературные воспоминания. М., 1989. С. 161).

Мандельштам О. Э. Tristia. Пб.; Берлин: Petropolis, 1922.

33

Асеев Н. Н. Избрань: Стихи. 1912–1922. М.; Пб.: Круг, 1923.

34

Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964) волновала судьба его стихотворных переводов из Киплинга. 27 февраля 1923 г. К. И. Чуковский записал в дневник: «Вчера сидел в Госиздате с 11 ч. до половины 5-го, наконец, подписал договор» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 238). В результате Госиздат выпустил три книги Киплинга: 1) Вот так сказки / Пер. с англ. К. Чуковского; Стихи в пер. С. Маршака. М.; Пг., 1923, 2) Рикки-Тикки-Тави / Пер. с англ. К. Чуковского; С прил. «Песни Дарзи» в пер. С. Маршака. М.; Пг., 1923, 3) Сказки / Пер. с англ. К. Чуковского; Стихи в пер. С. Маршака. М.; Пг., 1923.

35

Датируется по сопоставлению с п. 5.

36

Дорогой папа (англ.).

Книга вышла лишь через несколько лет под названием «Сквозь дикий рай» (Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1928).

38

Сладким было ее дыхание, как дыхание коров, щиплющих траву на лугу (англ.).

39

Первый альманах артели писателей «Круг» (М.; Пб., 1923).

40

Книга статей О. Э. Мандельштама «О поэзии» вышла лишь в 1928 г., в ленинградском отделении издательства «Academia», в 1922 г. в Харькове увидела свет брошюра поэта «О природе слова».

Конухес Григорий Борисович, врач.

42

Речь идет о дипломате *Мечиславе Михайловиче Добраницком* (1882–1937), его жене *Елене Карловне* (1888–1937) и их сыне *Казимире Мечиславовиче* (1906–1937).

43

Датируется по упоминанию о предстоящей женитьбе Н. К. Чуковского (бракосочетание состоялось 5 мая 1924 г.).

44

Чуковская (урожд. Рейнке) Марина Николаевна (1905–1993), переводчица.

45

Неточная цитата из «Портрета Дориана Грея» Оскара Уайльда (1854–1900). Лорд Генри, герой романа, говорит: «Женщины, как заметил какой-то остроумный француз, вдохновляют нас на великие произведения, но никогда не дают нам их создать» (*Уайльд О.* Полное собрание сочинений / Под ред. К. И. Чуковского. СПб.: А. Ф. Маркс, 1912. Т. 2. С. 79).

Цензор Дмитрий Михайлович (1877–1947), поэт.

47

Кармен — псевдоним Лазаря Осиповича Коренмана (1876–1920), репортера газет «Южное обозрение», «Народ», «Одесский листок», «Одесские новости».

48

О. Д. Д'Ор — псевдоним Иосифа (Осипа) Лейбовича (Львовича) Оршера (1879–1942), журналиста, сотрудника «Одесских новостей» и других столичных и провинциальных изданий.

49

Бокль Генри Томас (1821–1862), английский историк и социолог-позитивист. Имеется в виду покупка его книги «История цивилизации в Англии».

50

Ольгино — дачный поселок под Ленинградом, где в 1924 г. отдыхал К. И. Чуковский.

51

Познер Владимир Соломонович (1905–1992), член группы «Серапионовы братья», позднее французский писатель.

52

Арнштам Лео Оскарович (1905–1979), кинорежиссер и сценарист.

Месс Леонид Абрамович (р. 1907), скульптор.

54

Тихонов Николай Семенович (1896–1979), поэт, член группы «Серапионовы братья».

55

Лившиц Яков Борисович (1881–1942), глава издательства «Полярная звезда», для которого Н. К. Чуковский переводил в это время роман английского писателя Джорджа Бирмингема «Spanish Gold». Перевод (Чуковский назвал его «Искатель золота») опубликован не был, вероятно, из-за того, что в 1925 г. издательство «Образование» выпустило этот роман (под названием «Испанское золото») в переводе Н. Н. Щукаревой.

Полонская Елизавета Григорьевна (1890–1969), поэтесса, член группы «Серапионовы братья».

За книжку стихов «Наша кухня» (М., 1925).

58

Клячко Лев Моисеевич (1873–1934) был владельцем одного из крупнейших издательств Ленинграда — «Радуга» (1922–1930). В 1925 г. «Радуга» выпустила книжку детских стихотворений Н. К. Чуковского «Беглецы» (иллюстрации А. Лаховского).

59

Волошин Максимилиан Александрович (настоящая фамилия Кириенко-Волошин; 1877–1932), поэт.

Чехонин Сергей Васильевич (1878–1936), художник, книги Н. К. Чуковского не иллюстрировал.

61

Рейнке Мария Николаевна (1880–1959), теща Н. К. Чуковского.

Фрейд Зигмунд (1856–1939), австрийский врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа.

63

Выгодский Давид Исаакович (1893–1938), поэт и литературовед.

Ходасевич (урожд. Чулкова) Анна Ивановна (1887–1964), жена поэта В. Ф. Ходасевича.

65

Пяст Владимир Алексеевич (настоящая фамилия — Пестовский; 1886–1940), поэт.

Верховский Юрий Никандрович (1878–1956), поэт и литературовед.

67

Богданович Татьяна Александровна (1873–1942), писательница.

Шкапская Мария Михайловна (1891–1952), поэтесса.

69

Никитин Николай Николаевич (1895–1963), писатель, член группы «Серапионовы братья». Рассказ «Дэзи» был напечатан в сборнике Никитина «Рвотный форт» (М.; Пг.: Госиздат, 1922).

Белицкий Ефим Яковлевич (1895–1940), заведующий отделом управления Петросовета в 1917–1922 г., глава издательства «Эпоха», с 1922 г. заместитель заведующего Петроградским отделением Госиздата, с 1926 г. работал в системе внешней торговли.

71

Пьеса Алексея Николаевича Толстого (1883–1945) «Бунт машин» (1924) является обработкой драмы чешского писателя Карела Чапека (1890–1938) «R. U. R.» (1920). Журнал «Новый зритель» (1924. № 27. 15 июля) сообщил своим читателям: «31 июня в Народном суде разбиралось дело о переделке А. Н. Толстым пьесы Карела Чапека „РУР“. Переводчик „РУРа“ Кролль передал в прошлом году А. Толстому перевод пьесы для проредактирования. Согласно договора, Толстой, в случае постановки „РУР“ в театре, должен был уплатить Кроллю половину авторского гонорара. Кролль полагает, что „Бунт машин“ Толстого является переделкой его перевода, и требует от Толстого авторские (согласно их договора)» (цит. по: *Чуковский К. И.* Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 499).

Шкловский В. Б. Андрей Белый // Русский современник. 1924. № 2. С. 231–245.

73

Бугаев Борис Николаевич (псевд.: Андрей Белый; 1880–1934), поэт и прозаик.

74

Речь идет о кн.: *Дойл А. К.* Торговый дом «Гэрдльстон и К°».Л., 1927.

75

Дрейден Симон Давыдович (1906–1991), театральный критик. Возможно, он является автором неподписанных рекламных статей, опубликованных в 1924 г. в «Красной ниве»: «Из искры пламя» (№ 42. С. 1019), «Аэлита» (№ 42. С. 1020), «Микроб коммунизма» (№ 47. С. 1145).

76

Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846–1888), этнограф. Речь идет о его книге «Путешествия» (Т. 1. М.: Новая Москва, 1923).

77

Заболоцкая-Волошина Мария Степановна (1887–1976), фельдшер, жена М. А. Волошина с 1923 г.

78

Вероятно, речь идет об авторских экземплярах книги А. Белого «Одна из обитателей царства теней» (Л.: ГИЗ, 1924).

79

Датируется по сопоставлению с п. 8.

80

Вероятно, речь идет о повести для юношества «Танталэна» (Л.; М.: Радуга, 1925).

81

Дата и место указаны на телеграфном бланке.

Год установлен по сопоставлению с п. 8.

83

Острецов Иван Андреевич, заведующий ленинградским Гублитом.

Сапир Михаил Григорьевич, сотрудник ленинградского издательства «Кубуч» (1925–1935).

85

Горлин Александр Николаевич (1878–1938), заведующий иностранным отделом Ленгиза.

Датируется по сопоставлению с п. 13.

87

См. примеч. 74.

88

Год установлен по содержанию: 6 июля 1925 г. у Н. К. и М. Н. Чуковских родилась дочь — Наталья Николаевна Чуковская (в замужестве Костюкова).

89

«Сеятель» — частное ленинградское издательство (1922–1930), основано Е. В. Высоцким. Популярность получила выпускаемая издательством дешевая «Общедоступная библиотека» современной и классической зарубежной литературы.

90

Роман американского писателя О. Генри (настоящее имя: Уильям Сидни Портер; 1862–1910) «Короли и капуста» (1904) в переводе К. И. Чуковского впервые был опубликован в журнале «Современный Запад» (1922. № 1). В издательстве «Сеятель» «Короли и капуста» не публиковались.

91

Возможно, речь идет об Эмилии Кирилловне Пименовой (1854–1935). Роман «Короли и капуста» в ее переводе вышел в 1925 г. в издательстве «Мысль».

Уэллс Г. Новейший ускоритель / Пер. К. Чуковского. Л.: Сеятель, 1925.

Вероятно, заказа не последовало, так как в «Сеятеле» переводы Н. К. Чуковского из Марка Твена не выходили.

Речь идет о возможном переиздании в «Сеятеле» кн.: *О. Генри.* Рассказы жулика / Пер. К. Чуковского. М.; Л.: Госиздат, 1924. Переиздание не состоялось.

95

Датируется по содержанию.

Вольфсон Лев Владимирович, директор ленинградского издательства «Мысль».

97

Выполненный Н. К. Чуковским перевод романа английского писателя Стивена Грэхема «В тумане Лондона» вышел в 1927 г. в издательстве «Мысль».

Датируется по содержанию.

99

О ком идет речь, установить не удалось.

100

Вероятно, гонорар за кн.: *Дойл А. К.* Торговый дом «Гэрдльстон и К°» / Пер. Н. Чуковского; Под ред. К. Чуковского. Л., 1927.

101

Л. К. Чуковская в незавершенной книге «Прочерк» написала: «Год 1925-й. Учусь я в двух учебных заведениях сразу: с успехом приближаюсь к окончанию Стенографических Курсов и без большого интереса и весьма посредственно готовлюсь к переходу на второй — Государственных курсов при Институте Истории Искусств <…> в ночь с 26 на 27 мая 1925 года арестовали человек двадцать студентов <…> В том числе и меня. Дня через три нас всех до единого выпустили <…> меня через год — в ночь с 26 на 27 июня арестовали вторично» (Звезда. 1999. № 9. С. 87–88). Было заведено «Дело № 1363. По обвинению группы анархистов в контрреволюционной деятельности по 60 ст. уг. код.» В обвинительном заключении говорилось: «… выявлена анархо-подпольная организация в составе следующих гр-н: ШТЮРМЕР К. А., ГОЛОУЛЬНИКОВ А. Е., БОРОНИНА Е. А., ЧУКОВСКАЯ Л. К., ИВАНОВ Я. И., ИЗДЕБСКАЯ С. А., БУДАРИН И. В., ШТЮРМЕР Г. А., ЦИММЕРМАН Т. А., КОКУШИНА Т. М. МИХАЙЛОВ-ГАРИН Ф. И., ВОЛЖИНСКАЯ Н. Г., ГОЛУБЕВА А. П., СОЛОВЬЕВ В. С., КОЧЕТОВ Г. П. и САКОВА. Н.» (там же. С. 126). Постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 18 сентября 1926 г. Л. К. Чуковская была выслана в Саратов на 3 года. См. также примеч. 2 к п. 21.

102

В книге «Прочерк» Л. К. Чуковская писала: «… наконец, в центре города, на Большой Казачьей, семья Афруткиных (вдова с двумя дочерьми) согласилась сдать мне угол: стул и кровать в комнате, где жила младшая четырнадцатилетняя дочь. Водопровод, электричество, ванная. Но квартира была коммунальная <…> Афруткины вкусно и досыта кормили меня» (там же. С. 103–105).

103

Кочетов. А. Разумов в статье «Памяти юности Лидии Чуковской» пишет: «У Юрия Кочетова за плечами была гимназия, самообразование, работа в типографии <…> В 1953 году Брянское управление МГБ оформляло материалы для объявления во всесоюзный розыск Юрия Кочетова» (там же. С. 128, 131).

104

Сааков А. Н., член «анархо-подпольной организации», вместе с Л. К. Чуковской был выслан в Саратов на 3 года. А. Разумов пишет: «В 1946–1947 годах собирались материалы для повторного ареста Федора Гарина-Михайлова, Александра Саакова, Тамары Циммерман» (там же. С. 131).

105

Гликин Исидор Моисеевич. Л. К. Чуковская писала: «Друг, приютивший в 1940 году мою тетрадь — „Софью Петровну“ — зимою 1942-го умер от голода <…> Подвиг совершил Изя Гликин, Исидор Моисеевич Гликин, взявший у меня мою тетрадку на хранение, когда кое-кого стали таскать в Большой Дом в поисках „документа о 37-м“, и я решила уехать с Люшей в Москву и лечь в больницу на операцию. Хранить — вот это был подвиг. И накануне смерти от голода, в предсмертном изнурении, *пройти* с одного конца города на другой, чтобы отдать мою тетрадку сестре — вот это тоже был подвиг» *(Чуковская Л. К.* Записки об Анне Ахматовой. М., 1997. Т. 2. С. 33, 540, 541).

106

Герой романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».

107

Л. К. Чуковская писала: «…на сближение с ссыльными толкала сама жизнь. Несмотря на случайные заработки и помощь Корнея Ивановича, платить за угол на Казачьей 45 рублей мне было не по карману. В Кирочном же переулке, мы, трое ссыльных — меньшевичка Дина из Харькова и ленинградец, наборщик-анархист Юра, сняли за те же 45 общих рублей у сердитой старухи одну общую комнату» (Звезда. 1999. № 9. С. 105).

108

Домработница в семье Чуковских.

109

Позднее Л. К. Чуковская написала о себе и своих товарищах по несчастью: «Политическая программа у этих подпольщиков существовала, и даже весьма отчетливая, но основы, основы философской и нравственной я не углядела. Политическая их программа была сродни кронштадтской, то есть „Долой большевиков! Да здравствует советская власть!“, но я искала основной мысли, которая озарила бы мой путь <…> Зимою двадцать пятого — двадцать шестого года, посетив подпольное собрание один-единственный раз, я перестала ходить туда» (там же. С. 93, 94).

110

Письмо не сохранилось.

111

Дата и место — по почт. шт.

112

«Детство Темы» — повесть Николая Егоровича Гарина-Михайловского (1852–1906).

113

Ионов Илья Ионович (настоящая фамилия Бернштейн; 1887–1942), издательский работник, в это время заведующий Госиздатом. Он только что вернулся из поездки в Америку.

114

Повесть Н. К. Чуковского впервые была опубликована отдельным изданием — «Разноцветные моря» (М.; Л.: Госиздат, 1928).

115

Год установлен по связи с п. 19.

116

Боронина Екатерина Алексеевна (1908–1955), детская писательница. Л. К. Чуковская вспоминала: «Аресту предшествовала моя жизнь с Катюшей Б. Родители мои сняли на лето дачу <…> Жила я одна в пустой большой квартире. Вздумала пригласить Катюшу пожить у меня <…> На первом же допросе следователь Леонов предъявил мне воззвание рабочих, перестуканное на машинке Корнея Ивановича. Я видела воззвание впервые. Но неизвестно мне было, арестована ли Катюша? <…> На всякий случай я не опровергала обвинения. „Да, переписывала листовку я“ <…> Когда перевели меня из одиночки в общую и там я встретилась с Катюшей (которая, как оказалось, была арестована в ту же ночь, что и я), — мне стало понятно, почему следователь настаивал, будто я была там, где меня не было. Катюша на первом же допросе призналась, что это она перепечатала листовку на машинке Корнея Ивановича, а я ни при чем, даже не читала текста» (Звезда. 1999. № 9. С. 94, 96).

117

Шатуновский Яков Моисеевич (1876–1932), приятель К. И. Чуковского, заведующий кафедрой математики в Институте красной профессуры, член партии с 1907 г., его друзьями были многие влиятельные партийные деятели 20-х годов.

118

Хлопоты увенчались успехом. Л. К. Чуковская вспоминала: «12 сентября 1927 года т. Нестеров командировал за мною некую личность с предписанием явиться немедленно. Явилась. 24 часа на сборы. „Вот вам билет. Выедете завтра, 13-го. Вас вызывают в Ленинград на дополнительное расследование вашего дела“» (там же. С. 111). В конце концов, благодаря поручительству М. М. Литвинова и Я. М. Шатуновского, удалось добиться того, что 6 января 1928 г. Особое совещание, во изменение предыдущего постановления, досрочно освободило Л. К. Чуковскую от наказания.

119

Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864), поэт. Л. К. Чуковская писала о своей жизни перед арестом и ссылкой: «Утро провожу в Публичной библиотеке: готовлю реферат об Аполлоне Григорьеве для одного из институтских семинаров» (там же. С. 87).

120

Н. К. Чуковский говорит о своих повестях для детей «Приключения профессора Зворыки» (1926) и «Капитан Джемс Кук» (1927).

121

Месс Л. А.

Рейнке М. Н.

123

Дата и место — по почт. шт.

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

125

Бухарин Николай Иванович (1888–1938) в то время был членом Политбюро ВКП(б).

126

Калинин Михаил Иванович (1875–1946) в то время был председателем ЦИК СССР.

127

Горохов Л. Б., главный редактор ленинградского отделения Госиздата.

128

Повесть Н. К. Чуковского была прочитана в рукописи. Впервые она была напечатана, отдельным изданием, в следующем году — *Чуковский Н. К.* Русская Америка. М., Л.: Госиздат, 1928.

129

Речь идет о романе для детей «В семье» (1893, рус. пер. 1898) французского писателя Гектора Мало (1830–1907).

130

Мельман Рувим Лазаревич, сотрудник издательства «Радуга». 10 марта 1926 г. К. И. Чуковский записал в дневник: «Сейчас я вывел на чистую воду Рув. Лазаревича Мельмана, правую руку Клячко. Этот субъект водит меня за нос две недели, обещая мне каждый день следуемые мне деньги <…> Позвонил сегодня Мельману; узнав, что это я, отвечают: „Уже ушел!“ Тогда я попросил Лиду сказать по телефону Мельману, что его зовут из Госбанка. Он моментально оказался дома» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1901–1929. М.,1991. С. 381).

131

За книгу «Приключения Крокодила Крокодиловича» (на обложке: «Крокодил»). Она вышла в издательстве «Круг» двумя изданиями — в 1926 и 1927 гг.

132

Некрасов Н. А. Полное собрание стихотворений / Пред., ред. и примеч. К. Чуковского; Крит, очерк И. Кубикова. М.;Л.: Госиздат, 1927.

133

Панаева А. Я. Воспоминания, 1824–1870 / Пред., ред. и примеч. К. Чуковского. Л.: Academia, 1927.

134

Дата и место — по почт. шт.

135

Датируется по фразе: «…в Сестрорецк должен на днях прибыть Луначарский».

136

Ангерт Давид Николаевич (1893–1977), заведующий редакционным отделом ленинградского отделения Госиздата.

137

Бернет Фрэнсис Элиза (1849–1924), американская писательница, автор романа «Маленький лорд Фаунтлерой».

138

Джемисон Цецилия Вейт (1844–1909), американская писательница, автор повести «Леди Джэн».

139

Олкотт Луиза Мэй (1832–1888), американская писательница.

140

«В семье», «Без семьи» — романы для детей французского писателя Г. Мало.

141

Речь идет о повестях Н. К. Чуковского «Разноцветные моря» и «Танталэна».

142

Штейман Евгений Борисович, в будущем инженер-металлург, друг Б. К. Чуковского.

143

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933), в это время нарком просвещения, приехал в Сестрорецк в начале августа 1927 г. 5 августа К. И. Чуковский записал в дневник: «Вчера был у Луначарского <…> Он полулежал на диване, я (босиком) постучал прямо к нему: „Войдите!“ Только что прочитал мою „Панаиху“. — Ну не жалуете же вы Тургенева. Мне эту книжку принес Иосиф Уткин. Ему нравится, что там столько сплетен <… > Я очень рад, что выходит ваш „Некрасов“. Мне как раз нужно написать о нем для Вячеслава Полонского <…> Мы заговорили о детских книгах. — Идиотская политика, которой я, к сожалению, не могу помешать. Теперь Лилина взяла в свои руки урегулирование этого дела» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 405, 406).

144

Год установлен по почт. шт. на конверте.

145

Корнейчукова Екатерина Осиповна (1856–1931), мать К. И. Чуковского.

146

Корнейчукова (в замужестве Лури) Мария Васильевна (1879–1934), сестра К. И. Чуковского.

147

Коля и Катя — дети М. В. Корнейчуковой, племянники К. И. Чуковского.

148

Место и дата — по почт. шт.

149

К. И. Чуковский повторяет слова своей внучки. Е. Л. Шварц, ее крестный отец, подарил Н. Н. Чуковской свою книжку «Война Петрушки и Степки-Растрепки» (Л., 1925). Девочка однажды, увидев на потолке трещину, по своим очертаниям похожую на изображение мальчика, помешенное на обложке подаренной ей книги, сказала: «Степочка полез на потолок».

150

Коварский Николай Аронович (1904–1974), киносценарист. Его отец — Коварский Арон Осипович (1874 —?), фармацевт.

151

Гроссман Леонид Петрович (1888–1965), писатель и литературовед.

152

Тихонов Александр Николаевич (1880–1956), писатель, издательский работник.

153

Дата и место — по почт. шт.

154

Л. К. Чуковская ездила в Киев на торжества, посвященные 115-летию со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко (1814–1861).

155

Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958), писатель.

156

Лившиц Бенедикт Константинович (настоящее отчество — Наумович; 1886–1938), поэт.

157

Стенич Валентин Иосифович (настоящая фамилия — Сметанич; 1898–1938), поэт, переводчик. О нем см.: *Чуковский Н. К.* Милый демон моей юности // *Чуковский Н. К.* Литературные воспоминания. М., 1989. С. 211–244.

Олеша Юрий Карлович (1899–1960), писатель.

159

Блок Георгий Петрович (1888–1962), главный редактор ленинградского издательства «Время», автор повести «Рождение поэта» (Л., 1924) и романа «Одиночество» (Л., 1929).

160

Дата и место — по почт. шт.

161

«Недоноски» — первоначальное название романа «Юность». Он впервые вышел отдельным изданием: Чуковский Н. К. Юность. Л., Издательство писателей в Ленинграде, 1930. 2-е изд.: Л., 1934.

162

Козаков Михаил Эммануилович (1897–1954), писатель.

163

Речь идет о журнальной публикации: Чуковская Л. Тарасова беда // Еж. 1928. № 2. Позднее вышло отдельное издание: Чуковская Л. Повесть о Тарасе Шевченко. М.; Л., 1930.

164

В связи с публикацией романа «Мы» (1920) Евгения Ивановича Замятина (1884–1937) в пражском журнале «Воля России» критики «Литературной газеты» и «Комсомольской правды» в конце августа 1929 г. обвинили писателя в сотрудничестве с белоэмигрантской прессой и в очернении советского строя. В ответ на развернувшуюся против него кампанию Замятин вышел из Союза писателей и написал заявление с просьбой разрешить ему уехать за границу. В ноябре 1931 г. ему с женой было разрешено выехать из России.

165

Речь идет о ленинградском издательстве «Радуга» (1922–1930), имевшем отделение в Москве. Как и все частные издательства, оно в это время было поставлено руководством страны в тяжелые условия и вскоре было вынуждено прекратить свою деятельность. В 20-е гг. в «Радуге» издавались детские книги К. И. и Н. К. Чуковских.

166

Датируется по почт. шт. на конверте: «27.9.30. Ленинград», с учетом того, что тогда письма из Алупки в Ленинград шли 4 дня.

Надежды на выздоровление не оправдались. М. К. Чуковская умерла в Алупке 10 ноября 1931 г.

168

Изергин Петр Васильевич, врач в санатории «Бобровка».

169

Вишневский Всеволод Витальевич (1900–1951), писатель.

Либединский Юрий Николаевич (1898–1959), писатель.

171

«Танталэна», «Один среди людоедов», «Навстречу гибели», «Капитан Джемс Кук» — произведения Н. К. Чуковского.

172

Гуфиза — домашнее прозвище Ирины Николаевны Рейнке, сестры М. Н. Чуковской.

173

В 1930 г. Л. К. Чуковская вышла замуж за литературоведа *Цезаря Самойловича Вольпе* (1904–1941).

174

Копылов Федор Александрович (1892 —?), врач, лечивший Муру в Ленинграде, автор книг для детей: «Клуб любознательных» (М.; Л., 1932), «Рассказы о хирургах» (М.; Л., 1948).

175

Дата и место — по почт. шт.

176

Лаганский Еремей Миронович (1887–1942), очеркист, сотрудник ленинградского отделения «Красной нивы» и «Известий».

177

Высоковский Константин Игнатьевич (1896–1967), поэт.

178

ФОСП — Федерация объединений советских писателей. Была образована 27 декабря 1926 г. на учредительном собрании, созванном Всероссийской ассоциацией пролетарских писателей (ВАПП), Всероссийским обществом крестьянских писателей (ВОКП) и Всероссийским союзом писателей (ВСП). В связи с постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» ФОСП, как и другие литературные организации, прекратила свое существование.

179

Веронский Александр Константинович (1884–1937), критик, в 1921–1927 гг. редактор журнала «Красная новь», одновременно возглавлял издательство «Круг», затем работал в Гослитиздате.

180

Тагер Елена Михайловна (1895–1964), прозаик, переводчица.

181

«Бородуля» — повесть К. И. Чуковского, печаталась под псевдонимом «Такисяк» в вечерних выпусках «Красной газеты» с 15 мая по 25 июня 1926 г. К замыслу написать на основе «Бородули» произведение для детей К. И. Чуковский возвращался в течение нескольких лет, но он так и остался неосуществленным.

182

Дата и место — по почт. шт.

183

Возможно, *Нерадов Георгий Борисович* (настоящая фамилия — Шатуновский; 1882–1972), литератор. В Малом Черкасском переулке (дом № 3/4) находилась редакция газеты «Комсомольская правда».

184

Чагин Петр Иванович (настоящая фамилия — Болдовкин; 1898–1967), издательский работник.

185

У М. Н. Чуковский в апреле 1931 года умер брат — Николай Николаевич Рейнке. И. Н. Рейнке (Фефа) после окончания Ленинградского педагогического института была направлена на работу в Прокопьевск Кемеровской области, где заразилась клещевым энцефалитом.

186

См.: Чуковский Корней, Чуковская Лидия. Переписка: 1912–1969. М.,2003. С. 133–136.

187

В письме без даты К. И. Чуковский просил своего младшего сына: «Плату за квартиру, я думаю, можно внести не деньгами, а чеками ГИЗа или вообще какими-нибудь бумажками, свидетельствующими о том, что наши должники нам не уплатили <…> Что делать с бабушкой? Если даже ты пошлешь ей — из моих денег — 50 р., она их не получит, или получит после долгой волокиты. А между тем, я вижу, по твоим словам, что они голодают. Не послать ли им из Питера продуктов? Знаю, что ты очень занят, что у тебя нет времени даже прочитать это письмо, но, милый, я привык видеть в тебе надежного и крепкого помощника» (личный архив Д. Н. Чуковского).

188

Датируется по содержанию.

Детско-юношеское государственное издательство.

190

Савельев Леонид Савельевич (настоящая фамилия — Липавский; 1904–1941), поэт, прозаик, философ.

191

Датируется по фразе: «Пайкину и Зильбершеру я послал нахлобучку».

192

Хаггард Генри Райдер (1856–1925), английский писатель.

193

В архиве Н. К. Чуковского сохранился конверт от этого письма, посланного из Алупки 27 апреля 1931 г., с адресом: «Ленинград. Проспект 25 октября, 2. Ленотгиз. Дом книги. Финансовая часть. Г. М. Зильбершеру или Пайкину». Из штампа на конверте — «Ленотгиз 4 мая 1931 г.» — видно, что письмо дошло по назначению и только позднее конверт от него оказался у Н. К. Чуковского. Л. Р. Пайкин — заведующий, а Г. М. Зильбершер — сотрудник финансовой части Ленинградского отделения Государственного издательства.

194

Ямпольский Исаак Григорьевич (1902/1903–1991), литературовед.

195

В США Н. К. Чуковский не поехал.

196

Дата и место — по почт. шт.

197

3 декабря 1931 г. К. И. Чуковский записал в дневник: «Колино положение такое. Он написал в течение прошлой зимы роман „Собственность“. Многие куски романа ему удались — и общий тон превосходный, но есть в романе какой-то идеологический изъян, т. к. 5 или 6 редакций, одна за другою, отвергают его. Раньше всего роман был принят к напечатанию в журнале „Ленинград“ и приобретен для отдельного издания „Ленинградским издательством писателей“. Потом у изд-ства писателей его оттягал ГИХЛ, которому роман очень понравился. Коля ликовал. Это давало ему 400 р. за печатный лист <…> И вот все полетело. „Ленинград“ перешел в другие руки, к раппам или лаппам, и попутчики из него были изгнаны. ГИХЛ, прежде руководимый Чагиным, тоже получил другого командира. Коле вернули роман. Он отвез его в Москву. Там к роману отнеслись очень тепло, особенно в „Новом мире“ — хотя думали, что это мой роман (чего Коля не знает). Но в ГИХЛе его прочитал Корнелий Зелинский — и написал о нем убийственную рецензию» *(Чуковский К. И.* Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 40, 41). Роман опубликован не был.

198

Коц Валентина Александровна, знакомая Л. К. Чуковской.

199

Стихотворения Каролины Карловны Павловой (1807–1893) в издательстве «Academia» не выходили.

200

Сергеев-Ценский Сергей Николаевич (настоящая фамилия — Сергеев; 1875–1958), писатель, жил в Алуште.

201

Поэт М. А. Волошин жил в Коктебеле.

202

В прошлом начальник Главлита, *Павел Иванович Лебедев-Полянский* (настоящая фамилия — Лебедев; 1881/82–1948) был (совместно с А. В. Луначарским) редактором 2-го тома «Очерков по истории русской критики» (М.; Л., 1931).

203

Невский Владимир Иванович (настоящая фамилия и имя Кривобоков Феодосий Иванович; 1876–1937), партийный и государственный деятель, историк.

Стенич В. И.

205

Дата и место — по почт. шт.

206

Шатуновская Генриетта Соломоновна (1888–1935), жена Я. М. Шатуновского. Нередко, приезжая в Москву, Чуковские останавливались у Шатуновских.

207

Речь идет о рукописи подготавливаемого К. И. Чуковским для издательства «Academia» двухтомника сочинений Василия Алексеевича Слепцова (1836–1878). Издание увидело свет в 1932–1933 гг.

208

Ежов-Беляев Иван Степанович (1880–1959), литературовед, в 1929–1933 гг. заместитель заведующего издательством «Academia».

209

Воронов Михаил Алексеевич (1840–1873), писатель. 3 декабря 1931 г. К. И. Чуковский записал в дневник: «Правлю повесть Воронова „Детство“. Удивительно неровная вещь» *(Чуковский К. И.* Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 420). В 1932 г. в издательстве «Молодая гвардия» вышла подготовленная К. И. Чуковским книга Воронова «Хуже собаки». В нее вошли повести «Мое детство», «Тяжелые годы».

В «Academia» этот замысел не был реализован. Книга вышла в другом издательстве — *Чуковский К. И.* Люди и книги шестидесятых годов: Статьи и материалы. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1934.

211

Уитмен У. Избранные стихотворения / Пер. и крит. биогр. очерк К. Чуковского; Вступ. статья А. Луначарского. М.; Л.: ГИХЛ, 1932.

212

Казин Василий Васильевич (1898–1981), поэт, с 1931 по 1940 г. работал редактором Государственного издательства художественной литературы.

213

Все началось с отрицательной рецензии Н. К. Крупской на книгу К. И. Чуковского «Крокодил: Поэма для маленьких детей» (М.: Круг, 1927), опубликованной 1 февраля 1928 г. в газете «Правда». Затем была ее же рецензия на книгу К. И. Чуковского «Маленькие дети» (Л., Красная газета, 1928), напечатанная в журнале «На путях к новой школе» (1929. № 4, 5). Результатом этих выступлений стал запрет на издание детских книг К. И. Чуковского, поскольку Н. К. Крупская возглавляла тогда Комиссию по детской книге ГУСа. Подробнее см.: *Чуковская Е. Ц.* Борьба с «Чуковщиной» // Горизонт. 1991. № 3, а также раздел «Борьба с Чуковщиной» во втором томе Собрания сочинений К. И. Чуковского (М., 2001. С. 601–630).

214

См. примеч. 197.

215

Полонский Вячеслав Павлович (настоящая фамилия — Гусин; 1886–1932), критик, в это время главный редактор журнала «Новый мир».

Смирнов Николай Павлович (1898–1978), писатель, критик.

Катаев Иван Иванович (1902–1937), писатель.

Чумандрин Михаил Федорович (1905–1940), писатель.

219

Старчаков Александр Осипович (1892–1937), писатель.

Лядова Вера Натановна (1900–1993), заведующая сектором детской литературы издательства «Молодая гвардия».

221

Речь идет о повести Н. К. Чуковского «Путешествие капитана Крузенштерна» (1930).

222

Гисин Соломон Николаевич, заведующий Детским отделом Ленинградского отделения Госиздата.

223

Кетлинская Вера Казимировна (1906–1976), писательница, в 1929–1931 гг. работала редактором в Госиздате.

224

6 августа 1931 г. родилась Елена Цезаревна Чуковская, дочь Л. К. Чуковской и Ц. С. Вольпе.

225

Дата и место — по почт. шт.

226

Соловьев Василий Иванович (1890–1938), заведующий Госиздатом.

227

Дата и место — по почт. шт.

228

«Желтая страна» — первоначальное название книги К. И. Чуковского «Солнечная» (М.: Молодая гвардия, 1933).

229

Стенич В. И.

Бок Евгений Александрович (1896 —?), хирург.

Вольпе Флора Яковлевна, свекровь Л. К. Чуковской.

232

Датируется по сопоставлению с письмом К. И. Чуковского к Л. К. Чуковской от 24 сентября 1931 г. (Чуковский Корней, Чуковская Лидия. Переписка: 1912–1969. М., 2003. С. 161, 162).

233

Вероятно, речь идет о повести «Тоня» (Звезда. 1932. № 7).

234

Речь идет об отдельном издании романа американского писателя Джона Дос Пассоса (1896–1970) в переводе В. Стенича. Книга вышла в Москве в ГИХЛе в октябре 1931 г. и вскоре была послана К. И. Чуковскому — см. п. 48.

235

Дата и место — по почт. шт.

236

Речь идет о книге рассказов канадского писателя Эрнеста Сетона-Томпсона (1860–1946) «Животные-герои» (М.; Л., 1929), вышедшей под редакцией Н. К. Чуковского.

237

Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776–1822), немецкий писатель. Речь, по всей видимости, идет о его «Собрании сочинений» (Т. 1–7. М., 1929–1930; не закончено).

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

239

См. примеч. 210.

240

См. примеч. 211.

241

Имя знакомой К. И. Чуковского, которая помогала ухаживать за Мурой.

242

Дата и место — по почт. шт.

243

5 ноября 1931 г. К. И. Чуковский записал в дневник: «Вчера мы получили письмо от Коли [оно не сохранилось. — *Е. Н.*]: у Лиды — скарлатина» *(Чуковский К. И.* Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 30).

244

См. примеч. 234.

245

Вагинов Константин Константинович (1899–1934), поэт и прозаик. Н. К. Чуковский вспоминал: «Помню, много раз ездили мы с ним вместе на завод электроламп „Светлану“ <…> Все заводские организации — партком, завком — были в руках у женщин, и дух мягкой женственности, девичества, царивший на заводе, чрезвычайно нравился Вагинову» (Чуковский Н. К. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 197).

Дата и место указаны на телеграфном бланке.

247

Дата и место — по почт. шт.

248

Имеется в виду фининспектор. 4 марта 1932 г. К. И. Чуковский записал в дневник: «…каково Марии Борисовне после всего, что она пережила, гонять в виде отдыха по финотделам и канцеляриям!» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 50).

249

В «Огоньке» (1931. № 7. С. 14) был опубликован выполненный К. И. Чуковским перевод стихотворения Уитмена «Пионеры! Пионеры!» со статьей «Предтеча революционных поэтов: К 75-летию „Листьев травы“ Уота Уитмена».

250

В журнале «Молодая гвардия», по всей видимости, предполагаемая публикация не состоялась.

251

В «Литературном наследстве» со своими комментариями и послесловием К. И. Чуковский опубликовал «Сцены в полиции» В. А. Слепцова (Литературное наследство. М., 1932. Т. 3. С. 160–166).

252

Халатов Арташес (Артемий) *Багратович* (1894–1938), председатель правления Госиздата РСФСР и председатель Объединения государственных книжно-журнальных издательств РСФСР.

253

Возможно, речь идет о пьесе «Морской охотник». Ее сокращенный и переработанный вариант был позднее опубликован в сборнике «Пионерский театр» (М., 1946. С. 53–76).

Дата и место — по почт. шт.

255

Берзин Юлий Соломонович (1904–1938?), писатель.

256

Волин Борис Михайлович (настоящая фамилия — Фрадкин; 1886–1957), в 1931–1935 гг. начальник Главлита. 3 апреля 1932 г. К. И. Чуковский записал в дневник: «Сегодня я уезжаю в Ленинград. Успехи мои здесь таковы: Волин разрешил мне книжку моих детских стихов для взрослых в 4000 экз., я сдвинул свою книжку „Уолт Уитмэн“ <…> Впервые по-настоящему познакомился с Москвой <…> читал вчера в Радио дважды своего „Мойдодыра“ — с огромным успехом» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 59).

257

Дата и место — по почт. шт.

258

Слухи о болезни Горького (настоящая фамилия и имя — Пешков Алексей Максимович; 1868–1936) возникали то и дело. В это время особого ухудшения состояния здоровья писателя не было.

259

Вероятно, речь идет о разногласиях Н. К. Чуковского с издательством «Молодая гвардия» по вопросу выплаты гонорара за книгу «Остров Кильдин» (М.; Л., 1931), написанную в соавторстве с Г. Куклиным и С. Спасским.

Жукова Лидия Львовна (1905–1985), друг Н. К. и М. Н. Чуковских, соавтор Л. К. Чуковской по книге «Слово предоставляется детям» (Ташкент, 1942).

261

Дата и место — по почт. шт.

262

В декабре 1931 г. К. И. Чуковский написал Горькому: «По Вашему совету, я принялся за борьбу с нашими литературными неряхами. Первое место редактору ГИХЛа — Кирееву. Я сию минуту закончил небольшой фельетон о нем, который направляю в „Лит<ературную> газету“. Но так как у меня нет ни малейшей уверенности, что этот фельетон напечатают, посылаю Вам копию» (М. Горький и его эпоха: Материалы и исследования. М., 1995. Вып. 4. С. 247), но ответа не получил.

263

Вероятно, «Барышня» (первоначальное название «Берег», под которым повесть была опубликована в № 2–3 журнала «Литературный современник» за 1933 г.).

264

См. примеч. 233.

Слепцов В. А. Сочинения: В 2-х т. / Ред., статьи и коммент. К. Чуковского. Т. 1. М.; Л., 1932.

Миклашевская Ирина Сергеевна (1883–1956), композитор.

267

Письмо И. Е. Репина в журнале «Литературный современник» опубликовано не было. Восемь писем художника к себе К. И. Чуковский напечатал позднее в журнале «Искусство» (1936. № 5. С. 81–103).

268

Никитина (урожд. Гацкевич) Зоя Александровна (1902–1973), секретарь «Издательства писателей в Ленинграде». Вероятно, речь идет о материалах книги К. И. Чуковского «Люди и книги шестидесятых годов» (Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1934).

269

Дата и место — по почт. шт.

270

Речь идет о предстоящем издании: *Стивенсон Р.* Остров сокровищ / Пер. Н. Чуковского; Под ред. К. Чуковского. М.: Детгиз, 1935.

271

Речь идет о «Книге джунглей» английского писателя Р. Киплинга. Н. К. Чуковский это произведение не переводил.

Н. К. Чуковский от этого предложения отказался.

273

Речь идет о подписании договора на перевод для издательства «Academia» какого-то произведения английского писателя Джона Вильсона (1785–1854). Вероятно, договор подписан не был. В «Academia» сочинения Вильсона не выходили. Н. К. Чуковский его произведения не переводил.

Васильев Павел Николаевич (1910–1937). К этому времени у поэта не было опубликовано ни одного сборника, лишь отдельные стихотворения увидели свет на страницах периодической печати.

Чуковский Николай Николаевич (р. 1932), сын Н. К. Чуковского.

276

Речь идет о вышедшем в издательстве «Земля и фабрика» двумя изданиями (в 1926 и 1927 гг.) переводе романа Стивенсона «Остров сокровищ», выполненном поэтом Михаилом Александровичем Зенкевичем (1891–1973).

277

Помощница К. И. Чуковского.

Дата и место — по почт. шт.

279

В 1929 г. в Госиздате под редакцией Н. К. Чуковского вышла книга Э. Сетона-Томпсона «Рольф в лесах. Рассказы». Здесь речь идет о ее 2-м издании. Оно не состоялось.

Чуковский Н. Н.

281

Чуковский К. И. От двух до пяти. 3-изд. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1933.

282

См. примеч. 210.

283

Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1933. Б. Лившиц писал М. А. Зенкевичу 8 сентября 1933 г.: «Рад был узнать, что „Полутораглазый стрелец“ до Вас дошел: он ведь был задержан Главлитом и только на днях запрещение снято» (*Лившиц Б.* Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 611).

284

Речь идет о книге писателя *Георгия Давидовича Венуса* (1897–1939) «Вологные воды» (Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1933. Кн. 1).

285

Н. К. Чуковский говорит о совершенной по инициативе Горького в августе 1933 г. поездке группы советских писателей (120 человек) по Беломорско-Балтийскому каналу. Результатом поездки стала книга «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» (М., 1934). Н. К. Чуковский в книге участия не принял.

Эйхлер Генрих Леопольдович (1901–1953), сотрудник Детгиза.

287

Речь идет об издании, вышедшем под редакцией Н. К. Чуковского: *Сетон-Томпсон Э.* Собрание сочинений. Т. 1–3. М.; Л.: Госиздат, 1929–1930 (тома 1 и 2 вышли вторым изданием в 1930 и 1931 гг.). Намерение выпустить двухтомник Э. Сетона-Томпсона не было реализовано.

288

Речь идет об «Избранных рассказах» (М.; Л.: Госиздат, 1931) канадского писателя Чарльза Джорджа Дугласа Робертса (1860–1943). Второе издание вышло в Москве в Детгизе в 1934 г.

289

Речь идет о Н. Н. Чуковском.

290

Речь идет о статье *Александра Константиновича Гладкова* (1912–1976) «О крыльях. По поводу сценария „Юность“ И. Трауберга и Н. Чуковского», опубликованной 28 августа 1933 г. в газете «Кино».

291

Трауберг Илья Захарович (1905–1948), режиссер, поставил фильм «Частный случай» (1933), сценарий которого написал совместно с Н. К. Чуковским.

292

4 сентября 1933 г. газета «Кино» опубликовала «Письмо в редакцию», подписанное И. З. Траубергом.

Книга вышла с иллюстрациями Г. Брока.

294

Датируется по фразе: «Вчера я захотел осмотреть в Коджорах детский дом» и по записи в дневнике о событиях, произошедших 2 сентября 1933 г.: «Потом появилась машина Наркома Бедии <…> на машине того же наркома, управляемой шофером Жорой, побывал в знаменитых Коджорах, где видел идеальный детский комбинат, созданный Груз. Наркомпросом для беспризорных детей. Коджоры высоко над Тифлисом — природа там прохладная — вроде подмосковной <…> Там раскинуты на большом пространстве дома детского комбината <…> Их директор Дмитрий *Дудучава* — молчаливый человек, по-видимому очень преданный делу, давал нам объяснения: у них 50 га земли, 60 коров, 100 свиней. Все учителя живут тут же. В Коджорский комбинат входит также и педтехникум. Все было очень интересно, но чуть я вошел во вкус — появился стол, уставленный яствами, и начались бесконечные тосты» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 81).

295

Бедия Эрнест (Ермолай) *Александрович* (1890–1938), нарком просвещения Абхазской АССР.

Табидзе Тициан Юстинович (1895–1937), грузинский поэт.

Яшвили Паоло (Павел Джибраэлович) (1895–1937), грузинский поэт.

Табидзе (уродж. Макашвили) *Нина Александровна* (1900–1965), жена Т. Ю. Табидзе.

299

Пильняк Борис Андреевич (настоящая фамилия — Вогау; 1894–1938), писатель.

Пастернак Борис Леонидович (1890–1960), поэт.

301

Бухникашвили Григорий Варденович (1897–1979), грузинский драматург.

302

Дудучава Александр Иосифович (1899–1937), грузинский критик.

303

Вероятно, *Гогоберидзе Елена Давыдовна* (1897–1978), литературовед и переводчица.

Гегенава С. С., заместитель наркома просвещения Грузии.

Гасвиани Лида, переводчица.

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

Чуковский Н. К. Повести. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1933.

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

309

Дефо Д. Жизнь и странные необычайные приключения Робинзона Крузо / Под ред. К. Чуковского. М.: Детгиз, 1934.

310

«Сказки» вышли в 1935 г., сразу в двух издательствах — Детгизе (с иллюстрациями К. П. Ротова) и «Academia» (с иллюстрациями В. М. Конашевича).

311

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955), общественный и государственный деятель, основатель и первый директор Государственного литературного музея.

312

Алексинский Михаил Андреевич (1889–1938), издательский работник, член коллегии Наркомпроса РСФСР.

313

Речь идет о полемике вокруг фильма «Частный случай» (см. примеч. 290–292). «Комсомольская правда» участия в дискуссии не принимала.

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

315

Повесть Н. К. Чуковского «Русская Америка» выходила в свет трижды: в 1928 и 1929-м — в Госиздате и в 1931-м — в «Молодой гвардии». Новое издание, о котором К. И. Чуковский вел переговоры с В. Н. Лядовой, не состоялось.

316

Штеллер (Стеллер) Георг Вильгельм (1709–1746), натуралист, адъюнкт Петербургской Академии наук (1737), участник 2-й Камчатской экспедиции.

317

Беринг Витус Ионассен (1681–1741), капитан-командор русского флота, исследователь Камчатки и Аляски.

318

С иллюстрациями художника Петра Петровича Соколова вышли все три издания «Русской Америки», а также книга Н. К. Чуковского «Капитан Джемс Кук» (М.; Л.: Госиздат, 1927).

319

Фантастическая повесть «Госпогода» не была написана.

320

Олег Леонидов в статье «Кино для детей» писал: «Чуковский написал сценарий „Госпогода“ — о том, как со временем люди будут управлять погодой. В сценарии была хорошая выдумка, много интересных эпизодов. Принес Чуковский сценарий на ленинградскую кинофабрику. Его попросили „зайти“ через месяц. Через месяц последовал ответ: „Сценарий не подходит идеологически“ (?!)» (Вечерняя Москва. 1939. № 160(4689). 15 июля).

321

Постановлением ЦК ВКП(б) от 10 октября 1931 г. была одобрена инициатива Горького по созданию серии сборников «История фабрик и заводов». Было выпущено несколько книг. Ни в одной из них Н. К. Чуковский участия не принимал.

322

Вольпе Ц. С.

323

Дата и место — по почт. шт.

324

С 16 по 19 января 1934 г. в Москве проходила Московская объединенная (IV областная и III городская) партийная конференция.

325

«Частный случай».

3-е издание «Русской Америки» вышло в 1931 г. Больше это произведение не переиздавалось. Повесть «Один среди людоедов» впервые вышла отдельным изданием (М.; Л.: Госиздат, 1930), затем печаталась в книге «Водители фрегатов» под названием «Матрос Рутерфорд у новозеландцев».

327

Речь идет о рассказе «Федор Иванович» (Звезда. 1934. № 1).

328

Речь идет о пьесе С. Моэма и Д. Колтона «Сэди» (М.; Л.: МОДПИК, 1926) или о комедии Д. Синга «Герой» (Пб.; М.: Госиздат, 1923).

329

Речь идет о 4-м изд. (Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1934).

330

Дата и место — по почт. шт.

331

Семашко Николай Александрович (1874–1949), советский партийный и государственный деятель.

332

В № 10 «Звезды» за 1934 г. опубликованы «Старики» Н. К. Чуковского с подзаголовком «рассказ».

333

Речь идет о романе «Слава» (Звезда. 1935. № 1–3, 5, 6).

334

Датируется по связи с п. 67, на которое является ответом.

335

Речь идет о статье «Единоборство с Шекспиром» (Красная новь. 1935. № 1. С. 182–196). Отрывок из нее под заглавием «Искаженный Шекспир» 12 августа 1934 г. опубликовала «Правда».

Чуковский К. И. Искусство перевода. М.; Л.: Academia, 1936.

337

Даниель М. (настоящие имя и фамилия — Марк Наумович Меерович; 1900–1940), еврейский писатель, автор повести «Юлис» (1930; рус. пер. 1931).

338

Ромашов Борис Сергеевич (1895–1958), драматург, автор пьесы «Бойцы» (1933).

339

Никитина З. А.

340

Речь идет о разводе Л. К. Чуковской с первым мужем — Ц. С. Вольпе.

341

Дата и место — по почт. шт.

342

Речь идет о переведенной Н. К. Чуковским книге рассказов Э. Сетона-Томпсона «Домино» (М.: Детгиз, 1935).

343

3-е издание «Избранных рассказов» Ч. Робертса в переводе Н. К. Чуковского вышло лишь в 1959 г. 2-е изд. книги Э. Сетона-Томпсона «Животные — герои» — в 1936 г.

344

Пятьдесят поросят: Детские народные песенки / Собрал К. Чуковский. Л.: Лениздат, 1936.

345

28 декабря 1934 г. К. И. Чуковский записал в дневник свой разговор с начальником Главлита: «Волин имеет какие-то возражения против „Крокодила“ <…> Вчера в Детгизе я наконец дозвонился до него — и он сказал мне, что считает, что „Крокодил“ — вещь политическая, что в нем предчувствие Февральской революции, что звери <…> это буржуи <…> И потому Семашка, даже не уведомив меня, распорядился вырезать из сборника моих сказок „Крокодила“» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 113, 115).

«Барабек», «Чудо-дерево», «Котауси и Мауси» вошли в книгу «Сказки» (М.: Academia, 1935).

347

Луппол Иван Константинович (1896–1943), литературовед, в 1935–1940 гг. был директором Института мировой литературы им. А. М. Горького.

348

Речь идет о 5-м издании «От двух до пяти» (Л.: Госиздат, 1935).

349

Речь идет о Государственном литературном музее.

350

Дата и место — по почт. шт.

351

Магидович Игнатий Петрович, работник Детгиза.

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

353

27 января 1935 г. К. И. Чуковский записал в дневник: «Меня выписали в Москву „Всекохудожник“ и Радио-Комитет. 1-й для того, чтобы я прочитал лекцию о Репине, 2-й для того, чтобы я выступил в Колонном зале со своими сказками. Кроме того, мне было нужно <…> сдать статью о Репине — Горькому в „Альманах XVII“. Из-за ссоры с Марией Борисовной я не кончил статьи о Репине» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1930–1969. М.,1994. С. 117, 118).

Волобринская Т. С. издательский работник.

355

Накоряков Николаи Никандрович (1881–1970), издательский работник.

Чуковский К. И. Искусство перевода. М.; Л.: Academia, 1936.

357

Дата и место — по почт. шт.

Шендерович, издательский работник.

359

Гонорар за перевод «Острова сокровищ» Р. Л. Стивенсона.

Чуковский Н. К. Слава: Роман. Л.: Гослитиздат, 1935.

361

Датируется по фразе: «Но вот уже 12-ое». Месяц, год и место — по почт. шт. на конверте.

Острова Софья, помощница К. И. Чуковского.

363

Губер Петр Константинович (1886–1938), писатель, литературовед.

364

Речь идет о кн.: *Уитмен У.* Листья травы: Избранные стихи и поэмы / Пер., статья и примеч. К. И. Чуковского; Предисл. Д. Мирского. Л.: ГИХЛ, 1935.

365

Речь идет о кн.: *Твен М.* Приключения Тома Сойера / Новый полный пер. К. И. Чуковского. Л.: Лендетиздат, 1935.

366

В 1935 г. в «Вечерней красной газете» были опубликованы две статьи К. И. Чуковского — «Великое в малом» (26 июля) и «Сигарет!» (2 августа).

367

Фельетон Ю. С. Берзина в «Правде» напечатан не был.

Андронов И., журналист, сотрудник «Известий».

369

Чуковский Н. К. Падыспань. М.: Советский писатель, 1935.

370

Речь идет о романе «Княжий угол». Был сначала опубликован в журнале «Звезда» (1936. № 4, 5, 7–11), затем вышел отдельным изданием (Л.: Гослитиздат, 1937).

371

Лукницкий Павел Николаевич (1900–1973), писатель. Его отец был военным инженером.

372

«Волшебная гора» — роман немецкого писателя Томаса Манна (1875–1955).

373

Рейнке И. Н.

3. А. Никитина.

375

Речь идет о третьем, несостоявшемся, издании «Юности» и о романе «Княжий угол», который вышел в 1937 г. в ленинградском отделении Гослитиздата.

Переиздание «Славы» не состоялось.

377

Речь идет о кн.: *Сетон-Томпсон Э.* Животные — герои. М.; Л.: Детиздат, 1936.

Чуковский Н. К. Победитель пустынь // Казахстан. XV. Алма-Ата, 1935. С. 162–165.

379

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

380

Речь идет об авторе заметки «Литературный урожай 1936 г. В президиуме правления ССП», подписанной *Н. Ор* (Вечерняя Москва. 1935. № 240(3569). 17 октября). Псевдоним *«Н. Ор»* принадлежит журналисту Николаю Ивановичу Орловцеву.

381

Речь идет о рецензии, подписанной инициалами *А. М.* (Литературный современник. 1936. № 2. С. 213–215).

382

Речь идет о рассказе «Муж и жена» (Красная новь. 1935. № 10) писателя *Василия Семеновича Гроссмана* (1905–1964).

383

Речь идет о романе М. Э. Козакова «Девять точек».

384

Черноруцкий Михаил Васильевич (1884 —?), врач-физиотерапевт.

385

Ловцкий Яков Абрамович (1870 —?), врач-физиотерапевт.

386

Детгиз был создан в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 9 сентября 1933 г. на базе детского сектора издательства «Молодая гвардия» и школьного сектора Государственного издательства художественной литературы, в 1936 г. передан ЦК ВЛКСМ. Возможно, речь идет о директоре издательства Григории Евгеньевиче Цыпине (1899–1938) и редакторе (в то время, впоследствии директор издательства) Константине Федотовиче Пискунове (1905–1987).

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

389

Имеется в виду роман «Княжий угол».

Лирика / Сост. К. Чуковский. М.; Л.: Детиздат, 1939.

Чуковский К. И. От двух до пяти. М.; Л.: Детиздат, 1937.

392

Речь идет о вышедшем под редакцией К. И. Чуковского сборнике стихотворений еврейского поэта Льва *Моисеевича Квитко* (1890–1952) «В гости» (М.; Л.: Детиздат, 1937).

393

Датируется по сопоставлению с п. 79.

Ваш (англ.).

395

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

396

В это время поэт *Михаил Леонидович Лозинский* (1886–1955) переводил «Ад». Позднее им был сделан полный перевод «Божественной комедии» Данте.

397

Лежнев Исай Григорьевич (настоящая фамилия — Альтшулер; 1891–1955), литературовед.

Губкин Иван Михайлович (1871–1939), геолог.

399

Киселев Андрей Петрович (1852–1940), педагог, автор учебников по математике для средней школы.

400

Датируется по сопоставлению с п. 79.

401

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

402

Калмыков Бетал Эдыкович (1893–1940), в 1930–1938 гг. первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б).

403

*Буденный Семен Михайл*ович (1883–1973), в 1924–1937 гг. инспектор кавалерии РККА.

Постышев Павел Петрович (1887–1939), в то время второй секретарь ЦК КП(б) Украины.

405

Первоначальное название книги, вышедшей позднее под заглавием «Водители фрегатов» (М.; Л.: Детиздат, 1941). Книга неоднократно переиздавалась.

«Затерянный мир» А. К. Дойла Н. К. Чуковский не стал переводить.

407

Год и место — по почт. шт.

408

Для новой редакции повести «Капитан Джемс Кук», вошедшей в книгу «Водители фрегатов».

409

Описка. Правильно «Княжий угол».

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

411

Асеев Николай Николаевич (1889–1963), поэт.

412

Виноградов Анатолий Корнелиевич (1888–1946), писатель.

413

Ферсман Александр Евгеньевич (1883–1945), геохимик и минералог.

Горбунов Николай Петрович (1892–1938), химик.

415

26 октября 1937 г. сотрудник Детгиза Г. Л. Эйхлер сообщил К. И. Чуковскому: «Директором у нас — Андреев. Вы его знаете и он Вас — тоже. Он работал в ЦК (зав. отд. печати). Цыпина после статьи в „Правде“ сняли, он сейчас работает в ОГИЗ’е. В аппарате у нас почти все люди — новые. В частности, в худож. редакции, в исторической и т. д. В дошк. отделе — Шер, но будет кто-то еще… Работать очень трудно, п. ч. большинство новых людей просто не знают, что такое дети. Но, думаю, не беда — наладится. Слабовато пока с худож. редакцией — вместо Разумовской у нас пока сидит человек, не знающий литературы. Говорят, будет Ивантер» (личный архив Д. Н. Чуковского).

Чуковский К. И. Трехлетие // Правда. 1937. 23 сентября.

417

К. И. Чуковский опасался ареста дочери, т. к. месяцем ранее был арестован второй муж Л. К. Чуковской — М. П. Бронштейн.

Под редакцией Ц. С. Вольпе вышло издание: *Жуковский В. А.* Стихотворения. Т. 1–2. Л., 1939–1940.

419

Дата и место — по почт. шт.

Роман «Слава» не переиздавался.

421

Роман Н. К. Чуковского «Ярославль» вышел отдельным изданием в 1938 г. (переиздавался в 1949 г. и 1957 г.).

422

Дата и место — по почт. шт.

423

Чуковская Нина Станиславовна, первая жена Б. К. Чуковского.

424

Е. Л. Шварц вспоминал: «Фрима Бунимович, или Бунина, тогда жена Антона Шварца, преданнейше в него влюбленная, огромноглазая, большелобая, маленькая, худенькая, была одарена разнообразно <…> Она и рассказы пробовала писать, и стихи» (*Шварц Е. Л.* Живу беспокойно… Л., 1990. С. 350).

425

Шварц Антон Исаакович (1896–1954), мастер художественного слова, двоюродный брат драматурга Е. Л. Шварца.

426

Лури Екатерина Еливферьевна (1916–1987), племянница К. И. Чуковского.

427

Дата и место — по почт. шт.

428

Л. К. Чуковская была сотрудницей Ленинградского Детгиза. В. Н. Корнилов пишет: «Книжная редакция ленинградского Детгиза подвергнется в 1937 жесточайшему разгрому: половина ее состава будет арестована, а некоторые авторы расстреляны (среди них замечательный поэт Николай Олейников и муж Чуковской, Матвей Бронштейн, блестящий молодой физик, чьи работы и сегодня высоко ценятся в мире). После ареста мужа пришли арестовывать и Чуковскую, как жену врага народа, но она была в отъезде и вернулась в Ленинград лишь год спустя» (Русские писатели 20 века: Биографический словарь. М., 2000. С. 747). Матвей Петрович Бронштейн (1906–1938) был арестован 6 августа 1937 г. в Киеве, по дороге из Ленинграда в Кисловодск, на квартире родителей.

429

В статье «„Кокоша“ и „Дядя Степа“» Н. Н. Асеев писал: «… многие стихотворные тексты мало удовлетворяют читателя. Дело в том, что советские ребята и умней, и изобретательней, чем их представляют иные авторы стихов для детей. А главное, они современнее и активнее предлагаемых им текстов. Советская действительность дает воображению наших малышей гораздо больше того, что могут придумать люди, сочиняющие для них стихи. Особенно характерны в этом отношении тексты Чуковского <…> Однако именно эта отвлеченно-заумная болтовня и пользовалась покровительством недавно смененного руководства Детиздата. Линия Чуковского чуть было не стала наиболее влиятельной в детской поэтической литературе. Правда, была еще линия Маяковского с его „Что такое хорошо“ и „Кем быть Пете“, с его прямотой и правдивостью, с его полноценным уважением ко вкусу и задаткам маленького советского гражданина. Однако эта линия мало поддерживалась любителями крокодильских ужимок в детской поэзии» (Комсомольская правда. 1937. № 221(3802). 24 сентября).

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

431

26 октября 1937 г. Г. Л. Эйхлер писал К. И. Чуковскому: «Плохи дела Ник. К.: Томпсон и пр. переиздаваться не будут пока (кроме школьной). Из его книг пойдет только „Русская Америка“. Я советовал ему написать о своих планах и пр. Андрееву, но он почему-то этого не сделал. Мне пока не удается выполнить его просьбы, ибо ответ один: „В плане — тесно“ и против этого трудно сейчас что-либо сказать» (личный архив Д. Н. Чуковского).

Андреев Сергей Андреевич, директор Детгиза.

Имеются в виду «Водители фрегатов».

3-е издание книги Э. Сетон-Томпсона «Животные — герои» в переводе Н. К. Чуковского все-таки вышло в Детгизе в 1937 г.

435

Датируется по времени пребывания К. И. Чуковского в Москве. Он вернулся в Ленинград 26 ноября 1937 г. (см.: *Чуковский К. И.* Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 149).

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

437

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874–1952), поэтесса, прозаик, драматург, переводчица.

Шестаков Андрей Васильевич (1877–1941), историк.

439

Чаплыгин Сергей Алексеевич (1869–1942), один из основоположников аэродинамики, автор трудов по теоретической механике, гидро-, аэро- и газовой динамике.

Алексеева-Фальк Кира Константиновна (1891–1977), впоследствии главный хранитель Дома-музея К. С. Станиславского.

441

Чуковский К. И. Секрет // Пионер. 1938. № 2. С. 20–43; № 3. С. 53–68; № 4. С. 82–84.

442

Возможно, речь идет о 7-м издании «От двух до пяти» (М.; Л.:Детиздат, 1937).

Имеется в виду роман «Ярославль».

2-е издание «Княжьего угла» вышло в 1938 г. «Слава» не переиздавалась.

445

Речь идет о романах американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896) «Невеста священника» (его Н. К. Чуковский не переводил) и «Хижина дяди Тома», сокращенный перевод Н. К. и М. Н. Чуковских вышел в ленинградском отделении Детиздата в 1941 г. (под ред. и со вступ. статьей К. И. Чуковского).

446

См. примеч. 450.

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

448

Речь идет о романе «Ярославль». Он был напечатан в журнале «Звезда» (1938. № 9).

Надежды на то, что Н. Н. Накоряков вновь возглавит ГИХЛ, не оправдались.

450

Чуковский К. И. Гимназия: Воспоминания детства. М.; Л.: Детиздат, 1938; Чуковский К. И. Секрет: Воспоминания детства // Молодая гвардия. 1938. № 4. С. 74–95; № 5. С. 69–95. См. также примеч. 6 к п. 89. В дальнейшем повесть печаталась под названием «Серебряный герб».

451

Речь идет о школьном спектакле Н. Н. Чуковской.

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

453

Жены поэтов Виктора Михайловича Гусева (1909–1944) и Н. Н. Асеева.

454

Куппонен Ида Петровна, няня Е. Ц. Чуковской. Л. К. Чуковская вспоминала: «В 1944-м мне казалось, что *та* война кончилась. Собравшись с силами, я, через несколько дней после приезда в Ленинград, отправилась к Пяти Углам <…> Домоуправша оказалась новая и глядела на меня подозрительно. Но, порывшись в измызганной, обшарпанной, видавшей виды домовой книге, она установила, что, действительно, в квартире № 4 дома № 11 по Загородному проспекту проживала некогда семья: Бронштейн Матвей Петрович; жена его, Чуковская Лидия Корнеевна; ее дочь, Елена; и домашняя работница, Ида Петровна Куппонен» (*Чуковская Л. К.* Записки об Анне Ахматовой. М., 1997. Т. 2. С. 33, 34).

455

Лившиц (урожд. Скачкова-Гуриновская) *Екатерина Константиновна* (1902–1987), жена поэта Б. К. Лившица, арестованного в октябре 1937 г.

Эта иллюзия была вызвана снятием в 1938 г. с поста наркома внутренних дел СССР Н. И. Ежова и назначением на его место Л. П. Берия.

Рахманов Леонид Николаевич (1908–1988), писатель.

Рейнке М. Н.

459

Чуковский К. И. Из воспоминаний о Горьком // Молодая гвардия. 1938. № 6. С. 46–55.

460

См. примеч. 450.

461

Федоров Александр Митрофанович (1868–1949), поэт, умер в эмиграции. К. И. Чуковский написал воспоминания о нем — «Две „королевы“» (*Чуковский К. И.* Собрание сочинений. В 15 т. М., 2001. Т. 4. С. 509–522).

Гессен Лазарь Ильич (1890—?), инженер полиграфического производства, специалист по архитектонике и архитектуре книги.

463

Колесень, издательский работник.

2-е изд. романа «Княжий угол» вышло в 1938 г. в Ленинградском отделении Гослитиздата.

Слонимский Михаил Леонидович (1897–1972), писатель.

Дата и место указаны на телеграфном бланке.

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

Отдельное издание «Ярославля» вышло в свет в 1938 г.

469

Зозуля Ефим Давыдович (1891–1941), писатель, редактор журнала «Огонек».

Гольдберг Исаак Григорьевич (1884–1939), писатель. В «Смене» Н. К. Чуковский опубликовал повесть «Девять братьев» (1943. № 9–17, 19–24).

471

С журналисткой Е. И. Пёльсон К. И. Чуковский, вероятно, познакомился в начале 1933 г., когда она работала над статьей «Литературные обитатели „Чукоккалы“» (Литературная газета. 1933. № 2(230). 11 января). О К. И. Чуковском, детском писателе, говорится в статье Пёльсон «Литературные портреты» (Детская литература. 1966 год. М.,1967. С. 136, 137).

Маття — сын И. П. Куппонен.

473

Чуковская Н. С.

474

Речь идет о 2-м изд. книги К. И. Чуковского «Доктор Айболит» (М.; Л.: Детиздат, 1938).

475

Чуковский К. И. Сказки / Рис. В. Конашевича. 4-е изд. М.: Детиздат, 1938.

Рейнке И. Н.

477

Речь идет о романе «Ярославль».

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963), писатель.

Федин Константин Александрович (1892–1977), писатель.

Лидин Владимир Германович (1894–1979), писатель.

Сейфуллина Лидия Николаевна (1889–1954), писательница.

483

Тренев Константин Андреевич (1876–1945), писатель.

Павленко Петр Андреевич (1899–1951), писатель.

Погодин Николай Федорович (1900–1962), драматург.

Повесть вышла в свет под названием «Гимназия: Воспоминания детства» (М.; Л.: Детиздат, 1938).

487

Книга вышла через два года в другом издательстве: *Чуковский К. И.* Репин. Горький. Маяковский. Брюсов: Воспоминания. М.: Советский писатель, 1940.

Новое исправленное и дополненное издание «Искусства перевода» вышло под названием «Высокое искусство» (М.: Гослитиздат, 1941).

489

Уитмен У. Избранные стихотворения и проза / Пер., примеч. и вступ. статья К. Чуковского. М.: Гослитиздат, 1944.

490

В ходе работы замысел был изменен. Результатом стала книга «Мастерство Некрасова» (М.: Гослитиздат, 1952).

491

9-е издание «От двух до пяти» (М.; Л.: Детиздат, 1939) вышло без изменения названия.

492

Кольцов Михаил Ефимович (настоящая фамилия — Фридлянд; 1898–1940), журналист.

493

Помощница К. И. Чуковского.

Лапин Борис Матвеевич (1905–1941), писатель.

Хацревин Захар Львович (1903–1941), писатель.

Шагинян Мирель Яковлевна, дочь М. С. Шагинян.

Багрицкий Всеволод Эдуардович (1922–1942), поэт, сын Э. Г. Багрицкого.

Иванов Вячеслав Всеволодович (р. 1929), филолог, сын Вс. В. Иванова.

499

Дети второй жены Б. Л. Пастернака Зинаиды Николаевны Пастернак (1897–1966) от первого брака — Адриан Генрихович Нейгауз (1925–1945) и Станислав Генрихович Нейгауз (1927–1980).

500

Цитата из стихотворения О. Э. Мандельштама «Детский рот жует свою мякину» (*Мандельштам О. Э.* Сочинения. В 2 т. М.,1990. Т. 1.С. 223).

501

Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943), ученый-филолог и писатель.

502

Тынянова (урожд. Зильбер) Елена Александровна (1892–1944), жена Ю. Н. Тынянова.

503

Дата — по почт. шт. на конверте.

504

Речь идет о переводе стихотворения «Август 1914 года» английского писателя Джона Мейсфилда (1878–1967), опубликованном в кн.: Антология новой английской поэзии. Л., 1937. С. 306–308.

505

Рассказ Н. К. Чуковского «Каторжник» сначала был напечатан в журнале «Стройка» (1930. № 8), затем вышел отдельным изданием (М.; Л.: Молодая гвардия, 1931).

506

Писатель *Леонид Максимович Леонов* (1899–1994) и его супруга *Татьяна Михайловна Леонова (урожд. Сабашникова)* (1903–1979).

507

Драматург *Ромашов Б. С.* и его супруга. О них см.: Чуковский К. И. Дневник. 1901–1929. М., 1991. с. 461.

508

Тынянов Ю. Н.

509

Косарев Александр Васильевич (1903–1939), генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ.

510

Число и месяц — по фразе: «Сегодня 10/X». Год и место — по почт. шт. на конверте.

Тарле Евгений Викторович (1874–1955), историк.

512

Немирович-Данченко Василий Иванович (1844/45–1936), писатель, брат режиссера Владимира Ивановича Немировича-Данченко (1858–1943).

513

Василевский Илья Маркович (1882/83–1938), журналист.

Даладье Эдуард (1884–1970), премьер-министр Франции в 1938–1940 гг.

515

Гитлер Адольф (настоящая фамилия — Шикльгрубер; 1889–1945), рейхсканцлер (1933–1945) и президент (1934–1945) Германии, фюрер фашистской национал-социалистической партии с 1921 г.

Чемберлен Невилл (1869–1940), премьер-министр Великобритании в 1937–1940 гг.

517

Займовский С. Г., переводчик с английского, датского, норвежского и шведского языков.

518

Удивительные приключения, путешествия и военные подвиги барона Мюнхгаузена: Сокр. изд. для детей среднего возраста / Пер. с англ, под ред. К. Чуковского. Пг.; М.: Всемирная литература, 1923. Затем вышла кн.: *Распе.* Приключения Мюнхгаузена / В пересказе К. Чуковского. М.; Л.: Госиздат, 1928. Она переиздавалась неоднократно.

519

Немецкий писатель *Рудольф Распе* (1737–1794) в 1786 г. анонимно опубликовал перевод на английский язык баснословных приключений Мюнхгаузена из анонимного немецкого сборника «Спутник веселых людей», при этом ввел в произведение дополнительные эпизоды.

520

Путешествия барона Мюнхгаузена: С 12 гравюрами по рисункам самого барона / Полный пер. с англ, оригинала с предисл. и примеч. С. Г. Займовского. М.: Польза, 1914.

521

Домбровская Е. Я., редактор Детиздата.

522

Договор на перевод романа английского писателя *Вольтера Скотта* (1771–1832) заключен не был.

523

Стивенсон Р. Черная стрела: Повесть о двух розах / Пер. с англ. Н. и М. Чуковских. М., 1940.

524

Стихотворение американского писателя *Эдгара Аллана По* (1809–1849) «Улялюм» в переводе Н. К. Чуковского было опубликовано в журнале «Звезда» (1939. № 2).

525

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

Лавренёв Борис Андреевич (1891–1959), писатель.

527

Шевченко Т. Г. Избранные произведения / Под ред. К. Чуковского; Вступ. статья Д. Заславского; Биогр. очерк Г. Эйхлера; Примеч. В. Россельса, К. Чуковского и Г. Эйхлера. М.; Л., Детиздат, 1939. В книгу вошли переводы, выполненные Михаилом Васильевичем Исаковским (1900–1973), Александром Трифоновичем Твардовским (1910–1971), Еленой Александровной Благининой (1903–1989), Верой Клавдиевной Звягинцевой (1894–1972), Николаем Николаевичем Ушаковым (1899–1973), Михаилом Аркадьевичем Светловым (настоящая фамилия — Шейнкман; 1903–1964), Николаем Леопольдовичем Брауном (1902–1975), Марией Ивановной Комиссаровой (1904–1994).

528

18 ноября 1938 г. М. Б. Чуковская сообщала М. Н. Чуковской: «Мне даже стыдно писать, что я опять болела после такого дивного лечения в Кисловодске. Я упала в Переделкино, сильно ушиблась и простудилась. Но теперь я уже на ногах» (личный архив Д. Н. Чуковского).

Белецкий Александр Иванович (1884–1961), литературовед.

Шишмарева Елизавета Михайловна (р. 1904), переводчица.

531

Перевод стихотворения Э. А. По «Улялюм», выполненный Константином Дмитриевичем Бальмонтом (1867–1942), был опубликован в журнале «Жизнь» (1899. № 9).

Сысоев, издательский работник.

Директор и редактор Детгиза.

1-е изд. «Водителей фрегатов» (М.; Л., 1941) вышло вне серии. «Королевская Аналостанка» Сетон-Томпсона (М.; Л., 1941) — в серии «Книга за книгой».

535

Прусаков, издательский работник.

536

Речь идет о неподписанной статье «Первый шевченковский вечер в Московском клубе писателей» (Литературная газета. 1938. № 64(771). 20 ноября).

537

В опубликованной в «Литературной газете» 20 ноября 1938 г. заметке «Первый шевченковский вечер в Московском клубе писателей» говорилось: «16 ноября <…> К. Чуковский иллюстрировал многочисленными примерами свою критику старых переводов Шевченко <…> „Я уверен, — говорит К. Чуковский, — что Шевченко был бы вполне удовлетворен переводами его стихов, сделанными М. Исаковским, Н. Асеевым, Е. Благининой, А. Твардовским“. Выступления поэтов, читавших свои переводы из Шевченко, открыл Н. Асеев. Он начал с упрека по адресу Детиздата в том, что издательство плохо работает с авторами переводов. Н. Асеев продемонстрировал перед собравшимися свою рукопись, испещренную пометками и указаниями редакции однотомника, и сообщил, что восемьдесят пять процентов этих указаний было им принято. Вместе с тем, Н. Асеев протестовал против необоснованных замечаний и навязывания редакторских вкусов поэту».

538

Лозовский А. (настоящие фамилия и имя — Дризо Соломон Абрамович; 1878–1952), в это время директор Гослитиздата.

Корнейчук Александр Ефимович (1905–1972), драматург.

Рябинина, издательский работник.

541

Фидман Александр, инженер, соученик К. И. Чуковского по одесской гимназии.

542

Тычина Павло (Павел Григорьевич) (1891–1967), украинский поэт.

Степун И. И. (р. 1911), украинский литературовед.

544

Датируется по фразе: «В январе будущего года юбилей Эдгара По (130 лет)».

Антокольский Павел Григорьевич (1896–1978), поэт.

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

547

Герасимов Павел Федорович (1878–1949), директор Ленинградского отделения Гослитиздата.

548

Речь идет о переработанном издании романа М. Л. Слонимского «Фома Клешнев» (Л.: Гослитиздат, 1938).

549

Чуковский К. За советский стиль переводов Шевченко // Красная новь. 1939. № 3. С. 191–208; его же. Назар Стодоля // *Шевченко Т.* Назар Стодоля. М.; Л., 1939. С. 3–4; его же. Четыре таланта // Литературная газета. 1939. № 25(804). 6 мая.

550

Речь идет о переводе стихотворения Р. Стивенсона «Вересковое пиво. Шотландское предание». Оно было опубликовано вместе со стихотворениями «Странник» и «Рождество на море» (Звезда. 1939. № 5, 6).

551

Возможно, речь идет о «Лете». Опубликовано в журнале «Звезда» (1941. № 3, 4), затем вышло отдельным изданием (Л.: Советский писатель, 1941).

552

Чуковский К. Шевченко и Некрасов // Правда. 1939. № 63(7748). 5 марта.

553

1 февраля 1939 г. «Комсомольская правда» опубликовала Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении советских писателей. Этим указом К. И. Чуковский был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

554

Повесть «Сестра» впервые была напечатана в «Альманахе молодой прозы» (Л., 1934), затем вошла в книги Н. К. Чуковского «Падыспань» (М.: Советский писатель, 1935) и «Пятый день» М.: Советский писатель, 1940).

555

К. И. Чуковский и драматург *Евгений Львович Шварц* (1896–1958) должны были получить деньги за художественный фильм «Доктор Айболит» (1939, режиссер В. Немоляев). Шварц написал сценарий фильма.

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

557

Кашкин Иван Александрович (1899–1963), переводчик и критик.

558

Речь идет о серии Госиздата «Исторические романы». «Ярославль» в ней не выходил, он был переиздан «Советским писателем» в 1949 и 1957 гг.

559

Еремеев Александр Сергеевич, издательский работник.

Куклис Григорий Самойлович, издательский работник.

561

Левин Федор Маркович (1901–1972), критик и литературовед.

562

Прообразом Айболита К. И. Чуковскому послужил доктор Дулиттл — герой прозаической сказки американского писателя Гью Лофтинга (1886–1947).

563

«Лимпопо» по сценарию К. И. Чуковского сняли режиссеры Л. А. Амальрик и В. И. Полковников (художники-мультипликаторы Б. Б. Титов, Б. П. Дежкин и др.; Союзмультфильм, 1939). «Мойдодыра» по своему сценарию снял И. П. Иванов-Вано (художники-мультипликаторы М. А. Ботов, Б. П. Дежкин и др.; Союзмультфильм, 1939).

564

Статья «Три романа» (о «Ярославле», «Княжьем угле» и «Славе») критика *Льва Ильича Левина* (р. 1911) была опубликована в № 10, 11 «Литературного современника» за 1939 г.

565

Мессер Р. Побольше книг, хороших и разных // Резец. 1939. № 9, 10. С. 26, 27.

566

Из московских изданий рецензию опубликовал журнал «Знамя»: *Левидов М.* Отклики и впечатление // Знамя. 1939. № 10, 11. С. 306, 307. *Михаил Юльевич Левидов* (1891–1942) автор неоднократно издававшейся книги «Путешествие в некоторые отдаленные страны, мысли и чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях» (1939).

567

См. примеч.490.

568

Второй съезд писателей СССР состоялся лишь в декабре 1954 г.

569

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

570

Речь идет о XVIII съезде ВКП(б), который проходил в Москве с 10 по 21 марта 1939 г.

571

Поэты Н. Н. Асеев и Александр Ильич Безыменский (1898–1973) были членами комитета, образованного в связи с празднованием 125-летия со дня рождения Т. Г. Шевченко.

572

Начало латинского выражения «inde irae et lacrimae» — «отсюда гнев и слезы», восходящего к «Сатирам» Ювенала.

Чуковский К. И. Репин. Горький. Маяковский. Брюсов: Воспоминания. М.: Сов. писатель, 1940.

Чуковский К. И. Высокое искусство. М.: Гослитиздат, 1941.

Чуковский К. И. От двух до пяти. М.; Л.: Детиздат, 1939.

576

Н. Н. Чуковский писал: «Здравствуй Дед. Я тебя люблю, а ты меня? <…> Дед, поздравляю тебя с рождением. Коля» (личный архив Д. Н. Чуковского).

Во 2-м изд. Детгиз объединил под одной обложкой два романа Р. Стивенсона, переведенных Н. К. Чуковским, — «Остров сокровищ. Черная стрела» (М., 1960). Это же издательство неоднократно переиздавало произведения Э. Сетона-Томпсона, переведенные Н. К. Чуковским: «Королевская Аналостанка» (М.; Л., 1941), «Рассказы о животных» (М., 1955; М., 1958), «Медвежонок Джонни» (М., 1956), «„Уличный певец“ и другие рассказы» (М., 1956).

Фадеев Александр Александрович (1901–1956), писатель, секретарь Союза писателей.

579

Вероятно, писатель Евгений Петрович Петров (настоящая фамилия — Катаев; 1903–1942). Он в это время был заместителем главного редактора «Литературной газеты».

580

Датируется по сопоставлению с п. 110.

581

Храбрый Персей: Древнегреческая сказка / Рассказал К. Чуковский. М.; Л., Детиздат, 1940.

Чуковский К. И. Так и не так. М.: Детиздат, 1940.

583

Хесин Григорий Борисович (1899–1983), начальник Всесоюзного управления по авторским правам.

584

Во время одного из выступлений К. И. Чуковского о Маяковском В. Б. Шкловский наговорил ему множество грубостей. В «Записках об Анне Ахматовой» Л. К. Чуковская писала: «Разговор снова вернулся к книге Шкловского. „Очень подлая книга, — сказала Анна Андреевна, — особенно страницы о Корнее Ивановиче. А обо мне написано смешно и глупо. Тут вот чего нельзя понять: если это разжижение мозга — то почему же о Корнее Ивановиче все так связно подло, рассчитано подло“» *(Чуковская Л. К.* Записки об Анне Ахматовой. В 3 т. М., 1997. Т. 1. С. 112). Речь идет о кн.: *Шкловский В. Б.* О Маяковском. М., 1940. В ней, в частности, говорится: «Чуковский всю свою талантливую жизнь потратил на то, чтобы набрасывать подушки, заглушать, превращать все в анекдот» (С. 64). Имея в виду данную книгу, К. И. Чуковский писал дочери: «О Шкловском скажу: неожиданный мерзавец. Читая его доносы, я испытывал жалость к нему. То, что напечатано, есть малая доля того, что он написал обо мне. По требованию Союза выброшено несколько страниц» *(Чуковский Корней, Чуковская Лидия.* Переписка: 1912–1969. М.,2003. С. 263).

585

Каверин Вениамин Александрович (1902–1989), писатель.

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

587

Альфа — собака, с которой любила играть Е. Ц. Чуковская.

588

Арутчева Варвара Аветовна (1906–1991), помощница К. И. Чуковского, впоследствии сотрудница Музея В. В. Маяковского.

589

Чуковская Л. К. История одного восстания // Красная новь. 1939. Кн. 10–11. С. 27–71.

Редактор дяди Тома (англ.).

591

Дата и место — по почт. шт.

592

Речь идет о статье *Раисы Давыдовны Мессер* (р. 1905) «Побольше книг, хороших и разных» (Литературная газета. 1939. № 32(811). 10 июня). Критик положительно оценила романы Н. К. Чуковского «Слава», «Княжий угол», «Ярославль».

593

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

594

Возможно, речь идет о переведенном Н. К. Чуковским сборнике рассказов М. Твена «Прыгающая лягушка» (М.; Л.: Детиздат, 1937).

Иванов В. В. Пархоменко. М.: Гослитиздат, 1939.

Дата — по почт. шт. на конверте.

597

Чуковская Е. Ц.

Чуковский Н. К. Пятый день. М.: Советский писатель, 1940.

599

25 октября 1939 г. К. И. Чуковский сообщил М. Н. Чуковской: «Милая Мариночка. Я проредактировал присланные Вами 100 страниц „Хижины“. Первые страницы были очень трудны, я немало повозился с ними, но, начиная приблизительно с сотой страницы, стало значительно легче — и я с радостью заметил, что трудные места, где нужно дать оттенок, живую тональность — превосходно даются Вам» (личный архив Д. Н. Чуковского).

600

В передовой статье «Исторические дни» 26 сентября 1939 г. «Литературная газета» писала: «Исторический день 17 сентября 1939 года, приход Красной Армии на помощь своим единокровным братьям Западной Украины и Западной Белоруссии, волнующие и незабываемые встречи в освобожденных городах и селах достойны быть увековеченными в произведениях советских писателей». В этом же номере была напечатана заметка «Советские писатели в Западной Украине и Западной Белоруссии», в которой говорилось: «В президиум Ленинградского Союза писателей поступают заявления поэтов, прозаиков, драматургов с просьбой направить их в Западную Украину и Западную Белоруссию для обслуживания красноармейских частей и населения, освобожденного от гнета польских панов. Вместе с бригадами работников искусств, созданными в Ленинграде, выезжают писатели А. Прокофьев, Ю. Герман, А. Гитович, П. Капица, Л. Карасев, В. Беляев, А. Флит, И. Зельцер, М. Чумандрин». Н. К. Чуковский в Белоруссию не поехал.

601

Датируется по сопоставлению с п. 118.

602

11 ноября 1939 г. К. И. Чуковский сообщил своей снохе: «Дорогая Марина. Сим извещаю Вас, что сегодня, 11/XI, в 2 часа дня я кончил редактуру „Хижины дяди Тома“. Детиздат взял на себя переписку всего экземпляра, сейчас этот экземпляр (418 стр.) спешно переписывается и немедленно поступит в производство» (личный архив Д. Н. Чуковского).

603

Лури Е. Е.

604

Речь идет о военных действиях в Польше, начатых Красной Армией в сентябре 1939 г. в соответствии с секретным приложением к советско-германскому договору о ненападении от 23 августа 1939 г.

605

Дата — по почт. шт. на конверте.

Чуковская Л. История одного восстания // Красная новь. 1939. Кн. 10–11. С. 27–71.

607

Статья в «Красной нови» не была напечатана. К. И. Чуковский записал в дневник: «**26 ноября** 1939. <…> Вчера в „Правде“ напечатан мой фельетон о Радловой. Скоро в „Красной Нови“ появится большая моя статья на ту же тему — „Астма у Дездемоны“ <…> **12 декабря**. 3-го дня читал свою книгу в „Библиотеке Иностр. Л-ры“ „Высокое искусство“ в присутствии Анны Радловой и ее мужа, специально приехавшими в Москву — мутить воду вокруг моей статьи о ее переводах „Отелло“. Это им вполне удалось, и вчера Фадеев вырезал из „Красной Нови“ мою статью» *(Чуковский К. И.* Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 154, 155). Статья «Астма у Дездемоны» была позже напечатана в журнале «Театр» (1940. № 2).

608

Блэк — щенок. Е. Ц. Чуковская в 1939 г. писала деду: «Мне очень смешно что Блэк оказался девочкой, как его теперь назвали?» (Чукоккала. М., 1999. С. 230).

609

Домработница в семье Чуковских.

610

Тихонов А. Н.

611

«Лето».

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

613

Арутчева Варвара Аветовна.

614

Аплетин Михаил Яковлевич (1885–1981), критик, председатель Иностранной комиссии Союза писателей СССР.

615

Уманский Дмитрий Александрович, переводчик, прозаик, драматург.

См.: *Берман Д. А.* Корней Иванович Чуковский: Биобиблиографический указатель. М., 1999. С. 73, 100, 108.

617

Дата и место — по почт. шт.

618

Дата и место указаны на телеграфном бланке.

619

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

620

Фадеев А. А.

Разживины, соседи Чуковских в Куоккале.

622

Колляри, соседи Чуковских в Куоккале. В книге Л. К. Чуковской «Памяти детства» (М., 1989) помещена фотография, на которой запечатлены Л. К. Чуковская, К. И. Чуковский, И. И. Бродский и Павел Колляри (между С. 128 и 129). Л. К. Чуковская вспоминала: «Летом нашей любимой работой были постоянные походы к Репину в „Пенаты“ за водой <…> Там был артезианский колодец. „Айда!“ — и работа (или игра?) — начиналась. Я бежала в сарай за палкой. Коля, позванивая, уже нес ведро <…> Мгновенно оказывались возле нас наши приятели финны: Матти, Павка, Ида» (С. 16).

623

Дата и место — по содержанию.

624

В ходе войны с Финляндией советские войска заняли Куоккалу. Одним из первых там оказался искусствовед Иосиф Анатольевич Бродский (1904–1980), племянник известного художника. Бродский сразу начал разбирать репинский архив. Видимо, недовольный характеристикой, которую в одном из писем дал его дяде К. И. Чуковский, он распустил слух о том, что Корней Иванович якобы отговаривал Репина от поездки в Советский Союз. Подробнее об этом см.: Чуковская Е. Почему Репин не приехал в СССР? История одного вымысла // Литературная газета. 1997. № 23(5656).11 июня.

625

Дата и место — по содержанию.

626

См. примеч. 566.

627

Кузнецов Алексей Александрович (1905–1950), в это время 2-й секретарь Ленинградского обкома партии и член ЦК ВКП(б).

628

Жданов Андрей Александрович (1896–1948), первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии, член Политбюро и секретарь ЦК ВКП(б).

629

Речь идет о финской войне (30.11.1939–12.3.1940). Н. К. Чуковского мобилизовали в первых числах декабря 1939 г. Он был корреспондентом газеты «Красный Балтийский флот».

Чуковский Евгений Борисович (р. 1937), внук К. И. Чуковского.

631

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

632

К письму приложены выписки из двух писем Ильи Ефимовича Репина (1844–1930):

2.7.1923 Куоккала.

…разумеется, по случаю Вашей покупки Вашего дома кажется у Дальберга, я живой свидетель и, надеюсь, показанию моему поверят. Да Вас тут все знают и вспоминают. А я еще вчера проходил в Оллила, с грустью посмотрел на потемневший дом Ваш, на заросшие дорожки и двор, вспоминал, сколько там было приливов и отливов всех типов молодой литературы. Особенно футуристов, дописавшихся уже только до твердых знаков и полугласных мычаний. Ну и Алекс. Толстой, и Бор. Садовский, и Берлин, и так похожий на Лермонтова, живший у Вас некоторое время — захудалый юноша: еще недавно он нашумел своими парадоксами в печати…

И многое множество брошюр нового производства; все это, с сокрушенным сердцем, я видел после в растерзанном виде на полу, со следами на всем грязных подошв валенок, среди ободранных роскошных диванов, где мы так интересно и уютно проводили время, за слушанием интереснейших докладов и горячих речей талантливой литературы, разгоравшейся красным огнем свободы. Да целый помост образовался на полах в библиотеках, из дорогих, редких изданий и рукописей; и под этим толстым слоем, нестерпимо лопались-трещали стекла. Какое-то остервенелое разрушение… К чему.

12.2.1924 Куоккала.

Да, продажа Вашей дачи дело серьезное. Говорят без комиссионера тут не обойтись. Ну, я совсем недоросль в этих делах. Утешаюсь — Вы лучше меня все это знаете, только бы не наскочить на перевертанных… А вообще, какой у Вас кладезь драгоценных премудростей. Уверен, что еще и теперь Вы нечто обретете под спудом разорванных книг, писем и разбитых стекол…

633

Датируется по сопоставлению с п. 129.

Лебедев-Кумач Василий Иванович (настоящая фамилия — Лебедев; 1898–1949), поэт.

635

Работа с таким названием написана не была. См. примеч. 490.

Чуковский К. И. Оскар Уайльд. Пт.,1922.

637

Вероятно, К. И. Чуковский говорит о своей книге «Поэт анархист Уолт Уитмен: Переводы в стихах и характеристика» (СПб., 1907; 4-е изд., испр. и доп.: Уолт Уитмен: Поэзия грядущей демократии. Пг., 1919).

Томми Аткинс — прозвище английского солдата.

639

Письмо от 14 апреля (п. 127) было опущено в почтовый ящик в Калинине только 22 апреля 1940 г.

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

641

Писатель Ю. С. Берзин был арестован в 1938 г. Затем арестовали его беременную жену. Ребенок родился в тюрьме и умер, мать выпустили на свободу. Чудом переданное на волю письмо Берзина к А. Н. Толстому с рассказом о пытках желаемых последствий не имело.

642

Речь идет о книге «Крылатая Балтика» (М.; Л.: Военмориздат, 1940), написанной Н. К. Чуковским в соавторстве с писателем *Николаем Федоровичем Григорьевым* (1896–1985).

643

Дата — по почт. шт.

644

В 1945 г. в Детгизе с предисловием К. И. Чуковского вышла переведенная Н. К. Чуковским книга А. К. Дойла «„Союз рыжих“ и другие рассказы».

645

Произведение английского писателя Чарлза Кингсли (1819–1875) Н. К. Чуковский не переводил.

646

Речь идет о детских стихотворных сборниках Н. К. Чуковского «Наша кухня» (М.: Госиздат, 1925; 2-е изд. — Л.:Госиздат, 1928) и «Огород» (М: Госиздат, 1929). Они переизданы не были.

647

Датируется по сопоставлению с п.132.

Сделанные Н. К. Чуковским переводы рассказов А. К. Дойла в «Смене» не печатались.

649

Дата — по почт. шт. на конверте.

650

18 августа 1940 г. М. Б. Чуковская сообщала М. Н. Чуковской: «С месяц назад, я во время ливня вскочила в машину, забыв наклонить голову, с всего размаху тарарахнулась об машину и упала вся залитая кровью. Митрохов меня свез в Кремлевку, где на мое счастье был лучший в Москве хирург проф. *Очкин.* Он наложил три шва, вспрыснул сыворотку от столбняка, и на 5-тый день я вышла здоровая» (личный архив Д. Н. Чуковского).

651

См. примеч. 645.

Чуковский К. И. Бичер-Стоу и ее книга // *Бичер-Стоу Г.* Хижина дяди Тома. М.; Л., 1941. С.3–16.

653

Тынянов Ю. Н.

654

Датируется по фразе: «И мерси за жилет». 18 августа 1940 г. М. Б. Чуковская писала М. Н. Чуковской: «К. И. свою жилетку прячет на зиму. Она ему очень нравится <…> Теперь пришлю тебе сколько хочешь шерсти — только вяжи» (личный архив Д. Н. Чуковского).

655

Дата и место — по почт. шт.

Халтурин Иван Игнатьевич (1902–1969), специалист по детской литературе. Радиоинсценировка была готова лишь в декабре 1940 г.

657

См. примеч. 648.

658

Возможно, речь идет о статье: *Ханин Д.* Основные вопросы детской литературы//Звезда. 1930. № 3. С. 198, 199.

659

Уитмен У. Избранные стихотворения и проза / Пер., примеч. и вступ. статья К. Чуковского. М.: Гослитиздат, 1944.

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

661

Стивенсон Р. Черная стрела / Пер. Н. и М. Чуковских. М.: Гослитиздат, 1940.

2-е изд. выполненного К. И. и Н. К. Чуковскими перевода «Принца и нищего» вышло в 1960 г. *(Твен М.* Собрание сочинений. В 12 т. М., 1960. Т. 5. С. 439–664).

663

Речь идет о письме к А. Н. Толстому. Без согласования с К. И. Чуковским оно было опубликовано Толстым в берлинской газете «Накануне» (1922. 4 июля: Лит. прил. № 6. С. 2, 3). Эта публикация вызвала многочисленные отклики — см.: *Берман Д. А.* Корней Иванович Чуковский: Биобиблиографический указатель. М., 1999. С. ПО, 111.

Дата — по почт. шт.

665

Дата и место — по почт. шт.

666

Автор рисунков Михаил Иосифович Разулевич (1904 — около 1975).

667

Видимо, речь идет о сценарии мультфильма «Бармалей» (режиссеры Л. Амальрик, В. Полковников; художники-мультипликаторы Л. Бредис, Ф. Епифанова и др. Союзмультфильм, 1941).

668

Речь идет о переводе сказки «Питер Пэн» английского писателя Джеймса Барри (1860–1937). В письме без даты К. И. Чуковский писал своей снохе: «Теперь, когда статья (ставшая очень плюгавой, хотя я прочитал целую библиотеку о Бичер-Стоу) кончена, могу дать Вам отчет о „Питере Пене“. В основном это хорошо. Вы на верном пути. Тон Вы взяли верный. Но, конечно, нужно еще много поработать, особенно над началом сказки» (личный архив Д. Н. Чуковского).

669

Дата и место — по почт. шт.

670

«Литературная газета» 27 октября 1940 г. сообщала своим читателям: «Писательская общественность столицы отмечала вчера 65-летие со дня рождения и 40-летие литературной деятельности писателя-орденоносца С. Н. Сергеева-Ценского. Чествование юбиляра состоялось в московском клубе писателей. С приветствиями С. Н. Сергееву-Ценскому выступили А. Толстой, А. Новиков-Прибой и др.». К. И. Чуковский вспоминал: «Ценский приехал по какому-то делу в Москву, и я с удовольствием принял участие в чествовании давнего друга своей писательской молодости по случаю 40-летия его литературной работы. Чествование состоялось в Союзе писателей 26 октября 1940 года. Было приглашено человек двадцать — не больше. Нам был предложен ужин. Председательствовал А. Н. Толстой. Тон всего праздника был интимный» (Чукоккала. М., 1979. С. 401).

671

«Черная стрела» Р. Стивенсона в переводе Н. и М. Чуковских вышла в 1940 г. только в Гослитиздате.

672

Чтец-декламатор для детей / Сост. К. Чуковский. М.; Л.: Детиздат, 1941.

673

Дата и место — по почт. шт.

674

Речь идет о переводе романа американского писателя Марка Твена (настоящее имя — Сэмюэл Ленгхорн Клеменс; 1835–1910) «Янки при дворе короля Артура» (М.; Л.: Детгиз, 1945).

675

См. примеч. 662.

676

Речь идет о переводе сатирической поэмы «Рейнеке-Лис» Иоганна Вольфганга Гёте (1749–1832). Ни переводить, ни редактировать чужой перевод Н. К. Чуковский не стал.

677

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

«Лето».

679

Речь идет о статье: Чуковский К. Маяковский и Уитмен // Ленинград. 1941. № 2. С. 18, 19.

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

681

Дороватовский Николай Сергеевич (1889–1984), издательский работник.

682

Автор рисунков *Владимир Георгиевич Бехтеев* (1878–1971).

«Лето» было опубликовано в № 3 и 4 «Звезды» за 1941 г.

Ответственным редактором журнала «Ленинград» в это время был С. Л. Горский.

685

Датируется по письму к М. Б. Чуковской от 12 января 1941 г., с которым написано на одном листе. Место — по почт. шт. на конверте.

Вероятно, из-за начавшейся вскоре Великой Отечественной войны 2-е изд. «Ярославля» вышло в 1949 г.

687

О своей встрече с *Михаилом Александровичем Шолоховым* (1905–1984) К. И. Чуковский сделал запись в дневнике 4 января 1941 г.: «Вчера познакомился с Шолоховым. Он живет в Санатории Верховного Совета. Там же отдыхают Збарский и Папанин, и больше никого. Вчера Шолохов вышел из своих апартаментов твердой походкой (Леонида Андреева), перепоясанный кожаным поясом. Я прочитал ему стихи Семынина, он похвалил. Но больше молчал. Тут же его семья <… > его можно понять только в семье» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 156).

688

Папанин Иван Дмитриевич (1894–1986), исследователь Арктики.

689

Коробовы, семья металлургов Макеевского металлургического завода, новаторы производства. Отец — Иван Григорьевич (1882–1952), обер-мастер цеха, в 30-е годы добился лучшего для того времени в СССР использования полезного объема доменной печи. Его сыновья: Павел Иванович (1902–1965), рабочий, затем инженер, с 1939 г. зам. наркома черной металлургии СССР, Герой Соцтруда (1943); Николай Иванович (1905–1979), рабочий, затем инженер; Илья Иванович (1910–1980), рабочий, затем инженер, Герой Соцтруда (1958), разработал и внедрил новую технологию выплавки чугуна, за что получил Ленинскую премию (1960). К. И. Чуковский, по всей видимости, говорит о П. И. Коробове, ошибочно называя его сотрудником другого наркомата.

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

691

Франковский Андриан Антонович (1888–1942), переводчик.

692

Фраза означает: не пиши больше в Кисловодск, пиши в Москву. К. И. Чуковский выехал из Кисловодска в Москву 31 января 1941 г.

693

Competition — конкуренция; competent — компетентный (англ.).

694

9 февраля 1936 г. К. И. Чуковский записал в дневник: «Ужасную вещь сделал со мною Коля, сам того не подозревая. Мы решили вдвоем перевести „Принца и нищего“: я первую половину, он вторую. Работа эта нудная, путавшая все мои планы. Она отняла у меня два месяца, самое горячее время. И главное: перевод выходит не первоклассный, не абсолютный. Хочется писать свое; хочется думать свои мысли, а тут приходится часами просиживать над одной какой-нибудь фразой. Когда я сделал свои 101 страницу, я чуть не подпрыгнул до потолка: теперь могу вздохнуть свободнее. Но в это время Коля принес свою половину!!! С первого взгляда мне показалось, что перевод превосходный. Иные страницы действительно очень неплохи, но боже мой — когда я вчитался, оказалось, что половину Колиного перевода нужно делать заново. Никакого другого выхода нет» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 135).

695

Имеется в виду роман «Лето».

696

Писатель *Петр Иосифович Капица* (р. 1909) и критик *Николай Васильевич Лесючевский* (1908–1978) в то время были членами редколлегии журнала «Звезда».

697

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

Александров А. Полный англо-русский словарь. Т. 1–2. СПб., 1878–1879. Словарь неоднократно переиздавался.

699

Перевод романа М. Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» выполнен Зинаидой Николаевной Журавской *(урожд. Лашкевич)* (1867–1937) и отредактирован П. К. Губером, опубликован в 3-м томе собрания сочинений М. Твена (М.; Л.: Госиздат, 1928).

700

Ярцев Георгий Алексеевич (1904–1955), издательский работник.

701

Роман «Лето».

702

Дата и место — по почт. шт.

703

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

704

Штурм. Рассказы героев Советского Союза, записанные Николаем Григорьевым и Николаем Чуковским. М.; Л.: Детиздат, 1941.

705

С днем рождения.

706

Автор вступления генерал-лейтенант *Никандр Евлампиевич Чибисов* (1892–1959).

707

Система укреплений на Карельском перешейке вдоль границы Финляндии с СССР, сооружалась в 1927–1939 гг. Названа по имени финского маршала *Карла Густава Маннергейма* (1867–1951).

Статья не появилась из-за начавшейся войны. По этой же причине не были опубликованы рассказы А. К. Дойла в «30 днях» и «Смене».

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

710

Речь идет о переводе романа «Сын Америки» американского писателя *Ричарда Райта* (1908–1960), выполненном Евгенией Давыдовной Калашниковой (1906–1976) (Интернациональная литература. 1941. № 1).

711

Макаров И. Воспоминания К. Чуковского // Новый мир. 1941. № 2. С. 205, 251, 252; Соловьев С. Книга воспоминаний К. Чуковского // Литературная газета. 1941. 2 марта.

2-е, перераб. и доп., изд. воспоминаний вышло через 18 лет: *Чуковский К. И.* Из воспоминаний: Репин. Горький. Андреев. Кони. Брюсов. Маяковский. Житков. Тынянов. М.: Сов. писатель, 1958.

713

Речь идет о выполненных К. И. Чуковским переводах стихотворений У. Уитмена «Для тебя, демократия», «Во сне мне приснился город», «Вы, лодыри, там на карауле», «Не закрывайте ваших дверей», «Ночью на морском берегу», «Испания в 1873–1874 гг.», «Мир под морской водой», «Ручное зеркало», «Дружелюбный и покладистый дикарь», «Одному штатскому», «Хочешь послушать, как дрались в старину на морях», «Стариковское спасибо», «Когда во дворе перед домом цвела этой весной сирень» (Интернациональная литература. 1941. № 2).

714

6 апреля 1941 г. «Литературная газета» сообщала: «К одиннадцатой годовщине со дня смерти В. В. Маяковского в Москве, на улице Кропоткина, 12, открывается постоянная выставка-музей, посвященная жизни и творчеству поэта». К. И. Чуковский посетил выставку до ее официального открытия, которое так и не состоялось из-за начавшейся Великой Отечественной войны.

715

В № 3 «Звезды» за 1941 г. опубликовано начало повести Н. К. Чуковского «Лето».

Дата — по почт. шт. на конверте.

717

Дата — по почт. шт.

718

Дата — по почт. шт.

719

Катаев Валентин Петрович (1897–1986), писатель.

Афиногенов Александр Николаевич (1904–1941), драматург.

Панферов Федор Иванович (1896–1960), писатель.

722

Дата и место — по почт. шт.

723

Хавинсон Яков Семенович (ум. 1990), сотрудник аппарата ЦК ВКП(б), в годы войны работал в ТАСС. У него К. И. Чуковский и М. Л. Слонимский просили содействия в переводе Н. К. Чуковского с Ленинградского фронта в ТАСС или какую-либо центральную газету.

724

2 августа 1941 г. К. И. Чуковский сообщал М. Н. Чуковской: «Лиду с Женей, Люшей и Идой мы отправили на чудесном пароходе на Каму в городок Чистополь. Я мог им дать немного денег <…> Лида после операции начала поправляться» (личный архив Д. Н. Чуковского). Л. К. Чуковская вспоминала: «28 июля 1941 года, вместе с семьями московских писателей, вместе с Люшей, Идой и четырехлетним племянником Женей, меня отправили на пароходе в Чистополь» (*Чуковская Л. К.* Записки об Анне Ахматовой. В 3 т. М., 1997. Т. 1. С. 232).

725

Дата — по почт. шт.

726

Речь идет о семье писателя и киносценариста *Мануэля Владимировича Большинцова* (1902–1954).

Чуковский Н. К. В воздухе и на земле // Правда. 1941. 16 августа.

728

Гаврилов-Ям, город в Ярославской области на реке Которосль. Там вместе с детским лагерем Литфонда проживала в это время М. Н. Чуковская с дочерью и сыном. В сентябре 1941 г. К. И. Чуковский сообщал своей снохе: «Сегодня вместе с Казаковым я был у Храпченко. Толковали мы с Храпченко около часу — и все дела разрешили благоприятно. Фонд дает Вам деньги (330 000 р.), хлопочет о Вашем продвижении на восток, оставляет Вам прежнего заведующего и т. д.» (личный архив Д. Н. Чуковского). В октябре 1941 г. детский лагерь Литфонда находился в деревне Черная Краснокамского уезда (Молотовская область).

729

Дата указана на телеграфном бланке.

Дата и место — по почт. шт.

731

Дата указана на телеграфном бланке.

732

Л. К. Чуковская приехала в Ташкент 9 ноября 1941 г.

Б. К. Чуковский погиб под Можайском в октябре 1941 г.

Чуковский Н. К. На защите Ленинграда: Летчики-балтийцы в боях. М.: Воениздат, 1943.

Пешкова (урожд. Волжина) Екатерина Павловна (1876–1965), жена Горького. Тимоша — Пешкова (урожд. *Введенская) Надежда Алексеевна* (1901–1971), жена М. А. Пешкова.

Зильберштейн Илья Самойлович (1905–1988), литературовед и искусствовед, один из основателей «Литературного наследства», которое с 1931 г. выпускалось журнально-газетным объединением, с 1939 г. стало органом Института русской литературы АН СССР, с 1950 г. — Отделения литературы и языка АН СССР, с 1960 г. — в ведении Института мировой литературы им. А. М. Горького. Л. К. Чуковская, как редактор, помогала И. С. Зильберштейну в подготовке томов, посвященных А. И. Герцену и Н. П. Огареву. В одном из них за подписью А. Углов она опубликовала письмо Герцена к К. Гискра (Литературное наследство. М., 1953. Т. 61. С. 284, 285).

Прокофьев Александр Андреевич (1900–1971), поэт.

738

Михоэлс Соломон Михайлович (настоящая фамилия — Вовси; 1890–1948), актер и режиссер, художественный руководитель Московского государственного еврейского театра.

739

Ахматова (настоящая фамилия — Горенко) *Анна Андреевна* (1889–1966), поэт.

Чуковский К. Чехов и Россия // Смена. 1943. № 20. С. 12, 13.

741

Речь идет о романе «Вечерний зов» прозаика и драматурга *Николая Евгеньевича Вирты* (настоящая фамилия — Карельский; 1906–1976). Под заглавием «Землевладельцы» отрывки из романа были напечатаны в газете «Труд» (23 и 25 марта 1941 г.) и в журнале «Огонек»(1941. № 11), отдельное издание вышло в 1951 г.

Рогожина Лидия Николаевна, вторая жена Б. К. Чуковского.

743

Дата и место — по почт. шт.

Чуковский К. Дети и война. Ташкент: Госиздат УзССР, 1942.

745

Кеменов Владимир Семенович (1908–1988), председатель правления Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС) с 1940 по 1948 г., впоследствии заместитель министра культуры СССР.

Чуковский К. Сказки. Ташкент: Госиздат УзССР, 1942.

Зеленая Рина Васильевна (1902–1991), артистка.

Уткин Иосиф Павлович (1903–1944), поэт.

749

Датируется по почт. шт. получения: «5.3.42. Ленинград» (на конверте только один этот штемпель).

750

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

751

Щаденко Ефим Афанасьевич (1885–1951), генерал-полковник, в 1937–1943 гг. заместитель наркома обороны.

752

Чуковский К. Одолеем Бармалея. Ташкент: Госиздат УзССР, 1943 (одновременно сказка вышла в ташкентском «Советском писателе», ереванском «Армгизе» и пензенском «Сталинском знамени»).

753

Джабаев Джамбул (1846–1945), казахский народный поэт-акын. В поэтических соревнованиях (айтысах) он победил видных акынов XIX — начала XX века — Кулмамбета, Сарбаса, Досмагамбета и Шашубая. Фильм «Джамбул» в 1953 г. выпустил режиссер Ефим Львович Дзиган (1898–1981).

Речь идет о первой редакции «Поэмы без героя».

755

Мехлис Лев Захарович (1889–1953), нарком Госконтроля СССР, в 1941–1942 гг. одновременно занимал пост заместителя наркома обороны СССР.

756

Письмо было послано с оказией и опущено в почтовый ящик в Ленинграде 10 мая 1942 г.

757

См. примеч. 752.

758

Жукова Л. Л., Чуковская Л. К. Слово предоставляется детям. Ташкент, 1942. В середине 1960-х годов Л. К. Чуковская сделала запись в дневнике: «Лидия Львовна Жукова. Это поэма. Я знала ее еще в Ленинграде (она и ее муж, Жуков, японовед, ездивший в Японию — лучшие друзья Коли и Марины). С ее братом, С. Цимбалом, я училась в Институте. Она приехала в Ташкент с дочкой и племянником, нищая, голодная. Мать и сестры погибали в Ленинграде. Жуков был расстрелян, второй муж тоже арестован. Я ее полюбила. Меня от нее предостерегала Люша („она тебя обманет“), К. И-чу она тоже не понравилась, но он 1) добился ее прописки, 2) устроил племянника в детсад цк, о чем она молила. Она голодала: не член Союза (как и я). Со мною Тихонов заключил договор на книгу детских рассказов; я решила делать вместе, чтобы и ей дали карточку на обед в Союзе. К. И. умолял меня не заключать договор на два имени, я не послушалась, заключила на два, деньги пополам, а писала я *одна* (Лида собрала материал на два или три рассказа, но писала все я). Рассказы печатались в газетах и журналах, вышли книжкой — все деньги пополам. Затем с помощью Лели Арнштама, который был с киностудией в Алма-Ата, я заключила договор на сценарий; опять на два имени и деньги пополам. Кое-что мы придумали вместе, но опять писала *я одна*» (цит. по: *Чуковская Л. К.* Записки об Анне Ахматовой. В 3 т. М., 1997. Т. 1.С. 511).

759

С Лаврентием Павловичем Берия (1899–1953) К. И. Чуковский познакомился через Марфу Максимовну Пешкову (р. 1925), ее мужем тогда был сын наркома внутренних дел Серго Лаврентьевич Берия (р. 1924).

Пешкова Дарья Максимовна (р. 1927).

761

Речь идет об «Орле и орлице» — первой части пьесы А. Н. Толстого «Иван Грозный».

Громов Михаил Михайлович (1899–1985), генерал-полковник авиации (1944), Герой Советского Союза (1934), звание присвоено за мировой рекорд дальности полета, в феврале — апреле 1942 г. — командующий ВВС Калининского фронта, затем командовал 3-й и 1-й воздушными армиями.

763

Беляков Александр Васильевич (1897–1982), генерал-лейтенант авиации (1943), Герой Советского Союза (1936), звание присвоено за беспосадочный перелет Москва — остров Удд, совершенный вместе с В. П. Чкаловым и Г. Ф. Байдуковым.

764

Вероятно, речь идет о переводе романа английского писателя Уильяма Мейкписа Теккерея (1811–1863) «Виргинцы», выпущенном издательством «Academia» (т. 1–2. М.; Л., 1936).

765

Перовская Софья Львовна (1853–1881), член исполкома «Народной воли», организатор и участница покушения на императора Александра II, успешно осуществленного 1 марта 1881 г. Замысел не был осуществлен.

Возможно, реализацией этого замысла стала остросюжетная повесть «Морской охотник», послужившая основой для одноименного кинофильма для детей (1955, режиссер и автор сценария В. В. Немоляев).

Чуковский Н. К. Комиссар боевой эскадрильи Сырников. Л.: Воениздат, 1941; Чуковский Н. К. Морские летчики. Л.: Воениздат, 1941.

Чуковский Н. К. Как работает комиссар // Звезда. 1941. № 9.

Книга вышла под названием «На защите Ленинграда: Летчики-балтийцы в боях» (М.: Воениздат, 1943).

Ц. С. Вольпе погиб осенью 1941 г. под Ленинградом.

771

Датируется по фразе: «Я вот уже больше месяца, как в Новой Ладоге».

772

Дата и место — по почт. шт.

773

Датируется по почт, шт.: «17.6.42. Москва». Письмо было послано с оказией и опущено в почтовый ящик в Москве.

Литературное наследство. М., 1939. Т. 35–36 (Л. Н. Толстой I); Литературное наследство. М., 1939. Т. 37–38 (Л. Н. Толстой II). Значительную часть второго выпуска занимает впервые публикуемая переписка писателя.

775

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

А. А. Фадеев с 1939 по 1944 г. был секретарем, а с 1946 по 1954 г. — генеральным секретарем и председателем правления Союза писателей СССР.

777

Тарасенков Анатолий Кузьмич (1909–1956), критик, литературовед и библиограф, собрал уникальную библиотеку русской поэзии первой половины XX в. Результатом собирательства стал библиографический труд «Русские поэты XX века. 1900–1955» (М., 1966). 6 февраля 1942 г. Тарасенков записал во фронтовой блокнот: «Сам удивляюсь как — но сегодня открываем большое писательское совещание, с большой выставкой, с уймой делегатов, с бесплатной раздачей книг — все, как полагается в таких случаях. В зале заседаний тепло — горит буржуйка. Через 10–15 минут открываем его. Сейчас Всеволод произнесет одну из своих магических речей — доклад об итогах работы писателей на Балтике <…> Здесь вся наша опергруппа — Вишневский, Мирошниченко, Крон, Азаров, Михайловский, Зонин, Амурский, Вишневецкая, затем спокойный седой Успенский из ПУРа — эрудит, поэт, прозаик и художник, Яшин — молодой поэт, Чуковский Николай, работающий в авиации, Добин из БТК, Л. Кронфельд — с фортов, Кетлинская (Лен. ССП), Лихарев („На страже родины“), Каменецкий („Красный флот“), Семашко, Брук, Шляев и другие редакторы многотиражек, художник Соколов, писатель Капица из ОВРа, поэт Браун» (Литературное наследство. М., 1966. Т. 78. Кн. 2. С. 23–24).

778

Дата и место указаны на телеграфном бланке.

779

Дата и место указаны на телеграфном бланке.

780

Дата и место указаны на телеграфном бланке.

781

Дата и место указаны на телеграфном бланке.

782

2 сентября 1942 года К. И. Чуковский записал в дневник: «Уже 4 ½ часа лечу в восьмим[естном] самолете (бомб. Дуглас) в Москву <…> В Туркестане была остановка: брали бензин. С нами едут дыни, арбузы, яблоки, виноград» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 162).

783

Дата и место указаны на телеграфном бланке.

Год — по почт. шт.

785

Датируется по сопоставлению с п. 196.

786

Дата и место — по почт. шт.

Спирин Иван Тимофеевич (1898–1960), полярный летчик, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны был одним из организаторов и руководителей авиации дальнего действия.

Либединская (урожд. Толстая) Лидия Борисовна (р. 1921), писательница, жена Ю. Н. Либединского.

789

Любанский Илья Абрамович, журналист, руководитель отдела публицистики журнала «Красная новь», возглавлял оборонную комиссию Союза писателей СССР, в Ташкент попал после тяжелого ранения в боях под Москвой.

790

К. И. Чуковский послал дирижеру Ленинградского театра оперы и балета (бывший Мариинский) Е. М. Корнблиту следующее письмо (без даты): «Многоуважаемый Евгений Михайлович, мой сын Николай Чуковский, автор многих романов, известный писатель, находится на фронте с самого начала войны. Теперь он был проездом в Москве и прочитал мне начало своей пьесы „Ленинградское небо“ — в успехе которой нельзя сомневаться. Семья его в настоящее время в Молотове. Я был бы Вам горячо благодарен, если бы Вы прикрепили ее к столовой Вашего театра. Уважающий Вас Корней Чуковский» (личный архив Д. Н. Чуковского).

791

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

792

Датируется по сопоставлению с п. 201. Письмо было послано с оказией и опущено в почтовый ящик в Москве 22 ноября 1942 г.

793

Дата и место — по почт. шт.

794

Дата и место указаны на телеграфном бланке.

795

Датируется по фразе «… пишу тебе в Москву — может быть, ты уже там» и по сопоставлению с п. 203.

Успенский Лев Васильевич (1900–1978), писатель.

Зонин Александр Ильич (1901–1962), писатель.

Амурский Илья Егорович (настоящая фамилия — Вшивков; 1900—?), писатель.

Мирошниченко Григорий Ильич (1904–1985), писатель.

800

Азаров Всеволод Борисович (1913–1990), поэт.

801

Рыбаков Григорий Михайлович, заместитель начальника Политуправления Балтийского флота, капитан 1-го ранга.

802

Роман «Девять братьев».

803

Рябов Иван Афанасьевич (1902–1958), писатель и журналист, сотрудник газеты «Правда».

804

Дата и место указаны на телеграфном бланке.

805

Дата и место указаны на телеграфном бланке.

Найда Сергей Федорович, редактор газеты «На боевой вахте».

807

Дата и место указаны на телеграфном бланке.

808

Дата и место указаны на телеграфном бланке.

809

Датируется по фразе: «Сегодня в „Правде“: Николай Тихонов, писатель, награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени». Сообщение о награждении Н. С. Тихонова 2 июня 1943 г. напечатала «Красная звезда». В «Правде» сообщения не было.

810

3 июня 1943 г. К. И. Чуковский записал в дневник: «Совещание Президиума по поводу моей сказки. Не пришли обещавшие придти Федин и Зощенко. Таким образом из членов Президиума были только Асеев и Анна Караваева. Хорош бы я был, если бы вчера не получил подписей Толстого и Шолохова! Все вели себя очень сплоченно — высказались за сказку единодушно: Мих. Слонимский, Перец Маркиш, Скосырев, Караваева и даже Асеев — начавший дискуссию: „что ж, прекрасная сказка!“ Обратно я шел со Слонимским и Асеевым» *(Чуковский К. И.* Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 164, 165).

811

Хватит, довольно *(ит.)*.

812

Чуковский К. Детскими глазами // Правда. 1943. 26 июня.

813

Берггольц Ольга Федоровна (1910–1975), поэтесса.

814

Чуковский Н. К. Девять братьев: Повесть. М.: Молодая гвардия, 1943.

815

Чуковский Н. К. Девять братьев: Повесть. М.; Л.: Воениздат, 1944.

816

Датируется по фразам: «… из Ташкента пришел напечатанный мой „Бармалей“ <…> недавно <…> мальчишки в Переделкине жгли в нашем лесу мою библиотеку». 24 июля 1943 г. К. И. Чуковский записал в дневник: «Был вчера в Переделкине — впервые за все лето. С невыразимым ужасом увидел, что вся моя библиотека разграблена <…> Уже уезжая, я увидел в лесу костер. Меня потянуло к детям, которые сидели у костра. — Постойте, куда же вы? Но они разбежались. Я подошел и увидел: горят английск. книги и между прочим любимая моя американская детская „Think of it“ и номера „Детской литературы“ <…> Сейчас получил из Ташкента „Одолеем Бармалея“ изд. Госуд. Изд-ва УзССР» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1930–1969. М.,1994. С. 165).

817

Землячка (Самойлова, урожд. Залкинд) *Розалия Самойловна* (1876–1947), заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР.

818

Мишакова Ольга Павловна (1912–1970), секретарь ЦК ВЛКСМ.

819

Рогов Иван Васильевич (1899–1949), генерал-лейтенант береговой службы, в это время начальник Главного политического управления Военно-морского флота.

820

Речь идет о Дмитрии Николаевиче Чуковском. Он родился 25 декабря 1943 г.

821

Розенцвейг Григории Львович, врач-акушер и гинеколог.

822

Сказка К. И. Чуковского «Одолеем Бармалея» вышла в 1943 г. в Ташкенте, сразу в двух издательствах — Госиздате УзССР и «Советском писателе».

823

Наумова Анна Иосифовна (1900–1980), главный редактор Детгиза.

824

Вероятно, *Живова Евгения Семеновна*, в прошлом редактор Детиздата.

825

Дойл А. К. Союз рыжих и другие рассказы / Пер. М. и Н. Чуковских; Под ред. К. Чуковского. М.; Л.: Детиздат, 1945.

826

Курчавова Евгения, соученица Л. К. Чуковской по Тенишевскому училищу.

827

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

828

ВОКС — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, было основано в 1925 г. в целях ознакомления общественности СССР с достижениями науки и культуры зарубежных стран и популяризации культуры народов СССР за границей, упразднено в 1958 г. в связи с образованием Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами.

829

Речь идет о пьесе Л. Н. Рахманова «Даунский отшельник», посвященной жизни английского естествоиспытателя Чарлза Роберта Дарвина (1809–1882).

830

Повесть «Девять братьев» не была экранизирована.

831

Статья «Чехов и Россия» была напечатана не в «Знамени», а в «Смене» — см. примеч. 6 к п. 165.

832

Автор рисунков Адриан Михайлович Ермолаев (1900–1977).

833

Чуковский К. Чудо-дерево: Сказки. Песенки. Загадки. М.; Л.: Детиздат, 1943. Книга была послана для переиздания: *Чуковский К.* Чудо-дерево: Сказки, песенки, загадки. Л.: Гослитиздат, 1944.

Леонидов Олег Леонидович (1893–1951), сценарист.

835

Повесть Н. К. Чуковского «Девять братьев» была опубликована в № 9–17, 19–24 журнала «Смена» за 1943 г.

836

Чуковский Н. К. Девять братьев: Повесть. М.: Молодая гвардия,1943.

837

Наряду с положительными (*Прокофьев А.* // Звезда. 1944. № 5–6. С. 138–139; *Трифонова Т.* В голубой обложке // Ленинград. 1945. № 4–5. С. 30–31) были и отрицательные отзывы: *Бару И.* Неиспользованные возможности // Красный флот. 1944. 10 июня; *Мунблит Г.* Неинтересные приключения //Литературная газета. 1945. 17 февраля.

Последние новости *(англ.)*.

839

Дата и место указаны на телеграфном бланке.

840

Датируется по содержанию, предположительно.

841

К. И. Чуковский, вероятно, подарил своему внуку Н. Н. Чуковскому одно из изданий «Детства» М. Горького.

842

Дата и место — по почт. шт. на конверте.

843

Речь идет о внутренней рецензии литературоведа *Якова Ефимовича Эльсберга* (1901–1976) на рукопись книги К. И. Чуковского «Мастерство Некрасова» (М., 1952).

844

Анциферов Николай Павлович (1889–1958), литературовед, друг К. И. Чуковского.

845

Датируется по сопоставлению с п. 216 и 218.

846

Мария Алексеевна, медицинская сестра.

847

Зарахани Валерия Осиповна (р. 1908), секретарь А. А. Фадеева, сестра его жены А. О. Степановой.

848

Датируется по фразе: «… думал ли я, что меня обрадует обзор детской литературы (в сегодняшней „Правде“), где *не упомянуто мое имя».* К. И. Чуковский говорит о статье М. Белаховой «Детям — хорошие книги! О литературе для детей младших возрастов», напечатанной в «Правде» 16 апреля 1951 г.

849

16 апреля 1951 г. К. И. Чуковский писал дочери: «Мало-помалу я пришел к убеждению, что книгу о Некрасове печатать *нельзя* <…> Н<аталья> А<лександровна> [Роскина. — *Е. Н.*] предлагает, чтобы я навалил на тебя свою книгу. Это так жестоко по отношению к тебе, что нечего и думать об этом. Мне *страстно* хочется, чтобы ты отдохнула и была бы в Малеевке возможно дольше» (*Чуковский Корней, Чуковская Лидия.* Переписка: 1912–1969. М., 2003. С. 342). Книга К. И. Чуковского, о которой идет речь, — «Мастерство Некрасова», вышла первым изданием в Москве в 1952 г.

850

Гаркави Александр Миронович (1922–1980), литературовед.

851

Для вышедшего в 1952 г. первого тома четырехтомного Собрания сочинений венгерского поэта *Шандора Петёфи* (1823–1849) Н. К. Чуковский перевел 55 стихотворений.

852

К. И. Чуковский редактировал выходившее в это время двенадцатитомное Полное собрание сочинений и писем Н. А. Некрасова (М., 1948–1953).

853

Год установлен по сопоставлению с п.220.

Круг Карл Адольфович (1873–1952), электротехник, член-корреспондент АН СССР, участник составления плана ГОЭЛРО, один из создателей Московского энергетического института (1930).

855

Богомолов Алексей Федорович (р. 1913), ученый-радиотехник, преподаватель МЭИ, академик АН СССР (1984).

Круг Наталья Карловна, электротехник.

857

Семье писателя Виталия Константиновича Тренева (1908–1953), сына драматурга К. А. Тренева.

858

Дата и место — по почт, шт на конверте.

859

В конце концов, Н. Н. Чуковский был оставлен на второй год на первом курсе. К. И. Чуковский в письме без даты утешал внука: «Дорогой Гуля. Я только что узнал о постигшей тебя неприятности — и в первую минуту огорчился, но потом — очень скоро — понял, что огорчаться здесь нечем. *Сейчас* это, конечно, неприятно, но ручаюсь тебе, *что потом, в течение всей твоей жизни, ты будешь благодарен судьбе, что она дала тебе возможность основательно усвоить те фундаментальные знания,* без которых немыслимо дальнейшее прохождение курса. Твое существование на втором курсе было бы мучительно — и обрекало бы тебя на верный провал <…> На первом же курсе тебя ждут неисчислимые выгоды: 1. Не придется работать сверх сил, без единой свободной минуты. 2. Исчезнет страх перед неминуемо-катастрофическим будущим. 3. Тебе будет дана богатая возможность усвоить те знания, которые ты недопонял, то есть ликвидировать свое полузнайство. И т. д., и т. д., и т. д. За эти блага можно легко перенести такие мелкие невзгоды, как понижение в чине, насмешки двух-трех дураков» (личный архив Д. Н. Чуковского).

860

Семья писателя В. А. Каверина.

861

Семья драматурга Александра Петровича Штейна (1906–1993).

862

Каверин Николай Вениаминович (р. 1933), сын В. А. Каверина.

863

Датируется по сопоставлению с п. 221.

864

Белов Геннадий Матвеевич (р. 1926), шофер. После размолвки он вернулся к К. И. Чуковскому. 17 января 1963 г. Корней Иванович записал в дневник: «Жду Геннадия Матвеевича <…> Уже 6 часов. Сегодня Г. М. должен привести мне новое издание моего бедного „Мастерства“. Издание четвертое — удостоенное Ленинской премии. Я вполне равнодушен к этой книге. Она — худшая из всех моих книг» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 331).

Пермяк Мария Степановна, жена писателя Е. А. Пермяка.

866

Датируется по фразе: «С Гулей, я уверен, все будет отлично».

867

Датируется по сопоставлению с записью в дневнике, сделанной 20 февраля 1954 г.: «Уже несколько дней у нас гостит Коля» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 211).

868

Датируется по фразе: «2-ое изд. „Мастерства“ ушло в набор». Второе издание «Мастерства Некрасова» было сдано в набор 30 сентября 1954 г.

869

Роман Н. К. Чуковского «Балтийское небо» сначала был опубликован в журнале «Знамя» (1954. № 6–9), затем вышел отдельным изданием (М.: Советский писатель, 1955).

Трифонова Тамара Казимировна (1904–1962), критик, литературовед.

«Балтморе» — описка. Надо: «Балтнебо».

872

Речь идет о 10-м исправленном издании «От двух до пяти» (М.: Советский писатель, 1955), 9-е вышло в 1939 г.

873

Д. Н. Чуковский.

874

Датируется по сопоставлению с записью в дневнике, сделанной 21 января 1955 г.: «Вдруг звонит ко мне Клара: „М. Б-не стало хуже, зовите Алексея Вас-ча“. У нее совершенно перестало действовать сердце, сильно болит рука, аппетита никакого, губы синие <…> Что делать? Я примчался из Москвы — не доделав своих мелконьких дел» (*Чуковский К.И.*. Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 220).

Яковлев Алексей Васильевич, врач.

Дата — по почт. шт. на конверте.

877

Ильинский Игорь Владимирович (1901–1987), актер и режиссер.

Лозовская Клара Израилевна (р. 1924), секретарь К. И. Чуковского.

879

Дата и место указаны на телеграфном бланке.

880

М. Б. Чуковская скончалась 21 февраля 1955 г.

881

Дата — по почт. шт. на конверте.

882

Речь идет о кн.: Уитмен У. Стихотворения и проза / Пер. К. Чуковского. М.: Правда, 1955; Слепцов В. Трудное время / Ред. и послесл. К. Чуковского. М.: Гослитиздат, 1955; Чуковский К. Бибигон. М.: Детгиз, 1956; Чуковский К. Из воспоминаний: Репин. Горький. Андреев. Кони. Брюсов. Маяковский. Житков. Тынянов. М.: Советский писатель, 1958.

883

Чуковский К. От двух до пяти. М.: Детгиз, 1956.

884

Речь идет о несохранившемся письме Н. К. Чуковского, ответом на которое является данное письмо.

885

Киплинг Д. Р. Сказки / Пер. К. Чуковского; Стихи в пер. С. Маршака. М.: Детгиз, 1956.

Чуковский К. Котауси и Мауси: Английские народные песенки. М.: Детгиз, 1956.

887

Речь идет о книге американского писателя Эрскина Колдуэлла (1903–1987) «Повести и рассказы» (М., 1956).

888

Речь идет об американском писателе *Эрнесте Хемингуэе* (1899–1961). В 1959 г. в Москве вышли его «Избранные произведения» в двух томах.

889

Произведения американского писателя Д. Дос Пассоса тогда в СССР напечатаны не были.

890

Речь идет о кн.: *Уитмен У.* Листья травы. М.: ГИХЛ, 1955. В ней напечатана статья литературоведа *Мориса Осиповича Мендельсона* (1904–1982) «Столетие великой книги» (С. 19–34). И более позднее издание — «Избранные произведения» (М.: Художественная литература, 1970) — содержит статью Мендельсона «Я с вами, люди других поколений».

891

Шофер К. И. Чуковского.

892

Дата — по почт. шт. на конверте.

893

Вера Александровна Сутугина-Кюнер (1892–1969) работала секретарем в организованном Горьким издательстве «Всемирная литература» (1918–1924). Она писала 20 января 1956 г. из Сенгилея (Ульяновская область), где находилась в ссылке: «Передайте Коле, что его книга пользуется очень большим успехом. В магазине она была сразу раскуплена, а из моих опросов библиотек — оказалось, что на нее очередь, и она не лежит ни одного дня» (личный архив Д. Н. Чуковского).

894

Е. Б. Чуковский повредил руку при проведении взрыва осиного гнезда.

895

Дата — по почт. шт. на конверте.

Дата — по почт. шт. на конверте.

897

Попов Василий Степанович (1894–1967), генерал-полковник, заместитель начальника Генерального штаба; сын — Евгений.

898

Датируется по помете Н. К. Чуковского: «Октябрь 1956».

899

Черноуцан Игорь Сергеевич (1918–1990), заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС.

900

Дата — по помете адресата: «14 ноября 56».

901

Марина — М. Н. Чуковская. Тата — Н. Н. Чуковская. Митя — Д. Н. Чуковский. Юра и Боба — Юрий Иванович (р. 1956) и Борис Иванович (р. 1956) Костюковы, дети Н. Н. Чуковской (в замужестве Костюковой).

902

Дата — по почт. шт. на конверте.

903

Бруштейн Александра Яковлевна (1884–1968), писательница. 2 августа 1957 г. она писала К. И. Чуковскому: «Хочу от всей души поздравить Вас с большой удачей вашего сына Николая Корнеевича. Повесть его — „Последняя командировка“ — очень хороша. Несмотря на то, что в ней местами чувствуются следы чьих-то глупых ножниц (это всякий из нас ухватывает 6-м чувством!), самое главное в повести — цело и живо.

Это — одно из немногих в литературе произведений, где русский автор написал все, как немец, и приоткрыл нам что-то очень важное в сегодняшней Германии. Это становится особенно заметно, когда прочитываешь „Последнюю командировку“ рядом с повестью Анны Зегерс „Возвращение“ („Иностранная литература“). По совершенно непонятной причине, Анна Зегерс (такая умная и талантливая!) написала свой рассказ не как немка, а как иностранка, — вроде того, как Софронов написал в свое время свой гениальный шедевр, пьесу „Иначе жить нельзя!“. Я ничего не увидела в повести Зегерс и ничему не поверила. Удачей же повести Николая Корнеевича является, по моему скромному мнению, образ Шарлотты, — он и правдивый (я неплохо и давно знаю Германию и немцев), и необыкновенно типичный, и уже в нем одном ощущаешь то, что, видимо, характерно для сегодняшней Германии» (личный архив Д. Н. Чуковского).

904

10 августа 1957 г. К. И. Чуковский записал в дневник: «Дело двинулось, благодаря случайности. У Ажаева есть очень милый мальчишка Алеша. Я зашел к Алеше (он позвал меня, когда я проходил по дороге); Ажаев, узнав от меня всю историю дома, повел меня к своему соседу Вас. Ал-андр. Смирнову, который, оказывается, имеет большой вес в Союзе. Смирнов так возмутился всей волокитой, происходящей в Литфонде по вине Ляшкевича, что тотчас же несмотря на дождь пошел со мной и Ажаевым ко мне на участок и лично убедился, что Ляшкевич вставляет мне бюрократические палки в колеса. Через два-три дня он привез ко мне Воронкова и Ляшкевича — и они втроем обещали мне посильную помощь. Возник было план — чтобы я продал им домик, а они сами построят библиотеку. Но так как темпы их строительства мне известны, я понял, что, если я соглашусь, я не доживу до той блаженной поры, когда над б-кой будет воздвигнута крыша, я отказался: строить б-ку буду я сам. Сейчас вся остановка за деревьями. Нужно срубить 6 деревьев, среди которых есть и сухостой. Сегодня приезжал ко мне наш главный лесник Васильев, очень любезный, — но рубить *не разрешил.* Без Москвы он не вправе <…> После того, как Васильев ушел, явился (от него?) один объездчик, который заявил, что, если дать ему, объездчику, взятку в 200 р., а Васильеву 400 р., дело будет устроено так, что не потребуется разрешения Москвы» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 257). *Ляшкевич Дмитрий Ефимович* (1904–1989), журналист, сотрудник Литфонда.

905

Дети писателей Ю. Н. и Л. Б. Либединских — Лидия Юрьевна (р. 1944) и Татьяна Юрьевна (р. 1943).

906

Атарова Ксения Николаевна, дочь писателя Николая Сергеевича Атарова (1907–1978).

Арбузов Алексей Николаевич (1908–1986), драматург.

908

Ажаев Алексей Васильевич, сын писателя Василия Николаевича Ажаева (1915–1968).

909

Белов Г. М.

910

Вальдапфель (Waldapfel) Йожеф (1904–1968), венгерский литературовед.

Возможно, «Девочка Жизнь» (Юность. 1964. № 1).

912

Чуковский К. Бедный словарь — и богатый // Литературная газета. 1963. 20 июля; Он же. Вина или беда? // Там же. 3 и 10 августа.

913

В шестом номере «Нового мира» за 1963 г. были напечатаны подборка стихотворений П. Бровки в переводе Я. Хелемского, три стихотворения М. Карима в переводе И. Снеговой, отрывки из поэмы Ю. Тувима «Цветы Польши» в переводе Н. Чуковского, стихотворение Д. Сухарева «Прощание с Молдавией», повесть Н. Дубова «Мальчик у моря», проза К. Паустовского «Третье свидание», «Студенческие тетради» рано ушедшего из жизни литературоведа М. Щеглова. В разделе «Публицистика» был опубликован составленный Б. Яковлевым обзор «В канун рождения партии. Автобиографические высказывания В. И. Ленина (1893–1900)».

914

Речь идет о переведенной Н. К. Чуковским книге польского поэта Юлиана Тувима (1894–1953) «Цветы Польши: Фрагменты поэмы» (М.: Издательство иностранной литературы, 1963).

915

Александрова А. Встреча будет интересной // Вечерняя Москва. 1963. № 185(12 082). 7 августа (рецензия на кн.: *Чуковский Н. К.* Избранное. М.: Московский рабочий, 1963).

Перманова Зоя Семеновна, медицинская сестра.

917

Предполагавшаяся реформа русского языка, о которой говорит Н. К. Чуковский, не состоялась.

918

«Цвела земляника», опубликован в первом номере журнала «Юность» за 1965 г.

919

Вероятно, «Ранним утром» (Неделя. 1964. 1–7 ноября).

920

Чуковский Н. К. Встречи с Мандельштамом // Москва. 1964. № 8. С. 143–152.

921

Датируется по записи в дневнике, сделанной К. И. Чуковским 5 ноября 1965 г.: «Пришла Клара. С нею Митя и Люша. Я дико обрадовался. Кларочка обняла меня сзади и вдруг, покуда я болтал чепуху, сказала: Вчера днем умер Николай Кор.» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 380).